

Alfama
1850



**Институт русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН**

Курский государственный университет

А. А. ФЕТ

СОЧИНЕНИЯ И ПИСЬМА

В ДВАДЦАТИ ТОМАХ

Редакционная коллегия:

*А. В. Ачкасов, В. В. Гвоздев, Н. П. Генералова,
Н. З. Коковина, В. А. Кошелев (главный редактор),
Ю. М. Прозоров, А. В. Успенская, Л. И. Черемисинова*

А. А. ФЕТ

ТОМ ТРЕТИЙ

**ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ**

*Тексты и комментарии подготовили:
Н. П. Генералова, А. Ю. Сорочан, М. В. Строганов,
А. В. Успенская, Л. И. Черемисинова*

Санкт-Петербург
Фолио-Пресс
2006

ББК 84. Р 1

Ф 85

Все права на данное издание зарегистрированы.
Перепечатка отдельных глав и произведения в целом
без предварительного согласования с издательством запрещена.

Издание выпущено при финансовой поддержке
Курского государственного университета

Редактор тома В. А. Кошелев

Ответственный редактор тома Г. Г. Мартынов

Контрольный рецензент тома Б. В. Мельгунов

Фет А. А.

Ф 85 Сочинения и письма: В 20 т. Т. 3. Повести и рассказы.
Критические статьи. — СПб.: Фолио-Пресс, 2006. — 518 с.,
ил., 1 л. портр.

Третий том Сочинений и писем А. Фета в 20 т. включает художественную прозу — рассказы и повести разных лет и критические статьи, в которых поэт сформулировал основы своих эстетических воззрений и которыми включился в идейно-эстетические споры второй половины XIX столетия. Впервые в корпусе сочинений публикуются афоризмы Фета — мастера этой строгой, лаконичной формы выражения мысли художника.

ISBN 5-7627-0136-0

ББК 84. Р 1

На фронтисписе портрет А. Фета в форме
л.-гв. уланского Е.И.В. Наследника Цесаревича полка, в 1855 г.
(воспроизводится по кн.: Григорович А. История 13 Драгунского
Военного ордена генерал-фельдмаршала Миниха полка.
Т. II. 1809—1860 гг. СПб., 1912. С. 182)

© Генералова Н. П., Сорочан А. Ю., Строганов М. В.,
Успенская А. В., Черемисинова Л. И., 2005.

© ИРЛИ, 2005.

© КГУ, 2005.

© ООО «Фолио-Пресс», 2006.

**ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ**

КАЛЕНИК

(Посвящается И. П. Борисову)

Есть люди, которые разговаривают вслух сами с собою. Не знаю, чего это признак и как бы растолковал доктор Крупов подобную манию? Но я должен сознаться, что нередко вслух разговариваю сам с собою. В настоящую минуту делаю то же самое...

Все науки, все искусства стремятся к одной цели — постигнуть природу, разгадать ее отрывочные явления и привести их в духе нашем, так сказать, к одному знаменателю; а между тем исследователи, положа руку на сердце, должны признаться, что в объяснениях своих они говорят только слова и слова, а природа все-таки — древняя Изида. Да зачем нам ходить так далеко, рассматривать окружающий нас мир? Там бездна. Загляните в себя: что такое мысль? какой это своенравный, неуловимый деятель; а между тем у ней есть своя, строгая, беспощадная логика, сокровенная, загадочная, как самая мысль, не зависящая от нашей воли, и потому неизбежная, как судьба.

— Как это старо! говорите вы. Согласен. А между тем я беспрестанно в своих монологах натываюсь на подобную сторону, о которой благоразумные люди и не думают, потому что это бесполезно.

Да и как же мне не говорить об этом?

На днях случилось со мной следующее. После обеда у знакомых, отдыхая, в числе прочих, на креслах, в кабинете, я, от нечего делать, начал рассматривать лежавшую близ меня иллюстрированную натуральную историю. Между прочими прекрасно исполненными политипажами мне попалось на глаза изображение жирного, неуклюжего зверка, с совершенно круглой головой, на которой только обозначались места для глаз, а самых глаз не было заметно. Выражение всей фигуры, и особенно головы, самое бессмысленное и между тем в высшей степени злое. С первого взгляда на этот политипаж я почувствовал, что уношусь из кабинета куда-то далеко; и когда глаза мои прочли французскую подпись «Ziemsky», я невольно вскрикнул; но так громко, что присутствующие расхохотались. Разгадайте мне, каким образом в то же мгновение душа моя осветилась палевыми лучами заходящего южного солнца, наполнилась благоуханием вечерней степи, и мне показалось, что я опять молод, что там, далеко, бу-

дут меня поджидать каждую минуту... подождут перед чаем, подождут за самоваром, пред ужином, за ужином и наконец долго, долго после ужина. Мне представилось, что я опять вижу этого самого, дотоле мне совершенно незнакомого зверка ползущим по вспаханному полю и кричу своему кучеру: «стой!», вмиг соскакиваю с нетычанки и с изумленьем начинаю рассматривать движущуюся неуклюжую тварь дымчатого цвета, величиною, складом и движениями вполне напоминающую слепого четырехдневного щенка. Рассмотрев зверка довольно подробно сверху, я хочу перевернуть его ударом ноги, но в ту же минуту голос Каленика (моего кучера) раздается за мной: «Ваше благородие, хи, хи, хи! Не троньте, хи, хи! Если оно укусит, то надо умереть. Это зимское щеня, хи, хи». Испытав не раз неисчерпаемую мудрость Каленика, я перевернул зверя самым быстрым движением ноги, но сделал это весьма осторожно, причем зимское щеня показало две пары острых и весьма плотных клыков. «Хи, хи! Уж не рано! Ваше благородие, будет гроза, и мы, хи, хи, не доедем». Эти слова остудили мой естествоиспытательский пыл и через минуту мы уже полной рысью катились по ровной дороге, какие бывают у нас только в южных губерниях, да и то летом, когда жадная земля тотчас впитывает в себя самый проливной дождь, и теплый ветер снова сушит ее поверхность. Когда Каленик с обычным смехом пророчил грозу, небо было совершенно чисто, заря погорала цветом добела, а не докрасна раскаленного железа, а между тем, услышав «хи, хи — будет гроза» — и «хи, хи, не доедем», я убедился, что это так же верно, как то, что нам до места оставалось верст 15. Отчего же такая доверенность к изречениям Каленика? спросите вы. Очень просто: слова его постоянно оправдывались на деле, как это случилось на днях во французской «Иллюстрации» насчет незнакомого мне зверка. У француза он назван *Ziemsky*, а Каленик назвал его «зимское щеня», и я более верю Каленику. Усевшись в нетычанку, я пытался расспросить его: а почему ты знаешь, что это зимское щеня? «Хи, хи, как же не знать: оно зимское щеня». — «Кто же тебе это сказал?» Каленик не отвечал ничего, и на повторенный вопрос я услышал обычное «хи, хи, не могу знать». — «Ну, а почему же ты знаешь, что будет гроза?» — «Как же, хи, хи, сейчас будет». — «Да почему же ты это думаешь?» — «Как же, хи, хи, сейчас будет, хи, хи, вот-то нас проберет, хи, хи». Вполне убежденный, что виденный мною зверь зимское щеня и что сейчас будет гроза, я замолчал. Точно, не прошло пяти минут, как с юга понесло холодным ветром и на горизонте начали показываться тучи... Да что! это миллионная доля того, что знал Каленик. Жаль, что на все расспросы относительно источника его

сведений он, как истый мудрец, отвечал «не могу знать», а то, быть может, он открыл бы нам такие истины, до которых люди не дойдут и через 500 лет, а может быть, и никогда.

В 18... году, прибыв из командировки в штаб полка, я подал рапорт о назначении мне казенного денщика и, возвратясь, по окончании караула, в эскадрон, совершенно забыл о моем рапорте. Уже через месяц получаю из полка предписание донести о прибытии ко мне денщика Каленика Вороненки, которого я и в глаза не видал. Судя по предписанию, что он более трех недель уже должен быть у меня, я решился обождать еще несколько дней и потом донес, что таковой Каленик не явился. Когда я запечатывал рапорт, слуга доложил мне, что вахмистр привел тщетно ожидаемого Каленика. Я вышел в переднюю и увидел русого малого, лет 18-ти, с самым добродушным выражением лица, с серыми (сознаюсь в моем тогдашнем невежестве), мне показалось, самыми тупоумными глазами. «Где ты был?» — «Хи, хи, в Ершовке». — «Как в Ершовке? Стало быть, ты был здесь?» — «Хи, хи, никак нет». — «А где же ты был?» — «Хи, хи, в Ершовке». Я не предвидел конца нашему разговору, но вахмистр лукаво посмотрел на него и проговорил скороговоркой: «Ваше благородие, ему адъютант изволил дать бумагу, да отправить сюда за 12 верст, в Ершовку, а он вспомнил, что в его губернии, изволите видеть, есть Ершовка, да туда. Я уже изволил ему говорить, что он не в такцию попал, а теперь, как прикажете?..»

«Ну, брат, живи смирно и делай что велят, так все будет хорошо». Лицо Каленика приняло какое-то торжественное выражение, и он голосом задушевного убеждения сказал: «Рад стараться». С этих пор во все продолжение службы его у меня я не мог им нахвалиться. Правда, все поручения он исполнял по-своему; но как результат оказывался удачным сверх ожидания, то к странному исполнению все привыкли. Несмотря на то, что, как истый хохлёнок, он был немного неряшлив, он тем не менее любил щеголять. Впрочем, щегольство его простиралось на три предмета: на красную рубашку, на новые сапоги, которые он шил всегда сам с особенным удовольствием, и на голубой картуз с кисточкой. Картуз этот непременно должен был быть бирюзового цвета с доньшком на китовом усе, который Каленик неизбежно ломит, бывало, на другой день, так что картуз получал вид перегнутого листа для насыпания дробы в узкогорлую бутылку. С лошадьми, за которыми он смотрел у меня пять лет, он тоже обходился по-своему. На водопой водил обыкновенно к реке всю четверку; а когда лошадей бывало более, то и в этом случае водил всех разом, и каждый раз, когда лошади с водопоя начинали играть, упускал, заливаясь со смеху, заводных, и падал с той,

на которой сидел. Эта проделка повторялась решительно каждый день. Чувство страха было для него недоступно. Однажды слуга мой послал Каленика отыскать по деревне сливок к чаю. Ничего о том не зная, я сидел в своей комнате. Вдруг сдерживаемое судорожное «хи, хи, хи» раздается в передней. Я догадался: верно, что-нибудь случилось. Выхожу и вижу Каленика, который едва в состоянии, от смеха, держать окровавленными руками горшок с молоком. Полушубок и штаны его висели клочьями.

— Что это с тобой?

— Хи, хи, хи, хи.

— Что это?

— Собаки съели. Собак двадцать. Уж я бился, бился... коли б не баба, съели бы совсем. — И он снова залился истерическим смехом. При переездах днем Каленик никогда не кричал на лошадей, зато ночью, как бы она ни была светла и хотя бы ехать было не далее пяти верст, он непременно кричал: «Эх, коники! не дайте в поле помереть!» Не проходило недели, чтоб к экипажам не приделывали нового дышла. Где и как он ухитрялся их ломать, я до сих пор не знаю. На охоте он был незаменим: не держав отроду ружья в руках, он с козел так зорко все видел, что был мне чрезвычайно полезен.

Если вы бывали в Малороссии, то знаете, что речки, впадающие в Днепр, образуют широкие луга, покрытые во время разлива водою, а в остальное время года озерами, оставшимися от половодья. Когда вода спадет, озера эти быстро зарастают исполкинским камышом, и как, по причине топкости берегов, нельзя пробраться до воды, то дикие утки тысячами водятся в этих озерах. По кочковатому, покрытому мохом и осокою побережью озер, в пролет бывает множество бекасов и дупелей, которые, сколько я заметил, ежегодно держатся на тех же местах, хотя кругом раскиданы совершенно такие же болота. Линия половодья обозначена уступом рассыпчатого песку ослепительной белизны. С этого уступа уже начинается уровень степи и, взойдя на него, можно далеко обозревать извиющуюся долину. В самое знойное время редко ездят по топкому лугу, и потому дорога идет обыкновенно под самым песчаным берегом.

Служебные обязанности заставили меня переехать на постоянное жительство в штаб. Зная в двух верстах подобную местность, во время травяного продовольствия, в июне, довольно часто наведывался я насчет пролета дупелей.

Наткнувшись на сильный пролёт, я соблазнил командира своего, когда-то страстного охотника и отличного стрелка, поехать со мной на охоту. Ружья у него сохранились прекрасные,

но Медор был только страшен для слоняющихся по пустому рынку свиней и собак, а отнюдь не для дичи. Итак, нам пришлось обходиться моим Трезором; а как генеральские кучера не знали местности, то решено было, что нас повезет Каленик. У болота мы оставили нашего автомедона на дороге, а сами потянули влево по кочажнику, переходя от времени до времени по траве, досягавшей нам до колен. Генерал сначала объявил, что вовсе не нуждается в собаке; но, убив пару дупелей, тогда как он не взогнал ни одного, я заметил, что, вместо удовольствия, могу только возбудить в нем досаду. Я свистнул Трезора и стал равняться так близко, что мы могли охотиться с одной собакой. К счастью, дупелей было много, и старый охотник, казалось, был совершенно доволен.

— Нет, идите вы направо, а я левее: поищу уток, — сказал он, настрелявшись вдоволь. Так мы и сделали. Вскоре я услышал выстрел и вслед за тем голос зовущего меня генерала.

— Накличьте, пожалуйста, сюда собаку: я видел, проклятая утка перелетела вон за тот камыш и, как перчатка, упала на той стороне.

Мы с трудом перебрали через воду и поиски начались. Напрасно собака более получаса описывала круги по высокой траве — утки не было как не было!

— Посмотрите, ваш Каленик делает какие-то телеграфические знаки...

Я взглянул: точно, Каленик, от которого мы ушли не менее версты, в азарте махал своим классическим картузом. Не понимая ничего, я начал отвечать ему тем же, делая знак, чтоб он подъехал, хотя внутренне отчаивался в возможности подобного подвига. Вероятно, он понял меня, потому что мы увидели, как он начал поворачивать лошадей то вправо, то влево, как лошади начали спотыкаться и обрываться в болото и как, наконец, нетычанка быстро понеслась к нам. Но на половине пути новое болото, и на этот раз Каленик решительно остановился.

Долго не мог я понять, что он кричал, наконец разобрал: «правее!» Я подался вправо. «Еще правей, подле генерала!» Мы оглянулись: в двух шагах за генералом из травы торчал неподвижный хвост собаки. Я подошел и поднял утку.

Охотники знают, как трудно на большом, беспредметном пространстве, даже и вблизи, с точностью определить место, на которое упала убитая птица.

— Ну, батюшка, вам не нужно никаких Трезоров!

— Он у меня всегда так, — отвечал я. — Каленик возьмется за какое-нибудь дело, вы посмотрите и подумаете, что он это делает на смех; подождите — увидите, что он прав.

Знаете ли вы, что такое учебный плац в степной губернии? Это произвольно большое пространство той же степи, на котором место учения меняют почти ежедневно, во избежание пыли там, где на прошедшем церемониале трава выбита копытами... Чисто, гладко. Там и сям торчат, Бог весть, когда и для чего насыпанные курганы. Ни плетня, ни рва, ни канавы — гарцуй хоть до Одессы.

Видите ли вы эту кожаную сигарочницу? Лет шесть тому назад, добрый товарищ моего детства, а впоследствии однополчанин подарил мне ее, прощаясь со мной в Бирюлеве. Где-то теперь эта буйная головушка? Так же ли горячо бьется это нежное, благородное сердце? С тех пор я не расставался с моим подарком. Однажды на ученьи, скакав с линейными унтер-офицерами, я как-то обронил сигарочницу и, возвращаясь домой, вслух на это жаловался, считая, разумеется, сигарочницу погибшей. Раздосадованный потерей, я забыл не велеть отпрягать лошадей. Между тем, отдохнув немного, вспоминаю, что мне нужно ехать.

— Вели подавать.

— Дрожки отложены.

— Вели запречь.

— Некому.

— Как некому?

— Каленик сел на белогривого, да куда-то поскакал.

Недоумевая решительно, куда он поскакал, я, в нетерпении, вышел на улицу и стал глядеть направо и налево, не покажется ли он с которой-нибудь стороны. Ни слуху, ни духу! Не знаю, долго ли я в волнении ходил перед воротами, как вдруг вижу под шлагбаумом показалась фигура Каленика, на белогривом, идущем самым флегматическим шагом. Я стал махать, кричать — ничто не помогало. Каленик приближался, но так медленно, что терпение мое истощалось. Наконец, когда до него мог долетать мой вопль, я закричал ему: «марш-марш!» С этим словом облако желтой пыли, как вихрь, понеслось ко мне, и когда лошадь ткнулась на всем скаку, чтоб круто поворотить в ворота, что-то шлепнуло, и я увидел Каленика распростертым на песке. Лошадь, привыкшая к подобным эволюциям, сделала страшный прыжок, вскинула задние ноги на воздух и, взвизгнув, понеслась в конюшню.

— Что ты, ушибся?

— Хи, хи, хи! Никак нет, ничего.

— Куда же это ты ездил?

— На плац.

— Зачем?

— За торбочкой.

Хладнокровный взгляд Каленика вполне убеждал меня, что он, как по всем вероятностям должно было ожидать, съездил даром, и я принялся его бранить.

— Ведь вот, если б у тебя хотя на грош было толку, поехал ли бы ты в степь искать то, чего, должно быть, никогда и не видал.

— Никак нет-с, хи, хи, хи.

— Что никак нет-с? Так зачем же ты ездил?

— За торбочкой.

И, в подтверждение своего толкования, он достал из-за папки сигарочницу.

Я замолчал. Мне стало стыдно. Как ни был я убежден в мудрости Каленика, но бывали случаи, когда я не дерзал ей слепо доверяться. Он иногда с самым добродушным хладнокровием, с самым чистосердечным смехом и, к тому же, без всякой видимой необходимости, решался, во что бы то ни стало, сделаться сказочным героем и затмить славу Геллы, Европы и всех баснословных плователей и путешественников. Однажды в той же нетычанке я возвращался с товарищем с бала. Это было на масляной. Тонкий слой накануне пропорошившего снега покрывал промерзлую землю. Ночь была месячна и так же светла, как петербургские летние ночи. Мы ехали шибко. Гладкая дорога гудела под нами, как чугун. Товарищ мой прислонился в правом углу нетычанки и, вероятно, дремал; а я, для совершенного спокойствия, спустился с сиденья и, плотно завернувшись в шубу, заснул. Внезапно прервавшийся гул и сотрясение разбудили меня. Приподымаюсь — Боже! что это такое?

Узнаю знакомую гнилую речку, деревню на противоположном берегу и вижу, что Каленик, шикая, спускается на лед. Я схватил его за плечо и крикнул: «Стой!»

Он остановил лошадей.

— Куда ты едешь?

— Дорогою.

С этим я не мог согласиться. Дорога, как известно всему миру, шла шагов на сто левее, да и по ней-то я не советовал бы никому пускаться четверкой в ряд в феврале. А там, куда правил Каленик, был омут, на котором лед даже и в декабре никогда не бывал надежен.

— Дай мне вожжи, а сам ступай пешком на ту сторону; да найди перевозчиков, которые лучше нашего знают, что тут делать.

Во время разговора товарищ мой очнулся и вполне одобрил мое распоряжение. Каленик слез с козел и начал перебираться через реку, стегая перед собой кнутом лед.

— Посмотри, посмотри, что это он делает? — спросил товарищ: — экой болван! Хоть бы шел левее, а то воображает, будто лед, выдерживая удар кнута, обязан сдержать и кучера.

Я ничего не отвечал и смутно чувствовал, что Каленик просчет себе дорогу. Наконец он стал приподниматься на противоположный берег и закричал своим визгливым фальцетом: «Эй, подите сюда!» Никто не отзывался. Он пошел вдоль деревни, немилосердно стуча в ставни и двери каждой хаты — то же безмолвие. От белых стен, освещенных луною, темная фигура Каленика обозначалась так резко, что мы могли видеть малейшее его движение. С четверть часа ходил он безуспешно от одних дверей к другим; но вдруг стал бросаться туда и сюда, как сумасшедший, и в то же время слышался такой страшный визг, вой и лай, что даже становилось жутко. Уж не напали ли опять на него собаки? но в таком случае он бы кричал, а выходит, что он гоняется за собаками. Несколько минут адский гам не умолкал, и вот в одном окне засветился огонь, и вслед за тем дверь хаты отворилась. Перевозчики, один за другим, вышли на улицу, перешли еще левой дороги через лед, отпрягли лошадей и перевели их по одной на ту сторону. Нетычанку перекатили на руках. Как правдивый рассказчик, я должен добавить, что один из вожатых, захотев, вероятно, скорее до нас дойти и избрав для этого тот путь, по которому перешел Каленик с кнутом, едва только начал пробовать лед своим шестом, провалился по пояс.

Сообразя все эти обстоятельства, я невольно подумал: а может быть, Каленик тут бы и четверкой проехал? убеждение его разве ничего не значит?

Впрочем, нет, он не имел твердых убеждений. Убеждение предполагает анализ, а мудрость давалась ему синтетически. Он только непостижимым чутьем угадывал кратчайший путь к истине, не зная и нисколько не заботясь о том, дойдет ли он до нее.

Вот вам на это доказательство. Вы помните, как предсказание Каленика насчет грозы заставило меня немедленно прервать изучение зимского щеня и как неожиданно скоро показавшиеся тучи оправдали слова моего «астронома». Не думайте, что это была острота — нет: это прозвище Каленика, под которым знал его весь полк. Кто первый его им пожаловал — история умалчивает.

— Что тебе вздумалось в такой жар потчевать нас ветчиной? Пошли за редисом.

— Некого. Вестового я услаб седлать Арлекина, а человек ушел со двора.

— Пошли своего астронома.

Я назвал бы Каленика скорее метеорологом, но и астрономом его можно было назвать. Он отлично знал, или, лучше сказать, чувствовал, какая теперь четверть луны, который час дня или ночи, и сколько прибыло или убыло во дне часов.

Возвращаюсь к рассказу, или, лучше сказать, к путешествию. Предсказание Каленика сбывалось во всей силе. Тучи, заволакивая горизонт, темным полушаром быстро надвигались на еще мерцающий вечер, как черный налечник опускается на свежее лицо молодого воина. Дождевые капли начали тяжело стучать по кожаному фартуку нетычанки, и вслед за тем полило как из ведра. Оставалось ехать всего верст десять, то есть версты четыре до Чуты, версты две за Чутою — и, увы! версты четыре Чутою. Вся правая сторона Днепра покрыта, как известно, дремучими лесами, составляющими, так сказать, сплошную массу, раскидывающую свои отрасли на бесконечные пространства. Одна из подобных отраслей, пересекающая Киевскую и половину Херсонской губерний, называется Чутой. Что это за славный лес! Чей глаз привык скользить по чернеющему строю чахоточных елей и задумчивых сосен, тот не может понять, какое впечатление производит на путника, утомленного однообразием огнедышащей степи, этот свежий, благоухающий, идущий к вам навстречу исполин. Вы вступили в его очарованный круг. Какая целебная прохлада! как тут легко дышать! какая сила в каждой ветке, в каждом листе! Ни одной березы, ни одной сосны — все широколиственный клён, столетний дуб и щеголеватый берест.

Весною все лужайки сплошь покрываются какими-то нежными голубыми цветами, напоминающими незабудки. Нигде в другом месте не видал я таких цветов. Ленивый до последней крайности, я во всю жизнь свою не постигал значения слова «гулять». Но, проезжая весной через Чуту, я не выдержал, соскочил с тарантаса, пешком прошел весь лес и бессознательно наравал целый сноп этих очаровательно-насмешливых и свежо-задумчивых голубых цветов.

Но всякая вещь, как угодно было заметить жившим до меня мудрецам, имеет свою хорошую и худую сторону. В Чуте я вам указал на хорошую — постараюсь указать на скверную.

Степной грунт имеет свойство, несмотря на страшную силу палящего солнца, не умеряемую никакой тенью, хранить долгое время влагу. Это доказывает обильное произрастание. Вследствие этого, легко понять, почему в тенистой Чуте, куда лучи проникают с трудом, грунт земли всегда влажен, а дорога, пересекающая лес, почти круглый год до крайности разъезжена, выбита, грязна и до того скользка, что самые острые подковы не

помогают лошадям на ней держаться. Дорога эта, или, как говорится, просека, довольно широка, но и днем не разберешь, держаться ли правее или левее, потому что и там соскользнешь в ров, и тут лошади попадают.

Черный рыцарь окончательно надвинул свое забрало, и темнота с трудом позволяла различать дорогу. Дождь продолжал лить. Вот направо от дороги засветился огонь — это дом лесничего, окруженный службами, в которых помещались инвалиды лесной стражи.

Если бы я не боялся слишком часто прерывать нить повествования, то рассказал бы, как хороша эта маленькая вилла, вдаль от людей приютившаяся у самого въезда в просеку. Мне всегда казалось, что громадный дуб с каким-то особенным чувством протягивает свои мохнатые сучья над щеголеватой остриженной камышовой кровлей. Как видна любовь к порядку в этом тщательно и красиво огороженном цветнике, в этих отлично содержанных клумбах! какую невозмутимой тишиной веет от этих пышных кустов белой акации! как милы и просты эти кисейные занавески на окнах! Верно, между здешними обитателями есть женщины. Мне помнится, однажды в растворенное окно я видел пяльцы...

В настоящую минуту, под влиянием холодного дождя, промочившего меня до костей, яркий свет, косвенно падавший из окон на дорогу, не возбуждал во мне ни малейшего сочувствия к обитателям приюта; напротив, мне было досадно, что людям тепло и светло, а я дрожу от холода, и передо мной во мраке, едва пронизываемом для глаз, сияет четверугольная рама просеки, наполненная тьмою. Ночевать здесь я ни за что бы не решился. Стоило ли для этого гнать лошадей и мокнуть? Мне хотелось поскорей туда, за Чуту: там еще светлей, еще теплей, там я даже буду радоваться, что промок, а все-таки приехал. Брать проводника я тоже не хотел, да и к чему? Он столько же увидит, как и мы, то есть ровно ничего. Все это я передумал перед въездом в просеку и, молча, на этот раз совершенно отдался на волю Каленика. Он тоже молчал и продолжал гнать рысью. Но вот мы въехали в лес; нетычанку начинает швырять из стороны в сторону; слышно, как лошади скользят и ошибаются ногами.

— Да поезжай шагом!

— Хи, хи, хи! — И он поехал шагом.

— Бери правей, или ты не слышишь, мы катимся в ров? Да куда ж ты влево-то опять забираешь? Пусти лошадей. Ведь вот тебе, дураку, и сказать-то ничего нельзя. Распустил лошадей, они и падают. Которая упала?

— Копчик за вожжи дернул.

— Так слезь да распутай его как-нибудь.

— Хи, хи, хи. Вот так штука!

Легко было мне сердиться и читать наставления, но придержаться в этом случае какого-нибудь правила было не только нелегко, но положительно невозможно. Тьма была такая, что я не видал собственных рук. От времени до времени молния на миг освещала дорогу, а громовые раскаты пробуждали в лесу какой-то странный, зловеющий ропот.

Хотя кони наши были довольно бойки, но всем известно, как темнота умиряет самую прыткую лошадь. Во мраке она везет усердно и делается крайне покорной. Одного можно было ожидать: не вздумалось бы задумчивому волку, которых здесь более чем где-либо, полюбоваться нашим путешествием. В таком случае я бы не взялся сказать, чем могло бы кончиться наше полуденное ристание по лесу... Дождь не переставал лить. Мы подвигались вперед со скоростью версты в час. Блеснула молния, и я вижу, что мы подъезжаем только к первому мостику, а их еще впереди три.

— Что, Каленик? Выедем мы из лесу?

— А кто его знает? Хи, хи, хи.

В этом хи-хи-хи было столько искренней веселости, оно звучало так же визгливо, как будто я застал Каленика на пороге конюшни над неспелым арбузом и побранил, зачем он ест всякую дрянь.

Тут я в первый раз понял, что у него нет убеждения. Одно чутье, один гений — и больше ничего. Но, увы! наши способности развиваются всегда одни на счет других. И Каленик подвергся общему закону развития. Он положительно знал уже, что такое пепероски, находил у лошадей хвинтазию, утверждал, что морды у них оттого искусаны, что они в стойлах по ночам заводят канитель и наконец торжественно пришел просить, чтоб ему сшили плисовую поддёвку.

Вероятно вследствие образования, он уже считал для себя неприличным отвечать на вопросы о погоде, а я подозреваю, что он совершенно утратил свое второе зрение и вошел в чреду обыкновенных людей, о которых говорить более нечего.

ДЯДЮШКА И ДВОЮРОДНЫЙ БРАТЕЦ

Начало и конец

Мазурка приходила к концу. Люстры горели уже не так ярко. Многие прически порастрепались, букеты увяли, даже терпеливые камелии видимо потускнели. Адъютант, танцевавший в первой паре, объявил, что это последняя фигура.

— Посмотрите, как весел Ковалев, — сказала моя дама, обращаясь ко мне, — как ловко он несется с С...вой. Сейчас видно, что он счастлив. И точно, она прехорошенькая!

Я кивнул головой в знак согласия.

— Отчего вы так милостиво киваете головой? Неужели вы не удостоиваете сказать слова в честь красоты С...вой?

— Когда солнце на небе, звезды...

— Пожалуйста, без общих мест. Право, она прелестна, да и Ковалев такой милый...

— Весьма приятно будет мне передать ему ваше лестное о нем мнение.

— Это не одно мое мнение, но всех, кто его знает.

Между тем мазурка кончилась. Стулья загремели, и я раскланялся с моей дамой.

— На два слова, — сказал Ковалев, взяв меня под руку и отводя в соседнюю комнату. — Мы скоро уезжаем?

— Сейчас же.

— Как это можно? С последнего собрания, да еще и перед походом.

— Мазурка кончена. Что ж тут делать?

— Верно, будет полька, а может быть, и галопад.

— Бог с ними!

— Ну так слушай: у меня есть до тебя просьба.

— Сделай милость...

— Ты знаешь, мы выходим послезавтра в поход, а вам, как жется, назначено месяца через два.

— Да.

— Когда вы выйдете, кто поступит на ваши квартиры?

— Никто.

— Ты где оставишь лишние вещи?

— В моем казенном домике.

— Кто за ними присмотрит?

— Поселенный инвалид.

— Позволь и мне прислать к тебе свой хлам; воз целый наберется. Чего там нет! Седел, мундштуков, корд, мебели, книг, старых бумаг — одним словом, всякой дряни... А нам велено очистить квартиры под резервы.

— Пожалуйста, не ораторствуй, а присылай.

— Спасибо. Прощай.

Я уехал в гостиницу, переоделся и в восемь часов утра был уже в штабе полка.

Когда полк наш, в свою очередь, выступил в поход, уланы, в которых служил Ковалев, были уже в Венгрии. В Новомиргороде нас остановили до особого приказа. Этого приказа мы ждали с нетерпением. Раз, когда мы собрались на плац перед гауптвахтой на офицерскую езду, к кружку офицеров подошел поручик П.

— Знаете ли, господа, печальную новость. Сестра пишет мне, что Ковалев убит. Первое неприятельское ядро, направленное против их полка, попало ему в грудь.

Я не хотел верить этому известию — так живо представлялся мне веселый, счастливый Ковалев на последнем бале. Но сомнения исчезли, когда, недели через три, я прочел в газетах о смерти штабс-ротмистра Ковалева.

И война кончилась. Мы возвратились на старые квартиры. Куда мне было деваться с имуществом Ковалева? Я знал, что он был совершенно одинок. Да и вещи-то были по большей части офицерские принадлежности, не только другого полка, но и другого оружия, следовательно, купить их было у нас некому. Желая отыскать какие-нибудь положительные сведения о родине Ковалева, я стал рыться в его бумагах. В одном из сундуков с книгами мне попалась писаная тетрадь без начала и без конца. От нечего делать я прочел ее и нашел если не повесть, то по крайней мере несколько очерков. Дело идет о дяде и двоюродном брате. Под этим именем, выставленном мною наудачу в заголовке, представляю тетрадь на суд благосклонного читателя.

*De mortuis nil nisi bene! **

I

Журнал

— Ну-с! далее! — говорил Василий Васильевич.

— Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут — портовые города, — повторил я однообразным и несколько печальным напевом,

* О мертвых — ничего, кроме хорошего (*лат.*).

а между тем зрочки мои были обращены к окну и все внимание устремлено в палисадник. Там, на одном из суков старой липы висела западня, а посреди сугробов, на протоптанной тропе, лежали четыре кирпича, соприкасающиеся так, что образовывали продолговатое четвероугольное углубление, над которым, в виде крыши, опираясь на подчинку, стоял наискось пятый кирпич. Следовательно, и этот несложный механизм был тоже западней.

— Ну-с! далее!

— Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут — портовые города, — проговорил я таким тоном, как будто сторичею платил до последней копейки старый долг, а «портовые города» произнес на этот раз так, что всякий посторонний подумал бы: «Да чего же он еще хочет от дитяти? Уж если он и теперь недоволен, так Бог его знает, как ему угодить».

Но Василья Васильевича нелегко было удовлетворить в подобном случае.

— Вы урока не знаете, — сказал он, — извольте идти в угол.

— Помилуйте, Василий Васильич, да я знаю. Сейчас все скажу: Чичестер.

— А! вот, давно бы так! — заметил Василий Васильевич одобрительным голосом.

Но мог ли я не смотреть в палисадник? Три синицы вылетели из покрытого тяжелым инеем сиреневого куста и жадно бросились на пустую шелуху конопляного семени, выброшенную ветром из западни. Не нашед ожидаемой пищи, они порхнули в разные стороны. Одна начала прыгать по кирпичам, лукаво заглядывая внутрь отверстия; две другие сели на западню. Одна из них, вопреки вертлявой своей природе, сидела неподвижно наверху качающейся клетки и заливалась таким звонким свистом, что последние ноты его долетали до моего уха сквозь двойные стекла. Ветер, запрокидывая перышки на ее голове, придавал ей какой-то странный, надменный вид. Третья оказалась или самой глупой, или самой жадной. Она бойко прыгала по дверцам западни и так наклонялась к корму, что я с каждой минутой ждал — вот-вот она прыгнет на жердочку, и тогда...

— Ну-с! далее! — сказал Василий Васильевич.

В эту минуту западня захлопнулась, и пойманная синица заметалась по клетке. Стул опрокинут, чернила пролиты, и в несколько прыжков я уже на дворе. Ноги по колено в снегу, но зато рука в клетке и чувствует во власти своей эту вертлявую, нарядную синичку.

Я знал, где у Сережи (бедного мальчишка, взятого в дом для возбуждения во мне рвения к наукам) стояли пустые клетки.

Синица посажена, и я, раскрасневшись от холода и радости, вбежал в классную, крича во все горло: «Чичестер, Дорчестер»; но уж было поздно: Сережа, с смиренным видом исправителя чужих прегрешений, втягивал бумажной дудочкой пролитые чернила и вливал их таким образом снова в чернильницу. Василий Васильевич ходил разгневанный по комнате. А между тем самый-то главный птицелов был Сережа, и западня была его. Но, приводя в порядок классный стол, он вздыхал так укоризненно для меня, что Василий Васильевич не мог не видеть всего нравственного превосходства Сережи надо мной.

При взгляде на них я уже знал свою судьбу.

— Становитесь на колени! — сказал Василий Васильевич.

Я повиновался. Если мне и больно было стоять на коленях, то в этом случае я утешался примером спартанских юношей, с таким героизмом переносивших удары розог (едва ли не единственный факт древней истории, врезавшийся мне в память).

Стоя на коленях, я страдал душевно. Мне казалось, что уже поднялась суматоха; что горничные бегут из портной швальни в девичью, с холодными утыгами и горячими лицами; что дворовые загоняют распущенных по барскому двору кур и гусей; что за версту с горы спускается зимний возок и за ним кибитка с кухней, и что по всему дому вполголоса раздается: «барин едет». Все это живо рисовалось в моем воображении, и мне становилось страшно...

Я очень хорошо помнил, как батюшка, уезжая, говорил: «Да ты, Василий Васильич, заведи журнал и записывай мне каждый день, как он учился, как вел себя. Я знаю, он не захочет топтать в грязь мои труды, мой пот. Я езжу по имениям, хлопочу, на трудовую копейку нанимаю учителей — он это понимает. А ты, Василий Васильич, заведи журнал».

Я знал, что в настоящую минуту этот журнал исписан почти кругом, и видел, как Василий Васильевич (он спал в классной) вытащил его из-под своей подушки и стал в нем писать. Без сомнения, и сегодня будет написано, как это случилось по большей части: «Урока не знал, писал худо, в классе вел себя неприлично». Кроме того, матушка, войдя в класс, могла увидеть меня в таком унижительном положении. Начались бы увещания, отчаяние касательно будущей моей учености, а главное, матушка не преминула бы выставить на вид образцовое поведение и примерные успехи в науках и искусствах моего кузена, Аполлона Шамова.

— Вот ребенок, с которого ты должен брать пример. Он двумя годами только старше тебя, а посмотри, какие милые французские письма ко мне он пишет и какие прописи прислал в по-

дарок. Василий Васильич, отчего вы не можете дать ребенку этот почерк?

На это Василий Васильевич обыкновенно возражал: «Да помилуйте, сударыня, эти буквы все наведены по карандашу», — с чем матушка никогда, по крайней мере явно, не соглашалась. Стоя на коленях, под влиянием стыда и страха, я старался как можно скорее вбить себе в голову несносный урок, и когда Василий Васильевич через полчаса возвратился в классную, из которой уходил в соседнюю комнату потянуть перед топящейся печкой жукова, я, не дав ему времени уложить под подушку запрещенные орудия удовольствия, закричал:

— Василий Васильич, а я знаю...

— Не знаете.

— Извольте прослушать: Дублин, Портсмут...

Урок сказан, и я получил прощение.

А грозный журнал — Боже! как быть? Говорят, детство самое блаженное время. Для меня оно было исполнено грозных, томительных призраков, окружавших такую же тяжелую действительность. Единственная моя отрада в грустных воспоминаниях детства — сознание, приобретенное впоследствии, что меня воспитывали не просто, а по системе! Когда матушка, бывало, прикажет летом выносить на солнце отцовское платье и растворить в кабинете шкаф, то я, рассматривая мамонтов зуб, раковины и янтари на нижней полке, находил на второй, между старыми нумерами «Вестника Европы», все сочинения Ж. Ж. Руссо и, кроме того, «Эмиля» на французском, немецком и русском языках. Вот почему за столом, когда матушка начнет, бывало, столь убийственное для меня сравнение с кузеном Аполлоном, батюшка постоянно прерывал ее:

— Оставьте, пожалуйста! Может быть, я в другом ничего не знаю, но в воспитании я фанатик. Это моя идея! Аполлона сестра губит; он у нее и теперь смешон. Что это такое? Ребенок — старик. Нет, нет, это не моя метода! (В это время я обыкновенно наливал себе стакан холодной воды, хотя пить мне вовсе не хотелось.) Ты, Василий Васильич, более на прогулках старайся преподавать — это приятно остается в памяти, — где-нибудь в роще, на чистом воздухе...

Батюшка не знал, что все четыре легавые собаки всегда сопутствовали нам на ученых прогулках и до того разбаловались, что ничего не искали, кроме ежей и зайцев. Ужасный лай их сильно занимал меня; да и учитель, бывало, велит набрать Сереже ежей и несет к реке, любопытствуя видеть, как ловко они плавают, загнув кверху свое острое, свиное рыльце. Но каково бы ни было мнение посторонних, я всегда буду утверждать, что

родители сильно заботились о моем воспитании и не допускали ни малейшего уклонения от принятой однажды наилучшей системы. Вследствие этой системы до шести лет мне не давали мяса, а до совершенной перемены зубов — ничего, в чем заключалась хоть малейшая частица сахара. Батюшка, заметив несколько раз, как я, за обедом, прислонялся к спинке стула, даже приказал Ивану столяру отпилить эту спинку и нанести лак на отпиленных местах. Если я не съедал тарелки ненавистного мне супа из перловых круп и не съедал приводящих меня и поныне в содержание пирожков с морковью, меня после обеда запирали на ключ в отдаленную комнату. Батюшка любил эти пирожки, и они подавались два раза в неделю. Несмотря на бившую меня лихорадку, я принужден был есть их — разумеется, для моей же пользы.

На учителей ничего не жалели. У меня перебивало их много. Кроме иностранцев, все они были из семинарии и получали в год даже до 300 р. ассигнациями. Костюм у всех, при появлении, состоял из иверолисового сюртука светло-табачного цвета. Исключения не помню. Время пребывания их в доме можно было определить количеством платья каждого. Через полгода обыкновенно появлялся сюртук тонкого сукна — оливковый, через год такой же — черный, через полтора оливкового цвета шинель, и наконец, через два — черная фракная пара. Высота галстука соответствовала личным достоинствам и степени учености каждого. Большая часть наставников редко доходила далее оливкового сюртука; один Василий Васильевич дожил до фрака: поэтому позволю себе сказать о нем несколько слов. Это был человек с необыкновенными способностями вырезать из клёна ложки точь-в-точь такой же формы, как серебряные. Из обломков черепашки во время класса он делал, для горничных, перочинным ножом такие подвески, что вся девица не могла надивиться. По поводу Аннушки, я даже открыл, что Василий Васильевич был поэт. Описывать Аннушку не стану. Когда, впоследствии, я читал у Пушкина:

Коса змеей на гребне роговом;
Из-за ушей змиями кудри русы;
Косыночка крест-накрест, иль узлом,
На тонкой шейке восковые бусы,

мне всегда представлялась Аннушка. Все было точно так, даже бусы не забыты. Прибавьте к этому ее мастерство переделывать старые шелковые платья, которые матушка ей дарила, да по праздникам шелковый пояс, с распущенным концом, и ленты из-под блестящей тульской пряжки, подаренной чуть ли не Ва-

сильем Васильевичем. Однажды, ранее обыкновенного пришедши в классную, я нашел на письменном столике учителя, ушедшего на прогулку, лист бумаги, написанный красивыми, но весьма неровными строчками. Читаю:

Цветок милый и душистый,
Цвети для юности моей...

В это время слышались шаги, и вот причина, по которой я не знаю продолжения этих прекрасных стихов. Гордый человек был Василий Васильевич! Хотя он прибыл в дом в ивероловском сюртуке, но галстух постоянно подвязывал под самые уши, над которыми весьма авантажно красовались два густо напояженные завитка. Несмотря, однако ж, на гордость свою, спины Василий Васильевич не любил ни к кому оборачивать: там, на сюртуке, был изъянец, в виде продолговатого желтого пятна, появившегося, вероятно, от нечаянно раздавленной ягоды. Это пятно Сережа прозвал островом Мадагаскаром. Не знаю, провед ли об этом Василий Васильевич, но когда, бывало, матушка придет с чулком в класс и спросит: «Отчего вы, Василий Васильич, никогда не повторите с ребенком Африки?» Василий Васильевич, заметно краснея, отвечал постоянно: «Помилуйте, сударыня! да это чистая степь: стоит ли на нее время тратить; да и народ-то такой невежественный». При всем уважении к Василью Васильевичу, я не мог утерпеть, чтоб не сказать «Маман! да я знаю остров Мадагаскар». В подобные минуты лицо Сережи принимало самое кроткое выражение. Раза два, во время пребывания в нашем доме, Василий Васильевич, задав нам уроки, уезжал по своим делам недели на две. Тогда матушка вступала в дело преподавания. Я любил слушать, когда она с увлечением рассказывала о воспитании и подвигах Кира, о уважении Александра к своему учителю, о мученической смерти добродетельного Сократа. Из уроков Василья Васильевича помнил я только, что какие-то народы с шумом и яростью устремлялись — куда-то. В часы, назначенные для алгебры, матушка задавала нам задачи из арифметики, и тут я не раз ставил ошибкой единицы под десятками, отчего сумма, несмотря на точное соблюдение всех правил операции, выходила какая-то странная. Так однажды из $22 + 22$ у меня совершенно верно вышло 242. Такие решения задач кончались неутешными слезами матушки, что я объяснял наклонностью ее к истерике. Несмотря на подобные сцены, матушка прослушивала уроки из всех предметов, придерживаясь отчасти рациональной системы батюшки, по которой ребенок прежде всего должен понимать то, что учит. Заметив однажды, по певучести, с какою я, говоря урок из латинс-

кой грамматики, произносил: mare, -ris — море, cete, -torum — кит, матушка приказала мне заучить: mare — море, ris — море, cete — кит, torum — кит. Василий Васильевич остался недоволен подобным знанием, хотя и не объяснил мне, что ris и torum окончания родительных падежей. Из всего сказанного ясно, почему батюшка называл воспитание кузена Аполлона дешевеньким и дюжинным, прибавляя: «Нет, нет, это все цветочки, да листочки, и для моих детей этого мало».

Так проходили дни за днями. Однажды, месяца два спустя, после первого решительного приказа со стороны батюшки вести журнал, из дальней деревни пришел обоз с пшеницей, и с этой оказией матушка получила уведомление о скором прибытии батюшки. Не умею описать моего страха при этом известии. Пускай бы Василий Васильевич сказал разом, что я был неисправен, а то батюшка увидит на каждой странице, на каждой строчке: «худо», «нехорошо», «нерадиво», «лениво»... Нет, это выше сил моих! Весь день до вечера я был как в лихорадке. Наконец я решился. Когда Василий Васильевич вышел в столовую, я судорожно выхватил грозный журнал из-под подушки и, спрятав под полою, выбежал в палисадник, убедившись наперед, что никто меня не увидит. Выдернув одну из забытых подпорок, к которой летом привязываются георгины, я засунул ею журнал в одно из глухих окон в фундаменте, так, однако ж, чтоб мог, в крайности, достать его. На другой день к вечеру батюшка приехал. Выслушав приказчика, старосту, ключника и повара, он за чаем обратился к Василью Васильевичу с вопросом: «А как-во он учился?» — «Неудовлетворительно». — «Покажите журнал!» Василий Васильевич пошел искать тетрадку. Журнал куда-то заложился. Положение Василья Васильевича было не из лучших, хотя батюшка только и сказал ему: «Да как же это ты не вел журнала-то? Ведь я говорил тебе. Да нет, нет, да-таки нет, нет, Василий Васильич, так нельзя!»

Жаль мне было и Василья Васильевича, а тем не менее журнал со всей нисходящей линией покоится по сей день в известном окне фундамента.

II Приезд

22 июня, накануне именин матушки, часа в четыре после обеда, дом наш представлял совершенный образец тишины и порядка. Полы и окна вымыты мылом, чехлы на мебли надеты ослепительной белизны, кресла вокруг овального стола в гостиной расставлены самым правильным полукругом, с люстры снят

кисейный чехол, и все рожки уставлены восковыми свечами. Матушка сидела у растворенного окна за какой-то работой. Батюшка расхаживал по зале, от времени до времени подходил к тому же окну и, поглядев на большую дорогу, повторял: «Странно, однако ж, что сестра не едет». — «Да, пора бы им приехать», — замечала матушка. «От постоянного двора, где они ночевали, всего верст сорок; да верно на пароме задержали». Матушка еще накануне объявила мне, что тетушка Вера Петровна и дядюшка Павел Ильич привезут кузена Аполлона, и тогда я увижу, какой это воспитанный мальчик. Зависть к Аполлону уже заочно так сильно развилась во мне, что я боялся его увидеть. Но делать было нечего. Еще несколько часов — он придет и совершенно затмит меня. Все напоминавшее о завтрашнем дне приводило меня в содрогание. Дворовые девочки, возвращавшиеся из кухни, где Павел кондитер заставлял их завертывать конфеты, батареи оправленных свечей с затейливыми бумажными кружевами в лакейской, груда складных столов, запятанных под лестницей, ведущей в мезонин, даже синий полуфрачок с ясными пуговицами и батистовый воротничок, на котором рукою Аннушки с таким искусством вышиты бабочки, напоминали неизбежное торжество Аполлона и были мне противны.

Из-за рощи по большой дороге показалась тяжелая желтая карета шестериком и за ней крытая бричка тройкой. «Это они!» — воскликнула матушка. «Да, это сестра», — сказал батюшка, и вслед за тем все, даже Василий Васильевич, отправились на крыльцо. Карета остановилась; два худощавые лакея в поношенных серых ливреях и совершенно измятых треуголках, быстро соскочили с запяток и стали по обеим сторонам дверцы. «Ну, Евсей! Андриян! Ах, какие вы!» — послышался пискливый, резкий женский голос из кареты. Дверца отворилась, и подожка, стукнув восемь раз, образовала пеструю лестницу такой вышины, какой с тех пор не удавалось мне видеть ни при одном экипаже. «Ах! Павел Ильич, ком ву зет!»* — послышался тот же голос. «Сейчас, матушка. Дай хоть ноги расправить, а то вот тут аполлоновы книги в коробке». — «О, ком ву зет!» В это время седой старичок в коричневом сюртуке, круглой шляпе, белом галстуке, с огромной махровой манишкой, наподобие цветной капусты, и с синим клетчатым платком в правой руке, поддерживаемый двумя лакеями, начал, спотыкаясь, сходить по ступенькам. «Вот и дядюшка Павел Ильич!» — сказал батюшка, обращаясь ко мне. Я подошел к руке. «Прошу полюбить», — сказал Павел Ильич, целуя меня в голову. «Да какой он у вас

* Какой вы! (фр.).

молодец!» Вслед за дядюшкой свежая и проворная старушка, лет шестидесяти, без помощи лакеев, смело сбежала по ступенькам и бросилась попеременно осыпать частым рядом поцелуев батюшку, матушку и меня, приговаривая: «О! о! мон шер — о! о! ма шер — о! о! мон шер...»

Тетушку я знал еще прежде. Ее живое, бойкое, хотя покрытое морщинами лицо, осененное широкими блондовыми оборками чепца, большие, быстрые, голубые глаза и вся фигура составляли резкую противоположность с наружностью ее супруга, выражавшей невозмутимый душевный мир и желание покоя. Костюм тетушки никогда не изменялся: серизовое шелковое платье, красная кашмировая шаль и зеленый бархатный ридикюль. «Апишь! вене иси! — закричала тетушка, — фет вотр реверанс а вотр тре шер тант; амбрасе вотр кузен. О, ком вузет эмаль!» * — прибавила она, обращаясь ко мне. Все общество отправилось в гостиную. Казалось, как взглянуть на Аполлона — страшно! а между тем я осматривал его с головы до ног. Старше меня двумя годами, он был значительно ниже меня ростом, хотя на нем был фрак бутылочного цвета, галстук с огромным бантом и на носу огромные стальные очки. В гостиную он вошел заложа обе руки за спину под фалды фрака, которыми болтал с самодовольным видом. «Апишь! вене иси, фет вотр реверанс!» Но это увещание оказалось совершенно излишним, потому что Аполлон, расправляя свои хитровзбитые волосы, выделявал руками, ногами и плечами какие-то ловкие штуки, что меня бросало в краску от зависти. Между старшими начались разговоры. Я сел подле Аполлона. «Где вы намерены служить?» — спросил он. Я отвечал «не знаю» и сделал ему также вопрос. «Разумеется, в гусарах», — отвечал Аполлон и при этом так торкнул ножкой, что я не мог не видеть в нем будущего гусара. «Апишь! вене иси!» — раздался снова голос тетушки. «Вера Петровна! дай, матушка, хоть с дороги-то отдохнуть ребенку. Пусть познакомится с двоюродным братцем; пойдут погуляют». — «О! о! Этто правда, этто правда!» Но едва мы дошли до дверей гостиной, как снова раздалось: «Апишь! вене иси!» «Василий Васильич, а каково успевает ваш ученик?» — «Весьма порядочно», — отвечал, поклонившись, Василий Васильевич. «О-о! о! я знаю, он философ! Вене иси!» Это относилось уже ко мне. Я подошел, робко смотря на тетушку. «Чем ты хочешь быть?» — «Не знаю». — «У, у! мон шер, как этто можно? хочешь быть профессором?» — «Нет!» — «У! у! каков? А доктором?» — «Нет». —

* Апишь, идите сюда! поклонитесь вашей дражайшей тетушке, обнимите вашего кузена. О, как вы любезны (фр.).

«Почему?» Я не знал, что отвечать; но, подумав, сказал: «Мне не нравится». — «Почему?» Я молчал. «Почему?» Ни слова. «Да отвечай же, когда тебя спрашивают!» — заметил батюшка. «Я не люблю докторов», — произнес я шепотом и почти заплакал. «Ха, ха, ха! О! о! ком иль э костик!» *

Совершенно растерявшись, я отошел от тетушки, ища предлога ускользнуть из комнаты, где каждую минуту меня ожидали испытания подобного рода. К счастью, Аполлон вывел меня из затруднительного положения, выскользнув за дверь. Я с радостью побежал за ним. Не отстал и Василий Васильевич. «Аполлон Павлыч! не угодно ли вам взглянуть на нашу классную и на спальню братца, где для вас приготовлена кровать?» — «Нет, насчет книг не беспокойтесь; мне и свои надоели, а вот комнату посмотрим». Мы вошли в так называемую детскую. Высокий, худощавый лакей, с багровым носом, таскал узлы, коробки с книгами и чемоданы, размещая их вокруг постели, назначенной Аполлону Павловичу. «Андрян! а какое ты мне на завтра платье приготовишь?» — «Синий фрак, желтую пикейную жилетку», — проговорил худощавый лакей скороговоркой, встряхивая обеими руками несколько засаленные борты своего длиннополого сюртука, как бы желая придать им этим движением более свежий вид. «Вот еще что выдумал! Приготовь черный фрак с белыми брюками и белую жилетку». — «Маменька так приказывать изволила». — «А я тебе говорю: этого не будет». — «Апишь, кеске ву фет?» ** — раздался голос тетушки, почти вбежавшей в детскую. «Андрян! — прибавила она шепотом, — что вы будете играть завтра?» — «Что прикажете-с, — отвечал худощавый, не встряхивая на этот раз бортов сюртука. — Из “Слепых” можно-с, из “Калифа Багдадского-с”». — «Апишь, кеске ву фет?» — «Я не надену синего фрака. Это Бог знает что!» — «Парле франсе. О! о! ком ву зет!» ***

Несколько минут продолжался спор и кончился тем, что Аполлон таки наденет черный фрак.

Не только в первый день знакомства с Аполлоном, но во все время пребывания тетушки у нас я по возможности старался не попадаться ей на глаза. Наступил торжественный день именин. С утра Аполлон Павлович занялся туалетом. Когда принесли ему чаю, а мне молока, он уже спросил визгливым дискантом: «Андрян! а что ж Евсей нейдет?» — «Сейчас, сударь; пошел в кухню, щипцы под плитку положить. Одолжите, если милость ваша

* как он язвителен! (фр.).

** Апишь, что вы делаете? (фр.).

*** Говорите по-французски... какой вы! (фр.).

будет, — прибавил Андриян, обращаясь к Василью Васильевичу, — бумажки». Василий Васильевич, спрося, годится ли писаная, вручил ему старую тетрадь чистописания, на которой огромными буквами были изображены мнения Платона об ученых. Вошел Евсей, с гребенкой, заложенной за правое ухо. Порванные на клочки философские изречения в полчаса превратили голову Аполлона в какого-то бумажного дикобраза. Отлучившийся Андриян возвратился с щипцами в виде ножниц, с разрезанной иглой на концах. Началось припекание. «Евсей, ты подпалишь!» — «Не извольте беспокоиться. Семь лет выжил на Zubовском бульваре. Как еще маменька изволили жить в Москве, так всегда на балы убирал». Над прической Аполлона Евсей точно доказал, что недаром жил на Zubовском бульваре. Черный фрак, золотые очки, белый галстук, такие же панталоны и жилет придавали кузену вид не только зрелого, но даже бывалого человека. Недоставало одного: оказалось, что, несмотря на вершковые каблуки, он далеко ростом не вышел. Часам к одиннадцати кузен осмотрелся со всех сторон между двумя зеркалами и остался совершенно доволен. Мы отправились в гостиную.

Там все приняло вид еще более торжественный, чем накануне. Белые чехлы сняты. Светло-вишневый штюф мёбели так и кидается в глаза. Блестящие атласные драконы по матовому полю были вытканы так живо, что мне страшно было садиться на кресла, у которых на каждом грозное чудовище приходилось на самой середине. Гостей всех родов и видов уже было довольно, начиная от девиц, весьма ловко увитых воздушными шарфами, до Константина Исаевича, в светло-зеленом фраке с ясными пуговицами, подъехавшего на козлах тележки, в которой сидела его супруга, не к крыльцу, а прямо к конному двору. Дядюшка Павел Ильич явился тоже в полном блеске. Желтое лицо его еще более озарилось свойственною ему доброй улыбкой, хотя вся особа выражала сознание собственного достоинства. Галстук и пикейный жилет были на нем, если это возможно, еще белей вчерашнего: брызжи еще махровее и пышнее. Черный фрак на дядюшке был щегольской; в правой руке, вместо синего клетчатого, развевался белый платок. Однако ж можно было заметить, что художник, делавший фрак, не постиг искусства вгонять платье в талию: поэтому между поясницей и длинными фалдами фрака оказывался значительный просвет. Этому, правда, много способствовал большой живот Павла Ильича, нисколько не соответствовавший его худому лицу и слабым ножкам, заставлявший его, пошатываясь с ноги на ногу, сильно отклонять верхнюю часть тела назад. Дядюшка, как уже замечено, был исполнен собственного дос-

тоинства, поэтому несколько длинные и слабые руки его, предоставленные собственной тяжести, качались вместе с фалдами позади корпуса, уклонявшегося на каждом шагу от прямого направления. Когда Павел Ильич входил таким образом, нижний конец платка в правой руке выписывал по полу самые затейливые извивы. После завтрака началась выводка лошадей. Доезжачий, татарин, приводил двух новокупленных польских выжловок. Собаки были подмазаны и, по бесцеремонности, с какой он тыкал раздвинутой пятерней в их грязную шерсть, приговаривая: «Сама, бачка, камышница, из булоти звери гонить», заметно было, что сегодня, на радости, он забыл закон Мухаммеда. Костюм тетушки остался тот же, что вчера. Впрочем, это не беда. Все знали ее — знали, что у нее и у Павла Ильича отличное состояние, и все привыкли уважать ее. На Аполлона она смотрела с явным восторгом — и не без основания: встряхивая завитой головою, он раскланивался до того вертляво и развязно, что батюшка даже взглянул на него как-то странно, как бы желая сказать: «Ах, Господи Боже мой!» Я очень хорошо понимал, почему Аполлон предоставил мне полную свободу принимать приезжих сверстников: неприлично же было ему вязаться с детьми в полуфракках с отложными воротничками и которым, вдобавок, дают молоко вместо чаю. Расшаркавшись, он так же ловко стал обращаться с любезностями то к одной, то к другой девице, выбирая, как мне показалось, преимущественно тех, которые были целою головою выше его ростом. Видно было, что девицам весьма неловко, даже досадно. Не могу умолчать об одном обстоятельстве, врезавшемся мне в память. В числе гостей была приезжая из Москвы, полная, пожилая дама с дочерью, очаровательной блондинкой лет шестнадцати.

— Сестра Марья Ивановна, — сказал батюшка, взяв меня за руку, — позволь сыну моему поцеловать твою руку. Лиза, — прибавил он, обращаясь к блондинке, — вот твой троюродный брат.

Какое свежее, светлое создание была Лиза! Как воздушно окружали ее детскую головку роскошные кудри пепельного цвета! Сколько изящной чистоты было в разрезе ее карих глаз, осененных длинными, темными ресницами! Лиза посмотрела на меня так бойко и в то же время так приветливо, что, при всей моей застенчивости, я подошел и поцеловал ее руку — даже с удовольствием. Расточая то перед одной, то перед другой девицей любезности, Аполлон обратился наконец и к Лизе. Не знаю, что он сказал ей, не слыхал также, что она отвечала, но я видел, как она взглянула на него своими бархатными глазами, и как

эти глаза потом, казалось, забегали под опущенными ресницами, ища уклониться от его взгляда. Аполлон закинул голову, заложил руки под фалды фрака, круто повернулся на каблуках и отошел.

Между тем, время приближалось к обеду. Во всю залу накрыт был стол; в столовой накрыли тоже. Незадолго до обеда, взглянув нечаянно на дверь, я увидел буфетчика Аристарха, делающего знаки головой, чтоб я вышел из гостиной. Выхожу.

— Что тебе нужно?

— Батюшка, барин, пожалуйста на единый момент в буфет.

Мы вошли в буфет.

— Доложите, батюшка, папаше, не прикажут ли они взять Петрушу Шанинского, да Семена Буркинского?

— Зачем?

— Прислуги за столом совсем мало.

— Как мало?

— Да наших-то всего двенадцать человек: на два стола вернуться нечем. Оно точно, тетенькины за задним-то столом прислужить могут, да при большом-то, как им угодно, совсем мало. Жаркое хоть не подавай.

— Да неужели двенадцать человек не могут подать жаркого?

— Никак не возможно-с. С жарким на два блюда под телятину да под дичь надо четырех, под салат да под огурцы, под яблоки да под груши, под барбарис да под пикули, под вишни да под крыжовник — извольте сами считать, хоть на две руки пустить, на одну сторону четыре, да на другую четыре — восемь, вот и все двенадцать, а с атаманским и идти некому. В столовую-то я хоть Якова Петровича казачка с огурцами да с салатом пущу; а ведь тут, сами извольте знать, на чистоту-с.

Вполне убежденный, я отправился к батюшке. Наконец обе половинки дверей из гостиной отворились, и гости пошли к столу. Не скажу ничего о горячих, холодных, соусах, рейнвейне, портвейне, мадере, грушовке, вишневке, сливянке, терновке и проч.: все это было, как следует; не повторю ни одной поздравительной речи, но не могу пройти молчанием сюрприза. Затеяник, любезный сосед Яков Петрович, не упустил случая дать волю своему изобретательному уму. В ту минуту, когда лысый судья привстал и произнес: «позвольте поздравить вас», оглушительный залп раздался под самым окном. Яков Петрович велел шестью стрелкам придти из его дубовки, зарядить двойными зарядами и под окном, во время обеда, дожидаться, пока он махнет платком. Когда общее внимание обратилось на красноречивого оратора, никто не заметил, как Яков Петрович под-

скочил к окну и махнул платком. Дамы ахнули, некоторые мужчины засмеялись, а более всех смеялся сам Яков Петрович, показывая горстью то количество пороха, которым приказал зарядить ружья. Между тем, овальный стол в гостиной перед диваном оставили всеми возможными плодами, созревшими в саду и оранжереях или сохранявшимися с прошлого года. Подали свечи. Я ушел посмотреть, что делается в других строениях. Перед флигелем стояли телеги, наваленные перинами, подушками, одеялами, коврами и прочими постельными принадлежностями. Домашнего запаса этих вещей, по расчету, хватало в доме только для дам, а для мужчин посылали просить у соседей. В бане тоже светился огонь. Я побежал в баню. Там, без церемонии, в прибаннике настлали сена и накрыли его простынями, приложив подушки рядом к стене.

— Пожалуйте-с, — вскрикнул вбежавший в баню лакей. — Насилу вас отыскал. Весь сад выбежал, был на конном дворе, во фигурах-с — нигде нет-с. Пожалуйте; мамаша изволят требовать-с.

— Зачем?

— Не могу доложить-с. Вариятно, танцы будут-с.

В передней я уж услышал музыку, а вошед в залу, увидел одну из девиц за фортепьяно и судью, изо всей силы водящего смычком по пробке с донского. Полновесная тетушка, Марья Ивановна, подошла к фортепьяно.

— Пожалуйста, не торопитесь, я вам буду такт бить. Повторите еще раз. Венгерку-то вы так играете, а вот как начнете «Возле речки», всё торопитесь.

Заиграли венгерку и затем «Возле речки».

— Ты все бегаешь! — сказала матушка, обращаясь ко мне, — мальчик в двенадцать лет не может минуты пробыть с гостями! Право, я от стыда не знаю, куда глаза девать.

— Ну теперь можно, — сказала Марья Ивановна так громко, что ее услышали даже бывшие в гостиной.

По этому слову все общество вошло в залу и уселось вдоль стен. Дверь из внутренних комнат отворилась, и Лиза, легка и нарядна, как бабочка, с серебряными гремушками в руках, влетела в залу. Веселая улыбка озаряла ее свежее лицо. Мое, вероятно, выразило удивление и удовольствие, потому что Лиза, взглянув на меня, еще веселей улыбнулась. Не буду описывать смелой, ловкой пляски Лизы. На каждый такт отзывались ее серебряные гремушки, и каждый такт давал ее кудрявой головке новый, изящный поворот. Но вот она остановилась среди залы, присела и побежала вон. Заиграли «Возле речки». Лиза вошла снова. Вместо гремушек, в руках у нее газовый шарф. Из про-

ворной бабочки, она снова превратилась в ту скромницу, у которой я в гостиной поцеловал руку. Глаза ее снова не смотрели ни на какой определенный предмет, а из-под опущенных ресниц проливали на все свои кроткие лучи. Все движения были плавны и как будто робки.

Мне казалось, Лиза высказывала ими то пугливое чувство, которое шевелилось во мне. Я покраснел. Музыка умолкла. Лиза побежала обнимать матушку.

Раздались возгласы одобрения. Вертлявый старичок, в коротком сером казакине, кричал громче всех.

— Вот пляшет! вот так пляшет! — говорил он, обращаясь к Марье Ивановне. — Уж точно, что можно сказать...

— Полно, кум! — прервал его батюшка, — полно.

— Как? как? я только говорю: уж точно...

— Полно, полно! Вот взялся не за свое дело. Поверь мне, завтра ты не будешь так кричать.

— Виноват, виноват... ха, ха, ха! Есть немножко... — сказал вполголоса старичок и исчез.

В залу вошел лакей, неся небольшой столик, который он, к немалому недоумению присутствующих, поставил посреди комнаты. Вслед за ним вошел Андриян с двумя скрипками в руках и свертком нот под мышкой.

Хотя на нем был тот же долгополый, серый сюртук, но ни в каком костюме не мог бы он быть величавее, как в настоящую минуту.

— Апишь! комансе *, — послышался голос тетушки.

Аполлон Павлович подошел к столу и взял скрипку.

— Что? настроена? — спросил он.

— Как же-с, не извольте беспокоиться: во флигеле строил, да еще в сенях подстраивал.

Начался концерт. Боже! какое торжество! С каким искусством нарезывал кузен продольными штрихами по визгливым струнам в то время, как Андриян, самодовольно выбивая такт левой ногой, только переваливал смычок справа налево волнообразным движением руки. Я просто не взвидел света. Не знаю, что играли: из «Слепых» или из «Калифа Багдадского». Взгляну украдкой на тетушку Веру Петровну — в глазах ее торжество; взгляну на матушку, и, кажется, читаю в глазах ее укоризну. Кажется, все гости с сожалением смотрят на меня, а вот, никак, и Лиза тоже взглянула. Слезы, закипев в моем сердце, хлынули к глазам. Подкравшись к дверям, я выскочил во двор и, задышавшись, побежал в сад по мрачной аллее.

* Апишь! начинайте (фр.).

III Мизинцево

— Матушка Вера Петровна, — сказал дядюшка Павел Ильич за вечерним чаем, на третий день после именин, — приказала ты Глафирке укладываться? Завтра нам надо пораньше выехать. Загостились, пора и в Мизинцево.

— Это правда, — отвечала тетушка, — надо Апише заниматься.

— Ты лучше скажи: собираться в Москву.

— О, ком взует север *, Павел Ильич!

— Нет, матушка, знаю, что ты женщина умная, воспитанная, а все-таки женщина — мать. Тебе жаль расстаться с Аполлоном, да делать нечего. Теперь век не тот стал: без университета никуда. Ведь служить ему надо.

— О, ком де резон! **

— Ну, так куда ни сунься: в штатскую...

— Фи, мон ами! кескесе? ***

— Ну да и в военную тоже. Хоть ты и воспитала его дома, но что ж, когда требуется? Надо, надо; да и времени тратить не к чему. Ему скоро 15-ть; скажу — греха на душу возьму, — что 16-ть. Ведь один сын...

— А по-моему, — заметил батюшка, — в Москву ехать и в университет готовить надо, а лет прибавлять не следует. До 12-ти вовсе не учить, а там силы укрепятся — учи... Вот и моего бы надо в Москву, да мне некогда: ты знаешь мои занятия.

— Брат! — сказал дядюшка, — знаешь что? Буду говорить по-родственному. Сына твоего пора везти, сам ты говоришь. Тебе некогда, а я еду. Буду я жить в Москве домом. Я уже писал к княгине Васильевой, чтоб она приказала дворецкому сыскать мне дом, хоть и подальше от города, да просторнее. Она уж знает мой вкус. Кто держит экипаж, тому все равно где ни жить; а я не хочу, чтоб сын мой, таскаясь каждый день пешком на лекции, камни-то гранил. Будет сыну место, будет место и племяннику, а там сочтемся.

— О, ком се бьен! **** — воскликнула тетушка.

— Так скоро? Как это можно! — с испугом сказала матушка.

— Да так-то можно, — перебил батюшка, — что я, брат, принимаю твое предложение с благодарностью. Ты знаешь меня: что

* Как вы строги (фр.).

** Несомненно! (фр.).

*** Мой друг! Что же это такое? (фр.)

**** Как это хорошо! (фр.).

сказано, то свято. А там себе хоть утушку пой. Нет, нет, нет! без торгу, без торгу!

Я робко взглянул на матушку; она смотрела на меня. Сколько нежности, сколько горячей любви было в этом взоре! Моя лень, неспособность — все забыто: у нее хотят отнять сына!

— Все это хорошо, брат Павел Ильич, да одно меня затрудняет. Ты знаешь, я взял в дом сироту, Сережу: куда я его дену? Я хотел и его приготовить в университет.

— Что ж? — сказал дядюшка, — начал доброе дело, так и кончай. Прямо тебе говорю: я люблю умных детей. Давай и Сережу свезу, а там сочтемся.

— Ну так решено! Ты когда едешь в Москву?

— Через месяц.

— Так недельки через три мы приедем к тебе с женой да и привезем обоих молодцов.

На другой день желтая карета и троечная бричка уехали. Начали хлопотать о нашем отправлении в Москву. Матушка до того изменилась в отношении ко мне, что просила даже Василья Васильевича, остававшегося до последней минуты в доме, не слишком обременять ребенка. Легавые поступили в мое полное распоряжение, и я их прекрасно выездил тройкой. Обращение батюшки было то же. Мне кажется, этот человек во всю жизнь ни разу не изменил своей роли. Замечая иногда следы слез на глазах матушки, он всегда говорил: «Что это? сынка жаль? Нет, нет, это не моя метода любить. Нет, нет, нет! Помоему, поезжай себе хоть в Америку, да будь счастлив». Дни летели — по крайней мере для меня. Вот и голубую карету людьми подкатили под крыльцо. В девичьей Аннушка укладывала в вояжи мое и Сережино белье. Вот уже и каретные лошади пошли на постоялый двор на подставу. Рано поутру на другой день мы выехали. «Пиши, мой друг, нам почаще. Все пиши, что с тобою делается. Утешай нас!» — говорила матушка дорогой. «Охота тебе, право, — перебил ее батюшка, — говорить напрасно. Он и в самом деле подумает, что мы его просим. По-моему, сказано писать, так и будет писать — вот и конец. Нет, нет, без торгу, без торгу! нет, нет, это не моя метода!» Жаль мне было расставаться с родителями, но в это чувство подмешивалась бессознательная радость птицы, которую выпускают на волю.

Солнце садилось, когда мы въезжали в Мизинцево. Последние лучи ярко играли на окнах крестьянских изб, весело выгладывавших из-за кудрявых ракит. На многих кровлях виднелись белые трубы. На все село разносилась по заре звонкая песня жниц, возвращавшихся с поля. У самого въезда на барский

двор, на выгоне, стояла церковь, окруженная березами и новым зеленым забором. Видно было, что кровля храма подновлена недавно. Золотой крест, озаренный последними лучами заходящего солнца, как яркая звезда, горел на стемневшем небе. По правую сторону засверкал широкий пруд. Вот, наконец, господский двор и дом. Собаки залаяли, дворовые люди и девки зашныряли по разным направлениям — мы приехали. Та же радушная встреча со стороны флегматического дядюшки, тот же град поцелуев живой и вертлявой тетушки.

— Вене дан ма шамбр, мез ами. *

— Что это ты, матушка, все по углам любишь сидеть! Пойдемте лучше в гостиную.

— О, Павел Ильич! пойдём ко мне, а там уже в гостиную.

Тетушка бежала впереди нас по длинному и темному коридору. «Ментенан вуз але ше муа» **, — сказала она, отворяя дверь и вводя нас в небольшую комнату, где уже горели две сальные свечи. Подали чай.

— Да какой ты, брат, хозяин! — заметил батюшка, — на твою деревню люблю посмотреть.

— О, о! мон фрер! ком ву зет костик! *** Да он, никогда, ничего не делает.

— Толкуй, толкуй, сестра! Отчего же мужики-то так исправны? Ведь ты тоже полевым хозяйством не занимаешься.

— Да и я-то, брат, — процедил сквозь зубы Павел Ильич, — да и я-то ничем не занимаюсь. Земли у них довольно, лес под боком, строиться есть чем, люди мастеровые есть: отчего же им быть неисправным? Вот еще вчера приходил Фома да и говорит: «Нельзя будет в Москву ехать». — «Почему?» — «Да передняя ось в городских дрожках лопнула». Ты знаешь, брат, я ведь на своих в Москву поеду, да и дрожки со мной пойдут. Вот я и говорю: «Лопнула ось! Что ж делать? Не в город же посылать». — «Да нельзя ли, — говорит Фома, — к Яшке Мосинову на деревню свезть: он кузнец, говорят, хороший». Что ж ты думаешь, брат? Сварил ось, а я ему полтинничек в руку. Так как же им не жить-то хорошо?

Между тем я рассматривал тетушкину комнату. Особенного порядка в ней не было. На комодѣ стоял порожний графин, на столике валялась книжка, на одном из диванов разбросаны принадлежности женского туалета и на них сидела прѣмилая белая кошка.

* Пойдемте в мою комнату, друзья мои (фр.).

** Теперь вы идите ко мне (фр.).

*** братец! как вы язвительны! (фр.).

— Иль се дансе, — сказала тетушка, обращаясь ко мне. — Регарде.* У! у! кошка капошка, монтре ла ланг. ** (К великому удивлению моему, кошка открыла рот и высунула свой тонкий розовый язычок). Вене иси. (Кошка соскочила на пол). Дансе, дансе! ***

И кошка, поднявшись на задние лапы, ловко начала вертеться, как бы вальсируя. Несмотря на забавное искусство кошки и живой разговор между большими, мне все-таки было жутко в комнате тетушки. При живости ее характера и страсти экзаменовать, того и гляди, оборотится ко мне с вопросом. Дотянув кое-как до десяти часов, я, под предлогом усталости, подошел к рукам и отправился спать. Занялась ли тетушка ролью хозяйки дома, или на нее подействовал предстоящий отъезд сына, но на другой день она предоставила нам почти полную свободу, сказав не более пяти раз: «Апишь, вене иси» и «кеске ву фет?» Проснувшись, по привычке, довольно рано, мы с Сережей успели обегать весь дом и сад. В саду не нашлось ничего особенного. Старые фруктовые деревья — и только; но зато наружная и внутренняя физиономия дома представляла такую противоположность со всем, до той поры меня окружавшим, что врзалась в моей памяти до малейшей подробности. Снаружи двухэтажный деревянный дом, обшитый и покрытый тесом, имел вид огромного желтого тюка. Никакого архитектурного украшения, ни одной пристройки во двор или в сад. С первого взгляда даже легко было не заметить единственной двери у левого угла, черневшей под небольшим навесом, подобно старушке с зонтиком на глазах. Более всего удивило меня, как не падал этот огромный тюк на правую сторону, в которую значительный наклон его с первого раза бросался в глаза. Но как описать впечатление, произведенное на меня внутренним расположением и обстановкою комнат? Собственно жилые покои, выходящие дверьми на знакомый нам узкий и темный коридор, занимали с небольшим одну треть дома; вся же остальная его часть занята была парадными комнатами. «Вот гроб-то!» — воскликнул Сережа, когда мы вошли в залу. То же можно бы сказать и о всех парадных комнатах, почти совершенно пустых, потому что расставленные вдоль стен старинные стулья да в простенках полинявшие столы красного дерева с бронзовыми полосками вдоль ножек совершенно исчезли в огромных покоех. Вследствие заметного склонения дома на правую сторону окна и простенки дверей перекошились,

* Она умеет танцевать... Смотрите (фр.).

** покажите язык (фр.).

*** Идите сюда... Танцуйте, танцуйте! (фр.).

а самые двери, цепляясь за пол, не могли свободно отворяться. Нижние венцы капитальных стен, вероятно, подгнили, отчего ближайшие к ним половицы представляли крутой спуск, по которому подходящего тянуло к окну, как шар на трактирном бильярде в лузу. Оконные рамы были совершенным подобием гильотин, и на каждом окне стояла деревянная подставка в виде ружья. В диванной, в гостиных — словом, во всех комнатах поражала та же пустота. Как-то не верилось, чтоб тут жили люди, а между тем попадались и предметы роскоши. Больше всего понравились мне в гостиной, на столике перед зеркалом, составленным из двух кусков, обделанных в темную раму с бронзовыми украшениями, два бронзовые шандала. На четвероугольных подножиях стояли какие-то сухопарые гении. Каждый из них держал в руках змею, весьма целомудренно обвивающую концом хвоста тело своего властителя. У змеи оказывались три головы в венцах: эти-то венцы и были подсвечниками.

— Что вы тут делаете? — спросил мелкими шагами вошедший Аполлон, — пойдете на конюшню.

С этими словами кузен повернулся на каблуках и пошел из комнаты; мы с радостью за ним последовали. На заводской конюшне у дядюшки было много хороших лошадей. Аполлон Павлович с видимым удовольствием хвастал жеребцами, распорядился, кричал визгливым дискантом и уверял, что, когда он будет хозяйничать, у него не будет таких сонных выводчиков, как Фомка. Возвратясь с прогулки, мы застали стариков в столовой за чаем.

— Сестра! а ему молочка, — сказал батюшка, указывая на меня.

— О, мон фрер! кескесе?

— Да полно, брат, блажить, — перебил Павел Ильич. — Что ты его, как теленка, молоком-то поишь? Уж ты меня извини: в Москве молоко дорогое; там я не стану для него прихотничать...

— Да и зубы у него все переменились, — робко заметила матушка.

— Переменились у тебя зубы?

— Переменились.

— Ну, тепер с Богом пей чай, грызи сахар. Что нужды — дело сделано. Пусть помнит этот день.

Тетушка налила мне чаю. Это была первая чашка, выпитая мною в жизни.

— Тепер, брат, я поверю, что ты не хозяин, — сказал батюшка, озираясь кругом. — Можно ли с твоим состоянием жить в таком доме? Право, я боюсь когда-нибудь услышать, что вас с сестрой задавило.

— Эх, братец! И дед и отец жили в этом доме — даст Бог и я проживу. Что ж, по-твоему, что ли, целый век строиться? Ты о детях думаешь, а дети захотят все по своему вкусу — так ломать-то все равно, что новое, что старое. По крайности капитал цел.

— Полно, полно, брат Павел Ильич! Разве дети смеют так думать? Да знай я, что дети так думать да поступать будут, то я имение-то вот как (батюшка щелкнул пальцами), а сам в Америку.

— И в Америку ты, брат, не поедешь, и дети подрастут, и постройки твои не годятся. Полно хмуриться! Я резонабельно говорю. Ты вот лучше порадуйся со мною: я просто клад нашел.

— Что такое?

— Нашел, братец, скрипача — учителя для Аполлона. Как там ни говори, положим, Андриян тоже три года в оркестре высидел, а главное, свой человек, да ты уж знаешь меня: для сына ничего не пожалею.

— Где ж ты достал такого скрипача?

— Постой, братец, сейчас тебе его покажу. Эй, малой! (вошел слуга). Позови сюда Ивана. Анекдот, братец, анекдот. На силу уломал да упросил. На днях ездил я в губернию хлопотать о свидетельстве сыну. Скоро сказка сказывается, да не скоро делается. Вот, живу я на квартире, а по делам-то пустил Лычкина Якова Иванова.

— Знаю, знаю. Нашел человека!

— Я и сам-то, братец, знаю, да малой-то ловкий: всю подноготную раскопает. Раз, вечером, сидит он у меня за чаем; я ему ромку. «Вот, — говорит, — Павел Ильич, ром так ром! Вчера у Милованова купца на аменинах такой же подавали-с. Уж точно что, — говорит, — попиrowали; и танцы, дискать, были. Да какой же разбедовый скрипач там был — так я вам доложу-с. Играет вальсы, экосезы — ну там все этакое-с. А тут пристанет к нему Милованов: “А ну-ка, брат Иван, загони корову”. Как же вы, благодетель мой, изволите полагать-с? Заиграл “Ты поди, моя коровушка, домой”, да смычком-то, и попереди-то, и позади-то подставки, и давай катать... Истинно мастер-с! Скрипка-то у него не токма воротами скрипит, коровой, батюшка Павел Ильич, коровой ревет-с». Я, братец, как вспомнил про сына, так даже слеза прошибла. Всегда думаю, кому бы усовершенствовать Аполлона. «Любезнейший, говорю, — Яков Иваныч! Чей он человек? Нельзя ли его как-нибудь ко мне? Ничего не пожалею». — «Я, — говорит, — с ним завтра переговорю; а человек он, — говорит, — вольный и живет у откупщика». На другой день, поутру, является Лычкин. «Привел», — говорит. Входит мужчина здоровый, в синем сюртуке, в полосатой гарусной жи-

летке. Волосы черные как смоль, лицо смуглое, рябоватое; нос красный. «Как тебя зовут, любезнейший?» — «Иваном». — «А что, Иванушка, много ли ты у откупщика получаешь?» — «Семь рублей». — «Как же тебе, братец, с таким талантом семь-то рублей получать? Какие это деньги, семь рублей? Поди ко мне, я тебе десять дам». Чего ж ты, братец, думаешь? «Мне, — говорит, — не деньги дороги, а дорога честь!» А? — Толковал, толковал... взял меня задор. Возьми двадцать пять. — «Не хочу, — говорит, — в деревне век коротать — не компания», — говорит. А? — «В Москву со мною поедешь?» — «Это, — говорит, — дело другое, извольте». Одним, братец, нехорош...

В эту минуту дверь в столовую отворилась, и на пороге появился человек, в котором я, по описанию дядюшки, узнал Ивана.

— Ну, что, брат Иван, каково поживаешь?

— Слава Богу, помаленьку, Павел Ильич.

— Славный человек! — сказал дядюшка, обращаясь к батюшке. — Мастер своего дела. Одним, я тебе говорю, беда. Вот, как видишь, мог бы, кажется, и человеком быть, да откупщик погубил. Волей-неволей мараль нагнал. Теперь с хмельным не расстанется, а кажется, на что хуже этой марали! Совсем откупщик доконал.

Покрытое спиртовым лаком лицо Ивана приняло смиренное выражение невинной жертвы откупщика.

Так, или почти так, прошли немногие дни пребывания нашего в Мизинцеве. Привыкнув дома если не к роскошной, по крайней мере к свежей и вкусной пище, я почти не мог есть хитрых, несъедомых блюд тетушкина повара. Хотя батюшка дома за обедом постоянно утверждал, что человек ест для того, чтоб жить, а не для того живет, чтоб есть, однако я заметил, что, под предлогом нездоровья, он не пил за столом обычных двух рюмок белого вина, хотя на бутылке стояло «го-преньяк». Домашний костюм тетушки был еще проще парадного. Кашмировая шаль заменялась клетчатым платком, блондовый чепец — коленкоровым, шелковое платье — холстинковым, с совершенно гладкими рукавами, наподобие мешочков; ситцевый ридикюль довершал убранство. Во время пребывания нашего в Мизинцеве дядюшка не являлся иначе как в коричневом сюртуке и белой манишке. Эту форму он видимо возлагал на себя ради матушки. Обегая все закоулки, я уже успел получить от тетушкиной Глафиры, горничной бывалой, предварительные сведения о Москве.

— Батюшка, барин, золотой вы наш, позвольте поцаловать драгоценную ручку. Небойсь, вам, барин-голубчик, трудно с

мамашей-то расставаться. Зато генералом, батюшка, мы вас увидим. В Москву изволите ехать. Ведь это не нашим городам чета. Господи! чего там только нет? Только отца да матери не найдешь, а только чего душеньке угодно. Киятры, комедии, лиминации, а в публику выйдешь — один одного именитей. Там и нашу-то сестру часом с барышней не распознаешь.

Не буду описывать сборов в дорогу и последних минут прощанья. В первой юности воображение так рвется вдаль, жизнь обещает так много, а часто окружающие так мало умеют приворожить нас, раззолотить родимое гнездышко, что многие легко из него вылетают. Хорошо еще, если жизнь, унося нас все далее и далее, в состоянии окружить это гнездышко прелестью невозвратно минувшего. Но если тяжело оглядываться, тогда человеку придется сказать себе: «У меня не было детства; авось-либо впереди будет то, чего так жадно хочется»... В дорогу, в дорогу!

IV Москва

Вот мы наконец и в дороге. Дядюшка, Аполлон, Сережа и я в желтой карете, Евсей с Фомой на козлах, Иван на дрожках парой, а сзади повар в кибитке тройкой. Чего там нет, в этой кибитке! Постели, чемоданы, сундуки, книги, ноты, колотого сахару пуда два, чаю фунтов шесть. Я сам слышал, как тетушка обещала дядюшке присылать аккуратно через каждые три месяца в Москву колотый сахар, чай и вино. «Я знаю, Павел Ильич, ты не экономай, предоставь это мне». — «Делай, матушка, как хочешь». Хотя Глафира и говорила: «Люди из Москвы провизию возят, а мы в Москву», но тетушка не слыхала этого замечания; поэтому кибитку нагрузили так, что повару и сестре было негде. Ехали мы не шибко, станции делали большие. Дядюшка почти во всю дорогу дремал, пошатываясь со стороны в сторону и значительно выставляя нижнюю губу. Мы с Сережей болтали всякий вздор. Аполлон нередко тоже не выдерживал роли, принимая участие в нашей болтовне. На постоянных дворах я, со свечкой в руках, осматривал все картины и надписи на дверях и окнах. Местах в трех читал: «Мы приехали в Калугу к любезному другу», раз пять видел тех же витязей, с красными поводьями в руках, топчущих без жалости целые армии. Иван появлялся иногда с пылающим носом и был до того неговорчив и резок в ответах, что дядюшка оставил его совершенно в покое. На шестой день, часу в двенадцатом, Евсей, обернувшись на козлах, постучал ногтями в передние стекла. «Что там такое?» — спросил проснувшийся дядюшка. Я опустил стекло. «Что тебе

надо?» — «Москва показалаась, судары!» При этом известии все встрепнулись и высунули головы из окон. Напрасно кричал дядюшка: «Дети, упадете! Садитесь по местам!» — ничего не помогало. Я действительно упивался безграничной панорамой белого города и яркими звездами золотых глав, разбросанных по горизонту. «Сережа! А, а?!» — вскричал я невольно. «Да... а...» — отвечал Сережа, не отрывая глаз от чудной картины. Воображению представился полный простор. Среди белого дня сбывалось все, что когда-то смутно представлялось. «Неужели я еду туда, вон туда, где так хорошо!» — «Гаврюшка, трогай!» — закричал Фома с козел. Карета покатила резвей, и поднявшееся облако пыли заслонило чудную картину. Гораздо слабее было впечатление, произведенное на меня самим городом. Мне как-то странно было видеть почти такие же улицы, какие я видел в губернском городе. Те же будки и будочки, те же фонарные столбы и тротуары. Мостовая так же беспощадно тряска. Где же тот сказочный, волшебный мир, о котором я мечтал?.. Верно, впереди!

Но я ожидал напрасно. После долгого путешествия по улицам, заворот направо и налево в переулки, поезд наш остановился. «Евсей! что ж ты сидишь? — закричал дядюшка. — Слава Богу, не в первый раз. Слезь с козел да позови будочника. Нам нужно на Арбат. Разве не видишь, что приехали?» — «А где, братец, дом купца Желтухина?» — спросил дядюшка у подошедшего часового. — «Первый переулочек направо. Направо будет дом с белыми столбами, а налево, насупротив, большой, серый, деревянный дом — он и есть».

Поезд тронулся, и минут через пять мы были уже в новом жилище.

— Спасибо, спасибо княгине, — приговаривал дядюшка, пошатываясь по комнатам. — Как раз по моему вкусу. Завтра же поеду благодарить ее. Лакейская с буфетом. Зала хоть кому; мне кабинет, Аполлону комната и тебе (то есть мне) с Сережей; а вот тут пускай хоть классная будет. Да, главное, лестницы нет. Признаюсь, терпеть их не могу.

На другой день все пришло в порядок, и мы расположились по желанию дядюшки. Часу в одиннадцатом запрягли лошадей. Дядюшка вышел из кабинета в черном фраке, с медалью, махровом жабо, со шляпой в одной и белым платком в другой руке.

Домашние дрожки задрезбезжали по мостовой, и Павел Ильич уехал.

— Ну, Аполлон Павлыч, — сказал он, воротившись часу в третьем, — собирайся, братец, завтра с визитами, а я уже половину экзамена твоего выдержал. Правду говорят: не имей сто

рублей, а имей сто друзей. И тебя, племянничек, не забыл. Завтра же явятся учителя. «Сколько, — говорит, — вам нужно и каких?» — «Всяких, — говорю, — присылайте, только подешевле».

Целый месяц дядюшка, несмотря на свою лень, почти ежедневно возил Аполлона на экзамены, и нередко, по озабоченному лицу его, я подозревал, что дела идут не слишком хорошо. Но зато как описать общую радость, когда, под конец месяца, Аполлон был принят в число студентов?

— Утешил ты мою старость, — говорил ему Павел Ильич. — Да про себя я уж не говорю: мать-то утешил. Ведь она для тебя рада голодной смертью умереть. Написал я ей, сейчас же и на почту отсылаю. Сам послушай, как я ей написал:

«Любезный друг, Вера Петровна!

Поставь свечку и отслужи благодарственный молебен. Аполлон Павлыч твой — студент. Добрые знакомые поздравляют меня, а я тут ничем не виноват. Ты знаешь, человек я не ученый. Это ты всему голова. Твое воспитание — твои и успехи. Помучился, похлопотал за это время, как тебе небезызвестно из моих писем, да теперь, на радостях, все как рукой сняло. Посмотрела бы ты на него в мундире-то! Красавчик да и только. Повторяю мою просьбу насчет провизии. Евсей говорит, сахар на исходе. Как бы не пришлось здесь купить. Княгиня Наталья Николавна тебе кланяется. Что за умнейшая женщина! На лекции с Аполлоном ездить не буду. Он, слава Богу, уж не дитя, да и лета мои уже не те».

Такая деятельность и, так сказать, прыть со стороны дядюшки не могла не удивить того, кто, подобно мне, видел его ежедневно и знал его лень. Дома, утром и вечером Павел Ильич ходил в халате. Лета брали свое и час от часу заставляли походку дядюшки более и более уклоняться от прямого направления. Особенно тяжел на подъеме бывал он после ужина. Вот уж мы встали и подошли к руке, а дядюшка все еще сидит в халате. Вот убрали приборы и свечи, сняли скатерть, разобрали и унесли складной стол, а дядюшка все еще сидит на креслах, один посредине комнаты. Только две страсти могли вывести его из обычной полудремоты: к сыну и к прекрасным дамам. Как? В его лета? Да. Без этой последней черты портрет дядюшки был бы неполон. Для дам дядюшка готов был целый день не выходить из фрака, ехать в магазин, в контору театра или Собrania — словом, решиться на все жертвы, на все лишения. С ними он делался любезен и даже многоречив. Во время разговора с ними небольшие глазки его щурились необыкновенно сладко. Зато подобная преданность и любезность не

пропадали даром. Дамы весьма жаловали его и, можно сказать, любили. Не говорю о княгине Васильевой: она была его давнишней знакомой, да и самые лета более сближали их, но благосклонность генеральши N., вдовушки в полном еще развитии красоты, женщины светской, до сих пор для меня загадочна. «Здравствуйте, милый Павел Ильич! как давно вас не видала! Не стыдно ли так забывать меня?» — были постоянными словами генеральши при встрече дядюшки. Можно себе представить, с каким счастьем дядюшка целовал белую, пухленькую ручку генеральши. Если одна страсть под старость лет доставляла Павлу Ильичу так много приятных минут, зато другая — любовь к сыну — была для него источником если не ежедневных хлопот и огорчений, то, по крайней мере, беспокойства. Первым врагом домашней тишины оказался Иван. Однажды, часов в пять утра, когда все покоилось сном, раздался оглушительный гул инструментов. Спросонья никто не мог догадаться, что такое. Накинув наскоро халат, выбегаю в залу и вижу Ивана и еще какого-то человека во фризовом сюртуке, наигрывающих неизвестную мне бравурную арию. Совершенно посилавший нос и всклокоченные волосы Ивана явно свидетельствовали о ночном гульбище. Из дверей, ведущих в кабинет, показалась седая голова дядюшки.

— Что вы тут делаете? — спрашивает Павел Ильич.

— Разве не видите что? — отвечает Иван, — разыгрываем для Аполлона-то алегру.

— А, а! ну! ну! Бог с вами! играйте, играйте!

С этими словами седая голова Павла Ильича исчезла, и дверь снова затворилась. Сколько синеньких с этого рокового утра должен был заплатить дядюшка в пользу фризового виртуоза, за ноты, приносимые им Ивану! Убежденный в пользе, которую приносил Аполлону своим искусством Иван, дядюшка крайне дорожил им и готов был сносить все его грубости. Сережа первый ясно разгадал их отношения, и вот какой сцены я был однажды свидетелем.

Мы с Сережей вечером готовили назавтра уроки. Не знаю, зачем вошел к нам в комнату Иван.

— Что? кончили сегодня? — спросил его Сережа, отодвинув лексикон Кронеберга и облокотясь на стол с самым серьезным выражением лица.

— Кончить-то кончили, да что толку-то? — отвечал Иван, махнув своей могучей рукою.

— Стало быть, ты недоволен своим учеником?

— Есть чем быть довольну! Я этакой тупицы не видывал. Уж я ему сколько раз говорил: «никакого, мол, из тебя пути не бу-

дет». Тоже свою амбицию соблюдает. Как же, студент! Какой он студент? Отец-то выплакал да вымолил — вот он и студент. Век по пачпорту хожу, такого пня не видывал.

— А где твой пачпорт? — спросил Сережа, подмигивая мне.

— Как где? Известно где: у барина, у Павла Ильича.

— То-то и есть, у Павла Ильича! А еще артист! Вот ты по Москве ходишь; всяк тебя видит и знает, что ты артист; а могут подумать, что ты крепостной Павла Ильича. Кто ж знает, что ты вольный человек? Пачпорт у барина, так ты человек без голоса. Концерт ли где собирается — ты ничего не значишь. Пачпорта нет, так и молчи.

Опустя свои мощные руки, Иван безмолвно слушал Сережу с каким-то тупым выражением глаз. Вдруг, будто очнувшись от сна, он повернулся и быстрыми шагами вышел из комнаты.

— Настроил я его! — сказал Сережа, заливаясь со смеху, — пойдем посмотрим, верно будет потеха.

Мы потихоньку вышли в залу. Дверь в кабинет отворена. На письменном столе горят две свечи, и дядюшка сидит, углубленный в переписку с Верой Петровной. Без всяких околичностей Иван стал против Павла Ильича и закричал:

— Отдайте пачпорт.

— Что ты, Иван? что с тобою? какой пачпорт? — возразил дядюшка.

— То-то, то-то, не знаете, какой пачпорт? Что я? дурак, что ли, попался вам? Отдайте мой пачпорт.

— Что ты, Иванушка! На что тебе пачпорт?

— Отдайте мой пачпорт! Что я за человек есть без пачпорта? Да я просто никакого голоса в Москве не имею. Отдайте пачпорт!

Долго эта сцена продолжалась, к немалому удовольствию Сережи. С большим трудом успел, наконец, добрый дядюшка убедить Ивана, что он и без пачпорта может пользоваться в Москве всеобщим уважением.

Не одна забота на пользу Аполлона так тяжело доставалась Павлу Ильичу: удовольствия сына были для старика не последним источником беспокойства.

Приезжавшие к нам в дом с визитами были по большей части старые, короткие знакомые дядюшки и потому входили без доклада. Один из таких посетителей был генерал Морев.

— Что это вас так давно не видать, почтеннейший Павел Ильич? — сказал однажды генерал, входя. — Я уже думал, не больны ли вы?

— Присядьте-ка вот тут, ваше превосходительство. Точно, это время что-то нездоровится. Это вам, молодым людям, зима ничо чем, а нашему брату старику вечерние выезды зимой —

просто беда. Вот с неделю уже сижу дома. Что новенького в Москве слышно?

— Да теперь все только и говорят о предстоящем торжестве и бале в Собрании. На Кузнецком от экипажей ни пройти, ни проехать. Все бросилось заказывать наряды.

— Слышал, слышал, ваше превосходительство, от сына. Не дает мне прохода: «поедем в Собрание, да и только». Что ж? грешен, люблю побаловать умных детей; да здоровье-то не позволяет по ночам таскаться. Ведь вы, ваше превосходительство, верно, будете на бале.

— Непременно. Мне почти нельзя не быть!

— Вот бы истинно обязали меня, старика, кабы сына моего взяли с собой.

— С большим удовольствием. Бал послезавтра, а до тех пор я буду еще у вас.

Генерал уехал.

В доме поднялась суматоха. Студентам в то время дозволялось еще ходить в статском платье; но являющиеся в Собрание в мундире должны были быть в белых штанах, чулках и башмаках. Мог ли Аполлон отказаться от такого костюма? Привели портного; заказали платье с условием, чтоб послезавтра все было готово. Наступил желанный день. С утра несколько гонцов отправлено к портному. Дядюшка, переваливаясь с ноги на ногу, в волнении ходил по зале, приговаривая: «А Морева-то нет! Вот подожду портного, да и сам поеду к генералу». В первом часу портной принес платье. «Одевайся в зале: здесь виднее, да и зеркала такого большого нет в других комнатах», — заметил дядюшка. Надев бальную форму, Аполлон стал вертеться перед зеркалом, но, по малому росту, видел только свою голову с золотыми очками на носу.

— Я хочу себя видеть, — пищал он визгливым дискантом.

— Аполлон Павлыч, — заметил Евсей, — позвольте, батюшка, я вас на стол поставлю: и вам и портному будет видней-с.

Сказано — сделано. Увидев себя во всем блеске бальной формы, Аполлон в восторге стал вертеться и ломаться на столе самым живописным образом. Дверь в залу отворилась, вошел генерал Морев.

— А я только что собирался к вам, ваше превосходительство! — вскричал Павел Ильич. — Видите, мы совсем готовы, — прибавил он, указывая на сына.

— Вижу, вижу, — отвечал генерал, и мгновенная улыбка, озарившая лицо его, тотчас же уступила место самому серьезному выражению. — Я к вам на минутку. Извините, почтеннейший Павел Ильич, право некогда.

— Ну, так как же вечером-то? — спросил дядюшка, — вы заедете ко мне?

— Нет, уж извините, право, не могу.

— Так я к вам привезу Аполлона, часу в одиннадцатом.

— Как вам угодно.

С этим словом Морев раскланялся и уехал. Вечером те же сборы, хлопоты, притиранья, завиванья. Подали желтую карету.

— К генералу Мореву! — закричал Евсей кучеру и, хлопнув дверцами, побежал к запяткам. Дядюшка и двоюродный братец уехали.

— Вот разодрожит генерал-то! — заметил Сережа, заливаясь со смеху. — Ты увидишь, он от него откажется.

Предсказание Сережи сбылось. Через час дядюшка привез обратно расстроенного Аполлона: генерал не поедет в Собрание. Подобных передряг было много; тем не менее дядюшка старался упрочить для нас, как он выражался, знакомство с хорошими людьми. Об одном из подобных знакомств придется говорить подробнее.

V

Княгиня Наталья Николаевна

Недели через две после того как Аполлон Павлович поступил в университет, дядюшка объявил, что всех нас повезет к Наталье Николаевне. На другой день желтая карета, продребезжав довольно долгое время по Москве, провезла нас между двумя львами на воротах и, въехав на довольно обширный, усыпанный песком двор, остановилась у подъезда. Евсей, соскочив с запяток, побежал на крыльцо. Через минуту он воротился, подножка застучала, и мы все трое: Аполлон, Сережа и я, отправились за дядюшкой в приемную.

— Их сиятельство приказали просить в будуар, — сказал белокурый мальчик в гороховых штиблетах.

Дядюшка, взглянув в большое зеркало и увидев свое желтое, морщиноватое лицо, сделал кислую мину; зато Аполлон прищурился, поправил на носу очки и самодовольно закинул голову.

— Пойдемте, — сказал дядюшка, покачиваясь с ноги на ногу и заметая змиеобразным движением платка свой след по паркету.

Белокурый лакей, проведя нас через ряд комнат, остановился перед небольшой дверью красного дерева с хрустальной ручкой. Мы вошли в небольшую, затейливо меблированную комнату.

Против дверей, на диване, лежала женщина в черном капоте и небольшом белом чепце, из-под которого виднелась черная шелковая шапочка, или сетка. Лицо ее почти прикрыто было совершенно мокрым платком, распространившим по комнате сильный запах одеколona. Княгиня (это была она) громко хлюпала, вытягивая носом воздух через мокрый платок.

— А, а! Павел Ильич! — сказала она, приподнявшись с подушки и отнимая от носа платок левою рукою, между тем как правую протягивала дядюшке. — Насилу собрались.

— Позвольте, матушка Наталья Николаевна, представить вам моих птенцов, — перебил ее дядюшка.

— Bravo, bravo! поздравляю! — сказала княгиня, обращаясь к Аполлону. — Давно ли вы, мой милый, получили известие от батюшки? — спросила она меня. — Мы с ним старинные приятели.

И Сереже была сказана любезность.

— Как здоровье Сонички? — спросил дядюшка.

— Позвони, мой друг, — обратилась княгиня к сидевшей над чулком уединенно у окна пожилой женщине.

Если желтоватое, худое лицо княгини сохранило черты прежней красоты, то друг ее не мог этим похвастать.

Чтоб составить портрет *друга*, нужно вообразить себе довольно полную женщину в шелковом капоте шоколадного цвета с двойным отливом, толстый, иссиза-красный нос, распространяющий какой-то лаковый блеск по угреватому лицу, открытую седую голову с зачесанными назад волосами, в виде хвостика, и приткнутыми черепаховой гребенкой на затылке, большие, подозрительно беспокойные серые глаза и довольно порядочные седые усы. Вошел лакей.

— Скажи нянюшке, чтоб она привела княжну, — проговорила Наталья Николаевна. — Я надеюсь, Павел Ильич, — прибавила она, — вы позволите вашим птенцам — как вы их называете — покороче со мной познакомиться, если только они не будут скучать у меня.

Дверь отворилась, и княжна, в сопровождении приземистой старушки, вошла в комнату. Это была премилая девочка лет восьми или девяти. Темно-каштановые волосы, подрезанные в кружок, окаймляли ее свежее, круглое личико. В больших голубых глазах сияла не только кротость, даже застенчивость.

— Рекомендую мою дочь. Соничка, познакомься... Соничка! отчего у тебя глаза такие красные?

Соничка повернула головку к матери и ничего не отвечала.

— Отчего у нее красные глаза? — обратилась княгиня к няньке.

— Изволили плакать, — отвечала нянюшка полупшепотом.

— Опять капризы! О чем это?

Нянюшка, немного замявшись, прошептала:

— О кукле.

— Вообрази, мой друк, — отозвалась безмолвствовавшая до сих пор вязальщица, — это я сеегодня взяла у ннее куклу, поттому что онна вчerra все с нней воззиллась. В её летта... (Только подобным правописанием можно несколько подражать стаккато, которым говорила вязальщица).

Девочка стояла неподвижно, глядя на мать, и две крупные слезы повисли на ее длинных ресницах. Княгиня приложила платок к носу, громко захлопала с приметным наслаждением и махнула рукой.

— Нянюшка, — сказала вязальщица, — увведи отсюда это непослушное диття.

— Как трудно воспитывать детей! — сказала Наталья Николаевна. — У меня одна дочь, и то тяжело.

— Всякому свое, матушка Наталья Николаевна. Однако ж, мы у вас засиделись, — прибавил дядюшка, вставая.

— Не забудьте своего обещания: присылайте детей ко мне: обедать или вечером. Вы знаете, вечером я почти всегда одна.

Так кончился наш первый визит у княгини Васильевой. Не скажу, чтоб на первый раз она произвела на меня приятное впечатление; особенно не понравилась мне вязальщица.

— Дядюшка, — спросил я, усевшись в карете, — кто эта дама, что вязала чулок и потом прогнала Соничку?

— Кто ее знает, мой друг! Я ее уж лет шесть вижу у княгини, знаю, что фамилия ее Лапоткина, что оне друг без другадохнуть не могут, а кто она, откуда, девица или вдова — кажется, этого никто не знает.

Сереже в высшей степени понравилась Лапоткина. Он прозвал ее крокодиллом и беспрестанно подбивал меня ехать к княгине. Аполлон редко, по крайней мере с нами, бывал по вечерам у Натальи Николаевны. Обижаясь ролью ребенка, он преимущественно искал общества девиц. Но зато мы с Сережей довольно часто проводили зимние вечера перед камином известного будуара. Оказалось, что Наталья Николаевна не всегда заливаает нос одеколоном. Нередко она как будто оживала, давая полную свободу своему тонкому, насмешливому уму. Когда она бывала в духе, нельзя было без смеха слушать ее рассказов. Нас с Сережей она, кажется, полюбила. Несмотря на ворчанье Лапоткиной, все собрание кипсеков и картинок поступило в наше распоряжение.

Дом княгини был если не одним из самых больших, зато одним из самых заваленных разными предметами роскоши.

Скупая на все, даже на стол, хотя держала прекрасных поваров, она ничего не жалела на украшение комнат. Чего там не было! Бронза, на которой еще болтались миньютюрные ярлычки из магазинов, китайские вазы и уроды, сердоликовые гроты, малахитовые скалы, каскады из сибирских камней, серебро во всех возможных видах, органы, картины и даже ландшафт с башней, на которой часы каждый час били и играли, а стоящие в долине тирольцы, взявшись за руки, выделывали разные па. Коллекция диковинок с каждым годом увеличивалась. Кроме того, что Наталья Николаевна тратила на покупку их большие деньги, Лапоткина перед всяким рождением и именинами княгини искала по магазинам самой затейливой, самой дорогой вещи и потихоньку ставила ее на видное место так, чтоб когда в торжественный день *дррук* выйдет в парадные комнаты, то встретил бы приятный сюрприз. Странно, однако ж, что Соничка почти никогда не сходила сверху, исключая дней, когда бывали гости. В подобные дни обычная тишина и расчет в доме сменялись шумом и хлебосольством. Обед бывал на славу, с самыми дорогими винами и плодами. Известный в то время Влас пек пирожки. Лапоткина надевала чепец и, являсь в полном блеске, старалась показать, что ее радует торжество в доме княгини даже более, чем хозяйку. В самых нежных излияниях друзья не стеснялись ничьим присутствием. Прибор Лапоткиной, как и всегда, ставился рядом с прибором Натальи Николаевны. Во время обеда Лапоткина, одаренная добрым аппетитом, отрежет, бывало, на своей тарелке лучшую частицу кушанья и, поваляв ее в приправе, собственной вилкой положит в рот княгини, примолвля: «Ммой дррук, скушшай ввот эттот куссоччек». Ту же нежность оказывала Лапоткиной и княгиня. Шумно и весело бывало в подобные дни у Натальи Николаевны. Гостей бывало много. За столом я никогда не видал Сонички, но зато, появляясь до и после обеда среди многочисленных посетителей, девочка, казалось, дышала свободней. Но и тут Лапоткина, следя своими стеклянными, подозрительными глазами за всем происходящим в доме, не упускала случая смутить и напугать бедного ребенка. Едва кто-нибудь из маленьких гостей приблизится к столику или этажерке, с намерением погладить кристальный каскад или измерить пальцем глубину сердоликового грота, Лапоткина уже кричит: «Сонничка! что этто зза прокказы? как этто мможжно все ррукками трогать? Я тебя сейчасс отправвлю ннавверх к нняньке», — хотя бы бедная Сонечка была в десяти шагах от запретных предметов.

Однажды вечером, при мне, Лапоткина решила, что княгиня прежде всего должна поберечь свое драгоценное здоровье, что

поблажать капризам неблагодарных детей пагубно, что характер Сонички портится с каждым днем, и поэтому надобно отдать ее в воспитательное заведение под самый строгий надзор. «Ах, это правда!» — со вздохом отвечала княгиня, протягивая руку за флаконом одеколona. Через месяц Сонички уже не было в доме. Впрочем, и так ее почти никто не видал.

Касательно прежней жизни княгини я слышал следующее. Происходя из хорошего и богатого рода, она почти всю жизнь провела в Москве. Старики говорили, что она долгое время блистала красотой. Вполне уверенная в своем могуществе, Наталья Николаевна кокетничала, водила всех за нос и втайне смеялась над эксцентрическими глупостями своих обожателей, из которых многие только что не пошли по миру, по милости ее прихотей. Играя и шутя, Наталья Николаевна, при всем своем уме, едва не перешла границу благоразумия. Хотя она все еще была очень хороша, но ей далеко перешло за тридцать, а по разделу из большого отцовского состояния следовала незначительная часть. Надо было подумать о будущем. Умная кокетка выбрала богатого старика, князя Васильева. Князь был каким-то чиновником и большую часть огромного состояния приобрел во время службы. Года три продолжалось счастье супругов. Княгиня блистала. Князь хворал и обожал жену. Удивительно ли, что она умела заставить его передать ей все состояние? За полгода до смерти старика у Натальи Николаевны родилась дочь Софья. Князь скончался. Неутешная вдова надела глубокий траур и, во всю жизнь вспоминая о муже, называла его незабвенным другом. Мало-помалу княгиня привыкла к своему новому положению и уединенной жизни. Близкие родственники и хорошие знакомые навещали ее, сама же она выезжала редко и умела заставить высоко ценить свои посещения. Не знаю, по слабости ли нервов или вследствие приключения, Наталья Николаевна боялась бойких лошадей, и потому, при блестящих экипажах и ливреях, лошади ее еще резче бросались каждому в глаза старостью, худобой и косматой шерстью.

VI Жених

Прошло лет семь. Я готовился перейти на последний курс. Вокруг меня не осталось никого из приехавших в Москву в желтой карете. Аполлон, не выдержавший переходного экзамена в первый год, заболел на следующий во время испытания, и дядюшка, ворча на недоброжелательство, повез его в Казань. Там им тоже как-то не посчастливилось, и года через два я получил

из дома известие, что Аполлон определился в кавалерию, а добрый дядюшка скончался от паралича. Сережа, поступивший раньше меня в университет, кончил курс лекарем первого отделения и отправился на юг. Время от времени мы с ним переписывались. Итак, повторяю, я остался один в Москве. Помню, по случаю экзаменов, приходилось почти не вставать из-за стола. Пообедав и отдохнув немного, я сажился за работу и просиживал майские ночи напролет. Быстро сгорали мои свечи, еще поспешнее били стенные часы один час за другим. Мечтать и нежиться было некогда. Однажды, в подобные минуты, хлопнувшая дверь и частый стук каблуков заставили меня приподнять голову. Перед рабочим столом моим остановился молодой человек в плаще с широко развернутыми бархатными отворотами, в блестящей шляпе, надетой значительно набекрень, и в безукоризненно белых перчатках.

— А что, братец? Сидишь до сих пор над каторжной латынью? — сказал вошедший пискливым дискантом, по которому я тотчас узнал Аполлона, несмотря на то, что очков уже не было у него на носу.

— Откуда это тебя Бог принес? — вскрикнул я, обрадовавшись старому однокласснику.

— Вот как видишь! — перебил Аполлон. — А что, каков Занфлебен? Лучший портной в Москве! Зато и дерет немилосердно.

— Да полно вертеться-то; присядь-ка.

— Я к тебе на минутку, — пропищал Аполлон, бросая в сторону плащ и шляпу. — На вечер надо переменить рысака: таков уговор был с Саварским. Вот тоже, каторжный, не жалеет моего кармана! (Слова «каторжный» Аполлон прежде не употреблял и, следовательно, выжил во время нашей разлуки). Скажи мне, — прибавил он, — часто ты бываешь у Васильевой?

— Признаюсь, более полугода не был.

— Стало быть, ты ничего не знаешь?

— Ровно ничего.

— Так послушай, послушай: это целый роман! Служба мне надоела. Покойник батюшка был плохой хозяин, мать еще хуже. Я подал в отставку. Приезжаю домой. Какая тонкая женщина матушка — говорить тебе нечего. Рядом с Мизинцевым, в огромном имении Васильевой, живет управляющий... Да ты вероятно мнение-то знаешь: Жогово?

— Слышал.

— Управляющий, приезжая к нам по делу, проговорился матери, что княжна вышла из института и живет у Натальи Николаевны. Только этого и нужно было моей старухе. Поезжай, говорит, женись. Соединить Жогово с Мизинцевым, брат, не

шутка. Сатрап — да и конец! Письмо написала к княгине самое любезное... ты знаешь, если она захочет. Вот я уж недели две в Москве; третьего дня я сделал предложение, и теперь, как видишь, формальный жених.

— Поздравляю.

— Да и есть с чем. Приезжай ко мне в Жогово: я тебе покажу, что это такое. Но зато, чего это мне стоит! Я между двух огней. Васильеву ты знаешь — скупа, как жид; а у меня хоть и есть отцовское состояние, да мать еще своего не отдает, а главное, накопила денег и сидит над ними. Ну, знаешь, позамотался. Взял сюда тысяч десять ассигнациями — мало осталось. Да я без церемонии написал матери, если не придет сорока тысяч, так я себе пулю в лоб. Зато посмотрел бы ты, какие я им сделал подарки! Наталье Николаевне привез серебряную вазу — так она и ахнула! Старой колдунье Лапоткиной тоже подарил.

Я хотел было спросить Аполлона, хороша ли Софья, нравятся ли она ему, но он не дал мне говорить.

— Ах, да! Право, от этих хлопот голова до того вертится, что чуть не забыл сказать тебе про главную цель моего визита. Скажи: ты читаешь Сю?

— Читаю; но к чему этот вопрос?

— Встретил я, братец, в магазине на Кузнецком французенку. Совершенно Урзула в «Матильде». Я готов для нее разориться... обожаю Сю! Раскопай мне, братец, каких-нибудь ее знакомых, родственников. Поедем туда. Ведь ваша братья, студенты, доки, всю подноготную знают; а в магазине объясняться — все дело испортишь.

Я наотрез отказался искать родственников героини Сю, и Аполлон надулся.

— Прощай, брат, — сказал он, набрасывая плащ. — Если будешь завтра у княгини, так увидимся.

Некоторое время, по уходе двоюродного братца, я не мог вникнуть в работу. Все слышанное было для меня так неожиданно и загадочно! Этот Аполлон, появившийся вдруг, как *deus ex machina*... * неужели он в такое короткое время успел пленить княжну? Но, может быть, она продолжает играть незаметную роль, которую играла в детстве? Неужели княгиня не нашла никого лучше в женихи своей дочери? Все эти вопросы представились мне разом; но, не найдя на них в голове своей ответов, я махнул рукой и принялся за работу. На другой день являюсь к княгине. Наталья Николаевна и Лапоткина сидели в гостиной.

* бог из машины (*лат.*).

— Что это вы, мой милый, совсем нас забыли? — сказала княгиня.

— Мы поллагали, что вас ужже нет в Москве, — прибавила Лапоткина, стараясь придать лицу своему приветливое выражение, хотя оно тем не менее походило на голову лупоглазого кузнечика под микроскопом.

— Вы знаете нашу новость? — спросила княгиня.

— Я хотел ее слышать от вас и приехал с поздравлением.

— Как же, как же! Наша невеста сейчас выйдет. А между тем, очень рада вас видеть. Я хотела с вами переговорить. Шаг, предстоящий моей дочери, так важен! Скажите, как родственник, какого вы мнения об Аполлоне?

Я мог бы ответить, что дело почти сделано, что меня об этом прежде никто не спрашивал и что Аполлона Наталья Николаевна знает столько же, как я; но подобный ответ не повел бы ни к чему. Вспомнив случайно, как, с год назад княгиня говорила мне, будто до нее дошли слухи о непочтительном обращении Аполлона с матерью, я отвечал:

— Хороший сын обещает быть хорошим мужем.

— Да, мой милый, — перебила княгиня, и глаза ее сверкнули едва заметно. — В таком молодом человеке, как наш Аполлон, трудно предвидеть, каков он будет в совершенно зрелых летах. Ты боишься вечеров, собраний, одним словом, толпы, шуму и расходов; тебе нужно сбыть дочь с рук! Делай, что хочешь! Может быть, найдется и еще какая-нибудь тайна — какое мне дело!

— А ввот наша милая невеста, — сказала Лапоткина, и в появившейся девушке я в ту же минуту узнал княжну. Как описать ее наружность? «Глаза — зеркало души», — говорит пословица. Дивно хорошо это зеркало, когда свет — жизнь впервые бросит в сердце женщины свои жгучие речи, свои заветные, нескромные тайны; стремления души получают направление; в молодой, пылкой голове роятся самые смелые мечты, и весь этот план жизни светится в глазах. Не менее прекрасны глаза княжны; ничего подобного еще нет в них; они так сини и прозрачны... Если она смотрит на вас, то не с намерением судить, а только изучать. Вы для нее один из уроков жизни. Это почти тот же взгляд Сонички, но вы чувствуете: вот-вот он загорится самоубийной мыслью. Склонением этих длинных ресниц управляет уже тайный инстинкт. Круглое детское личико перешло в овал с самым тонким очертанием. Этот свежий, летучий румянец — соничкин, но у Сонички не было такого плеча, не было тяжелой косы, которая, кажется, так и оттягивает назад миловидную головку.

Взглянув на пышное, бледно-розовое платье, на дорогие серьги и браслеты, невольно скажешь: «нет, это уж не Соничка; это княжна, Софья Михайловна *». С заметною радостью приняла она мое поздравление. Вероятно, ей хотелось поскорей ускользнуть из-под стеклянных взоров крокодила, а, может быть, и от матери.

В голубом стекле гостиной мелькнула дуга, и серый рысак, распластавшись, пронесся по мостовой.

— Кажется, это наш жених, — сказала Лапоткина, вставая. — Пойдемте к немму ннавстречу.

Княгиня осталась в гостиной, а мы втроем вышли в приемную. Раздался учащенный стук каблуков, и Аполлон с самодовольною улыбкою влетел в комнату, держа в руках какие-то сафьянные футляры.

— Что это, Аполлон Паввлыч? опять подарки? — сказала Лапоткина. — Правво, вы нас совсем избалловали. Toutt'en vvos cadeaux **, — прибавила она с улыбкой, указывая глазами на княжну.

Не желая мешать свиданию жениха и невесты, я взял шляпу и ушел.

Но как описать свадьбу — голубую, восьмистекольную карету жениха и, наконец, нанятый им по этому случаю дом? На третий день после свадьбы, часу в двенадцатом, я поехал к новобрачным. Боже! что за лестница в бельэтаж! Четыре площадки: внизу, при первом повороте направо, при втором, и, наконец, наверху. На каждой площадке нужно было проходить между двух деревянных, вызолоченных львов, с ярко-красными языками под лак. Подынешься ступенек пять — два льва, еще пять — еще два льва, еще львы и опять львы... В самом доме архитектор не пощадил ничего. Египет, эпоха Возрождения, Италия, Греция, арабски — словом, все убранство комнат заставляло не менее разбежаться глаза. Гостиная была, так сказать, складом дешевых редкостей. Против дивана, у самых стекол балкона, стояла, на удивление уличному миру, золотая арфа без струн. В этой комнате я застал молодых на диване за кофе.

— J'ai l'honneur de vous présenter m-me de Chmakoff ***, — сказал Аполлон, расправляя свою кучерскую прическу.

Молодая, в белом пеньюаре и крохотном, едва прикрывающем косу чепце, протянула ко мне побледневшую руку, спросив, не хочу ли я кофе. Не дождавшись ответа, она позвонила и

* Так в журнальной публикации; ср. с. 61 наст. изд.

** Вся в ваших подарках (*фр.*).

*** Имею честь представить вам г-жу Шмакову (*фр.*).

велела принести чашку. Признаюсь, я смотрел на Шмакову с удивлением. Из полурепенка в два дня она превратилась в милую женщину. В каждой черте лица радость. Да и как ей не радоваться? Близ нее, вместо грозного крокодила, муж, которого она любит и для которого готова всем пожертвовать.

— Ну, братец! — запищал Аполлон, уводя меня в сторону, — если все студенты на тебя похожи, это не делает им чести! А какова моя жена? Просто, брат, персик! А еще студент! Ведь я-таки познакомился с Урзулой-то. Дня через два она...

— Поздравляю вдвойне.

— Не с чем, брат, не с чем. Вот тогда поздравь, как Жогово приберу к рукам; тогда поздравляй, сколько хочешь. Но зато, что мне все это каторжное стоит! Кажется, — прибавил Аполлон, прищуривая глаза на золотую арфу, — кажется, фамилия не может на меня пожаловаться. Не уронил ее достоинства?

— Еще бы!

— Мать, теперь, я думаю, горюет по банковым билетам. Да погоди, завоюет и Наталья Николаевна! Что-то она про Жогово ни слова. Я — ты знаешь мою деликатность, или, лучше сказать, слабость и глупость — в Москве тоже не заикнусь о нем; но чуть в Мизинцево — сейчас же письмо. Самым деликатным образом дам ей заметить, что дочери ее даром содержать не намерен. С такими целями надо было ей искать кого-нибудь попроще.

— Аполлон, — отозвалась молодая, — полно от меня секретничать. Оставь дела до другого времени. Это так скучно!

— Виноват, тысячу раз виноват! — гневно запел Аполлон по-французски, — но я полагал, вы поймете, что я не в состоянии ежеминутно окружать вас вниманием и удовольствиями, к которым вы привыкли в доме княгини.

Светло-синие глаза Шмаковой подернулись легкою влагой; но она мгновенно оправилась.

— Разве ты не видишь, я пошутила? Не такой же я ребенок, чтоб не понимать, какие важные дела могут быть у мужчин. Кузен составит самое невыгодное мнение о моем характере. Ты видишь, он берется за шляпу.

— Куда же так скоро? — спросил Шмаков.

— На экзамен, — отвечал я, уходя.

— *Vonne chance!* * — звучал мне вслед приветливый голос Шмаковой. — Приезжайте к нам в деревню.

Экзамен-то я выдержал и уехал на каникулы домой, а побывать в Мизинцево не удалось. С приезда пробыл у бабушки в

* Желая удачи! (фр.).

дальней деревне, а тут расцвела гречиха, и на длинном болоте, за рекой, каждое утро, как в садке, стали вылетать носатые дупели. Рано, бывало, часов в пять утра, разбудит меня слуга, приготовив болотные сапоги и ружье. И лень вставать, и хочется на длинное болото. Но вот я одет и вооружен. Выхожу на крыльцо. Алешка, форейтор, спит верхом на буром, положив кулак на кулак на его косматую гриву и успокоив свою кудрявую голову на этом шатком основании. Длинный чумбур моей рыжей кобылы Алешка закинул петлей на свою переднюю луку, а кобыла, пользуясь свободой, приподгнула передние ноги и жадно ловит губами короткую, густую травку около крыльца. Газон перед кухней представляет мирное воспроизведение мамаева побоища; по всем направлениям желтеют и чернеют полшубки, из-под которых выглядывают головы, покоящиеся на пестрядиных и ситцевых подушках — это комнатная и кухонная прислуга предается роскоши русского человека — поспать летом на дворе.

— Где же Полкан?

— Не могу знать, — отвечал Алешка.

— Полкан! Полкан!

На знакомый свист белый, огромный Полкан со всех ног летит с кухонного крыльца и выражает свою радость, прыгая на грудь рыжей кобыле. Дорога идет через сад. Сад еще спит, и если ружейный ствол ненароком зацепит за сук липы или березы, встревоженные ветви обдают неосторожного проезжего холодным дождем росы. Только переедешь поле, так тут и река. Даже отсюда видно, как она загнулась и подошла к самому лесу. С каждым шагом лошади по звонкой, накатанной дороге из-под копыта вырывается клуб серой пыли и наискось медленно отлетает на созревающую рожь.

— Что это, Алешка, вода-то никак прибыла?

— Прибыла-с. Как бы нам на броду-то не подплыть! Извольте видеть: на середине хрящ-то совсем залило.

Но рыжая кобыла уже в воде.

— Извольте держать правее.

Но мы уже на противоположном берегу. Там и сям по широкому лугу еще отзываются неугомонные коростели. Круглокрылые чибиса завидели нас издали и шныряют над нами с обычным настойчивым вопросом: «чи вы? чи вы?»

— Ты смотри, Алешка, опять не засни! Я пойду этой стороной болота, а ты стой тут с лошадьми и дожидайся. Да махни мне, если куда птица перелетит: тебе с лошади виднее. А где Полкан?

— Да он никак стоит.

— Где? где?

— Вон, вон направо-то.

— Да где направо?

— А вот прямо-то изволите видеть желтые тветы, так за тветами-то в кусте белеет. Это, знать, он; ишь как хвост-то уставил!

Не слишком доверяя стойкости Полкана, бегу, задыхаясь, по указанному направлению. Серый дупель, выпорхнув из-под собаки, параболой приподымается на воздух. Он летит так плавно, что не только длинный нос его, но и черные блестящие глаза совершенно видны. Паф! паф! Дупель продолжает параболу, начиная спускаться к земле.

— А правая-то нога повисла, — кричит Алешка. — Ишь как болтается!

Еще дупель, и еще; а вот молодая утка, по неопытности, выплыла на чистое место. Паф! «Arrorte*, Полкан!» И ее давай сюда. Но солнце начинает припекать. Жирный Полкан высунул язык, комары кусаются; скоро девятый час — пора домой. Матушка, верно, ожидает с чаем.

— Вот и жаркое, тамап.

— Благодарю, дружок, да поцелуй же свою мамашу. Боже, как ты загорел! Послушайся моего совета: умойся на ночь сывороткой, или отваром из петрушки.

— Не надо, тамап; пожалуйста, оставьте.

— Ну, так я пришлю тебе самохотовского огуречного молока.

— Не надо ничего.

— Да ты страшен! Я видеть тебя не могу, — говорит матушка, подводя к своим губам мою пылающую голову. — Как ты с таким красным носом поедешь в Мизинцево?

— Очень просто: я ни с красным, ни с белым не поеду.

— А что скажет отец, когда приедет? Он скажет, что с людьми нельзя так жить, что есть на свете небольшой зверок — пристойность, который, за неуважение к себе, больно кусается. Одним словом, и тебе и мне достанется.

— Мамаша, право, мне незачем туда ехать и гораздо веселей с вами.

— О, ты преизбалованный мальчик!

— Мамап! а что я вам говорил?

— Виновата, друг мой, виновата! Я знаю, ты уже не мальчик, но в глазах матери дети — всегда дети.

Результатом всего этого было, что я ездил верхом, стрелял дупелей, а в Мизинцево не поехал.

* Принеси (фр.).

VII И то и сѐ

Еще минул год. Опять весна. Опять чудные майские ночи...

Есть речи: значенье
Темно, иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Таковы для меня звуки: «майская ночь». Сколько тысяч раз соловьи, поэты и прозаики воспевали ее! Сколько варьяций на эту вечную тему! Но что значит все это? Майская ночь опьяняет человека, вынуждает его зарыдать на ее благоуханной груди — где же тут описывать? Это последняя ночь над тетрадами. Завтра окончательный экзамен. Какое счастье! Завтра свет растворит передо мной настезь свои двери. Иди, куда хочешь. И вот на другой день последний экзамен кончен. Я видел, как профессор приставил против моей фамилии полный балл. Кончено! Университет для меня более не существует... Но где же радость, о которой я мечтал годы? Ее нет! На душе нисколько не радостно, даже глубоко грустно...

Долго стоял я на площадке университетской лестницы. Черная вывеска Матерни, под сенью которой съедено мною, между лекциями, столько котлет и корнизонов, теперь бессмысленно пучила на меня свои золотые буквы. Зачем я туда пойду? Но идти куда-нибудь надо. Зайду к портному, спрошу, готово ли штатское платье. Завтра прощусь с знакомыми да и марш в деревню. А там мое назначение авось найдет меня. На следующий день приезжаю к Васильевой. Значительно покрасневший нос Наталья Николаевна пил запоем одеколон. Наговорив мне кучу любезностей и пожелав всевозможного счастья, княгиня сказала, между прочим:

— Недели две назад, управляющий донес мне, что у Шмаковых родилась дочь. Сегодня Софи пишет: дочь названа Александрой. Признаюсь, это меня удивило. Зная страсть Аполлона Павлыча к романам, я ожидала услышать имя Матильды, Евгении, или по крайней мере, Лидии. Но какой он, однако ж, странный! Было время, он каждую почту надоедал мне требованиями касательно Жогова. Я, бедная, больная женщина, расчетами никогда не занималась, управители меня обманывают, а он непременно хотел вовлечь меня в дела. Сначала я хотела, как порядочному человеку, объяснить мое положение; но когда своими выражениями он доказал отсутствие всякого воспитания, то я объявила ему однажды навсегда, что письма его будут возвра-

щаемы нераспечатанными. Могу себе представить, как деликатен такой грубый человек с женою! Но Софи мне об этом ни слова не пишет, зная мои правила. Я никогда не вмешиваюсь в дела мужа и жены. Хотя точно жаль...

— Можжно, мой друг, — перебила Лапоткина, — сожжалеть о ттом, кто террпит отт родителей. Роддителяммы не самми себе даемм, а мужжа избирраем самми. Умрри, а террпи!

Через две недели после этого разговора я был уже в деревне. Батюшка сильно налегал на то, что пора мне избрать род службы. По мнению матушки, надо было оглядеться, а мне приходило на ум, что в деревне сколько ни оглядывайся, ничего не увидишь. В одно прекрасное утро я проснулся, против обыкновения, довольно рано. Утро было истинно прекрасно. Ни один лист на осиннике не шевелился. Коршун, изредка потрогивая то правым, то левым крылом, казалось, висел под безоблачным небом, и тень его не проскользнула, а медленно проплыла по песчаной дорожке у подъезда, мелькнула вверх по стене флигеля и исчезла на другой стороне крыши. Верстах в пяти от нашей деревни, в соборе заштатного городка, приготавлились встретить в этот день храмовый праздник. Из долетавшего по реке благовестного хора ясно выступал густой баритон соборного колокола. Уже давно бабы, надев праздничные кички с пестрыми лопастями, золотыми сороками и бисерными подзатыльниками, в новых лаптях, потянулись по дороге в город, обгоняя старушек в таких же кичках, только под белыми покрывалами. Когда я оделся, чтоб идти к чаю, в комнату мою вошел буфетчик Аристарх, наскоро приглаживая остатки седых волос.

— Папаша приказали узнать, угодно ли вам будет ехать в город.

— Да, поеду; только я сам сейчас скажу ему об этом.

— Барин, батюшка! — прибавил Аристарх, как-то подсвистывая, — осмелюсь вашей милости доложить, просите папашу, чтоб приказали заложить в пролетку тройку молодых вороных. Вся тройка добрая-с, а левая, батюшка, пристяжная, только весной заездили, может, изволите помнить Змейку — утешительница-с! Барин их никому ни шагу. Да намерни Сидор приказчик без них, по погрешности, захотел испробовать, к куме съездил, сказывал: уважила-с. Со двора-то, как изволите ехать, так, известное дело, надо уж по-батюшкиному потрафлять-с: вожжу в кольцо, а изволите за лес заехать — как угодно-с. Извольте приказать вожжу-то под третий поперечник — так и завьется. Вот изволите увидать-с, как завьется.

Я уж вышел из комнаты, а Аристарх все еще толковал: «Ей-богу завьется; еще как завьется-то!»

— Пооди, — сказал батюшка слуге, — прикажи заложить тройку молодых в пролетку. Да ты, пожалуйста, — прибавил он, обращаясь ко мне, — не гони пристяжных в карьер: это ни к чему не ведет, да и лошадям вредно. А как по-вашему? Гони; испортил лошадь — давай другую. А где их взять, других-то? Я это говорю вам, молодым людям, затем, что сам на свете много кувыркался, да в куст головою попадал. Ну, Бог с тобой, — сказал батюшка, когда подали лошадей. — Да заверни на станцию, нет ли писем, или ведомостей.

Хотя я за лесом и не поддавал вожжей под третий поперечник, но коренной под конец так разошелся, что пристяжные заскакали. В городе на площади, Змейка чуть не сбила с головы у продавца доски с горячими калачами. Какая пестрота! К собору нельзя подъехать. Толстый квартальный, в полной форме, обливаясь потом, никак не может привести в порядок экипажей. Деревенские кучера еще не привыкли к городской дисциплине. Один фореитор въехал в выносы другого, и, вместо того чтоб распутаться и исправить беду, они хотят решить дело единоборством. Посреди площади навалены горы лубков, ободья и деревянной посуды. Это необходимое; но зато вокруг все шатры наполнены предметами роскоши для мужика и баб. Там не такой товар, какой по деревням меняют ходебщики на тряпки да на яйца: тут все, как быть, настоящее. Но собственно торг еще не начинался. Только к «достойной» ударили. Еще слышно, как галки, возвращаясь с полей, перекликаются на главах, а дай-ко народ хлынет от обедни, так хоть из пушек пали — ничего не слышать. С трудом протолкался я до правого клироса. Дам было много; особенно бросилась мне в глаза одна в легкой белой шляпке. Она одета была с большим вкусом и держалась просто и грациозно. Подвигаюсь вперед — знакомое лицо. Всматриваюсь — точно, это Шмакова, но так изменилась, что действительно с первого раза не узнаешь. Щеки заметно впали; нет прежнего летучего румянца: он как-то огрубел и сосредоточился под глазами. Сначала я думал ей поклониться, но, видя, с каким жаром она молится, не захотел мешать. По окончании обедни началась давка. Я подошел к Софье Васильевне * и, с помощью ее лакея, помог выбраться на паперть.

— Благодарю вас, — сказала Шмакова, вздохнув свободней, — я так устала!

— Вы, верно, к нам? — спросил я.

* Так в журнальной публикации; ср. с. 55 наст. изд.

— Нет, я сейчас же еду домой. Извините меня перед тетушкой, но это точно выше сил моих. Я еще не оправилась от болезни.

— В таком случае, зачем же вы тревожились, ехали? Это вам может повредить.

— Я хотела молиться, — сказала Шмакова почти шепотом и как бы невольно.

Я был молод; в груди у меня стало жарко, как от лишнего стакана вина. Я быстро схватил руку Шмаковой и, взглянув ей в лицо, сказал патетическим тоном: «Кузина! мне глубоко жаль вас! Вы больны, вы страдаете, вы несчастны!» Шмакова вспыхнула. Кроткие темно-голубые и еще прекрасные глаза ее гордо сверкнули. Быстро высвободив свою руку, она перебила мою фразу.

— Надеюсь, кузен! — сказала она, — что в словах ваших не будет ничего обидного ни для моего самолюбия, ни для людей мне близких.

«Так вот ты какова!» — подумал я и довольно неловко переменял разговор.

— Прощайте, — сказала Шмакова, садясь в карету. — Кланяйтесь дома.

Я тоже просил передать мой поклон тетушке, а кланяться Аполлону у меня не достало духа. «Вот, — подумал я, садясь на дрожки, — правду говорит пословица: свои собаки грызутся, чужая не мешайся. Пошел на станцию!» Змейка завилась. «Давно ли почта пришла?» — спросил я смотрителя. «В девять часов пришла легкая, а тяжелую ждем каждую минуту». — «Письма есть?» — «Есть одно; газет еще не было». «Что ж вы меня держите?» — раздался звонкий, свежий голос из-за перегородки. «Извольте повременить какой-нибудь часок. И рад бы душою, да все в разгоне». «Кто это?» — спросил я. «Какой-то офицер. Вот подорожная», — отвечал смотритель шепотом. Я взглянул на подорожную. От Москвы до Меджибожа... уланского полка корнету Мореву с будущим. «Какой это Морев? — подумал я, — уж не сын ли генерала Морева — Петруша, которого я видал в корпусе и с которым, в последнее время, почти подружился?» — «Я буду жаловаться», — раздался тот же голос, и в показавшемся в дверях офицере я с радостью узнал Петрушу. «Ковалев! какими судьбами?» — «Я хотел тебе сделать тот же вопрос». — «Да вот, как видишь, еду в полк, да никак не доеду. Отец поручил заехал в деревню, поверить старосту. Там почти месяц просидел, а тут еще лошадей не дают. Однако, чего ты тут стоишь? Войди по крайней мере в комнату».

VIII

Рассказ Морева

— Садись-ка, брат, вот тут, на диван, — сказал Морев, когда мы вошли в комнату проезжающих. — Не хочешь ли сигару, а я не могу сидеть: надоело. Судя по твоему костюму, тебя можно поздравить. Кончил курс, поступаешь на службу?

— Кончить-то кончил и думаю на службу, да еще не решил, куда.

— Эх, брат Ковалев! иди в уланы. Полно купаться в чернилах-то. Ступай к нам в полк. Славный полк, пишет товарищ. Офицеры охотники до лошадей и у всех славы кони. Соседство, говорит, хорошее, а про охоту и спрашивать нечего. Куропаток мальчишки палками бьют.

Я посмотрел на яркий околыш фуражки Морева.

— Ну, что раздумывать? вели укладываться, да и марш!

Я почти обещал поступить в полк, где служил Морев, но про-сил его написать мне подробно обо всем.

— Позволь же мне, — сказал Петруша, — спросить бутылку шампанского в честь новобранца.

— Нет, брат, — отвечал я, — деревня наша в пяти верстах отсюда, и пока лошадей тебе выкормят, поедем к нам обедать, а после обеда я тебя сейчас же доставлю на станцию.

— Вот уж этого не могу! — возразил Морев. — Хоть меня и звали в корпусе подбитым ветерком, а все-таки дружба дружбой, а служба службой. И так опоздал. Из деревни уехать было нельзя. Отец сказал бы, что я ничего там не сделал, а я и то даром просидел.

— Да что ж ты там делал?

— Как что? Говорят тебе, поверял старосту. Ты хотя немного помнишь моего отца? Привыкнув к дисциплине, он не терпит возражений. Когда я собирался в полк, отец позвал меня и говорит: «Заезжай в деревню. Я знаю, там беспорядок. Ты уже не ребенок — в твои лета я ротой командовал; так поверь старосту и донеси мне, как напел хозяйство». Делать было нечего. Сел на тройку, да и марш. Приезжаю, братец, в деревню. Старинный сад зарос. Огромный дом в самом жалком виде. Развалившаяся крыша поросла мохом, мебель оборвана. Старинное аббатство, да и квит. Кое-как устроился в кабинете. В других домах на чердаке галки да голуби, а тут вечер настанет — как бы ты думал? совы! да какой концерт подняли, просто ужас нагнали. Однако ж, я главного-то не забываю. Сел поутру в старое волтеровское кресло да и говорю: позовите старосту. Является небольшой мужичок. Кафтанишка на нем худой, обшлага кожей

обшиты. Маленькие глазки так и бегают по сторонам; рыжая борода двумя клиньями; в руках две палочки с надрезанными крестиками. «Ты староста?» — «Я, батюшка, Петр Петрович». — «Ну что, как у тебя дела идут?» — «Слава Богу, батюшка Петр Петрович, во што». — «Как слава Богу? Батюшка говорит, что ты уж два года ничего не присылал». — «Времена-то, батюшка, Петр Петрович, какие подошли! Ты ишь какие времена-то, во што!» — повторил староста, взглянув в окно. На дворе был чудный летний день и больше ничего. «Ну, хорошо, — сказал я, — времена временами, а счета ты принес?» — «Как же, батюшка Петр Петрович, — отвечал староста, указывая на палочки, — на все надо резонт — во што». — «Да что ж это такое?» — «Бирки, батюшка Петр Петрович. Мы люди темные, так бирками занимаемся — во што». — «Ну, говори, а я буду записывать, а там сочтемся». Синий ноготь на большом пальце правой руки у старосты зашагал по бирке из метки в метку, язык залепетал, а раздвоенные концы рыжей бороды зашевелились, опускаясь вверх и вниз, как хвост у трясогузки. «На Бутырском Верху семь копен, два крестца, три снопа, без малого, с осьминой. На Разбегае с крестцом сам-треть как есть, на Чудилондом...» Но он с первых слов так меня озадачил, что, делая вид, будто слушаю и записываю, я с отчаяния начал писать: «Пошел козел в огород; чигирики — чок — чигири». Мученье мое продолжалось по крайней мере час. Наконец терпение лопнуло. «Ну, брат, хорошо. Мы после с тобою кончим. Ступай». На другой день плут староста пришел уже незванный и принес не две бирки, а штук десять. «Что тебе нужно?» — «Как же, батюшка Петр Петрович, знамо, пришел к вашей милости счесться. На все надо резонт — во што». Опять та же потеха, и я опять прогнал его. На третий день он притащил чуть не целый воз бирок. Я как только увидал его: «Вон! — говорю, — не смей ко мне приходиться, пока не позову». — «Как вашей милости угодно, — говорит, — я, чтоб часом инарал-то наш не осерчал — во што». С тех пор староста уж не приходил незванный. Что делать? Писать к отцу рано, уезжать рано — узнает; скука, да и только!

— Да неужели ты все это время проскучал один?

— То-то и есть, что нет. Судьба сжалилась надо мной и послала такие развлечения, о которых мне и не снилось.

— Что ж такое?

— Чтоб хоть сколько-нибудь очистить совесть перед отцом, я вздумал хотя поле объехать. «Ванька! скажи, чтоб мне и старосте оседлали лошадей; я поеду по полям». Целое утро протаскались мы по межам и кустам и наконец выехали на торную дорогу. Все это так мне надоело, что я хотел было повернуть до-

мой. Вдруг слышу, за нами кто-то едет. Оглядываюсь — какой-то толстый господин на беговых дрожках. Поравнявшись с нами, он поехал шагом и начал попеременно смотреть то на меня, то на старосту. «Позвольте вас спросить, — сказал он наконец, — вы не из Дюкова?» — «Да». — «Не сынок ли генерала Морева?» — «Точно так». — «Петр Петрович?» — «К вашим услугам». — «Честь имею рекомендоваться: сосед ваш Орест Савич Морквин». — «Очень приятно...» — «Я, батюшка Петр Петрович, человек простой, живу по-старинному, а потому покорнейше прошу, для первого знакомства, откушать. Изволите видеть, вон за плотинной белый дом. Стол накрыт; милости прошу». Сначала я извинялся, но ничего не помогло. Оказалась ни дать ни взять Крылова басня: «Хозяин музыку любил — и пригласил соседа певчих слушать». Явились певчие. «Становись!» — командовал Орест Савич. Певчие разделились на два хора. Басы и тенора в одну кучу, альты и дисканты в другую. «Вы, батюшка Петр Петрович, еще не слыхивали таких певчих, — заметил, улыбаясь, Морквин, — у меня ведь поют со спором». Сначала я не понял, что значит петь со спором, но за первым блюдом загадка объяснилась. Запели: «Забелелися во чистом поле каменные палаты». Кажется бы, просто — не тут-то было. Басы запели: «забелелися», вслед за тем дисканты: «забелелися», басы еще громче: «забелелися»; дисканты еще визгливей: «забелелися... забелелися, забелелися, забелелися, забелелися», и наконец все вместе: «каменны палаты». Подобным образом спеты были чуть не все известные русские песни, и эффект выходил такой, что я чуть со смеху не подавился куском телятины. Но это, братец, еще не все. Я забыл тебе рассказать главное. Большая дорога у меня под самым окном. На другой или на третий день сажу я в кабинете и, со скуки, смотрю на проезжающий люд. Вдруг, откуда ни возьмись, по направлению к уездному городу, несется лихая тройка буланых, в ямских хомутах. Большая новая телега, кучер в синем армяке; шляпа в зеленом чехле, перчатки зеленые, вожжи красные. Я растворил окно. Телега поехала тише. Смотрю: в задке, на высоком переплете, сидит господин в желтых перчатках, в красной александрийской рубашке с косым воротом, обшитым золотым галуном. На голове черный бархатный берет, в глазу стеклышко. «Ванька! Ванька! спроси, не знает ли кто-нибудь в доме, кто это проехал?» Через несколько минут Ванька воротился. «Сосед, — говорят, — Шмаков-с». «Какой это Шмаков? — подумал я, — уж не Аполлон ли?» В том же экипаже и в том же самом костюме Шмаков по крайней мере раза два в неделю показывался мне, и, кажется, нарочно приказывал ехать шагом мимо окон. Признаюсь, он меня заинтересо-

вал, и мне захотелось узнать о нем какие-нибудь подробности. Но как? В Москве я коротко познакомился с тобой в последнее время, а Шмакова знал мало. Да, может быть, это еще и не тот. Ехать знакомиться не хотелось. И тут судьба помогла мне самым неожиданным и странным образом. Ночной крик сов до того мне надоел, что я приказал по частям разбирать и снова крыть крышу. Как-то поутру выхожу посмотреть на рабочих, вижу — по дороге едут крытые дрожки парой. Сначала я не обратил на них особенного внимания — мало ли кто ездит по большой дороге! Но потом смотрю: дрожки забирают влево, к дому, и наконец остановились у крыльца. Вертялая женщина, на лицо лет тридцати, в сером бурнусе, с палевой шляпкой на затылке, выскочила из экипажа. Темно-карие глаза и черные брови придавали ее несколько рябоватому лицу энергический и бойкий вид. Темно-русые, пышные волосы разделены были спереди косым пробором и большая половина раздела, над самым лбом, ухарски приподымалась кверху, как у мужчины. «Петр Петрович Морев?» — спросила она, протянув ко мне руку в серой лайковой перчатке. — «К вашим услугам». — «Уездная акушерка Палагея Николавна. Прошу полюбить». — «Позвольте узнать, чем могу служить вам?» — «О! о! какой церемонный! Прикажете-ка дать лошадям овса, да пойдете в комнату; тут жара невыносимая». С этим словом она побежала на крыльцо. Я последовал за ней. «Пожалуйста, голубчик, не сердитесь! Я знаю все, что делается в уезде, и проведала про вашу скуку. Была здесь по соседству у помещицы; дай, говорю, заеду поболтать. Ведь вы еще не обедали?» — «Нет; кажется, довольно рано!» — «Тем лучше, поболтаем, пообедаем вместе, лошади отдохнут, и с Богом». Сначала я был озадачен развязностью Палагеи Николаевны, но, оправившись, предложил ей снять шляпку. Сбросив шляпку на стол, она стала перед зеркалом, без всякой видимой нужды размотала свою толстую, блестящую косу, полюбовалась ею, кинула на меня плутовской взгляд в зеркало и снова уложила косу на затылке. «Теперь я к вашим услугам, — сказала Палагея Николаевна, обращаясь ко мне с улыбкой. — Где ваша комната? Давайте курить и болтать». За болтовней у нее дело не стало. Усевшись в кабинете у растворенного окна, мы, благодаря незастенчивости моей гостьи, в полчаса стали друзьями. «Смерть люблю молодых людей! — вскричала Палагея Николаевна, неистово целуя меня в щеку, — милашка! — прибавила она, — усики только пробиваются, и сердечко должно быть доброе». — «Палагея Николавна! — сказал я, — уж если пошло на откровенность, скажите, отчего вы не выйдете замуж?» — «Замуж? Нет, голубчик, этот совет побереги для других. В тридцать восемь лет худо

замуж выходить. Надо за старого — а они такие гадкие, изверги». В эту минуту красный господин, со стеклышком в глазу, поравнявшись на тройке буланых с домом, поехал шагом. Заметив его, Палагея Николаевна отвернулась. «Палагея Николаевна! Скажите, пожалуйста, кто этот чудак? Говорили мне, Шмаков, да как его зовут?» — «Как его зовут? — с жаром подхватила Палагея Николаевна, — изверг, низкий, самый низкий человек — вот как его зовут. Хоть и величают его Аполлоном Павлычем, а он просто Змей Горыныч. Если б я, кроме него, никого мужчин не видала, и тогда скорее бы живая в гроб легла, чем замуж вышла». — «Да чем же он так заслужил ваш гнев, Палагея Николаевна?» — «Чем заслужил гнев? Ведь он жену-то, милочку-то, агнца-то невинного погубил, зарезал. Вы этого не знаете? не слышали? Я вам расскажу. Женился-то он не на ней, а на большом имении. А у нее мать-то в Москве, знать, не промах: не дала ничего. Сначала он к жене подольщался: «Сонечка, такая-сякая, пиши к матери», разломал старый дом, выстроил большой флигель, а против середины двора затеял барские хоромы. Да как узнал, что не получит имения — как бы вы думали? возненавидел жену-то. Я, говорит, вас... (все «вы» ей говорит) я, говорит, вас просто ненавижу. Вы, говорит, мне свет завязали. А между тем дело-то подошло к тому, что и за мной пора посылать. Как бы вы подумали! ведь не хотел, не хотел, изверг-то. «А мне, говорит, какое дело?» Да уж мать-то его, скупая, но добрая старушка, на свой счет меня в дом взяла. Господи! чего только я там не насмотрелась! Погляжу, бывало, погляжу на нее — любит его, голубушка, без памяти. Уж чего-чего не делала! Время, знаете, пришло, уж не до нарядов. Одевается, бедняжка, волосы заплетает, завивает... Ростом-то он весь с воровья. Что ж бы вы думали? театральные башмаки без подошв из Москвы потихоньку выписывала, чтоб ниже ростом казаться: ничего не помогло. Заладил одно: «я вас ненавижу», да и только. Да если б вы знали, какие каверзы выдумывал! У матери она не привыкла к бойким лошадям. Старуха, знать, их боялась, дочь тоже. Это ему и на руку. Велит в крохотную варшавскую колясочку заложить четверку жеребцов. Лошади со стойки на стены лезут. Возьмет ее в этом положении-то, посадит, сам сядет и крикнет «пошел!» Лошади от крыльца понесут, жена в обморок, а он заливается со смеху. А не то в дождливую погоду велит ей одеться в белое платье, обуть белые атласные башмаки, и марш гулять. Выведет ее, бедняжку, на двор, сам на лошадь верхом и норовит всю забрызгать. Обдаст всю с ног до головы грязью и рад, хохочет... Пришло время родов... Признаюсь, я сама испугалась. И простудил-то он ее, и напугал-то — умира-

ет женщина да и только. Потребовала мужа. Приходит сахар медович. «Что вам, — говорит, — нужно?» — «Аполлон, — говорит она, — друг мой, я умираю! Прости меня великодушно! Я, — говорит, — была твоим горем, не умела сделать тебя счастливым. Я одна виновата. Но я знаю, ты великодушен. Прости меня!» Уж так она его просила, так умоляла, что даже я не вытерпела — разревелась.

— Ну, а он-то что? — перебил я Палагею Николаевну.

— Он? — продолжала рассказчица, — как с гуся вода. Повернулся, расправил скобку — только и видели. Как-то Бог помог: родилась дочь. Мать рада; старуха Шмакова земли под собой не слышит, так и сидит над внучкой. Смотрю, на третий день и противный-то приходит к жене. «А вы, — говорит, — не умерли? Ведь вы обещались умереть...»

На этом месте рассказа Морева в дверях показался стационарный смотритель и объявил, что лошади готовы.

— А уложились?

— Совсем, — прибавил смотритель.

— Ну, прощай, брат Ковалев, — сказал Морев, пожимая мне руку. — Жаль, не досказал я тебе про Палагею Николаевну. Ну, да еще увидимся. Приезжай поскорей.

— Ты не забудь, Петруша, напиши, не поленись, да поподробнее.

Колокольчик зазвенел, и Морев покатил за ворота.

IX

Чернецов

Когда я объявил батюшке о намерении своем определиться в военную службу, он сказал: «Что ж? Прекрасно! Где хочешь служи. Ведь не я буду служить, а ты. Чем скорее, тем, по моему, лучше». Матушки в комнате не было: возражать было некому, но это не помешало батюшке с жаром вооружиться против невидимого противника. «Да нет, — продолжал он, — я не из числа ахал! Сынка жаль? Нет, нет, это не моя метода любить; да таки нет, нет, это не моя метода. По моему, поезжай хоть в Америку, да будь счастлив». Добрый батюшка! Поэзия жизни для него не существовала. Мечтать, предчувствовать было не его делом. Казалось, он всю жизнь развивал одну тему: «по моему это справедливо; я этого непременно хочу — и это непременно будет». Постоянным девизом его была словосица: «что посеешь, то пожнешь». Много, неотступно трудолюбиво сеял он на веку, но много ли пожал и каких плодов? Зато чуткое сердце матери вещим голосом отозвалось в последнее время. «Друг мой! — го-

ворила она, взяв меня за руки и со слезами глядя мне в лицо, — дай мне в последний раз налюбоваться на тебя; дай еще раз расчешу твои густые волосы. Сердце чувствует, что расстаюсь с тобой навеки».

Так прошло недель пять. Получив письмо от Морева, я прочел его батюшке.

— А за куропатками-то советую тебе пореже. Служба, служба и служба, а эти куропаточники-то — дешевенький народ. Нынче куропатки, завтра куропатки, *toujours perdrix* *, а потом что? Нет, нет... Надо тебе, однако ж, до отправления, к сестре съездить. Пусть они будут передо мной виноваты. Вот племянница-то в двух шагах мимо дома проехала. Что? нездорова? Сиди дома. Это непристойно — попросту сказать. А я вот пошлю лошадей на подставу. Сядешь в коляску, откатаешь — ан дело-то и сделано. Да ведь нет, нет! с людьми так жить нельзя.

Часу в одиннадцатом утра въехал я на широкий двор Мизинцева. Ничего не могу узнать. На месте старого дома новый, довольно большой флигель. Кругом какие-то домики, как будто сердца, подавляя всю мелкую братию величием затей, недостроенный деревянный колизей. В окнах, как и следует, у колizeя рам нет, и по узким доскам, которыми поперек забиты эти окна, можно предполагать, что деревянное чудовище уже предоставлено собственной судьбе. «Куда тут ехать?» — спросил я какого-то малого. «А вот налево-то, к новому фигурю. Там барин живет, а в большом-от старая барыня да молодая».

Аполлона я застал в комнате, которая представляла все, что угодно: спальню, кабинет, приемную, гостиную. Стены и кровати завешаны дорогими варшавскими коврами. На зеленом столике серебряный рукомойник с таким же прибором. На стенах, в золотых рамах, литографии двусмысленного содержания и достоинства. Затейливая мебель, рабочий стол и на нем бумаги, помада, счетные книги, фиксатуар, духи, романы, рижские пурки, овес, пшеница; на окнах гречиха и ячмень.

Хозяин встретил меня в красной рубахе, точь-в-точь, как рассказывал Морев. Широкие зеленые шаровары в сапоги. Вокруг голый, растолстевшей шеи эластический шнурок и на нем стеклышко.

— Ба, ба, ба! Какими судьбами? — запищал Аполлон, завидя меня. — Насилу завернул в нашу сторону!

— И то ненадолго, — отвечал я, — приехал взглянуть на тебя, поклониться тетушке, да и в полк.

* вечно куропатки (фр.).

— Поздравляю, поздравляю!

— Позволь мне переодеться. Хочу сейчас же идти к тетушке.

— Не ходи, братец, лучше...

— А что? разве тетушка нездорова, не принимает?

— Нет, тебя-то примет; да я советовал бы лучше не ходить.

Там такой ералаш!

Тем не менее минут через пять я был уже в большом флигеле.

— Вот сюда пожалуйста, — сказал постаревший Андриян, отворяя мне дверь.

Софья Васильевна быстро скрылась при моем появлении. Тетушку я застал в серизовом шелковом платье, сидящую на диване. Глаза у нее были красны; на щеках еще оставались следы слез. С правой стороны дивана, на кресле, сидел большого роста пожилой человек, довольно плотный, но с необыкновенно тонкими чертами лица. Тетушка представила меня Чернецову. Несмотря на ее обычные «а, а!» и «о! о!» разговор не клеился, и я, заметив, что попал точно не вовремя, скоро раскланялся и ушел.

— Кто этот Чернецов? — спросил я Аполлона, воротясь в его комнату.

— А! ты про Донкишота этого спрашиваешь: родной братец моей любезной тещи. Нечего сказать, славная семейка! Один другого стоит. Как же! нельзя! важный человек! Ты видел там у крыльца-то какой дормез? Да я плевать на них на всех хочу. Моя-то дражайшая половина нажаловалась, что ли, на меня. Ты знаешь мою деликатность. Я не способен вмешиваться в эти дразги. Вот он ее теперь увозит — и слава Богу: скорей со двора. А меня пусть извинят — не пойду прощаться.

Долго еще Аполлон варьировал на эту тему. Желая скрыть свое волнение, я перелистывал какой-то французский роман. Через несколько времени послышался легкий стук экипажа.

— Ну, слава Богу, — взвизгнул Аполлон, — наконец я сделаюсь опять человеком!

Но стук все приближался и, наконец, смолк у крыльца.

— Что это такое? — спросил Аполлон, уставясь на меня.

Я сам был не менее изумлен. Дверь в комнату растворилась, и на пороге появилась огромная фигура Чернецова. Он быстро окинул комнату глазами и, оборотясь назад, сказал вполголоса: — Войди, Софи.

Молодая женщина вошла. Никогда я не забуду ее в эту минуту. На ней, как говорится, лица не было, а между тем, чего не было на этом лице: и стыд, и скорбь, и отчаянье! Ожидая неприятного объяснения и, чего доброго, какой-нибудь катастрофы, я начал пробираться к дверям.

Заметив мое движение, Чернецов быстро схватил меня за руку.

— Извините, молодой человек, — сказал он, — что, не имея чести короткого знакомства, я распоряжаюсь вами в таком важном случае. Вы хотите уйти, а я, напротив, прошу вас остаться. Пусть между нами будет если не судья, то по крайней мере посторонний свидетель.

Что ж мне было делать? Я поклонился и остался.

— Аполлон Павлыч! — сказал Чернецов самым вежливым тоном, — мы пришли к вам за последним словом.

— Хотя я имел честь, — перебил Аполлон, нарочно утрируя вежливый тон, — сказать вчера мое последнее слово и m-me и Софье Васильевне, тем не менее, желая быть вам приятным, готов повторить его снова.

— Вы непременно хотите оставить вашу дочь у себя? — сказал Чернецов.

— Непременно, — отвечал Аполлон, кланяясь, — это мое право.

— Я не думаю оспаривать ваших прав, не прошу вас сжалиться над несчастной матерью — это было бы напрасно, и я не пришел бы за этим, зная, как глубоко вы ненавидите мою племянницу. Обращаюсь к вам с другими доводами. Извините мою откровенность. Вашу ненависть к жене вы, кажется, ни перед кем не скрываете, но, по некоторым словам, сказанным вами вчера, я заключаю, что вы не менее равнодушны и к дочери. Подумайте: оставляя ее у себя, вы делаете жестокость, которая не только не принесет вам никакой пользы, но даже будет вам же самим в тягость.

— Благодарю вас за откровенность, — взвизгнул Аполлон, встряхнув скобкой и цинически улыбаясь, — буду отвечать вам тем же. Не скрываю перед вами моего равнодушия к дочери, но замечу: в вашей прекрасной речи вы забыли об одной вещи — о моей матери. Всякий пожилой человек имеет свои слабости. Вы любите спасать и покровительствовать, а моя мать любит воспитывать. Надо же ей какую-нибудь забаву... — прибавил он вполголоса, однако ж так, что все слышали.

При последнем слове Софья Васильевна судорожно закрыла лицо руками и так вскрикнула, что у меня сердце захолонуло.

— Пойдем, пойдем отсюда скорей! — вскричал Чернецов, взяв под руку племянницу, — это ужасный, это страшный человек!

— А я, напротив, жалею, что вы так скоро уходите, — пилал ему вслед Аполлон, задыхаясь от гнева, — вы очень забавны!

Дверцы стукнули, карета уехала. Аполлон, взволнованный, ходил по комнате. В первое время я до того ошеломлен был всем виденным и слышанным, что окончательно потерялся. Мало-помалу, однако ж, мысли мои стали проясняться. Что мне делать? Идти к тетушке — не время и некстати. Это батюшка поймет, если ему рассказать о случившемся; но велеть сейчас же запрягать лошадей и уехать — значило бы сделать некоторого рода скандал, которого батюшка не простит ни в каком случае. Скрепя сердце я принужден был обождать хотя столько, чтоб отъезд мой не имел вида разрыва. Волнение Аполлона тоже приутихло.

— Однако ж, — сказал он, останавливаясь среди комнаты, — соловья баснями не кормят. Будем обедать! Эй! накрывайте на стол! — крикнул он, выходя в переднюю, и вслед за тем послышался его шепот. — Да проворней, поворачивайтесь! — громко прибавил он, входя комнату.

Минут через пять два молодые лакея, которых прежде я никогда не видал, внесли четырехугольный складной стол. Нельзя сказать, чтоб слуги эти были особенно опрятно одеты. У одного узкий сюртук, вероятно, с барского плеча, лопнул под мышкой, у другого на одной ноге штаны были свех сапога, а на другой в сапоге. Накрывать небольшой складной стол принесли голландскую скатерть, на которой удобно могли бы обедать, по крайней мере, человек пятьдесят. Уж чего не делали с этою скатертью! и подворачивали-то ее по всем углам, и завязывали вокруг ножек, а все она еще лежала на полу. Серебра натаскали целый ворох.

— Какое ты пьешь вино? — спросил Аполлон, — красное, белое? крепкое? шипучее?

— Всякое, или, лучше сказать, никакого.

— Подай самого лучшего! — взвизгнул хозяин, обращаясь к лакею с прорехой под мышкой.

Мы сели за стол. Мизинцевская кухня в продолжение восьми или девяти лет мало подвинулась вперед. Правда, блюда стали еще затейливее, явились новые термины: фрикандеи, суп с гнилями, майнесы, говядина превратилась в бафламут; но сущность осталась вся та же. Волос и тряпок в ней, кажется, еще прибыло. Лучшее вино оказалось до половины отпитой бутылкой, пополненной жидкостью неопределенного цвета. К счастью, благодаря предшествовавшей сцене, аппетита у меня не было никакого; кусок не шел в горло.

— Человек! прикажи моему кучеру запрягать и подавать.

— Куда ж ты так скоро? Ночуй у меня.

— Нет, извини, брат, через четыре дня еду на службу; поэтому тороплюсь. Передай тетушке мое уважение и скажи, что я не хотел ее беспокоить.

Я вернулся домой. Еще несколько дней — и новая разлука. Кажется, давно ли, точно так же на неопределенный срок, покидал я родные места? Места те же, люди те же; но есть ли какое-нибудь сходство в чувстве тогдашнем и теперешнем? Отчего мне так не хочется, отчего мне жаль уезжать?..

Давно не видал я этой тетради. Вот уже лет пять лежит она в числе прочих бумаг на столе, под кобурными пистолетами — нашем походном пресс-папье. Она начата, когда еще живо было во мне впечатление последней сцены в Мизинцеве, но теперь, когда оно побледнело и заменилось новыми, которые возбуждены близкими утратами, мне как-то странно видеть эту рукопись. На что? для кого она? что она доказывает? Разве справедливость стиха: «Как наши годы-то летят!» Пойдешь, бывало, на ординарцы к начальнику, да как он скажет: «Славно, Ковалев! Все, что я слышу, меня радует. Прекрасный будет офицер!» — так целый день готов делать приемы саблей и карабином. Кажется, это было за несколько недель, а вот уж шестой год, как я офицером, и два года каждый день кричу то же, что тогда кричали мне: «корпус назад! колено назад! каблучки вниз! повод ближе к шее! смотреть между ушей, подбородка не вешать!» Но еще раз: кого это может интересовать? Разве товарищу прочесть на сон грядущий, а, может быть, и С-вой. Она почти еще дитя. Но преумное и милое... К чему я ее тут припелл? Это глупо. Баста! Прощай, тетрадь! Ступай опять под пистолеты...

Опять на родине! Сколько раз завидовал я поэтам! Что за чудный дар сказать самую простую речь, которая, при известных обстоятельствах, каждому так и просится на язык, так и ложится под перо! Вот и теперь так и хочется продолжать: «Я посетил тот мирный уголок...». Кто не пережил, подобно мне, воротясь после долгого отсутствия опять на родину, во всех родах этого стихотворения? «Уже старушки нет...»

Какая полнота и верность! какой напев! а между тем ни одной рифмы. Поставьте одну — и все пропало. Как бой часов прогоняет ночного духа, одна рифма — звонкий отголосок действительности <—> рассеял <a>бы задумчиво-сладостный, безмятежно-грустный сон давно минувшего. Говорят: следы сабельных ударов украшают мужественное лицо воина. Если это правда, то не как темно-красные полосы украшают они его, но как живая вывеска отваги, смотревшей прямо в глаза смерти, и силы, перенесшей жестокие удары. Не то же ли с нашим сердцем? Не

потому ли воспоминания его тем слаще, чем глубже некогда оно было уязвлено? Не оттого ли так весело и больно тревожить язвы старых ран? Казалось, если б не дела, не поехал бы я домой: не зачем! Дом пустой; одних уж нет, а те далече... Выходит, не то. Я здесь молодею многими годами. Где-то теперь Василий Васильич? Где Сережа? Вот сиреневые кусты, под которыми ловились синицы. Вот старые липы. Как-то они потемнели и шепчутся между собою. На днях был у меня Морев и упросил приехать к нему. На замечание, что ни я, ни мои люди не знают к нему дороги, он принялся ее толковать:

— Знаешь, встает в сорока постоялый двор, на большой проселочной дороге?

— Знаю.

— Помнишь, на десятой версте, за ним дорога разделилась: одна пошла направо, к Мизинцеву, а другая налево, ко мне. Только ты по ней не ездил: верст пять крюку будет, а будет с нее направо полевая дорога, так ты по ней поезжай. Отъедешь версты четыре, увидишь церковь направо, а там всякий мальчишка тебе скажет, где Дюково.

В условленный день, на десятой версте за постоянным двором, мы повернули налево. При первой полевой дороге вправо я велел кучеру свернуть на нее.

— Должно быть, эта дорога не туда; что-то она больно вправо заворачивает, — пробормотал кучер.

— Пожалуйста, не умничай; сказано вправо, и поезжай вправо.

Лошади пустились большой рысью.

— Кажется, Петр Петрович изволили говорить: до церкви четыре версты — а мы проехали верст шесть, а церкви не видеть, — отозвался сидевший рядом с кучером Сёмка.

Проехали еще версты две; показалась церковь.

— Попасть-то попадем, — забормотал снова кучер, — только в Мизинцево, да с другого конца.

— Что ты врешь! — закричал я, — Мизинцево осталось вправо.

Когда мы подъезжали к церкви, навстречу нам попалась дворовая девочка, лет десяти.

— Куда ж ты несешься? Надо по крайней мере расспросить.

Кучер остановил лошадей и оборотился в ту сторону, по которой шла девочка, с выражением лица, ясно говорившим: посмотрим, мол, что из этого будет?

— Послушай, умница! какое это село?

— Мизинцево, — отвечала девочка, картавя.

— А дома барин?

— Нету-ш.

— Кто ж дома?

— Шталая балиня дома-ш.

— Пошел на барский двор! — сказал я, на этот раз не очень громко.

Во флигеле Аполлона перемены почти никакой не оказалось. Та же комната, та же мебель, бумаги, духи, пурки, романы, овес и проч. Только разве ковры несколько полиняли.

— Сёмка! приготовил ты мне скюртук со вторыми эполетами?

— Готов-с.

— Давай мне бриться! Ну, что ж ты стоишь?

— Виноват.

— Что такое?

— Забыл бритвы захватить.

— Эх, брат! Мы с тобой не минем никуда поехать без того, чтоб чего-нибудь не забыть! Ты хоть бы у здешнего человека спросил Аполлона Павловича бритвы.

— Спрашивал, да нету-с. С собой увезли, а здесь все на замок-с.

— Однако не пойду же я к тетушке с такою бородой.

— Совсем мало заметно-с.

— Ступай и принеси мне бритву — понимаешь?

Сёмка ушел. Со скуки я взял какой-то роман Сю, кажется, «Les sept péchés capitaux» *. Перевернув две-три страницы, вижу, на атласной бумажке с кружевным ободком и цветной виньеткой, записку, начинавшуюся словами: «Mon ange! Votre femme est une indigne» **. Я захлопнул книжку и бросил на стол. Явились бритвы.

— Доложили ли тетушке о моем приезде?

— Докладывали-с; приказали просить-с.

— А куда идти? Через двор, в большой флигель?

— Точно так.

Немудрено было мне отречься от Мизинцева! Когда-то желтая решетка частью повалилась, частью разобрана на дрова; старый сад вырублен, и на месте его торчат какие-то палки; пруд почти высох; деревня по другую сторону почернела и, кажется, присела к земле; по выгону бродят тощие крестьянские клячи. Собственно барский двор кругом зарос исполинским репейником и лопухами. Колизей от времени и дождя принял пепельный цвет и, как мрачный циклоп, смотрел на деревню своим черным слуховым окном. В просветах между поперечными дос-

* «Семь смертных грехов» (фр.).

** Ангел мой! Ваша жена человек недостойный (фр.).

ками, которыми заколочены прочие окна, тучи галок кричат и хозяйничают. Немудрено, что их такое множество: верно, во всей губернии не найдется для них удобнейшего помещения. Тетушку я, как и в последний раз, застал на диване. Незатейливые рукава ее холстинкового платья стали так коротки, что она принуждена была втягивать в них свои сухие, жилистые руки, вроде того, как это делают ребятишки на морозе. На окошке лежала книжка с картинками, а рядом с тетушкой, на диване, сидела большая серая кошка, лениво щуря зеленые глаза. Тетушка решительно не переменилась. Не сделайся у нее этого горба, можно бы сказать, что она стала еще моложе и проворней.

— О мон шер невё! * давно ли в наших местах?

— Очень недавно, тетушка!

— О! о! о! (град поцелуев) о! о! о! (новый град поцелуев). Прене плас. ** У! у! полковнички! Кель ранг аве ву? ***

— Штаб-ротмистр, тетушка.

— О! о! ком се бьен! Ком са ву фет онёр! ****

— Как здоровье маленькой Саши?

— О! о! ком ву зет эмабль! ***** она уже большая девица! — И вслед за тем раздался голос тетушки: — Шушу! Шушу! Кеске ву фет? Вене иси! *****

На зов явилась девочка лет шести, довольно чисто и даже нарядно одетая. Это был живой портрет матери, какую я видел ее в первый раз: те же голубые глаза, тот же цвет волос, то же круглое, свежее личико и та же робость в движениях.

— Шушу, фет вотр реверанс а вотр тре шер онкль! *****

Девочка присела. Я взял ребенка за руку, подвел к себе и поцеловал в щеку.

— Шушу! Шушу! кеске ву зет? — продолжала тетушка. Девочка молчала. — О! о! у! у! Кеске се? Репонде! кеске ву зет? *****

Девочка отступила два шага от моих колен, скрестила руки и, смотря на меня блестящими от слез глазами, проговорила:

— Je suis une pauvre malheureuse! Mon très-cher papa ne m'aime pas, ma chère maman m'a abandonné. *****

* О мой дорогой племянник! (фр.).

** Садитесь (фр.).

*** В каком вы чине? (фр.).

**** Как это хорошо! Какую честь вам это делает! (фр.).

***** как вы любезны! (фр.).

***** Что вы делаете? Идите сюда! (фр.).

***** поклонитесь вашему дражайшему дядюшке! (фр.).

***** кто вы такая?.. Что это? Отвечайте! кто вы такая? (фр.).

***** Я бедная, несчастная! Мой дражайший папа меня не любит. Моя дорогая мама меня покинула (фр.).

— Э, ки ески ву рест *, Шушу? — спросила тетушка, подде-
лываясь под жалобный голос ребенка.

— Je n'ai que ma très chère gran'maman **, — сказала девоч-
ка, и две крупные слезы покатались по ее круглым щекам.

— О! о! ком се бьен! *** — сказала тетушка со слезами на
глазах, глядя внучку по голове. Але жуе! **** О! о! какой он! Не
поверишь, полковнички! Не могу порядочной прислуги иметь.
Иль э си мове сюже ***** — прибавила тетушка, улыбаясь
сквозь слезы. Но элегический тон увлек тетушку.

— Иль не ме дон рьен, — продолжала она, всхлипывая, — э
кельк фуа иле тре гросье *****. — Проговорив последнее слово
едва слышно, старушка как будто испугалась. Она быстро вско-
чила с дивана и, целуя воздух, бросилась было ко мне с словами:
«У! у! полковнички!» — но, сделав два шага, перевернулась, про-
говорив особенным тоном: — кошка, капошка — монтре ла ланг
***** — мои крошечки!

Серая кошка раскрыла глаза, зевнула, лизнула себя по носу
и выставила розовый язык. Было довольно поздно, и я решил
переночевать в аполлоновой комнате, приказав Сёмке разбудить
пораньше. Часов в семь утра Сёмка вошел ко мне, неся на под-
носе кофе.

— Велел запрягать?

— Запрягают-с. Вот щенок — так щенок!

— Что ты говоришь?

— Щенок отличный, английский-с.

— У кого?

— У ихнева повара-с.

— Что ж? он продает его?

— Продает-с.

— Скажи, чтоб показал.

Минуты через две, заспанный и взъерошенный малый, в
скюртуке неопределенного цвета, привел щенка. Щенок оказал-
ся точно недурен.

— Что ты за него хочешь?

— Помилуйте-с, я не смею с вами торговаться. Что пожалу-
ете-с.

* А кто вам остался... (фр.).

** У меня лишь моя дражайшая бабушка (фр.).

*** как хорошо! (фр.).

**** Идите играть! (фр.).

***** Он такой бездельник (фр.).

***** Он ничего мне не дает... А иногда он очень груб (фр.).

***** покажите язык (фр.).

- Ну, так не надо.
- Двадцать целковых следовало бы.
- Двадцать — дорого, а десять дам.
- Извольте, с моим удовольствием-с. По знакомству от егеря достался; а то нам, признаться, и держать нельзя: у барина настроено заказано-с, чтоб им-то, изволите видеть, не было, дескать, от нашего брата часом какой обиды-с.
- Сёмка! это наш колокольчик позвякивает?
- Наш-с.
- А что я тебе вчера говорил?
- Я ему сказывал-с. Говорит, с колокольчиком веселее.
- Поди скажи, чтоб подвязал до церкви — я пешком пойду, а там развяжет, коли уж так ему хочется ехать с колокольчиком.

Утро было пасмурно, и деревня казалась мне еще серей и мрачней вчерашнего. Зеленая ограда около церкви исчезла. На кладбище черная деревянная решетка вокруг могилы Павла Ильича повалилась. Бедный дядюшка! что бы он сказал, если бы...

СЕМЕЙСТВО ГОЛЬЦ

I

Лет сорок тому назад аптеку в Кременчуге содержал некто Александр Андреевич Зальман. Высокого роста, красивый брюнет, Зальман обладал всеми качествами для успеха у женщин известного склада. С видом глубокомыслия и страстности он постоянно говорил о Шиллере, Гёте, Байроне и т. п., и немногие догадывались, как в сущности он мало понимал тех, о ком говорил с таким жаром. Он был ревностным гомеопатом, и когда образованные покупатели являлись в аптеку за лекарством, обыкновенно говорил: «Охота вам брать эту дрянь. Это только пачкотня, портящая желудок. Я вам дам несколько крупинок или капле*ль aconitum* или *nux vomica* *, и, верьте, вы будете здоровы». Успехи нередко сопровождали гомеопатические лечения Зальмана; его призывали в качестве врача иногда верст за сто от города, и своей практикой он вознаграждал недочеты по аптеке. Жена его, образованная женщина и хорошая музыкантша, с своей стороны способствовала домашнему благосостоянию, давая уроки на фортепиано. Эта серьезная, строгая женщина мало обращала внимания на проделки мужа и ревностно занималась воспитанием единственной дочери — Луизы.

Когда Луизе исполнилось 16 лет, мать вывезла ее в Собрание на бал. Прекрасная блондинка произвела своим появлением фурор. На ней было воздушное белое платье, все перевитое плющом. На голове была тоже легкая ветка плюща, спускавшая подвижные концы свои на плечи маленькой феи. Многочисленные поклонники совершенно закружили девушку в бесконечных вальсах и галопах. Но особенное впечатление произвела молодая девушка на одного весьма некрасивого господина небольшого роста, черного как смоль, который, не танцуя, весь вечер простоял за стулом г-жи Зальман и как-то хищно следил глазами за порхавшей по зале Луизой. По расспросам он оказался ветеринарным лекарем из города К..., по фамилии Гольц. Начавшееся на этом бале его настойчивое преследование продолжалось це-

* волчий корень... рвотный орех (лат.).

лую зиму. Девушке, когда она являлась в Собрании, Гольц казался каким-то зловещим вороном, мать бегала от него по всем углам залы. Наконец сезон окончился. На следующую зиму m-те Зальман, рассудив, что молодежь рада вертеться около хорошенькой девушки, но не скоро решается избрать подругу жизни без приданого, и что им далеко не по средствам выезды на балы, не повезла дочь в Собрание. Возмущенный отсутствием предмета своих преследований, Гольц, после трех вечеров напрасного ожидания, утром отправился в аптеку к Зальману. Александр Андреевич принял его в лаборатории с глазу на глаз и, вероятно, наговорил фраз вроде: «очень рад, об этом надо зрело подумать, благодарю за оказанную честь» и т. д. Дело, однако, на этом не остановилось. Не добившись толку от отца, Гольц стал искать свидания с матерью. Та долго его не принимала, но однажды утром, выведенная из терпения его неотвязчивостью, решила отказаться ему раз навсегда. За просторною гостиной, служившей хозяевам в то время и столовой, была небольшая комната, где под окном стояли пальцы. Когда г-же Зальман объявили о приходе Гольца, Луиза сидела за пальцами. Не желая принимать незнамого гостя в столовой, хозяйка заперла за собою дверь и пригласила его в узкую диванную, отделявшую собственно аптеку от хозяйского помещения. Выслушав стремительные объяснения Гольца, мать Луизы сперва ограничилась вежливо сухим и решительным отказом, но когда Гольц, ссылаясь на обещания, данные ему Александром Андреевичем, стал говорить, что так нельзя делать, что это недобросовестно, она, высказав все неприличие его поступков, попросила его оставить комнату и не являться более в их дом. Услыша эти речи, Гольц вскочил со стула, и, тыча пальцем вниз, закричал во все горло по-немецки: «Хорошо, gnädige Frau *! я ухожу, — но я говорю, она должна быть и будет моею во что бы то ни стало! Es muss biegen oder brechen» **. С этими словами он скрылся в аптеку и, хлопнув дверью, вышел на улицу. Вернувшись в комнату, мать застала Луизу дрожащую всем телом и рыдающую над пальцами.

— Ты подслушивала? — спросила она дочь.

— Нет, мама, я не вставала с места, но он так громко кричал, что я слышала последние слова.

— Это все я виновата! — воскликнула мать. — Я всегда была против этих выездов. Это меня сбили с толку. Бедной и порядочной девушке выезжать на эти балы даже непристойно. Точно

* милостивая государыня (нем.).

** Не добром, так силой (нем.).

константинопольский базар. Успокойся, перестань плакать, — теперь все пойдет хорошо. Я одна виновата, и верь, мне больнее, чем тебе.

В ту же зиму, простудившись на уроках, г-жа Зальман слегла в горячке. Крупишки не помогли. Через две недели ее не стало. На похоронах Луизу нельзя было оторвать от гроба матери. Она едва не помешалась от горя. Что касается до Александра Андреевича, то со смерти жены он совсем отбился от дому. Молодая, неопытная девушка, как не вполне оперившаяся птичка, сиротливо жалась по углам опустелой квартиры. Между тем Гольц, услышав о смерти матери, стал снова появляться в аптеке. В такие минуты девушка просто запирала двери на ключ и, рыдая, на коленях молилась Богу и призывала на помощь безответную тень матери. Ее нельзя было узнать. Из веселой, одушевленной она стала пугливой, задумчивой. В такой истоме прошла зима. После Святой недели по городу разнесся слух, что Александр Андреевич женится на известной в городе красавице Anastasie Заболоцкой. Нареченная Зальмана попала в дом своего дальнего родственника, старого и богатого помещика Коваленко, почти одновременно с его женьтибой на молодой соседней барышне. Коваленко, страстно любя свою жену, не отказывал ей в светских удовольствиях, которым та, за неимением детей, предавалась со всем пылом молодости, боящейся одиночества. Великолепный дом их на берегу Днепра, в нескольких верстах от Кременчуга, был постоянным сборищем блестящей молодежи обою пола. Обеды, танцы, катанья в катере, фейерверки в старинном саду, кавалькады и зимние катанья по льду в санях тянулись веселой вереницей круглый год. Anastasie, несмотря на личную бедность, являлась в этом кругу звездой первой величины. Стройная, черноглазая брюнетка, с золотистым, цыганским загаром на щеках, она решительно затмевала свою хорошенькую тетеньку. Ревнивый старик, втайне радуясь такому положению дел, хотя и не обеспечивал будущности своей племянницы, но окружал ее той роскошью, которая соответствовала ее положению в доме. Начитавшись модных романов Занда, и без того пылкая Anastasie приобрела по всему околотку репутацию эксцентрической особы, но мужа не приобрела. Красавице минуло 25 лет. Золотистый отблеск лица стал иногда отдавать неприятною желтизной. Anastasie догадалась, что ей нечего более ожидать от настоящей жизненной обстановки, и обратила милостивое внимание на Александра Андреевича.

Однажды после обеда Зальман вернулся домой. За вечерним самоваром он, против обыкновения, не сел за стол, а шагая взад и вперед по столовой, пустился в какие-то отвлеченности.

— Да, — говорил он, — нынешние женщины не понимают своего настоящего, высокого призвания. Даром в природе ничего не бывает, и даром носить красоту — значит унижать ее, а значение красоты велико. Ведь красота-то диких зверей укрощает. Ты хоть бы «Mauprat» прочла и серьезно подумала о своих поступках. Ведь так жить нельзя, как ты живешь. Это не жизнь, а самоубийство, и т. д. в этом роде.

Весь этот монолог весьма смутно остался в воспоминании Луизы. На другой день, часов в 12 утра, проходя чрез столовую, Луиза явственно услышала в аптеке громкое восклицание отца.

— Ах, Боже мой, кого я вижу!

«Опять Гольц», — как молния блеснуло у ней в голове, и, дрожа как в лихорадке, она, почти бессознательно, плотно притворила дверь и повернула ключ в замке. Из аптеки приближались шаги. Кто-то повернул ручку, но дверь, разумеется, не отворялась. Кто-то сильно потрясал дверь. Луиза стояла перед дверью, с трудом переводя дыхание и едва понимая, что происходит.

— Кто это запер дверь? — раздался сердитый голос отца. — Луиза, что там за глупости? Отвори сейчас, я тебе приказываю.

Луиза машинально повернула ключ, и в распахнувшуюся дверь, вслед за взбешенным отцом, вошла стройная брюнетка вся в черном. Длинная, кокетливо приподнятая амазонка следовала за нею пышным шлейфом. На роскошных, черных волосах, подобранных в кружок, напоминавший прическу средневекового пажа, красовался, наложенный набекрень, черный бархатный берет с белым пером. В руках амазонка держала тонкий хлыстик с серебряною рукояткой. Растерявшаяся Луиза с тупым изумлением смотрела на незнакомку, последняя была не менее поражена испуганным видом девушки.

— Однако, — полушутя воскликнула амазонка, щуря на девушку свои сверкающие глаза, — мой милый Александр Андреевич, это не совсем любезный прием вашей будущей хозяйке! Я знаю, мне от дяди сильно достанется за бедную Julie, которую я порядком измучила, проскакав почти семь верст без отдыха. И для чего же? Для того, чтобы мне пред самым носом заперли дверь! Но я не злопамятна, — прибавила она с улыбкой, протягивая руку Луизе, которую та, все еще не опомнясь, пожалала механически.

— Настасья Михайловна, — сказал Зальман, стараясь превратить неприятную сцену, — вам угодно осмотреть наше помещение?

— Пойдемте, — отвечала амазонка, — покажите мне ваши комнаты, Александр.

И, не обращаясь далее ни к кому, прошла в семейную половину квартиры, куда за нею торопливо последовал и Александр Андреевич. Через минуту она снова появилась в гостиной и через плечо спросила шедшего за нею Зальмана:

— Это все тут?

— Все, — вполголоса отвечал последний.

— Послушайте, Александр, — продолжала она, подходя к дивану и хлопая хлыстом по его полинялому ситцу, — нельзя так оставить этих тряпок! А это что такое? — воскликнула она, стегая хлыстом по большой столовой салфетке, вязанной из небеленых ниток. — Я вас прошу выкинуть отсюда эту рыболовную сеть. Я ее непременно подарю нашему рыбаку Вуколу. Однако прощайте, мне пора.

Все это она проговорила так скоро, что Зальман не успел вставить слова и рад был, поймав уже пред самую дверь ее руку, к которой жадно прильнул губами.

— Довольно, довольно, — говорила она, вырывая руку. — Вы <делаете> даже больно... — и, кивнув Луизе своим белым пером, скрылась в дверь, увлекая за собою бесконечный шлейф.

Когда дверь затворилась, Луиза тихо опустилась на диван. Закрыв лицо руками, она крепко прильнула головою к столу и замерла в этом положении. Скорее можно почувствовать, чем пересказать, что в эту минуту происходило в ее душе. «Так вот она, та женщина, которая отныне должна заменить ей мать. Эту самую салфетку, к которой судорожно приникала ее голова, эту драгоценную вещь, над которой покойница мать работала больше году, она насмешливо хочет выбросить вон. Пощадит ли она бедную девушку? Нет, это невыносимо, это невозможно!» — и девушка судорожно зарыдала, забыв все окружающее.

— Луиза! — раздалось над нею.

Девушка, вздрогнув, подняла глаза. Пред нею стоял отец.

— Луиза! — повторил он сурово, — что это за глупые слезы и за неприличное поведение? Я до сих пор не могу придти в себя. Ты запираешь двери пред людьми, которым обязана уважением, и так беззастенчиво показываешь явную, ничем не заслуженную неприязнь. Как все это мне ни больно, но я рад случаю высказаться пред тобой с полной откровенностью. Может быть, это тебя образумит. Всему причиной несчастное воспитание. Щадя тебя, я ни слова не скажу о сердце твоей матери; но не могу, в видах твоей же пользы, не указать на недостаток твоего воспитания. Мать не сумела развить твоего сердца. Ты своим бессердечием переступаешь мне дорогу, но я этого не потерплю. Слышишь, не потерплю! Слово бессердечие — нисколько не фраза и не преувеличение. Я тебе это докажу. Чем, как не этим словом,

должно назвать упорное сопротивление бескорыстным и, несмотря ни на какие оскорбления, постоянным искательствам честного труженика, преданного тебе до обожания? Что ты можешь сказать против Гольца? Он не красавец, правда, но для мужчины это не важно; не знатен: ты знаешь как я смотрю на эти вещи; не богат: что на это тебе сказать? Тебе известно, я приехал сюда без копейки, начал настоящее дело в долг, за твоею матерью не получил ничего, а ты видишь, этот каменный дом мой, у меня есть лошади и экипажи, и люди меня знают, и все это благодаря тому, что я свято держался правила уважать самого себя, никому не быть в тягость и никому не мешать жить. Я потому так откровенен с тобою, что считаю тебя за умную девушку. Ты поймешь, насколько я желаю тебе добра. Сердце! великое дело сердце! Вы там все умничаете, а забываете, что сказал Шиллер:

Und was der Verstand der Verständ'gen nicht sieht
Das übet in Einfalt ein kindlich Gemüth.*

Эти стихи Александр Андреевич продекламировал, ходя уже по комнате.

— А теперь, — сказал он, подходя к дочери и глядя ее по голове, — перестань плакать, успокойся и будь умница.

Всю ночь затем Луиза провела в каком-то мучительном бреду. Своими беспощадными словами, смысла которых он сам, вероятно, хорошо не понимал, отец возмутил в ней все чувства, надорвал нервы. Мысли ее бродили в каком-то безвыходном лабиринте. «Я люблю отца, — думала она, — и мешаю ему жить. Чувствую, что я всех люблю и желаю всем добра, а выходит, что все меня любят, а я только всем мешаю. Все это какая-то ложь. Отец, может быть, и прав, и мое беспричинное нерасположение к Гольцу, может быть, тоже ложь. Одно ясно и несомненно, если я не довольно люблю отца, если я, как он говорит, люблю только себя, то мне нельзя оставаться в этом доме. Кто знает, может быть, судьба действительно посылает Гольца спасти меня? Недаром он сказал: "Es muss biegen oder brechen!" Вот оно, я чувствую, сердце мое разрывается». После жгучей бессонницы, в продолжение которой все, что могло болеть, переболело в душе девушки, кризис совершился, и к утру она уснула. Проспав более обыкновенного, она встала как бы другим существом. Она решила и за кофеем объявила отцу о своем согласии выйти за Гольца. Отец расцеловал ее, называл всеми ласкательными именами и заключил тем, что вчерашние слова его были намеренно

* И то, чего не постигает разум разумных, / То постигает детский дух в его простоте (нем.).

преувеличены, а что, в сущности, он никогда ничего другого не ожидал от ее нежного сердца. Словом, мир состоялся полный, и через две недели М-те Гольц была в городке К..., а еще через месяц Александр Андреевич сам ввел в обновленный дом свой жену-красавицу. Правда, он недолго наслаждался счастьем. Неотвязчивые поклонники, которых М-те Зальман принимала с самою откровенною любезностью, заставляли его ежечасно пылать адским огнем бессильной ревности, которая в один год иссушила его до совершенного подобия скелета и окончательно свела в могилу.

II

С первых дней водворения в доме мужа Луиза Александровна ревностно принялась устраивать то домашнее гнездышко, которого она лишилась со смертью матери и в котором ей было когда-то так хорошо. Вкусу у нее было много, а давно состоявший на службе Гольц из порядочного содержания сумел составить небольшой капиталец. В те времена жить в Новороссийском крае можно было на самые небольшие средства. Гольц нисколько не мешал молодой жене в хозяйственных затеях. Ему, очевидно, нравился тот недорогой комфорт, каким она его окружила. Луиза старалась изучить вкусы мужа и, не входя в обсуждение его привычек, служила им с правильностью хронометра. Просыпаясь рано, Гольц любил полежать и даже выпить кофею в постели, — и душистый кофе приносился ему женою в самую раннюю утреннюю пору. Гольц любил обедать в одно время, и суповая чашка дымилась на столе в ту самую минуту, когда стенные часы били четыре раза и т. д. По причине страшной ревности Гольца, супруги не завели себе никакого круга знакомых. Сам он, так как в то время у него еще было много занятий по должности, рано уходил со двора и возвращался только к обеду. Уединенно просиживая долгие часы над рукоделем, Луиза невольно перебирала в уме свою жизнь. Чего бы ни дала она, чтобы покойная мать хоть одним глазком посмотрела на ее хозяйство! Пусть бы она увидела, что я, Луиза, не какая-нибудь бестолковая белоручка. Взглянула бы, как свежи ее плющи на окнах, как у нее все чисто, в каком порядке белье и посуда, какой вкусный готовится бульон и как мастерски стала жарить кухарка, подававшая прежде какие-то засушенные кости. Какая бы это была блаженная минута! Конечно, мать не могла бы видеть того, что было у Луизы на душе, да и сама Луиза не могла ясно дать себе отчет, хотя живо, всем существом своим чувствовала это, почему между ею и мужем стоит какая-то тень, даже и не тень, а ка-

кая-то пустота. Чего-то недостает. Между ними нет враждебности, зато нет и дружбы. Он ревнует ее, стало быть любит; но отчего же она не знает ни его образа мыслей, ни его убеждений? Да и как узнать их? С утра до пяти часов Гольц на службе. После обеда он садится у окна курить трехкопеечную сигару, затем пересматривает старые ветеринарные книги, или до чаю принимается за свое постоянное чтение, «Мессиаду» Клопштока. В 9 часов вечера Гольц уже в постели и тотчас засыпает. Впрочем, в короткие промежутки времени, когда жена могла обращаться к Гольцу с разговорами, ей нельзя было пожаловаться на его несообщительность. Он охотно говорил о служебных планах или домашнем быте. Сам, с видимым удовольствием, приготавливал, по просьбе жены, шарики для истребления мышей и отраву для мух. По опыту Луиза принаравливалась к симпатиям и антипатиям мужа, но когда разговор наталкивался на объяснения побудительных причин его требований, он сердился.

— Когда человек женится, — объявил он Луизе, — то жена к нему приходит в дом, а не он к ней. Кажется ясно, *punctum* *. Говорю тебе раз навсегда, и, сделай милость, никогда не приставай ко мне с подобными глупостями.

Через год после свадьбы у них родилась дочь. Луиза сама кормила ребенка. Материнские заботы много развлекли и облегчили молодую женщину, но когда девочка засыпала и она садилась за рукоделье, прежнее раздумье и чувство одиночества овладевали ею. На второй год после рождения дочери весна была ранняя и дружная, что в Новороссийском крае не редкость. В начале апреля точно волшебный жезл тронет землю. Снег тает, в воздухе весна; жаворонки, копчики, орлы. Днепр уносит свой громоздкий лед и, разливаясь на целые версты по низменным берегам (плавням), вытесняет из русла все свои притоки. Травка зеленеет, и по затопленным низам буйными кустами лезет толстый камыш. Важные аисты и осторожные цапли безмолвно стерегут пробуждающихся лягушек. Чайки, кружась и кувыркаясь над бесчисленными гагарами и утками, стараются высоким фальцетом перекричать их втору, за которой явственно слышны могучие басы оживших черепах. Солнце уже печет. Изредка набежит густое облако и обмоет землю чистым дождиком; затем тот же блеск и тот же весенний гам. Во время половодья в прибрежных селениях и городах улицы нередко бывают залиты водою, а иногда жителям приходится на лодках переезжать на бивуаки под открытое небо, на соседние возвышенности.

* точка (*лат.*).

Но небо здесь к земле так благосклонно.

Неизвестно, находил ли это Гольц, отправляясь весной ежедневно странствовать в воловий парк, где содержались все подъемные животные округа. Разлив рек, как мы уже заметили, был необыкновенно силен. Нижние улицы и городская площадь стояли в воде. Не залитою оставалась одна верхняя, так называемая Полковничья улица, и то в одном месте приходилось переходить через воду. Как ни жался Гольц к забору, но неглубокие калоши его каждый раз в этом месте черпали воду. Однажды утром, снова промочив ноги, Гольц почувствовал нестерпимую зубную боль. Ворочаться домой было далеко, да и не к чему, а идти на службу с такою болью почти не под силу. Вырвать этот зуб, и делу конец, — подумал Гольц. Но кто вырвет?

Здесь необходимо сказать, что заштатный город К..., с самого учреждения военных кавалерийских поселений в Новороссийском крае, был центром военного округа, а следовательно и штабом полка, и в нем одновременно были два ведомства: поселенное, к которому, между прочим, принадлежал сам Гольц, и действующее, то есть полковой командир и 1-й эскадрон поселенного полка. Квартиры полкового фельдшера Гольц не знал, да без докторской записки фельдшер, пожалуй, рвать не станет. Пришлось зайти к доктору, который кстати жил на большой улице, в стареньком, деревянном доме, против единоверческого священника. Так как заблевающие нижние чины поступали в военный госпиталь, а офицеры редко хворали, то полковому лекарю положительно делать было нечего. Таким счастливым положением Иринарх Иванович Богоявленский пользовался вполне, и в душе благодарил начальство, избавившее его, во внимание к его значительной тучности, от обязанности являться у фронта верхом. Ходить по чужим квартирам Иринарх Иванович не любил. Получив за женою в приданое небольшой дом с садом, Богоявленский постоянно копался в этом саду, который содержал в примерном порядке и даже развел в нем худо вызревавший виноград. Отяжелев в последнее время, он уже не с прежнею ревностью занимался садоводством, а, наблюдая только за плантацией красного перца, большую часть времени проводил в кабинете, изредка заглядывая в древних классиков и перечитывая своего любимца Вольтера. Форменного платья он терпеть не мог. Постоянным его костюмом было широкое, парусинное пальто. Утром и вечером, ища прохлады, объемистый Иринарх Иванович помещался у растворенного на улицу окна. В это время под рукой на столике стояли около него селедка, маленькая рюмочка и графин с настоек из красного перца, которую он называл *anticholericum*.

Небольшие глотки из рюмки возбуждали в Иринархе Ивановиче веселое и созерцательное расположение, но окончательно допьяна он никогда не напивался. Привлекаемый такой соблазнительною обстановкой, к Богоявленскому с давних пор повадился ходить сосед через улицу, известный всему городу под именем Сидорыча. Худощавый, сгорбившийся брюнет, с воспаленными глазками, Сидорыч, выгнанный из духовной академии за пьянство, проживал у родственника своего, единоверческого священника. Летом он ходил в затасканном длиннополом нанковом сюртуке, а зимой сверх него надевал гороховую фризовую шинель в три воротника. Заходил Сидорыч к Богоявленскому только по утрам, так как вечером, по слабости, не мог этого исполнить, да и Богоявленский бы его не принял. В то утро, когда Гольц, почувствовав зубную боль, решил зайти к доктору, Сидорыч, заметив, что у Богоявленских ставни открыты и доктор уже сидит с расстегнутою грудью у растворенного окна, согнувшись, перешел через улицу и, не подымая головы, робко спросил под окном:

— А что, Иринарх Иванович, можно?

— А! червь злосчастный! — воскликнул Богоявленский, — заходи, ничего!

Сидорыч юркнул в калитку, но, увидав на дворе докторшу, смутился. Женщина в грязном капоте и таком же чепце развешивала на заборе белье.

— Опять! — крикнула она, сердито взглянув на Сидорыча.

— Сам позвал, — внушительно ответил Сидорыч и прошмыгнул в сени.

— С добрым утром, Иринарх Иванович! — сказал Сидорыч, три раза перекрестясь на образ и низко кланяясь хозяину.

— Садись, — сказал Богоявленский, указывая жирным пальцем на грязный кожаный стул. — Рассказывай, что нового в городе и как вчера подвизался по части крючоктворства?

— Алтухину важнейшее, могу сказать, прошение смастерил и был за то подобающим образом убогатворен очищенной. Даже целковяшку приполучил; но «*infandum regina jubes renovare dolorem*» *, попадья наша пронюхала и отняла. Орлом на меня, смиренного агнца, налетела: «*in ovilia demisit hostem vividus impetus*» **; я было вспомнил *reluctantes dracones* ***, да куда тебе, так и подхватила мой карбованчик. Много, говорит, вас, дармоедов.

* Возобновлять несказанную скорбь ты велишь мне, царица! (лат. — *Примеч. А. А. Фета*).

** Среди овечьих стад стремится за ловитвой (лат. — *Примеч. А. А. Фета*).

*** Потом кидается на раздраженных змей (лат. — *Примеч. А. А. Фета*).

— Дома доктор? — спросил Гольц, остановясь пред растворенным окном.

— Дома, пожалуйста! — отвечал Богоявленский.

Через минуту Гольц вошел в кабинет и, объяснив причину прихода, стал просить записки к фельдшеру.

— Позвольте взглянуть на ваш зуб, — сказал Иринарх Иванович, — ну, батюшка, — прибавил он, окончив осмотр, — зуб, на который вы жалуетесь, совершенно крепок, и рвать его не следует. Вспомните-ка *quae medicamenta non sanant ferrum sanat* *. Так сперва попробуем *medicamenta*, а *ferrum*-то всегда у нас в руках. Вот мы сейчас поколдуем. Только с условием вполне слушать-ся врача, коли пришли!

— О конечно, конечно! — промычал Гольц.

Богоявленский прошел в соседнюю комнату и, через минуту выходя, вынес кусочек ваты и пузырек.

— Эту штуку вы положите на больной зуб и садитесь вот сюда на диван. Прекрасно, — сказал он, когда Гольц уселся на указанном месте, — а теперь потрудитесь снять ваши сапоги.

— Помилуйте, зачем же? — возразил Гольц.

— Помните уговор слушаться, и снимайте. Червь! — обратился он к Сидорычу, — сходи ко мне в спальню и под кроватью поищи валенки, а докторские сапоги и калоши отдай на кухню просушить. Проворней изгибайся!.. Ну, что ваш зуб? — спросил он Гольца, когда все его распоряжения были исполнены.

— Еще подергивает, но стал затихать.

— Погодите, и совсем пройдет. А я очень рад, что хоть этот и пустой случай завел вас в мою хату. Вы-то меня не знаете, а я вас давно знаю. Вы тут каждый день проходите перед моим окном к должности. Вот, думаю, гордый *collega*, чтоб этак зайти да перекинуться словечком. Как ни говорите, хоть и в разных местах учились, а все мы дети одной и той же науки.

— Я сам завсегда очень рад, — бормотал Гольц, которому, очевидно, было лестно попасть в коллеги к Богоявленскому. — Ви позволяйте мне, — обратился он к хозяину, — малинька сигара закуривайть?

— Сделайте одолжение, это в настоящем случае даже может быть вам полезно. А что зуб? — спросил он Гольца немного погодя.

— Совсем замолк, — улыбаясь, отвечал Гольц.

— Ну теперь вату-то вон и наливайте рюмочку. Рекомендую — *anticholericum*.

— Не рано ли будить?

— А уговор? Червь! наливай и подавай лекарство.

* Чего не излечивают лекарства, излечивает железо (*лат.*).

Гольц выпил, и через минуту приятная теплота пробежала по телу.

— А мне можно червяка-то заморить? — робко проговорил Сидорыч.

— Мори, — отвечал Богоявленский, — да ведь у меня ты его не заморишь, а только раздразишь.

— Редкостнейший, можно сказать, у вас, Иринарх Иванович, опрокидант, — воскликнул Сидорыч, осушив полную рюмку.

— Ведь вот, даром что червь, — сказал Богоявленский, указывая на Сидорыча, — а тоже одного с нами поля ягода. Отлично учился, да своего-то запаса больно скудно, и тот на шкалики разменял. Вот и вышел червь — ничтожество.

— Это вы сатиру Персия вспомнили: «*Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti*» *, — продекламировал Сидорыч.

— Молодец червь! Удивительная у него память! — обратился Богоявленский к Гольцу. — Только заведите, так и засыплет цитатами. Ведь чем дороги древние? Вон за него даже думают. Так сболтнул, а возражение во второй половине стиха вышло превосходное. Коли ничто не может обратиться в ничтожество, стало быть и Сидорыч не nihil.**

— Как вы это прекрасно повернули! — вставил Гольц.

— А между тем вам пора лекарство принимать.

— Не много ли будет, я право... — мямлил Гольц.

— Полноте, вы мужчина, да еще бывший бурш. Вспомните-ка старину.

— Да, да, точно. О! — отвечал Гольц и осклабился, поддаваясь набегающему на него веселью.

— Червь, *repetitio!* ***

— *Est mater studiorum* ****, — закончил Сидорыч, наливая Гольцу рюмку.

— Вы, верно, еще не забыли по-латыни? — спросил Гольца Богоявленский.

— О, да! о, да! Я очень. Ви продолжайте, я с большим удовольствием.

— А все-таки, — перебил Богоявленский, — я хотел вам попенять; я постоянно наблюдаю за вами. Вы слишком углублены в самого себя. Это, с одной стороны, делает вам честь: истинная мудрость сосредоточенна, а с другой — угрожает апатией. Положим, вы ни у кого не бываете из этих лоботрясов.

* Ничто не может возникнуть из ничего и ничто обратиться в ничто (*лат.*).

** ничто (*лат.*).

*** повторенье! (*лат.*).

**** Мать ученья (*лат.*).

— О, ви совершенно правду! Я никуда и ни к кому, — воскликнул Гольц, явно обрадовавшись случаю вставить слово.

— Я тоже у них не бываю, — продолжал Богоявленский, — но ведь у нашего брата ничем не заморишь потребности созерцания. Мы не перестаем, как говорит Цицерон, *ardere studio veri reperiendi* *, и поэтому-то нам, людям науки, не следует забывать друг друга. Вспомните, много ли со школьной скамьи вам пришлось встретить людей, способных понять и оценить вас; а ведь все, что нас окружает, филистерство.

— Ах, право, как вы все это прекрасно! Это я тоже вспомнил; в Горацие есть: «*Odi profanum*» **. Мене очень, очень приятно. Я бы здесь у вас, только мене пора на службу.

— Куда вы так спешите? Дело не медведь, в лес не убежит, — возразил Богоявленский. — Червь! как это там у Горация про службу-то сказано?

— *Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat?* *** — скороговоркой отхватал Сидорыч.

— Нет, право, мене очень приятно, но мене пора. Теперь до парк все сухо, — сказал Гольц.

— Пожалуй, и сапоги ваши пообвяли. Сбегай в кухню да принеси-ка их, — обратился Богоявленский к Сидорычу, — что с вами делать, коли вы такой ретивый.

Обуваясь, Гольц отвернулся к другому окну и, пошарив в кармане, приготовил ассигнацию. При прощании, взяв Богоявленского за руку, он незаметно положил в нее бумажку.

— Это что такое? — воскликнул Богоявленский. — Это вы уж, пожалуй<й>ста, оставьте. Я и с своих лоботрясов никогда не беру, а вы *collega*. Это даже обидно. А вот посошок на дорожку я вам отпущу. Налей-ка рюмочку, — сказал он Сидорычу.

Гольц было замаялся.

— Нет, уж как угодно, лечение должно быть окончено. Тут кабалистика есть. Больше и просить не стану.

*Tres prohibet supra
Rixarum metuens tangere Gracia.*****

Гольц выпил и со словами: «очень, очень много благодарю», вышел из комнаты. Проходя по тротуару, пред окном, он приподнял фуражку и снова раскланялся с Богоявленским.

* пылать желанием открытия истины (лат. — Примеч. А. А. Фета).

** «Не ненавижу непосвященную» (лат.).

*** Кто вспомнит за вином про службу с нищетою? (лат. — Примеч. А. А. Фета).

**** Пить больше трех, боясь раздору, / Нагие грации претят (лат. — Примеч. А. А. Фета).

— Не забывайте нас, — крикнул Иринарх Иванович.

— Помилуйте, непременно, непременно! — бормотал Гольц, снова приподымая фуражку.

— Ну, что, червь, — спросил Богоявленский, — как тебе понравился новый collega?

— Вы всегда так, Иринарх Иваныч, пытаетесь да после на смех. Мое дело цитату сказать, а какой я судья, да и к чему мне судить, когда почище меня люди судили. Еще Овидий ска- зал: «Vos stetit». *

— Ты сегодня просто мудрец, — расхохотавшись, воскликнул Богоявленский. — Сто лет думай, ничего лучше твоего vos stetit не придумаешь. Вот заскорузлая-то личность! А для меня, признаться, интересный субъект. Надо бы эту улитку заставить выпустить рожки.

Умилно поглядывая на графин, Сидорыч было снова заговорил о heretandum, но положительный отказ убедил его, что ему ничего более не дожидаться от своего несговорчивого мецената.

Три рюмки крепкой перцовки и лестное соприкосновение с миром, которого нравственное превосходство он смутно чувствовал, привели Гольца в восторженное состояние. Это было какое-то беспредметное и бесплодное вдохновение. Никогда не испытывал он такого сладостного самодовольства. То чувство безотчетного благоговения пред непонятно-высоким, которое заставляло его всю жизнь перечитывать «Мессиаду», проступило теперь с удвоенной силой. Он давно слышал про ученость Богоявленского, а тут сама судьба привела его в этот мир. Один Богоявленский сразу оценил его: «das ist ein Kerl! das ist ein Kerl!» (вот молодчина), — повторял он про себя. Ему хотелось петь. «Odi profanum», «Nox erat», «Sidera somnas» **, — твердил он, нападая на бессвязные обрывки чего-то давно забытого. «Das ist ein Kerl! Odi profanum». Как жаль, что по пути чрез слободу он не встретит никого из тех, кого Богоявленский называл лоботрясами. Теперь бы он, collega, показал им, как он смотрит на них. Эта мысль сильно ему понравилась. За неимением лоботрясов, он несколько раз примеривал презрительную улыбку, проходя мимо хат, на крышах которых аисты о чем-то хлопотали, круто загибая назад красноносые головы. У одной калитки стояла молодая поселянка. Искушение было слишком сильно. Перед самым ее носом Гольц скорчил презрительнейшую улыбку. «Бачь, який скаженюка!» — воскликнула поселянка, но Гольц был уже далеко.

* Бык стоял... (лат. — Примеч. А. А. Фета).

** «Ненавижу непосвященную», «Ночью то было», «Грезишь о звездах» (лат.).

III

Хотя на другое утро Гольц не был в том лирическом настроении, в каком накануне ушел от Богоявленского, тем не менее, поравнявшись с растворенным окном доктора, он с удовольствием согласился на приглашение хозяина зайти. В комнате все было по-вчерашнему. Даже Сидорыч сидел на том же кожаном стуле. Скучающий Богоявленский видимо обрадовался Гольцу. Хотя он с первого раза увидел, с кем имеет дело, но ему сильно хотелось вызвать эту личность на несвойственную ей почву отвлеченного мышления и полюбоваться на неуклюжие ужимки, с какими бык скользит и падает на гололедице. Он понял, что под тщеславным самолюбием Гольца кроется крайняя обидчивость. Сидорыч был особенно в ударе и сыпал цитатами, как из дырявого мешка. Небольшого труда стоило Богоявленскому заставить Гольца выпить первую, а затем вторую и третью рюмку *anticholericum*'а. Разогревшийся ветеринар, видимо наслаждаясь новым для него положением, уже не так сильно порывался к должности. Слушая лестные слова Богоявленского, он чувствовал себя счастливым, чуть не триумфатором. Богоявленский истощал все усилия вызвать быка на гололедицу, но бык прыгал, восторженно вертел хвостом, глухо мычал, а на гололедицу не выходил.

Такие сцены повторялись каждое утро. Богоявленский сначала сердился на неудачу, но потом стал брезгать очевидною болезненностью бессвязных бормотаний и мычаний Гольца. Иринарх Иванович решил не вызывать Гольца на рассуждения, а просто курить пред ним фимиам. С этой целью он, зарядив Гольца достаточным количеством *anticholericum*'а, заводил речь вроде следующей:

— Ведь вот отчего, *carissime collega* *, я дорожу вашим знакомством, порода-то в вас фундаментальная, саксонская!

— О, го, го, помилюйте! — самодовольно гоготал Гольц.

— Нет, позвольте, — продолжал Богоявленский, — я не дальше как на вас берусь доказать превосходство саксонской породы. Эта высокая порода, предназначенная покорить мир, бессознательно всюду держится своих родных преданий и обычаев. Возьмите нашего русачка, вот хоть бы сего злосчастного червя. Пошлите его на год в Париж, он живо заговорит по-французски, а в три-четыре года станет говорить, как природный француз. Что это значит? Своя-то у нас начинка скудна. Теперь возьмите саксонца. Вот вы, например. Ведь вы в гимназии учились по-русски?

* дражайший коллега (*лат.*).

— Как же, как же! — воскликнул Гольц. — У нас был прекрасный учитель Оффенбах.

— Вот видите ли, — продолжал Богоявленский, — да на действительной службе не состоите ли вы лет десять?

— Как десять! Я еще в прошлом году получил пряжка за пятнадцать лет беспорочная служба.

— Вы сами подтверждаете мою мысль. Как же не удивляться стойкости саксонской породы! Ведь вы до сих пор не усвоили себе русского языка.

— Да, да, это справедливо!

— Возьмем другой пример: лужи для всех мокры. Посмотрите на наших лоботрясов. У них даже форма предписана, которой они изменять не смеют. Но как у него нет ничего заветного, так он в полую воду натянет смазные сапоги и ходит как ни в чем не бывало. Его насильно в калошах в лужу не загонишь. То ли дело саксонец, хоть бы вы! И ноги мокры, и зубы приходится рвать, а как расстаться с калошами, освященными вековым преданием! Тут дело не в калошах, а в принципе.

— Как это вы все прекрасно! Ви совершенной правда.

На этом пути праздный Богоявленский в несколько месяцев дошел до геркулесовых столпов. Подстрекать Гольца к утренним возлияниям уже не было надобности. Он сам давно перешел число рюмок, дозволяемых грациями. Пользуясь восторженным состоянием Гольца, Богоявленский, под предлогом товарищества, давно говорил ему «ты», и говорил такие вещи, которые даже Гольцу казались подозрительными, но замечая, что тот начинал сердиться, Богоявленский или повернет дело в шутку, или придаст словам хвалебное значение, и все пойдет по-прежнему. Более чем веселое расположение духа, с каким Гольц выходил по утрам от Богоявленского, мало изменяло его внешнюю жизнь. Подчиненным ему коновалам это обстоятельство было с руки, а провозившись целый день в загородном воловьем парке, он протрезвлялся и являлся домой как ни в чем не бывало. Луиза Александровна, живя на противоположном конце города и ни с кем не ведя знакомства, менее всякого другого могла знать про ежедневные свидания Гольца с Богоявленским. Так прошел еще год, в конце которого у Луизы родилась вторая дочь, а у Богоявленского, как он сам давно предвидел, быстро развилась водяная. До конца Иринарх Иванович не изменял порядка жизни, но в одну ночь его не стало.

На крестинах дочери Луиза лежала в постели и не могла выйти к столу к приехавшим из Кременчуга восприимникам-немцам, а распорядилась только, чтоб обед был пополнее. В четыре часа гости сели с хозяином за стол, и до слуха Луизы дохо-

дил их говор, звяканье ножей и, как ей показалось, частые оттычки пробок. Говор, сначала тихий, под конец обеда, переходя в смех, дошел до нестерпимого крику и хохоту. По уходе гостей, Гольц пришел в спальню окончательно пьяный. С испугу или по другим причинам, Луиза сильно расхворалась, так что пролежала месяца два. На другой день Гольц обедал один, но пришел к жене в таком же виде, как и накануне.

— Ты пил вино? — спросила больная.

— Я допил вчерашнее, — отвечал Гольц.

— Напрасно ты это делаешь. Это тебе вредно, — решила сказать Луиза.

Гольц не ответил ни слова, а только тряхнул своими черными волосами утвердительно, как бы желая сказать: «да, вредно», и лег спать. Подобные сцены повторялись каждый вечер, и когда Луиза, после двухмесячной болезни, стала выходить к обеду, то увидала, что муж каждый день под полой шинели приносил бутылку вина. Собравшись с духом, она выставила перед ним все губительные последствия такого образа действия. Гольц только хмурился и упорно молчал. Она плакала, умоляла: ни полслова; кивнет головой, а завтра опять несет бутылку. Так протянулся год. Гольц, прежде исправно приносивший домой третное жалованье, стал приносить его в значительно сокращенном размере, и, соответственно возраставшей неисправности с этой стороны, вино в бутылках все крепчало и наконец превратилось в ром. Однажды, не допив бутылки, Гольц с улыбкой пьяницы приподнял ее против света, покачал и, убедясь, что она наполовину полна, молча подошел к шкафу и поставил ее на полку. Сбирался ли он опохмелиться утром или допить ее во время обеда — Бог его знает, но в этот вечер он был отвратительно пьян. Шатаясь на ногах, он наткнулся на кровать меньшего ребенка. Перепуганная Луиза рада была, когда он уснул. Горько ей было. До сих пор она только безуспешно увещевала и умоляла, но еще ни разу не позволяла себе какого-либо действия наперекор мужу. Решившись с горя на такой шаг, она подошла к шкафу и, достав проклятую бутылку, вылила, что в ней было, за окно. Как она потом раскаивалась в этом! Она постоянно твердила: «Я сама, сама, собственными руками всех погубила!»

На другой день Гольц, подойдя к шкафу и найдя бутылку порожнею, не сказал ни слова. К обеду он уже не приносил вина, а пришел сильно пьяный. С этого дня он окончательно уклонился от домашнего надзора и на всей свободе предался публичному пьянству. Он потерял стыд.

Знающий всю городскую подноготную, Сидорыч скоро пронюхал, что ветеринар закутил. Пользуясь авторитетом покой-

ного Богоявленского, он, при помощи грубой лести, втерся в доверие Гольца; он же в стороне города, куда ходил Гольц на службу, разыскал чистенькую и прохладную каморку в рейнском погребке еврея Ицки. Ицка сразу стал величать Гольца превосходительством, оказывая ему знаки почтения и рабской покорности. Это не мешало ему, уверившись в постоянстве своих ежедневных гостей, с возрастающим усердием приписывать лишки в счетах, подаваемых Гольцу, так что со временем не только все третное жалованье ветеринара поступало в руки расторопного еврея, но Гольц уже не выходил у Ицки из долгов. Жалованья Гольц почти не приносил, а между тем как ни в чем не бывало требовал, чтобы привычки его удовлетворялись с прежнею предупредительностью.

Когда Гольц окончательно отбился от дому и Луиза Александровна убедилась, что ей с этой стороны помощи ожидать нечего, она напрягла все силы, чтобы восполнить экономией пробел, происшедший в доме от безучастия мужа к положению семейства. Она из-за насущного хлеба втайне продавала некоторые ценные вещи своего приданого белья, приготовленные когда-то собственными трудами и руками покойной матери. В этих лихорадочных заботах более всего ее беспокоила мысль, что рано или поздно нужда заставит ее тронуть небольшой капитал, скопленный Гольцом до свадьбы и отданный ей на сбережение. Истратив некоторую часть этого капитала на первоначальное устройство хозяйства, Луиза до рокового для нее рождения второй дочери сумела не только пополнить израсходованные деньги, но даже прибавить несколько из собственных сбережений, так что составила круглая цифра в 1000 рублей ассигнациями. Эти деньги, единственную надежду семейства, она тщательно берегла на черный день. Они лежали у нее в комод, в горбатом картонном баульчике, заложенном более тонким бельем, редко бывавшим в употреблении. Ключ от комода она не поручала никому, и по ночам клала его под подушку. Оправившись после третьего ребенка, Луиза Александровна с обычною ревностью принялась за свои трудные задачи. Муж, к этому времени окончательно предавшийся гнусному пьянству, не приносил домой жалованья, и никакая экономия не могла сделать что-либо из ничего. В крайности, Луиза Александровна решила тронуть заветный капитал, и однажды, когда муж, по обыкновению, напившись в постели кофею, ушел со двора, скрепя сердце отперла комод. При взгляде на известный уголок она исполнилась мрачного предчувствия. Тонкое белье вкривь и вкось нестройной кучей лежало на горбатом баульчике. Явно здесь хозяйничала чужая торопливая рука. Дрожа от волнения, Луиза Алек-

сандровна раскрыла баульчик. Ни копейки, все вынато. На вопль бедной женщины прибежала Фекла, единственная и неизменная ее прислужница, не знавшая даже, как оказалось, о существовании тайного клада. При постоянной заботе, с какою Луиза хранила ключ при себе, невозможно было не только напасть на след вора, но даже сделать какое-либо предположение о времени похищения. «Точно какое-то колдовство, — думала целый день Луиза Александровна. — Что теперь скажет муж?» Он способен предположить, что она истратила деньги и выдумала всю эту историю. Днем ключ у нее постоянно в кармане, а ночью под подушкой, и сон ее так чуток, что ничего нельзя тайно достать у ней из-под головы. Единственное время, когда можно распорядиться ключом, — те полчаса, когда она утром выходит в кухню готовить мужу кофе. Но в это время он сам в спальне, и никто туда не входит. «Неужели это он?» С омерзением отвергнув эту мелькнувшую в голове мысль, Луиза Александровна снова запуталась в соображениях, и когда Гольц вернулся к четырем часам домой, она, рыдая, рассказала ему о случившемся. С перепугу муж показался ей даже пьяным менее обыкновенного.

— Надоели мне твои крики! — отвечал Гольц, как бы отряхивая растопыренные руки. — Плакать ты мастерица, а вот лучше бы об обеде подумала. Четыре часа, а супа нет на столе. Я голоден, а ты меня кормишь своим криком.

— Господи! Да не догадываешься ли ты, кто взял деньги?

— Отстань от меня, фурия! — крикнул Гольц, — и давай обедать!

— Да скажи же что-нибудь! — умоляла Луиза, — может быть, тебе понадобились деньги и ты сам взял их?

— Понадобились, я и взял собственные деньги, — отвечал Гольц, разводя руками. — Ну, что еще надо? А мне надо обедать.

Луиза Александровна не сказала ни слова, но на другой день стала проситься у мужа в Кременчуг. Гольц и слушать не хотел. Тем не менее, поручив преданной Фекле надзор за детьми, Луиза отправилась при первой возможности с попугачиком в Кременчуг и там отыскала генеральшу Лесовскую. Тридцатипятилетняя богатая вдовушка-генеральша, одна из учениц покойной госпожи Зальман, с малолетства была очень дружна с Луизой, и к ней-то последняя решила обратиться за советом, как к единственной особе, могущей принять в ней участие. Луиза не обманулась в своей надежде. Переговорив с Лесовскою, известною франтихой, она устроила дело так, что генеральша, получавшая чрез Одессу все новости дамского туалета из Парижа, стала пересылать Луизе образчики, по которым последняя с замечатель-

ной спешностью и искусством приготавливала модное белье. Лесовская взялась рекомендовать и продавать товар знакомым богатым барыням и невестам, и таким образом Луиза Александровна, вырабатывая до тридцати рублей серебром в месяц, снова оградила семейство от крайней нищеты. Вероятно, Лесовская, под предлогом удачной продажи, тайно прибавляла денег от себя. Дела пошли своим порядком. Никто не слыхал ни малейшей жалобы от Луизы Александровны, но мало-помалу зрение от усиленной работы стало изменять ей, и домашние обстоятельства снова расстроились. Преданная Фекла, уже два года не получавшая жалованья, несмотря на просьбы Луизы, ни за что не хотела оставить семейства, которому ее услуги были необходимы; но не видя возможности платить жалованье, Луиза наотрез отказала ей и со слезами отпустила свою кухарку. Целое лето сама исполняла все работы по домашнему хозяйству. Но что предстояло осенью и зимой — страшно было подумать. Да и кому нужно было думать в деле, о котором не думал сам хозяин?

IV

В сороковых годах полком нашим командовал всеми любимый и уважаемый барон Карл Федорович Б... Штаб полка находился в городке К..., лежащем на берегу одного из днепровских притоков. Замечательный кавалерист и тонкий знаток лошадей, барон Б... весьма серьезно смотрел на службу, что не мешало ему с жадностью читать новейшие произведения французской и русской литературы, быть самым любезным собеседником и страшным хлебосолом. Он бывал не духе, когда штабные офицеры не все у него за обеденным столом. Правда, обед барона не отличался дорогими тонкостями и высокими винами: этого не позволяли его небольшие средства; но повар его из обыкновенной провизии умел так вкусно готовить, что надо было видеть, сколько всего этого поглощалось ежедневными гостями. Барон вставал рано, особенно летом (а лето в Новороссии чуть не круглый год), и прямо отправлялся пешком в конный лазарет, хотя последний находился по крайней мере в полутора верстах от его квартиры. В этих утренних странствиях ему ежедневно приходилось проходить мимо моей квартиры; но зная, что его полковой адъютант (пишущий эти строки тогда занимал эту должность) не выходит в канцелярию до восьми часов, он никогда не тревожил меня ранними визитами. Хотя письменная отчетность о поступающих в лазарет и возвращающихся в эскадроны лошадях и лежала на мне, и барон требовал большого порядка по этой части, тем не менее смотреть за лазаретом не входило в круг моих

непременных обязанностей. Но, бывало, ничем нельзя так расположить почтенного Карла Федоровича, как добровольным сопутствованием в его прогулках в конный лазарет. Там он делался особенно сообщителем. Не было конца его сожалениям, сообщениям, надеждам и практическим замечаниям. Строгий рационалист во всем остальном, он делался в области конного лазарета каким-то эмпириком, чуть не колдуном. Вполне доверяясь образованному и примерному молодому ветеринару, барон тут же из-под руки пичкал больным лошадям Бог знает откуда почерпнутые секретные средства, и, надо сказать правду, весьма часто с неожиданным успехом. Из числа многих привожу следующий пример: известное худосочие (тельчак) не уступает никакому так называемому рациональному лечению. Шея, передние и задние ноги лошади сначала изредка, потом все чаще и чаще покрываются круглыми художественными язвами, приводящими организм к окончательному разложению и смерти животного. Болезнь эта в высшей степени заразительна. Как теперь помню, приведена была лошадь красавица, девяти вершков, фланговая 3-го эскадрона, *Готф*. Напрасно ретивый юноша ветеринар истощал свою ученость, совал меркуриальные препараты, прижигал ранки раскаленным железом, — ничто не помогало. Барон не мог без волнения говорить о красавце Готфе. «Знаете ли, — сказал он мне однажды, — пусть Григорий Иванович убивается над неизлечимой болезнью, а я дам Готфу ящерицу».

— Какую ящерицу? — невольно спросил я.

— Простую, серую, каких по степи тысячи. Только как поймать ее.

— На этот счет не беспокойтесь, — сказал я, — сейчас будет вам представлено десять, двадцать, сколько угодно.

— Пожалуй ста.

Обещав личным мальчикам гривенник и снабдив их поливным горшком, я через час получил желаемое. Ящерицы были в завязанном горшке высушены в печи, а на другой день, в виде порошка, даны больному Готфу. После двух, трех приемов, ранки стали заживать, и через две недели Готф, веселый, отправился в эскадрон, где на моих глазах прослужил четыре года, а сколько после меня — не знаю.

Штабная жизнь наша не отличалась разнообразием. Утром манеж, канцелярия, а вечера мы почти неразлучно с бароном проводили у городских знакомых, кружок которых был весьма необширен. Добрейший холостяк — бригадный генерал. У него же был и бильярд, и потому мы нередко заглядывали к нему в однообразные зимние вечера. Еще два дома приезжих помещи-

ков и неизменный Федор Федорович Гертнер, начальник округа. Нельзя на некоторое время не остановиться на этом лице. Представьте себе маленького, живого, с красным рябоватым лицом и картофельным носом старичка лет шестидесяти, в черном парике, с нафабранными усами, которые то и дело лезут ему рот, с черными добродушными глазами, которые, одушевляясь, начинают сверкать и бегать. Прибавьте, что он и жена его, добродушнейшая и образованная Марья Ивановна, великие мастера заказать обед и охотники угостить, что никто раньше их не достанет дупелей, первых редисок, огурцов, арбуза и т. д., что он любит свою престарелую *Маню*, так он называет Марью Ивановну, обожает своих ребятишек: девочку двенадцати и мальчика восьми лет, никому не способен заведомо вредить, — все это еще не даст вам понятия о Федоре Федоровиче. Федор Федорович, рассказывая какой-либо забавный случай, сам нередко от души хохочет, но на такие темы он нападает случайно; по большей части в разговорах он нарочно подыскивает обстоятельства и столкновения, возбуждающие его стремительную раздражительность. Это, разумеется, бывает в кругу людей близких, и тут свои любимые слова: «Боже мой! Боже мой! ах, какая каналья!» — он произносит таким гортанным голосом, как будто щелкает большой грецкий орех. Дело в том, что трагизм полковника Гертнера несколько не общителен, а напротив, постоянно возбуждал в слушателях неудержимый, неизбежный смех. Бывало, сколько себя ни уговариваешь, что непристойно смеяться в глаза старому, добродушному человеку, но стоит Федору Федоровичу закипеть, и все пропало. Кажется, ожидай человека гильотина, и то бы не удержался. Закипал же и раздражался Федор Федорович даже при таких воспоминаниях, которые очевидно были ему приятны. Любя и понимая строительную часть, он, в качестве окружного начальника, действительно щегольски отстроил некоторые штабные помещения, в том числе и небольшой, занимаемый мною домик. Но когда речь заходила об этих постройках, никакие заявления признательности не могли удержать Федора Федоровича от восклицаний: «Помилуйте! разве я смею поставить эти медные замки, задвижки, ручки и заслонки в смету? Разве начальство примет на казенный счет лакированные полы? Вот я скоро брошу эту каторгу, тогда посмотрите, будет ли вам новый окружной доставлять такие удобства? А то все Федор Федорович не хорош...» и т. д. Я знал Федора Федоровича давно. При моем поступлении в полк, Гертнер был еще во фронте дивизионером. На нем был тот же черный парик и тот же ореол комизма. Кажется, никого судьба не ставила в такие комические положения, в каких зачастую бы-

вал Федор Федорович. Чтобы не утомить читателя, ограничимся следующим случаем. Во время первого моего майского компанента Федор Федорович, в качестве старшего дивизионера, выезжал пред дивизион<ом>, и следовательно, появлялся в виду всех в одиночку во всей красе. Хотя по чересчур маленькому росту ему не следовало служить в кирасирах, но для офицеров нет определенной меры. Зато такая мера существует для лошадей, и на гусарской лошади нельзя ездить пред кирасирским фронтом. В наше время ниже четырех вершков у офицерской лошади не допускалось. Представьте же себе комическую фигуру старого полковника на широкой четырехвершковой матке, объем которой чуть не удвоился вследствие того, что она бережа. Всякий кавалерист вам скажет, что третья часть полка состоит из маток, и никогда не случается, чтобы простая, солдатская матка пришла в подобное состояние. Все условия присмотра таковы, что этого случиться не может. Под какую же комическую звезду должен родиться Федор Федорович, чтобы с его единственной маткой случился подобный казус? Нельзя было слишком осуждать наших кирасир, когда появление полковника Гертнера на его бережей матке возбуждало общую веселость. Разумеется, при появлении полкового командира пред фронтом хихиканье умолкало, и все принимало серьезный вид. На одном учении, пред началом которого фигура Гертнера на его матке показалась всем что-то чересчур комичною, полку, после продолжительных и быстрых построений, командовано было выстроить фронт. Когда поднятая движением пыль стала опадать, заметили, что третьего дивизионера пред фронтом нет; когда же пыль окончательно улеглась, то увидели Федора Федоровича лежащим вместе с лошадию на земле и напрасно старающимся освободить свои ноги из поводьев, в которые он попал шпорами.

— Что такое? что такое? хи-хи-хи, — разнеслось по фронту.

Желая поскорей окончить эту сцену, полковой командир послал трубача слезть и помочь полковнику встать. Но и тот не тотчас освободил полковника, а между тем его лошадь мешала видеть подробности происшествия.

— Что ты там возишься? — крикнул полковой командир на трубача. — Что там случилось?

— Ожеребился, ваше высокоблагородие! — закричал трубач во все горло, стараясь, чтобы слова его были вняты полковому командиру. С этим словом вся дисциплина пропала. Раздался гомерический смех восьмисот человек. Сам полковой командир расхохотался и, командовав: *палаши в ножны, пики за плеча*, распустил полк. Трудно предположить, чтобы Федор Федорович

в сущности изменился только потому, что из действующих перешел в поселенные.

Кажется, ни к чему в такой степени, как к провинциальной штабной жизни, не относится пословица: «Дела не делай и от дела не бегай». И поехал бы верст за 60 или за 100 к знакомым помещикам отдохнуть среди роскошной обстановки, освежиться общением с более широкими интересами, да как подумаешь, что может быть не успеешь выехать, а тут экстра из дивизии или, чего доброго, нагрянет сам начальник штаба, так и пойдешь к тому же бригадному генералу или к Федору Федоровичу. Нечего говорить, что однообразные уличные явления небольшого городка были нам знакомы до пресыщения и скуки. С некоторыми жителями, приходившими в Казенный сад слушать трубачей, у нас возникало даже так называемое шапочное знакомство, но на этом дело и кончилось, так как не было повода вникать в их домашнюю жизнь. Для меня исключением было на некоторое время семейство поселенного ветеринара Гольца. С самого поступления моего в полк глаза мои привыкли в известные часы дня встречать на тротуаре довольно оригинальную фигуру. В эти часы, вдоль серых заборов, торопливо и как бы желая поскорее скрыться от докучных наблюдателей, проходит небольшой человек. С виду ему было лет под пятьдесят. Широкое, скулистое лицо с черными нависшими бровями, носом пуговицею, широкими плоскими губами, крепко сложенным ртом и худо выбритым подбородком, постоянно выражало какое-то презрительное неудовольствие. Кроме этого выражения, лицо это представляло сплюснутость каучуковой кукольной головки, которую придавили пальцами сверху вниз. Зимой и летом неизменным костюмом знакомого незнакомца была камлотовая, когда-то коричневая, теперь совершенно серая под цвет заборов шинель и грязным блином лежащая на голове фуражка, из-под которой дикими, нечесаными завитками вырывались черные, с легкою проседью, волосы. Человек постоянно был, что называется, *грузен*. Не помню, кто мне пояснил, что это пьяный поселенный ветеринар Гольц. Успокоившись на таком сведении, я о нем более не расспрашивал.

V

Однажды, в начале июля, когда полк готовился к походу на дивизионный и корпусный компаненты, я против обыкновения проснулся часов в 5 утра. На это могла быть особая причина. Молодцы солдатики сплели мне к компаненту великолепную корневую плетенку для брочки (нетычанки), и в настоящую ми-

нугу негычанка, искусно выкрашенная под солому и покрытая лаком, была выставлена сохнуть на крутом пригорке между моею конюшней и квартирой. Меня беспокоила мысль, не налипла ли опять вчерашняя мошकारа на лак, и с этой целью, наскоро одевшись, я побежал на гору. К большому моему удовольствию все оказалось в порядке, и даже лак стал мало отлипать. Не успел я окончить обзора, как внизу на тротуаре показалась высокая фигура барона. Самому мне было весело на душе, почему, думаю, не потешить добряка? Я поспешно сошел к нему на встречу.

— Вот такая вы сегодня ранняя птица, — сказал полковник, протягивая мне руку. — Что, батюшка! любовались своею обновкой по части изящных искусств?

— Нет, это я так взглянул, но главное, я поджидал вас, чтобы пройтись в конный лазарет. Какое чудное утро, просто рай!

— О, о! прекрасно, похвально! Право, я иногда удивляюсь, глядя на нашу молодежь. Подумаешь, что иной из-под палки служит. Не любишь кавалерийского дела, ну и не служи, найди себе другое занятие по душе. Но кавалерист, не любящий лошади, по-моему, грустное явление. Да знаете ли, уж коли на то пошло, по-моему, он и человек-то дрянной. Я бы ему не доверил ничего. В нем нет любви к делу.

Беседуя таким образом, Карл Федорович широко шагал своими длинными ногами и шел так шибко, что мне приходилось рядом с ним чуть не бежать. На половине пути я увидел шагах в ста впереди нас, на тротуаре, колыхание давно известной мне серой камлотовой шинели с блинообразною фуражкой.

— Карл Федорович, — невольно воскликнул я, — ведь это Гольц! Зачем его несет в эту сторону?

— Он идет в конный лазарет.

— Зачем?

— Вы не помните унтер-офицерскую кобылу 2-го эскадрона, Прозерпину?

— Как же не помнить. Недели две тому назад ее привели ко мне, и она жаловалась на левую заднюю ногу.

— Та самая. Мы с Григорием Ивановичем расчистили ей стрелку в копыте и с грустью убедились, что у нее рак. Григорий Иванович и вырезал, и выжигал, но дело все ухудшается, а ужасно жаль этой лошади. Вчера утром мой Петр докладывает, что доктор Гольц желает меня видеть. — «Что ему угодно?» — «Говорит, желает переговорить». Думаю, верно, пришел под каким-либо предлогом выпросить на выпивку. Однако делать нечего. — Проси его в залу. — «Что вам угодно?» — спросил я эту дрожащую беззубую фигуру. — «Я слышал, вас очень беспокоит рак в

копыте, и хотел вам помочь. У меня есть секрет, и через четыре дня все выпадет, и ранка очистится», — словом, наговорил с три короба. Врет, подумал я, этот пьяница, но ведь попытка не штука, лошадь все равно пропала. «Очень хорошо, — говорю. — Пожалуйста завтра в конный лазарет, а я скажу Григорию Ивановичу, чтобы он вам отпустил каких будет нужно медикаментов». — «Нет, позвольте, медикаменты я сам принесу, а вы прикажите кожаную калошу по ноге сшить и больше ничего». Я ему дал пять рублей на лекарство, то есть на выпивку, заказал калошу и обещал, в случае успеха, еще 50 рублей, а теперь увидим его прыть.

Когда мы пришли в конный лазарет, там все уже было готово. Гольц, с видом знатока, осмотрел рану и, проворчав: «нишево», принялся дрожащими руками намазывать какую-то коричневую мазь на корпию и затем, при помощи коновалов, заложив ею рану, надел кожаный башмак.

— Тепериша карашо. Послезавтра — посмотреть, — прибавил он, умывая руки. Григорий Иванович смотрел на операцию со сверкающими глазами. Умилялся ли он, насмехался ли? Кто его знает. Мы пошли навестить других пациентов.

Принужденный часто и в разное время отлучаться из дому, я, во избежание беспрестанных отпираний-запираний парадного крыльца, ходил через каменную террасу своего домика, обращенную во внутренний двор, к конюшне. Тут же на террасе, в чулане, хранился овес для моих лошадей, и, вероятно, это обстоятельство много споспешествовало охоте моего слуги разводить самых разнообразных и красивых кур, которых он потом распродал любителям. В это птицеводство я не вмешивался, хотя проходя через террасу, нередко находил ее обсыпанную курами, индейками и гусями. Однажды, выходя утром к должности, я увидел какую-то женщину. Завидя меня, женщина с воплем повалилась в ноги:

— Помилуй меня, батюшка, защити сироту!

— Встань, ради Бога, и говори просто, что тебе надо.

— Не встану, мой отец! Я жалобу тебе произношу.

— А не встанешь, я и слушать не стану. Прощай.

Женщина встала и, заливаясь искренними слезами, продолжала:

— Я тебе жалобу произношу на твоего слугу Наумыча. Он колдун, меня измучил.

Думаю: Господи, что за чепуха!

— Он моих индеек приколдовал к вашему крыльцу. Кличу, кличу, ничего не поделаю, из сил выбьюсь.

— Да ты откуда?

— Суседская, рыбниковская.

В соседнем домике, действительно, стоял поселенный казначей Рыбников, человек женатый.

— Жалко мне тебя, матушка, что ты так измучилась с своею птицей, но дам тебе совет кормить индеек так же хорошо, как, вероятно, они питаются у этого крыльца, и все колдовство пропадет.

Видя, что я ухожу, женщина, утирая слезы, торопливо прибавила:

— Барин приказал спросить, можно ли ему при<й>ти к вам.

— Скажи, что я иду к должности, но если ему угодно меня видеть, то пусть пожалует в канцелярию.

Через несколько времени, в канцелярию, в новом сюртуке и эполетах, вошел белокуренький, лысенький и, точно с перепугу, передергивающийся Рыбников. Более распевая по-птичьему, чем произнося слова, он затынул:

— Извините, что я в таком месте, но я решился беспокоить вас. Сегодня день ангела жены, и она убедительно просит сделать нам одолжение пожаловать в 12 часов закусить. Она поручила мне взять слово с вас.

Я поблагодарил и обещался быть. «Что за притча? — подумал я, — отчего это Рыбниковы, у которых я никогда не переступал порога, вздумали сегодня звать меня?» Выйдя из большого помещичьего дома в качестве перезрелой девицы замуж за поселенного офицера, Рыбникова не забывала своего бывшего величия и, встретив знакомого в ее прежнем обществе, не могла отказать себе в удовольствии воскликнуть:

— Ах! скажите, давно вы видели мою кузину *Annette*? Как вас хвалит *Sophie*, попеняйте, пожалуйста, *Alexandrine*, что она нас забыла!

Ровно в 12 часов вертлявый Рыбников, встретив меня в передней, провел через столовую, где уже стояла закуска, в гостиную, в которой я нашел хозяйку дома, разодетую с явною претензией на роскошь. Рассчитывая встретить многочисленное сборище, я был крайне изумлен, не застав в гостиной никого, кроме хозяев и какой-то старушки с девочкой. Начались обычные перечисления *Alexandrine*, *Nadine*, *Sophie*, между которыми хозяйка представила меня старушке. Я решительно не знал, кто эта особа. Старушка сразу бросилась в глаза своею щепетильною опрятностью. Такая она была чистенькая, начиная с белоснежного тюлевого чепца до серенького платья, обрамленного безукоризненно свежими воротничком и рукавчиками. В чистеньком, худеньком и, видно, когда-то красивом лице ее не было ни кровинки. Но вслед за первым, внешним впечатлением, воз-

никало другое, внутреннее. Крайняя худощавость старушки, резко обозначенная узким, вопреки тогдашней моде, платьем, эти конвульсивно сцепившиеся на коленях руки, эти туго прижатые к телу локти, эта напряженная неподвижность всей фигуры и тускло-серых глаз ясно говорили: что ж это я так широко расселась, нельзя ли мне как-нибудь подобраться, втянуться внутрь; зачем я здесь и зачем я вообще где-нибудь? Чтобы никому не мешать, мне бы надо занимать самое маленькое местечко — точку, пылинку какую-нибудь, да и того для меня много.

— Оставь, Коля, ты беспокоишь M-lle Lise! — проговорила Рыбникова, не принимая, однако, никаких мер остановить шалуна, который грязными руками безжалостно ухватился за концы широкой голубой ленты пояса блондинки. При этих словах блондинка, туго придерживая ленту, вскинула на нас свои голубые глаза, и я изумился, как мог до сих пор ее не заметить, как я мог смотреть на что-либо, кроме ее. Девушке было на вид от 14 до 15 лет. Она была еще совершенное дитя, но какое чистое, безыскусственное и грациозное дитя. Как шло это белое кисейное платье без всяких украшений, кроме пояса, к девственному очерку ее лица и шеи. Тонкие, на концах загнутые вверх и густые, стрелки ресниц придавали своею тенью глазам ее таинственную глубину. Густые, золотистые волосы, с едва заметным отблеском красноты, двумя тяжелыми косами падали ей за плеча. Едва ли не вся прическа была совершенна без помощи зеркала, а между тем можно было сказать без преувеличения, что сами грации убирали эту головку. Видно было, что волосы, по густоте своей, противясь действию гребня, сначала пышно поднимались на лбу и прозрачных висках и затем уже следовали по указанному пути, оставляя у корней своих воздушные, едва заметные колечки. Всю головку девушки окружал какой-то светящийся нимб, и мне никогда не случалось видеть такого живого воплощения перуджиновского идеала.

— Lise! он вас беспокоит, — обратилась Рыбникова уже прямо к девушке по-французски.

— Нисколько, — отвечала девушка, окончательно освободив ленту из рук мальчика, — и если вы мне позволите взять карандаш на вашем письменном столе, то мы с Колей сейчас будем добрыми приятелями.

— Ах, сделайте милость! Я знаю, вы прекрасно рисуете.

— Пойдем, Коля, я тебе нарисую лошадку.

С этими словами девушка пересела под единственное итальянское окно комнаты и, взяв лист бумаги, принялась рисовать. Южное полдненное солнце резко ударяло, как раз через улицу, на белые стены колоссального военного госпиталя, а два громад-

ных тополя под самым окном густою тенью увеличивали янтарный блеск стены. Очарование было полное. Перуджиновская головка, как ей и следовало, плавала на золотом фоне. Даже Коля, влезший с ногами на соседний стул и подперший голову обеими руками, чтобы лучше рассмотреть рисунок, не портил картины.

Ты остановишься невольно,
Благоговевя богомольно,
Перед святыней красоты, —

вдруг засветилось у меня на памяти.

— Удивительно, как она умеет ходить за детьми, — отозвалась Рыбникова, обращаясь к старушке. При этих словах старушка повернула голову и посмотрела на девушку. Вся сжатая окаменелость мгновенно растаяла. По бледному лицу разлилась тихая улыбка, даже локти отошли от тела и руки расцепились на коленях.

— Привычка, — ответила старушка. — Наши дети больше на ее руках. Тепер я уже ничего не могу. — Последние слова придали ее лицу прежнее выражение болезненной сдержанности, но нарушив молчание, старушка, видимо, хотела воспользоваться случаем, избавляющим ее от необходимости еще раз обращаться на себя внимание посторонних.

— Вы нас извините, М-ме Рыбникова. Мы нарочно пришли пораньше поздравить вас, но вы знаете, нам нельзя долее оставаться. Дети одни.

— Знаю, знаю, — перебила Рыбникова, но я не могу отпустить вас без завтрака; хоть что-нибудь закусите. *Mesdames et Messieurs!* * пожалуйста завтракать.

Услыдав такое приятное приглашение, Коля забыл рисунок, прежде всех очутился в зале и, бегая вокруг яств, казалось, разом успевал помешать в пяти местах, вырастая как гриб между столом и приближающейся к нему личностью. Рыбников принялся систематически резать именинную кулебяку, а хозяйка валила на тарелки гостям, что ей под руку попадало.

— *M-lle Lise!* Это вам верно генеральша подарила такую великолепную ленту? Скажите, вы часто бываете у нее?

— По воскресеньям и по праздникам она постоянно берет меня из института.

— Там вы верно и учитесь рисовать?

— Да, по воскресеньям ко мне ходят учителя музыки и рисования.

* Дамы и господа! (*фр.*)

— Право, какая она добрая! Пожалуйста, не забудьте сказать ей, что я высоко ценю ее душевные качества, и когда буду в Кременчуге, доставлю себе истинное удовольствие напомнить ей о себе лично. Не забудьте, душа моя!

В дверях показались красные поселенные воротники, и хозяйка встала им навстречу. Пользуясь небольшим смятением, старушка поднялась и, пожав руку хозяйке, вместе с дочерью направилась к дверям.

— М-ме Гольц! Лиза! М-ме Гольц! куда же вы! как же так? — вопила Рыбникова, но старушка на эти возгласы только обернулась, безмолвно и автоматически присела и скрылась в дверях прихожей. Так эта кроткая старушка и очаровательная девочка — жена и дочь того безобразного пьяного старика в серой камлотовой шинели? — Как это странно, даже невероятно. Вскоре затем и я, под предлогом служебных обязанностей, раскланялся с хозяевами.

VI

Точно как странник, который, взглянув перед самым
закатом

Прямо на быстрое, красное солнце, после невольно
Видит его на темных кустах, и на скалах утеса,
Перед очами, куда бы ни кинул он взоры, повсюду
Светит оно перед ним и качается в красках чудесных.
Так перед Германом образ возлюбленной девушки тихо
Плыл... —

говорит Гёте в своей бессмертной поэме.

В последние дни нечто подобное совершилось со мной. Перуджиновская головка постоянно носилась предо мной на золотом фоне, и я был очень доволен, когда мы с Марьей Ивановной вдвоем уселись у самовара. Не рассчитывая узнать какие-либо подробности о занимавших меня личностях, я чувствовал потребность поговорить с женщиной о моем впечатлении. Я отправился вечером с бароном Б. к Федору Федоровичу. Хозяин и хозяйка, добрая Марья Ивановна, встретили нас с обычною любезностью. Я навел разговор на семейство Гольца.

— Вы не знаете, — воскликнула Марья Ивановна, перебивая мои восторженные возгласы, — на какую грустную для меня тему попали. Вы не знаете, какая примерная женщина эта, как вы ее называете, старушка Гольц. Сколько я выстрадала, глядя на ее безотрадную жизнь.

— Марья Ивановна! Стало быть, вам известна жизнь этого семейства. Нельзя ли им как-нибудь помочь?

— Нет, тут помочь нельзя. Из подобных положений выхода нет. Я готова рассказать вам все, что знаю, но скажите прежде, сколько, по вашему, мне лет? Пожалуй, не стесняйтесь; в мой года можно прямо говорить о таких вещах.

Немного озадаченный подобным оборотом речи, я отвечал: по-моему, вам 42—43 года.

— Немного не угадали. Мне 45, а М-те Гольц 35, потому что она ровно на 10 лет моложе меня.

Оказалось, что покойная мать г-жи Гольц когда-то учила Марью Ивановну играть на фортепиано. Учительница и ученица тогда жили в Кременчуге, где Марья Ивановна знала Луизу с 8-милетнего ее возраста до замужества, а затем судьба снова свела их вместе, в одном городе, в качестве жен начальника и подчиненного.

Со времени случайной нашей встречи с г-жею Гольц, сильно заинтересованный судьбою этой бедной женщины, я часто расспрашивал о ней у Марьи Ивановны и Рыбниковых. Слухи приходили самые неутешительные. В последнее время она заметно опустилась нравственно и, как только переставала работать физически, впадала в какое-то тупое отчаяние, близкое к помешательству. Ее терзало сознание собственного бессилия. Что ей ни говорили, она твердила одно: «Слепая, больная, я ничего не могу сделать для бедных детей. Я только им мешаю. Чувствую, что Бог их не оставит, если я не буду мешать им. Нашлись бы добрые люди приютить сирот. А теперь кто их возьмет? У них мать». Даже материальная помощь, по отношению к Луизе Александровне, была сопряжена с затруднениями и требовала разных уловок. Придравшись к повышению Гольца чином, Федор Федорович придумал посылать его семейству свечи натурой и годовое продовольствие мукой и крупой, под предлогом пайка на четырех денщиков, но и такая значительная помощь не вывела семейства из тяжелого положения.

Гертнер не мог равнодушно слышать имени Гольца. «Боже мой, Боже мой! — закипая, восклицал Федор Федорович. — Ах какой каналья! Если б не его несчастная жена и бедные дети, я бы давно в три шеи вытурил его из службы».

— Не поверите, если вам рассказать! — прибавил он однажды, когда разговор снова сошел на эту тему. — На Святой Гольц получил надворного советника. По этому случаю Маня выдумала, что им следуют от меня квартирные деньги, а у них квартира по отводу. Теперь она каждый месяц посылает этой бедной

женщине несколько рублей. Что ж бы вы думали? Пьяная образина пронюхает и украдет у жены последнюю копейку. Боже мой, Боже мой! Ах, какой каналья!

VII

В конце июля того же года полк наш ушел в дивизионный компамент, а затем, в начале сентября, перешел на корпусный, в Елисаветград, где на этот раз по очереди ему пришлось занять подгородные бараки. После жаркого, линейного учения и ввиду ночных письменных занятий, я лег отдохнуть. Солнце садилось, когда слуга, пронося чай, доложил, что меня желает видеть поселенный казначей.

— Проби.

В комнату вошел передергивающийся Рыбников с заявлениями, что, будучи в Елисаветграде, желал воспользоваться случаем и т. д. Я предложил ему чаю. Оказалось, что у него есть поручение от начальника округа к нашему полковому командиру и что, не застав барона в бараке, он пришел узнать, когда он вернется.

— Барон уехал в дивизионный штаб, — отвечал я. — И я сам с минуты на минуту ожидаю его, чтобы узнать подробности словесного приказания на завтра. Что нового в К...? — спросил я, вполне уверенный, что нового ничего быть не может.

— Помилуйте, — пискнул Рыбников, дернув правым эполетом, — какие у нас могут быть новости. Все по-старому, кроме несчастного случая в семействе Гольц, о котором вы, вероятно, слышали.

— Какого случая? я ничего не знаю. Что такое? Расскажите, сделайте милость.

— Как же, помилуйте! — запищал Рыбников, вздрогнув левым эполетом. — Сегодня вторник, а это было третьего дня, в воскресенье, перед самым моим отъездом.

Избавляя читателя от преувеличенного рассказа и несообразных умозаключений Рыбникова, передадим простые подробности события в семействе Гольц, происшедшего в означенный Рыбниковым день.

Несмотря на воскресенье, Гольц, верный многолетней привычке, с утра отправился в воловий парк. По уходе мужа Луиза Александровна с особенным рвением предалась своим ежедневным заботам. Давно не была она так оживлена и разговорлива. Отворив комод, она тщательно разложила белье и указала Лизе, где что лежало и для какого употребления. Укладывая белье меньших дочерей, она обратилась к старшей:

— Лиза, ты уже большая девочка! О брате твоём я не говорю, тебе за ним не усмотреть, но дай мне слово смотреть за сестрами как мать. Где бы ты ни была — не упускай их из виду. Помни, это моя горячая к тебе просьба.

С этими словами она схватила и поцеловала руку Лизы. Уходя обыкновенно с утра на базар, она приучила вторую дочь умывать и чесать детей, но в это утро она сама тщательно одела двух меньших, и взяв сына Сашу на колени, стала чесать ему голову. Когда Лиза, проходя по комнате, взглянула на них, то увидала на волосах Саши слезы. Принимаясь несколько раз толковать детям, как они должны во всем слушаться старшей сестры, Луиза Александровна вдруг замолкала, опускала голову и даже не отвечала детям. В последний раз, на вопрос Лизы: что с вами, мамаша? Луиза Александровна ответила:

— Ничего, мой дружок. Пойдем в кухню. Пора! Жаркого сегодня нет, а масла немного осталось, так мы клецки с тобой сделаем. Папаша любит клецки; а к супу я пред самым обедом поджарю гренков. Ты станешь суп разливать, а я прямо горячие гренки подам.

Пока девушка, надев фартук, разводила огонь, Луиза Александровна часто уходила из комнаты к детям. Когда она стала целовать вторую дочь, девочка спросила ее:

— Можно мне, мамаша, завтра к Гертнерам, если Марья Ивановна пришлет за мной?

Мать ничего не отвечала. Девочка, ласкаясь, повторила вопрос.

— Можно, можно! — торопливо сказала Луиза Александровна, — только не очень бегайте по комнатам, Федор Федорович этого не любит.

Поуспокоившись, она сказала Лизе, что пойдет поискать в чулане, в сенях, луку в клецки. Лиза вызвалась идти за луком.

— Где ты в темноте его отыщешь, — отвечала мать. — Ты лучше присмотри, чтобы суп не выкипел.

В 4 часа пришел Гольц в обычном своем виде. Луиза Александровна сама принесла суповую миску и, поставив ее на стол, приказала дочери разливать, а сама пошла за гренками. Лиза разлила суп, а гренков нет. Гольц рассердился и стал громко кликать жену. Лиза побежала на кухню. Гренки на столе, а матери нет. Лиза выбежала на двор к колодцу — нет. Отворила калитку на улицу, и там нет. Никогда этого не случилось. Лиза стала громко кликать мать. Проходя через сени, она вспомнила про чулан. Дверь была отперта, но точно кто из середины ее придерживает. Лиза налегла на дверь, и понемногу отворила ее.

— Мамаше дурно! — крикнула девушка обедающим.

— Что там такое? — отозвался Гольц.

— Мамаше дурно! она лежит! — закричала Лиза и почувствовала, что ногам стало тепло. Выступив из чулана навстречу бегущим детям, Лиза увидела, что весь подол у нее в крови. Ей захватило дух, и она сама упала без памяти. Дети подняли вой. Вторую девочку соседи поймали на улице, куда она бросилась бежать с испугу. Когда посторонние осмотрели чулан, то увидели Луизу Александровну лежащею на глиняном полу с глубоко перерезанным горлом. Подле нее нашли мужнину бритву с ручкояткой, туго завернутой полотенцем. Видно, все обдуманно и приготовлено было заранее.

VIII

В конце сентября полк вернулся на постоянные квартиры. На другой день прибытия в штаб я получил из конного лазарета рапорт: кобыла 2-го эскадрона, Прозерпина, пала. Настало время отдыха, и однажды вечером мы с бароном отправились к Гертнерам. Засидевшиеся в одиночестве хозяева явно нам обрадовались.

— Я вас таким вареньем угощу, — восклицал Федор Федорович, — чудо! Маня, прикажи подать вишен! Это ее труды. Ягодка к ягодке вместо косточек вложены самые зернышки!

Разговор перешел к новостям и, естественно, остановился на самом крупном событии последнего времени — смерти madame Гольц. При этом имени Федор Федорович закипел.

— Не говорите, не говорите об этом человеке. Боже мой, Боже мой, ах, какой каналья! Вы слышали, — продолжал он, обращаясь к нам, — что эта несчастная женщина наложила на себя руки, но вы ничего больше не слышали?

Мы отвечали утвердительно.

— Ну так я вам все расскажу, чему был очевидцем. Дело было в воскресенье. Лавки были закрыты, и народ отдыхал по домам. В пять часов мы по обыкновению сели обедать. Подавая пирожное, Петруша докладывает, что полицейский унтер-офицер пришел. Так у меня сердце и екнуло. Господи! думаю, уж не пожар ли? Зачем придти ему во время стола, в праздник? Бросив салфетку, я побежал в переднюю. Что случилось?

— Ветеринарная докторша зарезалась, ваше высокоблагородие.

— Где?

— У себя на фатере. Народу, — говорит, — навалило полна улица. Я, — говорит, — у калитки поставил часовых, чтобы не таскались в дом да чего не украли, а сам побежал к вашему высокоблагородию.

— Ну хорошо, — говорю, — вели мне духом запретить пролетку, а сам ступай и дожидайся меня там на месте.

— Что случилось? — стала спрашивать Маня. Не желая напрасну пугать ее, я было стал говорить «ничего», да ведь разве их обманешь! Пристала, скажи да и только. Делать нечего, говорю: М-те Гольц скоропостижно умерла.

— Ради Бога! — говорит, возьми несчастных детей, что они будут делать одни с пьяным отцом. — Пролетку подали, а я так шибко погнался, что лошади, со стойки, по вашей улице даже подхватили. Наздрунов правду сказал. Народу полна улица, и все больше бабье, в праздничных шелковых головных платках. — Прочь! Прочь! — кричу. — Держи к самой калитке! В сенях я заметил, что доски около чулана притоптаны кровью и кровавый след пошел в комнаты. Я растворил дверь, и что же, вы думаете, увидел? Надо вам сказать, покуда дали знать полиции, соседи вытащили труп из чулана, раздвинули обеденный стол посреди комнаты и положили на него покойницу. Хотели ее обмыть и прибрать, но Наздрунов разогнал всех. Сохраняя следы происшествия, он оставил только с детьми в спальне двух женщин, прося их не отворять дверей до моего приезда. Поэтому, когда я вошел, в столовой никого не было, кроме несчастной покойницы на столе и самого Гольца. Боже мой, Боже мой! Вспомнить не могу! Представьте, на окне стоит до половины отпитой полуштоф водки, а Гольц пьяный-распьяный ходит со стаканом в руках вокруг стола, на котором лежит покойница, что-то бормочет и подпрыгивает. Я так и всплеснул руками.

— Ах, — говорю, — животное вы! Тварь поганая! На столе жена, которую вы замучили, убили вашим безобразием, а вы что делаете?

Он остановился, поднял на меня разогревшиеся глаза и, ткнув пальцем по направлению к столу, прошамкал:

— Собаке собачья смерть.

С этими возгласами он снова замахал руками и пустился безобразно подпрыгивать вокруг тела. Тут уже терпенья моего не стало.

— Вон отсюда, гнусная тварь! — закричал я.

Он опять остановился.

— Вы не смеете, — говорит, — так на меня кричать, я надворный шоветник!

И при этом тычет себя в грудь.

— Наздрунов! — крикнул я, растворяя окно на улицу. — Войди сюда, да захвати человек двух полицейских... Тащи его вон! — крикнул я полицейским.

— Вы не смеете!

— Тащи, тащи его! Да здоровый какой: в дверях упрется в притолоки ногами, так втроем насилу сдвинули. В калитке народ смотрит: скандал! Едва протиснули, подхватили под руки и прямо на нашу гауптвахту. Покуда я составлял акт и опечатывал вещи, девочек свезли к Мане, а мальчика Сашу на время взяли Рыбниковы.

— Да, — заметила Марья Ивановна, — предчувствие не обмануло Луизу. Не прошло двух недель, как добрые люди, по рекомендации Лесовской, разобрали детей. Девочек отдали в институт, а мальчика собираются везти в кадетский корпус.

— А где сам Гольц? — спросил я.

— С недельку, — отвечал Гартнер, — я его протрезвил на гауптвахте, да и предложил подписать просьбу об отставке. Он было закапризничал. Как угодно, говорю. Сегодня пойдет рапорт по команде об исключении вас из службы за нетрезвое поведение. Ну, подписал отставку. Видно, побоялся лишиться пенсии.

Переменив вскорости место служения, я ничего не знаю о дальнейшей судьбе Гольца. Вероятно, зимой замерз где-нибудь под забором.

ПЕРВЫЙ ЗАЯЦ

*Посвящено маленькому приятелю
графу С. Л. Толстому*

Это было, как теперь помню, 5 сентября, в день именин маменьки. Обедали у нас в семействе рано, и потому к 12 часам все уже было готово к принятию гостей. Круглый стол в зале раздвинули приборов на 20-ть, и на каждой тарелке салфетка сложена была в виде звезды. На отдельном столике у стены, рядом с бутылками разных сортов вин и наливок, около груди нового серебра, оставлено было место для закуски. Человек 8 прислуги в одинаковых синих сюртуках с медными пуговицами, давно совались из буфета в кухню, из кухни во флигель, или озабоченно перешептывались в лакейской. Шейные платки на лакеях были всех цветов, смотря по вкусу каждого из них. Одного буфетчика, Павла Тимофеича, можно было отличить по белому галстуку, длинные и вышитые концы которого раздувались у него на груди в виде бороды. Не менее Павла Тимофеича замечен был между прислугой наемный дядька мой Сергей Мартынович. Покойный барин, о котором Мартыныч вспоминал всегда со слезами, завещал ему фрачную пару с своего плеча. Сергей Мартыныч очень гордился этим платьем и, не перешивая его на свой небольшой рост, носил по торжественным дням, причем поминутно вздвигал рукава к локтям и узкими фалдами фрака едва не доставал до полу.

Маменька в шелковом платье вишневого цвета давно сошла сверху и ходила по комнатам, наблюдая, все ли в надлежащем порядке. Боясь замечаний папеньки, я избегал попадаться ему на глаза и неохотно выходил из классной в парадные комнаты. Но на этот раз я вышел в залу, рассчитывая, что пусть лучше приезжие здороваются со мною по одиночке, чем мне входить в комнату и раскланиваться со всеми, причем легко какой-либо неловкостью заслужишь замечание папеньки. На мне был новый синий сюртучок, в котором зимой собирались отвезти меня в школу, и ненавистный отложной воротник рубашки. При появлении моем в залу, маменька выговаривала Павлу Тимофеичу, что бокалы с левой стороны стола не были так же выровнены, как с правой. Увидав свой промах, Павел Тимофеич чуть не

плакал от огорчения. Маменька подозвала меня к себе и принялась поправлять мой отложной воротник.

— Опять косо! — сказала она. — Как не стыдно твоему Мартынычу пускать робенка в таком безобразном виде?

— Да что вы, тата! Все робенка, да робенка! Мне уже 14 лет.

— Пожалуйста, не прибавляй! терпеть этого не могу.

— Как же, тата! в ноябре мое рождение.

— Тогда и будет 14, а теперь 13.

— Четырнадцатый, — затынул я, приседая.

В дверях показался папенька, и я, продолжая опускаться до полу, сказал громко:

— Какая тут неловкая складка вышла на скатерти.

Папенька, видимо, был в духе. Белым венцом зачесанные кверху остатки волос на обнаженной голове, тщательно подстриженные седые усы и белый батистовый галстук придавали папеньке особенно праздничный вид.

— Экой славной день! — сказал он, входя. — Право, не верится, что за границей теперь вторая половина сентября. Что твоя Италия! Еще раз здорово! — прибавил он, подходя к маменьке и подставляя ей гладко выбритую щеку, которую та поцеловала. — Что это ты надела черную кружевную мантилью?

— Я думала, — отвечала маменька, — к этому платью.

— Нет, пожалуйста. Надо уметь прилично одеваться. Ты всех напугаешь. Пойди, пойди перемени!

Маменька молча отправилась к себе наверх, а папенька подошел к окну и, взглянув на дорогу, по которой ожидали гостей, сказал:

— Удивительно! первый час, а никого нет! И то сказать, барыни — народ неисправный, а что брата до сих пор нет, — странно.

— Да, дяденька встает очень рано, — сказал я, чтобы не промолчать на папенькины слова. Вслед за маменькой, надевшей белую, кружевную косынку, с мезонина сошла в залу полная, приземистая немка Елисавета Николаевна, в белом платье и высоком черепаховом гребне, в виде лопаты, на гладко причесанных, рыжеватых волосах. Она вела за руку 6-тилетнюю сестру мою Верочку. На Верочке тоже было белое платье, с голубою лентою вместо пояса, а на белокурой головке ее во все стороны торчали папильотки, свернутые из моей старой учебной тетрадки. Верочка подбежала к руке папеньки.

— Это что такое? — воскликнул папенька, указывая на Верочкины папильотки. — Кто это выдумал?

— Это я приказала, — сказала маменька.

— Нет уж, пожалуйста, не портьте! Сейчас это снять и гладко расчесать! — обратился папенька к Елисавете Николаевне, которая тотчас увела Верочку. — Удивительное дело! — продолжал папенька, — и взрослых-то людей надо отучать от этих глупостей, а мы таким червякам начинаем их вбивать в голову. Иной подойдет, снимет с головы ребенка эту писаную бумажку, да и скажет: прочти, что тут написано, — а тот и читать-то еще не умеет.

Чтобы не обращать на себя внимания, я плотно прижался к окошку, усердно глядя на дорогу, пролежавшую невдалеке, по самому верху бугра. По ней, на ясном небе, все можно было рассмотреть в подробности, так что между слетевшимися голубями я различал пару глинистых, живших на флигеле.

— Дяденька едет! — крикнул я радостно; и действительно, из-за рощи показалась пара фореиторских лошадей, длинные уносы, и еще пара, везущая новую, ильинскую коляску. Четверня раскормленных, рослых лошадей, бурых в масть, так и сияла на солнце, встряхивая, на резвой рыси, белыми, расчесанными гривами. В коляске сидел дяденька в белой пуховой шляпе, из-под полей которой, над глазами торчал зеленый зонтик-козырек. За дяденькой, в ливрее горохового цвета, с аксельбантами и в круглой шляпе с серебряным галуном, стоял его камердинер и стремянной Василий Тарасов. Дяденькина коляска была для меня первым экипажем, в котором лакейские запятки были приделаны к кузову, а не к задней оси, как это бывало прежде. Дяденька недавно завел эту коляску. С тех пор, как я стал себя помнить, единственными у него экипажами были зимой — одиночные сани, а летом — беговые дрожки. Впрочем летом он чаще всего приезжал к нам верхом. Дяденька был меньшей брат папеньки. Между собою они были очень дружны, и один дяденька мог распорядиться у нас, как угодно, и даже баловать детей, чего никому не позволялось. Дяденька с малых лет моих баловал меня и возился со мною. Любимой мыслью дяденьки было видеть меня артиллеристом, и потому он заранее старался ознакомить меня с верховой ездой и огнестрельным оружием. Папеньке тоже нравилась мысль видеть меня в артиллерии, но он постоянно твердил: учиться, учиться арифметике, геометрии, а воробьев пугать успеет! Тем не менее, по милости дяденьки, 13-ти лет я уже ездил верхом на лошади, которую он мне подарил.

В конце августа того же года дяденька привез мне небольшое двухствольное ружье, снабдив необходимыми к нему припасами. Папеньки не было дома, и мы с Сергеем Мартынычем пробовали стрелять сначала в цель, потом в галок, но все как-

то неудачно. С приездом папеньки, не знавшего про мое ружье, стрельба, поневоле, была отложена до более удобного времени.

Понятна непритворная радость, с которой, увидав знакомую мне ильинскую коляску, я крикнул:

— Дяденька едет!

Коляска скрылась за флигелем, и через минуту форейтор Митька, в синем полукафтани и в новой шляпе с блестящей пряжкой, подскакнув в последний раз на седле, прямо перед моим окном остановил свою белогривую пару.

— Вот и я, — сказал дяденька, сдав Василию Тарасову камлотовый плащ и зеленый зонтик. — Честь имею поздравить вас, сестрица, со днем ангела, — прибавил он, подходя к ручке маменьки. — И тебя, брат, поздравляю. Одни заячьи почки привез в коляске, а другие лежат в поле. Пока нет гостей, пошли сейчас Павлушку взять их.

— Какие там почки? обронули вы, что ли? — спросил папенька.

— Просто заяц лежит, — смеясь, отвечал дяденька. — Дорогой я его подозревал.

— Далеко отсюда? — спросил папенька.

— С версту. Знаешь полевую дорогу мимо Забинских мельниц. Отсюда, по правую руку пар, а за ним зелена. Я нарочно счел десятины: на третьей от пары, около первой поперечной межи. Стало быть, саженьях в 80 от дороги. Порядочно подцвел. Слепой увидит.

— Павлушка! — сказал папенька вносящему закуску Павлу Тимофеичу, — вели поскорей заложить беговые дрожки и поезжай к Забинским мельницам с ружьем.

Павел Тимофеич считал себя егерем. У него на руках был барский порох и однострельное ружье, с которым он зимой ходил за зайцами. Повторив описание местности, дяденька спросил Павла Тимофеича, понял ли он?

— П-п-помилуйте, к-к-как-с не понять-с.

— Ну, ступай скорее... А знаешь ли что, брат! — сказал дяденька, когда Павел Тимофеич чуть не опрометью побежал из залы. — Пока Павлушка соберется, гости наедут, и мы все спутаем. Велим, пока ее не отложили, подать мою коляску, возьмем по ружью и сами привезем почки. Есть ли у вас ружья?

— Как не быть, — отвечал папенька, — ты возьмешь мое французское. Оно одноствольное, но тихо бьет, а я возьму павлушкино.

Приказали подавать коляску и зарядить ружья.

— Позвольте и мне с вами ехать, — робко спросил я.

— Куда же мы тебя возьмем в двухместную коляску? — сказал папенька.

— Мы с Сергеем Мартынычем на запятки станем.

— Собирайся проворней, — сказал мне дяденька.

Я упросил Сергея Мартыныча зарядить мое ружье крупной дробью и вынести его из сеней, когда большие усядутся в коляске. Когда Павел Тимофеич подавал в коляску свое заряженное ружье, папенька спросил, хорошо ли оно бьет?

— Р-ружье хорчевитое, — отвечал Павел Тимофеич, — и м-м-меры не знает-с. Зи-зимой русака на 150 шагов — на повал-с.

— Пожалуйста, не ври, — сказал папенька; но в это время кучер вполголоса проговорил «пошел!» и бурые тронули крупной рысью. Мы с Сергеем Мартынычем, держащим у ноги мое ружье, стояли на запятках. Подъезжая к месту, обозначенному дяденькой, мы сначала услышали выстрел, а затем увидали на зеленях по левую сторону дороги двух братьев Зобиных с ружьями.

— Плохо! — сказал дяденька. — Либо они нашего русака погубили, либо убили. Вот сейчас увидим... А ведь его точно нет на том месте, где я его подозрел. Ванька! — сказал дяденька кучеру, — проехав третью десятину, поворачивай назад. Постой, постой, — поезжай шагом. Вот он! старый знакомый лежит. Брат! ты видишь? — спросил дяденька.

— Нет, не вижу, — отвечал папенька.

— Стой! — вполголоса сказал дяденька, коляска остановилась. — Пойдем, брат, сюда левее забирать. Они не любят, когда на них напрямик идут.

Папенька шел рядом с дяденькой, а мы с Сергеем Мартынычем за ними следом. Я уже держал в руке ружье со взведенными курками, но как пристально ни осматривал зелени впереди нас, решительно ничего не мог заметить.

— Теперь видишь, брат? — спросил дяденька.

— Вижу, — отвечал папенька.

— Подойдем еще шагов 20 и будем стрелять, а то, пожалуй, вскочит... Ну, теперь довольно! Ты, брат, хорчеватым-то бей на лежке, а я попробую попасть в бег.

Папенька стал целиться, а я все-таки ничего не видал, кроме озими. Хорчеватое ружье Павла Тимофеича бухнуло, как пушка. В ту же минуту большой, серый заяц вскочил перед нами. Подкидывая белыми ляжками и пушистым хвостиком и высоко насторожив белые уши с черными концами, он пустился бежать к лесу. Не успел он сделать четырех прыжков, как дяденька тоже в него выстрелил. Заяц, наклонив одно ухо круто наперед, прибавил бегу. Видя, что заяц уходит от старых охотников,

я и не помышлял поправить дело. Но почему же не выстрелить? Папенька все равно увидит меня с ружьем. Мгновенно решившись, я приложился, поднял цель вдоль спины уходящего зайца и спустил курок. Выстрел грянул, и в ту же минуту я увидел широко мелькнувшее белое брюхо через голову перекинувшегося зайца.

— Это ты? — милостиво спросил папенька.

— Bravo! bravo! — восклицал дяденька. — Ай да артиллерист! Ну, беги за своим зайцем. Я вижу, тебе не терпится.

Радость моя в ту минуту была так велика, что ее хватило на всю жизнь.

«НЕ ТЕ»

Если бы в мое время спросили офицера, для чего он служит, то каждый, по чистой совести, должен бы был ответить: чтоб отличиться. — Чем? Строгим знанием своего дела, вниманием к нему, умением, обратившимся в привычку, во всяком данном случае воспользоваться своим знанием, ловкостью, — словом, молодечеством.

Покойный император глубоко понимал это, когда, на последнем своем смотре в Елисаветграде, на прощаньи, вызвал к себе всех офицеров 2-й кирасирской дивизии и сказал: «Благодарю вас, гг., вы показали себя истинными молодцами. Вы славно мне служили, и я уверен, что вы так же славно будете служить моему сыну, моему внуку». Надо было видеть блеск этих сотен глаз, вспыхнувших восторгом. Если бы царь указал на пропасть Курция, всякий из охватившего его круга всадников, краснея, ринулся бы в бездну.

Молодцы, только что в течение трех утомительных дней ни на минуту не потерявшиеся в разнообразии неожиданных построений и местности, потерялись от восторга. Я видел, как у старого полковника, в свое время первого ездока и мазуриста, слеза пробелила дорожку по сплошной, черноземной пыли, превратившей всех нас, счастливых, в эфиопов. При последнем царском слове толстая шея полковника еще глубже ушла в кирасу и из открытого рта вырвалось: у!! Этот звук, как электрическая искра, облетел весь круг неподвижных, со спущенными за шпору палашами, офицеров. Ур... — вырвалось из каждой груди. Но в тот же миг государь поднял палец и обвел всех серьезным взглядом, сопровождаемым тою мягкою, очаровательною улыбкой, которою он умел высказывать милость. Зарождавшееся богатырское ура замерло на звуке ур... «Гг. офицеры, в свои места!» Палаши поднялись, и сверкающие кирасами всадники, как снопы лучей, разлетелись по фронту.

Самые лучшие войска могут и на смотре, как в сражении, показаться несостоятельными. Правда, в другой раз они возьмут свое. Но где взять этого другого раза на армейском царском смотре?

После двух дней неудачного царского смотра, я вошел в кабинет нашего корпусного командира, барона, ныне графа, С., человека не только примерной храбрости, но высокого духа. Стоя

в обычном своем положении, с закинутым правым носком за левую ступню, барон встретил меня словами, произносимыми нараспев: «Государь нами недоволен. Но я совершенно покоен. Войска в примерном состоянии». На следующий день слова эти оправдались. Прощальные маневры были исполнены с такою отчетливостью и изумительною точностью, что государь засиял восторгом. «Недостает одного, чтобы С. подоспел с своим корпусом». Не успел государь окончить этих слов, как один из свиты доложил: «С. идет», и в тот же миг не замеченные до того густые колонны всадников стали на полных рысях стройно вырываться из глубокой балки, сухим руслом которой они пронеслись на огромном расстоянии.

Но кто может поручиться, что представится случай исправить неудачу? Как воздержаться от желания приложить все силы, словом, отличиться, когда человек полагает в этом цель жизни? Как в данную минуту определить границы должного? Надо в один миг, на собственный страх, решиться на то или другое, и чуть перепустил усердия — вышла каша. Это излишнее усердие и бывает постоянным источником того столбняка, который в критическую минуту находит на самых дельных и спокойных начальников или ставит их в те, со стороны комические, положения, которые всякому старослуживому хорошо известны.

В подтверждение расскажу случай, подробности которого врезались в моей памяти, так как при этом мне пришлось скорее быть страдательным, чем действующим лицом.

Нашим корпусом командовал уже не С., а барон О., опытный кавалерист, человек снисходительный и невозмутимый, нередко повторявший на своем немецко-русском языке: *Надо всигда колодно и кровно*. Мы понимали, что он говорит о хладнокровии, которым не отличался наш начальник дивизии барон Ф., добрый, трудолюбивый специалист-кавалерист, но при малейшей неудаче закипавший до пены у рта.

Хрипливый голос истинно русского хлебосола и добряка бригадного генерала, неотвязчиво заявлявший, за отсутствием высшего начальства, требования, не всегда согласные с уставом и естественными средствами кавалерии, совершенно замолкал в минуту опасности.

Что касается до ближайшего начальника, полкового командира барона Б., при котором я пять лет выездил в качестве полкового адъютанта, то этот примерный хозяин и специалист и во фронте, и в кабинете, глаз-на-глаз со мною, не скрывал страха потерять в один час всю трудовую карьеру и заслуженную известность. Сколько раз, во время царских смотров, я слышал от

него: «Скажите, что в сравнении с этим значит броситься в атаку? Чем я там рискую? Жизнью, и только! а тут все может рухнуть, начиная с чести!» Между тем не помню случая, чтоб очевидная беда или невзгода произвели в нем торопливость и суету. Внимателен он был, невзирая на болезненный шум в ушах, неутомимо. Если в общем гуле он не слышал команды, значит никто ее не слышал.

Полк наш, сформированный при Екатерине из Георгиевских кавалеров, носил название кирасирского Военного Ордена, а на каске и лядунке — Георгиевскую звезду, но на штандартах 1709 года значилось: *Гренадерский Ропя полк*.*

Следующие затем по номерам полки дивизии: *Принца Петра Ольденбургского, Принца Альберта Прусского и Великой Княгини Елены Павловны* первоначально носили тоже иные имена. История каждого передавалась из уст в уста; причем красноречивыми рапсодами событий польского похода 30 и 31 годов являлись старослуживые очевидцы.

Накануне эпизода, который я обещался рассказать, кавалерии отдан был приказ выходить на одну из Елисаветградских больших дорог и к шести часам утра выстроиться в резервном порядке в общую колонну, тылом к городу, так чтобы в промежутках между правыми и левыми полками приходилась самая дорога. Начальник дивизии просил выехать *молодцами, женихами*. В полночь принесли из дивизии, на нескольких листах, так называемое *словесное приказание*: выходить в походной форме. Эскадронные командиры возбудили вопрос: фабричь или не фабричь усы? Напрасно указывал я на *походную* форму, мне указывали на слово *женихами*. Во избежание могущего вкрасться разнообразия, разъяснено: *не фабричь*.

В 2 часа утра офицеры генерального штаба разбили места полкам, а высланные к ним линейные унтер-офицеры воткнули на отмеренных местах пики. К 4 часам эскадроны сторонкой по стене, справа рядами и стараясь не пылить, стали подходить к сборному месту. Все, что должно сиять, сияло как зеркало. Эскадроны спешили и в каждый прибежали запасные, пешие солдатики со щетками и копытною мазью.

— Карл Федорович! — заметил я через полчаса полковому командиру, — 1-я кирасирская дивизия садится.

— Тем хуже для них, — ответил барон, — пока мы будем равняться, их утомленные кони станут разравниваться. А вы знаете, что большую, разравнявшуюся массу кавалерии снова никакая сила не выровняет. Это те же кривые раки: тот вперед,

* Ныне драгунский Военного Ордена (Примеч. А. А. Фета).

этот назад, а этот в сторону боком. Вы думаете, государь этого не знает? Посмотрите, он не заставит нас дожидаться!

— Это так, — заметил я, — но что скажут начальник дивизии, корпусный и инспектор, если заметят нас пешими или за линией?

— Ничего не скажут. Будут смотреть, как мы входим в пики и равняемся. В ожидании царя они ведь тихенькие. Что хочешь делай, только бы вышло хорошо.

К 5 часам все полки вошли в свои места, все успокоилось и голоса отдельных начальников мало-помалу затихли. Только полковые командиры продолжали шнырять пред колоннами, одним движением палаша или громким голосом равняя невнимательных или неловких.

— Затылки!! — покрякивал нам Карл Федорович. — Горелик! Правый шанкель! Много! — Так. — Эй, ты там! Как тебя. 3-й эскадрон, 4-й взвод, задняя шеренга, 2-й ряд. Эй! Не слышишь, что ли? заснул. Чер-рт! Последнее выражение было единственным бранным словом барона и изменялось только, соответственно степени волнения, умножением букв «р».

За несколько минут до 6 часов по войскам разнеслось электрическое слово: едет! и вслед за тем, среди мертвой тишины, за спинами нашими послышался приближающийся топот царской свиты. Известно, что покойный государь никогда не возвышал голоса до крика, даже командуя громадными массами войск. Он только громко говорил, но каждое его слово доносилось на невероятном расстоянии.

«Какая славная аллея!» — сказал государь, въезжая между восемью кирасирскими полками, в которых меньшая мера одномостных лошадей была 4 вершка и на флангах доходила до девяти и десяти, а в нашем полку был даже конь Ринальд 11 вершков. С каждым мгновением приближался мерный топот царского коня, уносившегося большим галопом впереди свиты, и вот пред обращенными налево глазами нашими ясно нарисовалась монументальная конная фигура императора.

— Здорово, кирасиры, гренадеры! Здорово, стародубовцы! здорово, новороссийцы и малороссийцы!

Целая буря: ура! покрыла последние слова государя, назвавшего полки их старыми именами.

Наконец все замолкло. Государь со свитой ускакал вперед. Но куда? что затем будет? не было никому известно. Внимание каждого напрягалось соразмерно предстоящей ему личной ответственности. Стоя на левом фланге 6-го эскадрона, я выдвинулся вперед на пол-лошади, чтоб обратить на себя внимание моих линейных унтер-офицеров, и убедился, что они не спуска-

ют с меня глаз. Мало-помалу старшие начальники стали въезжать на большую дорогу, чтобы на лету поймать царскую команду.

Минут через десять, в промежутках между полками, в пыли, нигде не задерживаясь и погоня нагайками лошадей, пронеслись флигель-адъютанты, громко повторяя команду: «линейные унтер-офицеры к государю императору». Разумеется, команда с треском была повторена всеми главноначальствующими, исключая моего барона, который и рта не разинул. «Какие линейные? Куда к государю императору?» Вслед за тем новые флигель-адъютанты не менее стремительно разносят ту же команду. На этот раз, в повторительной команде начальников уже слышно раздражение, как бы обвиняющее кого-то в неисполнительности. Я начал предчувствовать, что вся эта буря голосов оборвется на мне, но решился не скакать и с унтер-офицерами занимать линию, пока не будет произнесено имя нашего полка. Еще раз отчаянные голоса повторяют команду. Главные начальники видимо растерялись и кто-то произнес мою фамилию. Преступник был отыскан, и фамилия моя с самою назойливою стремительностью стала по всем интервалам вылетать из начальнических уст, в облегчение стесненного дыхания. Сам флегматический корпусный командир не выдержал. Правда, он подъехал ко мне шагом и тыча указательным пальцем по направлению ко мне, не совсем хладнокровно сказал: *«Ну, эте! Тут адъютант, как пули, должен быть там!»* Это было уже несомненное приказание. Оглянувшись еще раз на линейных, я бросился вперед по дороге, насколько позволяла быстрота моего лихого серого Арлекина. Куда скачу? В силу какой команды? Кстати ли? Не вышел ли первый блин комом? Все эти вопросы разом мелькнули в моей голове. Но рассуждать было поздно. Надо было возможно хорошо исполнить то, что делаешь. Выскакав из интервала в открытую степь, пришлось отыскивать императора.

«Володаренко! не заносись!» — окрикнул я правого флангового, который, увлекаясь чувством молодечества, пустил во весь мах своего богатырского коня и выносился из линии равнения. Приблизительно в версте расстояния, влево от дороги, мы заметили одинокого всадника и угадали в нем государя. Дело упросталось. Оставалось всем нам четверем, не теряя интервалов и равнения, проскакать как можно скорее это пространство, правильно с марш-марша осадить лошадей шагов за шестнадцать до государя, выслушать приказание, выравняться и неподвижно остаться до прибытия полка. Оставалось скакать с четверть версты, а величественная фигура на коне, с каждым мгновением все более убеждала меня, что мы не ошиблись направлением.

Но вот новая неожиданность. Между нами и государем желтою змеею извивается глубокий, непрерывный овраг. Я поискал глазами местечка поуже и убедился, что ширина приблизительно везде одинакова, от 3 до 4 аршин. Сердце дрогнуло, не за себя, а за унтер-офицеров на их тяжелых лошадях. Подведя, на всем скаку, лошадь к оврагу, я дал ей шпоры, какие только мог, и в ту же минуту увидел, что тяжеловесный № 9-й как птица перелетел через ров. Оставалось несколько скачков до места, на котором следовало остановиться. Я взял Арлекина в шенкеля и, подбирая поводья, стал задерживать ход. При последнем прыжке Арлекин, прокатившись на задних ногах, как говорилось, добыл хвостом земли, и круто собравшись, плавно опустил передние ноги на землю. Единновременно с последним движением лошади палаш мой, поднятый на *подвысь*, отвесно опустился во всю руку, и конец его, описав плавный полукруг, повис за правую шпорой. Между тем линейные молодцами осадил коней и выравнивались в струнку.

— Какого полка? — спросил государь, милостиво глядя мне прямо в глаза.

— Кирасирского Военного Ордена, ваше императорское величество.

— Не те. На свои места!

Взяв на *подвысь*, я правильно, как на манеже, повернул лошадей направо-кругом и с места в карьер, тем же следом, поскакал с линейными к полку. С половины дороги мы, щадя лошадей, поехали большим галопом.

— Ну что? — спросил барон, когда на отдувающейся лошади я стал около него.

— Известно: *не те*. Только лошадей измучили напрасною суетой. У нас все так, — прибавил я невольно.

— Черти! — лаконически заключил барон.

КАКТУС

Несмотря на ясный июльский день и сенной запах со скошенного луга, я, принимая хинин, боялся обедать в цветнике под елками, — и накрыли в столовой. Кроме трех человек небольшой семьи, за столом сидел молодой мой приятель Иванов, страстный любитель цветов и растений, да очень молодая гостья.

Еще утром, проходя через бильярдную, я заметил, что единственный бутон белого кактуса (*cactus grandiflora*), цветущего раз в год, готовится к расцвету.

— Сегодня в шесть часов вечера, — сказал я домашним, — наш кактус начнет распускаться. Если мы хотим наблюдать за его расцветом, кончающимся увяданием пополуночи, то надо его нести в столовую.

При конце обеда часы стали звонко выбивать шесть и, словно вторя дрожанию колокольчика, золотистые концы наружных лепестков бутона начали тоже вздрагивать, привлекая наше внимание.

— Как вы хорошо сделали, — умеряя свой голос, словно боясь запугать распускающийся цветок, сказал Иванов, — что послушались меня и убрали бедного индийца подальше от рук садовника. Он бы и его залил, как залил его старого отца. Он не может помириться с мыслию, чтобы растение могло жить без усердной поливки.

Пока пили кофе, золотистые лепестки настолько раздвинулись, что позволяли видеть посреди своего венца нижние края белоснежной туники, словно сотканной руками фей для своей царицы.

— Верно, он вполне распустится еще не скоро? — спросила молодая девушка, не обращая ни к кому особенно с вопросом.

— Да, пожалуй, не раньше как к семи часам, — ответил я.

— Значит, я успею еще побренчать на фортепьяно, — прибавила девушка и ушла в гостиную к роялю.

— Хотя и близкое к закату, солнце все-таки мешает цветку, — заметил Иванов. — Позвольте, я ему помогу, — прибавил он, задвигая белую занавеску окна, у которого стоял цветок.

Скоро раздались цыганские мелодии, которых власть надо мною всеильна. Внимание всех было обращено на кактус. Его

золотистые лепестки, вздрагивая то там, то сям, начинали принимать вид лучей, в центре которых белая туника все шире раздвигала свои складки. В комнате послышался запах ванили. Кактус завладевал нашим вниманием, словно вынуждая нас участвовать в своем безмолвном торжестве; а цыганские песни капризными вздохами врываются в нашу тишину.

Боже! думалось мне, какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих тоскующих напевах. Тоска вообще чувство мучительное; почему же именно эта тоска дышит таким счастьем? Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий; на их трепетных крыльях несутся живые идеи. И что, по правде, дают нам наши представления и понятия? Одну враждебную погоню за неуловимой истиной. Разве самое твердое астрономическое понятие о неизменности лунного диаметра может заставить меня не видеть, что луна разрослась на востоке? Разве философия, убеждая меня, что мир только зло или только добро, или ни то, ни другое, властна заставить меня не содрогаться от прикосновения безвредного, но гадкого насекомого или пресмыкающегося, или не слышать этих зовущих звуков и этого нежного аромата? Кто жаждет истины, ищи ее у художников. Поэт говорит:

Благоговевя богомольно
Перед святыней красоты.

Другой высказывает то же словами:

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстречу.

Этому, по крайней мере, верили в сороковых годах. Эти верования были общим достоянием. Поэт тогда не мог говорить другого, и цыгане не могли идти тем путем, на который сошли теперь. И они верили в красоту и потому ее и знали. Но ведь красота-то вечна. Чувство ее — наше прирожденное качество.

Цыганские напевы смолкли, и крышка рояля тихонько стукнула.

— Софья Петровна, — позвал Иванов молодую девушку, — вы кончили как раз вовремя. Кактус в своем апофеозе. Идите, это вы не скоро увидите.

Девушка подошла и стала рядом с Ивановым, присевшим против кактуса на стул, чтобы лучше разглядеть красоту цветка.

— Посмотрите, какая роскошь тканей! Какая девственная чистота и свежесть! А эти тычинки? Это папское кропило, кон-

цы которого напоены золотым раствором. Теперь загляните туда, в глубину таинственного фиала. Глаз не различает конца этого не то светло-голубого, не то светло-зеленого грота. Ведь это волшебный водяной грот острова Капри. Поневоле веришь средневековым феям. Эта волшебная пещера создана для них!

— Очень похоже на подсолнух, — сказала девушка и отошла к нашему столу.

— Что вы говорите, Софья Петровна! — с ужасом воскликнул Иванов, — в чем же вы находите сходство? Разве в том только, что и то и другое растение, да что и то и другое окаймлено желтыми лепестками. Но и между последними кричащее несходство. У подсолнуха они короткие, эллиптические и мягкие, а здесь, видите ли, какая лучистая звезда, словно ковванная из золота. Да сам-то цветок? Ведь это храм любви!

— А что такое, по-вашему, любовь? — спросила девушка.

— Понимаю, — ответил Иванов. — Я видел на вашем столике философские книжки или, по крайней мере, желающие быть такими. И вот вы меня экзаменуете. Не стесняясь никакими в мире книжками, скажу вам: любовь — это самый произвольный, а потому самый искренний и обширный диапазон жизненных сил индивидуума, начиная от вас и до этого прелестного кактуса, который теперь в этом диапазоне.

— Говорите определеннее, я вас не понимаю.

— Не капризничайте. Что сказал бы ваш учитель музыки, услышав эти слова? Вы, может быть, хотите сказать, что мое определение говорит о качествах вещи, а не об ее существовании. Но я не мастер на определения и знаю, что они бывают двух родов: отрицательные, которые, собственно, ничего не говорят, и положительный, но до того общие, что если и говорят что-либо, так совершенно неинтересное. Позвольте же мне на этот раз остаться при своем, хотя и одностороннем, зато высказывающем мое мнение...

— Ведь вы хотите, — прервала девушка, — объяснить мне, что такое любовь, и приводите музыкальный термин, не имеющий, по-моему, ничего общего с объясняемым предметом.

Я не выдержал.

— Позвольте мне, — сказал я, — вступить за своего приятеля. Напрасно вы проводите такую резкую черту между чувством любви и чувством эстетическим, хоть бы музыкальным. Если искусство вообще недалеко от любви (эроса), то музыка, как самое между искусствами непосредственное, к ней всех ближе. Я бы мог привести собственный пример. Сейчас, когда вы наигрывали мои любимые цыганские напевы, я под двойным влиянием музыки и цветка, взалкавшего любви, унесся в свою

юность, во дни поэзии и любви. Но чтоб еще нагляднее оправдать слова моего приятеля, я готов рассказать небольшой эпизод, если у вас хватит терпения меня выслушать.

— Хватит, хватит. Сделайте милость, расскажите, — торопливо проговорила девушка, присаживаясь к столу со своим вязаньем.

— Ровно 25 лет тому назад я служил в гвардии и проживал в отпуску в Москве, на Басманной. В Москве встретился я со старым товарищем и однокашником Аполлоном Григорьевым. Никто не мог знать Григорьева ближе чем я, знавший его чуть не с отрочества. Это была природа в высшей степени талантливая, искренно преданная тому, что в данную минуту он считал истинной, и художественно-чуткая. Но к сожалению, он не был, по выражению Дюма сына, из числа людей *знающих* (*des hommes qui savent*) в нравственном смысле. Вечно в поисках нового во всем, он постоянно менял убеждения. Это они называют развитием, забывая слово Соломона, что это уже было прежде нас. По крайней мере, он был настолько умен, что не сетовал на то, что ни на каком поприще не мог пустить корней, и говаривал, что ему не суждено *просперировать*. В означенный период он был славянофилом и носил не существующий в народе кучерской костюм. Несмотря на палящий зной, он чуть не ежедневно являлся ко мне на Басманную из своего отцовского дома на Полянке. Это огромное расстояние он неизменно проходил пешком и вдобавок с гитарой в руках. Смолоду он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепиано, но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко мне нередко собирались два, три приятеля-энтузиаста, и у нас завязывалась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за нескончаемый самовар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностью и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы.

— Спойте, Аполлон Александрович, что-нибудь.

— Спой в самом деле. — И он не заставлял себя упрашивать.

Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимую его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом:

Чибирыак, чибирыак, чибирыашечки,
С голубыми ты глазами, моя душечка!

Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня;
Любил барин цыганочку, —
Она замуж вышла.

Однажды вечером, сидя у меня один за чайным столом, он пустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыган в особенности.

— Да, — сказал я. — Цыганской песни никто не поет, как они.

— А почему? — подхватил Григорьев. — Они прирожденные, кровные, а не вымуштрованные музыканты. Да и положение их примадонн часто споспешествует делу. Любовь для певца та же музыка. Эх, брат! — вскрикнул он вдруг, вытирая лоб пестрым платком, — надо показать тебе чудо. Ты знаешь, я часто таскаюсь в Грузины в хор Ивана Васильева. Он мой приятель и отличный человек. Там у них есть цыганочка Стеша. Ты ее не знаешь? не заметил?

— Где же мне ее было заметить? Я почти нигде не бываю.

— Ну так надо тебе ее увидеть. Во-первых, она — прелесть. Какие глаза и ресницы и, я знаю твою страсть к волосам, какие волосы! Но этого мало. Надо, чтобы ты ее услышал с глазу на глаз. Бедняжка влюблена в одного гусара. Я его видел. Действительно красавец, каналья. А ты знаешь, как хор ревниво бережет своих примадонн. Тут, брат, идилиями не возьмешь. Выкупи! — а на это мало охотников. Уж не знаю, как они там путаются. Но видно дело не выгорает, а девочка-то врезалась. После обеда хор-то разойдется отдыхать, а она возьмет гитару, да сядет под окошечко, — словно кого поджидает. Запоет, и слезы градом. Тут нередко Иван Васильев подойдет и вполголоса ей вторит. Жалко, что ль, ему ее станет, или уж очень забористо она поет, только, поглядишь, он тут как тут. Вот как бы тебя подвести под эту штуку, ты бы узнал, как поют. Поэзия — да и только! Да вот, чем откладывать, я завтра к тебе приду в двенадцать часов, а в час мы поедем. Ведь ваша братия кавалеристы плохие ходоки.

— Да как же, любезный друг, я-то вотрусь? Ведь она при мне и петь не станет.

— Ну, это я как-нибудь оборудую. Едем, что ль?

— Хорошо, приходи.

На другой день хотел было я велеть запретить свою скромную пролетку, но подумал: Григорьев без гитары не придет. Убеждать его дело напрасное. А куда я в мундире поеду через всю Москву с каким-то не то кучером, не то торбанистом, что подумает плац-адъютант? Я велел нанять извозчицью карету. В двенадцать часов вошел Григорьев с гитарой, в поддевке, в плисовых шароварах в сапоги, словом, во всей форме.

— Что ж это мы в карете? — спросил он. Я сослался на зубную боль, которою, в добрый час молвить, во всю жизнь не страдал. Однако он догадался, и начались препирания.

Тем не менее мы доехали до Грузин и бросили карету невдалеке от цыган. Григорьев быстро зашагал звонить, а я подоспел вовремя, когда дверь открыли.

В передней уже слышалось бряцание гитары и два голоса.

— Это она, — шепнул Григорьев и вошел в залу. Я за ним.

— Здравствуйте, Стеша! — сказал он, протягивая руку сидящей у окна девушке с гитарой. — Здравствуй, Иван Васильевич! Продолжайте, я вам не помеха.

Но девушка, ответив на его рукожатие, бросила недоверчивый взгляд в мою сторону и, положив гитару на стол, быстро пошла к двери, ведущей во внутренние покои. Григорьев так же быстро заступил ей дорогу и схватил ее за рукав.

— Куда вы? Что за вздор? Ну, не хотите петь, не пойте. Что ж из себя дикую птицу корчить? Для кого? Иван Васильевич, да уговори ее посидеть с нами! Я пришел ее, дорогую, проведать, а она вон. Ну, садитесь, садитесь, моя хорошая, — говорил он, подводя ее на прежнее место. Начался разговор про разные семейные отношения членов хора, в продолжение которого Григорьев, между речами, под сурдинкой наигрывал разные мотивы. В течение всей этой сцены я, чтобы скрыть свое неловкое положение, пристально рассматривал в окно упряжку стоявшего по другую сторону улицы извозчика, словно собирался ее купить.

— Присядьте, — сказал мне подошедший Иван Васильев.

Я сел.

— Ты об нем не беспокойся, — сказал Григорьев, — он, братец, не по нашей музыкальной части. Его дело лошади. Он, пока мы поболтаем, пусть себе посидит да покурит.

Я махнул отчаянно рукой и снова обернул голову к окну изучать извозчика. Между тем Григорьев, наигрывая все громче и громче, стал подпевать. Мало-помалу сам он входил в пессию, а как дошел до своей любимой:

Под горой-то ольха,
На горе-то вишня,

Любил барин цыганочку, —
Она замуж вышла, —

очевидно, забыл и цель нашего посещения и до того загорелся пением, что невольно увлекал и других. Когда он хлестко запел:

В село красно стегонула,
Эх — стегонула,
Моя дорогая, —

ему уже вторил бархатный баритон Ивана Васильева. Вскоре, сперва слабо, а затем все смелее, стал проникать в пение серебряный сопрано Стеши.

— Эх, Господи! Да что же я тут вам мешаю, — воскликнул Григорьев. — Мне так не сыграть, а не то чтобы спеть. Голубушка Стеша, спойте что-нибудь, — прибавил он, подавая ей ее гитару.

Она уже без возражений запела, поддерживаемая по временам Иваном Васильевым. Слегка откинув свою оригинальную, детски задумчивую головку на действительно тяжеловесную с отливом воронова крыла косу, она вся унеслась в свои песни. Уверенный, что теперь она не обратит на меня ни малейшего внимания, я придвинул свой стул настолько, что мог видеть ее почти в профиль, тогда как до сих пор мог любоваться только ее затылком. Когда она запела:

Вспомни, вспомни, мой любезный,
Прежнюю нашу любовь, —

чуть заметная слезинка сверкнула на ее темной реснице. Сколько неги, сколько грусти и красоты было в ее пении! Но вот она взяла несколько аккордов и запела песню, которую я только в первой молодости слыхивал у московских цыган, так как современныепеть ее не решались. Песня эта, не выносящая посредственной певицы, известная:

Слышишь ли, разумеешь ли...

Стеша не только запела ее мастерски, но и расположила куплеты так, что только с тех пор самая песня стала для меня понятна, как высокий образчик народной поэзии. Она спела так:

Ах ты злодей, ты злодей,
Добрый молодец.
Во моем ли саду
Соловей поет,
Громко свищет.

Слышишь ли,
Мой сердечный друг?
Разумеешь ли,
Жизнь, душа моя?

Песня исполнена всевозможных переливов, управляемых минутным вдохновением. Я жадно смотрел на ее лицо, отражавшее всю охватившую ее страсть. При последних стихах слезы градом побежали по ее щеке. Я не выдержал, вскочил со стула, закричал: браво! браво! и в ту же минуту опомнился. Но уже было поздно. Стеша, как испуганная птичка, упорхнула.

— Что же вы на это скажете, скептическая девица? Разве эта Стеша не любила? Разве она могла бы так петь, не любя? Стало быть, любовь и музыка не так далеки друг от друга, как вам угодно было утверждать?

— Да, конечно, в известных случаях.

— О, скептический дух противоречия! Да ведь все на свете, даже химические явления, происходят только в известных случаях. Однако вы пьете воды и вам надо рано вставать. Не пора ли нам на покой?

Когда стали расходиться, кактус и при лампе все еще сиял во всей красе, распространяя сладостный запах ванили.

Иванов еще раз подсел к нему полюбоваться, надышаться и вдруг, обращаясь ко мне, сказал:

— Знаете, не срезать ли его теперь в этом виде и не поставить ли в воду? Может быть, тогда он проживет до утра?

— Не поможет, — сказал я.

— Ведь все равно ему умирать. Так ли, сяк ли.

— Действительно.

Цветок был срезан и поставлен в стакан с водой. Мы распрощались. Когда утром мы собрались к кофею, на краю стакана лежал бездушный труп вчерашнего красавца кактуса.

ВНЕ МОДЫ

Легкая коляска, запряженная породистой серою четверкой, бежала по безлюдному раздолью черноземных степей, разбирая путаницу частых росстаней и перекрестков. По левую сторону не старого, расплывшегося кучера и запуская порою ему за спину правую руку в перчатке, чтобы придержаться за лакированный прут козел, сидел плотный малый, в щегольской серой шляпе и с едва пробивающимися усами. В глубине коляски, у которой верх был откинут, лицом к малому, которого звали Василием, сидел, в далеко не щегольской серой шляпе с широкими полями и в светло-серой накидке, старик лет шестидесяти. Седая окладистая борода его совершенно сливалась с остальным нарядом, и только темнеющие усы и брови указывали, что когда-то он был темно-русый. Сильно подпудренные пылью, ничем не выдающиеся черты его лица выражали усталость и апатию, а небольшие карие глаза равнодушно смотрели на откидывающийся в обе стороны веер зеленеющих хлебных загонов. Тонкий наблюдатель мог бы рассмотреть в этих усталых глазах некоторую вдумчивость и проблески нетерпения.

Назовем старика Афанасием Ивановичем, так как ярлык этот общеизвестен. Рядом с ним, по правую его руку и за спиною кучера, сидела и Пульхерия Ивановна. На ней была легкая шляпка с вуалеткой, покрывающей лицо, и парусинное пальто. Несмотря на ее пятьдесят лет, в волосах ее не заметно было седины. Между ними в ногах стоял на ребро средней величины чемодан. Кроме того, у ног Пульхерии Ивановны ютились всякого рода плетеные корзинки и на самом сиденьи между путниками торчали ручки небольшого сака. Видно было, что Пульхерия Ивановна добровольно подвергала себя всяким стеснениям, лишь бы дать возможно более простора Афанасию Ивановичу. Со своей стороны, когда какая-либо мелочь приползала с указанного ей Пульхериею Ивановною места к нему под ноги и Пульхерия Ивановна начинала хлопотать о восстановлении нарушенного порядка, Афанасий Иванович не без раздражения в голосе говорил:

— Оставь, пожалуйста. Корзина нисколько меня не беспокоит. Охота тебе возиться.

Разбегающаяся во все стороны степь только казалась до краев горизонта сплошным зеленым ковром, там и сям изрезанным

черными полосами, но в сущности эта гладь нередко прерывалась значительными углублениями и даже бесконечными оврагами, на дне которых текли степные ручьи и речки. Кроме таких крупных задержек, представляемых самою природою края, много их возникает в силу давнишней езды одноконных обозов в грязное, преимущественно осеннее время. Стоит гладкому и широкому проселку углубиться на известном расстоянии в почву, и углубление это с годами превращается в тесное корыто, по которому с величайшим трудом могут разъехаться две одноконных подводы; зато несчастным пристяжным тройки, а тем более четверки приходится на всем, нередко значительном, расстоянии совершать полувоздушные путешествия по откосам.

Видно было, что старосветские помещики едут не куда-нибудь в гости к соседям, а в более дальний путь и притом не по железной дороге, а стародавним приемом, сохранившим гражданство в наибольшей части нашей необъятной страны. Они действительно ехали за сто верст в другую губернию, куда Афанасий Иванович раз в год выезжал осмотреть свое родовое имение. Почтовых лошадей в этом направлении не было; поэтому Афанасий Иванович, вынужденный ехать на своих, распорядился таким образом. Накануне выезда он отправлял подводу с овсом и поваром ночевать в уездный город, лежащий на пути в 35-ти верстах от дому. Повар должен был в день выезда Афанасия Ивановича покормить на половине остальных 65-ти верст и к вечеру прибыть в другое имение. Тем же способом отправлялись и самые владельцы коляски, то есть с ночлегом в городе, с тою разницею, что на другой день они на половине дороги находили высланную им навстречу свежую четверку.

Несмотря на апатичный вид Афанасия Ивановича, было бы несправедливо назвать его ленивым и апатичным. Он многое видел на веку, со многим познакомился из книг и о многом передумал, и его тяготила окружающая жизнь, пока представляла сырую массу накопившихся и давно знакомых фактов. Ему просто надоело и претило перевертывать и перечитывать затрепанную книгу жизни, над которой его одолевала нестерпимая скука. Он знал, что в будничном соприкосновении с природою и с людьми встретит давно знакомые и избитые предметы и потому с одинаковым нерасположением относился к так называемым прогулкам и гостям; зато он оживлялся, когда ему случалось самому открыть какой-либо новый факт или перед ним являлся собеседник, будь это человек ученый или простолюдин, от которого он ожидал нового освещения давно знакомых предметов. Тут апатия его мгновенно исчезала, и карие глазки его светились огнем; он попадал в дорожку для него сферу новизны и, ов-

ладевши какую-либо новинкой, не ограничивался одним удовлетворением любопытства, а тотчас же старался отыскать новому факту надлежащее место в общем своем миросозерцании. Он радовался, когда факт, как бы мелок он ни был, служил новым подтверждением его миросозерцания, но нимало не смущался, когда в данную минуту не умел найти ему надлежащего места. Тогда он надеялся, что место это со временем найдется, или приходил к окончательному убеждению, что это не его ума дело. Из этой двойственности отношений к жизни возникала и видимая двойственность его поступков. Только неизведанное, неиспытанное его увлекало. В этом увлечении он чувствовал свободу, тогда как перелистывание избитой книги жизни, несмотря на свою неизбежность, казалось ему нестерпимым рабством.

Зная, что всякий надзор за производством сельских работ в настоящее время связан с мучительным раздражением и, в большинстве случаев, с бесплодными усилиями, Афанасий Иванович, по природному миролюбию, старался, в ущерб собственной выгоде, не вмешиваться лично в это дело, доставляющее сельским хозяевам беспрестанный повод к посещениям сада и поля; а так как эта сторона побуждений отпадала, то гигиенические мотивы прогулок казались Афанасию Ивановичу нестерпимым рабством. Он знал, что если бы, стоя во главе хозяйства, он, насилуя по чувству долга свое миролюбие, и явился проверить данную работу, то дело от этого только бы проиграло. Он вдосталь испытал, что крестьянин инстинктивно чует ту нравственную шаткость, которая составляет характер нашей современной интеллигенции, и чувствует, что первой нелепости достаточно, чтобы поставить барина в тупик там, где безыскусственный здравый смысл простолюдина не встретит ни малейшего препятствия. Опытный хозяин, он предпочитал кабинетное занятие бюджетною стороною дела, весьма важною, но находящеюся в большинстве хозяйств в полном пренебрежении. Он знал, что нельзя правильно судить о ходе хозяйства и его результатах, не зная наперед ни неизбежной меры расходов, ни возможного дохода. Нельзя при нерастяжимости дохода и внезапном возвышении расхода по отдельному производству не подумать об уменьшении бюджета на менее необходимое в пользу неизбежного.

Давно Афанасий Иванович привык вести хозяйство из кабинета, из которого в подозрную трубу случайно мог видеть все происходящее даже на отдаленном конце имения, чуть не однажды в год проверяя ход дела в такую пору, когда упущение было еще поправимо. Остальное время он предпочитал проводить в кабинете за какую-либо интересною книгой не обширной, но избранной библиотеки, и, чтобы не засидеться совершенно,

ежедневно играл две-три партии на биллиарде с Пульхериею Ивановною.

Нельзя сказать, чтобы вся эта, по обстоятельствам искусственная, жизнь не оставляла в душе Афанасия Ивановича налета раздражительности. Поэтому стоило Пульхерии Ивановне, войдя в кабинет Афанасия Ивановича, сказать: «Сегодня на дворе чистый рай; жара еще не наступила; соловьи по целому парку поют наперебой и особенно под окном кухни такой голосистый, какого я и не слыхивала. Ты бы для воздуха прошелся хоть до оранжереи», — и Афанасий Иванович не медля отвечал:

— Воздух, матушка, везде есть. Очень рад, что так хорошо, и я тебе не мешаю гулять сколько угодно. Но меня, пожалуйста, уволь.

Зато иногда по собственному побуждению Афанасий Иванович, не говоря ни слова, надевал фуражку и выходил не только на террасу, но спускался и в партер, и в сад. Такие моменты, видимо, доставляли великое удовольствие Пульхерии Ивановне, которая тотчас же шла следом за ним. Афанасий Иванович знал, что природу нельзя любоваться во всякое время, а тем более по заказу. Нужно, чтобы фотографический снаряд был надлежащим образом подготовлен для восприятия живого образа. В минуты подобного расположения Афанасий Иванович любовно смотрел на елки, как они, развешивая кругом молодые побеги, точно напоказ выставляли стройные руки в светло-зеленых перчатках. Иногда, присев у фонтана и следя за алмазным преломлением его луча, он вдруг останавливал свой взор на округлых извоях проплывающего облака, которого с окружающей его воздушною синевой не в состоянии произвести никакая скульптура, никакая живопись. «Вот оно, — думалось ему, — вечно новое, которого ты постоянно жаждешь». Стучалось ему иногда задавать себе такие вопросы: вот этот побег хмеля так и просится своею спиралью в высоту, а между тем вокруг его нет никакой тычинки или хотя бы куста, за который он мог бы уцепиться. Только аршина на полтора в сторону, да аршина на два от земли свесился засохший сук ольхи; неужели хмель, направляясь в сторону, поймается за этот сук? Но ведь это может сделать только зрячий, так как нет никакой причины, не выдавши опоры, к ней тянуться, вопреки естественным условиям роста, да и не видя сука можно сто раз промахнуться, закидывая ус. Надо завтра посмотреть, что из этого выйдет. И когда на другой день Афанасий Иванович находил хмель крепко вцепившимся в далекую ветку, Афанасию Ивановичу казалось, что природа ему на радость позволяла на мгновение заглянуть в свою тайну. Равным образом можно бы застать Афанасия Ивановича сидя-

щим на скамейке или на корточках на дорожке парка и с любопытством наблюдающим хлопотливую работу муравья, тащущего неподсильную ему веточку. Все шло хорошо; веточка подвигалась с достаточной быстротою. Но вот препятствие: поперек дорожки лежит еще более крупная ветка. Пробившись напрасну над ношей, рабочий бросает ее на месте и убегает; но через полминуты их бегут уж двое, — явно, он позвал товарища, и они вдвоем, ухватившись за толстый конец веточки, приподымают ее, птясь задом через препятствие. Вдруг мимо бегущий третий, очевидно незванный, наткнувшись на них, спешит к тонкому концу их ветки и пихает ее перед собою. При дружных усилиях ветка переходит через препятствие.

Перед самым отъездом Афанасий Иванович долго любовался приемами небольшого черноватого насекомого. На полу в кабинете лежал белый ковер, испещренный темными цветами и черными разводами. Афанасий Иванович случайно обратил внимание на мошку, торопившуюся перебежать ковер. К немалому изумлению, он заметил, что бежавшая проворно по черным разводам мошка каждый раз становилась в тупик, натыкаясь на белый фон. Она видимо пугалась это белого и недоумевала, как продолжать путь в желаемом направлении. Постояв некоторое время на месте, она направлялась по черной полосе, если последняя, хотя и окольным путем, приближала ее к цели. Когда же приходилось идти назад, мошка выбирала ближайший темный рисунок и с удвоенною быстротою перебежала через белое поле на этот темный остров с тем, чтобы по новой попутной черной полосе продолжать путь. И таких остановок перед белым было множество до самого края ковра. Положим, Афанасий Иванович был знаком с толками естествоиспытателей об охране, предоставляемой природою животным самою их окраскою, позволяющею им быть незаметными в окружающей среде. Но ведь в данном случае сама мошка ни на минуту не забывает благоприятных и вредных условий цветов для ее безопасности и самый закон выступает во всей таинственной очевидности. Откуда такое целесообразное побуждение? Где его источник? Если отвечать: *в побуждении*, — то сочтут отвечающего тупоумным; но скажите то же слово по-латыни: *в инстинкте*, — и все довольны, хотя оно только значит: не знаю. Конечно, на такое новое Афанасий Иванович натыкался только случайно; в остальное же время искал его у могучих писателей. Зато, попадая в экипаж или вагон, он чувствовал себя страдательною поклажей и невыносимо скучал. Не встречая на пути ничего нового, он старался у знакомых предметов добиваться правды и большею частью усугублял свое раздражение сопоставлением той путаницы по-

нятий и суждений, с которыми большинство людей относилось к этим предметам. Попадалась ли ему вдоль дороги темно-зеленая полоска могучей ржи, резко отбивающая от остального чахлого клина, или же подобная ей полоска приближалась перпендикулярно к дороге, Афанасий Иванович сразу видел, что первая — на запаханной дороге, а вторая — на запаханной меже. А вот и круги сизого овса, раскиданные по тощему всходу, и Афанасий Иванович с каким-то злорадством припоминал журнальную статью, в которой мнимая наука гордилась открытием, что эти круги — следы удобрения, раскиданного в прошлом году пасшимся скотом. Для Афанасия Ивановича этот факт был только указанием, что удобрение не теряет своей силы и при поздней запашке. Когда подушка, заправленная Пульхериею Ивановною, сбивалась на сторону или плед съезжал с его колен, он долго взвешивал в уме — что лучше? — терпеть ли это увеличивающееся неудобство, или выламывать лопатки, выправляя подушку за спиною, или снова подсовывая концы пледа под ноги?

Зато при спусках в крутые балки ему предстояли тягостные передвижения. Напрасно рассудительный кучер повторял: «Будьте покойны, мы подтормозим, и Василий впереди лошадей будет только осаживать дышла», — Пульхерия Ивановна, не принимая никаких резонов, повторяла: «Пустите меня ради Бога, я пешком пойду».

Крутые спуски к живой воде и мосту большею частью бывают вдоль деревень, а потому Афанасию Ивановичу поневоле приходилось вылезать из коляски на защиту Пульхерии Ивановны от собак, и затем начиналось ненавистное Афанасию Ивановичу размещение подушек, корзинок и т. д. Заглушая истому, Афанасий Иванович то и дело закуривал новую папироску, а иногда старался выразить дробным числом отношение пройденного пути к остающемуся.

Но вот коляска выбралась из последней балки и наконец въехала на почтовый большак, по которому до города оставалось не более одиннадцати верст по совершенно ровной дороге. Коляска бежала как по шоссе, и лошади до того сладились крупною рысью, что казалось, будто такт отбивают ноги одной. Однако через некоторое время в стройно отчетливый топот примешивался какой-то второстепенный разлад, и кучер Ефим, вытянув изо всех сил кнутом по спине правую пристяжную, тотчас же откидывался всем телом назад, сдерживая остальную заскакавшую тройку. Через несколько мгновений мерный топот восстанавливался, но затем — тот же беспорядочный дребезг, тот же резкий удар кнута по спине правой пристяжной и то же напряженное отклонение назад кучерской спины.

— Ефим! — восклицает Пульхерия Ивановна, — за что ты ее все бьешь?

— Ей, — внушительно отвечает Ефим, — по-настоящему здесь и работать-то не следует.

— Почему? — любопытствует Пульхерия Ивановна.

— Известно, — продолжает Ефим, — *руцкая* лошадь, где ж ей, примерно, сбежать с этими?

«Вот, — подумал Афанасий Иванович, — наглядное разрешение спора об искусственном и естественном подборе».

Солнце заметно стало спускаться к горизонту, когда, с едва ощутительного изволака, вдали засиял купол собора, единственной церкви уездного городка. Несколько ниже, словно правильный кубический кусок сахара, белел острог.

— Только крошечку приподымись, — сказала Пульхерия Ивановна, поворачиваясь всем телом и с усилием запуская руки за спину Афанасия Ивановича, — опять твоя подушка сбилась на сторону.

— Ах, матушка! — воскликнул Афанасий Иванович, — оставь, пожалуйста! Ведь это, наконец, несносно! Недалеко осталось, и так доплетемся.

Но Пульхерия Ивановна, как бы не слыша ворчания Афанасия Ивановича, напряженно вытащила у него из-за спины подушку и привела ее в надлежащий порядок.

«Странно, — подумал Афанасий Иванович, — что люди точно нарочно отворачиваются от очевидной истины. Как же не видеть, что всеми действиями руководит не разум, а невольная воля. Разве Ефим не понимает, что стоит ему уменьшить рысь, и *руцкая* пристяжная не будет отставать? Но ему хочется катить, и он требует невозможного. Разве Пульхерия Ивановна не видит, что она мне досажает? Но ей хочется, чтобы мне было покойно сидеть, и она выносит раздражительные ответы, которые рассердили бы стороннюю женщину. Почему же она-то не сторонняя? Ведь мы некогда были не только чужие, но даже друг с другом не знакомые люди. И вдруг такие незнакомцы становятся гораздо ближе друг к другу, чем Сиаемские близнецы, и не вследствие каких-либо внешних мероприятий или учреждений, а прямо потому, что они муж и жена. Самый акт сочетания мгновенно перерезает всякую самую утонченную натянутость отношений; всякое *вы* мгновенно превращается в *ты*, один становится как бы продолжением другого, всякое возвращение к прежней натянутости только искусственно и лживо. То, что мнимая наука проповедует о свободе женщины, опять-таки подсказывается не разумом, а волею. Только поиски свободы там, где ее не отвела природа, посылают разум преднамеренно запутывать вопрос, разрешаемый ежеднев-

но самую природою, у которой весь он сводится к тому, насколько новорожденные дети в состоянии кормиться тотчас по появлении на свет. Связь между полами тем слабее, чем способнее новорожденные к немедленному снискиванию себе пропитания. Так в куриной породе тетеревов самец забивается куда-нибудь в глушь менять перья, предоставляя тетерке высидывать на земле цыплят, которые тотчас же, выбравшись из яйца, начинают клевать. Но у птиц, выющих гнезда на деревьях, куда одна мать не успеет доставить птенцам достаточное количество пищи, дружелюбное отношение пар становится необходимым, и у некоторых доходит до высшей нежности. Так, например, соловей все время сидения самки на яйцах продолжает услаждать ее своим пением, которое, умолкнув при появлении детей, сменяется усиленною заботою их кормления. Явно, что хотя тут все навеки устроено согласно органическим условиям отдельного класса, но установлено не по расчету ума, а по неисповедимой воле, решающей сохранение данного рода. Следовательно, при вопросе о форме брачных отношений у людей, надлежит только найти соответственную рубрику, т. е. спросить, во-первых, может ли новорожденный ребенок тотчас же сам добывать себе пищу и, во-вторых, может ли молодая мать, носящая свое бремя почти год, одна добывать пищу для себя и для десятка детей. Ответ на эти вопросы укажет на форму соответственных людских отношений».

Коляска, проехав мимо полуверстной ограды рысистых бегов, покатила по гладкой и пыльной улице, выставляющей по обе стороны вереницы самых разнообразных по наружному виду домов, большею частью под камышовыми и соломенными кровлями, между которыми попадались и исправные железные. Конечно, в целом городке нет и аршина мостовой, и при весеннем и осеннем проезде по главным улицам приходится тонуть в грязи. И тут кабинетная наука не оставляет бедных людей в покое и бьет на принудительную ассенизацию города, забывая, что самый город одолжен своим существованием возможности заваливать дворы всякого рода отбросками сподручных сырых материалов, обрабатываемых нищенскими ремеслами. Требовать от хозяина убогой полуразвалившейся лачуги неподсильных трат на оздоровление и без того здоровых людей — значит насильно разгонять их в землянки по полям, куда благодетельный прогресс до них не скоро доберется.

Прокатив мимо двухэтажного каменного дома земства, издающегося в глаза громадною вывескою и неопрятным крыльцом, коляска по обширной и безлюдной площади обогнула собор и завернула по набережной небольшой реки, превращенной мельничною плотиною в широкий пруд. Еще несколько строй-

ных тактов, отбитых ногами четверки, и коляска, повернув в переулок и проехав вывеску с надписью: «Гостиница Соколова», — остановилась против ближайших, запертых ворот.

— Сбегай, узнай-ка, есть ли комнаты, — проговорил Афанасий Иванович, и прыгнувший с козел слуга торопливо прошел в калитку.

Через минуту послышалось шуршание засова, и в распахивающихся воротах показался не то дворник, не то жилец в синем затаканном халате. Коляска въехала по проулку во двор и остановилась в нем перед деревянным крыльчком, на пороге которого стояла небольшая востроносая и черномазая женщина, слегка раскидывавшая руками и повторявшая: «пожалуйста». Она указала проезжим довольно просторную комнату с двумя окнами во двор и двумя — в тесный переулок, отделявший самый дом от соседнего забора. Незатейливая меблировка состояла из крашеного столика между окнами во двор, нескольких стульев, кровати против окон в переулок и подозрительного дивана спинкою к переулку. На подоконниках стояли тщательно содержимые горшки с растениями: геранью, миртами и даже кактусом.

— Нет ли тут клопов? — спросил Афанасий Иванович, ни кому специально не обращаясь.

— Помилуйте! — воскликнула хозяйка, — у нас этого не бывает.

Началось ношение чемодана, корзинок, кулечков из коляски, и когда все было расстановлено и разложено в конце комнаты, Пульхерия Ивановна спросила хозяйку, есть ли сливки к чаю.

Лишь только чемодан был раскрыт, и в комнате слышался запах фиалки от мыла Ралле, слуга внес два белых кувшина с водою и поставил на стул грязный медный таз. Афанасий Иванович запер выходную дверь на крючок, и началось умыванье. Пульхерия Ивановне следовало умываться первой, во-первых, потому, что ей предстояло еще много хлопот, а во-вторых, и потому, что Афанасию Ивановичу, при взаимной помощи, легче было, чем ей, поднимать полный кувшин с водою. Зато, когда очередь поливать дошла до Пульхерии Ивановны, она была неумолима: «Еще, еще, — говорила она, — за левым-то ухом протри хорошенько. Я не понимаю, как тебе самому не противна эта грязь».

Наконец походный умывальник был удален, и Афанасий Иванович, к немалой отраде, облекся в легкий парусинный халат. Стол покрылся свежее салфеткою, и на нем появился кипящий самовар, серебряные ножи и вилки и несколько аккуратно свернутых пакетов, в которых оказались: индейка, язык, ватрушки и пакетик с солью. Хотя Афанасий Иванович не имел привычки есть вечером, но Пульхерия Ивановна нарезала таких

привлекательных кусков маслянистого языка, что он сделал ему небольшую честь. На дворе послышался топот лошадей, которых после проваживания на улице вел Ефим. Пульхерия Ивановна отложила из сахарницы четыре куска и сказала Василию:

— Я и на вашу долю положила чаю; убирай самовар и напой Ефима.

— Да не забудь ему сказать, — прибавил Афанасий Иванович, — чтобы завтра в половине шестого коляска была у крыльца. До пекучки надо добраться до дому.

— Как напьешься, — прибавила Пульхерия Ивановна, — приходи сюда накрыть постель. Афанасию Ивановичу — на кровати, а мне — на диване.

Напрасно Афанасий Иванович протестовал против такого распоряжения. Но, заметив, что Пульхерия Ивановна стала не на шутку сердиться на вмешательство в ее дела, он замолк и присел к столу, на который Пульхерия Ивановна положила двойную колоду карт для вечернего пасьянса Афанасия Ивановича. Это интересное дело никогда не совершалось без горячего сочувствия со стороны Пульхерии Ивановны.

— Ты вот не кладешь семерку на восьмерку и двойку-то не спасаешь, — оттого у тебя никогда и не выходит.

Заря давно погорела над крышею надворного сарая. Вошел слуга, и началось укрывание кровати и дивана свежими простынями и натягивание свежих наволочек на подушки.

— Поставь свечи на стол и ложись спать. Ты нам больше не нужен.

Заперев за ушедшим слугою дверь на крючок, Афанасий Иванович стал раскладывать новый пасьянс, а Пульхерия Ивановна из припасенных цельных газетных листов при помощи булавок устроила на низких окнах непроницаемые для взоров со двора занавеси, оставив открытыми только окна, обращенные к забору, откуда нельзя было ожидать нескромных глаз. Зажгли свечи, но, увидав по часам, что скоро десять, Афанасий Иванович заметил: «Не пора ли на отдых? Ведь завтра рано вставать». Подойдя к кровати и сняв халат и туфли, он взобрался на жесткую как доска постель.

На стул у его изголовья Пульхерия Ивановна положила папиросницу, спичечницу и коробку с персидским порошком, а сама принялась за ночной туалет, окончания которого Афанасий Иванович не дождался. Он крепко заснул.

Солнце еще не всходило, когда Афанасий Иванович проснулся. Желая приблизительно определить время по цвету неба (часы Пульхерия Ивановна из предосторожности положила с вечера на стол), Афанасий Иванович взглянул в окно через близстоя-

щий против него забор. На верхнем бруске последнего сидела рядом пара голубей: сизый с золотистым отливом, более крупный, самец и белая, как снежный комок, голубка. Оба они, распушившись, представляли два небольших шара на коралловых ножках. Но едва Афанасий Иванович успел их заметить, как самец, точно силою соскочившей пружины, высоко вскинул из своего шара красноносую головку с раскрытыми глазами, подобрал перья на всем теле и стал пушинка за пушинкой чистить и улаживать свое золотистое ожерелье. При этом сизая головка, перебиравшая перышки, все дальше и дальше совершала круг с такою свободою, как будто не состояла ни в какой органической связи с туловищем и так же свободно озирала и оправляла ожерелье на затылке, как и на груди. Несколько минут продолжался этот утренний туалет, но вдруг коралловый носик, повернувшись влево, сильно клюнул сидевшую рядом голубку. В то же мгновение ее белая головка подпрыгнула с раскрытыми глазами. Ее носик, в свою очередь, взялся за оттопыренные перышки ее ожерелья; но это было лишь мгновенное движение. Носик выронил пушинку, глаза закрылись белою плевою, и головка снова ушла и погрузилась в пушистый шар. Сизый голубь невозмутимо занялся туалетом, в то время как голубка продолжала нежиться сном. Но вот он вторично клюнул еще решительнее, и на этот раз голова голубки выскочила во всю длину шеи и, подобрав в свою очередь перья, голубка занялась тщательным убором своего белоснежного ожерелья. Некоторое время оба настойчиво предавались этому занятию, и вдруг, в один и тот же момент, мелькнули четыре крыла, раздался мощный плеск с едва слышным подсвистыванием, и забор опустел.

Под влиянием заботы о приближающихся сборах к отъезду, Афанасий Иванович провел часа полтора в состоянии между сном и бдением. Сквозь дремоту он слышал, как под навесом лошади, хрустя, доедали овес, как Ефим, проскрипев воротами, водил их на водопой. Стало окончательно светло. Пульхерия Ивановна тихо спала как убитая, и Афанасию Ивановичу жаль было ее будить. Но делать было нечего — он окликнул ее.

— Ах, Боже мой, — простонала Пульхерия Ивановна, — зачем ты меня будишь? Я так устала.

Афанасий Иванович подошел и слегка качнул ее за плечо, громко проговоривши:

— Вставай, пора!

Пульхерия Ивановна открыла глаза, приподнялась с подушки и затем быстро проговорила:

— Спасибо, что разбудил. А то бы я, пожалуй, опоздала.

Начались сборы в дорогу.

НЕОКОНЧЕННОЕ

I. <КОРНЕТ ОЛЬХОВ >

Августа 1840 года накануне Спаса П. П. Ольхов, сменившись с дежурства по гошпиталю в 9 часов утра [далее начато и не закончено 1 слово нрзб., после которого: и. Далее начато и зачеркнуто: сход<ил?>], успел отрапортовать полковнику, выпроситься у него на 2 дня на охоту, переодеться, слегка подкормить Трезора и выехать на своей тройке за заставу заштатно<го> города К. — штабной квартиры уланского полка, в котором [он] Ольхов служил корнетом.

— Песочком-то, Иван, дай им пройти шагом, — сказал [уланск<ий>] полуприказывая и полуупрашивая молодой корнет, то и дело покачивавшийся на переплете фантастически раскрашенной тележки, чтобы полюбоваться на коренастых пристяжных битюгов с пышными хвостами, гривами, заплетенными с красным суконцем, и большими бубенчиками около ушей.

Но круглолицый, скуластый и рябой с рыжими ресницами Иван как будто [не расслу<шал>] не слышал замечания барина. Он только ту же запахнул полу своего дымчатого, новенького летнего кафтана, поддернул под собой запасную [<запасный смурый ?>] сермягу и [кивнул] кивком сдвинул <?> ближе на глаза свою шляпу с павлиньим пером, напоминав<ш>ую формой гречневик.

Во все время этих проделок сердце Ольхова как-то болезненно сжималось, и вздохнул он свободно только тогда, когда Иван перевел лошадей на шаг. Зато в то же мгновение лицо и вся фигура Ольхова засияла [той] тем счастьем, той полнотою жизни, которые выпадают на долю человека только в молодости.

Да и как ему было не радоваться. Вот оно то настоящее, о котором он так давно мечтал. Фуражка на нем почти новенькая, а дома висит под чехлом только 2 раза надеванная, сюртучок, хотя и поношенный, но сидит отлично, и никто в мире не догадается, что он перешит из старого отцовского уланского.

Не в первый раз в жизни Ольхин (sic!) испытывал счастье обновить мундир. Когда 6 лет тому назад шел он на высоких каблучках по [Пречистенке] тротуару Пречистенки в новом студен-

ческом картузе с выпущенной в виде аксельбанта цепочке (sic!), [ему действ<ительно>] и буточник отдал ему честь алебардой, ему действительно казалось, что в мире нет человека счастливее его, но старик отец и в письмах и дома во время каникулов давал ему чувствовать на каждом шагу, что он еще ученик, а Платон Степанович еще за год перед этим [чуть не посадил (его) Ольхова (на) (в) при выпускном экзамене] преследовал Ольхина за серые штаны и чуть не посадил его на выпускном экзамене за усики в карцер.

Но теперь, теперь — совсем другая песня. Покачиваясь на переплете, Ольхин внутренне вызывал разом и отца, и Платона Степановича, и соседних барышень, и весь свет. Сам старик Ольхин, несмотря на свой крутой [нрав] и явно бычливый нрав, поддался обаянию. [Ответ] В письме к сыну, [он] вслед за строгими наставлениями [и (обычным) припиской] было сказано: «На днях с известным тебе Иваном [Кудряшом] Дамничем <?> высылаю тройку добрых и очень добрых лошадей и тележку весьма и весьма пристойную. Ты лошадей-то береги, не скоро других наживешь, а Ваньку-то не балуй. Кроме обычных [далее вместо: полугодовых было — полугодичных] полугодовых 150 р. сер. посылаю 25 р. сер. на перчатки корнету». Слово корнету было подчеркнуто.

Между тем тройка, погромыхивая бубенчиками, выбиралась из песку <n>а пригорок, с которого серою лентой убегала в безбрежную степь чумацкая [дорога] накатанная дорога.

— Что это, Иванушка, правый-то как будто неохотно натягивает посторонки, — заметил заботливо П. П.

— Да он, как вам будет угодно, и не идет к эфтой тройке, такой лукавый — уже себя не потеряет — я и батюшке Петру Федоровичу, как их только съезжали, насмелился про него доложить.

— Что ж он?

— Понюхали табаку, [да перекосо<ротились>] да поглядели на меня исподлобья — постояли, постояли, перекосоротились да и пошли прочь. Я и язык прикусил, ей Богу.

— Ну, трогай, Иван. Ехать-то ведь верст 35 по рассказам будет; с этим донтишаном <?> в самый мор попали.

Иван тронул крупной рысью, слегка и неотвязно похлестывая правого пристяжного, отчего снова какое-то томительное чувство овладело Ольховым. Впрочем, не одна забота о лошадях нарушала блаженство корнета, непривычный к езде, огромный и сильный Трезор [все], порываясь выскочить из тряской тележки, также немного озабочивал молодого охотника. Равномерное [Равномерное — вписано вместо зачеркнутого: однообразное]

дребезжание бубенчиков, топот лошадей, однообразие скошенной и почти выгоревшей степи и тоска бездействия наводили юношу невольно на раздумье [и чего только не передумал он за дорогу].

Притянув кое-как сворой неугомонного Трезора ко дну тележки, он освободился от постоянной об нем заботе и тогда [деятел<ьность>] внешняя деятельность П. П. ограничилась набиванием трубки [Жуковым] и ожесточенным курением Жукова. Но и эта внешняя деятельность [не столь] скорей усиливала в нем, чем разбивала приливы дум — и чего только не передумал он за дорогу.

Ольгину недавно сравнялось 22 года, но на вид [ему] он казался гораздо моложе. Черные как смоль вьющиеся волосы, которые он зачесывал несколько назад, не навлекая, впрочем, на себя никаких замечаний начальства *о прихотливости прически*, чистый прекрасный лоб, небольшой правильный нос почти с детским очертанием ноздрей и худо растущие усики [придавали], большие черные глаза, горящие мягким юношеским блеском, придавали ему моложавый вид.

Зная, что он прекрасно сложен, и не раз слыша похвалы своим рукам и ногам, он порою с особенной любовью занимался своей наружностью, хотя всякое прилизывание и подборание волоска к волоску было ему противно. Зато нередко товарищи заставляли его в старом засаленном халате и несвежем белье.

Жить значит волноваться, уклоняясь от прямого пути, но для Ольхова жить значило ежеминутно расщепляться и, пряча неизвестно куда одного П. П., выпускать на деятельность другого. То это был ленивый, созерцательный, мечтательный байбак, то кипящий жаждою деятельности, рьяный, торопливый П. П. Чтение и студенческая жизнь [еще] развили в Ольхине природную склонность к созерцательности и рефлексии. Он давно привык и анализировать, и обобщать все явления, но внутреннее развитие приносило Ольхову мало пользы в действительной жизни, потому что развит-то был байбак, с которым университетские товарищи любили и потолковать, и поспорить в накуренной комнатке, при тусклой свече [над] за потухающим самоваром, но П. П. остался тем же непосредственным, наивным П. П. который, когда нужно было действовать, не только не спрашивал советов у своего двойника, но решительно овладевал всем театром [деятельной части] деятельности и сталкивал байбака неизвестно куда. До окончания курса байбаку еще было житье порядочное, П. П. не так часто толкал его под руку, почему-то ему казалось, что торопиться некуда, что курс все-таки продолжается ровно год, но теперь, когда байбак ему на беду свою про-

говорился, что есть корнеты старше его по вакансии, которым только 18 лет, П. П. решительно [не] стал соваться во всякое дело, задуманное байбаком. [И дело] Только тогда байбак вступал в свои права, когда П. П. не мог ничего делать, сидя в полной походной форме в карауле или, как теперь, на тележке и принужденный от [сдержива<емого>] нетерпения жечь Жуков или жевать выдернутую из-под спинки сенную былинку.

II. <ПОЛКОВНИК БЕРГЕР>

В начале [начале — *вписано вместо зачеркнутого*: полови-
не] июня 1847 года, на закате солнца стройный белокурый улан-
ский офицер, лет 25 на вид, быстро [шел] пробирался [вдоль] по
пыльному тротуару одного из [много<численных>] полковых
штабов [бывш<его>] военного поселения X-ской губернии. Три
звездочки на его эполетах обозначали его поручичий чин, а пор-
тфель под мышкой указывал на звание должностного. Пройдя
довольно длинную улицу, образуемую частью домами разнооб-
разного виду и [до<стоинства?>] стоимости, частью [заб<ора-
ми>] деревянными заборами, через которые местами свешива-
лись на улицу ветви шелковицы и белой акации, — офицер кру-
то повернул налево в растворенные ворота и пошел прямо к
крыльцу, у которого стоял зеленый денежный ящик под надзо-
ром часового. Часовой стал на свое место и взял на караул, а офи-
цер, подняв два пальца к козырьку фуражки, взбежал на сту-
пеньки крыльца, сильно притопывая ногами, чтобы стряхнуть
с сапогов неминуемую пыль. Не успел он отворить дверь в пере-
днюю, как из соседней с нею комнатой (sic!), занятой буфетом,
показался коренастый, черноглазый дворецкий в сереньком лет-
нем платье.

— Дома полковник?

— Дома. Прикажете доложить?

— Доложи: адъютант.

— Пожалуйста сейчас в столовую, — торопливо ответил ша-
рообразный литвин Петр, бессменный камердинер и дворецкий
полкового командира Николая Карловича барона Бергера, не-
уклюже грациозно [указыв<ая>] сгибая левую руку по направ-
лению к двери столовой.

Не успел адъютант войти в довольно просторную столовую
и в вечернем полумраке взглянуть на себя в большое зеркало,
как Петр уже снова на пороге в кабинет повторил свой грациоз-
ный жест и обычное: пожалуйста.

— Здравствуйте, князь! — сказал барон, сидевший в крас-
ном бухарском халате у письменного стола за стаканом чаю с

лимоном и поворотивший под собой кресло навстречу вошедшему. — Что, опять спешное?

— Да, полковник. Спешное [сего]. Не успел доставить все сведения о бессрочных по указанным самой дивизией формам, как опять сегодня утром прислали в экстренном конверте с припечатанным пером и надписью везти большой рысью всю работу назад и выдумали еще две графы. Да адъютант еще требует все к завтраму под личную моей ответственностию.

— Это, однако, нестерпимо, — пробормотал барон, откидываясь в креслах. — Эти ракалии думают, что если человек подчиненный, то с него можно, за собственное нерадение драть не только [одну] две, но сколько вздумается — шкур. А у вас готово?

— Готово, полковник.

— Ну, давай его подмахнуть. Хорошо, что я не ушел.

— А ушли бы — я бы с разрешения вашего и сам подмахнул.

— И тут надо подписать?

— И тут.

— И тут?

— И тут.

— Всё?

— Всё.

— Когда отправите?

— Сию минуту.

— Ну, слава Богу, — сказал с комическим вздохом барон, снова передвигая свое кресло вполоборот к адъютанту.

— Ей! — крикнул он своим громким, привычным командовать голосом. В столовой послышался топот толстых подошв, который был встречен из кабинета повелительным: чаю! Но в ту же минуту шарообразный Петр уже появился на пороге с подносом, на котором стоял стакан чаю и хлебная корзинка. — Сошли [портфель] с вестовым в канцелярию к старшему писарю, чтобы отправить сию минуту летучкой, — сказал [адъютант] вполголоса адъютант, передавая портфель освободившемуся от подноса Петру.

— Ну, садитесь, князь, и побеседуем, если не очень устали. А не то, без церемонии ступайте спать. А мне, должно быть, сегодня долго придется беседовать с моим шумом в левом ухе и связанной с ним бессонницей.

— Что касается до меня, — сказал адъютант, придвигая к себе стакан с чаем и ломая [адъютант] бублик, — я очень рад после нестерпимого зною отдохнуть у вас часок-другой, — тут так прохладно.

— Чем же вас угощать, князь? Не хотите ли хорошую, одесскую сигару?

- Благодарю, я не позволяю себе курить сигар.
- Даже чужих?
- Тем более чужих — от чужих необходимо переходить к собственным.
- Ну, так вот — закуривайте папироску.
- Если позволите, полковник, — я закурю свою. [Я прив<ык>].
- Прекрасно, князь. Я вас понимаю и одобряю, но я уже просил вас не называть меня здесь полковником. Здесь для вас я хотел бы быть Николаем Карловичем. Мы здесь не во фронте.
- Фронт везде, где находишься перед лицом старшего.
- Вы хорошо знакомы с духом уставов, но во фронте не сидят перед старшими.
- Мне кажется, в уланах, как вообще в кавалерии, преимущественно сидят во фронте.
- Опять вы с софизмом? Странное дело молодость. В ней непременно сидит червяк оппозиции. Не думайте, чтобы я давно не разглядел в вас этого червяка, да, может быть, вы им-то и понравились мне. Знаете ли, за что я предложил вам должность адъютанта?
- Никак не могу отгадать.
- А за то, что вы оказались непригодным в адъютанты к начальнику штаба, который вздумал извлечь из вас послуги шпиона.
- Как вы могли об этом узнать? — вскрикнул [адъютант] князь Мусинский, видимо покраснев до ушей и выпуча голубые глаза на полкового командира.
- Мне 47 лет, и я гожусь вам в отцы, князь. Но я тогда же подумал: «Ведь умница и ловкий человек этот начальник штаба, а как же он не понял, что жаркое едят вилкой, а суп ложкой». Нашему брату начальнику необходимо все знать, что у нас делается. Нельзя отвечать за то, чего не знаешь, но нельзя и требовать несовместного. От честного и прямого человека нельзя требовать услуг сомнительного качества. Это все равно, что требовать от офицера, чтобы он выше всего берег честь своего мундира и в то же время позволял бы всякой дряни глумиться над этим же мундиром. Чтобы один и тот же человек был и храбр, как лев, — и — кстати: прочли вы «Les trois mousquetaires»? *
- Дочитываю и завтра с благодарностью вам их возвращу. Позвольте и мне, в свою очередь, спросить: прочли вы «André»? **
- Это вы меня в свою веру проводите?

* «Трех мушкетеров» (фр.).

** «Андре» (фр.).

— Нисколько. Я только хотел спросить ваше мнение о поведении.

— По-моему, преглупый муж, который вместо того, чтобы жить с женой, бросается в пропасть.

— Да есть побудительные причины.

— Если во всякой глупости отыскивать причину, то она всегда найдется. *Tout comprendre c'est tout pardonner* *, — говорят французы. Но с этим правилом недалеко уйдешь в военной службе. Вот я, например, очень хорошо понимаю, что мои милые предшественники распустили полк до гадости, но я этого так оставить не могу, хотя мне предстоит *bien de fil à retordre* **. Признаюсь, я до полкового сбора офицеров даже не подозревал, до какой степени в некоторых из них доходит незнание приличий. Третьего дня встречается со мной на тротуаре поручик Филипченко — и что бы вы думали? — снимает фуражку и раскланивается со мной, как со знакомым на бульваре. Я должен был позвать его и объяснить, что при первой подобной выходке вынужден буду сделать выговор приказом по полку. А вчера еще лучше. Пока вы учили трубочей, является ко мне лакей от [князя] поручика [князя] Кумашева с просьбой отпустить ему хор трубочей — и что он им заплатит. Простительно ли, не скажу офицеру, но вообще благовоспитанному человеку такое поведение? Что же я, содержатель странствующих музыкантов что ли? Я могу сделать кому-либо одолжение, послав хор, и тот, независимо от моего распоряжения, может поблагодарить трубочей.

— Это другое дело.

— Нет, любезный князь, я прошу вас никому не отпускать трубочей без моего разрешения. Я положительно вас об этом прошу, — закончил барон, отодвигая от себя порожний стакан.

— Мне вполне достаточно слышать раз ваше приказание, чтобы в точности исполнять его, — ответил князь, затапывая в пепельнице окурки папироски.

— Я и забыл [вам сказать], — начал барон, как бы стараясь прервать воцарившееся молчание, — сегодня ко мне явился наш новый штаб-офицер — майор Вандберг.

— Он и у меня был с визитом, — сказал князь.

— Ну что? Как вы его нашли?

— Очень красивый человек. Сейчас видно, что из гвардии. Должно быть, тонкая штука.

— А вы-таки, Сер<гей> Сер<геевич>, не без наблюдательности.

* Все понять, значит все простить (фр.).

** Здесь: немало потрудиться (буквально: сучить немало ниток, фр.).

— Тут не нужно особенной наблюдательности. Стоит взглянуть на эти холеные белокурые усы или на мундир. Наши еврейчики умрут, а не сошьют такого платья. Сейчас видно, что это один из типов наших армейских гвардейцев.

— Я что-то не понимаю, какие это типы, как вы называете.

— Одни у нас служат с тем, чтобы непременно ускользнуть в гвардию, а другие приходят из гвардии нам грешным на шею.

— Понятно, что вам последние не по нутру, и вы им предпочитаете первых, которые хоть корнетам очищают вакансии.

— Я имел в виду другое.

— Что ж такое?

— То, что первые [прямо] приносят из дома <?> [с собой] в себе то, чего вторые с грехом пополам набираются из подражания. А оригинал всегда выше копии.

— Э! — да вы просто знали, мой почтеннейший Сер<гей> Сергеев<ич>.

— Что такое?

— Про Вандберга.

— Ничего я не мог даже знать про человека, которого вижу в первый раз.

— В таком случае вы, по немецкой поговорке, den Nagel auf den Kopf getroffen *. Пусть это останется между нами. Дело, я знаю, было так. При дворе был траур по Велик. Княжне, а Вандберг затеял попойку. Вел. Князь узнал и сказал, что ему таких бестактных офицеров в гвар<дии> не надо. И вот он у нас из штаб-рот<мистра> превратился в молодого майора. Посмотрим, как-то он управит свою лодочку между 35 подводными камнями, из кот<орых> каждый метит на его место.

— Метят одни ротмистры, а субалтернов это не касается. Трудно тому, на кого косятся 30 человек, а не тому, на кого дуются 5 или 6.

— Это правда, — как-то лениво протянул барон. После [нескольких] минуты молчания, в продолжение которой адъютант уже думал раскланяться, барон [далее зачеркнуто: пробормотал как] прибавил. — Впрочем, это его дело улаживаться. Всякий для себя, а Бог для всех. Я только боюсь новых дрожжей. Тут и своя-то закваска требует поправки, а как в нее попадут кислые дрожжи, так нашему брату достанется на орехи.

— Я уверен, — сказал князь, — [что] он сумеет подладиться к кому следует, т. е. к молодежи.

— О! — протянул барон. — И чем глупее, тем умнее. Помнит-ся, Гете где-то сказал: «Если хочешь надувать людей, so mach es

* попали в точку (нем.).

nur nicht fern» *. — Люди вообще глупы, а молодежь [всегда] поверхностна. Куда же тут тонкости. Чем грубей удочка, тем верней. — Ну да черт с ними.

— Эй! дайте огня, — крикнул барон, и в приотворенных половинках кабинетной двери сперва показалась полоса света, а затем в комнату вошел Петр с горячей лампой, под темно-зеленым [абаж<уром>] зонтиком. В то же время с улицы слышался стук запираемых ставней.

* не надо ходить далеко (нем.).

**КРИТИЧЕСКИЕ
СТАТЬИ**

ОТВЕТ НА СТАТЬЮ «РУССКОГО ВЕСТНИКА» ОБ «ОДАХ ГОРАЦИЯ»

С особенным удовольствием и признательностью прочел я в первой февральской книжке «Русского Вестника» статью г. Шестакова по поводу моего перевода горацевых од. Я говорю: «с признательностью», потому что каждый автор, у которого дело, труд стоит впереди его личности, не иначе как с признательностью может принять указания на недостатки своего произведения, тем более, если эти указания изложены с таким желанием правды и исключительным вниманием к самому делу, какие с удовольствием я встретил в статье ученого критика. Только на статью, являющуюся в таком специальном виде, решаюсь отвечать. Как человек, смотрящий ясно на предмет, о котором говорит, ученый автор оценил все трудности, неизбежные для всякого, кто примется за перевод древнего поэта, и в особенности Горация. Автор говорит на 571 стр.: «Перевод древнего поэта представляет переводчику нашего времени затруднения на каждом шагу: не только мысль, не только отдельные выражения, но каждое отдельное слово требует труда и размышления». Там же: «С таким-то оригинальным образцом пришлось бороться г. Фету. Достаточно и того, если он сколько-нибудь успел преодолеть трудности, которые встречались ему на каждом шагу».

Выставляя на вид читателю эти трудности, автор выражает положения, только по-видимому противоречащие сказанному мною в предисловии к переводу, но с которыми в сущности я совершенно согласен.

Я первый готов стоять за эти положения, а между тем почти уверен, что статья ученого критика приняла бы другое направление, если б он взглянул на дело с моей точки зрения. О ней скажу несколько слов. Увлеченный одами Горация в изящных, изустных переводах покойного Дмитрия Львовича Крюкова на русский язык, я перевел две-три оды стихами и показал их моему профессору. Первою, я помню, была XIV, первой книги, «К Республике». Благосклонный отзыв знатока обоих языков придал мне охоту и любовь к занятию, плодом которого был появившийся теперь перевод. На вопрос: почему я переводил Горация? отвечать легко: мне это нравилось, меня это радовало.

Но для чего? — постараюсь объяснить. Критик в начале статьи говорит: «Перевод древнего поэта есть труд нелегкий и для сильного поэтического дарования; в то же время этот труд не совсем благодарный, потому что копия, снятая с великого образца, как бы ни была прекрасна, все-таки уступит подлиннику и оставит место желанью лучшего. Все это, конечно, знает и понимает очень хорошо г. Фет». Что ж заставило меня предпринимать этот неблагодарный труд, пятнадцать лет на мне лежавший? Неужели я легкомысленно принял на себя роль толкователя красот Горация небольшому кругу специалистов, к которым принадлежит ученый автор статьи? Мне наперед было известно, что если б я обратился к этим ученым с одою Горация и сказал: «посмотрите, какая это прелестная, уютная игрушка, а между тем взгляните в малейшую фигурку, в мельчайший штрих резца...», эти ученые посмотрели бы на меня с тою же улыбкой сострадания, с которой ботаник смотрит на ребенка, подносящего ему только что сорванную розу. Нет! нет! Я имел в виду других читателей, на благорасположение которых мое уменье писать общепонятные стихи с рифмами могло подействовать, по мнению моему, лучше и вернее самого строгого буквального перевода или самого добросовестного критического труда. Я уж сказал, что находил удовольствие переводить Горация. Полнота подобного наслаждения едва ли понятна тому, кто не испытал его на себе. Но только для последнего рода читателей решился я, желая сделать труд мой полным, переводить с устойчивым усилием те, в поэтическом отношении слабейшие и по содержанию нам чуждые оды, перевод которых, с точки зрения ученого критика, мало того что неблагодарен, непростительно напрасен.

Но не таким казался мне полный перевод од Горация, этого лучшего букета из его цветочной корзины. От ранних лет слышал я постоянно нижеследующие рассуждения: «Нам нужны науки положительные: математика, химия, физика, политическая экономия, статистика. А что за польза учиться древним языкам? Это напрасный труд и трата времени». Но кто это говорит? — спросите вы. Большинство и часто люди весьма развитые и образованные в других отношениях. Эти люди, не видя предмета собственными глазами, никогда не поймут, как тонко мыслил древний человек! какая грация и сила в его логике, в его периодической речи, которую мы, ветреное племя, и передать не можем, не истерзавши и не перерывши всего, как перерывает галантейные вещи, изящно уложенные парижанкой, неловкая рука таможенного сторожа. Они не могут видеть, что от Горация до Гоголя предания гомерова искусства в безукоризненной чистоте перешли через все века, и что только погружа-

ясь от времени до времени в первобытный источник, поэзия какого бы то ни было народа может, как богиня, сохранить вечную свежесть и не впасть в дряхлое безвкусие. Не может быть, думал я, чтоб в моем стихотворном переводе не отразилась хотя малейшая часть той силы и красоты, которой дышит почти каждый куплет, каждый оборот великого поэта. Пусть прочтут, и тогда послушаем, что они скажут о древних, которых знают понаслышке и потому любить не имеют возможности. Какие плоды принесет популярное уважение, если не любовь к древним — говорить здесь не у места. Только с подобною целью переводил я Горация рифмованными стихами и старался, насколько сил моих хватило, стряхнуть с него схоластическую пыль, которая всех так пугала. Вместе с тем мне хотелось представить Горация как факт и совершенно отстранить свою личность. Если б я почел возможным при обнаружении од не писать от себя ни слова, то издал бы их даже без примечаний, в которые, к сожалению, вкрались значительные опечатки. Знатокам мало нужны мои переводы и бесполезны примечания. Сочинять Горация, искажать произвольной формой, или, с другой стороны, опошлять буквальным переводом, заставив русский язык хромать по несвойственным ему асклипадаеям, архилохам, пифиямбикам и т. д., я не мог решиться. Я всегда был убежден в достоинстве подстрочного перевода и еще более в необходимости возможного совпадения форм, без которого нет перевода. Представлю пример: Лермонтов перевел известную пьесу Гёте «Uber allen Gipfeln» *; но уклонился от наружной формы оригинала. Что ж вышло? Две различные пьесы, одинаковые по содержанию, но не имеющие по духу, а затем и по впечатлению на читателя, ничего общего. Гёте заставляет взор ваш беззаботно, почти весело скользить по высям гор и вершинам неподвижных дерев. Утешение: Ruhest du auch ** приходит к вам почти неожиданно и застает вас под влиянием объективного чувства. У Лермонтова с первого слова торжественная тишина осени заставляет предчувствовать развязку. Итак, оставляя в стороне трудности, какие представляет древний поэт, переселяясь, так сказать, в среду новой, чуждой народности, необходимо было обратить внимание на возможную верность оригинальной форме. Первой задачей моей было сделать если не буквальный, то подстрочный перевод. Эту задачу я исполнил с начала до конца, о чем свидетельствует цифровка строк. Везде, где у Горация куплет оканчивается коротким, падучим, четвертым саффикским стихом, в котором

* «Над горными вершинами» (нем.).

** Отдохнешь и ты (нем.).

главное слово речи, падая в ухо, так сказать, озаряет весь куплет, я удержал эту форму, без которой Гораций был бы не Гораций. Приступая к переводу, я перечитывал оду несколько раз и вслушивался в ее пение. Передавая склад латинского стиха размером новым, я мог руководствоваться только тем, что у человека бессознательно — слухом, чутьем. Спрашиваю: была ли возможность поступить иначе? Не хочу этим сказать, чтоб мой слух, или чутье были непогрешительны, но пришлось довольствоваться тем, что есть. Под их руководством я нередко бросал перевод верный, подстрочный за то, что он производил на меня своим тоном впечатление негорацианское, и начинал новый. Покончив с размером, я принимался за смысл, за слово. Но, *infandum, regina, jubes renovare dolorem* *. Я сказал уже, что не испытавший не может представить себе всей наркотической смеси ощущений над подобной работой. Это томительное, устойчивое напряжение, эта светлая радость при неожиданной находке, эти слова, которые добрый Гораций как будто подбирал так, чтоб они рифмовались в конце русского стиха, все это веяло на меня опьяняющим пафосом. Если вдохновение — горячка и вместе лихорадка, то могу сказать, что я переводил Горация по вдохновению. Удивительно ли, что когда он переходил, так сказать, целиком в мои объятия, я не смел поправить на нем и волоска. Мне жаль было изменить в его глаголе время или переместить слово, точно так же, как бывает жаль человеку передвинуть в комнате кресло, на котором любил сидеть его добрый отец, или умерла любимая мать. Вот почему мне пришлось услышать от ученого критика на 754 стр.: «Теперь, по обычаю капризной критики, мы объявим на г. Фета претензию за то, что он совершенно верен оставался оригиналу». Но среди горячего бреда случались бедственные отрезвления. Добрый Гораций, ни с того ни с другого, на меня дулся. Он наотрез отказывался войти в русскую шкуру и ни за что не хотел передразнивать самого себя рифмами. Что тут было делать? Чем жертвовать?

Упомянем еще об одном немаловажном затруднении, встречающемся русскому переводчику древних. В других литературах многочисленные труды критиков, переводчиков и историков навсегда определили произношение древних имен в оригинале и в переводе. У нас самый греческий текст, нередко с одной и той же кафедры, в различные часы дня звучит до того различно, что последователи одного произношения не поймут и не узнают самого текста в другом. Но беда была бы в полбеде, если б

* «Несказанную скорбь ты велишь обновить мне, царица» (лат. — *Пер. А.А.Фета*).

эти два различные произношения шли рядом. Переводчик избрал бы себе одно, а там критика говори что хочешь. Нет, русская литература с самого первого сближения с иностранными именами принимала оба чтения, можно смело сказать, безразлично. Если переводчик встретит имя, которое не попадалось ему на русском языке, то он принужден руководствоваться одним ухом, потому что и самая аналогия навела бы его на какофонию и окончания, несвойственные русскому языку. По аналогии *Μακκάρως* — Макар, должно сказать вместо Гнидос и Пафос — Гнид и Паф, но едва ли русское ухо осталось бы довольно подобной аналогией. Мы говорим театр и Феспис, Ксеркс и Херес, а не Хер, Церера и Гликера, Цербер и Кесарь. Аристид — и, следовательно, Гиг, как перевел я. Но на днях в одной статье я с ужасом увидел, что *Giges* переведен Гигием. Откуда зашло -ий — не понимаю! После этого всех греков на -ες надлежало бы перекрестить в Архимидий, Ахиллий и проч. Желая сократить пределы ответа на статью г. Шестакова, не буду продолжать исповеди переводчика. Я уверен, что зоркий критик из немногих слов моих увидит направление, с которым я начал и вел ныне оконченный труд. На всякую вещь, на всякого поэта, тем более эпохи отдаленной, можно смотреть с бесчисленных точек зрения. Стараясь поставить критика на мою, я вперед убежден, что он схоластическими придирками не способен вынуждать у меня в этом отношении новых объяснений. Кажется, сказано мной скорее слишком много, чем слишком мало; и если мои наивные признания возбудят в читателе улыбку, то улыбнусь с ним и я, а все-таки прибавлю: что ж делать? Или вовсе не отвечать, или говорить, как было дело. Первого я сделать не хотел. Сличив мой перевод с разбором г. Шестакова, читатель вправе подумать, что я переводил Горация спустя рукава. Привести к подобному заключению, очевидно, не хотел сам ученый критик. В начале ответа я уж сказал, что некоторые положения г. Шестакова только по-видимому противоречат моим, но что в сущности я первый готов стоять за них. Постараюсь ответить по порядку на все замечания критика; но ответить не значит еще не соглашаться решительно ни с чем.

На первой странице ученый критик обвиняет меня в том, зачем я «ограничился коротеньким обзором жизни Горация и не написал характеристики сочинений поэта». — «Мы увидели бы (продолжает он) в этой характеристике плод многолетних занятий, результат долгого и глубокого изучения любимого г. Фетом поэта. Мы вправе объявить подобное требование и уверены в том, что г. Фет мог бы вполне удовлетворить ему, но, к сожалению, он не подумал об этом; он удовольствовался *общу-*

ми фразами, повторяемыми во всех изданиях нашего поэта». На первую половину обвинения, то есть *коротенькое обозрение*, критик отвечает сам словами: «Жизнь Горация не богата интересными подробностями», а на вторую замечу, что обозрение жизни казалось мне необходимым введением в мир Горация, а то, что я мог бы сказать о сущности и характеристике его од, может, с помощью даже моего далеко не совершенного перевода и приложенных к нему примечаний, сказать сам себе каждый читатель, обладающий вкусом.

«Гораций (говорит г. Фет на 4 стр. своего предисловия) принадлежит к числу тех поэтов, которые черпают вдохновение непосредственно из жизни, а потому в его произведениях можно проследить за всеми современными явлениями. В них отразились все события от филиппинской битвы, Акциума и походов Друза и Тиверия до сооружения храмов и до триумфальных шествий». Предыдущая страница посвящена г. Фетом защите нравственной стороны Горация, которая сделалась тоже общим местом горациевых комментаторов. Прочитав данную г. Фетом в немногих словах характеристику поэта, мы не можем не чувствовать, что в ответе г. Фета нет ответа, а много-много если задается вопрос. Отличен ли Гораций сколько-нибудь от других поэтов тем, что его отнесли к числу тех, которые черпают свое вдохновение непосредственно из жизни? Мы по справедливости удивляемся тому, как мог г. Фет повторить это общее место» и т. д.

Итак, здесь снова являются два обвинения. Первое: зачем я сказал, что Гораций принадлежит к числу поэтов, черпающих вдохновение непосредственно из жизни. Критик называет эту фразу общим местом и удивляется, как я мог повторить ее. Не помню, почерпнул ли я эту мысль из эстетиков, но высказал ее потому, что не считаю ее нелепостью, какой она представляется г. Шестакову, а истиной, более всех известных мне поэтов приложимой к Горацию. Если б я представил его черпающим вдохновение из жизни, это еще, в строгом смысле, можно бы назвать нелепостью. Вне предела жизни нет источников для человеческой деятельности; но я говорю: непосредственно, и это одно слово изменяет дело. И Виргилий писал свою «Энеиду» на земле, но видно ли в ней что-либо другое, кроме бледной тени великого Гомера? и Гёте писал стихи в Веймаре, но слышен ли в них гром йенской битвы? и Гейне во время всеобщих смут писал: *Sternelein mit goldnen Füschen* *, но про всех их нельзя сказать, чтоб они черпали непосредственно из жизни свои поэтические мотивы.

* Звездочка с золотой ножкой (нем.).

Гораций, напротив, писал свои стихи почти исключительно на ежедневные события (*Gelegenheitsgedichte*) и, можно сказать, один в целом мире умел возводить эти случайности на высоту художественных произведений. За малыми, почти ничтожными исключениями у всех, даже великих поэтов, стихотворения с подобным животрепещущим содержанием выходили из рук вон плохи. Предмет должен удалиться от нас для того, чтоб всецело пройти через горнило поэтического творчества и возвыситься в *перл создания*. На словах это понятно каждому, на деле такое понимание осуществляют только гениальные писатели.

Первый признак гения — инстинктивное сознание своих средств, то есть того, что он может поднять и чего не может. Гораций, повторяю, едва ли не единственный лирик, управлявшийся художественно с предлежащим случаем (*Gelegenheit*), и к нему по преимуществу могут быть отнесены слова: «черпает вдохновение непосредственно из жизни», показавшиеся критику непростительной фразой.

Следуя за порядком мыслей в статье г. Шестакова, перехожу ко второму обвинению, распадающемуся на два пункта: 1) Зачем нужна защита нравственной стороны Горация; имеют ли смысл нападки на нее? Какое имеют отношение все эти нападки к поэтической деятельности Горация? и 2) Ученый критик «к сожалению, должен сказать, что не может согласиться со мною в том, что у Горация развернувший наудачу сочинения найдет ожесточенное восстание на испорченные нравы своего века и проч.» То есть, ученый критик говорит, что уж если я завел речь о духе сочинений поэта, то напрасно стараюсь увидеть в них Горация римлянином, по тогдашним понятиям и условиям, нравственным. Напротив, в сочинениях своих он постоянно является с этой стороны в самом невыгодном свете... ну, пожалуй, безнравственным циником. Если б ученый критик знал, в какой мере обрадовали меня *en toutes lettres* ** напечатанные слова: «Но какое отношение имеют все эти нападки к поэтической деятельности Горация?». Никакого, никакого, г. критик; и если есть цинизм, то он заключается не в тихом созерцании Аполлона Бельведерского, а в привешивании к нему смокового листа. Но для чего же и для кого повесил я этот ненавистный мне лист на статую Горация? Для *madame de Курдюков*, г. критик. Это опасная дама. Она воспитана на французском диалекте и каждую книжку прочит для невинной дочери, хотя бы книжка эта была астрономическая или ветеринарная. Сличите в XXXV оде

* Стихотворения на случай (*нем.*).

** буквально, откровенно, напрямую (*фр.*).

первой книги стихи от 13 до 17 *Injurioso ne pede proguas** с моим переводом, тогда вы станете, быть может, на мою точку зрения и поймете историческое значение смокового листа.

Второй обвинительный пункт можно для краткости выразить так. Я повесил смоковый лист и говорю: под этим листом нет ничего безнравственного, а вы говорите, напротив: листа не нужно, а дело нечисто. Посмотрим, на чем ученый критик основывает такой приговор? На том, во-первых, что отец Горация (с которым знакомят нас только воспоминания поэта, и то с самой прекрасной стороны) как вольноотпущенный *камердинер* мог смотреть с своей точки зрения на гражданственность Рима и передать это воззрение сыну. Во-вторых, на том, что Гораций в Афинах не сделался главой философской школы, а остался верен своей поэтической натуре. Может быть, подобные догадки блестящи, но чем доказать их непогрешимость? А может случиться, ничего этого не было? Но пусть говорят за себя факты. Г. Шестаков не мог не согласиться со мною в том, что важнейшие политические события отразились в одах Горация. Улика налицо. Выкинуть их оттуда нет средств, зато, по словам критика, поэт им слабо сочувствовал. Возражать многими примерами значило бы сделать ответ свой бесконечным; достаточно указать на XXXVII оду первой книги «К друзьям-собеседникам» (по поводу акциумской победы); на IV оду четвертой книги «К городу Риму» (по поводу победы Друза над винделиками) и спросить: где же, у какого другого поэта есть такая благородная сила полета?

«Нет (продолжает г. Шестаков), лира Горация не занималась действительною жизнью Рима, ибо в душе поэта не было никакой существенной связи с этою жизнью. У него своя *virtus*** — довольство тем, что было у него, умеренность — желание необходимого; у него свое отечество (?), это его сабинское поместье, у него своя слава, это быть первым римским лириком; у него свои боги».

Итак, у Горация своя *virtus* — желание необходимого (*quantum sat*). Но история Фабриция, Курия Дентата, этого косматого философа, Цинцинната и проч. доказывает нам, что и во времена республики понятие доблести *virtus* не только не исключало понятия умеренности, которое отчасти придает ему Гораций, но что последнее было одною из существенных сторон первого. Мало того, по существу природы, человек с корыстным, эгоистическим сердцем никогда не был и не может быть героем. Гораций, говорите вы, был равнодушен к окружающим его явлениям и увлекался апофеозой Августа. Виноват, тут есть про-

* «Чтоб ты не ринула карающей ногою...» (лат. — Пер. А.А. Фета)

** доблесть (лат.).

творечие. Положим, он точно увлекся величием Августа. Я не вижу еще в этом для него беды, напротив, тут новое доказательство того, что он поэт, которому

Парка судила в душе неподкупной
Дать (мне) немного полей во владенье.

Ему что велико, то и хорошо.

«У Горация своя слава — это быть первым римским лириком». Эта беда случалась и случается не только с поэтами, но и с каждым истинным специалистом. Неужели его умеренность и страсть к поэзии пороки, которых нельзя простить и через две тысячи лет? Но что ж такое, наконец, он сам? Эпикуреец, стоик или эклектик? Из этого лабиринта лучше всего выводит нас опытная рука критика. Ни то, ни другое, ни третье (говорит г. Шестаков). «Гораций только истинный поэт». У него своя правда — поэтическая, которую поэт не должен смешивать с жалкой обыденной правдой, коли она нейдет к делу. Пушкин заставляет поэта сказать:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Пословица говорит: «о вкусах не спорят». Можно сказать: о зрении не спорят, — и это будет правда. Вот факт для оправдания этой фразы. Гораций, как великий мастер, даже в одах, писанных по заказу, не берется прямо за тему, а окружает ее самыми причудливыми арабесками. Начнет или попойкой, или дивным образом орла, и в двух-трех стихах рельефно выставит главный предмет.

Оставим на минуту Горация и возьмем для примера другого деятеля. Художник-ювелир с особенной любовью, до мельчайших подробностей, обделяет матовое серебро, в которое намерен вставить алмаз. Мы оба глядим на работу, и что же видим? Ученый критик видит ясно, что для ювелира все заключено в матовом гнезде для камня, а камень пришел сам собою и *против воли художника вторгнулся* в работу. Мне, напротив, кажется несомненным, что для художника камень все и что не стал бы он с такой любовью обделявать простой голыш. Придет третий и увидит, что художник дорожит не камнем или кадром отдельно, а той художественною вещью, которая произойдет от мастерского их соединения. Третий зритель, кажется, и будет прав по преимуществу.

Но где же факты, подтверждающие слова мои?

Развернув наудачу сочинения Горация, трудно не попасть на одно из мест, где он с ожесточением восстает на испорченность сво-

его века и только в самодержавии Августа видит единственную возможность избавления от всех бедствий и преступлений, и проч.

Не буду выписывать таких мест из третьей и четвертой книги: пришлось бы выписывать обе книги почти сполна. По примеру критика, ограничимся первой книгой.

«Развернув наудачу первую книгу од», г. Шестаков с трудом попадает на одно подобное место. Попробуем и мы развертывать эту книгу, не будем ли счастливей?

Ода II, ст. 21.

Да, некогда про меч, покрытый кровью брата,
Назначенный блистать победой над врагом,
Услышит молодежь, *от отчего разврата*
Уж малая числом.

Там же, ст. 29.

Где *очиститель*, нам Юпитером избранный?

Ода III, ст. 21.

Вотще премудрый Бог решил разъединить
Брега между собой широким океаном,
Коль *святотатственный* челнок перескочить
Дерзнул чрез глубину в насмешку ураганам.

Там же, ст. 38.

Мы в небо просимся, *безумием* (stultitia) влекомы.

Таков смысл всей VIII оды к Лидии:

Зачем ты, Лидия, изнеженной любовью отвлекаешь Сибарина от воинственных занятий, которые не только в духе римских преданий, но которыми сверстники его еще щеголяют. Ты его просто губишь (*amando perdere*).

XII оду «К цезарю Августу» можно назвать без преувеличения систематическим сводом римских верований. Тут иерархическая таблица главных богов и героев со строгим соблюдением местничества от Зевеса до Цезаря включительно.

Такова вся высоколирическая, исполненная неподдельно-римского чувства XIV ода «К Республике».

Вы ищите иронии?

Посмотрите, с какой злой иронией заставляет поэт в XV оде смотреть Нерее на изнеженного Париса, ст. 13.

Венеры баловень, вотще власы свои
Ты чешешь весело и женщинам так страстно
На цитре сладостной бряцаешь гимн любви и проч.

Что сказать про торжественный строй известной всему миру XXII оды «К Аристию Фуску?»

О Фуск, поверь: тому, кто сердцем уцелел
Средь искушений зла и черного обмана,
Не нужно ни копья, ни ядовитых стрел,
Ни тяжкого колчана.

Человек, у которого в груди не было струн, отзывавшихся на голос старинного благочестия (*pietas*), никогда не избрал бы темы для лирического произведения, какую Гораций развивает в XXVIII оде «К Архите Тарентинцу».

Ужели равнодушие к современной испорченности говорит устами поэта в XXXV оде, начиная с 29 ст.

Увы! нам стыдно ран, нам стыдно преступлений
Братоубийств. Каких мы не свершали зол
В железный век? На что печати оскверненья
Не клали?

и т. д. до конца оды? Но довольно.

«Перейдем теперь к переводу», — говорит критик на 570 стран<ице>. Переходя вслед за критиком к тексту, позволю себе сказать еще два слова насчет последнего довода г. Шестакова в пользу того, будто Гораций был плохим патриотом. Ученый критик говорит: Гораций мало того что бежал при Филиппах, еще сам над этим смеется. Итак, он трус, не патриот, не римлянин. Что он бежал, этот факт еще не доказывает, чтоб Гораций был трусом. Это горе, беда, стыд, но может случиться и с храбрецом, точно так же, как самый жалкий трус может подчас надеть чудес храбрости. Последнюю мысль доказывает, если не ошибаюсь, Сю в шутовском рассказе «*Hercule hardi*» *. Но (*relicta non bene parumla***), продолжает критик: «в этой иронии над самим собою не видно ли полного отречения от древнеримского духа?» Еще не из чего не следует, чтоб тут была ирония, а если она и есть, то разве сквозь слезы, по пословице: «шила в мешке не утаишь», и отнюдь не такая резкая, какой она является в русском переводе г. Шестакова, он переводит *non bene* «не честно». В статье своей критик вообще указывает на то, как трудно переводить поэта, а немногие слова, которыми он переводит стих Горация, служат тому доказательством. У меня *non bene* переведено словом «бесславно». Человек самолюбивый, как Гораций, еще с горем пополам мог сказать, что сделал вещь бесславною, неприго-

* «Отважный Геракл» (*фр.*).

** оставленный не хорошо (неподобающим образом) щит (*лат.*).

жую, но никакой порядочный человек не станет хвастать бесчестным поступком. Останавливаюсь на словах г. Шестакова не в укоризну, а в доказательство того, что, переводя Горация, я по крайнему разумению обдумывал каждое слово, которым передавал смысл подлинника; и если впадал в промахи и недосмотры, то в своем месте откровенно в том сознаюсь и поблагодарю указавшего на них.

Следя по порядку за выписанными г. Шестаковым местами в моем переводе, показавшимися ему почему бы то ни было не выдерживающими критики, встречаем прежде всего на стр. 566 7-й и 8-й стихи 1-й оды.

Тому, коль ветреной квиритскою толпой
Он предназначен вновь для почести тройной.

«Эти два стиха (говорит ученый автор) переданы г. Фетом неверно. Смысл подлинника следующий: тому приятно, если толпа ветреных квиритов ревностно хлопочет о возвышении его тремя высшими почестями, то есть эдильством, преторством и консульством. Поэт говорит, следовательно, о тех гражданах, которые ищут как можно скорее пройти все три ступени высших почестей. В переводе г. Фета неверность заключается в том, во-первых, что он назвал три почести тройною почестью, и, во-вторых, в том, что он прибавил наречие *вновь*. Это наречие может быть отнесено только к одному консульству, потому что консулом мог быть назначен один и тот же человек два, три раза и более; должности эдила и претора мог занимать каждый только один раз». Посмотрим, как понимает это место Прейс, один из ученых и добросовестнейших толкователей Горация? Он говорит: «honorigibus можно принять за творительный, вместо per honores, и за дательный, вместо ad honores. Вероятно, honores здесь не почет, как, например, рукоплескание в театре, или разрешение триумфа и tergemini не *двукраты-тройные* почести, под которыми некоторые разумеют: квесторство, трибунство, эдильство, преторство, цензорство и консульство, или *тройные*: эдильство, преторство и консульство; но вообще высшие почести, под которыми действительно, по преимуществу, должно разумеать три последние. Известно, что поэты нередко употребляют определенное число вместо неопределенного». Итак, на основании этой цитаты я мог, не впадая в бессмыслицу, принять, во-первых, honores даже не за почести, а за простой почет; во-вторых, принять ter-gemins буквально за *двукраты-тройной*, разумея шесть должностей, и наконец перевести словом *тройной*, разумея вообще высшие должности. Я принял последнее мнение Прейса, видя ясно в то же время, что Гораций, хотя и представлял себе честолюбца, недо-

вольного занимаемой им почетной должностью и домогающегося высших, но что он не мог представить его надеющимся получить их *все шесть* или, как переводит г. Шестаков, все *три* разом. Слово: *tergeminis* сродняет эти три почести. Поэт не разбирает какие. Не из чего не видно, чтоб честолюбец хотел вновь той же почести, какой был отличен, из слова *tollere* скорей можно заключить, что он хочет не той же, а высшей, то есть одной из трех близнецов. Все это прекрасно. Но как же перевести *tergeminis honoribus*? Г. Шестаков переводит: «толпа хлопчет о возвышении его *тремя* высшими почестями». Новое доказательство трудности переводить древних. Не говоря уже о плеоназме возвышения высшими почестями, не находим в оригинале слова: *высшими*, так же, как нет в нем слова: «вновь».

Оставаясь верным подлиннику, я должен был сказать: возвысить тройной почестью, а не *тремя* разом. Это и филологически неверно, потому что *tergeminis* соответствует слову «тройной», которое и на русском языке еще допускает понятие единства (тройной спирт не значит три спирта), а во-вторых, художественно неверно, потому что подобное юмористическое желание честолюбца не соответствует всему торжественному строю оды. Приняв в соображение сказанное, я перевел *tergeminis* словом «тройной», а *certat tollere* словами: «предназначен вновь». Прейс перевел этот стих:

Der zu dreifacher Ehr ihn zu erheben strebt.

А не durch drei Ehren.

Остаюсь при убеждении, что предлагаемый мною перевод довольно верно указывает на внутренний смысл горацевеа стиха, хотя не передает его слово в слово, букву в букву. Но с этой стороны весь перевод мой не выдержит и самой снисходительной критики. Если б моей задачей было сделать его буквальным, я начал бы его прозой вроде следующей:

Меценат прадедовскими о выданный царями и т. д.

Выписывая 33 ст. XII оды:

За ними не знаю древнейшего трона ль
Я век воспую и пр.

В числе «некоторых стихов, в которых для рифмы пожертвовано и красотой и ясностью речи» г. Шестаков указывает мне *мимоходом*, например, Гейне, и в оригинальных пьесах не всегда употреблявшего рифму, и преимущественно на ту форму его четверостишия, в которой из четырех стихов он рифмует только два. Мне тем приятнее было встретить это указание, что десять

лет назад уже осуществлена была мною мысль, на которой оно основано. Прочитав перевод всех четырех книг, ученый критик убедится, что я перевел весьма немногие оды вовсе без рифм, сохраняя размер подлинника; например, к Архите Тарентинцу, к Барине и некоторые через рифму, но не потому, что Гейне, в котором я, между прочим, сходства с Горацием не вижу, так писал, а потому, что в иных одах счел достаточным дать почувствовать рифмой падение саффического стиха. Повторяю: мне было приятно встретить указание г. Шестакова. Я слышу в нем речи, идущие к делу, а не дикое разглагольствование непризнанного критика, как это, к сожалению, нередко бывает.

Теперь о самих подчеркнутых стихах. По-моему, сказать ли: век *Ромула* или *древнейшего* трона (римского) все равно; обозначить ли век Нумы эпитетом — свободный, или спокойный — тоже все равно. Если бы для рифмы был употреблен эпитет, противоречащий понятию о веке Нумы, например, мятежный, корыстный и проч., то, конечно, это было бы плохо, а передать довольно верно, хотя и другими словами смысл подлинника и заключить последним стихом: *nobile letum*, «конец благородный», по-моему, еще не совсем дурно.

Две начальные строфы XXIV-й оды навлекли замечания автора. В первой он находит неверным наречие: *где* и лишним против подлинника: *несравненной*. Вместо моего перевода:

Quis desiderio sit pudor, aut modus
Tam cari capitis?

«где стыд и мера где печали несравненной по милой голове?» г. Шестаков предлагает свой: «какой может быть стыд, какой предел слезам по милой голове?»

Разбирая так же строго этот прозаический перевод, можно, в свою очередь, заметить: в подлиннике *quis* не повторено два раза, как в переводе, а *desiderium* — стремление, тоска, печаль, вопль, а *lacrimae* — слезы. *Quis modus*, по словам Прейса, относится не ко времени, но к силе скорби. Митчерлих говорит: *quis pudor sit* — украшенной и живее, вместо: может ли быть такая скорбь, которая была бы нам в стыд. Сливив эти два мнения знатоков, можно, кажется, предпочесть перевод *modus desiderio* словами: *мера печали* выражению: «предел слезам». Вдумайтесь в силу сжатой латинской фразы и вы поймете, почему эпитет: *несравненной* у меня, так сказать, сорвался с языка. Если б мне снова пришлось переводить это место, я бы опять начал стих коротким и уютным *где*, а не бесконечными: *какой, какая, какое*. Что касается до превращения мною *цести* из *regor iustitiae* в *мать правосудия*, то хотя и можно у древних, с горем

пополам, отыскать такую *сестру*, но едва ли можно назвать ее неизменно-определенным мифом. Перемена же родственных ее отношений тем менее важна, что судьба и самых определенных мифических, почти исторических лиц находилась в полном распоряжении поэтов. Укажу только на миф Филомелы, а Филомела аристократка в сравнении с какой-нибудь жалкой *fides*, которую издатели Горация не удостоивают даже чести обозначить прописной буквой. Если б я был не вправе назвать ее матерью правосудия, то Ореллий не выразил бы мысли Горация словами: *Est enim fundamentum justitiae fides*, то есть *честь* — *основание правосудия*, в чем никто не усомнится.

Но вот, наконец, является несчастный стих VII оды, ст. 14. «Трепетный брег». Долго он у меня не укладывался, и я на него, к сожалению, махнул рукой. По указанию критика и собственному убеждению, исправлю его при первой возможности. Галлия, названная в шестом стихе VIII оды *тенистой*, будет в свою очередь названа *лесистой*, во избежание недоразумений. Что касается до Кавказа, дикого и нелюбовного до чуждых, то пусть он таким и остается, по крайней мере, в моем переводе. По поводу седьмого стиха VI оды:

Ни Одиссея бег двоякий через воды,

развернув Горация, вижу с ужасом, что после винительных *stomachum, domum* и *cursus* — ясно стоит *duplicis Ulixei*. Каким же образом мог я в переводе отнести *duplicis* к *cursus*? Ясно, что это недосмотр. Но подобные недосмотры случаются не со мною одним. Сказавши раз, до какой степени дорожил я близостью к подлиннику, об *aurita* и *vitrea* распространяться не стану. Другое дело третья строфа XXII оды.

Когда без цели я зайду в сабинский лес.

Латинское *santo* и *vagor* и русское *зайду* и *пою* — риторическая фигура, нимало не обращающая случая в обычай волка встречать поэта на прогулке. Доказательством напыщенности этой строфы за нею следующая: *quale portentum*. Словами: «Когда Навин говорит: стань солнце — оно останавливается» оратор не желает сказать, будто Навин делает это всякий день.

Но мы заговорили о промахах. Выписываю слова ученого критика, в которых мне достается за волка. «У г. Фета отдельный случай стал постоянным обычаем волка. Изящество этой оды состоит в оригинальном, полном веселой иронии, переходе от безбоязненности чистого сердца к любви к Лалаге. Переход же этот именно готовится в третьей строфе:

А я пою пиры, да дев, в жестоком гневе
На юношей в бою острящих ноготь свой.

Беру Горация и считаю строфы — раз, два, три:

Namque me silva... Да ведь это и есть: «Когда без цели». Вероятно, третья строфа от этой — раз, два, три и пр. *Rone sub curru*, то есть «хоть брось меня в страну». Оказывается, что стихи «А я пою...» не могут ничего *приготавливать* в этой оде по весьма простой причине. Их вовсе в ней нет. Они смиренно прижались в конце VI оды к Випсанию Агриппе, но и тут не укрылись от нарекания. «Здесь, — по мнению г. Шестакова, — в переводе опять потеряна ирония горадиева стиха; в подлиннике говорится о девушках, которые храбро сражаются с юношами ногтями обрезанными».

Заставим снова ученых издателей и критиков Горация замолвить за себя доброе слово. Бакстер соединяет *sectis in juvenes* и говорит, это то же, что *dissectis in juvenibus*, то есть девы об юношей обломили свои ногти. Правда, Прейс не согласен с теми, по мнению которых *ungues secti* значат заостренные ногти, но Бентлею и этого кажется мало. Он хочет прочесть вместо *sectis* — *strictis*, слово, которое *Statias*, *Thebais* III, 536 употребляет об орлах. Что сказал бы г. Шестаков, если б я придержался этой кровавой картины? До сих пор критик указывал на неудачные выражения; теперь являются два капитальные обвинения: непонимание смысла подлинника и неверность древним понятиям. Об этом скажу два слова. Не понять подлинника буквально значит не хотеть его понять. При малейшем усилии воли и при бесчисленных, увы! пока еще иностранных пособиях, подлинного текста не понять невозможно. Вот неверность древним понятиям — дело другое. Иногда невольно приоденешь древнего во фрак или свитку. Надо выбирать любое. Древний вас не поймет или не узнает себя, промолчит. Он умер. А наш не поймет — беда.

«Так, например, в X оде, к Меркурию, первые две строфы переведены г. Фетом очень хорошо; зато в третьей смысл подлинника совершенно не понят:

В младенчестве твоём, когда, быков сведя,
Угрозы пастыря ты, мальчик, испугался,
Покражу хитрую колчана оглядя,
Сам Аполлон смеялся.

«В подлиннике смысл вот какой. В то самое время как Аполлон грозным голосом стращал тебя, мальчика, если не отдашь ему хитро украденных быков, ты украл у него колчан и гневный бог

рассмеялся». Точно таков смысл подлинника и в оригинале и в моем переводе. Но я писал перевод, а не комментарий, и не имел права, подобно критику, вставлять: *в то самое время, если не отдашь ему, ты украд у него, и гневный бог*. Всех этих слов нет в подлиннике. Желание быть понятным русскому читателю заставило и меня перевести непере译имое *viduus faretra* — «пуст колчаном» (без колчана) словами: «покражу хитрую колчана оглядя» (то есть у себя). Хитрой называет Гораций покражу волос; по запутанности и сжатости куплета, я назвал *хитрую* вторичную покражу Меркурия, то есть похищение колчана, и, кажется, не в ущерб поэтической правде. В заключение решаю спросить: есть ли какая-либо возможность, хотя на одну йоту, понять куплет в моем переводе не в том смысле, в каком предлагают его объяснения г. Шестакова? Интересно бы услышать, как можно понять его еще? «В конце той же оды (продолжает г. Шестаков) встречаем мы новую неверность, на этот раз в передаче древних понятий». — «И богу высоты и бездны угрождаешь». — «Неверность, — по словам критика, — заключается в понятиях *бога высоты и бездны*. Г. Шестаков переводит *superis deorum et imis* — *верхним богам и нижним*. Взяв в соображение иерархическую лестницу, по ступеням которой древние с такой осмотрительностью размещали своих богов, например, кн. I, ода XII, ст. 17 — читатель легко может принять верхних и нижних богов г. Шестакова — за верховных богов и низших — тогда весь образ Горация пропал. Это, по-видимому, чувствовал критик и к слову «нижних» прибавил: «или подземных»; следовательно, мой бог высоты и бог бездны в этом отношении не вводит в недоумение, а ясно указывает, что один на небе, а другой в бездне. Не говорю о том, что Гораций не сказал бы *inferis, a imis*, которое скорее значит находящийся на дне, чем внизу. Не в том дело, беда в том, что я перевел *imis* словом «бездны», а «царства подземных богов, жилище теней умерших», — по словам г. Шестакова, — не представлялось древнему человеку бездною и не называлось так». Посмотрим. Правда, Гораций говорит о жилище радостей, куда Меркурий гонит тени, то есть об Элизиуме. Где Элизиум? «Вопрос, которого не разрешите вы», потому что и сами древние помещали его то на один остров, то на другой, то безразлично по соседству с Орком — жилищем теней. Орк же был под землей, да еще на значительной глубине, иначе не было бы божественным подвигом сходить в него, если бы это было так же легко, как сойти в подвал. Но Гораций говорит о жилище радости, следовательно... Не забудем ни на минуту, что наш автор поэт, да еще и Гораций; он забыл в 4-й строке то, чем начал первую, и под *deorum imis* разумеет не частность, Элизиум, а во-

обще мир подземный, в чем и ученый критик вполне согласен. Гораций не станет вас томить и усыплять представлением одного и того же образа — у него их полный рог изобилия, и он сыплет свои цветы щедрою рукою гения. Итак, речь идет не об одном Элизиуме, но вообще о мире теней. Как же представляли его себе древние? В виде воронки. Это представление сохранил даже полуклассический Дант. Находясь на значительной глубине, Орк с своими богами еще не все подземное жилище, там есть продолжение воронки — тартар с своими божествами; например, фуриями. Воображение нового человека может углубляться в землю до известного предела; этот предел — земной поперечник. У древних неподвижная и незыблемая твердыня земли не имела измерения в глубину, поэтому не удивительно, если Гомер представляет второе отделение воронки, то есть тартар, такой глубиной, какой мы себе представить уже не можем.

В чрезвычайно верном переводе Гнедича мы читаем в VIII песне ст. 13—16:

Или восхищу его и низвергну я в сумрачный Тартар,
В пропасть далекую, где под землей глубочайшая *бездна*,
Где и медяный помост и ворота железные, Тартар,
Столько далекий от ада, как светлое небо от дола.

Но, быть может, небо древних было так невысоко от земли, что углубление с подобным измерением все еще не заслуживает названия бездны? У Гесиода есть двустипшие, которое решаюсь представить в следующем переводе:

Если б наковальня, литая, падала с неба
Десять дней и ночей, в десятый упала б на землю.

Для шутки — известный берлинский астроном Галле, открывший Нептуна, вычислил на этих данных высоту древнего неба, и в результате оказалось 77 800 нем. миль, т. е. 544 600 наших верст. Полагаю, что хотя бы у Гомера и не стояло слово βαράυρον — бездна, все-таки *imi* — связанное с подобными представлениями, не затрудняясь, можно назвать бездной.

IV ода точно написана ad Sextium — следовательно, к Секстию, а не к Сексту, и при случае буква *i* вступит в свои права. Но насчет *пяты* не согласен. Не могу себе представить, чтоб *alterno terram quatiant pede, aequo pulsat pede и pede libero pulsanda tellus* — могло совершаться на носках. Никакие помпейские фрески не убедят меня в возможности бить и стучать носками об землю или тем паче в дверь. Поэтому бледная смерть не имела надобности оборачиваться задом к дверям для того, чтоб стучать пятой; а если б она, хотя однажды, сильно постучала в

лачугу бедняка носком, то, получив воспаление в пальцах, не могла бы стучать *и в терема царей*. Но довольно. И без того ответ мой вышел объемистее, чем предполагалось. Я соглашался с ученым критиком там, где убеждения наши встречались, хотя под различной формой, или где указания его открывали мне мои промахи и недосмотры. Возражая в других случаях, мне хотелось поставить на вид добросовестному критику, что я переводил Горация, справившись и обратившись, как он говорит, за *советом* к известным филологам, каковы: Прейс, Ореллий, Митчерлих и т. д. Если мне случалось выбирать толкование текста, имеющее на своей стороне менее значительные авторитеты, то и на это были причины, в которых я отдавал себе строгий отчет. Иногда более вероятное толкование текста вело за собой представление сложное, неуместное в данном размере на русском языке и по многословию затемняющее поэтический образ. В таком случае, скрепя сердце, приходилось принимать другое чтение, но всегда имеющее за собою авторитеты. Если г. Шестаков ставит мне в вину то, что я не обращался за советом к живущим филологам — отвечу коротко: там, где я переводил Горация, не было филологов.

Повторяю, что прочел статью г. Шестакова с особенным удовольствием и признательностью. Пусть мнения ученого критика порой и расходятся с моими убеждениями, но он высказал не более не менее того, что считал справедливым. Если б я имел на то право, то просил бы г. Шестакова, в видах пользы самому делу, продолжать свои замечания и об остальных книгах перевода. В начале ответа высказана цель, с которой предпринят перевод всех четырех книг од. В какой мере приблизит меня к ней труд мой, то есть обратит ли хотя отчасти внимание образованных читателей на великого лирика — решит время и тем произнесет окончательный приговор самому труду. Если же надежда г. Шестакова сбудется и явится другой переводчик, который силою таланта сумеет, с рифмами или без рифм, воссоздать нам Горация во всей его пленительной красоте, я первый с неподдельным восторгом встречу отрадное явление.

О СТИХОТВОРЕНИЯХ Ф. ТЮТЧЕВА

А. А. Григорьеву

Oui, j'écris rarement, et me plais de le faire.
Non pas que la paresse en moi soit ordinaire;
Mais, sitôt que je prends la plume à ce dessein,
Je crois prendre en galère une rame à la main.

*A. de Musset**

Давно хотелось мне поговорить о небольшой книжке стихотворений Ф. Тютчева, появившейся в 1854 году, наделавшей столько шуму в тесных кружках любителей изящного и увыл относительно к своему достоинству, так мало еще распространенной в массе читающей публики.

В предлагаемых заметках с удовольствием обращаюсь к тебе: это извлекает меня от необходимости начинать *ab ovo*** и толковать о вещах, в существовании которых ты настолько же убежден, как и пишуций эти строки.

Масса читающей публики, увеличиваясь с каждым годом в изумительных размерах (на что указывает наше современное книгопечатание), долго еще будет недоверчиво смотреть на статью, во главе которой не развивается основная теория. Долго еще, читая подобную статью, будет она спрашивать: уж не на собственном ли авторитете основывается пишуций и можно ли ему в подобном случае верить? Что касается до меня, то, отсылая неверующих к авторитетам таких поэтов-мыслителей, как Шиллер, Гёте и Пушкин, ясно и тонко понимавших значение и сущность своего дела, прибавлю от себя, что вопросы: о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности в данную эпоху и т. п. считаю кошмарами, от которых давно и навсегда отделался. Знаю, что если бы, обращаясь к тебе и па-

* Да, редко я пишу, зато молчу охотно.
Не то чтоб лениности был предан беззаботно,
Но только лишь перо рука моя взяла,
В нем тяжесть чувствую галерного весла.

А. де Мюссе (фр. — Пер. С. В. Шервинского).

** с самого начала, *букв.*: от яйца (*лат.*).

родируя возражение Лепида (в «Антонии и Клеопатре» Шекспира), я сказал:

Не время
Теперь писать стихотворенья, —

ты бы с некоторой терпкостью Энобарба ответил:

Время
Всегда на то, что происходит в нем.

Итак, оставляя в стороне все подобные вопросы, спросим прямо: что такое поэзия и какое главное качество поэта? и коснемся этого вопроса настолько, насколько уразумение его нам в настоящем случае необходимо.

Поэзия, или вообще искусство, есть чистое воспроизведение не предмета, а только одностороннего его идеала; воспроизведение самого предмета было бы не только ненужным, но и невозможным его повторением. У всякого предмета тысячи сторон — и не только одно данное искусство с своими строго ограниченными средствами, но и все они в совокупности не в силах воссоздать всего предмета. Какими, например, средствами повторят они его вкус, запах и стихийную жизнь? Но в том-то и дело, что художнику дорога только одна сторона предметов: *их красота*, точно так же, как математику дороги их очертания или численность. — Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, влияет даже на тех, которые ее не сознают, как воздух питает и того, кто, быть может, и не подозревает его существования. Но для художника недостаточно бессознательно находиться под влиянием красоты или даже млеть в ее лучах. Пока глаз его не видит ее ясных, хотя и тонко звучащих форм там, где мы ее не видим, или только смутно ощущаем, — он еще не поэт. Китайский живописец не видит в природе теней; кто из не посвященных в тайну живописи видит на молодом лице все радужные цвета и их тончайшие соединения? а между тем разве они не существуют и разве Ван-Дик или Рембрандт их не видят?

Итак, поэтическая деятельность, очевидно, слагается из двух элементов: объективного, представляемого миром внешним, и субъективного, зоркости поэта — этого шестого чувства, не зависящего ни от каких других качеств художника. Можно обладать всеми качествами известного поэта и не иметь его зоркости, чутья, а следовательно, и не быть поэтом. Так как мир во всех своих частях равно прекрасен, то внешний, предметный элемент поэтического творчества безразличен. Зато другой, внутренний: степень поэтической зоркости, ясновидения — всё. Ты видишь ли или чуешь в мире то, что видели или чуяли в нем

Фидий, Шекспир, Бетховен? «Нет». Ступай! ты не Фидий, не Шекспир, не Бетховен, но благодари Бога и за то, если тебе дано хотя воспринимать красоту, которую они за тебя подслушали и подсмотрели в природе.

Как часто слышится фраза: «такой-то поэт богат или беден содержанием, мыслями». Фраза переходит из уст в уста, но многие ли дали себе труд понять, что такое поэтическое содержание, мысль? Что поэт может быть в то же время и мыслитель, увидим дальше; тем не менее справедливо и то, что можно быть величайшим художником-поэтом, не будучи мыслителем в смысле житейском или философском. Нельзя же мысли вроде той, что козел, ревнуя Сатира к козам, дерется с ним, отнести к области философского мышления; а между тем, кто не видит торжества искусства в пьесе Андрея Шенъе:

*L'impur et fier époux que la chèvre désire... * —*

не должен толковать о поэзии: она для него закрыта. Мало того; самая высокая мысль о человеке, душе или природе, предлагаемая вами поэту как величайшая находка, может возбудить в нем только смех, тогда как подравшиеся воробы могут внушить ему мастерское произведение. Другое дело, если вдохновение нечаянно наведет его на точку, с которой в вашей мысли он увидит для себя такую же богатую жатву, какую нечаянно представила ему драка воробьев. И все-таки торжество будет на стороне его зоркости, а не вашей quasi**-высокой мысли. Так называемое содержание все-таки принесет, добудет своею зоркостью он, а не получит в грубой мысли. — «Луна, мечта, дева! тряпки, тряпки!» Да, действительно, они превращались в тряпки, которыми один ленивый не помыкал. Приступавшие к ним с своими лирами были уверены, что стоит избрать хорошенький поэтически-романтический предмет, и дело уладится само собою.

С каким внутренним содержанием, с какою зоркостью он сам подходит к предмету? Об этом он не хлопочет. Но едва только свежий, зоркий художник взглянет на ту же «луну, мечту или деву» — эти холодные, обезображенные и песком забвения занесенные камни, подобно Мемнону, наполнят пустынный воздух сладостными звуками.

Давно ли раздавались смешные в настоящее время слова: «отличный человек и владеет пером» в значении: хороший писатель? Что же значит подобный отзыв? Разве человек, владеющий только пером, мыслим как поэт? и в то же время разве мыс-

* Нечистый и исполненный спеси супруг, к которому коза вожделеет... (фр.).

** якобы (лат.).

лим человек, одаренный поэтической зоркостью, который не владел бы пером, резцом, кистью и проч.? Если такой человек и не владеет пером, чему бывали примеры, зато как он владеет языком! Если на нем и будут грамматические пятна, зато как ярко выступит его идеал! Я вовсе не проповедаю грамматического неряшества, но, говоря о поэтической зоркости, даже забываю, что существует перо. Дайте нам прежде всего в поэте его зоркость в отношении к красоте, а остальное на заднем плане. Чем эта зоркость отрешеннее, объективнее (сильнее), даже при самой своей субъективности, тем сильнее поэт и тем вековечнее его создания. Пусть предметом песни будут личные впечатления: ненависть, грусть, любовь и пр., но чем дальше поэт отодвинет их от себя как объект, чем с большей зоркостью провидит он оттенки собственного чувства, тем чище выступит его идеал. С другой стороны, чем сильнее самое чувство будет разъедать созерцательную силу, тем слабее, смутнее идеал и бренней его выражение. Я не говорю, чтобы творения (дети) могучих художников не имели с ними и между собой кровного сходства: возьмите нашего Пушкина, вы по двум стихам узнаете, чьи они; но строгий резец художника перерезал всякую, так сказать, внешнюю связь их с ним самим, и воссоздатель собственных чувств совладел с ними как с предметами, вне его находившимися. Каким образом происходит подобное раздвоение чувства и зоркого созерцания? — тайна жизни, как и самая жизнь. Довольно того, что там, где обыкновенный глаз и не подозревает красоты, художник ее видит, отвлекает от всех остальных качеств предмета, кладет на нее чисто человеческое клеймо и выставляет на всеобщее уразумение. В этом смысле всякое искусство — антропоморфизм, и тут, быть может, кроется причина того, что во всяком монотеизме, от магометанского востока до строгого протестантизма, звучала заповедь: «не сотвори себе кумира». Воплощая идеал, человек неминуемо воплощает человека. Но довольно о самом творчестве. Приступая к стихотворениям г. Тютчева, хотелось бы не только указать на их достоинства и энтузиазм, возбужденный ими в тесном кружке знатоков, но в то же время и на те их свойства, которые до сих пор мешают их популярности.

Два года тому назад в тихую осеннюю ночь стоял я в темном переходе Колизея и смотрел в одно из оконных отверстий на звездное небо. Крупные звезды пристально и лучезарно глядели мне в глаза, и по мере того как я всматривался в тонкую синеву, другие звезды выступали передо мною и глядели на меня так же таинственно и так же красноречиво, как и первые. За ними мерцали во глубине еще тончайшие блески и мало-помалу всплывали в свою очередь. Ограниченные темными массами стен, гла-

за мои видели только небольшую часть неба, но я чувствовал, что оно необъятно и что нет конца его красоте. С подобными же ощущениями раскрываю стихотворения Ф. Тютчева. Можно ли в такую тесную рамку (я говорю о небольшом объеме книги) вместить столько красоты, глубины, силы, одним словом, поэзии! Если бы я не боялся нарушить права собственности, то снял бы дагерротипически все небо г. Тютчева с его звездами 1-й и 2-й величины, т.е. переписал бы все его стихотворения. Каждое из них — солнце, т.е. самобытный, светящийся мир, хотя на иных и есть пятна; но, думая о солнце, забываешь о пятнах.

Говоря выше о поэтическом содержании, мысли, мы смешивали эти два понятия, как это делают обыкновенно; но смешивать их никак не должно, потому что содержание хотя и включает понятие о мысли, но относится к ней как весь человек к душе, а никто не смешивает этих двух понятий. Что же такое поэтическая мысль, чем она разнится от мысли философской и какое место занимает в архитектурной перспективе поэтического произведения? Как самая поэзия — воспроизведение не всего предмета, а только его красоты, поэтическая мысль только отражение мысли философской и опять-таки отражение ее красоты; до других ее сторон поэзии нет дела. Чем резче, точнее философская мысль, чем вернее обозначена ее сфера, тем ближе подходит она к незыблемой аксиоме, тем выше ее достоинство. В мире поэзии наоборот. Чем общей поэтическая мысль, при всей своей яркости и силе, чем шире, тоньше и неуловимей расходуется круг ее, тем она поэтичней. Она не предназначена, как философская мысль, лежать твердым камнем в общем здании человеческого мышления и служить точкою опоры для последующих выводов; ее назначение — озарять передний план архитектурной перспективы поэтического произведения, или тонко и едва заметно светить в ее бесконечной глубине. Нет в мире предмета без соответственной ему идеи в душе человека, нет перспективы без озаряющего ее света, нет поэтического созерцания без поэтической мысли. Поэтому, приступая к произведению истинно прекрасному, напрасно с такой настойчивостью требуют мысли. Если требования относятся к мысли в чисто философском значении, то от подобных требований надо лечиться, а еще лучше того родиться так, чтобы различать две совершенно различных вещи. Если же поиски за мыслью поэтической, тогда нужно вглядываться в поэтическую перспективу. В произведении истинно прекрасном есть и мысль; она тут, но нельзя, не имея пред глазами самого произведения, определить, где именно надо ее искать: на первом плане, на втором, третьем и т. д., или в нескончаемой дали? Но что она тут, за это ручается

тайное сродство природы и духа или даже их тождество, как об этом говорит наш поэт на могучем языке своем: стр. 135, CVII.

Дума за думой, волна за волной —
Два проявленья *стихии одной!*
В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,
Здесь — в заключении, там на просторе:
Тот же все вечный прибой и отбой!
Тот же все призрак, тревожно пустой!

Определить вполне заранее придуманной теорией отношения внешней стороны явлений в поэтическом произведении к его мысли — невозможно. Можно только сказать, что отношение их друг к другу и к степени художественного достоинства обратно. Мы уже сказали, что чем тоньше и общей поэтическая мысль, тем она выше; но зато, чем сосредоточенней внешняя сторона явлений в создании поэтическом, чем рельефней выдается, с данной точки зрения, главная, — одна его часть (*pars pro toto* *), тем сильнее и верней производимое им впечатление.

Придайте поэтической мысли резкость и незыблемость аксиомы, — она сейчас станет в ряду великих истин, воспрещающих казно-, коно- и платкокрадство; вдайтесь в подробности или окружите поэтическое явление равносильными ему другими, и оно побледнеет до ничтожества. Изваяйте из мрамора море и поставьте на его волнах каменную нимфу, — все захохочут; а придайте — у ног этой же нимфы — одной каменной волне форму движения, и ваша нимфа будет качаться по бурному морю. Стань Гораций в лирическом произведении подробно описывать троянский бой, все заснут. Но он говорит:

Увы! в каком поту и мужи и кони, —

или:

Как черен, весь в пыли троянский Мерион, —

и битва перед вами. Тем не менее, оба эти элемента поэзии, при обратном своем отношении, ведут каждый в свою очередь к одному и тому же результату. Образ своей замкнутостию, а мысль своей общностию и безграничностью вызывают душу созерцателя на восполнение недосказанного, — на новое творчество, и таким образом гармонически содействуют его соучастником художественного наслаждения. Произведение, не трогающее соответственной струны в душе человека, — труп.

* часть вместо целого (*лат.*).

Мы указали только на взаимное отношение образа и мысли, на их, так сказать, удельный вес; место же, занимаемое ими в перспективе произведения, зависит единственно от устройства души художника и его настроения в данный миг. У одного мысль выдвигается на первый план, у другого непосредственно за образом носится чувство и за чувством уже светится мысль, как это, например, в гетевском «Рыбаке» («Der Fischer»). За внешней формой баллады стихийное чувство: соблазнительная область влаги, и на дне этого чувства мысль о непреодолимой, таинственной силе, влекущей человека в неведомый мир. Прошу не медля всепрощения у тени великого поэта за переложение в прозу того, что он так художественно сказал своим «Рыбаком». Мне хотелось только указать на присутствие в произведении того, что в нем действительно заключается, и, не пускаясь в новые определения, вывести в примере элементы чувства, о котором не хочу распространяться, так как на его счет все более или менее согласны. В иных художественных произведениях мысль так тонка и до того сливается с чувством, что, даже написавши много, трудно высказать ее ясно, что, однако, несколько не вредит богатству содержания и достоинству целого. Вспомните «Тучу» (Пушкина):

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облежала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки деревьев,
Тебя с успокоенных гонит небес.

Кто не видит чудной замкнутости этого образа, не чувствует свежести, которую он веет, и не подозревает мысли о просветлении, тому я ничего не могу сказать. Нельзя, безумно желать более роскошного содержания. Кого оно не удовлетворяет, тому одно прибежище — аксиомы о неприкосновенности чужих платков. Не решаюсь сказать, что подобное отношение формы, чувства и мысли самое гармоническое. Да это было бы и несправедливо. Я только заявляю факт и рядом с ним укажу на другие творческие натуры, у которых, при первом взгляде на предмет,

ярко загорается мысль и выступает на первый план, или непосредственно на второй, сливаясь с чувством или отодвигая его в глубину перспективы. К таким художникам, бесспорно, принадлежит г. Тютчев. Чтобы наглядней объяснить нашу мысль, возьмем стихотворения двух поэтов, написанные на одну и ту же тему.

Сожженное письмо (Пушкина)

Прощай, письмо любви, прощай! она велела...
Как долго медлил я, как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал: гори, письмо любви!
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. Вспыхнули... пылают... легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утрата впечатленья,
Растопленный сургуч кипит. О провиденье!
Свершилось! Темные свернулись листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...

С готовым чувством бесконечной грусти и покорности приступает поэт к сожжению письма. Прежде чем загорается перед вами драгоценное письмо, Пушкин уже вводит вас в свою грусть словами: «прощай, письмо любви, прощай! она велела...»

Первые четыре стиха вызывают отчаянную решимость, и вместе с поэтом вы готовы воскликнуть: «готов я; ничему душа моя не внемлет».

Вслед за тем мастерское описание процесса горения своей последовательной точностью вернее всяких восклицаний говорит о страдательной напряженности внимания. От слов: «уж пламя жадное» — до «белеют», при каждом новом явлении горения, вы как будто не верите в еще полнейшее разрушение драгоценного письма. Все описание подложено самым ярким чувством. Стихотворение кончается примирительным воплем, — опять чувство. Во всей пьесе чувство решительно на втором плане и ясно проглядывает между образами первого плана, а в иных местах вырывается и на первый, как, например, в возгласах: «О провиденье! Свершилось!» Зато живая мысль стихотворения улетела в беспредельную глубину перспективы и веет там — об-

щая, неуловимая, светло-примирительная. Она до того тонка и отдаленна, что о ней можно спорить, как о форме легкого, вечернего облака. Но такова она и должна быть по всему строю стихотворения; обозначенная ясней, она бы закричала и разрушила гармонию целого.

Совершенную противоположность представляет сожженное письмо г. Тютчева, стр. 23:

XVIII

*Как над горячею золой
Дымится свиток и сгорает
И огонь, сокрытый и глухой,
Слова и строки пожирает,*

*Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом;
Так постепенно гасну я
В однообразьи нестерпимом.*

*О! Небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И, не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы и погас.*

Первое слово «как», управляющее всем куплетом, доказывает, что процесс горения, так мощно и тонко обрисованный, один предлог высказать задушевную мысль. Недаром огонь, пожирающий слова и строки, «сокрытый и глухой»; чувствуешь, что он одновременно ходит и по извивам свитка, и по изгибам души поэта. Наше ожидание сбывается вполне: поэтическая мысль уже ясно выступает во втором куплете, а в третьем вспыхивает так ярко, что самый образ пылающего письма бледнеет перед ее сиянием. В этом стихотворении чувство на заднем плане, хотя и не на такой глубине, на какой мысль в стихотворении Пушкина.

Говоря о мысли, мы везде будем подразумевать — поэтическую; до других нам дела нет, и в отношении к ней г. Тютчев постоянно является полным, самобытным, а потому нередко причудливым и даже капризным ее властелином. Поэтическая сила, т. е. зоркость г. Тютчева — изумительна. Он не только видит предмет с самобытной точки зрения, — он видит его тончайшие фибры и оттенки. Уж если кого-либо нельзя упрекнуть в рутинности, так это нашего поэта.

Раскрывая наудачу книгу стихотворений, как бы в подтверждение слов моих нахожу на 6 стр.:

VI
Осенний вечер

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть...
Зловещий блеск и пестрота деревьев,
Багряных листьев томный, легкий шелест,
Туманная и тихая лазурь
Над грустно сиротеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветер порою,
Ущерб, изнеможенье, и на всем
Та кроткая улыбка увяданья,
Что в существе разумном мы зовем
Возвышенной стыдливостью страданья.

В изображении осеннего вечера поэт как бы идет мимо всего общеизвестного и останавливается на чертах, которые подсмотрел сам, а потому прямо начинает стихотворение формой речи, указывающе на присутствие не всеми видимого:

«*Есть* в светлости» и т. д. Мы подчеркнули выражения, которые своей тонкой прелестью и смелостью особенно кидаются в глаза, хотя все стихотворение изумительно полно и выдержано от первого до последнего слова. Одинокое, вполне тютчевское слово «ущерб» — ненаглядно. Два заключительных стиха являются как будто в виде сравнения, но это вовсе не сравнение. Нередко образ бездушной природы вызывает в душе поэта подобие из мира человеческого, или наоборот; так у Пушкина:

Журчит во мраморе вода
.....
.....
Так плачет мать во дни печали.

Или:

Живу печальный, одинокий
И жду: придет ли мой конец?
Так поздним хладом пораженный
.....
.....
Трепещет запоздалый лист.

Двустипшие, которым заканчивается «Осенний вечер», — не быстрый переход от явления в мире неодушевленном к миру человеческому, а только новый оттенок одухотворенной осени. Ее

пышная мантия только полнее распахнулась с последними шагами, но под нею все время трепетала живая человеческая мысль. То же самое и в следующем затем стихотворении, стр. 7, VII:

Что ты клонишь над водою...

По свойству своего таланта г. Тютчев не может смотреть на природу без того, чтобы в душе его одновременно не возникала соответственная яркая мысль. До какой степени природа является перед ним одухотворенной, лучше всего выражает он сам, стр. 15.

XII

Не то, что мните вы, природа
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Не продолжая выписки, заметим, что не только каждое стихотворение, почти каждый стих нашего поэта дышит какою-нибудь тайной природы, которую она ревниво скрывает от глаз непосвященных. Какою эдемскою свежестью веет его весна и юг! Каким всеильным чародеем проникает г. Тютчев в заветную область сна и как это субъективнейшее явление отделено у него от человека и мощно выдвинуто на всеобщее уразумение. Прислушайтесь к тому, что ночной ветер напекает нашему поэту, — и вам станет страшно. Но всего не перечтешь. Называя г. Тютчева поэтом мысли, мы указали только на главное свойство его природы, но она так богата, что и другие ее стороны не менее блестящи. Кроме глубины, создания его отличаются неуловимой тонкостью и грацией, вернейшим доказательством силы. Недаром Гёте говорит:

Willst du schon zierlich erscheinen, und bist nicht sicher?
Vergebens!
Nur aus vollendeter Kraft blicket die Anmuth hervor.

Ты не тверд, а хочешь казаться изящным? Напрасно!
Только из замкнутых сил тонкая прелесть сквозит.

Все живое состоит из противоположностей; момент их гармонического соединения неуловим, и лиризм, этот цвет и вершина жизни, по своей сущности, навсегда останется тайной. Лирическая деятельность тоже требует крайне противоположных качеств, как, напр., безумной, слепой отваги и величайшей

осторожности (тончайшего чувства меры). Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик. Но рядом с подобной дерзостью в душе поэта должно неугасимо гореть чувство меры. Как ни громадна лирическая смелость, — скажу более, — дерзновенная отвага г. Тютчева — не менее сильно в нем и чувство меры. До какой бы степени не поразили вас сразу смелый, неожиданный эпитет или бойкая метафора нашего поэта, не верьте первому впечатлению и знайте наперед, что это яркие краски живых цветов; они блестящи, но никогда между собой не враждуют. Присмотритесь попристальнее к поразившей вас метафоре, и она в глазах ваших начнет таять и сливаться с окружающей картиной, придавая ей новую прелесть. И пусть в следующей пьесе, стр. 98:

LXXXII

Сияет солнце, воды блещут,
На всем улыбка, жизнь во всем,
Деревья радостно трепещут,
Купаясь в небе голубом.

*Поют деревья, блещут воды,
Любовью воздух растворен,
И мир, цветущий мир природы,
Избытком жизни упоен.*

Но и в избытке упоенья
Нет упоения сильней
Одной улыбки умиленья
Измученной души твоей —

деревья поют у г. Тютчева! Не станем, подобно классическим комментаторам, объяснять это выражение тем, что тут поют сидящие на деревьях птицы, — это слишком рассудочно; нет! нам приятнее понимать, что деревья поют своими мелодическими весенними формами, поют стройностью, как небесные сферы. Зато каким скачком рвется вперед, со второго куплета, лиризм стихотворения, и без того погружающего читателя с первого полустушия в море весеннего восторга. Стихотворение — все чувство, все восторг, но и в нем, при последнем куплете, поэт не ушел от вечной рефлексии. Чувствуешь, что и в минуту наслаждения природой он ясно видит причину своего восторга.

Таким же магическим толкователем тончайших чувств является г. Тютчев в стихотворениях, стр. 54:

XLVI

Еще томлюсь тоской желаний...

или, стр. 66:

LVII

Тихой ночью, поздним летом...

или, стр. 99:

LXXXIII

Не остывшая от зною... —

хотя в последнем присутствие мысли ощутительней, чем в двух первых.

Искусство ревниво; оно в одном и том же произведении не допускает двух равновесных центров. Хотя мысль и чувство постоянно сливаются в художественном произведении, но властвовать раздельно и одновременно всей пьесой они не могут. Богатый тем и другим элементом, г. Тютчев, как строгий художник, почти никогда не позволяет произведению падать под избытком содержания.

Мы уже заметили, что художественность формы — прямое следствие полноты содержания. Самый вытощенный стих, выливающийся под пером стихотворца-непозта, даже в отношении внешности, не выдерживает и отдаленного сравнения с самым, на первый взгляд, неуклюжим стихом истинного поэта. «Фауст» написан стихами ломаными, языком нередко изнасилованным, а посмотрите, какой стальной силой отзываются эти дубинные стихи (Knüttelverse). Поэты-художники не выдумывают красоты своих стихов, как истинные красавицы не придумывают чарующей улыбки. Не одного Сальери приводил этот факт в отчаяние, — но тут нечем помочь беде. А предосадно! Один трудится, пыхтит, и ничего не выходит, или выходит безобразие, а другой как будто шутит, а

Пошла шутка в дело.

Никто, ни даже сам г. Тютчев, не скажет ни за что, почему у него в стихе:

Гроза прошла —еще, курясь, лежал... —

цезура, как гильотина, отрубила один образ от другого? Почему его стихи то как

Чьи-то грозные зеницы
Загорались над землею,

то, подаваясь вперед медленными, легко-отрывистыми вздохами

А эта тень, бегущая от дыма, —

разрешаются женским, нежным, как призрак разлетающимся звуком: *ма?* Так же гармонически сливаются на 77 стр., LXVII, в стихотворении «Последняя любовь», два различных размера:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...

И не отыскивал поэт тех мужественных созвучий, которые так энергично разбивают последний стих, стр. 51:

XLIII

Ах, и не в эту землю я *сложил*
То, чем я *жил* и чем я *дорожил*.

Мастерство с первого стиха вводит читателя в недро поэтического содержания у г. Тютчева общее со всеми истинными поэтами. Незнакомого лирического стихотворения нечего читать дальше первого стиха: и по нем можно судить, стоит ли продолжать чтение.

Выписываем еще стихотворение, стр. 19, единственно потому, что оно наглядно объясняет сказанное в предыдущих параграфах.

XV

Итальянская вилла

И распротысь с тревогою житейской
И кипарисной рощей заслонясь,
Блаженной тенью, — тенью елисейской,
Она заснула в добрый час.

И вот тому уж века два, иль боле,
Волшебною мечтой ограждена,
В своей цветущей опочив юдоли,
На волю неба предалась она.

Но небо здесь к земле так благосклонно:
И много лет и теплых южных зим
Провеяло над нею полусонной,
Не тронувши ее крылом своим.

По-прежнему фонтан в углу лепечет,
Под потолком гуляет ветерок,
И ласточка влетает и щебечет...
И спит она, и сон ее глубок.

И мы вошли: все было так спокойно,
Так все от века мирно и темно!
Фонтан журчал недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно.

.....

Вдруг все смутилось: судорожный трепет
По ветвям кипарисным пробежал;
Фонтан замолк; и некий чудный лепет,
Как бы сквозь сон, невнятно прошептал.

Что это, друг! иль злая жизнь недаром, —
Та жизнь — увы! — что в нас тогда текла, —
Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,
Через порог заветный перешла?

Как-то странно видеть замкнутое стихотворение, начинающееся союзом *и*, как бы указывающим на связь с предыдущим и сообщающим пьесе отрывочный характер. Действительно, у этого стихотворения есть предыдущее; — целый обаятельный мир, связанный со звуком: Италия...

Есть речи, — значенье
Темно иль ничтожно,
Но им без волненья
Внимать невозможно.

Этот-то полуволшебный мир веял вокруг поэта, когда он приступал к стихотворению, — и художник понял, что отдаться этому миру вполне можно только в ущерб *вилле*, а тонкий, эфирный на него намек посредством частицы *и* окружит *виллу* атмосферой сладостных грез. Совладев так мастерски с содержанием в начале стихотворения, поэт под конец увлекся своим господствующим элементом — рефлексиею. Весь поэтический образ стихотворения подложен чувством, хотя и принадлежащим человеку мысли. Допустим, что нельзя было остановиться на прелестном образе:

Фонтан журчал... Недвижимо и стройно
Соседний кипарис глядел в окно.

Читатель вправе спросить: что ж из этого? Следовало кончить — но не новым элементом мысли (которая могла бы послужить содержанием отдельному стихотворению, а здесь, представляя новый разнородный центр, дает концу пьесы вид придуманности, хотя он вовсе не придуман, а вытек из рефлексивной природы поэта, с которой он на этот раз не совладал и не отодвинул от себя собственного я так же мощно, как это он делает везде). Разбираемое нами стихотворение великого мастера — многозначительный урок, с одной стороны, для лирических поэтов, сознающих свое дело, а с другой — для критиков, бессознательно и настойчиво требующих содержания. Художественная прелесть этого стихотворения погибла от избытка содержания. Новое содержание — новая мысль, независимо от прежней, едва заметно трепетавшей во глубине картины, неожиданно всплыла на первый план и закричала на нем пятном. Но что значит подобная дисгармония в одном или двух стихотворениях поэта, у которого самые недостатки происходят от избытка силы. Повторяем: пусть под вдохновенным пером его попадают устаревшие формы вроде *съединять, вспоминанья, облак* вместо *облако, листье* вместо *листва* (хотя слово *листье* очень ловко) и неверные ударения, вроде: *завесу* вместо *завёсу, змеи* вместо *змеи*, — все это мелочь, на минуту неприятно поражающая слух, но неспособная набросить и малейшей тени на художественную прелесть стихотворений г. Тютчева.

Радуюсь, что немногие из них дают мне повод высказаться касательно одной стороны критических требований. Я говорю о стихотворениях на современные случаи и лица (*Gelegenheitsgedichte* *). Опыт доказывает, что деятельность в этом направлении была всегда самой больной стороной поэтов, от которой так или сяк им приходилось страдать.

Одних преследовали вечные упреки в равнодушии к современным интересам, другие — и великие поэты, уступая просьбам или собственному сочувствию к современности, подобно Гёте, писали дюжинами *Gelegenheitsgedichte*, и писали их плохо; иные же, что всего хуже, увлекшись современностью, давали возможность заподозривать их в пристрастии, а быть может, и в чувствах еще более зазорных.

Рассматривая этот вопрос, надо сделать строгое различие между такими стихотворениями. Одни пишутся по заказу и,

* стихотворения на случай (*нем.*).

следовательно, не принадлежат к свободному творчеству. Другие, хотя и современные, — плоды вдохновения. О них только и можно говорить.

Как ни различен предмет (объект), уловляемый дагерротипом, от предмета, воссоздаваемого искусством, и как ни противоположны результаты здесь и там, возьмем все-таки для сравнения дагерротип, в том внимании, что и бездушный аппарат, и одухотворенный глаз художника улавляют известные очерки предмета. Ни тот, ни другой не могут снимать предметов движения. Изображая движение, искусство застает его только в данный миг и в нем увековечивает. Из этого закона не изъята и самая драма, вся основанная на движении.

В силу этого непреложного закона художники, с одной стороны, инстинктивно отворачиваются от современного содержания, а с другой — подвергаются нареканиям. Избирая предметом песни вековые явления мира внутреннего или внешнего: «*луну, мечту, деву*», — художник не рискует тем, что их не узнают в его произведении. Положим, луна оказалась ему сегодня золотой, а завтра покажется серебряной, но есть надежда, что она и ему и читателю когда-нибудь снова предстанет золотой. То же можно сказать о событиях и лицах, отодвинувшихся в такую глубину прошлого, что они установились на одной степени неподвижности с горою и Полярной звездой. В этом смысле прелестного стихотворения г. Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...

нельзя назвать современным. Оно точно так же было бы современным за две тысячи лет, как, вероятно, и будет еще на неопределенное время. С неустановившимися историческими образами беда самому первоклассному поэту. Положим, что силою волшебного жезла он остановил движущийся образ и воссоздал изящную его сторону; завтра же, по законам движения, все прелестные линии изломались и возбуждают всеобщее недоверие к добросовестности художника. Из сказанного сатира уже потому делает исключение, что идеальная сторона зла гораздо менее зыбка. Порок примитивнее, а следовательно, неподвижнее добродетели, которая предполагает сознание. Разве инстинктивное желание отыскать в ближнем темную сторону — не вечно? Равнодушные к чистому искусству могут допускать все; но я не устыжусь моего к нему сочувствия и смело говорю: люди, у которых хотя однажды во всю жизнь вырвались, в сочетании с содержанием, такие рифмы, как:

Недвижим он лежал, и *странен*
Был томный мир его чела.
Под грудь он был навывлет *ранен*, —

приобрели право подвергаться подозрениям в недобросовестности, основанным только на несомненных данных.

Стихотворения г. Тютчева, исполненные светлых, высоко человеческих мотивов, как, напр.:

Пошли, господь, свою отраду... —

дали нам только повод намекнуть на законы, вследствие которых современные стихотворения, написанные вчера, нередко бледнеют сегодня. Но утешьтесь, вдохновенные! Муза не обманывает своих поклонников. Пусть ваши современные образы бледнеют в ярком калейдоскопе насущной суеты; придет пора, они отодвинутся во глубь прошедшего, умолкнет разногласия дня, первообраз ваш дойдет до тихой неподвижности и поэтический контур его, в минуту вашего вдохновения, получит первобытные права на всеобщее сочувствие.

Преднамеренно избегнув в начале заметок вопроса о нравственном значении художественной деятельности, мы теперь сошлемся только на критическую статью редактора «Библиотеки для чтения» в октябрьской книжке 1858 года: *Очерк истории русской поэзии*.

В конце статьи в особенности ясно, спокойно и благородно указано на высокое это значение. Вполне разделяя воззрение автора, мы в то же время твердо уверены, что яркому поэтическому огню г. Тютчева суждена завидная будущность не только освещать, но и согревать грядущие поколения.

Решаюсь выписать еще одно стихотворение (стр. 48):

XL

Сон на море

И море, и буря качали наш челн;
Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
И две беспредельности были во мне —
И мной своевольно играли оне.
Кругом, как кимвалы, звучали скалы
И ветры свистели и пели валы.
Я в хаосе звуков летал оглушен;
Над хаосом звуков носился мой сон...
Болезненно-яркий, волшебном-немой,
Он веял легко над гремящею тьмой,

В лучах огневицы развил он свой мир,
Земля зеленела, светился эфир...
Сады, лабиринты, чертоги, столпы...
И чудился шорох несметной толпы.
Я много узнал мне неведомых лиц:
Зрел тварей волшебных, таинственных птиц, —
По высям творенья я гордо шагал,
И мир подо мною недвижно сиял...
Сквозь грезы, как дикий волшебника вой,
Лишь слышался грохот пучины морской,
И в тихую область видений и снов
Врывалась пена ревущих валов.

Разве не гигантское вдохновение, не могучее искусство создали эти образы? Не могу воздержаться от задорного вопроса: у кого из современных лириков такая мощь? У Гейбеля, что ли, расходящегося десятками тысяч экземпляров? «Зато, — заметят мне, — его все понимают». — Великая заслуга! да что там понимать-то? — Действительно, первое условие художественности — ясность; но ясность ясности рознь. Не потому г. Тютчев могучий поэт, что играет отвлеченностями, как другой играет образами, а потому, что он в своем предмете так же уловляет сторону красоты, как другой уловляет ее в предметах более наглядных. А что мир отвлеченный не всем равно доступен, а для иных и вовсе не существует, по крайней мере, сознательно, — это другое дело. Скажите или растолкуйте неграмотному самое слово *отвлеченность*, поймет ли он, в чем дело? а между тем это понятие ничуть не туманнее понятия о репе.

Немалого требует г. Тютчев от читателей, обращаясь к их сочувствию. До сих пор большинство не отозвалось, да и не могло отозваться на его голос. Но тем больше славы поколению, породившему таких поэтов, как Пушкин, Тютчев и Кольцов, и тем больше чести народу, к которому поэт обращается с такими высокими требованиями. Теперь за нами очередь оправдать его тайные надежды.

«ЧТО ДЕЛАТЬ?».
ИЗ РАССКАЗОВ О НОВЫХ ЛЮДЯХ
Роман Н. Г. Чернышевского
(«Современник» 1863 года за март, апрель и май)

«Нигде святость брака так не попирается, как в сфере бурсацких типов» («Совр.» 63 года. Апрель, стр. 564).

«Русские священники, диаконы, причетники — представители православного пролетариата... У них нет собственности»... (там же).

«Все это порождение проклятого пролетариата в нашем духовенстве. Кого же винить?» (там же, стр. 565).

[Глава первая]

Судьбе угодно было заставить нас переживать один из знаменательнейших и интереснейших моментов в нашей народной жизни. Многие из форм этой жизни устарели и настоятельно требовали безотлагательной замены. Такое явление не только не ново, но повторяется в целой природе как коренной закон и непреходящее условие жизни.

Над чем же тут останавливаться, если все идет согласно вечному порядку вещей? Старое падает, новое образуется и восходит. Что же тут особенно знаменательного и исключительно интересного?

Интерес переживаемого нами периода не столько заключается в самих явлениях, несмотря на их громадность, сколько в причинах и форме этих явлений.

История природы, равно как и ход человеческих судеб приучили наблюдателя к двум формам, присущим всяким переворотам. Мы привыкли в каждой новой форме жизни видеть результат многих совокупных сил, тяготеющих к одному центру. Эту совокупную силу обстоятельств, часто совершенно независимую от воли человека, мы привыкли называть судьбою народов, в противоположность сознательному действию человека,

имеющему главным источником его же собственный свободный дух. Последний образ действий называется служением идее, и если бы вызванные им явления в окончательных результатах и сошлись бы порожденными бессознательной силой вещей, — то это несколько не уменьшило бы громадной разницы между одной и другой причиной известного переворота.

Это одна из форм, присущих переворотам, а вот и другая, вытекающая из первой. Природа не терпит скачков. Если бы весеннее солнце, вызывающее растения к новой жизни, не застало землю покрытую отжившими травами, то это же благотворное светило иссушило бы землю и убило бы новые ростки при самом их появлении. Высокое древо христианства не вдруг покрыло Европу своею тенью, а в свою очередь выбивалось из умирающих терний язычества. Наше время, стараясь энергически освободиться от пассивной покорности бессознательным силам вещей, выставило на своем знамени гордый девиз: *служение идее* и тем самым поставило себя в величайшую ответственность, какую когда-либо человеческий дух принимал на себя. Номад, зависящий от подножного корму, не имеет надобности спрашивать себя: *что делать?* Такой вопрос даже может показаться ему странным. — Как: *что делать?* Переходить с пастбища на пастбище и жить чем бог послал. Но человек, окончательно убежденный в дальнейшей несостоятельности такого рода жизни и решившийся искоренить плугом все дико растущие растения, чтобы заменить их более питательными, вследствие одной этой решимости обязан сообразить тысячи вещей; прежний запас питательных веществ, свойства почвы и климата, время посева, доброкачественность семян и т. д., а главное — при каждом искусственном возвращении — сеятель не должен забывать, что можно изменять одну форму ухода, отнюдь не касаясь его сущности.

Каждый живой организм имеет бесчисленное множество потребностей и способность развиваться соответственно каждой из них, в ту или другую сторону. Дереву нужен и свет, и тень, и хорошее сообщение с корнем, и простор для молодых побегов. Всеми этими способностями растения садовник вправе пользоваться для известных целей, то развязывая его шпалерой, то подстригая верхушку, то, напротив, подчищая нижние ветви, но если бы в пылу преобразований он вздумал пересадить весь сад вверх корнями, то остался бы как крыловский — «Философ без огурцов».

В устах законодателей и наставников народов фразы вроде «ведь ревность — глупость» несколько не лучше фразы «корни, листья, сердцевина — глупость», произносимой ботаником.

Но мы не будем забегать вперед. Мало ли бесспорных глупостей и нелепостей на свете, да не в нашей власти уничтожить их бесследно.

Мы хотели высказать перед читателем причины, побудившие нас выступить с разбором романа «Что делать?» теперь, когда сила впечатления, произведенного им на известную часть публики, уже значительно ослаблена временем. Именно потому-то мы и избрали этот роман темой нашей беседы. В период его появления условия нашей гласности были до того стеснительны, что, исключая почти всякую возможность прямых и ясных указаний на явления, развивали только в известном кругу писателей искусство говорить шифрованной азбукой, от которой незатейливый ключ находился в руках всякого — кроме цензора. В настоящее время цензор сошел в ряды простых смертных — и виртуозность на языке глухонемых и умеющих, уступая место общепонятному слову, — сошла со сцены. Перед нами полная возможность говорить и о романе, и о целом направлении, которого он является ярким и единственно конкретным представителем. Нам дорого самая форма романа. Лишь эта форма несомненно и бесспорно указывает не только на то, *что делать*, но и на то, что делают люди известных убеждений. Гораздо легче перетолковать целый трактат или ряд отвлеченных законоположений, чем отказаться от ряда совершившихся фактов. Пусть улыбнется читатель-оптимист, укоряя нас в борьбе с призраками и ветряными мельницами. Да, отвечаем мы, все это призраки и марево, но нам легко было бы показать с очевидностью, до какой степени эти обманчивые призраки сбивают многих молодых, неопытных или не самостоятельных людей с толку, отвлекая их внимание и силы от существенных целей и занятий, им же имя легион. Правда, эти болезненные призраки, как блудящие огни, всего более заметны в местах темных, отдаленных от солнечного света, но мало ли у нас темных захолустьев? Кроме того, эти призраки, появляясь беспрестанно на пути серьезных деятелей, отнимают у них время и силу на бесплодную с ними борьбу. Поверьте! не мало найдется и таких, которые выводят из подобострастно восторженных похвал роману «Что делать?», с одной стороны, и из всеобщего о нем молчания, с другой — заключение о неопровержимости породивших его положений и могуществе его доктрины. Роман «Что делать?» дорог для нас уже потому, что автор его еще в то время понял всю бесплодность одних вечных отрицаний и невозможность останавливаться на них. Он давно сознал, как стыдно свистать в эту старую, засушенную и загаженную дудку бесплодного отрицания. Человек делает гать на трясине, — а другой чистит трубу. Изоб-

ретите способ не намокнуть первому и не замараться последнему, и вас причислят к благодетелям человечества. Но не восклицайте: зачем этот вымок, а этот в саже. Это и детям наскучит. Отвечать на подобные возгласы не менее стыдно, как и пробиваться ими. Вот где начинается наша личная благодарность г. Чернышевскому. Он вывел, по крайней мере, дело из области бесплодных, перед целым образованным и порядочным светом опозорившихся свистков и ругательств, на стезю положения. Он ясно указал, *что делать* должно в интересах известной пропаганды. Он выставил нам идеал распространяемого им учения. За это мы должны быть ему признательны. Дело другое, если на поверку выйдет, что по этому идеалу невозможно жить никакому в мире обществу. Решаясь высказать свои соображения по поводу этого идеала, мы оставляем окончательное решение вопроса на суд самого читателя. Если мы иногда позволим себе выставить имя автора, то лишь во избежание повторений, затмевающих предмет. Дело не в личности, а в доктрине. Высказываясь печатно, мы и не думаем заискивать у тех читателей, которых г. Чернышевский величает публикой и к которым относится так двуязычно: «Ты публика *добра, очень добра*, потому ты не разборчива и не догадлива. На тебя нельзя положиться — у тебя плохое чутье... Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он думает о том, какой сумбур у тебя в голове, сколько лишних, лишних страданий дает каждому человеку дикая путаница твоих понятий. Мне жалко и смешно смотреть на тебя: ты так немощна и *так зла*, от чрезмерного количества чепухи в твоей голове».

Вот на какой беззащитно тупоумный круг заранее рассчитывает пропаганда автора. Надо сознаться, что такой выбор адептов обличает человека *«умеющего»*. Чем менее в известной среде дорогих, веками освященных преданий, знакомства с постепенным развитием человеческого общества и способностей к самобытному мышлению, тем благоприятнее такая среда к восприятию всего незрелого, недодуманного, поверхностного и парадоксального. Тут некому задуматься о благе, правде или красоте, а достаточно чего-либо поновей да почудней, чтобы составить вокруг себя самый голосистый хор одобрения. Тем не менее, людям *умеющим* не следует забывать, что этот хор с такою же беззаботностью покидает свой недавний кумир, с какою толпа, теснившаяся на мосту поглазеть на проплывающие щепки, расходится с возгласами: «Эк, дурачье, лезли! Чему обрадовались?»

Относясь к своим, по его уверению, повсюду возникающим единомышленникам, г. Чернышевский продолжает: «С тобою, с огромным большинством я *нагл*, но только с ним и только с

ним я говорил до сих пор. С людьми, о которых я теперь упоминаю, я говорил бы скромно, даже робко. Но с ними мне не нужно было объясняться. Их мнениями я дорожу, но я вперед знаю, что оно за меня. *Добрые и сильные, честные и умеющие*, недавно вы начали возникать между нами, *но вас уже не мало и быстро становится все больше*. Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою, — потому мне еще нужно и уже можно писать». Обращаясь к читателю, автор прямо объявляет, что за ним *стоит уже не мало и быстро становится все больше* людей *добрых, честных, сильных*, а главное *умеющих*, при содействии которых ему *уже можно писать*, как он пишет.

Разделяя с нашим автором его доверие к людям *«умеющим»* в отношении их способности самобытно мыслить и предвидеть, куда они ведут толпу, мы все-таки не обратимся и к ним, хотя и по другим причинам. Мы не решимся оскорбить людей умеющих предположением, чтобы они способны были принять за идеал возможного карикатурную утопию, имевшую, как увидим ниже, и на западе временный успех только в самой темной и неразвитой массе населения. В этом пункте мы, без сомнения, сошлись бы с умеющими.

Не можем забыть, как один из светильников quasi-нового учения, в нашем присутствии, на вопрос о судьбе детей в женско-мужских коммунах, ответил голосом, полным убеждения: *«Детей не предполагается»*. Мы убеждены, что подобная фраза, сказанная с самым глубокомысленным выражением лица, стоила бы и человеку *умеющему* усилий к подавлению закипающего идеалов. Попробуй-ка мы добродушно подойти к этим *умеющим* с девизами: единство России, равенство перед законом без преднамеренного пригибания весов в ту или другую сторону, уважение к серьезному труду, к серьезной науке, к строгому искусству, к чистоте нравов и т.д. — и увидим, как нас примут *умеющие*. Нет, и на них плохая надежда. Для умеющих всякая нелепость хороша, лишь бы она служила известным целям.

Теленок не хочет идти с привольного и прохладного луга в темный и душный хлев. У бабы нет в руке лакомого куска хлеба, напоенного молоком. Но это не беда для умеющей. Она идет перед теленком, показывая ему пустую горсть — и вот он незаметно для самого себя очутился в западне. В этом-то и состоит *умелость*.

Если бы мы хотя на минуту усомнились в существовании людей, которым самостоятельность мысли и опыт не позволяют

увлекаться химерами, если бы, скажем более, мы предполагали, что между людьми сильными не найдется ни одного способного дать отпор *умеющим*, то, считая всякое обращение к здравому смыслу делом несостоятельным, не сказали бы ни слова о романе «Что делать?»

Взяв в руки пресловутое сочинение и прочитав несколько строк, мы должны были согласиться с исповедью автора в том месте предисловия, где он говорит: «У меня нет ни тени таланта. Я даже и языком-то владею плохо». Единомыслие наше с автором на этот счет возрастало с каждой новой страницей и с последней строкой романа достигло зенита. Скучность изобретения, положительное отсутствие творчества, беспрестанные повторения, преднамеренное кривлянье самого дурного тону и ко всему этому беспомощная корявость языка превращают чтение романа в трудную, почти невыносимую работу. Но мы подумали: что делать? В качестве рецензента надо продолжать. Ведь продолжал же автор, отчасти сам сознававший эти недостатки. Следовательно, была на то причина. Недаром он говорит: «Но это все-таки ничего: читай, добрейшая публика, прочтешь не без пользы. Истина — хорошая вещь: она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей». Благодаря такому объяснению дело становится ясным. Сущность не в романе, не в творчестве, а в истине, в пропаганде.

Нет ничего труднее и бесплоднее разговоров с глухими о звуках, с слепыми о красках и т.п. Как вы уясните нигилисту превосходство тончайших стихов Пушкина над бездарнейшими виршами? Чем доказать слепому, что теперь день, а не ночь?

Наша задача вывести несомненные положения доктрины из романа «Что делать?» с помощью самого романа. Но мы бы положительно отказались от такой задачи, видя перед собой художественное произведение. У истинных художников от Гомера и Эсхила до Шекспира и Гете всякое лицо право, пока оно говорит. Можно чувствовать, что любимцы поэтов Гектор, а не Ахиллес, Пелей, а не Менелай (в Андромахе), Цезарь, а не Брут, Фауст, а не Мефистофель, но как это доказать? Отсутствие чутья или недобросовестность возражающего могут поставить вас в безвыходное положение. При разборе романа «Что делать?» подобных затруднений не существует. «Современник» и К° давно приучили нас к своему взгляду на литературу. Мы знаем их презрение к искусству для искусства. Следовательно, в романе дело в содержании, а не в искусстве, которого, по словам автора, «*тут нет и тени*». Действительно, тут нет даже признака *умения*, зато *умелость* во всей силе.

Перед нами безразличная масса романа и в ней, по словам автора, — истина. Как же отделить эту истину от фабулы? — Не поможет ли заглавие «Что делать?» (со знаком вопроса).

Что делать? Куда стремиться? Чего добиваться? Как жить? — самый капитальный вопрос для последователей всякого учения. Из разбросанных философских воззрений на жизнь, из разнородных порицаний тех или других существующих явлений трудно с точностью вывести: что должно и чего не должно желать или делать. Никакие массы отрицаний не в силах исчерпать всего, чего не нужно делать, оставив в необъятной массе жизни оазисом — только желаемое. Тут безграничное поле для сомнений, противуречий и споров; тут арена для раскола. Зато воспроизведение идеала (хотя бы и бездарное) в форме романа окончательно выводит из всяких сомнений и колебаний.

За вопросом *что делать? как жить?* следует роман, и нам остается только подвести черту следствия и сказать: следовательно — надо делать то, что делают в романе люди, рекомендуемые симпатией автора и не делать того, что делают лица, над которыми тяготеет его презрение.

Открыть, кому из своих героев сочувствует или не сочувствует наш автор — не трудно, — он так щедр на похвалы и порицания. Отсутствие в авторе романа *«и тени таланта»* еще более облегчает дело. Все перипетии ведены к тому, чтобы любимый герой мог совершить такой, а не другой поступок. Нечего разбирать, возможен или невозможен известный поступок в данную минуту. Дело в том, чтобы выставить поступок, подчеркнуть его и тем самым сказать: *вот что делать*. С другой стороны, не симпатичные автору лица никакими признаками здравого смысла или добра не могут избежать позорных ярлыков: *дурак и негодяй*. При таких условиях к пониманию симпатий препятствий быть не может. Все психологические тонкости, пускаемые в ход романистом, исчерпываются колебаниями признать то или другое состояние духа, вроде: *«Она думала, что думает, — нет она не думала, что думает»* или *«ей казалось, что она хочет; — нет, ей не казалось, а все-таки казалось»* и т.д. Эти колебания немилосердно преследуют вас через весь роман.

Воплощая идеал, автор не довольствуется одним воспроизведением текущих событий, он выставляет и отдаленнейшие мечты и сокровеннейшие надежды, — *ria desideria* * школы. Для этого на желаемом месте действия героини Веры Павловны прерываются словами: «и снится Верочке сон». Такой метод раздвоения жизни и травли двух зайцев не нов. Он давно изобретен

* сокровенные надежды, благие пожелания (лат.).

неспособностью к творчеству. С его помощью автор думает попасть в двойную цель. Во-первых, в очерках ночных грез высказать непосвященным, до поры до времени, тайные учения и золотые сны секты, а во-вторых, на случай изобличения в тройной нелепости, оставить за собой убежище под эгидой стиха «Когда же складны сны бывают». Все это прекрасно. Лазейка устроена. Является новое соображение. Ну, как в самом деле *тупоумная публика* примет сны Верочки за чисто художественную задачу, вроде сна Татьяны в «Онегине»? Тогда весь заряд пропадет даром, все значение романа погибнет и только обличит хвастовство автора, объявившего, что ему уже можно писать. Подобный казус мог бы затруднить *проницательного читателя* (он же изгоняется г. Чернышевским за тупоумие, «*в шею*»), но автор недаром человек *умеющий* и сильный в психологии, основанной на: *думала, не думала; казалось, не казалось; снилось, не снилось*. Он подчеркивает галлюцинации Веры Павловны своими надеждами на скорое их воплощение, похвалами этим будущим явлениям и самому *проницательному, т.е. тупоумному* (и тут психология) читателю ясно, что сон не сон, а только грезы, заменяющие прямую пропаганду.

Заявив в себе отсутствие *даже тени таланта*, автор неожиданно продолжает: «Впрочем, моя добрейшая публика, толкуя с тобою, надобно договаривать все до конца; ведь ты хоть и охотница, но не мастерица отгадывать недосказанное. Когда я говорю, что у меня нет ни тени художественного таланта, и что моя повесть очень слаба по исполнению, ты не вздумай заключить, будто я объясняю тебе, что я хуже тех твоих повествователей, которых ты считаешь великими, а мой роман хуже их сочинений — с прославленными сочинениями твоих знаменитых писателей ты смело ставь наряду мой рассказ по достоинству исполнения, ставь даже выше их — не ошибешься! в нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет». Как согласить или только объяснить такое разноречие в заявлениях автора? «*Ни тени художественности и все-таки больше художественности, чем в прославленных сочинениях наших знаменитых писателей*»? Не слишком ли это много? Не слишком ли самонадеянна и смешна подобная претензия? или в самом деле у нас такой избыток талантливых писателей-романистов? Попробуем счастье: Толстой, Тургенев, Писемский, Гончаров — кто еще? Никого. Быть не может. Неужели нам автор хотел сказать, что и в этих немногих нет и тени таланта? Неужели, при своей сознательной бездарности, он не способен даже видеть, что эти немногие выработали свой собственный колорит и слог, по которым, с нескольких строк, не окончательно тупо-

му читателю легко узнать каждого из них. В то же время из приведенной выписки явно желание прицепиться к униженным самим же автором писателям на недоступную высоту, повторяя басню Крылова «Орел и паук». Ведь не довольно для него помериться со второклассными, — нет, давай непременно первоклассных. До очевидности ясно, что автор зол на первоклассных писателей не столько несмотря на их неотъемлемые достоинства, сколько именно в силу этих достоинств. К кому же с большею справедливостью могут относиться слова: «Ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове».

Повторяем: о личном таланте автора не стоило бы говорить. Но в романе «Что делать?» каждая мысль, каждое слово — дидактика, каждая фраза выражает принцип. Этого нельзя пройти молчалием. Жалкие усилия паука подняться за орлом в настоящем случае — не слово, а дело. Они предназначаются стать в глазах неопитов примером великодушнейшего нахальства и великолепнейшей наглости, полагаемых в краеугольный камень доктрины. Дело не в истине и справедливости, а в адептах из среды *тупой публики*. Недаром у автора такое строгое различие: с людьми, которые *вперед за него* и для которых ему писать *уже не нужно*, он *скромен*, даже *робок*, но с огромным большинством он *нагл*. Величающаяся наглость, охорашивающееся бесстыдство — догматы нового учения. Это катехизис, который говорит: «Вы желаете ничем не заслуженного успеха, блистательного торжества громкой галиматши — будьте прежде всего наглы и не забывайте, что самому добродушному слепцу стоит выдать себя за *очковую змею* и самой близорукой бездарности нахально провозгласить себя публично человеком умнейшим — и успех несомненен. Вспомните, как *тупа публика*».

Ограничимся такою передачею содержания романа, которая могла бы, при ссылаках на действующие лица, напомнить читателю, кто они такие и какое место занимают в рассказе.

На Гороховой между Садовой и Семеновским мостом многоэтажный дом, принадлежащий по наследству Михайле Ивановичу Сторешникову, воспитанному и живущему в богатстве, а потому неизбежно дурному и пошлomu (очевидно гвардейскому) офицеру, а не его матери Анне Петровне, на тех же основаниях — злой и пошлой женщине. Зато в доме есть самая грязная лестница и на ней в 4-м этаже, в квартире направо, живет управляющий домом Павел Константинович Розальский с женой Марьей Алексеевной, с дочерью Верой Павловной (героиней) и 9-тилетним сыном Федей. Отец служащее ничтожество, сын аксессуар — предлог для введения в дом учителя (героя романа), мать во время оно намеренно распутная, в настоящее время гру-

бая драчунья, пьяная интриганка, не видящая, что творится у нее под носом, алчная ростовщица, — но возвращенная нуждой и потому охотница до калачей, по пословице «нужда научит калачи есть» — и по тому самому *умная*, бессознательно прогрессивная натура, провозвестница *новых порядков*, главной целью которых не заработанные, а нагло из чужих рук вырванные калачи. Дочь — идеал того, *что делать?* всем русским. Недаром родилась она на грязной лестнице. Воспитание Верочки самое идеальное.

Когда ей было 9 лет, Матрена кухарка растолковала ей, что у ее маменьки Марьи Алексеевны, за деньги, была принята в дом для разрешения от бремени богатая дама, муж которой, узнав об этом, приходил с полицией, да ни с чем и ушел. Когда ей пошел 11-й год, мать стала кричать: «Отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки!» В 16 она перестала брать уроки в пансионе и у пьяного немца музыканта, а стала давать их сама. Матрена рассказала Верочке, что отец отдает ее за своего начальника с орденом на шее. Тут подвернулся хозяйский сын. Зайдя к управляющему под предлогом обоев, требующих перемены, он стал ходить все чаще и однажды взял ложу в опере для магушки и дочки. Вечером он явился в их ложе со статским и военным (Сержем). Эти господа так бесцеремонно стали говорить по-французски при интересующей их девушке (сейчас видны богатые глупцы), что напугали ее окончательно и заставили уехать.

Марья Алексеевна — дама решительная. Она не отчаивается видеть в Сторешникове будущего зятя. «О чем говорили в театре? Коли не о свадьбе, так известно о чем. Да не на таковских напал. В мешке в церковь привезу, за виски вокруг налюю обеда, да еще рад будет». На другой день за ужином у Дюссо (слуга Simon) Сторешников начинает хвастать перед вчерашними товарищами победой над Верочкой, называя ее своей любовницей. Жан изобличает его во лжи. Завязывается пари на новый ужин, состоящее в том, чтобы Сторешников, в подтверждение своих слов, привез на ужин мнимую любовницу. Если не привезет, то изгоняется из драгоценного для него общества Жана и Сержа. Вся эта сцена возмущает нравственное чувство (кого бы вы думали?) *m-elle* Жюли — бывшей уличной потаскушки в Париже, а теперь живущей на содержании у богатого (следовательно глупого и неспособного) Сержа. Жюли догадывается о невинности Верочки и решает спасти ее от преследования Сторешникова. Между тем Сторешникову необходимо выиграть пари, т.е. хоть на минуту затащить Верочку на будущий ужин. План готов. Он пойдет спросить о здоровье вчерашних дам и предложит Марье Алексеевне прокатиться с дочерью на тройке. Затем уговорит ее

зайти в ресторан. Матери опиума в чашку — дальнейшее понятно. С этой целью Столешников является к Розальским, получает согласие матери, но как только та отвернулась, добродетельная дочь делает ему реприманд на французско-нижегородском наречии и решительно отказывается от катанья. Но и французский язык плохая помощь там, где бессознательная прогрессистка мать для достижения своих целей готова ежеминутно задать непокорной дочери потасовку. Если в этом омуте не явится чистая душа — все пропало. — Не беспокойтесь. Чистая душа не дремлет. Она проснулась и, потягиваясь с Сержем на постели, положила везти своего послушного (то-то простота!) обожателя в качестве переводчика к не знающей по-французски Марье Алексеевне.

«Та ли это Жюли, которую знает вся аристократическая молодежь Петербурга? Та ли это Жюли, которая отпускает шуточки, заставляющие краснеть иных повес? Нет; это *княгиня*, до ушей которой не доносилось ни одно грубоватое слово». — Согласись, здравомыслящий читатель, надо родиться на грязной лестнице, чтобы принять деву вроде Жюли за порядочную княгиню. Колыбель подобных девиц Париж, и тебе неизвестно, как неудержимо хохочут там все эти красавицы над наивным подобострастием, с каким некоторые русские предлагают им свой толстый кошелек. Парижане, привыкшие отличать таких прелестниц между тысячами, несмотря на их пышные кринолины и блестящие экипажи, обращаются с ними далеко не почтительно, предоставляя подобострастные к ним отношения тем, для которых не только никогда не виданная княгиня, но и такая презренная игрушка минутной прихоти — все еще кажется высотой недоступной. Жюли пришла, увидела и победила Верочку и тихонько уговорила ее на свидание с нею, Жюли, в линии Гостиного двора, противоположной Невскому. Жюли не зовет Верочку к себе, чтобы не *скомпрометировать* ее, а Сторешникову пишет: «Вы теперь в большом затруднении; если хотите избавиться от него, будьте у меня в 7 часов. М. Ле-Телье». — Сторешников, боясь изгнания из круга светской молодежи — за хвостовство — является на зов, и Жюли решается спасти его на условии молчания с его стороны. Это молчание спасет честь скомпрометированной им девушки. — Что-то мудрено? Мудрено для нас с вами, а не для Жюли. У таких барынь все просто. Она пишет Жану, чтобы он упросил Сторешникова отложить ужин, намекая на то, что Жан проиграл пари. А отложить просит на том основании, что ей, Жюли, председательнице пира, нельзя на этот раз быть на нем. — «Помилуйте! — восклицает здравомыслящий читатель, — ведь она хочет спасти скомпрометиро-

ванную в глазах молодежи девушку, так как же она спасает ее, когда превращает их сомнения насчет щекотливого вопроса — в положительную уверенность в ее виновности?» — Это по-вашему, по-простому, добрый читатель, но вы забыли психологию «любить — не любить, компрометировать — не компрометировать», идущую через весь роман. Чтобы не компрометировать девушку, Жюли ее окончательно скомпрометировала и тотчас же предлагает Сторешникову за то, что он скомпрометировал Верочку, жениться на ней. «Вы боитесь скомпрометироваться этим браком. Не бойтесь, ваша жена с самой грязной лестницы — будет красавица — *и доставит вам успех в высшем обществе*». Жюли недаром кончила полный курс 5-франковой парижской chateau*, она в темных переулках насмотрелась на большой свет и по собственному опыту знает, чем там взять.

На другое утро Верочка выходит на условное свидание в Гостинный двор, и Жюли, не желая ее компрометировать (экая деликатная!) своим знакомством, покупает ей густой вуаль и тут посвящает ее в свое деликатное и передовое воззрение на жизнь и отношение к мужчинам. «Жизнь — проза и расчет», — говорит она своей воспитаннице. «Лучшее положение в свете для женщины — положение актрис и танцовщиц, которые не подчиняются мужчинам в любви, а господствуют над ними; но еще лучше, если со стороны общества есть формальное признание законности такого положения». Практическое применение — выходи за дурака Сторешникова и властвуй. Верочка не соглашается поцеловать немилую — *отдать руку гадкому*, и Жюли, соглашаясь с нею, кричит ей: «Беги, беги!» Между тем Сторешников (такой бедовый!) задумал делать то же, что, по свидетельствам Юма, Гиббона, Ранке и Тьерри, делали целые народы. Он толкался в одну сторону, добиваясь обладания управительской дочерью, а Жюли посоветовала ему толкнуться в другую, он и стал, по примеру народов, *поворачиваться направо кругом*. Кажись, стыдно бы ему в этом случае брать пример с народов. Что народы? Неуки. Автор нам открыл глаза даже в отношении к публике, которая чином выше народов. А народам все простибельно, даже пешком поворачивать направо кругом. Но ведь Сторешников — не народы, а обученный строевой офицер, который может поворачиваться только налево кругом, а никак не направо кругом.

Как бы то ни было, он *стал думать на тему “жена”, как прежде думал на тему “любовница”*. Додумавшись до настоящего, Сторешников отправился к Розальским просить руку до-

* красотки (фр., груб.).

чери. Те, разумеется, в восторге и порешили, так ли, смя ли, — выдать за него Верочку. Между тем кухарка Матрена разболталась в доме о сделанном предложении — и слух дошел до матери Сторешникова Анны Петровны, которая пришла в отчаяние (такая отсталая барыня!) и говорит сыну: «Я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе! слышишь, запрещаю!» — «Мама, это не принято нынче», — отвечает сын, как и следует отвечать светскому юноше из Палкина трактира, затем объявляет матери, что дом-то его, а не ее собственность. Мать падает в обморок и, когда ее Мишель уходит, посылает за управителем. «Как вы смели? — Ваше Превосходительство, мы и не смеем» и т.д. Розальский отказывается, за что и получает от Сторешниковой подарки для Верочки. «— Ну что? — спросила Марья Алексеевна входящего мужа. — Отлично, матушка — и рассказывает. — Осел! подлец! убил! зарезал! Вот же тебе!» — муж получил пощечину. — «Вот же тебе» — другая пощечина. Входит Сторешников, объясняет Верочке, что жить без нее не может и просит хотя отсрочки ответа — в надежде заслужить благоприятный. На последнее Верочка соглашается. Сторешников возвратился домой с победой. Опять явился на сцену дом и опять Анне Петровне приходилось только падать в обморок. «Так шло время. Жених делал подарки Верочке, и ее оставляли в покое, глядели ей в глаза». Но с каждым днем могла разразиться гроза, и у Верочки замирало сердце от тяжелого ожидания.

Глава вторая **Первая любовь и законный брак**

«Число порядочных людей растет с каждым новым годом», — говорит автор, — а со временем «все люди — будут порядочные люди». Дай бог! — говорим мы с своей стороны. Отчего же с каждым новым годом все множатся журналы и литературные произведения дурного тона? Впрочем, о порядочных людях мы будем иметь случай поговорить, а теперь такое рассуждение понадобилось автору только для объяснения встречи главного героя Лопухова с Верочкой. Розальские стали искать учителя подешевле для маленького брата Верочки Феди. Им рекомендовали медицинского студента Лопухова. Излишне говорить, что Лопухов прогрессист и потому вместо уроков у него идут толки с Федей о ручках сестрицы да о глупости ее жениха.

«Лопухов, точно, был студент, у которого голова была набита книгами», — какими, это мы увидим из библиографических исследований Марьи Алексеевны. «Он был сыном рязанского мещанина, а в настоящее время своекоштным студентом Меди-

цинской академии и положительно знал, что скоро будет ординатором в одном из петербургских госпиталей — и скоро получит кафедру в Академии». Замечательно, что все герои указатели того, что делать — имеют тесную связь с Петербургской Медицинской академией, на которую автор возлагает свои блестящие надежды. «Было время, когда Лопухов сильно нуждался: сидел без чаю и без сапог. Такое время очень благоприятно для кутежа не только со стороны готовности, но и со стороны возможности: пить дешевле, чем есть и одеваться» (В откупное время такому порядочному человеку, как Лопухов, нужно было не менее 20 копеек, чтобы налиться сивухой, а если бы он съел 3 ф<унта> хлеба, то это стоило бы не более 4¹/₂ коп. Таковы все расчеты автора, проверяемые действительностью.) Бывало у него много и любовниц. Однажды Лопухов влюбился в заезжую актрису, написал к ней любовное письмо и, назвавшись лакеем графа такого-то, — был допущен и достиг цели.

Это первое самозванство заранее предвещало в нем человека *умелого*. Напрасно уничтожал он такое громадное количество лягушек с товарищем и сожителем своим Кирсановым — это ни к чему его не повело. Медицину он бросил бы, не кончив курса; главная уместность его, как увидим, состоит в ряде подлогов, на которых зиждется все его благосостояние. — Мы знаем теперь, что его товарищ и наперсник (герой № 2) *Кирсанов*. Лопухов втирается в доверие Розальских и, главное, Верочки, а встретив однажды ее жениха Сторешникова, вызывает следующую сцену:

«Жених, сообразно своему мундиру и дому, почел нужным не просто увидеть учителя, а увидев, смерять его с головы до ног небрежным, медленным взглядом, *принятым в хорошем обществe*. Но едва он начал снимать мерку, как почувствовал, что учитель, — не то чтобы снимает тоже с него самого мерку, а даже хуже: смотрит ему прямо в глаза, да так прилежно, что вместо продолжения мерки жених сказал: “А трудная ваша часть, мсье Лопухов, — я говорю, докторская часть. — Да, трудная”, и все продолжает смотреть прямо в глаза.

Жених почувствовал, что левою рукою, неизвестно зачем, перебирает вторую и третью сверху пуговицы... значит, было плохо. — “На вас, если не ошибаюсь, мундир такого-то полка? — и пошел спрашивать его как ординарца. Скоро ли надеетесь получить роту? — Нет еще! — Гм... учитель почел достаточным и прекратил допрос, еще раз пристально посмотревши в глаза воображаемому ординарцу».

А вы еще спрашиваете: что делать? Не нужно хлопотать о приобретении хотя бы малейших данных на общественное ува-

жение. Это все вздор. Достаточно сказать себе: «я человек передовой» и затем *нагло* обращаться со всеми. Ведь все другие — тупая публика, где же им догадаться прогнать наглеца, они на то, подобно Сторешникову, вертятся *в хорошем обществе*, чтобы не суметь даже отвернуться от первого встречного нахала. Уж они такие — поверьте. Всему учились, сдавали экзамены — а все ничего не знают, а Лопухов, получавший 38 р<ублей> сер<ебром> в год и не могший брать танцмейстера, — танцует и играет на фортепьяно. Вот что он виртуоз по картежной части — понятно. — «А вы по какой играете? — спрашивает Лопухова Розальский. — По всякой». — Где же так навострился Лопухов? «Академия на Выборгской стороне (по словам автора) *классическое учреждение по части карт*. Там не редкость, что в каком-нибудь номере играют полтора суток сряду. Надобно признаться, что суммы, находящиеся в обороте на карточных столах, там гораздо менее, чем в Английском клубе, но уровень искусства игроков выше. Сильно игрывал в свое — т. е. в безденежное, время и Лопухов». Во время танцев Лопухов объявляет Верочке, что у него уже есть невеста. — Каков хитрец! Розальские, узнав об этом обстоятельстве, допускают его до большего сближения с дочерью, а он и не думал о настоящей невесте. Невеста у него идеальная. Кто же такое? Наука? Как же, станет он с такой дрянью связываться. Его невеста та дама, которая *сильнее всех на свете* и обещает уничтожить бедность. — «Сумеет же мы, — говорит Лопухов, — устроить жизнь так, что бедных не будет». Видите ли, куда дело пошло? Тупоумная публика думает, что в свободной России, нуждающейся в рабочих руках, — за исключением больных — нет произвольно бедных. Публика думает: только иди работай и будешь по своему таланту и положению жить безбедно. Только не полагай *непрерывным условием* возможность *валиться до 10 часов в мягкой постели* и тут же *в постели* пить *крепкий душистый чай с густыми сливками, которых больше, чем чаю*, да ездить *в итальянскую оперу*. Оттого-то ты так тупа, публика, что забрала себе всю эту чепуху в голову. Ты дай-ко всем твоим благополучием распорядиться гг. Чернышевским, Кирсановым да Лопуховым — они тебе вмиг все устроят в наилучшем виде. Мгновенно потонешь по горло в кисельных берегах у сливочных струй, как о том гласят книги, которыми Лопухов перевоспитывает Верочку. Какие же это книги? — «Вот Марья Алексеевна взяла книги, принесла к Михаилу Ивановичу (Сторешникову). — Посмотрите-ко, Михаил Иванович, французскую-то я сама почти разобрала: “Гостиная” значит самоучитель светского обращения, а немецкую-то не пойму. Нет, Марья Алексеевна, это не “Гостиная”, это “Destinée” — судьба.

— Какая ж это судьба? роман что ли так называется, али оракул, толкование снов?

— А вот сейчас увидим, Марья Алексеевна, из самой книги.

Михаил Иванович перевернул несколько листов. — Тут все о сериях больше говорится, Марья Алексеевна — ученая книга.

— О сериях? Это хорошо; значит, как денежные обороты вести?

— Да, все об этом, Марья Алексеевна».

Как это все тонко, а главное правдоподобно!

Предположим, что Сторешников не читал книги Виктора *Консидерана* и не имел понятия о будущих рабочих *сериях и гармонических отношениях* между собою, о которых хлопочет автор. Но какими же судьбами он не перевел Марье Алексеевне заглавия книги, которую держал в руках. «*Destinée sociale, exposition élémentaire complète de la théorie sociétaire*», т. е. «Социальное предопределение (а не судьба), полное основное изложение социалистической теории». Какими же судьбами после этого Сторешников мог принять эту книгу за биржевое руководство?

«Ну, а немецкая-то? — продолжает пытливая Марья Алексеевна.

Михаил Иванович медленно прочел: «“О религии, сочинение Людвига” — Людвига XIV, Марья Алексеевна, сочинение Людвига XIV; это был, Марья Алексеевна, французский король, отец тому королю, на место которого нынешний Наполеон сел».

Еще раз допустим, что Сторешников не знал *атеистического* сочинения Фейербаха, но уверения его, что автор книги есть Людовик XIV — отец Людовика Филиппа — другими словами, уверения нашего автора, что гвардейский офицер Сторешников никогда не слыхивал о революции, Наполеоне первом и взятии Москвы французами — не только клевета на гг. офицеров или простая голословная брань публики, это геркулесовы столпы презрения ко всякому здравомыслию читателя.

Но мы, кажется, опять отклонились от главного вопроса: *Что делать?* Ясно, что должно делать всякому *порядочному человеку*: надо по всем направлениям *тайно* распространять, даже между женщинами, атеистические и социалистические книги — и все пойдет, как по маслу. Лопухов не ограничивается доставлением таких книг — он приступает к изустной проповеди и развивает перед ученицей материалистическую теорию эгоизма. — Он говорит: «Совет всегда один: рассчитывайте, что *для вас полезно*; как скоро вы следуете этому совету — одобрение» (как скоро такая конструкция — семинария). Рассуди, здравомыслящий читатель: не есть ли подобная гоньба за нравствен-

ными побуждениями — тупая и бесплодная игра вничью? — Солдат при виде опасности, угрожающей начальнику, — бросается спасать его собственной смертью. По теории — он взвесил свою личную пользу. Не забудь, что теорию эту выставляют мнимые материалисты и не видят, что собака, неспособная к отвлеченным сравнениям пользы и вреда, бросается на втрое сильнее волка, чтобы дать время спастись человеку. Предположим даже, что вечной игрой в «любишь, не любишь» можно объяснить эгоизмом высокое самоотвержение матери и т. п.; чем, дескать, выше нравственное развитие, тем выше наши личные цели — тем выше эгоизм. И тут ежедневный опыт приводит к новым затруднениям. Мы видим развитых эгоистов, которым выгодно сжечь театр, и неразвитого мужика, которому выгодно сгореть на его крыше. Ясно, что теория эгоизма проповедуется не с философской точки зрения, а с практической. Раз что вы приняли как догму: расчет личной выгоды — вам безвозбранно отворяются все двери. Вы всю жизнь основали на подлогах и успеваете — вы правы — это вам выгодно, вы обокрали банк — выгодно, тайно из-за угла убили человека, который вам мешал — опять законная выгода. — Неудивительно, что после этих лекций, подслушанных пьяною, но умной (по свидетельству автора) интриганкою Марьей Алексеевной, Лопухов растет в ее глазах и она вступает с ним в ту нравственную солидарность, на которую с такою настойчивостью неоднократно нападает автор. «Да, — говорит он, — Марья Алексеевна была права, находя много родственного в себе с Лопуховым». — «И что значит ученый человек: ведь вот я то же самое стану говорить ей — не слушает, обижается. Не могу на нее потрафить, потому что не умею по-ученому говорить». Марья Алексеевна сейчас поняла, что Лопухов рассуждал о вещах в ее собственном духе. «Подобно ей, он говорил, что все на свете делается для выгоды, *что когда плут плутует, нечего тут приходить в азарт — что тот плут вовсе не напрасно плут, а таким ему и надобно быть по его обстоятельствам, что не быть ему плутом*, не говоря уже о том, что это невозможно, — было бы нелепо, просто сказать глупо с его стороны». Напрасно еще непосвященная Верочка возражает: «Итак, эта теория, *которую я не могу не допустить*, обрекает людей на жизнь холодную, безжалостную, прозаичную? — Нет, Вера Павловна (продолжает Лопухов), эта теория холодна, но учит человека *добывать тепло*. Спичка холодна, стена коробочки, о которую трется она — холодна, дрова холодны, но от них огонь». — Не довольствуясь таким ясным языком Лопухова, автор заставляет его еще заочно обращаться к единомысленной Марье Алексеевне. «А как, по вашему собственному признанию,

Марья Алексеевна, *новые порядки* лучше прежних, то я и не запрещаю хлопотать о их заведении людям, которые находят себе в том *удовольствие*. — И прекрасно, г. Лопухов, предположим, что нам при всех этих явлениях нечего приходить в азарт, но и вам с Марьей Алексеевной в свою очередь нечего приходить в азарт, если мирные благомыслящие люди, которым заведение ваших порядков не доставляет *удовольствия*, станут сообща останавливать тех, которые суют продукты холодных спичек и коробочек туда, где бы им не следовало быть. Всякому свое. Мы совершенно согласны с вашим мнением насчет *глупости народа*, которая *действительно помеха делу*. И к чему, подумаешь, этот несносный народ в 70 миллионов тут замешался с своей неподатливостию. Не будь этой бездельной помехи, дела Лопухова и Марьи Алексеевны пошли бы успешнее. Но Лопухов знает, чем утешить своих близких. Он говорит, «что прежде и не было народу возможности научиться уму-разуму, а доставьте людям эту возможность, *то, пожалуй, ведь они и воспользуются ею*». «А оправдывать Лопухова тоже не годится, потому что любители прекрасных идей и защитники возвышенных стремлений в последнее время (а не во все времена?) так отлично зарекомендовали себя в глазах всех порядочных людей со стороны ума, да и со стороны характера (валяй их в самом деле. Чего жалеть, коли рука расходилась?), что защищать кого-либо от их порицаний стало делом излишним, а обращать внимание на их слова — стало делом неприличным». Успокойтесь, Марья Алексеевна, дело идет вовсе не о вашем обращении ко мнению 70 миллионов, а просто о защите общества от вашей непрошенной опеки и смуты. Мы еще недавно слышали мнение, высказанное, правда, юношей, касательно пользы подлогов, образующих и умножающих пролетариат, без которого революция невозможна. (Подумаешь, как жаль!)

Нравственное воспитание Верочки, начатое уличной прелестницей Жюли, — блистательно окончено Лопуховым. Теперь ей уже все нипочем. Она только станет отыскивать ей лично приятного. Теперь понятия *отец, мать, семейство* и вообще о доме для нее уже пустые фразы. Ей приятно бежать из родительского дома. Но куда? В актрисы — Лопухов не советует. «Уж лучше, говорит, идти за вашего жениха». — «Пойду в гувернантки, — говорит Верочка, — похлопочите, Дмитрий Сергеич, кроме вас некому». — «Размыслив о том, что подумают о девушке, о которой некому позаботиться, кроме как студенту, Лопухов, уж конечно, никак не мог выставить на объявлении своего адреса» и выставил адрес знакомого, имеющего «порядочную квартиру, хорошие семейные обстоятельства, почтенный вид». Таким не-

винным подлогом он рассчитывал поймать на удочку «выгодные» для гувернантки условия, — а какую птицу получают наниматели за свои большие деньги — до этого, разумеется, нет дела. «По мере явления нанимающих — нужно порассмотреть, каковы-то они сами, не показывая им гувернантку». (В жизни, вы сами знаете, всегда так бывает!) Эти побегушки под именем племянника гувернантки (новый невинный подлог) отнимают у Лопухова много времени, и товарищ его Кирсанов ворчит на упущения в учебных занятиях. Пусть ворчит. Лопухов говорит уже: «Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем!

— Друг мой, сколько хлопот вам! Чем вознагражу вас?

— Да за что же, мой друг?

— Что с вами, мой друг?

— Ах боже мой, как я глуп, как я глуп! Простите меня, мой

друг.

Суббота. После чаю Марья Алексеевна уходит считать белье.

— *Мой друг, дело, кажется, устроится.*

— Да? если так — ах боже мой, ах боже мой, скорее! Я, кажется, умру, если это еще продлится.

Нынче поутру Кирсанов.

— Знаю, несносный, несносный, знаю! говорите же скорее, без этих глупостей.

— Сами мешаете, *мой друг.*

— Велю вам стать на колени на вашей квартире и чтобы ваш Кирсанов прислал мне записку, что вы стояли на коленях — *видите, мой друг*, ведь вы сами еще ничего не знаете нынче. Что же слушать? До свидания, *мой друг!*

— Да послушайте, *мой друг... Друг мой, послушайте же*».

Не служит ли тебе, здравомыслящий читатель, эта милая игривость новым подтверждением аксиомы, что никакая *наглость* не в силах заменить не только таланта, но даже простых привычек хорошего тона (о котором так многократно и напрасно хлопочет наш автор).

«— Некогда думать. Маменька может войти каждую минуту. Где живет эта дама? (нанимательница).

— В Галерной подле моста.

— Во сколько часов вы будете у нее?

— Она назначила в 12.

— С двенадцати буду на Конно-Гвардейском бульваре. На мне будет густой вуаль, в руке сверток нот».

Вот объяснения искомой г. Б. с Лопуховым:

«Вам может казаться странным, что я, при своей заботливости о детях, решила с вами, решила кончить дело с вами, не выдав ту, которая будет иметь такое близкое отноше-

ние к моим детям. Но я очень, очень хорошо знаю, из каких людей состоит ваш кружок. Я знаю, что если один из вас принимает такое дружеское участие в человеке, то этот человек должен быть *редкой находкой* для матери, желающей видеть свою дочь действительно хорошим человеком. Потому осмотр казался мне совершенно излишнею не деликатностию. Я говорю комплимент не вам, а себе».

Давно бы так! Прямо бы сказала: не хвастайте вашею верою в абстрактную всеильную невесту. Я сама этой веры, — и все пошло бы к общему удовольствию. Да вот беда. Эта вера требует теории эгоизма. Не будь г. Б. такой эгоисткой, она бы не стала держать в тайне своей *редкой находки* и дала бы всему обществу (этой тупой публике) средства ею пользоваться. А то нет. Г-жа Б. молчит, а публика не знает, как легко найти редкую находку для матерей, желающих видеть дочерей действительно хорошими. Стоит только обратиться за рекомендацией *барышни хоть к одному* из студентов Медицинской академии и можно быть уверену, что они все знают ее с самой лучшей стороны — тут не нужно даже трудиться поджидать гувернантку на Конно-Гвардейском бульваре. Еще хуже то обстоятельство, что теория эгоизма оказывается вредной даже для того круга, из которого проповедуется.

Г-жа Б., узнав всю верочкину обстановку, по эгоизму приняла в соображение, что тупое общество для ограждения своих очагов от вторжений Лопуховых и бульварных барышень придумало письменные виды и прочие глупые бумаги, без которых не дозволяется никого принимать в дом. Приняв все это в соображение, эгоистка «г-жа Б. плакала», а взять-то Верочку все-таки не решилась. Впрочем, объективный автор и *не обвиняет ее за это безусловно*, хотя по теории обязан бы был изречь ей *одобрение*. Не обвиняя ее прямо, он рассуждает так:

«Разумеется, г-жа Б. не была права в том безусловном смысле, в каком правы люди, доказывающие ребятишкам, что месяца нельзя достать рукою». (А ребятишкам куда бы как хотелось достать его.) «При ее *положении в обществе*, при довольно важных должностных связях ее мужа очень вероятно, даже несомненно, что если бы она уж непременно захотела, чтобы Верочка жила у нее, то Марья Алексеевна не могла бы ни вырвать Верочку из ее рук, ни сделать серьезных неприятностей, ни ей, ни ее мужу, который был бы *официальным* ответчиком по процессу и за которого она боялась. Но все-таки г-же Б. пришлось бы иметь довольно хлопот, быть может, и некоторые неприятные разговоры. Надобно было бы одолжаться по чужому делу людьми, услуги которых лучше приберечь для своих дел. Кто обязан и

какой *благоразумный* человек захочет поступать не так, как г-жа Б., мы нисколько не вправе осуждать ее; да и Лопухов «не был неправ, отчаявшись за избавление Верочки». Из этой небольшой тирады для здравомыслящего читателя ясно, *что делать?* Недаром автор ссылался на стоящих за ним людей *сильных*. Теперь он разъясняет, на что они ему нужны. Эти сильные необходимы для того, чтобы своим влиянием парализовать власть закона, если он будет не в пользу людей *умелых*. Вот вам и ярые изобличения злоупотреблений власти. Как дело дошло до злоупотреблений в пользу *нашу*, а не *вашу*, так свищи на того, кто осмелится об них заикнуться. Согласитесь, что эта *наглость* уж чересчур наивна.

Пока происходили все эти тщетные искания мест для беглянки-дочери, совершалось и ее духовное просветление и прозрение, выраженное, как мы уж говорили, у автора — рядом снов.

И снится Верочке сон:

«Что она затерта в сыром, темном подвале. И вдруг дверь отворилась в поле. “Как же это я могла не умереть в подвале? Это потому, что я не видала поля”. А вот идет по полю девушка, — как странно! и лицо и походка — все меняется в ней; вот она англичанка, француженка, а вот она уж немка, полячка, вот стала и русская, опять англичанка и т.д. какая странная! какая кроткая, какая сердитая! вот печальная, вот веселая, — все меняется, а все добрая, — как же это, и когда сердитая, все добрая?» (Опять «любишь, не любишь»). Коллективная женщина подходит к Верочке. — «Ты была заперта в подвале? Была разбита параличом? — Была. — Теперь избавилась? — Да. — Помни же, что еще много не выпущенных, много не вылеченных. Выпускай, лечи. Будешь? — Буду». Другими словами, Лопухов эмансипировал Верочку. Верочка эмансипирует всех женщин. «Ах как весело!» Но все это только сон, а в действительности Верочка все еще тоскует у матери и от скуки мечтает о приятности асфиксирования. «Выбили окно и видят: я сижу у туалета и опустила голову на туалет, а лицо закрыла руками. Верочка? ты угорела? — а я молчу. Верочка, что ты молчишь? — Ах, да она удушилась! — Начинают кричать, плакать. Ах, как *это будет смешно, что они будут плакать*, и маменька станет рассказывать, как она меня любила». (А Марья Алексеевна действительно любила дочь, по свидетельству самого автора.) Какая нежная душа, эта будущая эмансипаторша женщины?! Не тревожьтесь, читатель: Верочка не удушилась, она пошла к обеду, за которым Лопухов допьяна напоил Марью Алексеевну, чтобы во время ее сна положительно объясниться с Верочкой. «Вы знаете,

что я говорил: да, жену и мужа не могут разлучить. Тогда вы свободны. — Милый мой! ты видел, я плакала, когда ты вошел, это от радости. — А вот, Верочка, в начале июля кончатся мои работы по Академии, — их надо кончить, — *чтобы можно было нам жить*» (А мы было в простоте сердца и поверили автору на счет бескорыстной любви к науке новейших академистов).

«Ах (без *ахов* и без *миленький* положительная Верочка рта не раскроет), мой милый, нам будет очень, очень мало нужно. Но только я не хочу так: я не хочу жить на твои деньги. — Найдут уроки.

— Кто это тебе сказал, мой милый друг Верочка?

— А ты думаешь, я уж такая глупенькая, что не могу, как выражаются ваши книги, вывести заключение из посылок?

— Да какое же заключение? Ты *Бог знает что говоришь*, мой милый друг Верочка.

— Ах, хитрец! он хочет быть деспотом, хочет, чтобы я была его рабой! Нет, этого не будет, Дмитрий Сергеевич, понимаете?

— В вашей натуре, Вера Павловна, так мало женственности, что, вероятно, вы выскажете совершенно *мужские мысли*.

— Стало быть, *женские-то мысли* никуда не годятся?

— Ах, мой милый, скажи: что это значит эта “женственность”? Ведь это глупость, мой милый?

— Глупость, Верочка, и очень большая пошлость».

Вот тебе и материалист! Вот тебе и натуралист!

Мы думали, что изучение природы состоит в наблюдении ее явлений, — и жестоко ошибались. Быть натуралистом значит пребывать в тупой слепоте перед ежедневными и повсеместными явлениями природы. Воззри на петуха и курицу (оба куриной породы). Как он бодр и воинствен в своих золотистых косицах и острых шпорах. При одном виде такого молодца — соседний петух приходит в злобу или в страх. Он по опыту знает, что эти шпоры не пустое украшение. Тут нельзя безнаказанно сунуться в чужое владение. Молодец петух знает, что домовитым пестреньким курочкам некогда теперь разыскивать пищу. В воздухе плавает неслышный коршун, проносится острокрылый ястреб, жужжит балобан, да и неуклюжая ворона повадилась таскать цыплят. Курам теперь одна забота: привести врага скорее в куст, да распушить крылья над скликнутыми птенцами. Зато молодца-петуха никто не обидит. Подпахали огород, и по бороздам он разыскал целый ряд земляных червей. Как гордо тряхнул он красным гребнем и громко, в два толчка пустил свое: *кок, кок*. На знакомый призыв весь куриный народ бросился на добычу, а петух клюнул и, как будто не его дело, отошел рыться в сторону. Что ему? Он везде себе найдет корму, он не курица. —

Недаром простой народ считает худым предзнаменованием, когда курица запоет петухом. Но этого никогда не бывает. Кричат иногда молодые петухи, которых трудно отличить от кур. Вот вам мужественность и женственность в природе. — Все это мы знаем без вас, — восклицают прогрессисты естественники. — Но все это *большая пошлость*, которую мы переделаем. Вы предполагаете, что это трудненько. Это только потому, что вы не знакомы с нашими *новыми книгами* (для нас с тобой, здравомыслящий читатель, — *со старою чепухой*). Потому, продолжают эти господа, что вы не знаете сочинений нашего главы Фурье. Прочтите-ка его космогонию и тогда увидите, что естествоведение не должно оставаться тем бесплодным балластом, которым мы теперь вынуждены набивать себе голову — для экзаменов (не к ночи будь они помянуты). Вот его слова: «Знание системы природы было бы бесполезно, если бы оно нам не давало средств уничтожить существующее зло и заменить разделяющие явления, вредные творения *противусозданиями* (contre-moulés) и полезными слугами. Какая польза знать порядок, в котором звезды возникают в творении, знать, что в этих изменениях лошадь и осел созданы Сатурном, зебра и квагга Протеем, еще не открытым астрономией, но который тем не менее существует, потому что мы видим его произведения».

« — Помилуйте, господа, — восклицаем мы в свою очередь, — да смеем ли мы — после очевидного существования ослов на земле, хоть на минуту усумниться в существовании небесного Протея? »

« В высшей степени важно (продолжает тот же мудрец), будет ли для нас искусство ввести планеты в новое творчество посредством *противуположной работы* (travail contremoulé). Таким образом, планета, породившая льва, дала бы нам как *противусоздание* (contremoule) превосходное и послушное четвероногое, эластического носильщика — *анти-льва*, на котором ездок, выехавший утром из Кале или Брюсселя, будет завтракать в Париже, обедать в Лионе и ужинать в Марселе, утомясь гораздо менее за весь день, чем наш верховый курьер, потому что лошадь — тряский и первобытный (solipède) носильщик, который будет относиться к анти-льву, как нерессорный экипаж к рессорному. Приятно будет жить в мире, снабженном такими слугами. (Еще бы!) Новые создания, осуществление которых можно видеть через *пять лет* (прошло уже 50), распространяют такие богатства во *всех стихиях*. В воде и на земле. Вместо *китов и акул* появятся *анти-киты* — помогут корабли, во время затишья. *Анти-акулы* — помогать ловить рыбу. *Анти-гиппопотамы* — возить корабли по рекам. *Анти-крокодилы* — помощники на реках. *Анти-морские собаки* — или морские бараны » (Traité d'association, ч. 1. стр. 519).

После таких блестящих успехов естествоведения, что же стоит этим господам заставить курицу петухом или выгнать *женственность* из природы? Объявить ее *очень большою пошлостью* да спихнуть на неоткрытую планету, и делу конец!

Вот насчет целесообразности женского труда наравне с мужским как средства избежать мужского деспотизма — еще можно поспорить с Верочкой. Самый усиленный и тяжелый труд в этом случае плохая гарантия для женщин. Нам, русским, очень хорошо известно, что черкес ничего не делает, а все мужские работы лежат исключительно на женщинах, между тем не только отец, но даже сынишко, как только в силах держать палку в руках, бьет ею свою мать, которая видит в этом только должное. Не поискать ли гарантии в чем-либо другом, вроде образования и взаимного уважения? А этого взаимного уважения не упрочишь детскими разделениями комнат между супругами, разделениями, сочиненными Верочкой и ею же самой неоднократно нарушенными.

В таком созидании теории домашнего благополучия проходили беседы жениха и невесты.

«Так они поговорили, — *странноватый* разговор для первого разговора между женихом и невестой, и пожали друг другу руки — и пошел себе Лопухов домой — рассуждать, что недостаток денег отзывается на женщине. Сапоги есть, локти не продраны, щи есть, в комнате тепло — *какого рожна горячего мне еще нужно?* А это у меня будет. Но женщине молоденькой, хорошенькой этого мало. Ей нужны удовольствия, *нужен успех в обществе*. А на это у ней не будет денег». Где ж ваше равенство, г. Лопухов, если одним хорошеньким это нужно? И откуда вы взяли, что каждой хорошенькой *нужен успех в обществе?* В каком это обществе? Если в том, где только локти целы, то это общество не взыщет и на неблистательном костюме, а если все захотят блистательных, то их неостанет и тем, которые и по положению, и по средствам имеют на них право. Вы, г. Лопухов, заработайте блестящие костюмы, коли они вам так необходимы, и будьте уверены, что даром вам никто ничего не даст. Даром ничего нельзя иметь, кроме ваших анти-львов, какими на деле и являются жалкие *хлыщи-онагры*.

Свадьба отложена до окончания женихом курса. Но Верочка не может дожидаться — худеет и плачет. Лопухов это видит и говорит сам с собою: «Гм, гм! Да! Гм! — Глаза нехороши. Она плакать не любит. Это не хорошо. Гм! Да!»

«Вторник.

— Ах, мой миленький, я уж и дни считать перестала. Не проходят, вовсе не проходят.

— Верочка, мой дружок! будь опять на той скамье, на Конно-гвардейском бульваре. Будешь?

— Буду; мой миленький, непременно буду.

Пятница.

— Верочка, ты куда это собираешься?

— Я, маменька? — Верочка покраснела (остаток большой пошлости), — к Невскому проспекту, маменька.

— Так и я с тобой пойду. — Вот и лавка Рузанова.

— Маменька, я вам два слова скажу.

— Что с тобою, Верочка?

— До свидания, маменька. Я теперь к мужу. Мы с Дмитрием Петровичем (Лопуховым) третьего дня повенчались». Затем берется извозчик, которому дается фальшивый адрес, до первого поворота. (Что значит сойтись с людьми умелыми.) Благодарный автор и не подозревает, что его герои ни шагу не делают без подлогов. Но извозчик восклицает: «Ах! (В романе людей положительных все ахают) сударыня! обмануть меня изволили! Надо уж будет полтинничек положить».

— Если хорошо поедешь».

Самая «свадьба» устроилась не многочисленным, хоть и не совсем обыкновенным образом. Лопухов хмурил лоб над словами: кто повенчает? и все был один ответ: «никто не повенчает». Имея в этом случае в виду, не говорим уже всю безнравственность, но даже криминальность акта венчания со стороны священника, здравомыслящий читатель готов заранее сказать вместе с Лопуховым: да, в Петербурге никто не повенчает. Если в бедной среде сельского духовенства могли попадаться экземпляры забубенных и алчных священников, решавшихся за большие деньги рисковать своим саном, то в Петербурге между более обеспеченным и образованным духовенством нельзя предполагать охотников на такие дела.

Но умелый Лопухов мгновенно выведен из раздумья счастливой мыслью. Он вспомнил, что в Петербурге, несмотря на гарантии порядка и законности, гарантии, заключающиеся в довольстве и образовании, — существует Медицинская академия.

«В Медицинской академии есть много людей всяких сортов (надо полагать!), есть, между прочим, и семинаристы; они имеют знакомства в Духовной академии, через них были в ней знакомства и у Лопухова. Один из знакомых ему студентов Духовной академии кончил курс тому назад и был священником в *каком-то* здании с бесчисленными коридорами на Васильевском острове (как видите, военно-учебное заведение). Вот к нему-то и отправился Лопухов».

«Мерцалов, сидевший дома один, читал какое-то новое сочинение — то ли Людовика XIV, то ли кого другого из *той же династии*» (словом — атеистическое). Назидательные чтения не бесплодны для Мерцалова. Он не только не прочь повенчать, ему этого даже «хотелось бы, да жаль попадьи». Но попадьи сама вбегает и, узнав в чем дело, восклицает: «Алеша, ведь не съедят же тебя! — Рискни, Алеша, я тебя прошу.

— Так разговор кончен. Когда хотите венчаться?»

«В понедельник поутру Лопухов объяснял Кирсанову, что, не кончая курса, женится. Имея наличных 160 рублей, Лопухов надеялся найти уроки (мы видели какие), литературную работу (без таланта), занятия в какой-нибудь купеческой конторе — все равно». — Известно, что купеческие конторы преимущественно ищут для своих занятий вовсе неприготовленных к ним не кончивших курса меццан-проходимцев, зарекомендованных скандальными историями.

В среду Лопухов и Верочка сошлись на бульваре. — «Через три дня верно найду квартиру и можно будет поселиться с тобою вместе?» — «Можно, голубчик мой, можно».

— «Но ведь прежде надобно повенчаться.

— Ах, я и забыла, миленький, надо повенчаться прежде. Пойдем, миленький, повенчаемся».

Приехали, прошли по длинным коридорам к церкви, отыскали сторожа, послали к (тут же в корпусе живущему) Мерцалову. — «Теперь, Верочка, у меня к тебе еще просьба. Ведь ты знаешь, в церкви заставляют молодых целоваться?

— Да, мой миленький, только как это стыдно!» — (А бежать от матери, чтобы без венца жить со студентом не стыдно!) — «В половине службы пришла Наталья Андреевна или Наташа, как звал ее Алексей Петрович (Мерцалов), и просила зайти к ней к завтраку: зашли, посмеялись, даже потанцевали две кадрили в 2 пары (Кирсанов — шафер); даже вальсировали. Алексей Петрович, *не умевший* танцевать, играл им на скрипке». Жаль, что только за неумением Мерцалова дело стало, а то бы и поп-атеист — прошелся к вящему назиданию.

Следя за ходом романа, здравомыслящий читатель давно понял, какому сорту людей автор дает исключительное название — *порядочных*. — Вы спрашиваете: да какая же надобность атеисту идти в то звание и на ту службу, которая неминуемо должна превратить всю его жизнь в бесконечную ложь — и в тягостный для него же самого подлог? — Сейчас видно, что вы не читали польского революционного катехизиса. Смотри на Россию как на здание, которое во что бы ни стало должно подорвать, это учение предписывает каждому адепту стараться завладеть

самыми влиятельными местами. Известно, что разрывной снаряд только тогда действует со всей разрушительной силой, когда перед взрывом успеет вонзиться в свою цель. Мерцалов-атеист — нуль. — Но Мерцалов — корпусный законоучитель — почище всякой девимовской пули и даже шрапнелевской гранаты.

Что ж Марья-то Алексеевна? Умелые люди загодя рассчитали на ее безмолвие. «Никто не знал лучше Марьи Алексеевны, что дела ведутся деньгами и деньгами, а такие дела большими и большими деньгами и, вытянув много денег, — *кончатся совершенно ничем*». Чего ж тут Мерцаловым-то бояться. Квартира отыскана в 5-й линии Васильевского острова. Молодые поселяются, и автор, воздав Марье Алексеевне дань симпатии за ее здравый ум, расстается с нею навсегда.

Этим кончается I часть романа.

«Прошло три месяца после того, как Верочка вырвалась из подвала. Дела Лопухова шли хорошо». У них две разных спальни, нейтральная столовая и один к другому не смеет входить неодетый. Обычай старый между людьми богатыми и невозможный между бедными, получающими 80 р. в месяц в Петербурге. Однажды Лопухов, возвратясь с урока, нашел Верочку сияющей гордостью и радостью. Избавляем читателя от утомительных выписок всех неуклюжих сцен лакейских нежничаний наших героев.

«Мне давно хотелось что-нибудь делать. — Надо завести швейную». — Главное, надо при выборе немногих рабочих, чтобы это были люди: «честные, хорошие, не легкомысленные, не шаткие, настойчивые и вместе мягкие, чтобы от них не выходило пустых ссор и чтобы они умели выбирать других — так?» Какая, подумаешь, эта Верочка *невзыскательная!* Все приведенные качества так легко соединены в петербургской швее! хотя перед ними спасовали бы люди, удостоенные Монтионовской премии. — «И надобно, чтобы девушки были хорошие мастерицы; ведь нужно, чтобы дело шло собственным достоинством, все должно быть основано на торговом расчете». Не все же, в самом деле, бегать за людьми сильными да умелыми, как например за Сержем, содержанием *Жюли*, когда вышли недоразумения с частным приставом. Недаром мещанка, у которой живут Лопуховы, принимает блестящего Сержу за генерала и удивляется, что «наш-то, т. е. Лопухов, курит при генерале и развалился; да чего? папироска погасла, так он взял у генерала-то, да и закурил свою-то». — Эта, впрочем ничтожная, черта очень характерна у Лопуховых. Благовоспитанный Серж (если только в этом случае поверить автору на слово), стоящий на ступенях обще-

ственного положения гораздо ближе ко всевозможным высокостоящим, чем Лопухов к его камердинеру, очень хорошо знает, где можно и где нельзя курить, да еще развалясь, и потому не станет хвастать тем, что курит, где ему можно, а неотесанных Лопуховых посади за какой хочешь стол, они сейчас же ноги на стол. Потому-то Лопуховы и видят молодечество в том, в чем Серж его и не подозревает. Видно, Лопухов, прежде всех кухарок, чувствует свою браваду и хвастает ею. Это, видите ли, игра в общественное положение.

Спрашивается, кого же тут обманывают Лопуховы: кухарок или благодушных генералов, которые на это не обращают внимания? — но уже никак не самих себя. Лопуховы слишком хорошо видят и чувствуют бездну, которая отделяет их от истинно порядочных людей, бездну, составляющую для них ежеминутный источник бессильной злобы и тех яростных галлюцинаций, которым разбираемый роман служит осязательным воплощением. Покровительница Верочки Жюли смотрит ее работу, одобряет ее и делает заказы, хотя и замечает, что хороший магазин должен помещаться на Невском. «Это будет со временем», — отвечает Верочка.

— А этот Сторешник (так называет Жюли Сторешникова) две недели кутит ужасно; но потом помирился с Аделью; только жаль, что Адель не имеет *характера* (т. е. не обдирает Сторешникова). И на мудреца бывает простота. — «Теперь m-lle Розальская уже *дама*, и Жюли не нужно сдерживаться. Вошел Лопухов. Жюли обратилась в *солидную светскую даму, исполненную строжайшего такта*». Видите, это любимая струна романиста. Жюли, попадья и Верочка не только женщины (к позору своего пола) — они еще непременно *светские* — да еще и *дамы*. Бедные дамы! — вы, мало читающие по-русски, и не подозреваете, в какую милую попали компанию! «Дня через четыре Жюли привезла к Лопуховым Сержа, сказав, что без этого нельзя: “Лопухов был у меня, ты должен сделать ему *визит*”».

Очевидно, выдумка Лопухова. Жюли не могла сказать такой галиматши. У Лопуховых собирались гости — все больше молодежь, толковавшая с Мерцаловым и Кирсановым о Либихе и о *матерях важных*. «*Дамы по временам и вслушивались в эти учености, а больше — больше, разумеется, не слушали, даже обрызгали водою Мерцалова и Лопухова, когда они уже очень восхитились минеральным удобрением*». Хорошо еще, что водою!

«И вот Вера Павловна засыпает и снится ей сон.

Поле, и по нем ходит муж, т. е. миленький, и Мерцалов, и миленький говорит: “вы спрашиваете, почему из одной грязи

родится пшеница такая белая, а из другой не родится?» Оказывается, что одна грязь текучая, другая стоячая. — «Да, движение есть реальность, потому что движение это жизнь, а реальность и жизнь одно и то же. — Без движения нет реальности, потому что грязь *фантастическая*, т. е. пошлая. А тут дренаж — и грязь реальная, здоровая». Верочка ничего не понимает и мы тоже. Но поп Мерцалов говорит: «давайте *играть*, давайте *исповедываться*». Исповедь начинается с Мерцалова, который говорит: «Моя мать бедная дьячиха, держала семинаристов и работала. *Реальное* раздражение нерв чрезмерною работою было причиной тому, что она бивала нас». — Это реальная грязь.

Является Серж на исповедь. «Мой отец и мать, хотя и богатые, вечно хлопотали о деньгах; и богатые не свободные от таких же забот...»

«Не исповедуйтесь, Серж, — говорит Мерцалов; — мы знаем вашу историю; заботы об излишнем, мысли о ненужном, — вот ваша почва — *фантастическая*. Вы от природы человек и не глупый, и очень хороший, не хуже и не глупее нас (какова честь!), а к чему вы пригодны, на что вы полезны?» — «Пригоден провожать Жюли повсюду, куда она берет меня с собою; полезен на то, чтобы Жюли могла кутить», — отвечает Серж (в галлюцинациях Верочки). Бедняжка Серж, ему, вероятно, пришлось, рискуя ежеминутно жизнью, очищать с эскадром или ротой литовские леса от разбойников, но он решительно непригоден быть попом-атеистом и бесполезен в роли Лопухова-социалиста.

Для окончательного разъяснения реальной и фантастической грязи является во сне мать Верочки — пьяная Марья Алексеевна — и уже неопровержимо доказывает, что она *зла* не потому, что *зла*, а потому, что *добра*, и для того, чтобы от нее, злой, родилась добрая *дама* Верочка. — Разве без злых нельзя? спрашивает Верочка. — «После будет можно, *когда не нужно будет людям быть злыми*». — В конце сна Верочка запекает: *donc vivons!* * да так громко, что Лопухов *без доклада* входит в ее спальню — и тем нарушает общий уговор невмешательства.

Мастерская Веры Павловны устроилась, и в конце месяца Верочка раздает швеям не только возвышенную против других швейных условную плату, но и весь без остатку *чистый барыш*, ничего не отлагая в запасный капитал, составляющий необходимую потребность всякого коммерческого предприятия. «Добрые и умные люди написали много книг, о том, как надобно жить на свете, чтобы всем было хорошо; и тут главное, говорят они, в том, чтобы мастерские завести по новому порядку». — В числе

* Поживем — доживем (*фр.*).

этих книг, как видите, и роман «*Что делать?*» — *Как делить прибыль?* Вера Павловна довела до того, что делила ее «*поровну между всеми*».

Главная закройщица и подогревальщица утюгов получали одинаковую долю. — Ах, Вера Павловна, и что это вы все читаете одни хорошие книги, вы хоть бы заглянули в какое-нибудь дрянное руководство политической экономии. Тогда бы познакомились вы со следующими бесхитростными соображениями: Как скоро, согласно желанию вашему, все швеи разойдутся по мастерским, то прибыль этих мастерских из необыкновенной — превратится в обыкновенную (ведь других не будет) и тотчас в силу закона предложения капиталов сравняется с прибылью всех других производств — следовательно, понизится до того уровня, из которого вы теперь хлопчете вывести ваших швей. Какая же сумасшедшая добровольно станет добиваться долголетним трудом и вниманием знания закройщицы, которой даже при теперешнем порядке — по вашим же словам — очень тяжело, — если кроме того вы заставили ее разделять и без того скудную прибыль с беспомощными и мало полезными носительницами утюгов? — Но станет ли Верочка размышлять о таких пустяках? Устроив швейную, она устроила и развлечения. «Бывали вечера, бывали загородные прогулки: сначала изредка, потом, когда было уже побольше денег, то и чаще; брали ложи в театре. На третью зиму было абонировано десять мест в боковых местах итальянской оперы». — Так вот оно куда пошло? Вот где реальное-то, необходимое-то, о котором вы хлопчете? Как же другие швеи — искусные, целый день гнут спину, не помышляя об итальянской опере, а ваш сброд все гуляет за городом да по театрам и благоденствует? Куда ж девалась трудовая, реальная грязь ваших снов, Верочка? Или это были только несбыточные, праздничные сны до обеда и все повествуемое есть *фантастическая*, гнилая грязь, — неспособная производить белую пшеницу? Впрочем, швейную нечего укорять за излишние и незаконные претензии, хозяйка заведения им живой пример неусыпной деятельности. «Вера Павловна, проснувшись, долго нежится в постели; она любит нежиться, и немножко будто дремлет, и не дремлет, а думает, что надобно сделать. (В полудремоте-то?) И так полежит, не дремлет и не думает — нет, думает (игра в любить не любить): «как тепло, мягко, хорошо, славно нежиться поутру». — А подумала ли она хоть раз — нежится ли кухарка, которая у подобной хозяйки пять раз должна доливать и разводить выкипающий и заглохший самовар? — Станет ли такая *дама* думать о такой дряни? Ей впору думать о спасении человечества, а если хоть одна кухарка завелась — души ее без

милосердия. «За утренним чаем Верочка пьет не столько чай, сколько сливки: чай только предлог для сливок, их больше половины чашки; сливки — это тоже ее страсть». — Вы видите, Верочка нежится и пьет сливки, мало того, *«умывается, пьет чай в постели»*. После обеда сидят еще с четверть часа с миленьким, «до свиданья» и расходятся по своим комнатам, и Вера Павловна «опять на свою кроватку, и читает, и нежится, час-тенько даже спит, даже очень часто, даже чуть ли не на половину дней спит час, полтора, — это слабость, и чуть ли даже не слабость дурного тона». Как эти Лопуховы хлопочут о хорошем тоне! Что у кого болит, тот про то и говорит. Но нельзя не отдать им справедливости в том, что они люди умелые. Подумайте: Верочка спит и пьет сливки, ничего не берет из прибыли швейной, ездит по гостям, а живут отлично, у них и Эрраровский рояль *хорошего тона* за 170 р., и швейная процветает. — Мы не обратили, здравомыслящий читатель! никакого внимания на эту фантастическую швейную, если бы не одно обстоятельство. Каждый основатель вольнонаемного ремесленного заведения имеет полное право раздавать всю прибыль рабочим и заводит порядки, кажущиеся ему наилучшими, с тем условием, чтобы эти порядки не вносили вредных элементов в общество. Если бы фантастическая швальня Верочки была не более как галиматъей, то и бог с нею; но она главным образом народная школа. Какие же науки в ней преподаются? — «Алексей Петрович, — сказала Вера Павловна, бывши однажды у Мерцаловых, — у меня есть к вам просьба. Наташа (попадья) уже на моей стороне. Моя мастерская становится лицеем всевозможных знаний. Будьте одним из профессоров.

— Что ж я стану им преподавать? разве латинский и греческий, или логику и реторику? — сказал, смеясь, Мерцалов, — ведь моя специальность (закон Божий) не очень интересна, по вашему мнению и еще по мнению одного человека (Лопухова), про которого я знаю, кто он (атеист).

— Нет, вы необходимы именно как специалист: вы будете служить *щитом благонравия и отличного направления наших наук*.

— А ведь это правда (говорит Мерцалов). Вижу, без меня было бы неблагонравно. Назначайте кафедру.

— Например, русская история, очерки из всеобщей истории». (Известно, какую социалистическую дичь можно проповедовать под этими вывесками.) Но Мерцалов еще осторожней:

«Превосходно! — восклицает он. — Но *это* я буду читать, а будет предполагаться, что я специалист» (правительству скажут, что он законоучитель). «Отлично (продолжает он). Две должно-

сти: *профессор и щит*». Мы с вами были убеждены в простоте сердечной, что законоучители военно-учебных заведений — щиты от атеизма и социализма, но автор открывает нам глаза (если это только не невинная клевета?), что там законоучители щиты атеизма — от закона Божия. Это действительно новые порядки!!

После таких диковинок читатель вероятно извинит нас, что мы, в избежание длиннот, избавляем себя от труда охоты за мелко дичью, попадающей на каждом шагу, — *реальной грязи* романа.

«Внешняя обстановка Кирсанова была довольно хороша. Он уже имел кафедру». Верочка живет и блаженствует с мужем. — Но. — Но труднее всего в романе понять и пересказать это *но*. Говорится много и хитро о людях честных и сильных, а на поверку во всем романе герои выходят людьми необузданными и слабыми. С первых пор женитьбы Лопухова на Верочке Кирсанов совершенно от них отстал. Верочка, хотя и не называет мужа иначе, как идиллическим эпитетом рублевой горничной: «миленьким», заметно скучает с этим «миленьким». Миленький на этот грех заболел и посылает за Кирсановым. Кирсанов сидит у больного и сидит у Верочки, которой на вопрос ее, отчего он их забыл, говорит какой-то вздор. Тут как раз в руку третий сон Верочки.

И снится Верочке сон:

«Что, наговорясь с “миленьким”, она в своей постеле читает и думает: «Что это в последнее время стало мне *несколько* скучно *иногда*? или это *не скучно*, а так? да, это *не скучно*... А через этого Кирсанова я пропустила “Травиату” — *это ужасно!* я бы каждый вечер была в театре, если б каждый вечер была опера». — Так говорит Верочка, которая хлопочет о реальной грязи в отмену грязи фантастической. Ей, видите, и всем швеям, да чего тут церемониться, всем мужикам необходима каждый день итальянская опера. Это реальная грязь, на которой порастет белая пшеница. «А когда же это Бозио успела выучиться по-русски? Но какие же смелые слова и откуда она выкопала такие пошлые стишки? да, она, должно быть, училась по той же грамматике, по которой я: только они приведены в пример для расстановки знаков препинания; как это глупо приводить в грамматике такие стихи, и хоть бы стихи-то были не так пошлы; но нечего думать о стихах, надобно слушать, как она поет:

Час наслажденья
Лови, лови;
Младые лета
Отдай любви.

«Какие смешные слова: и *младые*, и *лѣта* с неверным уда-
рением!» Видишь ли, здравомыслящий читатель: тут уже уста-
ми верочкина сна говорит «Современник». Пушкин — пошл.
Мы-де не уважаем никого, никакого авторитета. Пушкин, при-
знанный всем коллективным умом России за гения, — не более
как пошл. С виду этот нигилизм только одна из вечных ступе-
ней человеческого мышления — это, дескать, от латинского сло-
ва nihil — ничто и не более как стремление не принимать *ничего*
на веру, не подвергнув критике. Вот и автор наш — ничего не
принимает на веру, у него везде нигилизм, сомнения, скепти-
цизм: дремала, не дремала, любишь, не любишь. Он так добро-
совестен, что и самые факты передает сомнительными краска-
ми. Что же дурного в скептицизме? *Вы всё* принимаете на веру,
а «Современник» во всем сомневается. И вы правы, и он прав.
Это было бы действительно ни хорошо, ни худо, если бы он со-
мневался во всем решительно. Тогда можно бы его направление
отнести к одному из миллионных разветвлений вечно колеблю-
щегося человеческого духа, ну хоть к вертящимся дервишам.
Но он играет в любишь — не любишь только официально, — в
известных, для его целей неинтересных случаях, а в делах для
него нужных его пушками не собьешь на нигилизм. Он кидает,
например, грязью в Пушкина вовсе не за то, что Пушкин талант,
нет, ему приятно в лице Пушкина хватить во всякий авторитет.
«Мы-де никого не уважаем. Он и власть, да не для нас, и мы при-
учим и других так смотреть — дорого начало».

Повторяем: стоило ли бы враждовать против мнения и вку-
са «Современника» касательно Пушкина. Благо и сам «Совре-
менник» — не более как старый фрак, попавший на спину но-
вейших его издателей с барского пушкинского плеча. А извест-
но, что для камердинеров нет великих людей. Но если бы
камердинеры вместо того, чтобы пускать в мелочных лавочках
пыль в глаза, что мы-де все науки произошли, действительно
знали хотя одну науку основательно, им было бы известно, что
нет и не может быть науки — для устройства жизни, всякая на-
ука существует, чтобы не говорили постыдного вздору вроде того,
который Верочка бормочет во сне. Если бы вместо тупой гали-
матьи об анти-львах Верочка прочла русскую грамматику, то она
бы узнала, что *младой* есть усеченная форма от *молодой* и что
лѣта два. Одно *лето*, т.е. год от рождества Христова, а другое
лето — одно из времен года. Первое в винительном множествен-
ном имеет *летá*, а другое имеет *лѣта*. Затем, если бы Верочка,
не говорим уже о знакомстве с классиками, прочла только как-
кую-нибудь грошовую пиитику, то узнала бы, что поэты дали
себе вечное право — употреблять *pars pro toto* — часть вместо

целого: корма — вместо корабля, зима, лето — вместо года и т. д., — и мы не были бы в нашем рассказе задержаны невероятной чепухой. Бозио, приснившись Верочке, ясно показывает ей, что она не любит своего миленького — Лопухова, — а любит кого-то другого.

Кого же ищет Верочка? «Да ты не любишь его», — говорит Бозио, и Верочка проснулась, вскочила и босиком бежит к мужу через *нейтральные* комнаты («их теперь уже две»), и все устройство невмешательства опять разрушено. — Читатель видит, что мы подходим к концу любовных отношений героини к Лопухову — и к началу подобных же к Кирсанову. Позволим себе на прощание сказать о первых два слова. Изюм хитрой и аляповатой постройке этих отношений мы видим только, что автор не имеет никакого понятия о чувстве истинной любви. Желая изобразить взаимность двух передовых любящихся, он не мог найти ни одной истинно человеческой струны в их отношениях. Это не любовь, а какая-то химера, высиженная тупым, фальшивым и резонерским представлением. Лопухов, которому Верочка передает содержание сна, мотает его себе на ус: «А Кирсанов совершенно счастлив. Трудновата была борьба на этот раз, но зато и сколько внутреннего удовольствия доставляла она ему, и это удовольствие не пройдет вместе с нею, а будет греть его грудь долго, до конца жизни. *Он честен. Да. Сон сблизил их*». Как вам нравится эта тирада? Весь роман написан, как увидим далее, на тему, что нет ничего бесчестного отбивать жену у самого близкого человека. Что совесть в таком деле не есть честность, а непростительная глупость, — и вдруг подобная тирада, в которой истина заговорила устами младенца. Вот и выходит: «Гони природу в дверь, она влетит в окно».

Придумали метод питания посредством втирания, но поставили пред систематиком пирог, а он его в рот. На что, кажется, Кирсанов нигилист, реалист и, главное, эгоист. У него все основано на расчете. Ему плевать дело откинуть в организме целого самостоятельного фактора, например, чувство. На что оно? Прочь его, коли оно не нравится нигилистам. Кирсанов недаром занимался вивисекциями, он хорошо знает, что животное продолжает жить и с вырезанной селезенкой. Но долго ли? — Это другой вопрос; поживет. И вдруг этот Кирсанов говорит: «В своем деле мудро различить, насколько рассудок обольщается софизмами *влечения* (явилось влечение), потому что честность говорит: *поступай наперекор влечению, тогда у тебя больше шансов, что ты поступишь благородно*». Куда же девалась теория ощущений и теория эгоизма, которую вы, г. Кирсанов, проповедуете? Видно, автор по теории эгоизма немного прихваст-

нул, сравнив себя с лучшими нашими романистами, у которых характеры ясно создаются в голове, — но такое хвастовство решительно безвредно и настолько же невинно, как рассказы Ивана Александровича Хлестакова о сочинении им «Юрия Милославского».

Желая ярче обособить двух друзей, автор предлагает следующие их характеристики: Лопухов сын мещанина, Кирсанов сын писца. Лопухов часто ел мясо во щах, Кирсанов редко (вот первое право на превосходство). Лопухов учился без учителя тем способом по-французски, каким Кирсанов по-немецки, зато Кирсанов учился тем же методом по-французски, каким Лопухов по-немецки. В жизни и в нравственном направлении разница между ними еще возрастает. «Какой человек был Лопухов? — Вот какой: шел он в оборванном мундире (в период своего пьянства) по Каменно-Островскому проспекту (с урока в 50 к. сер.). Идет ему навстречу некто осанистый, моцион делает, да как осанистый прямо на него, не сторонится; а у Лопухова было в то время правило: кроме женщин, ни перед кем первый не сторонюсь». (Видите ли, какой гордый искатель случая пострадать за убеждения и попасть на съезжую.) На улице никого не было, чтобы вступить за прохожего, и Лопухов его — в грязную канаву. Выпачканный *осанистый* наконец встал и пошел и никому не жаловался на нахала студента, а Лопухов уже и тогда разделял мнение Кирсанова насчет пощечин: «Мы не признаем, что пощечина имеет в себе *что-нибудь бесчестящее*, это глупый предрассудок, вредный предрассудок». Итак, валяй всех по зубам, а дадут самому пощечину — что ж? А платок-то на что? — утерся и ступай опять философствовать.

Вот с Кирсановым не было такого случая, а был другой. Некая дама, у которой *некие бывали на посылках* (так тонко, что и не видно!), вздумала, что надо составить каталог в ее библиотеке. Кирсанов взялся за дело за 80 р. сер. Вдруг дама говорит: «Не трудитесь больше, я раздумала, а вот вам» — и подает 10 р. — Я, ваше... сделал больше половины работы. — Вы находите, что я вас обидела в деньгах? Nicolas, переговори с господином. — Влетел Nicolas. — Как ты смеешь грубить татам? — Да ты, молокосос, — воскликнул Кирсанов (человеку старше себя), — выслушал бы прежде. — Люди! — крикнул Nicolas. — Ах, люди? Вот я тебе покажу людей! — и уже одна рука Кирсанова притиснула к себе Nicolas, а другая, дернув его за вихор, схватила за горло. Кирсанов крикнул людям: стой, а не то я задую его, — и прошедши через толпу прислуги до последней ступени лестницы, толкнул от себя Nicolas и пошел покупать фуражку, взамен оставшейся в доме. Если на Лопухова не жаловались, то кто же

посмел бы жаловаться на Кирсанова или преследовать его по улице? — Но главное нравоучение: *порядочные люди* вроде Лопуховых, как видно из двух примеров, не должны жаловаться на несправедливость, напротив, должны сами выдумывать какое-либо нахальство и первого, не покоряющегося их выдумке, бесчестить пощечиной, в которой нет ничего обесчещивающего. Господи! да когда же мы наконец выйдем из этой дикой чепухи и, добравшись до конца романа, крикнем: берег, берег!

Делать нечего, возвращаемся к рассказу! Обыкновенные порядочные люди, подметив в себе страсть к жене друга, не говорят о своей неслыханной честности и силе, а просто избегают встречи с предметом страсти и заглушают это чувство размышлениями о всем безобразии ее последствий. Но наши герои — герои только на словах, а на деле не только Лопухов, но и Кирсанов только безнравственный *слабец*. Иногда у героев как бы невольно вырываются здравые суждения. Так, например, «Вера Павловна любила доказывать, что мастерская идет *сама собою*, но в *сущности* знала, что только обольщает себя этою мыслию, а на самом деле мастерской необходима руководительница, иначе *все развалится*». Эти слова кажутся здравомыслящими. Но на наших героев здравомыслие находит временное, не оставляя ни малейшего следа в обычном течении суждений и поступков. В желтом доме такие явления ежедневны. Верочка, несмотря на собственное сознание, основала швейную и завела по такому же образцу другую — единственно с целью доказать возможность самостоятельного существования таких заведений, независимо от антрепренера. Кирсанов, основавший систему жизни на расчете (ума?), вдруг в беседе с Лопуховым изрекает следующее: «Но то, что делается по расчету, по чувству долга, (как будто это одно и то же?), по усилению воли, а не по влечению природы, выходит безжизненно. Только убивать можно этим средством, а делать живое — нельзя». Но «вперед, вперед моя история!» Лопухов, увидав любовь Верочки к Кирсанову, предлагает ей пригласить Кирсанова жить с ними. «Ведь ты знаешь, как я смотрю на это». Верочка, поняв, к чему дело клонится, не соглашается и — тоскует. Лопухов, которому, в свою очередь, надоела жена, отправляется доказывать влюбленному Кирсанову, что его *долг* взять Верочку в любовницы. Кирсанов, разделяющий подобную философию, которая ему в настоящем случае с руки, по остатку *глупых предрассудков* все еще не поддается. Здесь мы пропускаяем совершенно не идущий к ходу романа эпизод — рассказ Крюковой, заключающийся в том, что когда она еще по ночам бежала пьяная по Невскому, то насильно ворвалась к студенту Кирсанову, который возвысил ее своею любовью до высшего

просветления чистоты (sic!). «Лучшее развлечение (от) мыслей — работа, — думает Верочка, — буду проводить целый день в мастерской». Но ведь это слова, а на деле Верочка продолжает пить сливки и благодарить мужа за усиленный труд. — «Ведь это все, я знаю, для меня. Как я тебя люблю», — и теория равенства труда и коммерческой независимости — забыта.

Однако главное дело: передача жены с рук на руки Кирсанову — все-таки плохо подвигается. Напрасно *честный* Лопухов прибегает к обычному своему средству лжи и силится представить жене сожительство с Кирсановым необходимым только со стороны коммерческой. Дешевле будет жить. «*Я мог бы вовсе бросить эти проклятые уроки, которые противны мне,* — говорит он, — и усерднее заняться в заводской конторе, которая не надоела, потому что это *дает* влияние на народ целого завода, — и Лопухов успевает кое-что там делать». После таких наивных признаний в добросовестном исполнении должности домашнего учителя и не менее наивных замыслов против нравственности целых заводов — неудивительно, что гг. заводчики берут к себе управляющими только людей основательно рекомендованных и так ревниво охраняют свои заведения от вторжений проходимцев — вроде Лопуховых, Кирсановых и Рахметовых (о последнем мы еще ничего не сказали, но и до него дойдет очередь). Кирсанов вполне согласен с Лопуховым, что по нравственному принципу *их учения* чужая жена должна для сохранения человеческого достоинства жить с первым приглянувшимся посторонним человеком, но что, к несчастью, время на это не пришло. Теперь, пожалуй, по глупости общества, женщина будет скомпрометирована подобным актом. Как же устроить дело так, чтобы *и волки были сыты*, и овцы целы? т. е. чтобы и жену свести с приятелем и чтобы общество — — —. Но ведь общество, в котором живут Лопуховы, начиная с Мерцаловых, зарукоплещет такому поступку!? Какое вам дело! Лопухов не хочет, чтобы т-те Лопухова-Кирсанова была скандальной сагой высшего круга. Разве он не имеет права так далеко распространять свои попечения? Но как же быть? *Что делать?* На такой вопрос *истинно честных* людей один ответ. Рассчитай, что тебе лично выгодней, и затем приступай к ряду обманов и подлогов, и если поступишь так — *одобрение*.

Начитанный Лопухов вспомнил, как в одном из романов Ж. Занда герой Жак *сходит* в подобном случае *со сцены*. Чтобы развязать жену, Ж. Занд заставляет Жака броситься в пропасть, т. е. умереть; и вышел *любящий*, да еще и *дурак*. Но Лопухов — эгоист и *не дурак* умирать за надоевшую жену. Он говорит жене, что едет по делам завода в Рязань и Москву, возвращается в пе-

тербургский трактир железной дороги и, оставя на столе записку для полиции, что он самоубийца, выстреливает ночью на мосту из пистолета в фуражку, которую и бросает тут же в доказательство своей смерти, а сам бежит за границу. Этой эффектной сценой начинается роман, с целью, как объясняет автор, забрать публику в руки. Эпизод носит заглавие: «Дурак!» — а на поверку выходит, что дурак-то *сильно себе на уме*. Полиция засвидетельствует верочкино вдовство, и только от ее воли будет зависеть выйти за Кирсанова, а публика — молчи. А чтобы неутешная вдова не слишком сокрушалась, Лопухов извещает ее через Рахметова, что самоубийство не более как шутка и что он, Лопухов, жив и здоров, чего и ей, жене своей, желает, так же как мужу ее законному, Кирсанову. С поручениями уговорить Верочку на брак от живого мужа — является к ней *Рахметов*.

«Ну, — думает проницательный читатель, — теперь Рахметов заткнет за пояс всех и Верочка в него влюбится, и вот снова начнется с Кирсановым та же история, какая была с Лопуховым. Ничего этого не будет». — Кто же и что же такое — этот Рахметов? — О! О! У! У! Говорите о нем потише. У автора при одном имени имени его захватывает дыхание от преданности и уважения. Недаром он озаглавил свой о нем рассказ словами: «Особенный человек». «Если, — говорит он, — вас удивляют личности вроде Лопуховых, Кирсановых, то что бы вы сказали о Рахметове, если бы мне про него можно было все рассказать». — Жаль, что нельзя! Интересно было знать, на какие чудеса способен этот особенный Рахметов, после *легкого абриса профиля*, предлагаемого автором на суд публики. Таких людей немного, сам автор сознается, что в жизни встретил только восемь *таких* (в том числе двух женщин). Интересно было бы хоть мельком взглянуть на последние два экземпляра, да куда нам с вами, проницательный читатель!

Наши «глаза», по уверению автора, не так устроены, чтобы видеть таких людей: их видят только честные и смелые глаза, а для того и служит описание такого человека, чтобы мы хоть понаслышке знали, какие люди есть на свете. «Рахметов был из фамилии, известной с XIII века, т.е. одной из древнейших в Европе. Отец его, генерал-лейтенант, оставил тысячи $2\frac{1}{2}$ душ и 8 человек детей. Наш Рахметов получил около 400 душ и 7 000 десятин земли. Поступив в Петербургский университет, он еще был *обыкновенным добрым честным* юношей, но узнал, что есть между студентами *особенно умные головы*, думающие *не так*, как другие, и сблизился с пятью такими людьми — *тогда их было еще мало*. (А теперь, слава Богу, — урожай!) Ему случилось сойтись с Кирсановым, и началось его пе-

ререждение в *особенного* человека. В качестве необыкновенного человека он, разумеется, бросил учение со 2-го курса и ринулся в действительную жизнь. Как он распорядился с душами и 5 500 десятинами — не было никому известно, не было известно и то, что он оставил себе 1 500 десятин, которые отдавал в аренду за 3 000 р., а не за 400, как думали знакомые. Вышел из 2-го курса 16 лет, он поехал в имение, где, несмотря на сопротивление опекуна, так распорядился, что заслужил *анафему* от братьев и достиг, что мужья запретили его сестрам произносить его имя. Устроившись таким образом, он пустился по России пешком, на расшивах и все устраивал сам себе приключенья. Он был атлетического сложения, и товарищи прозвали его Никитушкой Ломовым в честь одного силача-бурлака. Был он пахарем, плотником, перевозчиком и даже прошел бурлаком всю Волгу от Дубровки до Рыбинска. Рахметов принял боксерскую диету и кормил себя исключительно сырым бифштексом. «Задатки хорошие, но он развил их в положительную систему, которой держался неуклонно. Он сказал себе: я не пью ни капли вина, я не прикасаюсь к женщинам. А натура кипучая. Зачем это? Так нужно. Мы требуем *этого* не для удовольствия своим личным страстям, не для себя лично, а для человека вообще, — не по пристрастию, а по принципу, не по личной надобности, а по убеждению. — То, что ест по временам простой народ, и я могу есть, — говорит Рахметов — и ел апельсины в городе, но не в деревне, а паштеты везде, потому что иной паштет хуже пирога, но сардинок не ел. Спал на войлоке, даже не разрешая себе свернуть его вдвое». Была у него одна «*гнузная слабость*» — хорошие сигары.

Вот как было дело при посещении Рахметовым г-на Чернышевского, о котором автор сам рассказывает. Пришел Рахметов склонять автора на какое-то *хорошее* дело (истинно змей-соблазнитель — очковая змея!). Рахметов говорит: «надобно». Г. Чернышевский говорит: «нет». Рахметов говорит: «вы обязаны». Г. Чернышевский говорит: «нисколько». Через полчаса Рахметов сказал: «ясно, что продолжать бесполезно. Ведь вы убеждены, что я человек, заслуживающий безусловного доверия? — Да, мне сказали это все, и я сам теперь вижу. — И вы все-таки, г. Чернышевский, остаетесь при своем? — Остаюсь. — Знаете вы, — продолжает Рахметов, — что из этого следует? То, что вы, г. Чернышевский, или лежец или дрянь!» (стр. 495). Вот как должно убеждать! В известном кругу дружба имеет разные фазисы: она бывает *на ты* и *на врешь*. Рахметов прямо со 2-го курса вступает во второй фазис и, как особенный человек, дает ему и особенное развитие.

Герой героев Рахметов не мог оставаться без любовного приключения. Вот как оно у него разыгралось. У лесного института он остановил за заднюю ось шарабан 19-летней богатой вдовы, которую несла лошадь. Вдова спасена, но Рахметов расшиб грудь, и колесом вырвало порядочный кусок мяса из ноги. Дама приказала отнести его к себе на дачу, и когда он поправился, то, смекнув по платью, что он беден, — предложила ему руку и сердце. (Деликатная дама!) Но и Рахметов не менее деликатен. Откровенно высказав хозяйке свои планы, он дал ей понять, что ввиду ежеминутных недоразумений с полицией он не имеет права связываться чью-либо судьбу с своею. «Да, это правда, — сказала она, — вы не можете жениться. Но пока вам придется бросить меня, до тех пор любите меня». Какие все развязные дамы попадают к этим героям! Иной несчастный сутки целые гранит петербургские мостовые и все *монирует да пленирует*, по выражению г. Островского, боясь встречи с ночными красавицами Невского. И не подозревает, что тут-то самая чистота-то и сидит. «Нет, и этого не могу принять, — сказал Рахметов. — Любовь связала бы мне руки, они и так у меня связаны. — Но развяжу...». — Вот страсти-то пойдут!

За год перед окончательным исчезновением из Петербурга (с тех пор только Петербург и вздохнул) Рахметов сказал Кирсанову: дайте мне мази для заживления ран от острых орудий. На другое утро хозяйка Рахметова прибежала к Кирсанову с воплем: «Батюшка, лекарь! не знаю что с моим жильцом. Заперся, я заглянула в щель, а он лежит в крови». И оказалась вещь, от которой и не Аграфена могла развести руками: спина и бока всего белья были облиты кровью, под кроватью была кровь, войлок, на котором Рахметов спал, тоже в крови. В войлоке были натканы сотни мелких гвоздей шляпками вниз, остриями вверх, они высывались из войлока чуть не на полвершка. Рахметов лежал на них ночь. «Что такое, помилуйте, Рахметов? — Проба. Нужно. *На всякий случай* нужно. Вижу, могу». — Не кажется ли тебе, здравомыслящий читатель, подобная предусмотрительность крайней бесполезной нелепостью? Какие преследователи тычут в наше время гвозди в живых людей? А если Рахметов чувствует, что кончит не добром, то чем ему помогут гвозди? На то он и человек *особенный*, чтобы делать вещи непонятные. Он и выведен в романе, по признанию самого автора, только для масштаба. Он мерило нравственной высоты. Без него читатели, в простоте сердечной, слепоте, могли бы счесть Лопухова и Кирсанова за выродков, но теперь они увидят, что Лопухов и Кирсанов не выше обыкновенного уровня теперешней молодежи и что этой молодежи для

достижения высоты Рахметова — еще долго нужно вникать в то, «*что делать?*»

Чем же необыкновенным — особенным отличается Рахметов от обыкновенных людей своей клики? До сих пор мы видим только в нем больше нелепой, но для общества безвредной экзальтации, чем в других. Какая беда, что он роздал 5 500 десятин кому хотел, таскал лямку и спал на гвоздях? Это только цветики, а про ягодки автор, по собственному признанию, и знает да молчит. Впрочем, это вечная метода всех иерофантов показывать на пустой мешок и говорить: вот тут вся мудрость-то и сила. Я только не хочу его развязать, а вот первое апреля в 12 часов развяжу — так вы все ахнете! Сколько бы близорукие, поверхностные и убогие люди не кричали о каких-то результатах науки (подумаешь, что науки с своими результатами все еще в таинственных руках мемфисских жрецов) и сколько бы они себя не истязали — наука и общественная жизнь вечно будут идти своим неторопливым историческим ходом. Ни мировая, ни человеческая жизнь не знают беспричинных сальтоморталей, и долго еще курица не запоет петухом, а европейские женщины не отойдут от нежно любимых ими домашних очагов. Да и в России уничтожение крепостного права, волей-неволей оторвав наших женщин от фантастических утопий, приведет к подобным же мирным занятиям. Зато и нелепости Рахметовых не останутся без последствий. Сколько горячих и поздних слез выжмут они из тех глазок, которые когда-то сверкали радостью, — прочитывая благородные наставления и поучения в лицах героев романа «*Что делать?*». С какими, однако, наставлениями явился Рахметов к Верочке? Как систематик, Рахметов начал с того, что закатил Верочке 2 рюмки хересу, а затем показал письмо Лопухова, в котором тот поручает ее урокам Рахметова и извещает о своем здоровье. Из этого Рахметов выводит, что Верочке сокрушаться не о чем. Но как от душевного спокойствия до сближения с Кирсановым еще далеко, Рахметов приступает ко второй части убеждений. Проповедник религии эгоизма, он укоряет Лопухова в эгоизме (пойми кто может!). Он доказывает, что Лопухов, смотревший просвещенными глазами на брак и супружеские отношения, т.е. всегда считавший их за ничто, не развивал этого воззрения в жене — только вследствие гнусного эгоизма, находившего такой акт несогласным с его интересами. «*Вот мотив, — говорит он, — по которому Лопухов оставил вас неподготовленной и подверг стольким страданиям*». Как вам это нравится!

«— Это неправда, Рахметов, он не скрывал от меня своего образа мыслей.

— Конечно, Вера Павловна. Он не мешал развитию в вас подобных мыслей, — *это было бы уж прямо бесчестным делом*. Он человек хороший, но прежде чем возникло дело, он поступал с вами дурно. Как допустил он в вас мысль, что *это* огорчит его? Это глупо. Что за ревности такие?

— Вы не признаете ревности, Рахметов?

— В развитом человеке *ей не следует быть*. Это искоженное чувство, фальшивое, гнусное чувство, это то же что недозволение мною носить моего белья, курить из моего мундштука — взгляд на человека как на вещь.

— Но вы проповедуете полную безнравственность, Рахметов!

— Вам так кажется после четырех лет жизни с ним? Вот в этом-то он и виноват. Отчего он вас и себя не *подготовил* смотреть на все это как на *чистый вздор*, из-за которого не стоит выпить лишний [него] стакан [кана] чаю. Отчего бы вам не жить тогда же втроем с Кирсановым и все пошло бы само собою.

— Нет, Рахметов, вы говорите ужасные вещи!

— Опять «ужасные вещи!» Для меня ужасны мученья из-за пустяков и катастрофы из-за вздора. Выпейте еще рюмку хереса и ложитесь спать».

Но ведь ревность, г. Рахметов, замечаем мы с своей стороны, не есть исключительный продукт брака — ревнуют и к друзьям, и к местам, и к талантам (ставя себя без малейшего основания рядом с первоклассными), к любовницам и даже самым грязным искательницам приключений? Вы говорите — да, ревнуют люди неразвитые. Но эти неразвитые составляют весь старый, средний и новый свет, что указывает на ревность как на вечно присущего нравственного двигателя. — Положим, — отвечает Рахметов, — но и лошадь была вечно присущим другом человека, однако мы уже заменили ее анти-львом; отчего же нам не заменить и ревность благодушным свальным грехом. — Но ведь тогда не будет ни семейства, ни отцовских забот о детях? — Тем лучше! Это все галиматья и глупость. Все общество надо насильно перестроить и через тираническую диктатуру привести к блаженству помимо его желаний (хотя в романе и говорится, что никого не осчастливливать против его желаний).

Здесь, на рубеже 2-й части романа, мы навсегда расстаемся с Рахметовым — в надежде изложить в конце нашего разбора хотя в кратком очерке основные положения доктрины, которой следуют наши герои. Без этого бенгальского огня безумья трудно выйти из мрачной бездны картавых противоречий вольных и невольных заиканий нашего романиста.

Часть третья

Успокоив сомнения жены, Лопухов не оставляет ее и из-за границы своей *нравственной* поддержкой. Для этого он вступает с Верочкой в переписку под именем отставного студента медицины. Хотя в сущности в этой переписке нет ничего нового касательно воззрений на брачные отношения, но мы приведем из них некоторые не совсем бесцветные курьезы. Лопухов, оправдывая свое *преступное* бездействие в деле *развития жены*, говорит: «Но человек до последней крайности старается сохранить положение, с которым сжился; в *основной глубине* нашей природы (безделица!) лежит консервативный элемент, от которого мы отступаем только по необходимости». Далее он говорит, что в браке легче всего впасть в ошибку насчет сходства или несходства характеров и что он (Лопухов) в свою очередь ошибся, — но что легко исправлять подобные ошибки частыми менками. Не переделывать же характера? «*Ведь переделка характера, во всяком случае, насильование, ломка; а в ломке многое теряется, от насильования многое замирает*». Итак, постепенная добросовестная работа над собою двух людей, давших клятву жертвовать всем для взаимного блага и для блага детей есть ломка, от которой многое замирает (например, бесстыдство), а *насильственная ломка* элементов, лежащих в *основной* глубине нашей природы, не есть ломка. Сам Рахметов не признает этого *ломкой*. Потолковав о любви к жене, Лопухов продолжает: «Когда я увидел, что в жене не одно искание любви, а сама любовь к человеку, могущему ей вполне заменить меня — и *который страстно* любит ее, — я *чрезвычайно обрадовался*. Я уехал из Петербурга на другой день после того, как вы узнали о гибели Дмитрия Сергеевича (Лопухова). По *особенному случаю, я не имел в руках документов и мне пришлось взять чужие бумаги, которыми обязательно снабдил меня один из общих знакомых ваших и моих*. Он дал мне их с тем условием, чтобы я исполнил некоторые его поручения по дороге. Когда увидите Рахметова, скажите, что все исполнено. У меня есть несколько сотен рублей, и мне хочется погулять, не знаю где. Поэтому сделайте следующий адрес: Berlin, Friedrichstrasse 20, Agentur fon H. Schweigler и под конвертом другой конверт с цифрами 12345 — агентство Швейглера передаст письмо мне». А вы еще спрашиваете «*что делать?*».

Все одно и то же. Ложь, обманы, подлоги — ибо теперь *еще нужно и уже можно* всякого рода проходимцам беспрепятственно получать фальшивые паспорта. Вот и простая разгадка тайных комитетов, существованием которых изумлен был мир. На этом месте любезный автор — завтракающий — затыкает вся-

кому догадывающемуся, что письма студента суть письма Лопухова, рот салфеткой. Но так как догадаться было нетрудно и мы беседуем с читателем не изустно, а рук нам связать не пришло в голову, то мы и продолжаем.

Письма и увещания наконец приносят пользу. Верочка отвечает совершенно разумно, что напрасно Лопухов бегал за границу, что дело можно бы уладить проще. Она пишет: «Если муж живет вместе с женою, этого довольно, чтобы общество не делало скандала жене, в каких бы отношениях ни была она к другому. Это уж большой успех».

Как же не успех! Ведь общество только и думает о том, как бы ему ворваться со скандалом в семейство Лопухово-Кирсановой. Как будто общество не знает о существовании в каждом городе различных увеселительных заведений? Что же оно до сих пор не врывается туда с своими нравоучениями? «Когда я после отъезда твоего, — продолжает Верочка, — поехала в Москву, то Александр (Кирсанов) и Рахметов были правы, что Александру не следовало ни являться ко мне, ни провожать меня. Но мне уже не нужно было ехать до Москвы, нужно было только удалиться из Петербурга, и я остановилась в Новгороде. Через несколько дней туда приехал Александр, привез документы о погибели Дмитрия Сергеича, мы *повенчались* через *неделю* после этой погибели и прожили с месяц на железной дороге в Чудове, чтобы Александру было удобно ездить в свой госпиталь. Обнимаю вас, милый друг, ваша Вера Кирсанова».

Следует приписка нового мужа к старому. «Жму твою руку, мой милый. Мы с тобой несколько стесняемся (вот что неразвитость-то значит!), но в следующий раз уже надеюсь рассуждать с тобой свободно и напишу тебе грудю здешних новостей. Твой Александр Кирсанов».

Ну что вы скажете, здравомыслящий читатель? Вы смеетесь? Вы душевно благодарите автора за доставленное вам высоко комическое наслаждение; но наслаждение ваше удвоится, когда вы увидите, что сам автор не только смеется, но добродушно хохочет над всем этим. «О эти люди очень хитры! — восклицает автор. — Я часто слыхивал от них, т. е. от этих и от подобных им, такие вещи, что тут же хохотал среди их патетических уверений, *что, дескать, это было для меня совершенно ничего, очень легко: разумеется, хохотал*, когда уверения делались передо мною человеком посторонним, и при разговоре *только вдвоем*. А когда то же самое говорилось человеку, которому это *нужно* слушать, то я *поддакивал*, что это, *дескать, точно пустяки*. Препотешное существо *порядочный* человек. Я всегда смеялся над каждым порядочным человеком, с которым знаком». Давно

бы вы так сказали, почтеннейший автор! Ведь мы тоже разговариваем с вами вдвоем. К чему же тут пыль-то бросать в глаза? Вы сами не хуже Шекспира знаете о вечном ошутительном присутствии ревности в природе, ревности, которой невозможно устранить никакими регламентациями; но вам для ваших эгоистических целей необходимо, хотя и с тайным хохотом, говорить противное людям, которым *нужно это слушать*. Не велика беда, если и тысяча этих нужных людей погибнут от вашей науки, — вы все-таки пожуюрите и похочете насчет их легкомыслия. Здесь мы опять щедрою рукою перевортываем страницы романа, прочтение которых справедливо считаем одним из энергичнейших подвигов. Там есть все, и чтение «Коробейников» г. Некрасова, и физиологические доказательства превосходства женщин над мужчинами, и ко всему этому непроходимое пустословие и скука. Вследствие такого превосходства Верочка и за вторым мужем ищет самобытной деятельности. Завела новую мастерскую и передала ее Мерцаловой, но этого ей мало: она решается из лекарши сделаться настоящим медиком. Для изучения латинского языка она взяла Корнелия Непота, но в сущности осталась верна инстинктам праздности и ничем не оправдываемого сибаритства. «Просыпаясь, она нежится в своей теплой постельке, ей лень вставать — и дремлет, и не дремлет, и думает, и не думает». Теперь, видите сами, что должно пролетать время так, что Вера Павловна еще не успеет подняться, чтобы взять ванну и опять прилечь понежиться, отдохнуть, а часто даже не чаще ли так задумается и заполудремлет, что еще не соберется взять ванну, как Саша (Жирсанов) уж входит, вернувшись из гошпиталя.

Но как хорошо каждый день поутру брать ванну; сначала вода самая теплая, потом теплый кран заворачивается, а кран с холодной водой остается открыт, и вода в ванне незаметно свежеет, свежеет, как это хорошо! А во всяком случае милый взял на себя неизменную обязанность хозяйничать за утренним чаем. Да и нельзя было бы иначе. Саша прав, потому что пить утренний чай, т.е. разгоряченные крепким чаем сливки — пить его в постеле — чрезвычайно приятно». Словом, «она сохранила все свои, не поэтические и не изящные, и не хорошего тона свойства». Как видите, несносный *хороший тон* не дает этим людям дышать. Какая тут работа? Когда ею заниматься? — Между тем у Жирсановых родился сын и назван в честь Лопухова Митею. Вот она, деликатность-то искомого хорошего тону! В то же время Верочка говорит мужу: «На тебе я замечаю вещь гораздо более любопытную: еще года через три ты забудешь свою медицину и изо всех способностей у тебя останется одна — зрение, да и то разучишься видеть

что-нибудь, кроме меня». Сомневаемся, чтобы такая дама, как Верочка, удовлетворилась подобной метаморфозой.

«Как наш покрой платья портит нам стан! Но у меня эта линия восстанавливается, как я рада этому! Как ты хороша, Верочка! Как я счастлива, Саша!

И сладкие речи,
Как говор струй:
Его улыбка,
И поцалуй.

Милый друг, погаси
Поцалуи твои и т. д.»

Приведенные цитаты должны, как видите, представлять воочию поэзию в жизни.

Теперь, здравомыслящий читатель, обрати свое внимание на следующее обстоятельство. Поэзия, как и все искусства, хотя и почерпают свое содержание и берут материал для воплощения своих задач из действительного мира, тем не менее не только не тождественны с этим миром, но едва ли ему не противоположны. Человек не может ничего себе представить, чего бы он не видал — не знал в действительности, самое пылкое воображение способно только перемещать известные признаки в новых сочетаниях, т.е. представлять себе старое на новый лад. Но этот вечно неизбежный закон — эти вечно отрезвляющие кандалы — не составляют силы, а скорее являются бессилием искусства, вечно стремящегося за черту реального. Итак, реальность является только неизбежным условием, но не основанием. Основанием искусства служат те вечные колебания духа, которые в данный исключительный момент способны достигать неизмеримой высоты. На этих-то высотах и для этих-то высот творит вечное искусство. Что же тут общего с действительной будничною жизнью? Ничего. Это понятно самому бесхитроственному уму. Но есть, к несчастью, люди, которые каждый предмет ищут не там, где следует. На бале дай им редьки, на огороде — конфетов. Этим-то неуместным исканием обессмертил себя известный рыцарь Дон-Кихот, видевший в мельнице гиганта, в баранах — врагов и, главное, Дульцинею везде. Без этого неуместного искания — Дон-Кихот был бы образцом благородного рыцарства. Оно-то и погубило его, оно-то и низвело его на последнюю ступень безрассудного и смешного. Мы толкуем о пользе искусства — эта польза огромна и исключительна. Ночная сцена Ромео и Юлии не затем существует, чтобы учить юношей лазить по окнам; этому всякий мошенник научит гораздо лучше Шекспира. Но для ее

уразумения — необходимо, чтобы среди обычных волнений духа хотя одна волна его хотя на миг достигла той же высоты, на которой воздвиглась эта сцена у Шекспира. А вызывать дух на подобные высокие колебания значит очищать его и укреплять духовной гимнастикой. Это возвышение, очищение и укрепление духа есть исключительное призвание искусства. Другого у него нет. Поэзия — и вообще искусство — никогда не выдавала своих созданий за плотскую — реальную жизнь. Чем же, как не донкихотской слепотою, объяснить настойчивое гонение *нигилистов* на «искусство для искусства», которому так давно подвергается поэзия в «Современнике» и К? Обвинение, возводимое там на искусство, само по себе справедливо. Искусство, действительно, не заботится о реальной жизни прямо и непосредственно, оно влияет на человеческую жизнь иным путем — возвышая дух, от которого зависит эта жизнь. Но они этого не видят, а если видят, то не только говорят, что этого мало (какие скромные требования!), но утверждают, что это вредно, как чрезмерное волнение духа, выбрасывающее из действительности. Оно, по их словам, портит жизнь, ставя перед нею слишком высокие идеалы. И вдруг! — что же мы собственными глазами видим, здравомыслящий читатель! — сам глава этого направления — в «Современнике» — в собственном романе приводит ряд стихотворных цитат и всеми силами низводит их с поэтических вершин в прозаично-эгоистический мир своего духовного детища. Какое торжество поэзии! Первая цитата из песни поэтически чистого идеала Гретхен, обращающейся к идеальному Фаусту. Тут все высоко поэтично и потому гармонически верно. И вдруг эти слова в сближении с Верочкой и Кирсановым! Не менее яркое явление в этом роде представляет песня Кольцова:

Милый друг, погаси
Поцалуи твои и т.д.

Кто говорит эти слова? Все (идеально) и никто реально в целой России. Можно дать премию художнику за создание двух лиц, в устах которых эти слова, несмотря на их безотносительную красоту, не представляли бы нелепого безобразия и безвкусыя. В кринолине перед фраком или сюртуком они невозможны и смешны. В сарафане и платке перед сибиркой, перетянутой кушаком, они не менее, если не более, невозможны. Если бы сарафан сказал: «Огонь пылает в груди», не только куры, галки бы падали со смеху на землю. — Вот что значит ничего не понимать в деле, в котором выдаешь себя за абсолютного знатока!

«И снится Верочке сон; будто доносится до нее знакомый голос — издали — ближе, ближе, —

Wie herrlich leuchtet
Mir die Natur!
Wie glänzt die Sonne!
Wie lacht die Flur! *

И видит она, что это так, все так. Роскошная природа и солнце освещает обильные нивы. У подошвы горы (в России!) на окраине леса, среди цветущих кустарников, густых аллей воздвигается дворец. — Идем туда. — Они идут, летят. Роскошный пир. Пенится в стаканах вино (шампанское или донское?), сияют глаза пирующих. Тут и шепот под шум, смех и тайком (кому уж тут нужно тайком) пожатие руки, и порою украдкой неслышный за шумом (но очевидный для всех пирующих) поцалуй». Вы видите, читатель, сон Верочки уносит нас в один из фаланстеров, этот сладостный кошмар наших прогрессистов. «Песню! песню! без песни не полно веселье! (Давно ли это стало?) И встанет поэт (высокий слог). Чело и мысль его озарены вдохновением, ему говорит свои тайны природа, ему раскрывает свой смысл история, и жизнь тысячелетий проносится в его песне рядом картин.

Топоры номадов — лошади, верблюды, пальмы и прекрасные жены. — У них одно дело *любовь* (совершенно наоборот, у номадов жены-то все и делают). Нет, говорит светлая красавица (спутница Верочки в сновидении — новейший Виргилий Данта в юбке), меня тогда не было, их царица Астарта — раба.

Новая картина. Греция. Судьи не решаются судить Аспизию, потому что она слишком хороша. Они поклоняются красоте, но не признают прав женщин. Их богиня Афродита, а меня еще не было.

Арена перед замком и турнир и история шиллеровского Тоггенбурга. «Это уж вовсе не обо мне, — говорит красавица. — Он любил ее, пока не касался к ней. Тогда меня не было, ту царицу звали *Непорочностью*. Перед ней преклоняли колена. Она говорит: печальна до скорби смертной душа моя. Меч пронзил сердце мое».

Das Schwerdt im Herten
Schaust du mit Schmerzen
Herab auf deines Sones Todt.**

«Нет, нет, меня тогда не было», — говорит светлая красавица. Но кто же ты, и Верочка узнает, что она, т.е. божество, есть

* Как дивно сияет / Мне природа! / Как светит солнце! / Как смеется нива! (*нем.*).

** С мечом в сердце / Ты с болью зришь / На смерть своего сына (*нем.*).

каждая любимая женщина. — «Тебе одной я скажу тайны моего будущего. Клянись молчать и слушай»... Тут беспощадная цензура наставила точек, а то каких бы чудес мы не наслушались. Но, всего вернее, эти точки выставлены автором-художником в замену кабалистически грозного — пустого мешка.

«Ты хочешь видеть, как будут жить люди, когда царица, моя воспитанница (эмансипация женщин) будет царствовать над всеми? — смотри». — Громадное здание, каких теперь ни одного, среди нив и лугов. Неужели это пшеница? Кто ж видел такие колосья, такие зерна, как в оранжерее? «Сады лимонные, апельсиновые и персиковые (в средней России) на воздухе. О, да это колония вокруг них. Это сады, раскрывающиеся на лето». (А где ж печки? спрашиваем мы). «Дворец — чугун и стекло, чугун и стекло — только». Нет, это только оболочки, а дворец внутри, и там все из алюминия. Группы, работающие на нивах, почти все поют. Ах, это они убирают хлеб. Почти все делают за них машины, люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. (Попробуйте-ко поработать при этих машинах и убедитесь, что тут не до пеня!.) День зноен, но им ничего. Над той частью нивы, где они работают, раскинут полог, который подвигается по мере успеха работы. Как они устроили себе прохладу! (А по нашему духоту: войдите под любой навес или палатку во время зноя. — Там дышать нельзя.) — И всё песни, всё песни.

Будем жить с тобой по-пански.

«Но вот работа кончена, все идут к зданию. Посмотрим, как будут обедать — более 1000 человек — здесь не все; кому угодно, обедают особо у себя. Старики, старухи и дети, которые не выходили в поле, приготовили все это». — Или они родятся не людьми, а поварами, или нельзя есть их адской стряпни, несмотря на великолепную сервировку из алюминия и хрустала и вазы с цветами. «Вошли рабочие и все, т.е. и старики и дети, садятся за стол». Кто же будет служить? Не нужно. Всего пять, шесть блюд: горячее поставлено в ящики с кипятком. Рабочие пришли грязные, пыльные — и прямо за стол. А кто же раздает порции по особым комнатам? «Обед великолепный и ничего не стоит отдельному лицу», а захотел лучше — «плати» — чем? «Все это русское — видишь невдалеке реку — это Ока». Но вот осень, зима, — из 2000 обитателей фаланстера осталось 20 чудаков, которым приятно оставаться на морозе — доить коров, давать корм по крайней мере 1000 животных. Действительно, чудаки, да и проворные какие. Ведь им же и сад надо топить, и топлива для стариков-то наготовить, и набить такие громадные ледники. Но к ним будут зимой приезжать любители зимних прогу-

лок — охотники таскать во вьюгу с гумна занесенную снегом солому и колоть лед (тогда много будет таких любителей!). «Но куда же это они уехали? В центр зауральской пустыни? — Да, мы в центре пустыни. Как же превращен песок в плодоносную почву? — «Да что ж тут мудреного? У них так много машин. Возили глину, она связала песок, а там навозили чернозему, и пустыня расцвела. Это в твоё время Новая Россия была около Херсона и Одессы, а теперь она здесь. С каждым годом, вы, русские, все дальше отодвигаете границу на юг, другие работают в других местах. *Всем и просторно и обильно*». Покорнейше благодарим красавицу на ласковом слове. Мы останемся где сидим, а уже глину-то возить пусть она найдет *тех, других*. Разумеется, и в Новой России тот же фаланстер. Вечерняя зала с электрическим освещением, вместительная на 3000 человек с оркестром в 100 человек — и женщины роскошно одеты. Это будничным вечером — рабочих людей». «Есть несколько *дам...*» Желание казаться дамой так засело в голове Верочки, что она и в фаланстере, где нет сословий — и даже во сне — не может от него отделаться. «Шумно веселится одна половина обитателей дворца. А где ж другие? Везде — в театре, в аудиториях, в библиотеке, или с своими детьми. Кто же знает, что они свои, а не чужие? Но больше, больше всего — это моя тайна. (Хороша тайна на глазах у всех!) Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза, ты видела, они уходили — это я увлекла их. Здесь комната каждого и каждой — мой приют, в них мои тайны не нарушимы, занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук, там тишина, там тайна; они возвращались — это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я. Здесь я — цель жизни, здесь я — вся жизнь». Уф! батюшки! Стоило ли выписывать всю эту переделку фаланстера на русский лад, о чем скажем впоследствии, со всеми залами, отдельными комнатами, коврами и занавесками, когда все это давно есть и нисколько не представляет прелести даже для молодежи, а один почтенный купец г. Островского выражается, что «когда человек войдет в настоящие лета, то ему все эти женские прелести — ничего — даже скверно».

Через год новая мастерская устроилась, установилась, однако же выгода иметь на Невском магазин была очевидна — и затем появилась новая вывеска «*Au bon travail. Magasin de Nouveautés*» *. Кажется, чего бы лучше. Магазин так магазин! — Нет, не такие люди Кирсановы, чтобы делать что-либо спроста. Кирсанов говорил: «*travail* значит 'труд'. *Au bon*

* Честная работа. Магазин новинок (фр.).

travail — магазин, хорошо исполняющий заказы, не лучше ли заменить такой девиз фамилией?» — Почему же лучше, когда и так дела идут хорошо? Кирсанов стал говорить, что «русская фамилия наделает коммерческого убытка». Вот и новое подтверждение изречения «Гони природу в дверь — она влетит в окно», вот вам и мнимое образование, — а как до дела дойдет, то из этих гениев торчат нелепые соображения, вследствие которых мы на Руси читаем: «Въ новъ приежій изъ Парижа военный и партикулярный портъ-ной Иванъ Серотыкинъ». Кирсанов придумал средство: его жену зовут Верой, по-французски вера (религия) foi; если бы на вывеске можно было написать вместо Au bon travail — A la bonne foi, то не было ли бы достаточно этого? (достаточно для чего?) Это бы имело самый *невинный* смысл (стало быть, может иметь и самый не невинный, которого вы только и добиваетесь, г. Кирсанов) — добросовестный магазин, и *имя* хозяйки было бы на вывеске». Так ли? — Нет, г. Кирсанов. Во-первых, мы знаем, что ваша Вера там не хозяйка и в том именно и поставляет всю гордость свою, что швейная действует самостоятельно без всяких хозяев, а, во-вторых, мы видим, что Кирсанов переводит словом foi — не Вера с прописным В, а маленьким. Итак, вы бы желали дать почувствовать, что магазин A la bonne foi есть преимущественно орган нового — единственно хорошего верования. — Ваше желание исполняется — мы вас поняли.

Здесь мы встречаем письмо нового действующего лица Катерины Васильевны Полозовой к своей приятельнице Полине. Все письмо есть описание социалистических швейных с приложением их коммерческих счетов в доказательство неисчислимых выгод такой системы. Избавляем и себя, и читателя от выписки этой чепухи и тут же оговоримся, почему мы, насколько было возможно, передавали содержание романа словами самого автора.

Во-первых, мы решительно и смиренно уступаем автору пальму своего рода искусства, которым он, без всякой неуместной *наглости*, вправе гордиться. Никто не сумеет при усиленном желании выражать серьезные и высоко поучительные истины — писать такие уморительные вещи. А во-вторых, передавая содержание своими словами, мы рисковали услышать возражение: «Он этого не говорит». Теперь такая отговорка невозможна, потому что все сокращено, но ни одна йота текста не изменена.

Кто же такая Катерина Васильевна, или Катя Полозова? Неужели опять с *самой* грязной лестницы или с Невского проспекта? Нет, Полозов был отставной ротмистр или штабс-ротмистр, но чтобы попасть в число *порядочных людей* нашего автора, прокутил большое родовое имение. Собрав последние кро-

хи — тысяч 10 ассигнациями, он мелкой хлебной торговлей нажил снова порядочный капитал, женился на купеческом полумиллионе (все ассигнациями) приданого и лет через 10 стал миллионером на серебро. Жена умерла, и Полозов переехал в Петербург, где, любя единственную дочь Катю, не женился вторично. Опекунами брезгал, а казенные подряды брал. Тутто, поссорившись с одним нужным человеком (такой задорный этот старый Полозов, точно молодой Лопухов), погорячился, обругал. Ему сказали: «покорись». — «Не хочу». — «Лопнешь». «А пусть, не хочу», — и лопнул — забраковали товар. У него осталась доля в стеариновом заводе, и он за хорошее жалованье сделался на нем управляющим. «Отец любил Катю и называл глупостями выправку талии, манер и все тому подобное — а в 17 лет читающая и мечтающая Катя стала худеть и слегла... У Полозова медиком был один из козырных тузов». Консилиумы при больной составлялись все из тузов. Консилиум решил, что Катя неизлечима, а потому надо сдать больную Кирсанову или одному из его друзей — *наглецов-мальчишек*. Когда все разошлись, Кирсанов сел у постели больной. Больная насмешливо улыбулась. «Вы не хотите мне ответить, вы молчите? Мое правило: *против воли человека не следует делать для него ничего; свобода выше всего, даже жизни*». Видите ли, какой мастер говорить этот Кирсанов? Принадлежа к секте, желающей *насильно ублагополучить* род человеческий, он умеет где нужно сказать, что мы никому не благодетельствуем с ножом к горлу, а бессмысленную фразу о свободе, которая дороже жизни, он пускает перед m-lle Полозовой так, для красоты слога. Он сам хорошо знает, что мертвым не нужно ни свободы, ни рабства. «Вы влюблены, — но умирать от чахотки тяжело и долго, я готов вам помочь, готов вам дать *яд* — *прекрасный*, убивающий быстро, без страданий. Угодно вам на этом условии открыть мне ваше положение?»

«— Вы не обманете? — проговорила больная.

— Посмотрите внимательно мне в глаза, вы увидите, что не обману». Оказывается, что пустой, бессердечный фат, в которого влюблена Катя, тот Жан Соловцов, что ужинал в начале романа вместе с Жюли, Сержем и Сторешниковым. Отец, разумеется, против такого брака, а дочь от любви умирает. Как же быть? Съехался консилиум из *самых высоких знаменитостей великосветской практики*. Кирсанов объяснил консилиуму, что он исследовал болезнь и нашел ее, подобно Карлу Федоровичу, неизлечимой, а агония этой болезни мучительна, поэтому он считает обязанностью консилиума *отравить* больную. «С таким напутствием он повел консилиум на новое освидетельствование

больной. Консилиум исследовал, хлопая глазами, под градом черт знает каких непонятных разъяснений Кирсанова — а черт бы побрал этих мальчишек! и возвратясь в зал, положил: прекратить страдания больной смертельным приемом морфия». — Хорошо? Как вам, здравомыслящий читатель! нравится все это место? Что оно — более ли смешно, или гадко? Какими бессмысленными неуканами представлены высшие знаменитости петербургской медицины, которые даже не в силах понять научной терминологии Кирсанова, нарочно пускающего им пыль в глаза. Вы сами, здравомыслящий читатель, вероятно, лично знакомы с некоторыми из этих почтенных людей и знаете, что подобное предположение не менее как невинная клевета. Но, допустив, что воображаемые автором знаменитости невежественны и всегда готовы на убийство, никак нельзя допустить в них так мало осторожности, чтобы они решались по первому слову *мальчишки* совершать убийство *соборне*. Воля ваша! Это уже из рук вон. Из таких-то бесцеремонных нелепостей шит весь роман. «Важнейший из мудрецов (читай: дураков) грустно-торжественным языком и величественно-мрачным голосом объявляет отцу постановление консилиума. — Ошеломленный Полозов восклицает: «Не надо! она умирает от моего упрямства!» и соглашается на брак дочери с Соловцовым. Катя оживает. «Неужели вы в самом деле дали бы ей смертельный прием?» спрашивает Полозов Кирсанова.

— Еще бы! разумеется, — совершенно холодно отвечает Кирсанов.

— Что за разбойник? говорит, как повар о зарезанной курице.

— И у вас достало бы духу?

— *Еще бы на это недостало, что ж бы я за тряпка был?*

— Вы страшный человек! — повторял Полозов.

Кирсанов думал про себя: Показать бы тебе *Рахметова!*

«— Но как же вы повертывали всех этих медиков!

— Будто трудно повертывать *таких людей!* — с легкою *гримасою* отвечал Кирсанов». Как не гримасничать такому великому мальчишке! Кате позволяют принимать Соловцова, она убеждается в его негодности и сама ему отказывает — а все Кирсанов!

«Полозову захотелось продать завод компании, который не мог идти при жалком финансовом и административном состоянии своего акционерного общества».

Хотя бы автор, написавший эти строки, остановился на них с вопросом: почему личные предприятия отдельных деловых людей у нас процветают, а большая часть акционерных обществ

падают? Нет ли тут прямого указания на крайнюю необходимость единства инициативы в каждом предприятии? Не похолодел ли бы он к общественным мастерским и фаланстерам, где овцы предназначаются к блаженству без пастыря? Полозов нашел покупателя, у которого на карточке для *незнающих* стояло Charles Beaumont, а для знающих Чарльз Бьюмонт. Он был агент лондонской фирмы по закупке сала и *стеарина*.

«Отец Бьюмонта был выписан из *Нью-Йорка* крымским помещиком-прогрессистом для разведения в *Крыму* хлопчатника. Это уж всегда так бывает с подобными прогрессистами!» — говорит автор. Эка эти прогрессисты чудаки! подумать, что они из социалистов! «Бьюмонт увидел себя за обедом у Полозова только втроем, т.е. с отцом и дочерью. Бьюмонт стал часто бывать, потому что отец находил его *подходящею партией*. Бьюмонт старается развивать Катю и успеваеет в том. Она без церемонии отправляется к холостому человеку одна на квартиру, когда он, прищевив винтом машины руку, не был у них два дня. Бьюмонт интересуется Верочкой Кирсановой и самим Кирсановым, которых, несмотря на свое *нью-йоркское* происхождение, знает лучше Кати, знакомой с ними уже давно. Бьюмонт до окончательного предложения Кате объявляет ей, что уже был женат. Она отвечает, что слышала о его жене. — От кого? *может быть, от нее самой?* — Может быть, — отвечает Бьюмонт». Но Катя до того уже развилась, что соглашается на брак с Бьюмонтом и на другой день даже везет своего жениха к его бывшей жене Верочке — Лопуховой-Кирсановой! — Как? восклицает читатель — так это опять подлог, да еще двойной. Женился человек от живой жены под фальшивым именем. Кажется, проделал все возможное и нечего спрашивать «*что делать?*» Остается возвратиться к первой жене. Позвольте — и это будет.

Кирсанов и Лопухов нанимают две смежных квартиры и растворяют двери. Тут уже происходит такая мистерия бессмыслицы, против которой и возражать невозможно, потому что ничего нельзя понять. Кто эта черная женщина, что она делает и какое ее значение — положительно не знаем. Конец романа напоминает того оптимиста, который, на всякое заявляемое ему безобразие, говорил: «Могло быть хуже». Когда ему сказали, что Эдип убил отца и женился на матери, он и тут остался верен оптимизму и повторил свое: могло быть хуже. — Помилуйте, но что хуже этого. — Он мог, — спокойно ответил оптимист, — убить мать и жениться на отце.

Передав содержание романа, мы хотим показать, в какой мере самобытны и *новы* доктрины, послужившие ему краеугольными камнями. Для наглядного доказательства, что эта прекрас-

ная вера (доктрина) *bonne foi* — *des Nouveautés* * нисколько не новость, а старая жвачка, за совершенной негодностью всюду с презрением выброшенного тряпья, предлагаем вкратце историю этого учения и печальную судьбу его во Франции.

Когда французская революция в своем движении разорвала все основы прежнего общественного устройства и подпала исключительно влиянию демагогов черни, когда громкая и напыщенная фразеология стала на место действительных и вечных интересов общества, когда дикие и невежественные страсти заменили собою здравомыслие и ту осторожную и сдерживающую силу, без которой всякое политическое движение вперед обращается в бессмысленное кружение белки в колесе — тогда открылось вольное поприще для всевозможных общественных утопий. Известно, что всякая утопия отражает в себе нравственное состояние, страсти и стремления тех, кто в нее верит. Люди ограниченные, мало развитые тем более имеют влияние на чернь, тем более приходится ей по плечу, чем более выражают ее страсти и прихоти. После разгрома, последовавшего за 1789 годом и так быстро и совершенно изменившего общественное устройство Франции, возникла несчастная мысль, что можно бесконечно перестраивать общество по любому идеалу, что стоит только забрать в руки правительство и тогда можно дать государству такое устройство, какое заблагорассудится; словом, что всякая партия, завладев правительством, может располагать интересами государства и общества исключительно в свою пользу. Когда установилась Французская республика и возвестила всеобщее равенство, демагоги черни очень скоро увидели, что это политическое равенство ни к чему им не служит, — и вот в 1796 году выступает Бабеф с своим знаменитым коммунизмом, которому суждено играть во Франции столь кровавую роль. Мы говорим «знаменитым», потому что так называемый социализм есть не более как спутанная и сбивчивая варьяция на ту же тему, которая совершенно пришлось по темному смыслу парижского рабочего класса. Отвращение, возбужденное коммунизмом в первоначальном его явлении, заставляло его адептов тщательно скрывать его название, и повело к тому переодеванию и переработке, в которых он потом выступил в различных социалистических учениях. Здесь принял он смиренный вид, даже оставил претензию на насильственный переворот, назвавшись *мирной демократи-*

* прекрасная вера — новости, новшества (*фр.*).

ей. Чтобы читатели поняли, почему коммунизм возбудил такое отвращение, мы постараемся из путаницы его учения отделить со всевозможною точностию существенные пункты.

В основании всей доктрины лежит темное и самому себе непонятное чувство всяческого равенства; затем она отрицает результаты всей прежней истории и даже всякую потребность какой бы то ни было истории. Человечество, по ее мнению, имеет самобытную мощь и может своею внутреннею, прирожденною силою заменить все эти развития и приобретения, которые мы, по нашему слабоумию, считаем необходимыми, не осмеливаясь настоящим образом подумать об ином устройстве общества. Посему не нужно правительства, церкви, государства; семейство должно быть уничтожено, ибо порождает разъединение и наклонности, нарушающие гармонию братства, которая только одна может связывать людей, а потому становится источником всякого зла. Брак должен быть уничтожен, *«как несправедливое учреждение, обращающее в неволю то, что природа создала свободным, — обращающее тело в личную собственность, чрез что общинное владение и счастье делаются невозможными, ибо признано, что общинное владение не признает никакого рода собственности»*. Города должны быть уничтожены, все искусства брошены, ибо — *«лежат вне людских потребностей»*. Высшее образование и отдельное воспитание сделать невозможным. *«Так как для нации нет ничего бесполезнее блеска и слов — должно отнять у лживой науки всякий предлог для уклонения от общественных обязанностей; должно отнять у людей всякое стремление к какому либо личному счастью, кроме счастья общества. Так как земледелие и ремесла суть единственно настоящие кормильцы — то люди, по закону природы, призваны исключительно заниматься ими. Материализм, будучи непреодолимым законом природы, на котором все зиждется, должен быть общепринятой истиной. Существование больших городов есть признак болезни общественной жизни: «чем населеннее город, тем многочисленнее слуги, голодные писаки, музыканты, танцовщики, духовные, воры и т. п. Само собою разумеется, что владение должно быть общинным»*.

Остаток здравого смысла, однако ж, показывал коммунистам, что хотя с уничтожением личной собственности и установится равенство, но это равенство будет только материальным, а вовсе не умственным. Для избежания этого коммунизм решает, что не должно быть людей, отличающихся познаниями или образованием, никакой науки, никакой умственной жизни, а для осуществления этого все дети должны получать одинаковое воспитание, в котором ничему не учить, кроме чтения, письма, сче-

та, истории и законов республики, слегка ее географию и статистику. Как и Руссо, коммунизм объявляет, что усовершенствование наук и искусств есть зло. А чтобы сохранить учение во всей его чистоте, учреждается строжайшая цензура для сдерживания прессы в духе вышеозначенных начал — и всякое посягательство отклониться от них должно быть строжайше наказано.

Бабеф распространял это учение посредством речей и журналов и наконец устроил тайное общество, так что мог рассчитывать на несколько тысяч людей, готовых приступить к приведению в исполнение всей неслыханной нелепости доктрины. Они готовы были к восстанию, но директория вовремя арестовала Бабефа и главных коноводов. Суд присяжных приговорил Бабефа к смертной казни, и коммунизм был, по-видимому, подавлен.

Ужас и омерзение, с коими был он встречен в своем первоначальном явлении, заставил его последователей избегать этого названия, но почва, к которой он привился, сама по себе не перестала существовать; напротив, с развитием фабрик и промышленности она росла и умножалась. Этою почвою был ремесленный пролетариат. А как мы уже заметили, коммунизм совершенно соответствовал страстям и невежеству рабочего класса, явились попытки придать этому учению более приличный и цивилизованный вид, и одной из таких попыток был фурьеризм. Но он никогда не имел успеха между парижскими работниками. Отвлеченный, спутанный своею непонятною терминологией и даже космогонией, с своими специальными воззрениями на историю и природу, — он требовал адептов более развитых и грамотных, так что парижский работник мог в нем понимать очень немного.

Основная мысль доктрины Фурье та же, что и в коммунизме, только прикрытая более приличною одеждою, и состоит в том, что назначение человека на земле есть *счастье*, но что счастье невозможно без богатства. И вот он начинает перестраивать природу и историю сообразно с своими целями, добирается до настоящего времени и, находя, что не все счастливы, подвергает жестокой критике современное общественное устройство, называя его в насмешку *цивилизованным*. Чтоб сделать всех людей счастливыми, Фурье полагает, что для этого надо сделать их богатыми, а так как труд есть единственный источник богатства, то надо как можно более увеличить производительность труда. Средство для этого — сделать труд привлекательным, или, как он называет, «гармоническим», т.е. общинным; все ремесла делятся по сериям, каждая серия соответственно оттенкам того же ремесла разделяется на группы, а все группы серий

составляют фалангу (в 2000 человек), в которую вступают чувствующие влечение к какой-либо из отраслей промышленности. Каждая фаланга устраивает себе здание — фаланстер, под управлением одного человека унарха. Правители двух—трех и т. д. фаланстеров носят название дуархов, триархов, и кончают — правителем всех фаланстеров земного шара, омниархом.

Любопытно положение женщин в предполагаемых фаланстерах, и мы нарочно с некоторой подробностью извлекаем его из главного сочинения Фурье (*Théorie des quatre mouvements*. 1808. р. 169), надеясь оказать тем услугу дамам, сочувствующим направлению «Современника»: «Свобода любовных отношений превращает большую часть наших пороков в добродетели, равно как и большую часть наших вежливостей (*gentillesse*) в пороки.

Любовная связь будет делиться на несколько степеней. Из них главнейшими будут следующие три:

1. *Возлюбленные*, носящие это название (*favoris et favorites*).
2. Производители и производительницы (*génitents et génitrices*).

3. Супруги (*éroux et érouses*).

Последние должны иметь друг от друга по крайней мере двух детей. Вторые имеют не более одного, а первые вовсе не имеют друг от друга детей.

Женщина может одновременно иметь:

1. Одного *супруга*, от которого имеет двух детей.
2. Одного *производителя*, от которого имеет только одного ребенка.

3. Одного *возлюбленного*, с которым жила прежде и за которым этот титул остается, кроме простых любовников, не имеющих значения перед законом.

Такой градацией титулов достигается высокая степень утонченной вежливости и внимательности к установившимся отношениям. Женщина вправе отказать возлюбленному, от которого беременна, в титуле производителя; равным образом, имея причины к неудовольствию, она вправе отказать различным близким ей мужчинам в высших титулах, которых бы они могли искать». То же право предоставляется и мужчинам «в отношении их различных женщин». Такие отношения между мужчиной и женщиной Фурье называет прогрессивным сожитием (*ménage progressif*). В таком (гармоническом) состоянии, по уверению Фурье, люди будут есть втрое более и оно продолжится 35 тысяч лет. Устройство одного такого фаланстера будет, уверяет Фурье, для людей столь соблазнительно по неисчерпаемым выгодам и счастью его «гармонических» работников, что по образ-

цу его тотчас же станут устраиваться другие, и таким образом Европа и другие части света покроются фаланстерами. В доказательство неисчислимых выгод такого всеобщего устройства Фурье приводит возможность заплатить весь государственный долг Англии в течение 6 месяцев одними куриными яйцами.

Полагая, что читателей позабавит эта великая финансовая операция, выписываем ее в подробности из сочинения Фурье (*Traité d'association*, p. 492):

«Не миллионами, а миллиардами считаться будут мелкие доходы, на которые мы теперь почти не обращаем внимания. Например, куриные яйца будут играть великую роль и разрешат задачу, перед которою бледнеют самые ученые финансисты Европы. Они знают только, как увеличивать массу государственных долгов. Одним полугодовым сбором яиц, не трогая кур, мы уничтожим громаду английского государственного долга, и это, не только без малейшего отягощения, напротив, для земного шара это будет детскою забавой.

Прилагаем расчет с арифметическою точностию. Задача состоит в том, чтобы 25 миллиардов выплатить куриными яйцами.

Начнем с определения действительной цены яиц. Я ценю их по 10 су или по полуфранку за дюжину, если свежесть их удовлетворительна и они той величины, как несут куры из Саух; но в «гармонии» объем их увеличится, потому что развитие куриной породы непосредственно воспоследует за развитием человеческой.

Итак, полагая дюжину больших, свежих яиц от искусственно выведенных кур по полуфранку, нам нужно 50 миллиардов дюжин яиц для уплаты английского долга. Как же велико может быть количество яиц в 600,000 фалангах?

Курица, это бесценное пернатое животное, есть всесветный гражданин между птицами. Она при некотором уходе может акклиматизироваться везде, как в песках Египта, так и во льдах Севера; я докажу, что куриный двор одной фаланги может содержать по крайней мере 10 тысяч кур, несущих яйца, не считая цыплят, которых количество может быть в 20 раз более.

Мы считаем, что каждая курица несется 200 дней в году. В «цивилизованном» состоянии, может быть, не столько, но известно, что при заботливом уходе, легкой теплоте печей и обильной пище, особенно при замене насиживания устроенными для этого печами — несенье яиц из 365 дней в году может наверно доведено быть до 200, не считая некоторых двоень (*les binages*). И теперь уже хорошо содержимые куры благородной породы кладут иногда по два яйца ежедневно. Чтобы сделать расчет просто и без ошибки, подобно хорошей хозяйке, предположим, что

вместо 10 тысяч, куриный двор одной фаланги будет иметь 12 тысяч несущихся кур. Тогда ежедневно имеем мы: тысячу дюжин яиц по $\frac{1}{2}$ -франку — 500 франков.

Это число, помноженное на 200 дней, дает ежегодное количество яиц в одной фаланге — на 100,000 франков, а в 600,000 фалангах даст на сумму 60 миллиардов.

Но как для облегчения счета десятичными числами мы поставили 12 тысяч кур в фаланге вместо 10 тысяч, то, откинув $\frac{1}{6}$, получим сумму в 50 миллиардов, половина которой и составляет государственный долг Англии».

Но, несмотря на такие приманки будущего благополучия, уморительная нелепость доктрины так явно бросалась в глаза, что не находилось охотников пожертвовать чем-нибудь на сооружение образцового фаланстера. Как ни старались учителя фурьеризма, отбрасывая все курьезы доктрины, представить ее в наилучшем виде, люди с состоянием, на которых они преимущественно рассчитывали, и рабочий класс, подсмеиваясь над нею, оставались к ней совершенно равнодушны. Виноват! — были, помнится нам, некоторые попытки: нашлось несколько слабоумных, решившихся на денежные жертвования, но устроенный ими фаланстер вскорости распался сам собою. Положено было ограничиться одною пропагандою доктрины посредством журнала и брошюр.

Независимо от такого очевидно нелепого решения вопросов, вопросы о какой-то романической, сентиментально-идеальной демократии в связи с пролетариатом и социализмом сделались во Франции сороковых годов модными. Мы называем их модными, потому что легкомысленные и искавшие популярности люди только рядились в них, не давая себе отчета, к чему ведут подобные учения и в чем собственно состоит социализм.

Вся почти оппозиционная журналистика и литература были на стороне социализма и пролетариата. Каждый *мыслитель* (*peuseur*) носил в кармане готовый план преобразования труда и общества. Не забудем, что это происходило во время кроткого, гуманного правительства Людовика Филиппа и Франция пользовалась полною свободою печати. К несчастью, в самом обществе еще не успели установиться определенные политические понятия; все было шатко, тревожно, и Париж еще считал себя всею Францией. (Последствия показали, как он жестоко должен был в этом разочароваться.) В литературе, начиная с Жорж Занд, всякий романист, искавший популярности, непременно пропитывал свое произведение демократически-социальным направлением. У нас еще в памяти идеальные рабочие Жоржа Занд. Всюду проводился контраст благороднейшего работника и под-

лейшего собственника. Собственник, заклеянный названием bourgeois и éricier *, предавался всеобщему поруганию. Легкомысленная молодежь, даже достаточная, не говоря уже о бедных проходимцах, считала долгом, рисуясь, выдавать себя за социалистов. В ее глазах одинаково стыдно было прослыть за bourgeois и éricier или за человека, не враждебного правительству. Замечательно, что в этом легкомысленном и в то же время жадном к приобретению обществе авторитет правительства и интересы общественного порядка были ничтожны. Деловая и благоразумная часть общества, не давая себе труда проникнуть в сущность дела, смотрела на все это брожение, считая социализм не более как филантропией, а его утопии — невинным младенческим легкомыслием. Мы забыли сказать, что журнал фурьеристов не столько занимался разъяснением своего учения, сколько критикой и постоянными нападками на общественное устройство. Если фурьеризм как доктрина и не имел никакого значения между рабочим населением, зато постоянные его нападки на общественное устройство не остались без плодов. С его голосу явились люди, исключительно посвятившие себя пропаганде между рабочим населением ненависти к существующему общественному порядку, доказывавшие, что бедность единственно происходит от несправедливого устройства общества, что всякая мирная сделка с правом собственности есть пустое заблуждение и что демократически-социальная революция есть единственный путь к благоденствию. В этой пропаганде школьные учителя принимали самое деятельное участие. К концу 1847 года все рабочее население Парижа было пропитано этими учениями, а так как социализм, собственно говоря, представлял только критику общественного устройства, а не какую-либо систему, способную заменить его, то естественно возвратились к старому коммунизму, который в основных чертах совершенно соответствовал общему направлению социализма.

Один из наших знакомых рассказывал нам, что, будучи в Париже в 1846 году, он познакомился там с одним из пропагандистов социализма, который доставил ему случай побывать на одном из тайных собраний работников. «Мы поднялись, — рассказывал он, — с потайным фонарем в шестой этаж (лестница не была освещена), знакомый мой постучался в дверь и произнес какое-то слово, вероятно пароль, и нам открыли. На большом чердаке, который, по-видимому, служил мастерской, было человек 50 мужчин и между ними несколько женщин. Все были одеты довольно бедно, большею частью в блузах. Председателем

* буржуа, бакалейщик (фр.).

собрания был какой-то мастеровой. Начались речи. Говорившие сменялись, но не возражали друг другу, ибо все говорили в одном и том же духе. Все выражали невыносимость существующего порядка, говорили, что прежние революции им не принесли никакой пользы и что они пошли впрок только одним богатым. Знакомый мой принимался говорить несколько раз. Он, очевидно, был чем-то вроде учителя и руководителя этих бедных и темных людей; указывал, как богатые эксплуатируют бедных; что всему злу причиной собственность и большие города как центры капитала и богатства, словом, это были фразы постоянно тогда встречавшиеся в социалистических брошюрках и журналах».

Как ни была свободна печать при Людовике-Филиппе, но все же нельзя было в журналах открыто призывать к восстанию, да и ремесленникам некогда было читать их, потому и роль распространителей между рабочим населением этих учений и брали на себя люди, подобные этому пропагандисту. В речах своих он указывал на необходимость социальной революции, от которой обещал работникам всевозможные блага. Удивительно, как деловое и благоразумное население Парижа (потому что социализм собственно гнезвился в Париже и там вербовал свою армию между рабочим населением) не предвидело опасности. В таком положении застал Париж 48 год. Легкомысленная оппозиция устраивала свои реформистские банкеты, нисколько не помышляя не только о республике, но даже о какой бы то ни было революции. Но движение при криках «vive la réforme!» * неожиданно для всех разыгралось падением династии, и национальная гвардия, ставшая между войском и чернию, вдруг увидела себя лицом к лицу с своим настоящим врагом. Вообще трудно себе представить революцию более бессмысленную по причинам и следствиям. Все еще помнят, как с первых же дней революции резко обозначился антагонизм между рабочим населением и собственниками. Достаточно напомнить читателям заседания рабочих в Люксембургском дворце под председательством Люи Блана, — выдачу от правительства до 6 миллионов франков на устройство так называемых национальных мастерских и присутствие работника, в качестве члена, в совете министров. Антагонизм двух враждебных партий постепенно возрастал и кончился трехдневною кровавою битвой июньских дней. Только крайним легкомыслием или, вернее, литературным пустомыслием доктринеров социализма можно объяснить то обстоятельство, что они, рассчитывая на один только класс городских, преимущественно парижских, мастеровых, думали низвергнуть

* Да здравствует реформа! (фр.).

все основы существующего порядка, не догадываясь даже о том, до какой степени их учения противны были огромному большинству французских крестьян-землевладельцев, не говоря уже о высших и средних классах. У многих, вероятно, осталось в памяти то остервенение, с которым начали тогда преследовать людей за малейшее подозрение в социализме. Только тогда легкомысленные прогрессисты поняли, к чему ведет это учение. Без суда расстреливали десятками бедных работников, провинившихся только слепым доверием к своим вожатым. Только социализму и ничему другому приписываем мы тот роковой перелом в постепенном движении Франции, который продолжается по сие время.

Изложив главнейшие основания и печальную судьбу этих доктрин в одной Франции, так как в других европейских государствах роль их была более чем ничтожна, мы невольно приходим к вопросу, какое существенное приложение может вся эта галлюцинация найти в нашем отечестве?

Русская земля разделена между миллионами поземельных собственников, приведенных тысячелетней историей через ряд тяжелых испытаний к такому отрадному результату. Кроме собственников в России нет народонаселения — нет пролетариата, за ничтожным исключением ремесленников обоего пола, проживающих в столицах. Да и за большею их частью, независимо от свободного их выбора того или другого ремесла, стоит где-либо — недвижимая собственность. Не принимая даже в соображение практического смысла и консервативного духа нашего простолюдина, с одной стороны, и бессмыслия пропаганды, с другой, ввиду подобного отношения народа к собственности, можно быть уверену, что такое учение не приметя на нашей почве. Укажите хотя на один класс нашего народонаселения, в интересах которого могла бы быть желательна социальная революция. Положительно — ни одного, исключая тех авгуров-перебежчиков, которые, поверхностно хватив книжной премудрости на чужой счет, мучительно хотели бы на чужой же счет иметь ложу у итальянцев и доставлять сливки в постели развращаемых ими женщин.

Но целый народ не пойдет ломать себя в угоду теории эгоизма Лопуховых и Кирсановых. Вот причины, по которым социализм, несмотря ни на какую свободу печати, никогда не осмелится у нас высказаться во всей своей цинической полноте, а будет, подобно улитке, по временам выставлять свои рожки-щупальцы. Только раз, при самом своем разгаре, высказался он всесторонне в романе «Что делать?», и только поэтому мы сочли своим долгом поговорить об этом произведении. Но не менее,

если не более, вредна и теперешняя сдержанность адептов социализма. Они поняли нравственную невозможность явиться открыто с их доктриной во всем ее систематическом безобразии. Крикните у нас кому хотите: пойдем в фаланстер, уплачивать английский долг куриными яйцами, — всякий захочет. И вот они приняли систему более верную и безопасную — выставлять отдельные члены безобразного тела, оставляя за собой возможность отрицания солидарности этих членов с уродливым целым. Они хорошо понимают положение вещей. Государство положительно сказало каждому из своих граждан: «Вот тебе больший или меньший клочок земли. Не надейся ни на руки рабов, ни на какие-либо индустриальные привилегии. Я берусь оградить твой мирный и законный труд от насилия и вторжения чужого произволу, а инициативу и средства к благосостоянию ищи в себе самом».

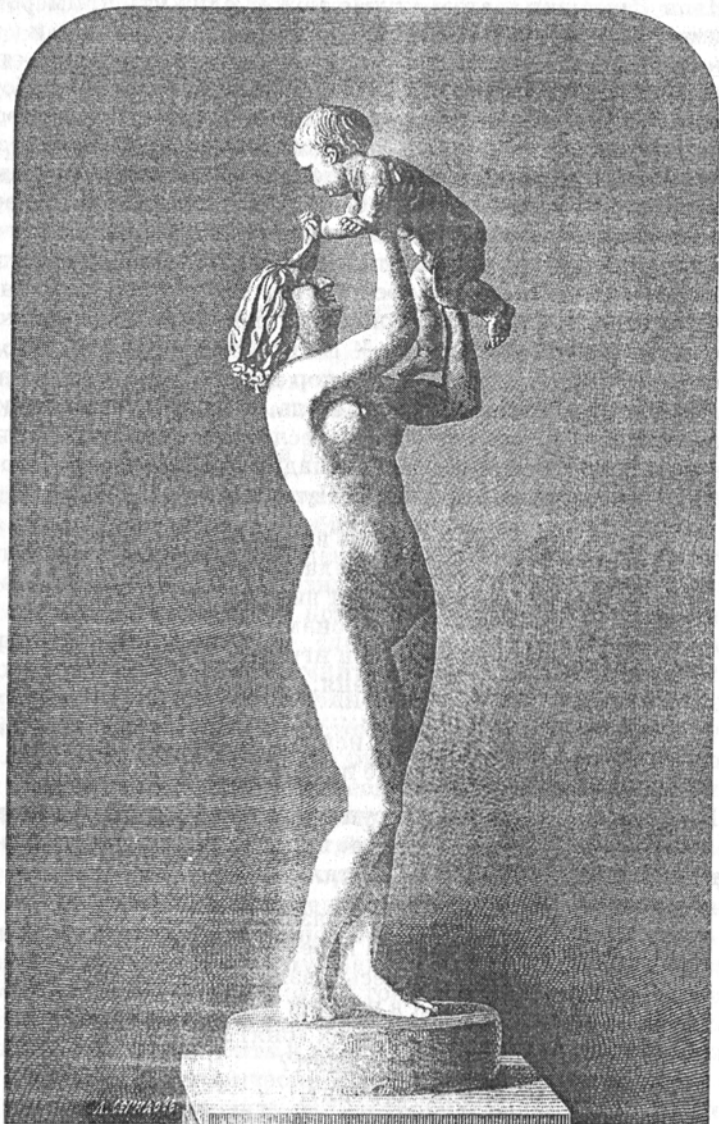
«Ну, как все эти миллионы людей, — говорят социалисты, — поняв окончательную нелепость всевозможных претензий, с удвоенной энергией займутся своим насущным делом. Чего тогда ожидать социализму, кроме общего презрения? Надо всеми мерами противодействовать такому исходу дела». И вот они стараются под видом огульного порицания всего существующего и, что всего сильнее, под видом всеобщего равенства отстаивать особенные права в государстве отдельных народностей и сословий, натравливая таким образом — народ на народ, сословие на сословие и даже поколение на поколение. Они понимают, что при настоящем положении вещей, где каждая частная деятельность предоставлена личной инициативе, благосостояние отдельного семейства более чем когда-либо зависит от серьезного понимания женщинами священных и трудных обязанностей хозяйки-матери. Какого еще там женского труда добиваться, когда дай Бог справиться с тем, который ежедневно, ежеминутно представляется хозяйке-матери. В том-то и состоит главная задача социалистов, чтобы, наполнив головы женщин нелепостями, отвлечь их от прямых обязанностей и тем внести смуту в семейства, подобно тому, как оно вносится в другие части государственного организма. Замечательно, что в романе «Что делать?» ничего не говорится о детях. О рождении сына у героини Верочки сказано вскользь, да и то только тогда, когда ребенок не мог уже помешать ее двумужеству. Правда: «дети не предполагаются».

Кончая нашу беседу с читателем, сознаем в своего рода нигилизме. Мы совершенно равнодушны к могущей подняться против нас буре нареканий и ругательств. Там, где цинически поносится имя Пушкина, покойника, нечего останавливаться перед подобными выходками.

Спрашиваем только себя: в чем могут обвинить эту статью? В разоблачении тайны пропаганды? Помилуйте, какая же это тайна, разнесенная и разносимая десятками тысяч печатных экземпляров. Для кого существует эта тайна? Для цензора? Но мы знаем его скромное положение. Если же нас обвинят в открытой борьбе с деспотизмом демагогов, то такое обвинение мы готовы принять с радостью. Да, мы открыто не желаем смут и натравливаний одного сословия на другое, где бы оно ни проявлялось: в печати ли, на театре ли, посредством изустных преподаваний и нашептываний. Мы не менее других желаем народного образования и науки, только не по выписанной нами обскурантной программе социалистов, способной только сбить человека с врожденного здравомыслия. Нам больно видеть недоверие сознательных элементов общества к публичному воспитанию. Наравне с другими мы чувствуем необходимость неизбывных гарантий свободному и честному труду. Для нас очевидна возрастающая потребность в серьезном содействии женского труда на поприще нашего преуспеяния. Чем скорее и яснее поймут они всю гнусность валяться целый день в постели и пить сливки, заставляя мужа, кроме тяжелых забот о насущных нуждах семейства, заваривать им чай, — тем лучше. Пусть они серьезно и полезно трудятся, но только не в фаланстере.

ПО ПОВОДУ СТАТУИ г. ИВАНОВА на выставке Общества Любителей Художеств

О каком бы предмете ни приходилось нам в последнее время читать чужие или заявлять собственные мнения, — нас неотступно преследовала мысль, что скажет и что подумает будущий хладнокровный читатель наших современных статей? Не должны ли мы неминуемо показаться ему или грошовыми писаками, радующимся возможности раздуть копеечную мысль в рублевые страницы, или повальными болтунами, готовыми задушить собеседника старым хламом премудрости из 4-го класса гимназии? — «Неужели, — спросите вы, — будущий читатель так строго отнесется ко всем современным статьям?» — Увы! исключения не будет ни для кого, такова слепая воля рока. Возьмите любую специальную статью и вы убедитесь, что о своем деле она говорит весьма немного. Это немного и должно бы собственно составлять статью. Но она раздута до невероятности той рухлядью логомахии, о которой мы упомянули. Если уже есть у нас писатели, успевшие настолько уяснить перед публикой свое общее направление и основания, что в состоянии приступить в своих статьях прямо к делу, то и они в этом случае не составляют исключения, если взять в соображение те страшные и, по-видимому, ненужные усилия широковещания, которыми они пролагали себе дорогу — к такому завидному положению. — Что же делать? Каждая страна и каждая эпоха имеет свои условия и требования. В целом мире есть пути и дороги, пролагаемые с усилием и содержимые в исправности специалистами по этой части. Публике, при таких условиях, остается беспрепятственно ездить по торным дорогам, сообразуясь только с целями пути. Что бы сказали о едущем на курьерских, ну хоть из Эгера в Карлсбад, если бы увидали в его коляске ломы, заступы и тачки для поправки шоссе? Зато у нас никому не в диковину сцены в следующем роде: «— Ну, батюшка Иван Иванович! вот уж не ожидал. — Ведь третьи сутки свету Божьего не видать. Мы, признаться, без воды сидим, — снег растапливаем, а скотина ревет без поила. Да как это вы-то — проехали? — Обо мне не беспокойтесь. Я на доброй тройке — гусем, а передом-то чалый, сами знаете, какая лошадь. Да на козлы и на облучки посадим четырех молодцов с лопатами. Местах в пяти пришлось бы без них



замерзать. Ну, ребята — страсть! — одно слово. Вот и добрались до вас».

Иван Иванович в этом случае может служить примером и эмблемой современным русским писателям. Была пора — и у нас специалисты трудились над проложением торных путей. В отношении к эстетическому образованию публики более всех работал и сделал Белинский. Целым рядом статей он успел довести эстетическую критику до известных общих начал и приложения этого общего к известным данным явлениям. Неоспоримые факты доказывают, до какой степени была для публики благотворна деятельность Белинского. В продолжение многих лет эстетические симпатии публики, воспитанной Белинским, были до того верны, что нам не раз случалось слышать в те времена мнения, будто русская публика по верности и тонкости эстетического чувства превзошла все другие. — По крайней мере все обстояло благополучно. Небывалая до тех пор дорога была проторена и накатана, — и вдруг поднялась метель, подуло холодом, закрутились вихри — и все сравняло, занесло, как будто никто ничего не делал, никто мучительно не надрывал своих сил. Что делать? Поневоле вспомнишь бесов Пушкина:

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит видно,
Да кружит по сторонам.
Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня; ...
.....
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой.

Положим, в отношении к сущности дела все это не более искры малой, пропадающей во тьме пустой, но вам нужна дорога, прежняя торная, с трудом пробитая дорога, а тут

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре.
Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Что же, однако, делать мирному путнику — неужели дожидаться весны, когда все наносное, временное само собою растает

под благотворными лучами солнца разума и жизни? Но та же самая жизнь не откладывает своих задач до весны. Она ежеминутно говорит: пошел! А тут по какой дороге ни сунься, везде сугробно, топко, липко, мокро, пухло и бесцветно. — Решись ждать, неизвестно, ранняя или поздняя будет весна, может, и не дождемся, а и дождемся, так не на радость. В ростепель кроме грязи да зловония ждать нечего. Вот и приходится каждому отправляющемуся в путь вооружиться, по примеру Ивана Ивановича, лопатами и не столько ехать, сколько мучиться над расчисткою дороги.

Правда, что такие полемические лопаты мыслимы только вне области чистого художества и стих:

Жрецы ль у вас метлу берут

нимало не теряет своей силы. Художник, творящий для искусства, может создавать только на твердом, бесспорном фундаменте, на несокрушимом граните, который стоит, споря

с приборами волн и напором веков.

Не для истинных художников нужна расчистка дорог, а для проезжей публики, которая, сбившись с пути, может принимать неуклюжие болваны, слепленные ребятишками для минутной потехи из снега — за серьезные мраморные изваяния.

Не таково положение истинного художника. Он слишком твердо уверен в своем деле, слишком хорошо знает гармоническую его задачу, чтобы усомниться хоть на мгновение или обезобразить свое дело посторонней примесью. Художник, взявший, в минуту служения чистому искусству, в руки лопату или метлу, изрекает собственный приговор. Он уже одною ногою сходит с своего незыблемого пьедестала на уровень толпы. Он уже сомневается, колеблется, он решил свое «не быть».

Обязанные заглавием этой статьи высказать наше мнение насчет одного из новейших произведений русской скульптуры, мы в свою очередь вынуждены расчищать себе путь, чтобы добиться хотя признаков торной дороги, по которой бы могла следовать наша критика. Оглушаемая со всех сторон возгласами, относящимися к тому или другому произведению искусства, возгласами буйно произвольными и ни на чем не основанными, публика вправе спросить и нас, какая же у нас почва под ногами? Отвечать категорически и положительно на подобный вопрос значило бы выводить целую теорию изящного, чего не позволяет предел небольшой статейки, а потому, отсылая вопрошающих хотя бы к статьям Белинского, ответим отрицательно (нигилистически), выставляя в свою очередь вопросы.

Положим, что мы староверы, убежденные в непреложности известных законов мышления, языка и сочетаний форм, более или менее благоприятных той или другой области искусства. На то мы и староверы! чтобы не только верить в эти законы, но не быть в силах представить себе замену их другими. Допустим более; допустим, что мы отсталые изуверы и что напротив того истина говорит устами, отвергающими логику, грамматику, риторику, эстетику и даже самое искусство для искусства. Допустим, что наш век прозрел и убедился, что поэтическая струя в душе человека не более как слабость, порок, словом, что угодно. Но не естественно ли в таком случае спросить: какой же имеют после этого смысл такие учреждения, как Академии наук, и художеств, общества пособия литераторам и поощрения художеств? Не тот же ли современный век беспрестанно открывает у нас подобные учреждения и заботится об их судьбе? Или под этими названиями скрываются совершенно противоположные цели — тогда к чему эта церемония и маска? Не лучше ли с большей точностью и добросовестностью назвать эти учреждения капканами наук и свободных художеств? Если же предположение таких целей безумно, то что могут значить такого рода публичные отношения хотя бы к картинам; отношения, в которых критик прямо говорит, что ничего не смыслит в живописи и в хорошо нарисованных *носах и ушах* (один этот прием вполне оправдывает исповедь), а потому он — критик и может судить об *идеи* картины.

«Странно, — прерывает нас хладнокровный читатель, — что вас тревожат подобные возгласы. Что же видите вы в них неестественного или небывалого? Всегда были люди, пускавшиеся, без всякого предварительного приуготовления, самым неожиданным и забавным образом в кавалькады, мазурки и т. д., всегда были дамы недвусмысленной профессии и принципов, — всегда были подгулявшие Ноздревы, в простоте душевной и не подозревавшие, до какой степени неприлично сидеть на паркетe губернаторского бала и хватать за ноги танцующих дам. (Если подобный факт и немислим со стороны порядочного бала — то со стороны Ноздревых он не только мыслим — но даже типичен.) Итак, что же вас удивляет...

— Позвольте! — прерываем мы в свою очередь нашего антагониста. — Действительно, явления эти не новы, но отношения их к жизни изменились до того, что стоит на них обратить внимание. Невоспитанные Ноздревы в одиночку предавались своей трактирной развязности и только юмористическая гипербола поэта отводила им место на губернаторском паркете, дамы с недвусмысленными тенденциями хранили свою мораль про себя —

в глухих переулках и у застав, «wo die letzten Häuser sind» *, а люди, не имевшие по своему положению случая познакомиться с произведениями искусств, даже лишены были возможности (за неимением фрака) вступить в эту область. Подтрунивайте на улице, сколько угодно, над лондонской оперой, но если на вас нет фрака и белого галстука, вас туда не впустят; думайте что хотите о порядочной женщине, но она не пойдет с вами танцевать, пока вас не представит ей знакомый, ручающийся, что вы порядочный человек и главное не самоучка. Таково еще в недавнее время было консервативное положение общества, науки и искусства в отношении к Ноздревым и консортам. Но с тех пор как повеяла метель мнимого прогресса и подняло нас вихрем псевдолиберализма, мы сделали до того неразборчивы, что не постигаем известного старца, отвечавшего на всякую дрянь, которую ему совали доброхотные датели — стереотипной фразой, обращенной к слуге: «изрядно, клади в карету».

Гласность значительно облегчила доброхотам дело их посылных приношений. И Ноздревы и «die letzten Häuser» взалкали гласности и напрягают все силы, чтобы свои частные уклонения возвести на степень нравственно-философских доктрин не только всего общества, но и целой страны.

Вот оно куда пошло. Обертка и заглавия большей части журналов остались те же. По-прежнему читаешь — «литературный» или «литературно-ученый журнал», а развернешь книжку и видишь, что это просто орган Ноздрева, или «die letzten Häuser», или же тех и других безразлично и солидарно.

Эти люди, предчувствуя незавидную роль, которую придется им играть во всяком специально образованном обществе, стараются доказать, что не нужно никакого предварительного знакомства с преданиями и законами того общества, в которое мы хотим войти, что все эти предания и законы вздор, что достаточно одного медного лба, чтобы прорваться через заветную дверь, а там уже задача не в том, чтобы возвыситься до общества, а в том, чтобы принизить его до себя. Достаточно, мол, впустить нескольких трубочистов да кочегаров на любой элегантный бал да дать им, хотя бы и самым безобразным образом, протанцевать с дамами, — чтобы через полчаса уже не было возможности разобрать, что тюль-де-блонд и брюссельские кружева, а что тряпка трубочиста.

Такого рода рассуждения, быть может, и не лишены известного практического смысла, но может ли принимать их в соображение хозяин бала, рассчитывающий сохранить уважение общества?

* «где стоят последние дома» (нем.).

Если мы действительно доросли до той зрелости убеждений, которой уже не в силах повредить никакие цинически-дикие возгласы, а потому либерально и смело, как никто, растворяем двери всем мнениям, всем оттенкам мысли, то неужели это нас обязывает быть равнодушными к собственным мыслям и убеждениям, в которые мы будто бы так крепко верим — т. е. другими словами — не иметь никаких убеждений и руководящих мыслей? «Кто же эти мы?» — спросят нас.

Это выражение действительно неточно. Следовало сказать *вы*, обращаясь с ним к истинно образованным и действительно либеральным покровителям уже существующих и вновь открываемых учреждений для поощрения наук и искусств. Такое обращение мгновенно облегчает нам самое дело. Мы уже не боимся преднамеренного непонимания или ложного истолкования наших слов.

Позвольте же, гг. покровители и учредители, обратиться к вам со следующей дилеммой? Убеждены ли вы в строгой замкнутости и священной исключительности тех отраслей деятельности человеческого духа, которых процветанию вы решились вспомоществовать? Убеждены ли вы, что подобные учреждения должны быть путеводной звездой не одного только избранного общества, но и самих деятелей среды, что если подобные учреждения нуждаются в средствах, то они еще более нуждаются в неуклонном направлении, без которого являются не только праздной, но даже вредной забавой? Переходя от общего к частному, можно бы выставить целый ряд вопросов в этом направлении, но мы остановимся на одном: строгая наука и строгое искусство должны ли ограничиваться собственными целями или же могут нисходить на степень орудия для достижения чуждых им посторонних целей? Если вы хотя на миг усомнитесь дать утвердительный ответ и скажете: «мы и сами не знаем, следует или не следует науке и искусству так замыкаться в самих себе», — то нам нечего и говорить о самих учреждениях. В таком случае мы спросим только: какой же смысл имеют самые учреждения? и если все предоставлять безразличной, общей инициативе жизни, то к чему же дорогие маяки — без огня? «Нет, — возражают нам, — такое предположение лишено всякого вероятия. Мы собираем, подбираем, группируем; все это делается во имя известных преданий и незыблемых начал. Сомнения с нашей стороны быть не может! Мы исповедуем вообще эстетическое credo».

Прекрасно! Другого нельзя было и предположить в силу самих вещей. — Но в таком случае возникает новый вопрос. Существуют ли, как норма, во всех этих покровительственных учреждениях какие-либо положительные законы, которыми бы

эксперты могли и обязаны были руководствоваться при приеме известного труда под покровительство учреждения? Нам приходится говорить о таком учреждении в пользу искусств образовательных, и потому выскажем в этом направлении нашу мысль окончательно. По нашему крайнему разумению титул «*Общество Любителей Художеств*» — довольно ясно говорит о цели и направлении учреждения. Гг. Любители художеств не предоставляют инициативу в деле искусств — исключительно жизни. Они слишком хорошо знают, каким незавидным странствиям и приключениям в потемках обыденной жизни подвергаются не только живые художники, но и самые произведения умерших мастеров. Они знают, что если Гайдн, Моцарт и Бетховен родились в музыкальном народе, то и они в свою очередь образовали народ в музыкальном отношении, и что непосредственная, не освященная предварительной критикой знатоков, симпатия большинства есть в большем числе случаев патент на плоскую бездарность, подцвеченную теми или другими интересами минуты, а по тому самому отстаивает произведение, и по форме, и по содержанию враждебное истинному искусству. Истинные любители художеств знают, что на них лежит обязанность развивать вкус публики, выдвигая вперед произведения с чисто художественным направлением, а потому они не могут допустить, чтобы залы общества ограничивались значением безразличных складов картин и статуй, в которых публике предоставлялось бы раздавать пальмы сочувствия и успеха случайно, чтобы не сказать обратно достоинству произведения. Во всяком такого рода учреждении руководящая мысль гораздо важнее временной формы. При благоприятных обстоятельствах форма может дорасти до мысли, но живая человеческая мысль никогда не зародится сама собою, даже среди самой блестящей обстановки. Поэтому нас бы менее неприятно поразило на выставке общества произведение не вполне удовлетворительное по форме, чем ложное по задаче. Великий поэт нам недаром говорит:

Служенье Муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...

В этих четырех стихах весь идеал и вся история борьбы искусства с будничною жизнью. Что делать если «*юность нам советует лукаво*»? такова ее сущность — увлекаться *шумными мечтами*; но как скоро охранительное учреждение начнет *советовать лукаво*, то оно теряет всякое значение. Мы заговорили о произведениях слабых по выполнению. Как часто между еще

слабыми произведениями начинающих художников попадают такие, в которых под робкими, еще неверными формами теплится живая искра верного чисто-поэтического огня. Будьте уверены, что рассеянный и бессознательный глаз публики не остановится на таком произведении. Но тут-то и нужен глаз любителя. Подобное произведение само просится на выставку и по отношению к начинающему художнику и по отношению к публике. Быть может, эта мгновенная искра никогда не разгорится яркой звездой, но любители, — заметив ее в зародыше, — уже сделали свое дело. Зато с другой стороны, никакая отделка формы, никакой публичный успех, никакое положение художника не должно склонять общества к принятию на выставку произведения, имеющего какую бы то ни было дидактическую тенденцию. Эту дрянь должно Общество отрезать от себя как ножом.

Все значение Общества и состоит в посильном противодействии всему не художественному, лежащему вне сущности и целей истинного искусства. Принятие в залах Общества произведения должно в то же время быть как бы свидетельством чистоты его художественной задачи. Пусть на этот счет колеблются и разноречат непосвященные, а не любители.

Непоколебимая их твердость в этом отношении принесет двойную пользу и художникам, и публике. Публика, входя в залы Общества, будет наперед уверена, что вступает в область чистого искусства, а начинающий художник будет в свою очередь знать наперед, что всякого рода фокусы, уловки и, главное, эффекты, взятые из чуждой области, не только не увеличат успеха произведения, а напротив, неминуемо преградят ему навсегда вход в заветные залы.

Вот все, о чем мы не лишним считали упомянуть, прежде чем скажем несколько слов о статуе г-на Иванова. Приняв в соображение сказанное нами об условиях поступления художественных произведений в залы общества, мы должны признать за статуей г-на Иванова полное и неотъемлемое право стать на одном из почетнейших мест выставки. Статуя и по замыслу, и по исполнению до того чиста и верна строгим и истинным заветам искусства, что как бы улыбается навстречу всякому любителю художеств.

Художественные истины, имея весьма мало — чтобы не сказать: не имея ничего — общего с другими истинами, несмотря на бесконечное разнообразие своих проявлений, заключены, особенно в искусствах образовательных, в строгих и давно окончательно установившихся пределах. Скульптура в этом отношении опередила все остальные искусства и уже за 2000 лет до нас совершила полный круг развития. Если в поэзии и музыке вооб-

разимы вечные поиски нового, еще не открытого, не изведанного, то в скульптуре такие поиски положительно невозможны. После гениальных греческих ваятелей, исчерпавших все средства, всю область своего искусства, скульпторам остается только свободно двигаться в этом заветном кругу, с полным убеждением, что всякая попытка перешагнуть за его черту — есть ошибка: недостаток теоретического знания и вместе с тем недостаток художественного инстинкта. И в этом отношении статуя г. Иванова представляет в высшей степени отрадное явление. Она как бы вся вышла из глубокого и задушевного изучения антиков. Уже одна простота сюжета громко говорит в пользу художника. Греческое ваяние, допускавшее целые поэмы на барельефах, ограничивалось в статуях самыми простыми — несложными задачами. Такое различие лежит в самой сущности вещей. Перемена точек зрения не заслоняет на барельефе одного изваяния другим, а в статуе такое заслонение и смешение форм в безразличную массу почти неизбежно. Г. Иванов избрал немногосложную задачу — нагую мать, любующуюся нагим младенцем, которого во всю длину рук приподняла над своею головой. Такой естественный порыв материнской нежности мог произвести общеизвестное движение, — во время купанья матери и младенца, и потому не представляет ничего изысканного; а между тем поза матери дала возможность художнику найти самые очаровательные линии в игре прекрасного женского торса. Известное напряжение рук, высоко подымающих тяжесть младенца, и невольное отклонение назад головы и верхней части торса придают всему прекрасному телу матери самую изящную игру. Левая нога молодой женщины, выпрямившись, ищет твердой опоры, а правая, мягко согнутая в коленке и служа только рычагом равновесия, еще более *«коснеет в той неге онеменья»*, которая составляет существенное отличие пластической красоты женских форм от мужских. Зато как кокетливо и вместе с тем уютно скромно поместилась рядом с своею напряженной подругой полусвободная от тяжести правая ступня. По поводу ступней мы тоже не можем не приветствовать нашего художника-соотечественника, строго воздержавшегося от миниатюрных ножек новейшей скульптуры. Миниатюрные женские ножки, иногда столь прелестные в живописи — безобразны в ваянии. Чего у греков нет, то нетерпимо в ваянии как безобразии.

Мы несколько не настаиваем на мысли, будто статуя г. Иванова навеяна единственно его знакомством с антиками. Для нас достаточно встретиться в ней с тем, чем мы привыкли наслаждаться в антиках, — строгим отношением к искусству и красоте. Мы даже имеем повод думать, что художник скорее обязан

помянутыми совершенствами статуи — собственному таланту, чем долговременному изучению антиков. К такому соображению приводит нас голова матери. Наш бессмертный Пушкин на своем сжато-образном языке так выражает одним стихом дух древней скульптуры:

Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...

Развивая основную мысль стиха, мы должны сказать, что всякая голова древней греческой статуи лучшего периода есть идеальная голова. Этой-то идеальности, и даже простого греческого типа, мы не находим в голове статуи г. Иванова. Вся статуя в половину натуральной величины, — и потому сравнительно небольшая головка матери носит на себе тип обыкновенной современной римской натурщицы. Странно было бы предполагать, чтобы художник, проникшись красотой греческих торсов, упустил из наблюдения головы. Но повторяем еще раз, какое нам дело до того, где почерпал художник такое верное чувство красоты? Довольно того, что он заставляет нас чувствовать эту красоту и проникаться ею, а для этого он прежде всего должен быть весь проникнуты ею сам. В этом-то его неотъемлемая и высокая заслуга. Если бы люди, легкомысленно толкующие о подчинении искусства посторонним, вне его самого лежащим целям, были способны понять безграничную меру любви, полагаемую истинным художником в свое произведение, то они убедились бы, что тут не может иметь места никакой дуализм. Для того, чтобы создать истинно художественное произведение, необходимо уверовать в него, видеть в нем главный пульс жизни, отдать ему все помыслы, всю душу. И когда человек отдал таким образом всего себя, — от него требуют, чтобы он отыскал еще что-то! Всецельная любовь художника к произведению — источник того чуда, которое мы называем творчеством и посредством которого человек передает другому гармоническое настроение души своей. Это та муза, которая, по словам поэта, «научает скромно высказывать тайны». И это высокое качество — чистоты — обще у статуи г. Иванова с лучшими произведениями древности. Совершенно нагая статуя матери и младенца, можно сказать, одета непорочностью.

Проникнуты чувством глубокой симпатии к прекрасному труду нашего соотечественника, мы позволим себе высказать два-три замечания, вполне уверенные, что талантливый художник, если и не почерпнет в них никакой пользы, то не растолкует их в невыгодную для нас сторону.

Всякое искусство рядом с задачей художественною предлагает свои технические задачи, разрешение которых нередко

представляет значительные затруднения. Прекрасная статуя матери, вылепленная пока из гипса, но предназначенная, как последовало ожидать, для воспроизведения в мраморе, представила в свою очередь следующее техническое затруднение. Руки матери, поддерживающие всю массу ребенка, подняты вверх не совершенно перпендикулярно, что было бы и неграциозно и неестественно, а предоставляют со всей фигурой довольно значительный угол.

Здесь мы позволим себе небольшое отступление. Искать, толкаться во все двери — без сомнения, одно из самых законных и существенных качеств искусства. Дело не в том, чтобы не искать, а в том, чтобы искать в естественных пределах искусства. Мы готовы до пресыщения повторять многозначительный для художников стих:

Служенье муз не терпит суеты.

Всякий суетный, тщеславный поиск за пределами искусства неминуемо носит в себе самое справедливое наказание. Как бы сама по себе ни была почтенна и прекрасна в другой сфере искомая художником вещь, перенесенная насильственным образом в мир искусства, она превращается в разлагающий яд. Возьмем самые разительные примеры. Что может быть выше и человечнее философии, этого божественного самосозерцания духа в области разума, и что может быть ближе ее к искусству — такому же созерцанию духа в области красоты? Кто из художников может поравняться силою всевозможных данных с Гете или Каульбахом? А между тем первый погубил философией свою вторую часть «Фауста», а второй все свои прекрасные произведения.

Сообразив немного сказанное нами, мы легко убедимся и по теории, и по истории искусства, что чрезмерное, *суетное* искание всегда есть и было признаком старческого бессилия и причудливости увядающей кокетки. Поневоле станем пудриться, когда седина приступила. К сожалению, до очевидности ясно, что все искусства в наше время страдают старческими недугами. Посмотрите, какой собачьей старостью страдает современная итальянская скульптура. Бессильная произвести что-либо истинно прекрасное, она кокетничает отделкою одежд и надевает на своих красавиц совершенно не идущие к делу ленточки на шею или закрывает им лицо вуалями, чтобы произвести неожиданный эффект полупрозрачного слоя мрамора или тончайшего просвета.

Что ж из этого выходит? Статуя нисходит на степень куклы, а искусство на степень ремесла. При таком положении вещей мы еще более должны дорожить всякой самобытной струей чистого

творчества, и тем с большею радостью приветствовать прекрасный труд г.Иванова. Поза, выбранная художником для своей статуи, делает величайшую честь его таланту. Она самая естественная и в то же время самая выгодная для его художественной цели. Приподнять ребенка выше было бы и неестественно и безвкусно, опустить его ниже значило бы лишить спину и грудь матери той прелестной игры форм, которыми они отличаются, — и в то же время погубить всю статую *en face* * окончательно, заслонив торс матери массой ребенка. Зато и просвет между младенцем и матерью вышел не для эффекта, а в силу самой вещи.

Здесь мы возвращаемся к технической задаче художника. Повешенная таким образом на двух руках матери масса ребенка требовала третьей точки опоры. И в этом случае художник мастерски выпутался из беды, воспользовавшись естественным инстинктом, вследствие которого младенцы в первый период их умственного развития хватаются за все, до чего могут достигнуть их неопытные ручонки. Гипсовый малютка, в свою очередь, успел схватиться за конец платка, которым купавшаяся мать, вероятно нарочно повязала свою голову, чтобы не намочить волос. Мы не останемся с фальшивым натурализмом над правой рукой малютки, чтобы заметить чересчур сильное и *сознательное* ее напряжение сравнительно с возрастом ребенка. Мы не хуже других знаем, что естественное в искусстве совсем не тождественно с естественным в жизни — и что Амуры, Амореты, Смехи, Игры и т. д. постоянно пользовались в искусстве сознательными движениями, не соответствующими их физическому развитию.

Придется завести речь о другом предмете, — о головном платке.

Любуясь выставленной статуей, мы слышали сожаление некоторых о том, что художник, накиннув на голову фигуры этот платок, напрасно отяжелил ее и лишил гармонической воздушности. «Почему бы, — говорили критики, — художнику не заставить ребенка схватиться за прядь волос? Цель его была бы одинаково достигнута, а между тем не было бы тяжелого платка». Не берем на себя решать, в какой мере справедливо такое замечание, не будучи в состоянии представить себе, какова бы была голова без этого платка, но допустим в оправдание художника следующую догадку. Нельзя предположить, чтобы художник, так гармонически и свободно создавший статую, не справился с лицом. Как русский скульптор он мог бы избрать славянский тип лица или же, симпатизируя до замечательной степени античному воззрению на красоту тела, остановиться на древнегреческом

* в анфас (*фр*).

типе. Очевидно, ни того, ни другого не захотел художник, сформовавший для своей статуи красивую, но далеко не идеальную и не типично народную, голову натурщицы. Сознывая свою силу, он захотел в дозволенных размерах сохранить и свою свободу, чувствуя, что с одной стороны лежит до известной степени рабское подражание, а с другой исключительность национальности. Свободный художник захотел создать статую, не зависящую от слишком явных условий времени и места. Признаемся, у нас не хватит духу порицать художника за такую горделивую смелость. Мы всегда стояли и будем стоять не только за всякую смелость, но даже дерзость в деле художеств, лишь бы эта дерзость безвкусно и бессмысленно не выходила за пределы искусства. Но выбрав для статуи безразличный тип лица, художник должен был остановиться перед новым затруднением. Как причесать эту голову? Нельзя причесать ее в то же время и не безобразно, и не народно. Всякая прическа указывает на известное время и место, а этого-то указания и избегал художник в отношении к своей идеальной матери, лелеющей идеального младенца. Правда, везде и во все времена женщины в известные моменты распускают свои волосы; но о таком виде волос и думать было нечего. Распущенные волосы, прекрасные в живописи, — безобразны в скульптуре, враждующей со всем плоским и прилизанным. Только поэтому художник и не решился растянуть складки платка, стянув его поплотнее на голове фигуры. И в этом он, по нашему мнению, совершенно прав. Итак, оставим в покое этот платок, спасающий нас, быть может, от еще менее приятных впечатлений!

Но чего мы себя считаем не вправе оставлять в покое, заговорив о статуе, — это правая кисть руки матери. Линия, обозначающая нижнюю сторону кисти, сторону, обращенную к самой статуе, — и не верна природе, и потому — неприятна. Мы почти уверены, что эта работа сделана на память, — без натуры. Было бы слишком обидно, если бы при воспроизведении статуи из мрамора, такая дисгармония с прелестью целого — увековечилась.

Мы слышали, что г. Иванов уже приступил к воспроизведению статуи в мраморе и нам остается пожелать, чтобы он и в этом материале сохранил ту телесную мягкость, которою так дышит его гипсовая работа. Нет ничего холоднее и жестче тех рафинатных фигур, какими нередко потчует публику современная, чересчур охорашивающаяся скульптура.

Мы видели на выставке небольшие модели задуманных г. Ивановым работ и можем ему посоветовать воздерживаться от скученных групп вообще и от лежащих в особенности. Скульптура, несмотря на вековую прочность своих материалов, не любит земли. Она просится на простор, ища воздуха и света.

ДВА ПИСЬМА О ЗНАЧЕНИИ ДРЕВНИХ ЯЗЫКОВ В НАШЕМ ВОСПИТАНИИ

<I>

На последнем мимолетном свидании нашем мы не успели довести заинтересовавшего нас разговора ни до какого положительного вывода. Положим, это случай. Нам просто было некогда. Но это *некогда* едва ли не характеристическая черта нашего времени, выставляющего тем не менее своим девизом: разумность, сознательность. Припомните высказанный мною в начале разговора и принятый вами без возражений афоризм: «Жизнь есть гармоническое слияние противоположностей и постоянной между ними борьбы: добрый злодей, гениальный безумец, тающий лед. С прекращением борьбы и с окончательной победой одного из противоположных начал прекращается и самая жизнь, как такая». Этим законом, между прочим, можно объяснить, почему мы, толкуя более чем когда-либо о сознательности действий, менее чем когда-либо останавливаемся над уяснением возникающих вопросов. Рядом с заинтересовавшим нас с вами вопросом о значении классического воспитания — подняты бесчисленные вопросы о финансах, земледелии, самоуправлении и т. п., и всем им до сих пор и в литературе и в частных разговорах одна судьба. Подымут, и если выскажут несколько отрывочных, идущих к вопросу мыслей, то немедля — с криком вперед! вперед! некогда! — переходят к другому, хотя, быть может, завтра же возвращаются к нему же, и опять тот же возглас: вперед, вперед! — и тот же результат — и все правы и никто не виноват...

Судьба! или, лучше сказать, все тот же закон жизненных, живых противоречий. Жизнь не геометрическая задача, где одно с беспощадной логикой вытекает из другого. В жизни неуклонная решимость действовать разумно и осмотрительно часто вынуждает действовать неосмотрительно, а следовательно неразумно, и действовать таким неразумным образом только потому, что нельзя бездействовать.

Жизненный деятель, хотя бы и вполне убежденный в несостоятельности употребляемых им приемов, не может подобно мыслителю, дошедшему известным путем мышления до абсур-

да, мгновенно бросить неудачный прием и взяться за более разумный. Земледелец, сознавая несостоятельность известного севооборота, не может прекратить посева; государство не может выжидать окончательного разрешения вопроса о лучшей системе скорострельных ружей и вынуждено безотлагательно тратить миллионы на ружья, которые, быть может, через год уже не будут иметь никакой цены.

Таково давление жизни и ее насущных потребностей. Участие всех граждан, привлеченное новейшим законодательством к общественным вопросам, возбуждено в высшей степени. Все сознают безотлагательную потребность гражданской деятельности. Понятно, что в подобное время и литературная деятельность сосредоточена на служении интересам дня. Взоры политических социальных изданий (газет) пытливо устремлены на собирающиеся на горизонте то там, то сям грозные тучи, или торопливо перебегают с события на событие, ежедневно усложняющие практическое выполнение той или другой программы. В передовых статьях газет подымаются поочередно всевозможные жизненные вопросы, и было бы недобросовестно отрицать громадные заслуги, оказанные стране этим новым видом литературного труда. Известные здоровые начала, после трудной борьбы, окончательно восторжествовали официальным и законодательным путем. Лучшим примером в этом случае может служить занимающий нас вопрос о классическом образовании. Легко говорить теперь, когда дело уже сделано, что оно устроилось бы и без журнальной полемики, в силу собственного тяготения. Но стоит припомнить весь его ход, чтобы убедиться в противном. Литература насущной потребности дня добросовестно исполнила свое дело. Принцип восторжествовал административным порядком, но такое торжество еще далеко не удовлетворяет всем насущным потребностям самого дела, при возникшем к нему общем сочувствии. Какой русский отец не старается в настоящее время по мере сил уяснить себе вопрос о воспитании? Время пассивного сознания, что в государстве есть такие-то и такие-то учебные заведения, в которых требуют тех или других знаний и дают такие или сякие права, слава Богу, прошло безвозвратно. Пришло время уяснить себе до возможной очевидности, что нужно знать человеку, готовящемуся к той или другой деятельности. Передовым статьям некогда этим заниматься, они несутся вперед, желая быть верными характеру передовых. Нельзя не заметить, что такая лихорадка нетерпения проникла и в другие отрасли литературы, где она необъяснима и неизвинительна. Разверните любую современную повесть — и вы найдете мнимые сокращения речи вроде: «присядьте — подморгнул он»; «Как

ваше здоровье? — ввязала она». Подумаешь, что автору повести о каком-либо Федоре Ивановиче гораздо драгоценнее время, необходимое на написание частицы *и*, чем Плутарху, рассказывающему на нескольких страницах жизнь героя, или Гомеру, в одной поэме совмещающему небо и землю.

В области ненасущных потребностей дня такая торопливость положительно вредна и ведет только к окончательной запутанности и сбивчивости представлений и понятий. Вместо того чтоб терпеливо отыскать главную нить запутанного мотка, торопливые спорщики дергают то за один, то за другой конец и до того перемешают пасымы, что поневоле приходится бросить всю пряжу. Нам с вами торопиться некуда, и я тем с большим удовольствием приглашаю вас проследить за небольшим рядом соображений, что в лице вашем буду обращаться с ними к человеку, готовому ясно понимать мысль по одному ее очерку и неспособному затруднять оппонента недобросовестными требованиями объяснений *ab ovo*.*

Я не забыл вашего главного возражения. Вот оно: «Человеческая природа неотступно требует ответов на возникающие в ней самой вопросы перед лицом собственного духа, собственной судьбы или же перед лицом внешней природы. Главная задача воспитания — провести неопытный ум через ту духовную гимнастику, посредством которой самостоятельный мыслитель дошел до известного результата. Было время, когда, вследствие исторических условий, лучшие умы, а за ними и массы обращались с этими вопросами к человеческой стороне мироздания (*humaniora* **), — это время прошло. В настоящее время лучшие умы, видимо, обратились с этими вопросами: к внешней природе — и массам ничего не остается другого, как следовать за лучшими умами. Таково направление современного умственного потока, против которого бороться мы не в силах».

Кажется, я верно передал основной смысл вашего возражения, которого я никак не намерен упускать из виду.

Заводя речь о воспитании, не будем подражать большинству, у которого слова: образование, воспитание и наука не сходят с языка, являясь какими-то синонимами, несмотря на резкое различие заключающихся в них понятий. Такое смешение, очевидно, должно приводить не к уяснению вопроса, а к окончательному его затемнению. Между тем значение каждого из этих слов так ясно, что почти не требует объяснения.

* от яйца, с самого начала (*лат.*).

** человеческое (*лат.*).

Что такое наука? и какое место она занимает в среде человеческих деятелей?

Только человек, и только он один во всем мироздании, чувствует потребность спрашивать: что такое окружающая его природа? откуда все это? что такое он сам? откуда? куда? зачем? И чем выше человек, чем могущественнее его нравственная природа, тем искреннее возникают в нем эти вопросы. История не перестает свидетельствовать о том, что могучие великие люди забывали ради этих вопросов весь мир. Не было жертв, которых бы они ни приносили своим роковым вопросам. Все, чем вправе гордиться и дорожить человек: любовь, благосостояние, здоровье, доброе имя, — они с пророческим восторгом меняют на ненависть, нищету, истязания и поношение — лишь бы спрашивать и вечно спрашивать. Посмотрим, какими путями человек способен отвечать на врожденный запрос бесконечного?

Таких путей три: *религия, искусство и наука.*

Первый из них самый общий, самый всеобъемлющий. Вступая на него, человек не задает поражающим его явлениям отдельных вопросов. Загораясь томительной жадой бесконечного, человек религии прозревает в неизмеримой глубине высший идеал, с которым созерцательный восторг сливает весь мир и самого себя. Весь молитвенный акт есть по преимуществу дело чувства. «Gefühl ist alles, — говорит Гете, — und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist» *, — ты блажен — ты путем религии отыскал удовлетворение тому могучему запросу бесконечного, который присущ тебе как человеку. Нечего говорить, что сила этого чувства и мера заключающегося в нем блаженства нисколько не зависят от субъективной высоты идеала отдельного человека и нимало не изменяют справедливость изречения: каков человек, таков его и бог. Ясно, что мы здесь говорим не об объективном Боге христианского откровения, а только о субъективном боге человека или народа, будь то грубый пень дикаря или символический огонь перса.

Субъективный бог неспособен или способен на бесконечное развитие. В первом случае дни его сочтены. Очевидно, что бог-пень не может вмещать вопросы и соображения цивилизующегося дикаря. По ничтожной вместимости своей он неминуемо должен разлететься в прах от напора всех этих вопросов и соображений.

Не таков идеал вечного совершенства, завещанный христианским откровением. Сколько бы человек ни развивался, как бы ни расширялся умственный кругозор его, высокий идеал

* «Чувство — это все, и ты блажен, когда целиком погружен в него» (нем.).

Непостижимо вечно будет гореть над ним в неизмеримой высоте. Возвращаясь к общему значению религиозного чувства, независимо от высоты субъективного идеала, мы не можем не остановиться на основном и последнем слове этого чувства. Бог — все, мир — призрак, тень — ничто. Успокоение, примирение, ответ на все — там, в вечном идеале, а не здесь в разброшенной, бессвязной, непонятной действительности. Только вникнув в глубокий смысл этого слова, мы поймем, почему религии неотразимо принадлежит то высокое место и значение, которые она занимает в судьбах человечества.

Обращаясь к другим деятельности, в которых человек ищет удовлетворения врожденной жажде истины, мы находим двух близнецов: искусство и науку. Основные, родственные черты их до того сходны, что при первом поверхностном взгляде легко ошибкою принять одного за другого. У обоих общая цель — отыскать истину. Оба, удовлетворяя жажде истины, в различие от религии, не объемлют в блаженном чувстве самовозгорания безразлично всего видимого и невидимого, а, напротив, задают свои вопросы отдельно каждому предмету, к которому обращается в данный момент, как бы самый предмет ни был бесконечно велик или бесконечно мал. Для обоих, кроме искомой истины, к которой они стремятся, не существует ничего в мире. Истина! безотносительная истина! самая сокровенная суть предмета — и больше ничего. Но тем и кончается поразительное сходство, уступая место поразительному характеристическому различию. Дойдя до приемов деятельности, до сторон, с которых предлагаются вопросы все той же единой истине, существенной сути данного предмета, — близнецы расходятся до того, что смешивать их уже затем становится непростительно и грубою ошибкой. Не будем говорить о многосторонности каждого предмета, ни о том, что тот же предмет с одной и той же точки зрения является совершенно другим в отдельном сознании различных наблюдателей. В настоящем случае для нас важно только то обстоятельство, что сущность предметов доступна для человеческого духа с двух сторон. В форме отвлеченной неподвижности и в форме своего животрепещущего колебания, гармонического пения, присущей красоты. Вспомните пение сфер. К первой форме приближаются бесконечным анализом или рядом анализов, вторая схватывается мгновенным синтезисом всецельно, *de facto* *.

Приведем наглядное, хотя несколько грубое сравнение. Перед нами дюжина яюмок. Глазу трудно отличить одну от других. Избрав одну из них, мы можем задавать ей обычные вопросы: что?

* по сути, по существу (*лат.*).

откуда? к чему? и т. д., — и, если мы стоим на высоте современной науки, то получим самые последние ответы насчет физических, оптических и химических свойств исследуемой рюмки, а математика с возможной точностью выразит ее конфигурацию. Но этим дело не кончится. Восходя все выше по бесконечному ряду вопросов, мы неминуемо приведем науку к добросовестному сознанию, что на последний вопрос она в настоящее время еще не знает ответа. Этого мало: так как сущность предметов сокрыта на неизмеримой глубине, а восходящему ряду вопросов не может быть конца, то сама наука не может не знать — а priori * — что ей никогда не придется сказать последнего слова.

Мы уже слышим скалозубство так называемого простого здравого смысла, которому на этом поприще гораздо приличнее называться тупостью, неразвитостью — невежеством. Этот мнимо здравый смысл тут как раз является с своею простонародной поговоркой: «Ein Narr kann mehr fragen als zehn Weise antworten»**, обзывая науку дурой во имя такого противоречия с самой собою. Подобной резкостью приговоров во всем отличается невежество, прикрывающееся личиной здравого смысла. Невежество и не подозревает существования неизменного закона гармонического слияния противоречий, составляющего неперемное условие всякой жизни, закона, с которого мы начали наши соображения. Либо *бело*, либо *черно!* — восклицает самодовольное невежество, не подозревая, что в природе не существует ни абсолютного белого, ни абсолютного черного. Для такого глубокого, всеобъемлющего ума, как Гете, весь мир представлял (*das offene Geheimniss ****) *открытую тайну*. Великая книга мироздания раскрыта для взоров каждого, но смысл ее — непроницаемая тайна. Но для невежества все просто, все понятно, все легко. Обзывая науку дурой за внутреннее противоречие, невежество не догадывается, что в силу неизбежного закона впадает в то же противоречие, доводя его до геркулесовых столбов нелепости, до отрицания несомненного факта. Оно не догадывается, что вопрос: «зачем наука стремится к истине, зная наперед, что не найдет ее последнего слова?» равносильен вопросу: «зачем вода в реках течет к морю, когда она все равно посредством облаков вернется к своим источникам?» Но таковы вечные приемы невежества. Строя какую-нибудь узкую, близорукую систему, оно натывается на несомненный факт, с которым сладить не в силах, — например, с *ревностью*. Чего ж тут долго церемониться?

* априорно, заранее (*лат.*).

** Букв.: Дурак больше спросит, чем умный ответит (*нем.*).

*** открытую тайну (*нем.*).

«Ведь ревность глупость, мой друг, и совершеннейшая пошлость!» Видите ли, как легко и удобно. Один взмах пера — и целого неизменного закона природы как не бывало, и тесная, близорукая система торжествует при громких рукоплесканиях. Зачем сегодня есть, когда наверное знаешь, что завтра снова проголодаешься, и, быть может, вовсе нечем будет утолить голода? А между тем ревность все будет существовать, люди будут ежедневно обедать, и наука не перестанет стремиться к исследованию сущности предметов. Отнять у нее это беззаветное стремление, этот бескорыстный жар — значит лишить ее всякого значения, всякого права на существование.

Возвратимся к нашей рюмке. Мы задавали ей всевозможные вопросы, исследовали ее форму, объем, вес, плотность, прозрачность и т. д., сказали над нею последнее слово науки — и увы! (*das offene Geheimniss*) открытая тайна осталась тайной непроницаемой, безмолвной, как смерть. Но вот наша рюмка задрожала всей своей нераздельной сущностью, задрожала так, как только ей одной свойственно дрожать, вследствие совокупности всех исследованных и не исследованных нами качеств. Она вся в этом гармоническом звуке; и стоит только запеть и свободным пением воспроизвести этот звук, для того чтобы рюмка мгновенно задрожала и ответила тем же звуком. Вы несомненно воспроизвели ее отдельный звук: все остальные подобные ей рюмки молчат. Одна она трепещет и поет. Такова сила свободного творчества.

Алчущая, мучительно жаждущая истины душа человеческая может утешиться. *«Und wenn der Mensch in seinem Gram verstummt giebt ihm ein Gott zu sagen was er duldet»**, — говорит Гете. Человеку-художнику дано всецельно овладеть самой сокровенной сущностью предметов, их трепетной гармонией, их покоющей правдой. Перед ним открыт путь, на котором он с помощью свободного творчества может совершенно в другой области овладеть гармонической истиной предмета так всецельно, что все одаренные слухом воскликнут: вот оно! Стоит только попасть в гармонический тон предмета, а для этого нужен талант и благосклонность минуты. Если, согласно глубоко художественному выражению Гете, «мироздание есть открытая тайна», — то художественное творчество есть самая изумительная, самая непоситимая, самая таинственная тайна. «Ты им доволен ли, взыскательный художник?» Нет, недоволен! Он долго со всевозможных сторон задавал вопросы предмету своих изысканий, задавал их с томительным напряжением всего своего просветленного су-

* «И когда человек погружается в скорбь, Бог дает ему силы рассказать, как он страдает» (нем.).

щества, и ответы являлись, но не тот, которого жаждет душа. И вот иногда совершенно неожиданно — даже во сне — искомый ответ предстает во всей своей гармонической правде. Вот он! несомненный! незаменяемый!.. Вы жаждете проникнуть в тайну творчества, вы бы хотели хоть одним глазком заглянуть в таинственную лабораторию, в которой целое жизненное явление превратилось в совершенно чуждый ему звук, краску, камень. Торопитесь спросить художника, еще не остывшего над своим вдохновенным трудом. — Увы! ответа нет. Тайна творчества для него самого осталась непроницаемой тайной. А между тем великое чудо совершилось, сокровенная тайна открыта воочию всех. Неизречаемое никаким иным путем — изречено со всей его неизмеримой глубиной, со всей его бесконечностью. Вот молодая, светлая, могучая, страстная душа! Моральное сотрясение вывело ее из обычного покоя. Равновесие потеряно. Зеркальная поверхность покрывается узорчатой рябью. Рябь переходит в мерную зыбь. Волнение увеличивается. Волна встает вослед волне во всей прихотливой прелести мельчайших подробностей. Берегов и пределов нет. Берег — безграничность; предел — беспредельность! Страстное волнение все растет, подымая со дна души все заветные тайны, то мрачные и безотрадные, как ад, то светлые, как мечты серафима. Умереть — или высказаться! Все, все высказать, со всей полнотою! «Иль разорвется грудь от муки...» Но какой язык человеческий способен всецело заговорить всем этим? Бессильное слово коснеет. — Утешься! есть язык богов — таинственный, непостижимый, но ясный до прозрачности. Только будь поэтом! Мы все — поэты, истинные поэты в той мере, в какой мы истинные люди. Вслушайся в эту сонату Бетховена, только сумеи надлежащим образом ее выслушать — и ты, так сказать, воочию увидишь всю сказавшуюся ему тайну.

Слова: *поэзия язык богов* — не пустая гипербола, а выражают ясное понимание сущности дела. Поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны. Все вековые поэтические произведения от пророков до Гете и Пушкина включительно, в сущности, музыкальные произведения — песни. Все эти гении глубокого ясновидения подступали к истине не со стороны науки, не со стороны анализа, а со стороны красоты, со стороны гармонии. Гармония также истина. Там, где разрушается гармония — разрушается и бытие, а с ним и его истина. Гете говорит: «Das Schöne ist höher, als das Gute; das Schöne schliesst das Gute in sich» *. Он мог бы с одинаковым правом сказать то же самое по отношению к истине.

* «Красота (прекрасное) выше добра; она заключает добро в себе» (нем.).

Ища воссоздать гармоническую правду, душа художника сама приходит в соответственный музыкальный строй. Тут не о чем спорить и препираться, — это такой же несомненный, неизбежный факт, как восхождение солнца. Нет солнца — нет дня. Нет музыкального настроения — нет художественного произведения. Эпическое *пою*, которое так злоупотребляли искусственные писатели XVIII века, исполнено глубокого значения. Когда возбужденная, переполненная глубокими впечатлениями душа ищет высказаться, и обычное человеческое слово коснеет, она невольно прибегает к языку богов и поет. В подобном случае не только самый акт пения, но и самый его строй рифм не зависят от произвола художника, а являются в силу необходимости. «Илиада» — терцинами и «Divina Comoedia» * — гекзаметром равно невозможны.

Но одним ритмом не исчерпывается в песне художественная необходимость. В ней все необходимо. В таком напряженном акте, каков акт воссоздания, сосредоточены все усилия духа — все, можно сказать, видимые и невидимые средства. Песня поется на каком-либо данном языке, и слова, вносимые в нее вдохновением, вносят все свои, так сказать, климатические свойства и особенности. Насаждая свой гармонический цветник, поэт невольно вместе с цветком слова вносит его корень, а на нем следы родимой почвы. При выражении будничных потребностей сказать ли: «Ich will nach der Stadt» ** или: «я хочу в город» — математически одно и то же. Но в песне обстоятельство, что *die Stadt steht* ***, а город городится, — может обнажить целую бездну между этими двумя представлениями. Кроме корня, каждое слово имеет свойственные его почве запах, конфигурацию и влияние на окружающую его область мысли, в совершенное подобие растению, питающему известных насекомых, которые в свою очередь питают известных птиц и т.д. Нечего говорить, что чем замкнутее в своей оконченности, чем отдаленнее от нас по условиям жизни и по времени родина известного слова, тем глубже разверзается бездна перед ним и тем родным словом, которым мы силимся заменить его. Возьмем эпитет *ореттрофос* ****, которым Гомер отличает *льва*. В аналогическом его воссоздании оно может соответствовать слову *горовоспитанный*; но корень его *треф*ф заключает в себе множество оттенков, которые разом звучат в

* «Божественная комедия» (лат.).

** «Я хочу в город» (нем.).

*** город стоит (нем.).

**** Букв.: выросший в горах (греч.).

полном эпитете. Трефю значит и *жиреть*, и *питаться*, и *воспитывать*, и *жить*, и *расти*. Очевидно, что нельзя приискать ему равнозначющего слова в русском языке, независимо от того, что и *горородный*, и *горовоспитанный* насилуют русское ухо и русский склад речи. Замечу мимоходом, что в переводе художественной песни, я, несмотря на такое насилие, всегда предпочту встретить *горородный* — вместо *рожденный в горах*. В первой форме я, при помощи поэтического сочувствия, еще могу угадать как бы в тумане очертания поэтического эпитета, а вторая окончательно разлагает всю его силу в безразличную плоскость наподобие $2 \times 2 = 4$. Что же сказать о переводах древних трагических хоров или лириков на новоевропейские языки, не имеющие тени музыкального родства с древними и совершенно беспомощных перед требованиями метрики?

Мы могли бы долго указывать на почвенные различия древних и новейших языков, но и из сказанного очевидно, что заменять древних новейшими переводами не только затруднительно, но физически невозможно.

Независимо от сравнения двух различных языков, мы имеем возможность убедиться самым наглядным образом в строгой необходимости малейшего оттенка художественной песни. Эта истина, служащая камнем преткновения для людей, заявляющих права мыслителей, совершенно ясна непосредственному чутью народа: «из песни слова не выкинешь». Не пробуйте в любом стихотворении Пушкина заменить синонимами или переставлять слова, хотя бы метр этому не препятствовал. Такая проба слишком груба. Дайте только это стихотворение прочесть десяти различным чтецам, одаренным поэтическим сочувствием. Вслушайтесь в чтения — и вы получите десять различных стихотворений... Мочалов каждый вечер являлся с новым Гамлетом, и это продолжалось всю жизнь, — а заставьте его повторять несомненные истины, последовательно изложенные в таблице умножения, — что он в состоянии в них изменить? Продолжайте ваш опыт: заставьте человека тупого, художественно неразвитого, прочесть то же самое стихотворение — и вы испытаете такую нравственную пытку, такое царапанье неуклюжей лапы по тончайшим нервам вашего поэтического чувства, о которой только зубная боль может дать некоторое понятие. Что же сказать о людях, и по природе и по условиям воспитания окончательно лишенных чувства гармонии, а между тем избравших профессией ломать и коверкать художественные произведения и затем удивляться, что от Мадонны, перед которой набожно склонялся мир, в руках у них остались жалкие клочки старого холста? Это люди мертворожденные в деле искусства, а de

mortius nil nisi bene *. Если на одном и том же языке невозможно изменять, перефразировать художественной песни, не разрушив ее гармонии, т. е. не уничтожив ее окончательно, то как отнестись к мнению, советующему раз навсегда, отбросив оригиналы, успокоиться и удовлетвориться переводами первостатейных произведений искусства?

Пересадивши в край родной
С Феррарского Парнаса
Язык Италии златой,
Язык прелестный Тасса... —

говорит Раич о своем переводе «Освобожденного Иерусалима»; но такой образ только поэтическая гипербола, а в сущности несколько не соответствует процессу перевода. Феррарский цветок можно действительно пересадить в Архангельск. Стоит только устроить стеклянную крышу и посредством печей произвести Феррару в Архангельске. В таком случае пересадка будет иметь благополучный исход. Вы без церемонии обманываете, надуваете благодушное создание. Такое надувание нередко доходит до комизма. Есть водяные растения, требующие непременно текущей воды. Чтобы надуть бедного пленника, устраивают в его чану несложный механизм, колеблющий воду, — и бесхитростное растение, принимая чан за родимую реку, распускается и цветет к восторгу любителя. Подобным же способом можно обмануть и цветы благодушного Гомера, Софокла, Эврипида и пересадить их из древней Греции в Москву. Стоит только выстроить хорошую школу, основательно изучить в ней греческий язык и древности — и цветы Гомера расцветут перед вами в первобытной чистоте и свежести. Но заказывая перевод, вы требуете не пересадки, а совершенно другого образа действия. Вы пленились садом Monte Pincio ** и требуете, чтобы русский садовник соответственным сопоставлением русской флоры воспроизвел для вас впечатление итальянского сада, заменяя, например, пальму сосною, миндальное дерево орешником и кактус лопухом. Искусный садовник, быть может, и воспроизведет до некоторой степени ваше впечатление, но никакой здравомыслящий не станет утверждать, что одним вполне заменено другое. Можно в гравюре превосходно дать почувствовать оригинал, но заменить его ничем на свете невозможно.

Возвращаясь к параллели между искусством и наукой, мы не можем умолчать еще об одном характеристическом их различии. Мы видели, что искусство и наука — эти две стремитель-

* о мертвых — хорошо либо ничего (*лат.*).

** Монте Пинчио (*ит.*).

ные силы человеческого духа — не имеют различных целей. У них одна общая цель: *истина*. Всякое верженное тело только тогда стремится свободно, когда оно одноцентрично, то есть когда в нем только один центр тяжести. Между двумя центрами мгновенно возникает борьба, уменьшающая силу и верность полета. В этом смысле и наука и искусство — одноцентричны. Этот центр истина, одна истина. Таково родственное сходство близнецов в отвлеченном мире призвания, но, вступая в действительность подвига, близнецы как бы не узнают друг друга. — Наука, не изменяя своему призванию и значению, не может отвернуться от возникающего перед ней последнего слова истины, во имя каких бы то ни было соображений: *fiat veritas et pereat mundus* * — ее неуклонный девиз. Для искусства никакая истина не существует до того благодатного момента, в который оно успело нащупать ее красоту, влущаться в ее гармонию. Художник был ясновидящим, произнося слова:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.

Жрец науки должен отвернуться от них, как от богохульной лжи.

Очевидно, что дело искусства в высшей степени индивидуально. Ни ваять Киприду, ни писать «Фауста», ни сочинять сонату — нельзя вдвоем; даже воспринимать эти произведения может каждый только для себя, как бы ни велико было собравшееся с подобной целью общество. Как бы высоко не развил я в себе музыкального чувства, я не могу своего понимания Бетховена передать по наследству. Моему наследнику предстоит самому проделать всю духовную гимнастику, которой подвергался я сам, если он хочет и может стать в этом отношении на ту же высоту. Но последнее слово науки передается по неоспоримому завещанию.

В принципе, как мы увидим, наука так же индивидуальна, но бесконечный, всеобъемлющий механизм ее настоятельно требует разделения труда. Фабричное производство нисколько не отнимает у дела его разумной целесообразности и в принципе не лишает характера индивидуальности. Ружейник, собирающий, выверяющий, пристреливающий ружье, словом — делающий ружье ружьем, — один. Он душа всей работы. Без него не только нет превосходного — нет никакого ружья; а между тем загляните на оружейный завод: один делает только ложе, другой только пружины, гайки, винты и т. д., и каждый в своем деле необходим, каждый может сказать в нем новое, небывалое слово и завещать его всему

* пусть погибнет мир, но да утвердится истина (лат.).

миру; без каждого из отдельных тружеников не выйдет никакого ружья. Мало того, заставьте главного сборщика, глубоко изучившего все тонкости дела, приготовить какую-либо мелкую часть ружья — и, вероятно, он исполнит работу хуже специалиста; с другой стороны, пусть только он отступится от дела — и тогда к чему поведут, какой смысл будут иметь все эти отдельные стволы, ложи, гайки, пружины? Смысл ничего не выражающего — ненужного хламу. При разделении труда легко может быть, что на отдаленном горном заводе первостатейный специалист по части рельсов во всю жизнь не увидит железной дороги и не имеет ясного понятия об общем ее устройстве; это обстоятельство нисколько не мешает ему стоять на высшей ступени своей специальности и даже двигать ее вперед. Искусный столяр, выпиливающий какой-либо витиеватый брус, может чистосердечно расхотаться, если ему заметят, что в его лице работают все предшествовавшие ему столяры и плотники, начиная с первого артиста каменного периода. Истина эта, несмотря на свою несомненность, ни на что не нужна столяру, получившему последние приемы мастерства вместе с наилучшими инструментами непосредственно из рук своего учителя. Но главный механик, заведывающий общим устройством механизма, да к тому же задавший себе целью двигать свое дело вперед, обязан знать не только все относящееся к одному известному механизму, но и закон или законы всех механизмов.

Все сказанное нами о материальном разделении труда вполне приложимо к делу науки. Во всеобъемлющей ее лаборатории только философ-мыслитель стоит на вершине громадной пирамиды разделенного труда. Только он один, снабженный последними словами отдельных деятельностей, задает вопросы всему мирозданию, только он имеет на то возможность, а следовательно, и право. Только он один — всеозаряющий, просящийся к небу огонь на вершине жертвенника. Задуйте этот огонь — и все здание со всеми неисчислимыми сокровищами, накопленными веками, потонет в безразличном мраке. Погасите внутренний, верховный смысл предметов и их взаимных отношений — и вы осудите все факты на хаотическую бессмыслицу. Что станется с фактами, предлагаемыми всеобщей и естественной историей и всеми опытными и математическими науками? Они потеряют смысл, что равносильно небытию.

Этой истиной более, чем когда-либо, в настоящее время проникнуты отдельные второстепенные деятели науки, старающиеся по возможности осмыслить свою специальность. Вспомним, во что превращается география, которую Простакова с полным правом поразила в самое сердце замечанием: «извозчики сами знают дорогу». В настоящее время отдаленнейший труженик-

ремесленник науки, как бы тесна ни была его специальность, чувствует потребность поднести свою находку к центральному светочу мысли. Но при этом освещении может случиться большая ошибка, совершенное незнание своего относительного места и соответственных сил. Разница в иерархическом положении верховного жреца мысли и отдельного специалиста-труженика громадна. Правда, самобытный служитель всемирной мысли, кроме специальной обязанности пройти всю историческую гимнастику мышления, поставлен в необходимость стоять на современной высоте всех духовно подчиненных ему специальностей, если не желает впадать в противоречия с фактами, рискуя жизненностью своего здания. Лучше быть ему самому хозяином-техником во всех специальностях, но если *ars longa, vita brevis* * этого не допускает, он может принимать последние результаты из рук специалистов подобно тому, как главный механик принимает от рабочего винт, гайку, скобу, колесо — на веру, что все эти предметы выработаны и выверены по строгим правилам специальности. Находясь в такой, можно сказать, материальной зависимости от подчиненных деятелей, жрец всемирной мысли с другой стороны является, в силу вещей, ее монополистом. Только перед ним, стоящим на высшей точке здания, широкий горизонт не заслонен никакими группами деятелей. Только он один, хорошо знакомый со всем механизмом мануфактуры, — ясно видит место отдельного специалиста и понимает его значение и отношение к прочим труженикам общего дела. Только он один, вооруженный всеми лучшими снарядами, в силах задавать существеннейшие вопросы небу и земле. Все эти условия необходимы для преуспевания дела. Но не в них его главная сила, а в том, что он один свободен, все же остальные не свободны.

Эта истина более, чем когда-либо, в настоящее время сознается самыми дельными, самыми добросовестными и талантливymi специалистами. Не спрашивайте мнимых защитников специальностей, людей, довольствующихся словами, лишенными внутреннего смысла. Их пища — мода, то есть чужой голос; их девиз — польза, их личная польза. Признать очевидность духовной иерархии не входит в их расчет. Долой авторитеты! кричи, что все науки равноправны! Благо, не по силам разобрать, с какой стороны существует равенство и неравенство. А коли они равноправны (ведь подобные минутные здания строятся на словах, а не на сущности), то чистый расчет — отстаивать самую теснейшую специальность, знакомство с которой требует наименьших трудов, наименьшей умственной гимнастики, пропади они! Права-то одни,

* искусство вечно, жизнь конечна (*лат.*).

личная польза одна — так из-за чего же хлопотать понапрасну? Кричите, что все остальное хлам, схоластика — и ждите личной пользы. Казалось бы, к чему носить внешние масонские знаки, когда не имеешь никакого понятия о масонстве? Но не так думают люди, желающие казаться, а не быть, дорожащие словом, а не смыслом. На что бы слова: *конкрет*, *параллакс* — человеку, неспособному ни читать с толком сочинений, где они употребляются, ни самому употреблять их у места? А между тем существуют лексиконы с подобными словами.

Нет, вы не станете спрашивать таких людей! А если спросите истинных тружеников-специалистов: к какому нравственно-му выводу приводят их новейшие факты, — то услышите честный и добродушный ответ: «Это не наше дело. Мы ставим вопросы совершенно в противоположную сторону. Мы ищем фактов и не заботимся об их смысле». Заметьте, ни один истинный специалист не прибавит к этому сознательному ответу, что все-таки остальное, всякое другое поставление вопросов — глупость.

Для такой выходки он слишком умен. Что же значит такое признание? Если мы представим себе пирамиду, разрезанную на множество усеченных пирамид, то каждая отдельная их группа будет составлять особую пирамиду, высота и объем которой будут в прямом отношении с основанием. Добросовестный ответ специалиста свидетельствует, до какой степени в нем ясно сознание, что факт стояния на вершине данной группы пирамид свидетельствует только о единовременном стоянии на всех пирамидах, составляющих эту группу, но не имеет ничего общего с господством над другими группами или над всеобщей пирамидой. Неясное уразумение этого простого факта ведет к величайшим заблуждениям насчет собственного положения. Это хуже превышения власти — это превышение средств, приводящее к неизбежной моральной несостоятельности. Возьмем громадную пирамиду математика, основанную на квадрате количества и формы. Несмотря на всемогущество этого деятеля — он бессилен перед сущностью предметов, не имеющей ни величины, ни формы. Все науки, независимо от своего объема, представляют пирамиды, завершаемые последним словом данной минуты. Но группы наук, имеющих дело с осязательными фактами (естественные), отличаются от имеющих своим предметом сущность, смысл явлений (*humaniora*) тем, что, в первых, все дело в фактах неизменных и очевидных для всех зрячих, а во вторых, все дело в их поставлении, составляющем неизбежный труд каждого отдельного деятеля. Факты естественных наук нисколько не страдают от перестановки вследствие изменившейся системы. Они вполне независимы от истории науки. На каких началах ни по-

стройте географию, ни одна река не прибавит воды, ни одна гора не повысится. Можно вполне усвоить себе математические истины, не имея никакого понятия о Пифагоре и вообще об исторической стороне науки. Вполне усвоив математические факты, я имею право считать себя богатым. Но ознакомившись с сокровищами истории или философии — и не развив всех своих духовных средств соразмерно массам сокровищ, я неизбежно ухудшу свою беспомощность, свою моральную несостоятельность. Человек мирно питался торговлей, требующей *рубль* оборотного капитала, — и вдруг почувствовал потребность стать во главе предприятия, требующего сотни тысяч такого капитала. Он ссылается на пример родного дяди, который начал с простой мукомольной мельницы, за которую в разные сроки платил 10 р. аренды, но пошел на крупчатку, вникнул в дело, зашиб копейку и теперь торгует по всей России. Дядя готов передать племяннику все огромное дело, но не может передать ни капитала, ни опытности. Человек этот спрашивает, что ему делать? Не стать ли во главе предприятия с рублем? Можем ли мы добросовестно посоветовать ему иной путь, чем тот, которым шел его дядя?

«Но как мне приобрести капитал?» По мере увеличения опытности, будет, вероятно, увеличиваться и капитал. «А как приобрести опытность?» По мере приращения капитала и расширения круга деятельности станет увеличиваться и опытность. Другого совета мы дать не умеем, а можем только прибавить, чтобы искатель высшей деятельности, решившись принять от дяди голые факты стен промышленного здания, не впал в величайшую ошибку считать себя в силу этого события опытным капиталистом, способным вести не только это одно, но и всякое другое капитальное предприятие. Что, если он теперь кое-как, не возбуждая ничего смеху, кормится своим рублем, то, став во главе тысячного предприятия с тем же рублем и опытностью, он неминуемо впадет в самые несообразные ошибки на смех всему миру.

«А может быть, я еще лучше дяди поведу дела?» На такое может быть можно только отвечать другим: может быть, не зная ни слова по-еврейски, я вдруг зачитаю Библию в оригинале.

«Все это так, — скажут защитники естественных наук, — но нельзя не признать, что наши науки открыли ряд фактов, сгруппировали их и вывели множество основных законов, тогда как *humanity*, со всей их напряженной гимнастикой и всесторонней тактикой, вынуждены устами Фауста изречь свое убийственное: «Und binn nicht kluger wie zuvor» *, то есть сознаться,

* И не мудрее мы теперь (*нем.*).

что вся их заслуга и сущность не в разрешенных вопросах, а в самой гимнастике; божественный огонь на вершине пирамиды не более как шаткий полупризрак, тогда как наши камни — незблемые, несомненные камни, на которые можно опереться. Вечно расширяя кругозор и изоцряя зрение, стараться с вершины нравственной пирамиды угадать смысл «открытой тайны», трепетно служить этому призванию и сознавать, что тайна навек останется тайной — вот безотрадная судьба *humaniora*.

Как будто это безделица, а не торжество человека? Как будто сознательно приходите к убеждению, что мы — *глубочайшая тайна*, отовсюду окружены иероглифами *открытой тайны*, и понять до очевидности, что все до сих пор предлагаемые ключи чтения — не те, не настоящие, — как будто все это не высшее торжество человека, в бесконечное отличие от животных? Для животного нет тайны, нет предмета в мире, к которому бы оно не сумело отнестись всецельно, гармонически, несомненно и нередко с ясновидением, каким не похвастает глубочайший мыслитель. Но на той неуловимой черте, где бессознательно животный мир переходит в сознательный, человеческий, возникают и вечные вопросы: что, откуда, куда и т. д. Ребенок, едва ознакомляющийся с окружающими его предметами, уже чувствует потребность знать и спрашивать: откуда явился меньшей братец? Правда, ему отвечают, что братца принес аист, и он довольствуется таким ответом, не подозревая, что получил его совершенно не на вопрос. Но если он человек живой, способный к бесконечному развитию посредством умственной гимнастики, то он сам увидит несостоятельность первого ответа. На неизбежный вопрос последуют новые ответы, которых в свою очередь ожидает та же судьба, и на вершине умственной пирамиды он не перестанет напряженно спрашивать: откуда явился меньшей братец?

Жить умственной жизнью значит ставить вопросы; жить реальной человеческой жизнью значит отвечать на эти вопросы. Перестать отвечать нельзя. Троглодит в своей пещере запасается известной суммой положительных сведений. Чтобы не погибнуть, он вынужден сознать времена года — и мало того — вынужден известным образом отнестись к ним, сообразя свои действия с этим отвлеченным сознанием. Вот вам и мирозозерцание — философская система. По мере расширения круга положительных сведений, должна расширяться и система. Каждую новую вещь необходимо куда-нибудь пристроить в нашем сознании. Искусство находить вещи, знакомиться с ними и оставлять их где-то там под открытым небом, не вводя в общую сокровищницу мысли, — не открыто. Можно случайно или не случайно открыть новый предмет, но нельзя поставить его на

соответственное место в громадном здании всемирной выставки, не будучи знакомым с этим помещением и тем более, если такого здания вовсе не существует.

Мы могли бы остановиться на такой очевидности, не прибегая под защиту авторитетов. Но мы начали наши соображения с авторитета, будто бы несомненного факта стремления лучших умов к естествознанию. Послушаем, как относится один из этих лучших умов к делу философии. Шлейден говорит: «Подобно тому как философия опирается на естествоведение, она в свою очередь руководит, развивает естествоведение и спасает от заблуждений». В объяснение этой мысли, тот же Шлейден самым наглядным образом показывает, как известный специальный закон может быть выведен совершенно ложно, только на том основании, что специалист недостаточно развит в деле логического мышления и смешал два сходных, но принадлежащих к различным областям понятия.

Слушая некоторые суждения о деле чистого мышления, можно подумать, что наша наука, наша интеллигенция страдает преобладанием неумолимой логики, неуклонного служения идее — страстью систематизировать. На деле оказывается совершенно противное. Говоря о различных соотношениях руководящих жизненных сил, Карлейль спрашивает, какое из этих самое худшее? — и тут же отвечает: «То, которое у нас в настоящее время, т.е. когда хаос заступает место высшего критериума».

Возвращаясь к возражению, с которого начали, мы готовы сделать в его пользу громадную уступку. Мы готовы признать заявленный в нем факт за несомненный. Мы готовы сказать: Да! громадное здание всемирной мысли оказывается неудовлетворительным. Нашему духу все еще в нем тесно. Мы инстинктивно требуем большего, громаднее того, и потому, на время оставляя дело зодчего, с жаром принимаемся за дело подрядчика, поставщика материалов. Но самый труд подрядчика предполагает зодчего, без которого весь материал оказался бы ненужным хламом. Уяснив себе значение общечеловеческой мысли, мы еще раз увидим двойственность задачи современного мыслителя. Чтобы дать себе отчет о своем положении, он должен подойти к нему во всеоружии всемирной мысли. Только проникаясь ею шаг за шагом с основных ее проявлений, он может с одной стороны получить возможность следить за органическим ростом громадного дерева мысли, а с другой — проходя всю гимнастику мысли, приобретает ту тонкость и гибкость ума, без которых невозможно приниматься за дело науки, в обширном значении слова. Громадный факт европейской жизни духа есть дело эпохи Возрождения. Возможно ли понять *Возрождение*, не поняв Рима и

Греции? При изучении Греции откиньте памятники ее искусств, поэзии и философии — что там станете изучать? Возможно ли какое-либо самобытное изучение всех этих явлений классического мира без полнейшего знакомства с классическими языками? Без этого знакомства невозможно шагу ступить на классической почве. Шопенгауэр — этот заклятый враг педантизма и педантов, отравивших жизнь его, говорит: знакомиться с философом по профессорским лекциям — то же, что узнавать оперу по рассказам о ней.

Дело европейской науки без теснейшего знакомства с классическими языками — вполне несостоятельно. Но не таково, быть может, отношение к классикам области, называемой европейским образованием? Об этом поговорим в другой раз.

II

От специального дела науки перейдем к отдельным кругам деятельности, называемым воспитанием и образованием, стараясь уяснить для себя их сущность и взаимное отношение.

Воспитание, как показывает самое слово, есть постепенное приравнивание еще неразвитого индивидуума к той среде, в которой ему предназначается самостоятельно вращаться. В этом смысле и лисица не покидает своего воспитанника лисенка до тех пор, пока он не научится избегать опасностей и сам добывать пищу. В этом тесном смысле — невоспитанных людей не бывает. Каждый совершеннолетний здоровый человек, сделавшись самостоятельным, тем самым свидетельствует, что окончил свое воспитание, что несколько не ставит его вне человеческого закона: век живи — век учись. Ясно, что кругов воспитания и по объему, и по приемам существует столько же, сколько на земле отдельных деятельностей. Будущего ткача или кузнеца надо воспитывать совершенно не так, как будущего скорохода или клоуна. Человек, наилучшим образом воспитанный для известной среды, может оказаться совершенно невоспитанным в другой. Человек, не умеющий войти в комнату, не может в аристократическом кругу считаться воспитанным. Но самый благовоспитанный придворный может резким образом нарушить приличия какого-нибудь немецкого городка, в котором право повести в публичном месте под руку девушку предоставляется только объявленному жениху. Какой так называемый благовоспитанный человек сумеет не нарушить приличия в избе степного крестьянина и т. д.?

Воспитание охватывает всего человека; оно относится ко всем способностям, развивая каждую из них соразмерно запросам среды, для которой предназначается воспитанник. А так как

воззрений на среду — идеалов среды — бесчисленное множество, то и воспитаний будет столько же. Не будем говорить о людях, которые, ясно сознавая известный идеал, избирают не целесообразные средства к его достижению. Человек ясно сознает, что ему нужно заморозить жидкость, — и ставит ее на огонь. Как ни много и таких, но гоньба за ними увлекла бы нас слишком далеко. Обратимся к людям, которые, с одной стороны, знают, чего хотят, а с другой не принимают противоположного желаемому за предмет пожеланий. Мы видели разнообразие отдельных кругов деятельности, но все они, подобно листьям древесным, сходятся на ветвях, сучьях, стволе и т. д. общего им растения. Прежде чем быть специалистом, я член известного семейства, общества, народа, расы и т. д. Человек может по произволу избирать себе специальность, даже семейство и общество, но избрать новую народность, расу и т. д. — от него не зависит. Поэтому воспитание, применяясь в своих приемах к будущему предназначению питомца, должно оставаться неизменным по отношению к неизменной стороне дела. Воспитание всякого русского, кто бы он ни был и к чему бы он себя ни предназначал, прежде всего должно быть русским.

Под этим словом мы нисколько не подразумеваем кучерской поддевки или несуществующих в народе *степенных* сапогов первой французской империи. Мы разумеем тот общий нравственный строй, на котором зиждется вся деятельность человека. Воспитание должно с молоком матери развивать в душе каждого русского бесконечную любовь и преданность России, любовь, которая бы не покидала его во всю жизнь и не дозволила ни на минуту поколебаться в выборе между ее общим благом и его собственным. Все в жертву России: имущество, жизнь, — но не честь. Честь — достояние высшего круга понятий, понятия о человеке. Бесчестный человек есть в то же время и бесчестный русский человек. Но русский, в душе француз, англичанин или швейцарец, — явление уродливое. Он ничто — мертвец; океан русской жизни должен выкинуть его вон, как море выбрасывает свою мертвечину.

Средства воспитания бесконечны, как мир. Все воспитывает человека, что входит в среду его бытия. Низкая притолока, тонкий лед, предание, обычай, вера, положительный закон, пример других и, наконец, образование. Многие из этих средств или орудий, не только в своей совокупности, но и отдельно взятые, гораздо могущественнее образования в деле общего народного воспитания.

Итак, воспитание есть приравнение воспитанника к среднему уровню предызбранной среды, и по тому самому идеал его

бесконечно подвижен. Не таково дело образования. Задача его — приравнивание к неподвижному в данный момент идеалу умственного развития, идеалу целого мирозерцания отдельного народа, или же — целых групп народов, сходящихся в этом мирозерцании, независимо от разделяющих их пространств и времени. Посмотрим, в чем состоят эти неподвижные идеалы?

Сколько история ни представляет нам отдельных и родных образований (культур), неподвижный идеал каждой из них состоял в наибольшем знакомстве с книгой (или книгами) преданий, послуживших краеугольным камнем известного мирозерцания. Книга положена в основу мирозерцания, и она же служит идеалом этому мирозерцанию. Это безвыходный круг — какая-то консервативная змея, укусившая свой хвост. Очевидно, что при таком идеале самая культура и весь подвластный ей мир осуждены на вечную неподвижность. История всех восточных образований (культур) и даже средневековое европейское воспитание, за малыми исключениями, могут служить наглядным подтверждением сказанного. Наше русское образование не только не избежало в своем прошедшем этой общей участи, но и в настоящем может указать на раскольников, у которых идеал человека образованного и даже ученого остался верен своей средневековой неподвижности.

И книжному искусству вразумил, —

говорит пушкинский летописец. В этом одностороннем *книжном искусстве* — весь идеал. Один только древний грек — этот благоуханный цветок человечества — всем гармоническим существом вынес на свет Божий атмосферу всесторонней культуры. Во всей вселенной только он один самобытно выступил из заколдованного круга односторонности. Только его идеал — убил Пифона, этого змия неподвижности и мрака. Только глубоко человеческий взор грека с одинаковым участием обращался ко всему мирозданию, только его чуткая душа населила божествами все близкое и далекое, видимое и невидимое, реальное и идеальное. Только греки, исключительно одни греки были в состоянии передавать римлянам и через них завещать позднейшим векам откровение всестороннего образования. Только человек классического мира имел право и возможность впервые сказать: «*Homo sum et nil humani a me alienum puto*» (я человек и ничего человеческого не считаю для себя чуждым). Это не пустая фраза, а глубоко сознанный факт. Только благодаря бесценному завещанию классического мира, благодаря прометеевскому огню всестороннего образования — Европа является тем, что она есть — главою и повелительницей всего света, какою в свое время была Римская империя.

И Европа ревностно блюдет завещанный ей священный огонь. Все ее музеи, академии, книгохранилища, школы, судилища, театры, цирки — не что иное, как светильники этого огня. Идеал европейского образования есть всестороннее развитие человека. В этом — его существенное различие от всех остальных идеалов образования. Выбор между этими идеалами нетруден. Факт всемогущества Европы, блистающей во всеоружии всестороннего образования — у всех перед глазами. Народу, не желающему неподвижности летаргии, духовного и вещественного рабства и, наконец, политической смерти, не остается ничего другого, как примкнуть к европейскому идеалу образования. — Не забудем, что мы говорим здесь об образовании, а не о специальном деле науки.

Мы видели, что идеальный круг воспитания способен все более и более расширяться, сообразуясь с требованиями среды, на которую метит воспитание. Восходя все выше по лестнице развития и соответственно расширяясь, идеальный круг воспитания наконец почти сольется с идеальным кругом европейского всестороннего образования, так что отлично воспитанный человек в сущности будет почти синонимом отлично образованного человека. Такое слияние на вершине воспитания с образованием не должно подавать нам повода забыть существенную разницу между этими различными деятельностями — ибо смешение их в нашем представлении ведет, как мы увидим, к пагубным ошибкам.

Можно быть в известной среде прекрасно воспитанным, даже отличным специалистом: химиком, талмудистом, музыкантом, клоуном, *человеком-мухой* — и явиться в европейском музее, театре, аудитории совершенно чужим, диким, не имеющим ни малейшего права на титул европейски образованного человека. Европейское образование не требует во что бы то ни стало специальности. Главная его задача в том, чтобы посредством умственной гимнастики сообщить нравственным силам человека наибольшую упругость и эластичность и избавить их от тщедушной узости всевозможных сектаторств. В деле европейского образования известные данные наук менее важны как факты, чем как орудия умственной гимнастики. «Требовать от человека, — говорит Шопенгауер, — чтобы он хранил в памяти все прочитанное, — то же что требовать, чтобы он сохранил в желудке всю принятую в жизни пищу. Посредством всего мною прочитанного я сделался именно тем, что я есть».

Если воспитатель довел воспитанника до сознательного, разумного сочувствия ко всем многосторонним проявлениям европейской культуры — он достиг своей цели, воспитав образо-

ванного человека. Но это не так легко, как кажется. Много добросовестного труда надо положить в основу того всестороннего образования, на вершине которого человек имеет право повторить классическое: *homo sum* *. Греческий красавец Геркулес навсегда расчистил Авгиевы стойла тупого, одностороннего сектаторства. Вот почему он нам так дорог, так ничем на свете не заменим. Классическая древность завещала нам драгоценные плоды своей культуры — и современная Европа благоговейно хранит эти нетленные мраморы, эти, еще более нетленные, песни и сказания. Древность, хотя и не преднамеренно, сделала все, чтобы завещать; Европа — все, чтобы сохранить. Но завещать можно только плоды образования, а такую отвлеченность, как культура, — нельзя. Каждому поколению и каждой личности предстоит труд достигнуть посредством умственной гимнастики данной высоты образования. Этого труда нельзя взваливать на соседа, а надо каждому лично зажечь свой светоч у первоначального источника. Невозможно начинать дело со середины. Непосредственное общение с источниками есть жизненный вопрос всякого образования. Уничтожить Коран — значит уничтожить ислам, разбить антики — значит убить европейское искусство, уничтожить классиков — значит уничтожить европейскую науку.

В глазах греков и римлян все остальные народы были варварами, дикарями, не столько по степени развития, сколько по природе. В самом деле, чем были все эти тевтоны, саксонцы, галлы и скифы, как не прирожденными сектаторами, дикарями? Разница между древним греком и варваром та же, что между Аполлоном и Пифоном. Первому стоило только родиться, чтобы быть источником света, — второму стоит явиться на свет, чтобы быть сектатором. Один — чадо золотого века, которому не нужно трудиться, чтобы быть человеком культуры, другой — сын железного века, и без труда для него нет культуры, — и если он желает быть сопричастным единственно всесторонней культуре, то нужно прежде, чтобы Аполлон убил в нем Пифона. Мысль эта с необыкновенною тонкостью иронии выражена в следующем четверостишии:

Es gab kein Buch in ganz Athen
O schreckliche Vermessenheit!
Man wurde von Spazieren gehn
Und von der Luft gescheidt.**

* я человек (лат.).

** Ни единой книги не стало в Афинах / О ужасное невежество! / Оказался человек лишен / Прогулок и воздуха (нем.).

Было время, когда Пифон, в образе стоглавой, внешней силы варваров, нагрянул на своего лучезарного врага и похоронил его под величавыми обломками его же собственного святилища. Но Феникс возродился, и духовному миру дана возможность снова согреваться в лучах всестороннего образования. Правда, обстоятельства переменились, и перемена не в пользу нового положения вещей. Для древних Пифон был вне, в теперешнее время он с нами, он в нас самих. Стоит нам только забыть непосредственное общение с богом света — и наш родимый варварский Пифон в ту же минуту с яростью подымает тысячи черных, узких, сектаторских голов своих. Июльская революция 1830 года показала Нибуру конечным торжеством мрачного Пифона — и ревностный жрец древней цивилизации не перенес этой ужасающей мысли. Он неточно взвесил силы Аполлона и Пифона, но если бы расчет его был верен, то человеку культуры действительно не оставалось другого исхода, как умереть от отчаяния. Прирожденные враги культуры, служители Пифона, с непогрешимостью инстинкта чувствуют такое положение дела.

Замечателен между прочим следующий факт. «Непосредственное знакомство с древними, — говорят защитники классицизма, — должно быть полагаемо в основу культуры — и затем что угодно, между прочим естественные науки, которые в свою очередь входят в интересы всестороннего образования». Из этого лагеря — ни одного голоса против естественных наук, — но зато тысячи голосов против классиков. Подымая свое иконоборство, Пифоны в то же время как бы наглядно выказывают, чем именно им так враждебна завещанная древними культура. Они не могут ей простить благоговения перед высшими проявлениями духа: наукой и искусством. Им бы хотелось во что бы ни стало низвести их до уровня будничных полезных ремесел, т.е., другими словами, стереть их с лица земли, — и они чувствуют, что это невозможно, пока греческие идеалы ежедневно нам будут показывать противное. Пифоны кричат о наглядной, непосредственной пользе. «Мне были б желуди, ведь я от них жирую», — повторяют они на все лады, не подозревая незримой, неразрывной связи между истинным и реально полезным.

Не будем говорить о лучших умах, посвятивших себя естествоведению. Сами они, воспитанные на классической почве, не могут относиться к ней враждебно. Мы говорим о тех мелких, завистливых, многочисленных поборниках мрака, для которых естествоведение не более как эмблема и щит для борьбы с Олимпом. Мы понимаем обыкновенно только то, чему сочувствуем, что любим. Одна любовь способна всесторонне озариться. Исключительное сектаторское озлобление по природе односторонне —

близоруко. Сектаторы, прикрываясь щитом естествоведения, низводят и защищаемое ими дело на степень простого ремесла. Они не способны видеть в природе ничего, кроме машины, агломерата и борьбы известных сил. Они уперлись в одну необходимость, целесообразность и полезность и далее не способны рассмотреть ничего. Сторона божественно-свободного творчества и его бесчисленных уроков для них не существует. Желудь, который сейчас же можно взять в рот, и больше ничего, но дуб с правом на самостоятельное бытие — дуб для дуба для них непостижим.

Между тем как для культуры, в форме науки и искусства, дорог только *дуб для дуба*, а не дуб, носитель желудей. Между этими двумя воззрениями целая бездна, и вражда сектаторов против преданий классицизма более чем понятна: она неизбежна. Сектаторы никогда не рассмотрят тех тонких и простых приемов, с помощью которых природа переходит от прирожденной, существенной необходимости к целесообразности. — Здесь я позволю себе повторить два прелестных примера, приведенных вами для уяснения этих приемов.

Заяц по природе своей пуглив и беззащитен. Очевидно, что ему приходится бодрствовать ночью, когда враги его спят. Поэтому он встает с вечерней зарей и ложится там, где его застанет утренняя. Понятно, что самоуверенность с вечера возрастает, а к утру постоянно уменьшается. С каждой секундой утренний свет становится ярче, пробуждая то трепетную птичку, то шуршащего в траве зверька. Малейший шорох — и подозрительный заяц уже сделал на караул и, поведив длинными ушами в чутком воздухе, пускается в обратный путь, полагая, что наткнулся на врага. По мере того как он осторожно пробирается тем же следом назад, возрастает в нем и страх перед невидимым врагом. Куда деваться? Одно средство — переменить направление. И вот напуганный заяц делает большой скачок в сторону и, успокоившись, тихонько продолжает путь свой. Но день все светлеет, опасность все увеличивается; опять что-то шелохнулось — и опять тот же невидимый враг заставляет пугливца бежать тем же следом назад — и еще раз изменить направление, делая большой прыжок в сторону... Пока невидимый враг гонял несчастного зайца назад по пройденным следам, — день, главнейший враг его, восторжествовал окончательно, на горизонте показались грозные очерки хищных птиц, и пугливому беглецу по пройденному следу ничего более не остается, как прыгнуть в сторону и притаиться. Так он и делает — и в таком положении лежит целый день до вечерней зари. Если ночью выпал снег, то вся эта проделка отпечаталась по пороше. Проходит охотник и

начинает разбирать следы. Очевидно, что ему придется несколько раз возвращаться тем же следом назад, вглядываясь, в какую сторону прыгнул заяц, и всего вероятнее, что пока Сидор Карпович будет сбиваться да рассматривать, производя ногами шум, — лежащий в стороне от двойных следов заяц вскочит и уйдет. «Вишь, косою хитрец! — думает Сидор Карпович, — таки надул! Ведь уже нечего сказать, глупый зверь: коли бежит на тебя — так только не шевелись, замри, — лбом тебя с ног собьет, — а на эти дела дока». А бедный заяц и не помышлял оскорблять Сидора Карповича своими страгегемами. Он выводит хитрые свои узоры точно так же, как выводит их заяц у северного полюса, куда Сидор Карпович никогда не заходит, как выводил их его прапращур — и будет выводить испуганный наступающим днем праправнук. Пугаясь, по существу своей трусливой природы, он нисколько не имел в виду практической пользы этого испуга.

Он только искренно пугался, а польза явилась сама, как естественное следствие правдивости истины. Ваши борзые вдвое резвей лисицы. Если вы определите расстояние между собаками и лисицей, то каждый гимназист третьего класса с математической верностью узнает точку, на которой зверь будет пойман. Предсказание сбывается: еще мгновение — и лисица будет у борзых в зубах. Ей одно спасение — поступить подобно зайцу, уходящему от невидимого врага, то есть круто свернуть в сторону. И вот она напрягает все силы, чтобы сделать скачок вбок. Кроме четырех ног, природа дала ей превосходный рычаг для поворотов — длинный пушистый хвост, который, быстро рассекая воздух в противоположную сторону, увеличивает скорость поворота. В критическую минуту увертки пышный хвост оставляет на мгновение в воздухе желтую полосу — и борзые, принимая ее за уходящего зверя, с удвоенным рвением кидаются в сторону призрака, между тем как лисица находится в противоположном направлении и имеет время значительно отдалиться от рассказавшихся в пустое место собак. Глядь! лисица ушла в ближайшие кусты от вдвое против нее резвейших борзых. «Вишь! хитрячка! обманула-таки!» — кричит в отчаянии Сидор Карпыч и станет присягать, что не спускал глаз со всей проделки и сам видел все надувательство. Кому же в этом случае верить, как не добросовестному очевидцу охотнику, — и Лафонтен и Бюффон принимают хитрость лисицы за несомненный факт. Она вечно надувает собак — стало быть, она хитра. Соберите целый ареопаг сектаторов — и они единогласно засвидетельствуют непогрешимость этого стало быть, подымая свист против всякого, осмелившегося сказать, что их одностороннее стало быть —

никуда не годится. Она постоянно обманывает и не может не обманывать — это факт, но обманывает не потому, что хитра, а потому, что у нее пышный хвост.

Подобная связь между *истинным* и *полезным* проходит по всей видимой и нравственной природе, и надо быть слепым сектатором, чтобы не видеть ее во что бы то ни стало.

Вы разводите плодовый сад. Кажется, дело и цель его ясны. Вам хочется собирать плоды. Плодовые деревья по природе некрасивы. Стало быть, чем скорее к цели, то есть к плодам, тем лучше. И опять ваше *стало быть* никуда не годится. Единственное спасение и здесь — искусство для искусства, дерево для дерева, а не для плодов. Выводите здоровое и непременно красивое дерево (красота — признак силы) и не только забудьте о плодах, но сопротивляйтесь их появлению, упорно обрывая цветы. Дождетесь превосходных плодов. Вы можете действовать в совершенно противоположном смысле, усиливая и подстрекая плодоносность, но убьете деревья и навсегда останетесь без плодов.

Материальные плоды нравственного общения Европы с древним миром — на глазах у всех. Географические условия не изменились со времен одностороннего сектаторского развития этой части света; светильник истинной веры горел сравнительно жарче; в героическом элементе и всеобщем увлечении недостатка не было. Европа пришла в столкновение с Востоком из-за священной идеи. Вспомним самоотвержение крестоносцев. Каков же был материальный результат усилий? Никакого. Чем кончилась борьба? Победой Европы? Ничего не бывало. Вспомним столкновение Руси с татарами. — Настали иные времена. Европа развилась на других началах. Дух сектаторства уступил место всестороннему образованию, непосредственно заимствованному у древнеклассического мира. Мыслимо ли теперь, при всестороннем развитии сил Европы, какое бы то ни было сопротивление любой восточной народности соединенным силам Европы? Ежедневный опыт показывает, что горсти европейцев достаточно для покорения целых сектаторских народов.

Нет. Мы охотно поверим, что люди, никогда не думавшие об этом предмете и для которых слова *классическое* или *реальное* образование — безразличные слова, не понимают значения первого в деле воспитания и жизни народа. Но мы никогда не поверим, чтобы люди, хотя бы и сектаторы, останавливаясь на этом вопросе, чистосердечно не понимали его. Напротив, мы имеем данные, способные утверждать в нас противоположное убеждение. В ожесточенных нападках на классическое образование мы видим предвзятую мысль, верно рассчитанную меру. С таким озлоблением не нападают на вещь просто бесполезную.

Так восстают только против вредного и враждебного. Сделаем самое нелепое предположение. Допустим, что мы убедились в бесполезности реальных наук. Станем ли мы говорить об их бесполезности с таким ожесточением? Новые сектаторы-пифоны говорят о классическом образовании не иначе как с пеной у рта, и со своей точки зрения они правы. Весь духовный строй древних героический, весь смысл его — свободное, но тем не менее до крайних пределов, до обоготворения доведенное поклонение героям-авторитетам. Только эта атмосфера воспитывает ту нравственную аристократию, единственно которую вправе гордиться человек, ибо делается сопричастным ей в силу доблестнейших проявлений духа, в силу любви, а не озлобления, в силу сосредоточенности, а не разбросанности и надломленности, в силу благодатного труда, а не завистливой праздности. Сколько причин неумолимой ненависти! Действительно, можно в отчаяние прийти при мысли, что человек, получивший всестороннее образование, в большинстве случаев неуязвим со стороны известных лжеучений. Софистической диалектикой его не собьешь, потому что, исходив пути мышления, он знает все камни преткновения и видит хромоту софизма. А главная беда в том, что в сознании его довольно ясно намечены главные направления героического, и трудно выдать ему Патрокла за Фирсита или наоборот. Как же не враждовать против всестороннего образования, при свете которого Фирситу прослыть Ахиллесом и хотя на время занять его место — нет ни малейшей надежды?

«Все это прекрасно, — скажут многие, — но если непосредственное знакомство с древними так благотворно в деле всестороннего образования, — как объяснить те уродливые, на глазах у всех проходящие явления, которые могут быть названы общим именем *семинаризма*, когда в семинарское образование в значительной степени входило изучение латинского и греческого языков?»

Уродливые явления семинаризма не только не свидетельствуют против нас, а напротив, служат наилучшим подтверждением всего нами сказанного. Во-первых, изучение классиков представляет не только предмет изучения, но и условие всестороннего образования, а известно, что органическая жизнь может развиваться при различных и даже противоположных условиях, лишь бы противоположности не действовали одновременно. Трудно простудиться, не разогревшись. Молодые деревья преимущественно уродуются и гибнут не во время зимних морозов или летних жаров, а весной, когда теплая солнечная сторона южной стороны кора леденеет и мерзнет от так называемых утренников. Получая последовательное сектаторское воспитание, можно быть хорошим, честным сектатором на том же основа-

нии, на котором всесторонне развитой человек будет вполне образованным. Но что, спрашиваем мы в свою очередь, может произойти там, где основными условиями воспитания являются неумолимое сектаторство с одной и задатки всестороннего образования с другой стороны? Заметим мимоходом: пример целой Европы доказывает, что всесторонность человеческого образования (*humaniora*) нимало не исключает чистоты христианской идеи и даже мученичества за эту идею. Возвратимся к условиям воспитания в наших семинариях. Результат сопоставления таких противоречивых условий может быть двоякий. Если природа воспитанника такова, что общеобразовательные приемы не возбудят в ней самодеятельности, вопреки грозной феруле сектаторства, то нравственной борьбе, очевидно, возникнуть не из чего. Обычный поток сектаторства охватывает воспитанника, обрезает крылья слабым зачаткам всестороннего образования и вносит его в будничную колею жизни вполне целомудренным по отношению к греховному миру современного образования. Можно наперед сказать, каково будет значение и роль воспитанника на месте нового призвания. Роль эта будет чисто сектаторская. Так это бывает в большинстве случаев. Даже вполне религиозный человек, только что свободно менявшийся мыслями с аббатом или пастором, искусственно принажмет свой тон и нравственный уровень, заводя разговор с батюшкой, словно заговаривая с младенцем. Это одна сторона медали. Но вот и другая. Чем шире, даровитее природа воспитанника, тем вернее действуют на нее условия всестороннего образования, хотя бы вдвинутые во враждебную тесноту сектаторства. Вместо стройного всестороннего развития возникает страшная внутренняя борьба, кончающаяся обыкновенно нравственным ренегатством.

На этой-то стороне медали с особенною ясностью видно значение общеобразовательного воспитания (*humaniora*). Как ни скудно, односторонне преподавались классики, логика, риторика, философия, — умственная работа над ними приносила свои плоды. Она укрепляла ум гимнастикой и приучала к серьезному труду. Воспитанники-отщепенцы являлись в этом отношении силачами сравнительно со сверстниками других кругов воспитания. Будучи большею частью по природе людьми посредственного ума, они тем не менее временно завоевывали значительный успех, прослыв за людей сильных. Чем объяснить все эти явления, как не условиями умственной гимнастики? Семинаризм с исключительным своим оттенком выступил на литературное и жизненное поприще именно в то время, когда все другие воспитательные среды окончательно ослабели по отношению ко всестороннему образованию. С одной стороны являлись люди, по-

лучившие известный навык в области отвлеченной мысли, известную *умелость* последовательно выражаться, а с другой — полное отсутствие всех этих данных в современной им молодежи. С одной стороны люди, стоявшие хотя на больных и кривых ногах, да на своих, — а с другой совершенно безногие *cul de jatte**. При таких условиях равно понятны и хореографический успех первых в такой беспомощной среде и решительный их неуспех в среде людей, остававшихся сопричастными всестороннему образованию. По отношению к семинаризму умственная гимнастика несколько не виновата, что была обставлена другими враждебными ей условиями. У нас из той же самой среды вышла целая литература, обличающая уродливость этих условий. Итак, грустный пример семинаризма нимало не опровергает нами сказанного. Напротив, он нагляднее всякого другого указывает на благотворное влияние общечеловеческого образования и на гибельные плоды узкого сектаторства.

Возвращаясь к архитектонике восходящих кругов воспитания, заметим мимоходом, что она не выдумана нами, а несомненно существует в действительности, проходя по всем ступеням иерархической лестницы человеческих обществ. В самом нижнем кругу, смежном с воспитанием животных, книжное образование — ничто (оно не входит в этот круг), в самом высшем — оно *почти все*. Говоря о научном образовании, а не о высшей области науки, мы должны с нашей точки зрения принять за высший круг образования тот, который будет примерно соответствовать высшему гимназическому курсу.

Для полноты соображений не упустим случая привести еще аргумент, так часто употребляемый на защиту классического образования. Сущность аргумента заключается в следующем. Так как главная цель образования состоит в развитии нравственных сил воспитанника посредством умственной гимнастики, то науки, представляющие нам большие условия такой гимнастики, будут тем самым целесообразнейшими. Не упуская из вида главной цели образования, что вы противопоставите изучению древних языков? Так называемые естественные науки? Но что такое физика, химия, ботаника и даже математика в размерах гимназического курса? В какой мере и с какой стороны могут они возбудить самобытную деятельность ума? Новейшие языки? Но лучший способ научиться им — практический, т. е. тот, которым учат попугаев повторять ту же фразу на нескольких языках. Зато способ этот оказывается совершенно бессильным в применении к другим языкам. Не тот овладел латинским или

* Зд.: калеки (фр.).

греческим языком, кто запомнит наибольшее количество вокабул и фраз, а кто путем умственного труда и самостоятельного мышления вдумался в совершенно чуждый строй и порядок представлений. Употребление малейшей частицы связано со строго логическим отчетом перед самим собою. Вот где скрывается трудность изучения древних языков и незаменимая заслуга их в деле умственного образования.

Сообразив все сказанное, мы придем к следующему неизбежному заключению. Высшее образование, требующее значительной затраты времени и воспитательных средств, не может быть достоянием большинства, а выпадет на долю значительного меньшинства. Всестороннее образование, вследствие непреодолимых препятствий, не может стать уделом большинства, на долю которого при наилучших условиях все-таки выпадает образование сектаторское. Чтобы убедиться в справедливости наших слов, стоит оглянуться на низшие воспитательные круги в современной нам Европе. Делу народного образования в обширном смысле слова недостаточно усвоить себе приведенный нами факт. Для правильного отношения к различным кругам народного воспитания не должно забывать, что младенцев невозможно без очевидного вреда для них самих насыщать пищей и питьем, предназначенными для окрепнувшего желудка взрослого человека. Всякий воспитательный круг представляет как бы фундамент для известного рода соответственных зданий. Бросить из высшего воспитательного круга какую-нибудь многозначительную, тяжеловесную мысль в низший — то же, что поставить Александровскую колонну на сваи, предназначенные под избушку лесного сторожа. И сваям конец — и колонне конец! Живой пример такого порядка вещей у нас перед глазами. Несколькими годами назад социалистические теории, отвергнутые образованной Европой, попали у нас в высший, но тем не менее вполне неразвитый воспитательный круг. Справиться с этой пищей как следует сильному организму, т. е. переварить ее и из безразличной массы данных воспользоваться освежительными началами, круг этот не был в состоянии. Новая пища принята была без всякой критики, на веру, сырым — и, не переваренная, произвела злокачественную болезнь, получившую прозвание *нигилизма* (ничтожества).

Могут спросить: к какому практическому выводу приводят наши соображения? Что должно делать благонамеренное воспитание по поднятому нами вопросу о классических языках? Другими словами: должно ли воспитание непременно начинать свое дело с классического образования? Отвечать огульно на этот вопрос невозможно. Так как воспитание есть целесообразная дея-

тельность, то необходимо в свою очередь спросить: какая ваша цель? Чем хотите вы видеть в будущем вашего воспитанника? Разумеется, пока вы будете довольствоваться идеалом работника-специалиста, классическое воспитание ни на что не нужно. Узкое сектаторство, в котором ваш воспитанник пребудет во всю жизнь, нисколько не мешает ему быть <ни> честным человеком, ни отличным рабочим, а обсуждать предметы, требующие всесторонних соображений, ему не придется. Но коль скоро ответ ваш будет таков: я прежде всего желаю воспитать всесторонне образованного человека и затем уже предоставить ему выбор специальностей, — дело изменается совершенно. Понятно, что вы желаете воспитать не попугая европейской культуры, принимающего на веру все ее симпатии и антипатии, а человека, самобытно ей сопричастного. Если такова действительно ваша цель, то на каком же основании вы отнимаете у воспитанника единственное средство самобытной сопричастности этой культуре — знание древних языков?

Такова идеальная сторона дела; взглянем в свою очередь на практическую. «Хорошо так рассуждать богатым людям, — скажут мнимые реалисты, — но какая возможность добывать всестороннего образования мальчику, поставленному в необходимость с 8 лет снискивать пропитание, как это постоянно бывает в быту крестьян-хлебопашцев?» — Никакой! Но мы только что в общих чертах отвечали в том же смысле! — «Позвольте, — перебивает реалист, — пойдем далее. Предположим, что родители в состоянии кое-как продержат мальчика до 17 лет в школе, но желали бы затем видеть его специалистом, способным добывать хлеб. Для бедняка время — самая дорогая вещь, и реальная гимназия в этом случай находка. Мальчик, кончая в ней курс, приобретает и общее образование, и положительно полезные сведения». Такое умозаключение нам кажется двойным самообольщением! Тут все построено на неясных представлениях. — Какой вы хотите специальности: сахаровара, садовника, винокура, бумагопрядильщика? Не знаем, возможны ли 18-летние специалисты по этим частям, но знаем на верное, что этим специальностям обучаются у котлов, станков и парников, а не в гимназиях. Если вам время действительно дорого, не теряйте его, приставьте воспитанника к избранной специальности и не мечтайте о гимназии. В реальной гимназии он вдвойне потеряет время. Отрывочные лоскутки всевозможных естественных наук, без навыка к самостоятельному умственному труду, не образуют из воспитанника всесторонне-развитого человека, и гражданское общество обязано принять все зависящие от него меры, чтобы какое-нибудь общественное дело, требующее всесторонних соображе-

ний, не попало в руки такого неразвитого и несостоятельного человека. Между тем и сахаровар, нуждающийся в помощнике, возьмет его от котла, а не из реальной гимназии. Итак, воспитанник, под предлогом сбережения времени, потерял его вдвойне и навсегда.

Заговорив о воспитании, мы начали с того, что оно у нас прежде всего должно быть русским. Высшее образование не может быть достоянием отдельной народности, оно одно — общеевропейское, но воспитание, не желая быть уродливым, должно быть национально русским, как самая жизнь. Спрашивается, в какой мере разумно рабское скалывание совершенно чуждых нам условий, ну хотя бы немецкого? В Германии средние и высшие слои общества до того переполнены всесторонним образованием, что люди стареются кандидатами на места, требующие громадной эрудиции. С одними данными всестороннего образования в Германии легче всего умереть с голоду. С другой стороны, Германия в настоящее время страшно развилась в промышленном отношении. Густое население вынудило это направление, и в настоящее время там, можно сказать, фабрика на фабрике, завод на заводе, контора на конторе. При таком порядке вещей понятно стремление к специальному воспитанию. Таково ли наше положение? Где у нас эта подавляющая лихорадочная мануфактурная промышленность? Не по необъятным ли степям, где уединенная деревня едва курится из-под навалившегося снега? Какого туда требуется специалиста? укажите! Медика, что ли? Пусть-ка он пожелует туда без казенного содержания, постоять на собственных ногах: сомнительно, будет ли ему чем пообедать. Живописца, архитектора, техника, ученого земледельца, ветеринара ожидает та же участь. Мы бедны до нищеты, а вы предлагаете нам дорогие ананасы и сердитесь, что мы их не покупаем. Посылайте архитекторов к кочевым калмыкам и удивляйтесь, что ваши специалисты умерли с голоду. Но быть может, в той же мере, в какой нам не нужны специалисты, у нас нет запроса и на людей всесторонне образованных и ученых? Посмотрим, так ли это. Наши университетские и гимназические кафедры по несколько лет стоят пустыми. Мы двинулись во всех направлениях по путям сознательной жизни. Спрашивается, кто направляет жизнь — специалисты-ремесленники или люди, способные на всестороннее обсуждение предметов? В настоящее время наш землевладелец, желающий разумно двинуть свое дело, не может довольствоваться заведенным исконным ходом дела. Ему нельзя известным образом пахать только потому, что сосед его так пашет. Ему необходимо обсудить все окружающие его условия народной жизни и безошибочно сообразить,

почему такое-то улучшение, возможное в другой стране, возможно или невозможно у него. Заводя новое производство, он должен с возможной ясностью сообразить не только настоящие, но и будущие торговые пути. Правильное обсуждение всех этих вопросов требует не специального, а всестороннего развития. При возникающей у нас гражданской самодеятельности какая громадная возникает потребность в людях всесторонне-европейского образования!

На каждом данном месте необъятной России нужны и мировые посредники, и судьи, и следователи, и адвокаты, и самые присяжные. Представьте себе бедственное положение страны, если бы все эти призвания (от чего да сохранит нас небо!) попали в руки неразвитого, одностороннего сектаторства — этого нравственного *ивана-чая*, настолько же безвкусного, как и вредного! Не были ли бы этим обстоятельством парализованы лучшие предначертания правительства и задушевнейшие упования всего народа?

Кажется, мы указали на главные характеристические отличия *классического* воспитания от так называемого *реального*. Выбирайте!

**ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
ПО СМ<ЕРТИ> АННЫ КАР<ЕНИНОЙ>
В «РУССК<ОМ> В<ЕСТНИКЕ>»**

Аз воздам.

Denn weil, was ein P<rofessor spricht>
<Nicht gleicht zu Allen dringet,
So übt Natur die Mitterpflicht,
Und sorgt, dass nie die Kette bringt>
Und dass der Reif nicht springet*.

Точно так<им> же обр<азом> чел<овеческий> ум <...> форме.

«Роман остался без конца... Идея целого не выработ<алась>; лучше было заранее сойти на берег, чем выплывать на отмель».

Все это смотри «P<усский> В<естник>» за июль месяц 1877 г.

Эти, по-видимому, невинные сопоставления в одной и той же книжке вынуждают сказать несколько слов, исполненных самого горького и обидного разочарования. Смысл цитаты из Шиллера и дальше объяснения госп<одина> Стадлина не только ясен, но и неоспорим. Природа вообще, а человеческая в частности, действует по известным законам, большей частью непостижимым умом, а что всего страннее, что действия, которые, очевидно, должны бы опираться на умств<енные> соображения, оказываются на деле тем совершеннее, чем далее отстоят от рефлектирующего ума. История человека — непрерывная цепь самых жалких заблуждений, история зверей — чистейшее зеркало безупречной логики инстинкта. M-r Jourdain говорит прозой, не подозревая этого. Г<осподи>н Востоков мож<ет> делать ошибки в русск<ом> языке: их делают первоклассные пуристы, крестьянин — никогда. Следует ли из этого, чтобы профес-

* Но, так как учење нам / <Не всем узнать удастся, / Закон природы смотрит сам / За всем, и мировым связям> / Не даст он разорваться... (нем. — Пер. О. Миллера).

сор не искал истины и не возвещал ее с кафедры? Следует ли из этого, чтобы всякого мыслящего человека, который, в силу той же самой природы не может не задаваться вечно мучительным вопросом о цели бытия, мы имеем право признавать человеком бессмысленным?

Уж если употреблять слово *бессмысленный*, то кому оно более пристало — к Диогену или к оципанному им пегуху? Если мы не имеем права не видеть бьющего в глаза непогрешимого мира инстинктов, то какое же право имеем мы притворяться не видящими целой области разума со всеми неизбежными его запросами? Человек с больными глазами превосходно освоился оцупью со своей темной комнатой. Что же ему делать, если у него, как у светящегося жука, на носу загорелся фонарь, который он может потушить только вместе с жизнью? Положим, что этот свет нестерпимо режет ему глаза, сбивает его с толку, заставляя беспрестанно спотыкаться, но выбора нет; приходится прибегнуть или к самоубийству, или к новому знакомству с окружающим при условиях небывалого освещения. Тысячи миллионов инстинктивно непогрешимых слепцов говорят совершенно основательно: «Мы сотни тысяч лет прожили без философии, то есть без науки и искусств, и никогда не ошибались в том, что надо делать, пока не слушались какого-либо мудреца и за всякое послушание платили и платим неисчислимыми бедствиями, ибо знаем, что на всякого мудреца бывает простота. Поэтому из всех разглагольствований мудрецов мы вполне согласны только с советом Платона: венчать растлевающих поэтов и мудрецов и выгнать вон из государства. В таком инстинктивном чувстве самосохранения есть логика, но если человек сознательно стоит в лагере высших человеческих отправлений, в лагере философии, науки и искусств, и вдруг, к всеобщему изумлению, обзовет все это глупостью — то, спрашивается, во имя чего же он это говорит? Может ли литература, исключительно стоящая на почве высочайших нравственных отправлений, отрицать эти отправления?

Если же она дошла до такого отрицания, то она не может употреблять орудие той же области, чтобы разрушать эту область как бессмысленную.

Бессмыслицей нельзя уничтожать бессмыслицу.

Из такого трагического положения только один выход — самоубийство. Надо, не произнося ни слова, последовать совету Скалозуба — «Чтоб зло пресечь, собрать все книги да и сжечь». Здесь не место указывать на то, что искусство действует образами, а не сентенциями. *Il ne faut pas être plus royaliste, que le roi* *.

* Не следует быть большим роялистом, чем король (фр.).

Смешно человеку, знакомому с длинным рядом творений Толстого, отстаивать бестенденциозность этого конкретного писателя. Чем выше произведение искусства, тем менее в нем проволочного каркаса вместо живых костей. Это, однако, не мешает критике изучать логическое построение живорожденного костяка и видеть в нем и то, и другое, и третье до бесконечности. Какой раз навсегда неизменный практический смысл в «Илиаде», «Гамлете», «Дон-Кихоте», «Моцарте и Сальери»? Но если мы живыми глазами станем всматриваться в эти живорожденные произведения, то откроем в них тот смысл, который открывает великий портретист в каждом самом будничном человеке, не продернутом никаким фитилем поучительной тенденции. Необходимо прибавить, что посадите сто Гольбейнов, Рембрандтов, Мурильо и Ван-Дейков за портреты этого же человека, и, при поразительном сходстве, выйдет сто несомненных характеристик. «И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал». Если истинные художники сами не знают, как уверяет Пушкин, какую штуку выкинет тот или другой их герой, то в ту минуту, когда форма остыла и отливший металл выглянул окончательно на свет Божий, — ничто не мешает критике обсуждать соразмерность отдельных частей произведения, отыскивая тот или другой смысл в целом. Если творчество свободно, то кто же имеет право стеснять его воспроизведением только бессознательной, нерелективной деятельности, налагать беспощадное veto на воспроизведение мыслителя? В последнем случае Фауст, Вагнер и ученый Мефистофель должны бы были получить литературное право гражданства, лишь будучи заменены чиновниками особых поручений и журналистами. Не смея подсовывать того или другого побуждения или плана автору «Карениной», посмотрим только, возможно ли с нашей точки зрения отыскать в ней строгий художественный план или же придется отказаться от подобной попытки. На наши глаза, ни одно из произведений графа Толстого не выставляет так близко к видимой поверхности всего своего внутреннего построения.

Если граф Толстой в «Анне Карениной» остался верным тем художественным приемам, какими он под разными широтами и в разные эпохи изображал метель метелью, а людей людьми, а не тенденциозными куклами, то весьма возможно, что при общем движении современной мысли и он был увлечен задачей: что делать? куда идти? Не Андрону, который это отлично сам знает, а человеку, стоящему на высоте современного образования. На подобный вопрос можно отвечать двояким образом: более легким — отрицательным и самым трудным — положитель-

ным. Человек менее добросовестный удовлетворился бы первым способом ответа, но не такова художественная совесть Толстого, не таковы его требования от самого себя. Это не такой повар, который, не прожарив жаркого с одного боку, говорит: «Ничего, и так съедят». Если мы говорим о легкости ответа отрицательного, то эта легкость проявляется в форме тех сентенций, на которые так щедра наша литература. Отрицательный ответ этот перестает быть легким на художественной арене. Толстому предстояло разрешить вопрос о состоятельности известных теорий женской эмансипации. Во главе романа поставлено — «Аз воздам». Человеку, приходящему, положим, с отрицанием женской эмансипации, литературное разрешение поставленной задачи и удобно и просто — стоит только рассказать, как такая-то героиня сбросила с себя все исторические и нравственные семейные узы и затем показать под конец, как за это ее *боженька камнем уьет*. Заметим мимоходом, что нам не раз прих<одилось> слышать упреки Толстому за то, что его Каренина вращается среди роскоши большого света. Упреки эти как бы относились не к трагическому положению, созданному эмансипацией Карениной, а вообще к нравственной несостоятельности окружавшей ее среды.

Наперед отказываясь в нашей интеллектуальной пустыне защищать какую-либо среду, заметим только, что мы не вправе подкладывать под фигуры живописца свой фон, хотя бы он, как у Перуджино (древних иконописцев), был золотой. При задаче Толстого Каренина должна была быть поставленной именно так, а не иначе. Будь Анна неразвитой бедной швеей или прачкой, то никакое художественное развитие ее драмы не спасло бы задачу от обычных окольных возражений: нравственная неразвитость не представляла опоры в борьбе, бедность заела и т. д. Изобразив Каренину такую, какая она есть, автор поставил ее вне всех этих замечаний. Анна красива, умна, образованна, влиятельна и богата. Уж если кому удобно безнаказанно перебросить чепец через мельницу, так, без сомнения, ей. Но, выставляя все благоприятные условия, граф Толстой не обошел ни непреднамеренно, ни по близорукости ни одного, в этом случае, враждебного замужней женщине условия. Прочтите сотни эмансипационных романов: женщины, как на подбор, переходят все формы страсти без малейшего младенца, тогда как в любой семье детей считаешь десятками. У Карениной один сын, этого достаточно, чтобы прivity ее эмансипацию к абсурду. Анна настолько умна, честна и цельна, чтобы понять всю фальшь, собранную над ее головой ее поступком, и бесповоротно всеми фибрами души осудить всю свою невозмож-

ную жизнь. Читатель, еще далеко до рокового колеса локомотива, чувствует, что Анна произнесла в душе свой смертный приговор. Ни вернуться к прежней жизни, ни продолжать так жить — нельзя. Граф Толстой указывает на «Аз воздам» не как на розгу брызгливого наставника, а как на карательную силу вещей, вследствие которой человек, непосредственно производящий взрыв дома, прежде всего пострадает сам.

Мы совершенно согласны с авт<ором> ст<атьи> «Р<усско-го> В<естника>» Катковым, что со смертью Карениной кончилась ее жизнь, но чтобы с нею кончился и роман, — с этим мы согласиться не можем.

Ответив на вопрос о женской эмансипации отрицательно, т. е. чего не должно делать, граф Толстой целым романом отвечает в том же смысле и на другие вопросы. Исчислять все то, что делают люди в романе, значило бы приводить целиком роман.

Тут люди служат, выслуживаются, прислуживают, интригуют, выпрашивают, пишут проекты, спорят в заседаниях, чванятся, пускают пыль в глаза, благотворят, проповедуют, словом, делают то, что делали всегда или что делают под влиянием новейшей моды. И над всеми этими действиями, как едва заметный утренний туман, сквозит легкая ирония автора, для большинства вовсе незаметная. Один из всех действующих лиц пользуется серьезным сочувствием автора — это Левин. Что же такое Левин, очевидно представляющий художественное воспроизведение положительного ответа? Левин, как представитель человека интеллигентного, должен быть существом цельным, неразорванным и ненадломленным, какими до сих пор являлись наши литературные герои, начиная с москвича в гарольдовом плаще и проходя через Печорина, Рудина и Обломова. По самому свойству задачи он не может быть отрицателем и революционером, как Базаров. Он должен быть человеком, по возможности, свободным от всех условных — служебных, профессиональных, цеховых и т. д. уз.

Почву, на которой бы при известной нравственной высоте соединялись, сосредоточились все эти условия, до сих пор может представлять только среда, в которую поставлен (автором) Левин. Владая не блестящим, но независимым состоянием, он ищет, вследствие разрушения прежних экономических отношений, новых здравых основ тому делу, служить которому призван длинным рядом предков. Служит он ему не столько вследствие прибыльности самого дела, сколько по преемственной любви к нему. Лишившись известных выгод, он, по родовой привычке, не в силах нравственно сбросить связанных с ним обязанностей. Как человек вполне свободный не по одному материальному по-

ложению, но и свободно мыслящий, в лучшем значении слова, он не ограничивается критической проверкой своих отношений ко всему окружающему; он проверяет и собственные душевные симпатии и побуждения. Мыслитель не по прозванию или профессии, а по природе, он мучительно задается вопросом, стоящим в бесконечной дали перед всяким умственным трудом, вопросом о конечной цели бытия вообще и своего в частности. Чем же он виноват, что этот первейший в жизни вопрос ему не кажется не стоящим внимания? Чем он виноват, что ни в нравственном, ни в религиозном отношении не может ограничиваться рутиною инстинкта и предания, а мучительно вынужден приискивать им разумное оправдание? Но ведь осуждать его за подобные поиски, значит осуждать всю науку, у которой нет и не может быть иной конечной цели, как отвечать на означенный вопрос. Относясь с пренебрежением к Левину, вы вынуждены глумиться над наукой вообще; если ваши греки и римляне со всем их нравственным капиталом предназначаются не для того, чтобы, утвердя разум на исключительно счастливых стезях, пройденных этими народами, приготовить его к здоровому и беспристрастному обсуждению данных новейшей естественной науки для окончательной критики всего пройденного пути и, следовательно, разрешения главнейшей нравственной задачи, то ваши лица вполне заслуживают упрека в самой непростительной и даже бессмысленной трате времени.

Отрицая мучительную задачу Левина, вы сводите все усилия классического воспитания на:

Panis, picis, crinis, finis,
Ignis, lapis, pulvis, civis и т. д.

Шопенгауэр беззастенчиво обзывает чернью, *der pöbel*, всех не знакомых с древними. Как же назвать человека, который не только сам, за недосугом или по иным каким причинам, не задавался высшими задачами ума, но не может воздержаться от глумления при виде человека, ими заинтересованного?

Возвратимся к Левину. Держась постоянно на той умственной и нравственной высоте, на которой он возрос, он при каждом невольном падении силится возвратиться к стезе, на которой нравственное его чувство получило оправдание (санкцию) критики. Он старается быть хорошим человеком, но вовсе не в силу того, что другие хорошие бывают такими. Чувствуя свою свободную индивидуальность, он постоянно желает добра, лично ему симпатичного и лично им оправданного. При этом он до того боится рутины, что услышав о новом, неведомом ему доселе виде добра — он готов прямо отрицать его, только за то, что оно

чужое, и только впоследствии, взвесив его и непосредств<енным> чувством и разумом, он определяет его удельный вес.

Будучи, очевидно, носителем положительного идеала, Левин представляет вполне народный тип в лучшем и высшем значении слова. Верный преемственным узам, связующим его с простонародьем, он в то же время не перестает искать ответов на свой жизненный вопрос о высших представителях разума всех веков и народов. Вопрошая родной народ, с которым знакомится не в кабинете или за «collation» *, а на сенокосе, за тюрей или на постоялом дворе, он в то же время не перестает изучать философов не сквозь цветные очки профессорских лекций, а собственным трудом, по источникам. При своей, так сказать, практической работе над вопросом, он, очевидно, не может избежать вопроса религиозного, воочью охватывающего вокруг него всю народную почву. И этот вопрос, подобно всем другим, воспримется только теми двумя отправлениями, на которые указывает г. Стадлин, т. е. непосредственным и рефлексивным. Человека, доросшего, подобно Левину, до нравственной потребности критиковать всякое явление, можно заставить молчать, лишить жизни (этот простой способ исторически завещан всякого рода инквизиторами против всякого рода свободомыслия), но невозможно человека, привыкшего мыслить, заставить жить бессознательно, как невозможно заставить считать по пальцам человека, усвоившего таблицу умножения.

С высказанными нами мыслями, конечно, согласится г. Стадлин после прекрасной статьи своей в июльской книжке «Р<усского> В<естника>», а следовательно, и редакция журнала. Между тем, рядом, в статье «Что случилось по смерти Карениной», доказывается, что хороши все семь частей «Карениной», напечатанные в этом журнале, а что восьмая, не напечатанная в нем, не только бесполезна для целого, но даже вредна в художественном смысле. Доказывается же это на следующих соображениях: 1) Драма Карениной нравственно и фактически кончена под колесом лок<омотива> — это бесспорно. 2) На неизвестности для читателя, в чем состоит внезапное озарение, случившееся с Левиным. 3) На необеспечении читателя в том, что вера Левина будет серьезнее его прежнего безверия (какое милое отношение к серьезности автора перевозносимого романа!) — наконец, в 4) На случайности просветления добрейшего, просто дуращего (зри стр. 461) Кости, просветления, «не обусловленного ходом целого» и в 5) — «не имеющего ни внутренней, ни внешней связи с судьбою главной героини». По всем этим

* закуска, легкий ужин (англ.).

обвинительным пунктам, по конечному заключению статьи, «лучше было зар<анее> сойти на берег, чем выплывать на отмель».

Мы привели эти обвинительные пункты в порядке их изложения в самой статье. Отвечать же на них будем в порядке течения собственных мыслей. Выше мы указали на художественный скелет романа и теперь в том же смысле позволим себе небольшой пример: Гоголь, как известно, в плане к «Мертвым душам», не ограничиваясь отрицательной стороной, обещал воплотить и положительную. На последнее, как известно, у него не хватило силы, что (очевидно) и привело его самого к трагическому концу. Тем не менее, мы не слыхали ни одного критического голоса, который бы осудил «Мертвые души» на том основании, что Чичиков или Собакевич и Ноздрев не имеют ничего общего с Костанжогло и Улинькой, очевидно положительными типами среди отрицательных. — Внутренняя, художественная связь Левина с Карениной бросается в глаза в ходе всего романа — художественная параллель их как в городе, так и в деревне выведена с изумительным мастерством. Что касается до внешней связи, то это обвинение может относиться только к заглавию романа, которое, во избежание упрека, мы предлагаем автору изменить следующим образом: «Каренина, или похождения заблудшей овечки, и упрямый помещик Левин, или нравственное торжество искателя истины».

Убедясь в неразрывной художественной связи Карениной с Левиным, спросим каждого беспристрастного человека, на каком основании автор, развязав драму одной половины романа, обязан воздержаться развязать узел другой? Автор мог бы, например, самым нелепым образом развязать личную драму Карениной, но это не смогло бы избавить его от художественной обязанности закончить свое произведение. Нельзя выставлять прелестную статую без головы на том основании, что художник с нею не справился.

Почему же художественные близнецы, Каренина и Левин, должны были появиться — она вполне оконченною, а он непременно, во что бы то ни стало без головы? Вы утверждаете, что голова его, т. е. восьмая и последняя глава романа (увы, не попавшая в ваш журнал!), никуда не годится, потому что нравственный...

ФАМУСОВ И МОЛЧАЛИН

Кое-что о нашем дворянстве

Дружинное начало дворянства прямо указывает на него как на сословие, способное по личной храбрости, навыку в военном деле, неуклонному исполнению принятой на себя обязанности, предводить случайно собранные под знамена толпы. Пока дело шло о чисто географических вопросах, служить владыке значило помогать ему в достижении желаемых границ в качестве воеводы. Но по мере утверждения границ и потребности внутреннего устройства к понятию службы царю и отечеству неминуемо стало привходить и понятие помощи в деле государственного благоустройства. Излишне говорить, что нимало не ослабевшая потребность в благонадежных военачальниках, с одной стороны, и полное отсутствие благоустройства, с другой, были причинами прикрепления крестьян к земле, и только твердая государственная организация сделала возможною отмену этого прикрепления.

Нечего говорить, что возникновением новой отрасли государственной службы отнюдь не отменялась первая и основная, то есть военная. Требование на нее не только не прекратилось, но напротив, все возрастает, так что международное значение государства прямо измеряется способностью выставлять наибольшую массу войска, превосходящую качеством других конкурентов. *Si vis pacem, para bellum* * останется вечным лозунгом не только государственной, но и всякой другой среды. Если это бесспорно так, то вопрос, как и прежде, сводится на наилучших военачальников от мала и до велика. Что же в этом смысле значит наилучший? Наилучший офицер в своей специальности то же самое, что наилучший начальник во всякой другой специальности. Ему мало в подробности знать дело, которым он заведует, ему необходимо в совершенстве самому делать то, чему он учит других; ему мало направить свою часть на ров, вал или стену, ему нужно первому через них перескочить. Такое проникновение делом достигается только любовью к нему. Но и этого мало. В военном ремесле, кроме ежеминутных трудов, лишений и опасностей, нередко бывают минуты, когда эта опасность из возможной превращается в неизбежную, переходя даже в неминуемую

* Если хочешь мира — готовься к войне (лат.).

гибель. Сохранить начальнику в подобном случае все необходимое присутствие духа и непоколебимую стойкость может только чувство чести. Если по мере развития государственного организма отдельные специальности все более обособляются, то понятно, что самое слово честь, применяясь к той или другой специальности, принимает тот или другой оттенок. Так, один может поставлять свою честь в наибольшем скоплении богатств и связанном с ними проявлением роскоши, другой — в наибольшем освобождении всеми неправдами преступников от законной кары и наконец даже в наибольшем нанесении вреда тому государству, в пользу которого он будто бы действует. Никаких подобных оттенков не имеет военная честь.

Воин не имеет права пускать в ход свой механизм без прямого приказа свыше, за которое он не несет никакой нравственной ответственности. Самостоятельная инициатива в иных случаях вменяется ему даже в преступление. Излишне говорить о значении в войске офицера, когда понятие чести переносится не только на него, но даже на неодушевленные предметы, как знамя, мундир и т. д.

Несомненно, лучший офицер был из дворянского рода, где он уже с детства играл в солдатиков, потешаясь игрушечными барабанами, гусарами и касками, и от деда и отца слышал рассказы об их военных подвигах, в которых они сумели соблюсти честь своего рода. Справедливо называют дворян наследственными белоручками; руки их действительно не грубели от преемственной черной работы, но необъятная карта России получила свои очертания исключительно при помощи этих рук. Мы не знаем более трогательного памятника воинской чести, чем Севастопольское кладбище. Историческим судьбам угодно было в назидание потомкам собрать там могилы русских офицеров от восемнадцати до восьмидесятилетнего возраста. Все они так же безропотно и безмолвно пали на своих постах, как и теперь безмолвно проповедают о долге, чести и верности. Но Севастопольское кладбище есть только видимый памятник нашей воинской чести. Немного надо воображения и исторических сведений, чтобы представить себе всю массу белой кости, раскиданной «от Финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля...»

Опасаясь впасть в ошибочную оценку современного воинственного духа наших офицеров, буду говорить только об этом духе до исхода Крымской войны, после которой мне, пишущему эти строки, пришлось оставить ряды войск. Знамя военной чести не только возносилось высоко в наших рядах, но вселяло непоколебимое к нему доверие и во главе государства. При выступлении нашего полка с зимних квартир тогдашний Государь

Наследник, в Бозе почивший Император Александр II, догнал нас на переходе. Полк был остановлен на ходу и офицеры собраны во главе колонны. Поздоровавшись с людьми, растянувшимися на версту, Его Высочество в кругу съехавшихся офицеров сказал следующие достопамятные слова: «Поздравляю полк от имени Государя с походом; вам, господа, быть может, первыми предстоит честь вступить в дело. Вы здесь все дворяне, и я уверен, что этого никто из вас не забудет». С тех пор много воды утекло. Появились мнения и убеждения, поставляющие честью жертвовать жизнью не за сохранение вековых устоев народной жизни, а за их колебания и разрушения. Возникла печатная и устная пропаганда такого воображаемого честного дела. Ходили и ходят с ней и в народ, и в войска.

По мере прогрессивного возникновения и обособления государственной деятельности пришлось и государственной службе расширить круг своего понятия, давая в нем место и другим государственным деятельностям. Петру понадобилось просвещение, и тут дворяне первые явились его послушными учениками. Упрекать историю в совершившемся значит признавать беспричинные явления, то есть впадать в логическую ошибку. Если блеск французского двора так долго подчинял себе Англию, Германию и другие народности, навязывая им свой язык, свои моды и обычаи, от которых они освободились, только когда национальный гений произведениями наук и искусств далеко оставил за собою блестящие, но худосочные плоды французской цивилизации, то справедливо ли укорять наше дворянство в том, что оно в свою очередь подчинилось этому влиянию до того, что французский язык у нас до сих пор, по выражению графа Л. Толстого, нечто вроде чина? И на поприще такой цивилизации наше дворянство в общей сложности достигло совершенства. Правильно ли в этом направлении выставлен вопрос чести, дело иное, но ходят, кланяются, танцуют, говорят по-французски наши дворяне не хуже всех других, старающихся им подражать. Вообще наше дворянство блистательно себя заявило во всем, где требуется вкус, как, например, в изящной литературе, где все имена принадлежат почти исключительно дворянам. Но тот же поступательный ход государственной жизни, вследствие тех же причин, обнаружил наши недостатки, восполнить которые может только будущее. Кроме специалиста война, придворного, поэта, в государстве мало-помалу возникает множество специальностей. Для управления ими всеми или отдельную их группой необходимо не только подробное с ними знакомство, но и ясное понимание их соотношений и взаимодействия.

Таким руководящим масштабом при общем устройстве государственных дел является наука, подразумеваемая под нею не те отрывочные сведения, которые у нас с легкой французской руки до сих пор слыли науками, а те науки, которые, начинаясь классическим образованием, приучают к умственному делу.

Дворяне всегда были непосредственными стражами государственного порядка на всех его ступенях, и если после исторической эпохи освобождения крестьян дело до сих пор не установилось и не упорядочилось, то упрек в этом по справедливости должен пасть на руководящее сословие, то есть на тех же дворян. Не касаясь вопроса о современном значении дворянства, мы желаем рассмотреть, что оно такое по идее и что оно делает в настоящее время, чтобы не изменить своей идее. Мы берем его только как факт, желательный или нежелательный, все равно. Мы видим ежедневный его упадок и объясняем его только недостатком той нравственной опоры, которая в настоящее время заключается преимущественно в умственном образовании. Жизнь есть борьба за существование. Недостаток знания и разумения в руководящей среде не только лишает ее возможности встретить врага равным оружием, но даже не дает силы вникнуть в слова людей, указывающих не на отдельное положение вещей, а на их опасное взаимодействие. Пишущий эти строки имел однажды случай рассказать, как в шестидесятых годах почтенный помещик, подписчик и постоянный чтец «Современника», услышав, к своему изумлению, что этот журнал красный, схватил его и с восклицанием: «ах он подлец» швырнул под стол. Ввиду существования у нас разрушительных журналов на дворянские деньги, мы поставлены в необходимость предположить одно из двух: или что дворяне сочувствуют разрушительным для государства и для них самих тенденциям, что быть может и справедливо по отношению к некоторым исключениям, или же, говоря о массе, мы вынуждены придти к заключению, что по уровню образования эта масса не доросла до понимания языка, на котором к ним обращается писатель. Говоря о целом сословии, поневоле приходится иметь в виду не отдельные личности, а целые массы. И здесь, как во всяком историческом явлении, гораздо плодотворнее рассмотреть причину, чем обвинять. Как ни избито сваливать все бедствия на покойное крепостное право, приходится тем не менее и в настоящем случае не добром помянуть его. Выше сказано о высоком воинственном настроении нашего дворянства. Если присовокупить к этому, что весь контингент правительственных лиц черпался из военных, а тогдашнее блестящее положение офицеров вообще и кавалеристов в особенности само по себе, вне всяких расчетов, привлекало к себе

молодежь, то нечему удивляться, что недоросли, хорошо знавшие, что никакое образование не сравняет их в чинах со сверстниками, не пропустившими ни дня после законного возраста для поступления в юнкера, тем более старались со своей стороны не упускать этого срока, чтобы вступить в блестящую среду, где светский лоск с французским языком ценился выше всякого основательного образования, на которое пришлось бы потратить много труда и времени и на которое, между прочим, не всякий способен. Если, наскучив в мирное время напрасною гоньбой за военной славой, офицер, чувствуя себя дома обеспеченным в материальном отношении, и возвращался к своим пенатам и становился в свою очередь сельским хозяином и отцом семейства, то к заботам о наилучшем ведении дела не приходила тяжелая и подчас непосильная забота о приискании рабочих рук к этому делу. Готовые руки избавляли помещика от всех многосложных забот и соображений, о которых говорить здесь не у места. Новый недоросль явился бы каким-то несслыханным чудом, если б, исходя из такой сравнительно беззаботной среды, он вдруг, наперекор всем семейным преданиям и одобрительным улыбкам дам, инстинктивно с юных лет предался бы тяжелому умственному труду, о сущности которого он не мог иметь никакого понятия. Но такого чуда не совершилось, потому что совершиться не могло. Высшие правительственные места по-прежнему почерпали своих деятелей из военачальников или же из родовитых людей, имевших терпение досидеться в канцеляриях до соответственных чинов, причем тяжелая умственная работа все более и более сваливалась на неродовитых тружеников. Вспомним Фамусова, принимавшего всю московскую знать, с его

Обычай мой такой —

Подписано, так с рук долой, —

и Молчалина с его чуланчиком. Не явно ли, что при таком порядке всем делом руководит, согласно своим целям и выгодам, Молчалин, прикрываясь авторитетом Фамусова, и что по своей юркости и смысленности Молчалин не может не видеть, что среди чиновников, прокладывающих себе около Фамусова карьеру, *только он один не свой и то затем что деловой*. Могло ли подобное положение не внушить Молчалиным зависти и ненависти ко всей окружавшей их среде? Конечно, ненависть эта не могла в то время еще открыто поднимать головы, а должна была из чувства самосохранения извиваться ужом и *ласкать собачку дворника*. Тем не менее всестороннее развитие государства предъявляло настойчивый спрос на умственный труд и широкое образование с целью приготовления подобных деятелей. Как бы расчищая пред слу-

жилым сословием новую широкую дорогу гражданской службы, государство отворило с большими затратами двери университетов, в которых недоросли, приобьикши к умственной гимнастике, насколько ее требовалось в службе, не теряли бы и времени, сравнительно со сверстниками, не проходившими в двери университета. Кончивший трехлетний, а потом четырехлетний курс получал наивысший чин, какой при самых счастливых обстоятельствах он за эти годы мог получить в гражданской службе. С этой стороны наши университеты не были ни фантастическою затеей, ни бесцельною модой; они должны были доставлять государству более или менее грамотных и умственно развитых чиновников. Это была открытая дверь к иерархической лестнице с соответственным содержанием и наградами. Если б, открывая университеты, правительство задалось мыслью создать научные центры без служебных прав, то малолюдные в то время университеты представляли бы самое ничтожное число умственных отшельников, отказавшихся от мирских благ во имя никому не понятного дела, а может быть и вовсе остались бы пустыми.

Нечему удивляться, что торговый человек тщательно рассчитывает будущие барыши, а служащий будущие выгоды от службы; а так как главный персонал государственных сановников по-прежнему почерпался из военных, то неудивительно, что поступление дворян в университеты значительно задерживалось следующим соображением: допустив даже, что один из недорослей успел к шестнадцатилетнему возрасту, в котором его ровесник беспрепятственно поступал на двухлетнем праве в юнкера, приготовиться в университет с целью позднейшего поступления во фронт, все-таки нельзя не признаться, что в течение трех излишних лет, предстоящих студенту до получения первого офицерского чина, его сверстник при счастии мог бы уже получить чин штаб-ротмистра, то есть быть командующим в том эскадроне, куда студент поступил бы младшим корнетом. Расчет этот до того верен, что наше остзейское дворянство, не имея гибельной для рода русской наклонности к дележам, постоянно посылает своих сыновей, предназначаемых заступить в имении место отца, в университет, ради того широкого образования, которое необходимо сословию, стоящему во главе умственного и экономического развития края. Карьеру же всех других оно не находит расчета задерживать университетским образованием, а прямо высылает их на военную дорогу, где они со временем являются в виде полковых, дивизионных и корпусных командиров. Но в то время, когда двери университета оказались на практике столь мало пригодными для дворян, они явились широким и единственным путем к служебной карьере для всех остальных сословий.

Конечно, все проходящие чрез университет волей-неволей приобретали ту известную долю грамотности и умственной гимнастики, для изобретения коей государство и вынуждено было открыть самые университеты; но этими умственными доспехами пришлось по вышеуказанным причинам вооружиться весьма малому числу служилого сословия, как это видно из отношения числа студентов-дворян к числу разночинцев. Хотя благодушный Фамусов и остался при своих чинах и орденах, но было бы чрезмерным со стороны его благодушием полагать, что, пока он и не думал вооружаться, вооруженный Молчалин будет продолжать извиваться у ног его ужом и исподтишка устраивать свои делишки. Фамусов только радовался ежедневному наплыву грамотных Молчалиных в надежде, что ему еще менее придется распоряжаться и приказывать, так как Молчалины все устроят согласно его желанию. Он и не догадывался, что Молчалин, в силу вещей, его ненавидит и желает во что бы то ни стало занять его место, на которое, по сравнительной широте своего кругозора, считает за собой большее право. Фамусов не допускал даже мысли, чтобы Молчалин стал опасным. Мы могли бы привести факт, как родовитейший и сановитейший из Фамусовых со смехом трепал по плечу Молчалина, сказав ему в лицо: «Говорят, будто вы опасный человек». Такое фамусовское благодушие не мешало Молчалину в то же время откровенно выставлять себя на всю Россию очкоюю змеей. Но ведь это литература, это только русские книги, от которых Фамусову *больно спится*. Фамусов только тогда всплеснул руками, когда вертлявый уж, пройдя инстанцию очковой змеи, превратился в дракона. Фамусов, конечно, не заметил весьма характеристичного, но неизбежного события. Считая письменность, за исключением донесений и предписаний, делом праздным и бесплодным, он не мог различить языка безотносительного искусства от диалектики и софистики. Первое требует таланта, которым, как мы видели, Бог не обидел наше дворянство; вторая требует более широкого кругозора и привычки обращаться с умственным материалом. Человек, совершенно непочатый в этом смысле, легко может быть в споре побежден даже софистом третьего разбора; а если он к тому же привык обращаться со словом при изображении отдельных предметов, связанных между собою лишь непосредственною идеей, то умственное освещение, придаваемое тем же предметам софистом, по самой привлекательности обобщения, каково бы оно в сущности ни было, легко может показаться такому таланту новою зррой, неслышанным торжеством разума и мощно увлечь его за собой. В своем внезапном ослеплении такой талант и знать не хочет, что его мнимое солнце много раз уже возникало в исто-

рии, которая, каждый раз убеждаясь, что это не солнце, а плохо вычищенная крышка с кастрюли, выбрасывала его за окошко. Такой талант, по своей непривычке к отвлеченному мышлению, не замечал даже, что новая пропаганда употребляет терминологию, которая вместо разъяснения дела, по неведению и злонамеренности, вносит страшную путаницу в понятия. Укажем только на злоупотребление словом *идея*. Можно ли удивляться, что наши крупнейшие художники-писатели, в самый расцвет их служения художественной идее, внезапно с чужих софистических слов предали служению нравоучения непременно в желанном софистами направлении, так как это нравоучение обзывалось на софистическом языке фальшивым, но дорогим для художника именем *идеи*. Гоголь, Тургенев и многие другие пошли загонять клинья мнимой идеи в свои произведения, раскалывая таким образом ту художественную идею, которая составляла их сердцевину. Дело в том, что люди, на грамотность которых мог бы, судя по общим интересам, опереться Фамусов в защиту своего дела, очутились разом на стороне Молчалиных, придавая двойную силу противному лагерю. Выражение противный лагерь не совсем точно, так как видимых двух лагерей не существовало, а лагерь был один; ибо нельзя же назвать спорящими двух людей, из которых один всеми мерами проповедует гибель своего противника, а другой, не понимая языка, на котором тот бранится и угрожает, всячески суетится, чтоб угодить ему. Фамусов не только не возражает, но, как мы видели, добродушно помогает своими деньгами гибельной для него пропаганде. Вообще Фамусова нельзя упрекнуть в своекорыстии, это он доказал, отделив значительную долю своего состояния в пользу другого сословия. Он вообще любит роль благотворителя и не перестает всеми мерами ежедневно увеличивать массу Молчалиных, несмотря на то, что эти люди, отрываемые навеки от первоначально выгодного труда в видах поступления в ряды служилого сословия, давно уже многим превышают число служебных мест и таким образом умножают не ряды служилых людей, а ряды горько обманутых и недовольных. Добродушный Фамусов и не заметил, что помимо уменьшения его экономических средств, его доброжелатель Молчалин подsunул ему под разными предложениями такое самоуправление, которое, перейдя в полное самоуправство, не только лишило Фамусова-помещика всякого руководящего значения, но и сделало вполне беззащитным от всяких враждебных вторжений в его экономическое дело. Если бы, в качестве придворного человека привыкнув к роскоши и развлечениям, Фамусов успел наконец оглянуться на свое положение и употребить занятые на тяжелых условиях деньги на уст-

ройство вольнонаемного хозяйства, за упразднением обязательного, а не разбрасывал бы их на столичную и заграничную роскошь, то и тогда его дело не могло бы рассчитывать на успех по своей полной незащитности. Справедливость такого предположения подтверждается практикой.

Чем сложнее машина, тем разрушительнее для ее механизма всякое ущербление даже малейшей ее части. Ослабление помещичьего влияния имело своим последствием упадок экономического быта не только помещиков, но и крестьянского. Мы никогда не поверим, чтобы Молчалин не догадывался о неизбежной солидарности интересов земских сословий, невзирая ни на какие их формальные разделения, и не понимал бы, что общее благосостояние возможно только при законном надзоре искомно служилого сословия за общим порядком. Мы слышали, что многие зажиточные дворяне будто бы возвращаются из-за границы и из столиц на свои родовые гнезда, дай-то Бог. Но если они вернутся туда лишь как безмолвные жертвы, то проку будет мало.

Мы по опыту знаем, что под обособляющей рукой садовника в саду преемственно цветут отдельными кустами розы, лилии, левкой и т. д. по хорошо удобренным куртинам, а кругом по газонам дикорастущие травы, из которых вырываются только зловредные или безобразные. Там же, где заботливая рука отстраняется от сада, дикорастущие и ядовитые травы безразлично захватывают все пространство и бойчее всего растут на удобренных куртинах, заглушая окончательно благородные растения. Конечно, первое лучше в смысле сада, но второе характернее в виде пустыря.

Чтобы не повторять избитой темы, очертим только слегка то колесо, которое Фамусов сам себе изготовил и на котором он так быстро катится под гору. Как благоприличный человек без должного образования, он постоянно обращен лицом к форме и спиной к содержанию.

Тут медоточивый Молчалин проповедует ему об основном стремлении русского человека к общинному владению, а за спиной у Фамусова его же дети рвут на клочки неразделимое имение, а крестьяне отрывают отцовские сени от избы и ломают пилу надвое.

Но живущий за границей Фамусов этого не знает, а состоящему на службе Молчалин подробно объяснит, что русские это делают из пристрастия к общинному владению и самоуправлению. Доверие, возбуждаемое в благоприличных людях новой экономической эрой, всего характернее выразилось в шестидесятих годах в письме И.С. Тургенева к дяде из Парижа:

«Дядя! Я не верю ни в один вершок русской земли, ни в одно русское зерно. Выкуп и выкуп!»

Конечно, этот выкуп вместо устройства экономии на новых началах всецело полетел в Париж и, быть может, не без некоторого основания, так как при возникших вслед за первыми посредниками правовой неурядицы рациональное ведение хозяйства стало невозможно и, следовательно, положенный в его основу капитал пропал бы бесследно. Но так как выкуп был только один раз, а Париж и Баден-Баден предъявляют ежедневные требования цивилизации, то по той же дорожке побежали сначала леса, а потом и имения.

Добродушные Фамусовы более всего любят роль благотворителей и горды, когда этим щитом могут прикрыть свою апатию и неспособность. Сословия капиталистов-арендаторов у нас нет, да и едва ли можно ожидать, чтоб богатый человек пошел на такое небезопасное и мучительное дело, каким у нас стало сельское хозяйство. Тут-то и представилась Фамусову возможность явиться благодетелем. Он всем рассказывал, что в видах подъема крестьянского благосостояния сдал имение за полцены в аренду мужичкам в общинное пользование. Не беремса судить, служило ли в этом случае мотивом благодеяние или желание во что бы то ни стало уйти от собственного головокружения. Но тут произошла для Фамусова неожиданность, о которой пишуший эти строки в свое время подробно говорил в печати. Разорились вконец именно эти льготные арендаторы-общинники, уподобясь зайцу, опереженному черепахой, и перестали платить и половинную аренду, а Фамусов, так блистательно начавший свою новую экономическую эру при помощи капитала, полученного за распроданный инвентарь, пришел под конец к совершенному безденежью, выпаханной земле и тощему конопляннику на месте прежней усадьбы. О благодеянии он уже молчит. Самолюбие не позволит ему признать, что мало желать благотворить, а надо уметь благотворить, и что всякое благодеяние должно начинаться с благоустройства. Было время, когда русские дворяне, приближаясь своим бытом отчасти к быту английского дворянства, только в редких случаях проживали в столицах, а жили по своим вотчинам. Тогда деревенская жизнь была оживлена, а не представляла, как теперь, подобие одиночного заключения. Но когда Фамусов, с голоса Молчалина, устроил себе невозможную среду, то сам из нее убежал. На местах остались только те, кому бежать было некуда и не с чем. Конечно, эти люди постарались вознаградить свой имущественный ущерб на счет всякого рода открывшихся должностей, оплачиваемых мнимым самоуправлением...

ПРИЛОЖЕНИЕ

АФОРИЗМЫ

1. Состояние, как лошадь, достаточно надорвать однажды.
2. Образование, подобно очкам, изощряет зрение, но, несоизмерное с глазами, губит их и ослепляет.
3. Силиться действовать *по разуму* (разумно) там, где уже не собрать положительных данных, значит доказывать убожество того и другого.
4. Афоризм, как бы пословица, частность и дело ума, а потому мо[жет]г бы исходить и от неразумных. Собака могла бы справедливо сказать: настоящая дичь <нрзб.> и живая с (...)ным душком.

5. Философия — искание истины. Умом и волей обладают все животные, разумом только человек. Область этики, нравственность опирается главным образом на рефлексию разума и идеи, наперекор воле, [а не наоборот]. Жертвуют только люди. Поэтому нет нравственности в животных, иначе Сакен был бы прав, выкинув при виде вахротмистра, под которым жеребец показывал эрекцию: с плацу долой! Не могу видеть этого развратного эскадрона!

С другой стороны, Жорж Занд права, сказав: *La possession est l'apothéose de l'amour* *, потому что момент обладания, торжество красоты, от цветка до животного. А потому ухаживанье (по-польски жортование) <—> неискоренимые, вековечные темы поэзии, ищущей красоты. В какую же [уродливую] философскую ошибку впадают поэты слова, имеющие одни возможность впадать в нее, так как ни скульптор, ни танцор, ни живописец, ни музыкант не имеют на это даже средств — связывать этот факт воли с противоположным нравственным. — И стоит сказать: эрекция, во что бы то ни стало, ergo ** нрав-

* Обладание — вершина любви (фр.).

** следовательно (лат.).

ственно, во что бы то ни стало. Скажите красиво — будете нравственными>.

Собаки и волки могут очень красиво разорвать кого-либо из-за самки в пустовке и, пожалуй, последуют на явную смерть, но где же тут нравственное начало? А еще художники! И полюбоваться-то красотой не умеют бескорыстно. Чернь — и в умственном и в нравственном смысле.

6. Художники, в угоду рутинной толпе, хвастающие страстью к Италии, в душе рассчитывают на лишнее *скудо*. Этот расчет губит талант. Рано или поздно толпа, вслед знатоков, отвернется от низкопоклонника и последний *скудо* уйдет. Можно Полонского признать человеком умным, но с прибавлением *скудо*.

7. У понятий общее с хомутами то, что те и другие приносят пользу только будучи вполне соразмерны и отдельному их носителю, и матерьяльному положению. Потому те и другие не только не могут безразлично попадать с одного на другого, но даже в случае чрезмерной тучности или захудалости своего носителя, вместо пользы наносят одни раны.

8. Когда настоящие, исторические носители нравственных идей народа начинают смотреть на понятия и идеи, как на несущественное или <не> стоящее внимания, их начинают бить, убеждая в противном.

9. «Обстановка очень много значит для молодого человека», — сказала одна барыня. Я упустил прибавить: «еще более для старого». Ибо если обстановка для человека то же, что внешний скелет для черепахи, то у молодой можно надеяться, что по ее роду будет и соответственная крышка, зато в настоящем мясе молодое, а у старой если нет [ни] ценной оболочки, это не только значит, что она по старости безвкусна, но что она всегда была такого рода, что ни мясо, ни оболочка никуда не годятся.

10. Вечный смысл молитвы Господней: Так как я один во вселенной сознаю твою власть и недосыгаемый идеал, то один я раздвоен и должен уже сознательно алкать хлеба. Тем не менее зверь во мне сидит. Дай мне сегодня добыть хлеба, но так как это идет рядом со зверскими искушениями, которых в силу вечных твоих законов не избежишь, то прости мне, как я готов простить бессильному, если я забыл избавиться от лукавого, соответственным его давлению противувесом, в виде надежной лестницы наказаний.

11. Один соколиный охотник радовался и хвастал [тем], что отлично видит и что бог послал ему такого сокола, который с каждым днем взмывает все выше и выше, до того высоко, что другие уже не видят его кругов, а только видят потом, как голуби начинают падать с поднебесья. — А мне все видно, — говорил охотник, — как он высоко ни заберет, иной раз там и промахнется, да бог бы с ним, зато высоко, что только дух радуется. Но сокол забирал каждый день выше и однажды ушел в такую высь, что и опытный глаз сокольничего не мог за ним уследить. Так и ушел от него сокол. Тут-то охотник подумал: «Хорошо летать высоко, да надо же и на землю спускаться. При чем же я теперь остался <?>».

12. Толстому. Лавочник, написавший драму разбойника без всякого возмездия злу, ближе к правде искусства, чем Толстой.

13. Атеизм дозволителен тому, у кого он не вера, а критика, кто знает, что и атеизм не состояние.

14. 1 сентября. Закон, как отрицание, равно как и всякое целесообразное предприятие, рассчитывает на пороки людей, государственный доход на пьянство; расход на добродетель — глупая утопия.

15. Достоевский явно указывает на художественные права анализа, при ужаснейшем нравственном растлении, проистекающем из него в жизни.

16. 6 сентября. Утка-свистулька в руках художника <...>

КОММЕНТАРИИ

Большая часть собранных в томе художественных произведений и статей печатается по первым публикациям. При публикации по автографам в квадратных скобках даются слова, зачеркнутые в оригинале, в ломаных — восстанавливаемые по смыслу.

Тексты и комментарии к разделу «Повести и рассказы» составлены Л. И. Черемисиновой, к статье «Ответ на статью “Русского вестника” об “Одах Горация”» — А. В. Успенской, к остальной части раздела «Критические статьи» — А. Ю. Сорочаном и М. В. Строгановым, при участии Н. П. Генераловой и В. А. Лукиной, к разделу «Афоризмы» — Н. П. Генераловой.

Редколлегия приносит благодарность за содействие в подготовке тома сотрудникам *РО ИРЛИ* и *ОР РГБ*, предоставившим возможность работать с архивными материалами, и выражает особую признательность сотрудникам ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН Т. Г. Ивановой, Л. В. Герашко, Н. А. Хохловой, Е. М. Аксененко и В. А. Лукиной, а также сотрудникам Орловского государственного литературного музея И. С. Тургенева Л. А. Балыковой, С. Л. Жидковой и Л. М. Марицевой.

Условные сокращения

Белинский — *Белинский В. Г.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М.; Л., 1953—1959.

БдЧ — журнал «Библиотека для чтения».

ВЕ — журнал «Вестник Европы».

ВО 1 — Вечерние огни. Собрание неизданных стихотворений А. Фета. М., 1883.

Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. 2-е изд. СПб.; М., 1880—1882 (репринт 1978 г.).

ГАОО — Государственный архив Орловской области (Орел).

ЖМНП — «Журнал Министерства народного просвещения».

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

- ЛН — «Литературное наследство».
- Летопись — Блок Г. П. Летопись жизни А. А. Фета / Публ. Б. Я. Бухштаба // А. А. Фет. Традиции и проблемы изучения. Курск, 1985. С. 127—182.
- МВ — Фет А. А. Мои воспоминания: 1848—1889. Ч. 1—2. М., 1890.
- ОГЛМТ — Орловский государственный литературный музей И. С. Тургенева (Орел).
- ОЗ — журнал «Отечественные записки».
- ОР РГБ — Отдел рукописей РГБ.
- ОР РНБ — Отдел рукописей РНБ.
- ПССм1912 — Фет А. А. Полное собрание стихотворений: В 2 т. / Со вступ. статьями Н. Н. Страхова и Б. В. Никольского. СПб., 1912. (Приложение к журналу «Нива»).
- ПССм1959 — Фет А. А. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подг. текста и примеч. Б. Я. Бухштаба. Л., 1959 (Библиотека поэта. Большая серия).
- РВ — журнал «Русский вестник».
- РГ — Фет А. А. Ранние годы моей жизни. М., 1893.
- РГБ — Российская государственная библиотека (Москва).
- РНБ — Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург).
- РО ИРЛИ — Рукописный отдел ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).
- РСл — журнал «Русское слово».
- ССиП — Фет А. А. Собрание сочинений и писем: В 20 т. / Гл. ред. В. А. Кошелев. Т. 1. Стихотворения и поэмы. 1839—1863. СПб., 2002; Т. 2. Переводы. 1839—1863. СПб., 2004.
- Садовской — Садовской Б. Ледоход: Статьи и заметки. Пг., 1916.
- Совр. — журнал «Современник».
- Соч. — Фет А. А. Сочинения: В 2 т. / Подг. текста, сост. и коммент. А. Е. Тархова. М., 1982.
- Толстой. Переписка — Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978.
- Тургенев. Письма — Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 28 т. Письма: В 13 т. М.; Л., 1961—1968.
- Чернышевский — Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений Т. 1—16. М., 1939—1953.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА А. А. ФЕТА

В наше время словосочетание «проза Фета» для многих кажется оксюмороном. Так сложилось еще при жизни писателя, что проза и поэзия его противопоставлялись, подобно тому, как противопоставлялись жизнь и искусство в его эстетике, как разводились в разные стороны «Фет» и «Шеншин». Довольно красноречиво такое противопоставление выражено в известном стихотворении А. М. Жемчужникова, написанном на смерть Фета:

И пусть он в старческие лета
Менял капризно имена
То публициста, то поэта, —
Искупят прозу Шеншина
Стихи пленительные Фета.¹

Фет всегда воспринимался как чистый лирик, обладавший даром воспроизведения смутных, неясных душевных ощущений, полутонов и «получувств», как певец красоты, поэт-музыкант. «Нетленная соль горячих речей» Фета, тончайший лиризм и мощное философское звучание его стихотворений трогали Л. Н. Толстого, Ф. И. Тютчева, И. С. Тургенева, Я. П. Полонского, Ф. М. Достоевского, Н. Н. Страхова, В. С. Соловьева и многих других современников поэта. Лириком он был и для читателей прошлого столетия, что отразилось, в первую очередь, в практике издания его произведений, а также в степени изученности этой части его творчества.

Проза Фета — явление самобытное, многогранное и необычайное объемное. Она не исчерпывается только публицистикой, как считал А. М. Жемчужников, а представлена собранными в данном томе рассказами, повестями, критическими статьями и, кроме того, мемуарами. Вероятно, количественное соотношение поэзии и прозы Фета можно выразить его же словами, сказанными о книге стихотворений Тютчева:

Вот эта книжка небольшая
Томов премногих тяжелой.²

Однако восприятие творчества Фета исключительно в его лирической ипостаси не может дать полной картины мира этого художника. «Прозу Шеншина» искупать незачем, ибо в ней раскры-

¹ Жемчужников А. М. Стихотворения. М., 1988. С. 186.

² Фет А. А. Стихотворения и поэмы. Л., 1986. С. 331.

вается многосторонняя и деятельная натура ее создателя, содержащая ответы на многие вопросы, касающиеся биографии и творчества Фета, феномен которого до сих пор является загадкой. Проза Фета является органической частью литературной и общественной жизни России второй половины XIX века, к сожалению, не понятой и не принятой при жизни поэта (хотя на то, разумеется, были свои причины).

Б. Я. Бухштаб, авторитетный текстолог и знаток творчества Фета, в своей обзорной статье (посвященной преимущественно лирике) «Судьба литературного наследства А. А. Фета» (1936) писал о необходимости переиздания прозаических произведений писателя, известных исключительно по прижизненным журнальным публикациям и давно ставших библиографической редкостью. При этом особую значимость Бухштаб придавал переизданию художественной прозы и мемуаров Фета как «материалов исключительной важности»³. Эта идея была частично реализована лишь в 1982 г. А. Е. Тарховым, подготовившим двухтомное собрание сочинений поэта. Во второй том, специально посвященный прозе, вошли пять рассказов, критическая статья «О стихотворениях Ф. Тютчева», фрагменты из эстетических выступлений поэта разных времен и довольно большая часть эпистолярия. Несмотря на выборочность и неполноту многих опубликованных материалов, это издание стало значительной вехой в развитии фетоведения.

Современный интерес к прозаическому наследию Фета выразился в издании объемного тома публицистики поэта,⁴ трех томов воспоминаний,⁵ в публикации рассказов, повестей, фрагментов путевых записок «Из-за границы»,⁶ двух отрывков рукописных прозаических сочинений, не законченных автором,⁷ «Записной книжки» с афоризмами Фета⁸ и некоторых других материалов. Так постепенно закладывается своеобразный фундамент для последующего издания полного корпуса всех прозаических сочинений Фета. Так сбываются пророческие слова Б. В. Никольского, сказанные в начале XX в.: «...потомство начнет с того, что долго было тайною не только для современников, но и для самого автора <...>; и потому смело начнет с восторженных похвал, которыми так робко и скупно кончают на наших глазах современники. Фет в этом смысле до такой степени поэт

³ Бухштаб Б. Я. Судьба литературного наследства А. А. Фета // Литературное наследство. Т. 22—24. М.; Л., 1936. С. 596.

⁴ Фет А. А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство / Вступ. ст., сост., подг. текста и коммент. В. А. Кошелева и С. В. Смирнова. М., 2001.

⁵ Фет А. А. Воспоминания: В 3 т. Репринт изд. 1890 г. М., 1992.

⁶ Фет А. Проза поэта / Сост. и предисл. Г. Аслановой. М., 2001.

⁷ «Крыловские» рассказы А. Фета (Два неопубликованных фрагмента) / Публ. Л. И. Черемисиновой // А. А. Фет и русская литература: XVII Фетовские чтения / Под ред. В. А. Кошелева, М. В. Строганова, Н. З. Коковиной. Курск, 2003. С. 14—27.

⁸ А. А. Фет. Афоризмы. Публ. Н. П. Генераловой // Там же. С. 8—14.

будущего, что с полным правом мог бы во главе своих стихотворений поставить знаменитые слова Шопенгауэра: “*через головы современников передаю мой труд грядущим поколениям*”⁹. Эти слова почтаемого Фетом немецкого философа могли бы стать эпиграфом ко всему творчеству поэта.

Публикуемая в данном издании художественная проза Фета — это семь известных на сегодняшний день произведений: повести «Дядюшка и дворянский братец» (1855) и «Семейство Гольц» (1870), рассказы «Каленик» (1854), «Первый заяц» (1871), «Не те» (1874), «Кактус» (1881), «Вне моды» (1889). К сожалению, автографы этих произведений не обнаружены (за исключением фрагмента повести «Семейство Гольц», хранящегося в *РО ИРЛИ*), а обстоятельства их создания пока мало изучены вследствие недостатка фактической документальной базы. В этот том вошли также и неоконченные прозаические опыты Фета — «<Корнет Ольхов>» и «<Полковник Бергер>» — начальные отрывки повестей об армейской жизни поэта. Автографы этих произведений находятся в *ОР РГБ* (фонд 315).

Фетовская проза писалась на протяжении тридцати пяти лет, в разные периоды его жизни. Обращение к прозе не было сопряжено с творческим кризисом Фета-поэта. Так, известно, что 50-е годы были относительно благополучными для него в творческом плане (вышло два лирических сборника, появились их содержательные критические разборы, установились связи с литературными кругами и проч.). Однако именно в это время *ОЗ* публикуют первые прозаические опыты известного поэта: рассказ «Каленик» и повесть «Дядюшка и дворянский братец». Чрезвычайно плодотворными в творчестве Фета были 80-е годы: четыре выпуска «Вечерних огней», многообразная переводческая деятельность (труды Шопенгауэра, «Фауст» Гете, римская классика), публицистические статьи, воспоминания — это всего лишь беглый обзор написанного в последнее десятилетие жизни поэта. Казалось бы, недостатка вдохновения он не испытывал, напротив, «муза его пробудилась от долгого сна». Однако поэт настойчиво обращается к прозе, пишет рассказы «Кактус» и «Вне моды», которые печатаются в *РВ* и «Ниве».

Очевидно, проза была не попыткой преодоления творческого кризиса и не случайной пробой пера, но органической формой творческого самовыражения Фета, его глубочайшей внутренней потребностью. Она давала возможность более полной самореализации, позволяя сказать то, что не могло быть выражено языком поэзии. Проза всегда сосуществовала рядом с поэзией, являясь, говоря словами Н. Н. Страхова, «плодом обдумывания и труда», в то время как стихотворение его — «прямые дары вдохновения. В них обыкновенно

⁹ *Никольский Б. В.* Основные элементы лирики Фета // *А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений: В 2-х т. / Со вступ. статьями Н. Н. Страхова и Б. В. Никольского. Т. 1.* СПб., 1912. С. 25. (Прил. к журн. «Нива»).

нет никаких вступлений, а прямо изливается чувство, возникшее в известную минуту, в известной обстановке»¹⁰.

Фетовская проза имела автобиографический характер, и это многое объясняет. В одном из своих исповедальных писем к графине С. А. Толстой (Миллер) Фет признавался: «...я стараюсь всю жизнь познать самого себя. <...> Несмотря на исключительно интуитивный характер моих поэтических приемов, школа жизни, державшая меня все время в ежовых рукавицах, развила во мне до крайности рефлексии»¹¹. Это высказывание обнажает истоки настойчивого обращения Фета к автобиографическим повествованиям разных жанров. Рассказы и повести, мемуары и публицистика оказываются явлениями одного порядка. Все это различные формы выражения авторской рефлексии, направленной и внутрь себя, и вовне.

Желание понять самого себя, найти оправдание собственному существованию порождало стремление выйти за пределы «я», подняться до метафизических высот познания Божественного Промысла. «Когда последняя грань так недалеко, — рассуждает Фет в предисловии к книге своих воспоминаний, — то при известном духовном настроении самым главным и настойчивым вопросом является: что же значит эта долголетняя жизнь? Неужели, спускаясь с первого звена до последнего по непрерывной цепи причинности, она не приносит никакого высшего урока? <...> Мысль о подчиненности нашей воли другой, высшей, до того мне дорога, что я не знаю духовного наслаждения превыше созерцания ее на жизненном потоке» (МВ. Ч. 1. С. V, VI).

Фактографичность, отличающая фетовские воспоминания, — попытка «остановить мгновенье», запечатлеть в памяти потомков определенный срез истории, культуры России. Показывая, «чему свидетелем он был», поэт опирается на документальные источники (письма Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, В. П. Боткина, И. П. Борисова, Я. П. Полонского и др.), при этом право их интерпретации предоставляет читателям. Такая особенность фетовских воспоминаний вызвала негативную оценку Б. Я. Бухштаба, который определил основной их тон как «внешнее описание событий, создающее, с одной стороны, впечатление композиционной бесхребетности, с другой — впечатление недоумения от противоречия видимой целенаправленности всех решений и поступков Фета с неясностью направляющих целей»¹². Однако отсутствие руководящей идеи в мемуарах сродни отсутствию тенденции в его стихотворениях и прозе. Это принципиальная эстетическая установка Фета.

Автобиографическую природу имеет и публицистика Фета¹³. Во вступительной статье к книге очерков «Жизнь Степановки, или Ли-

¹⁰ *Страхов Н. Н.* А. А. Фет. Биографический очерк. С. 10.

¹¹ *Шеншин-Фет А. А.* Письма к графине С. А. Толстой // *Вестн. Европы.* 1908. № 1. С. 218.

¹² *Бухштаб Б. Я.* Указ. соч. С. 596.

¹³ Знаменательно, что первое целостное издание деревенских очерков Фета 1862—1871 гг. вышло в серии «Россия в мемуарах» (см. примеч. 4).

рическое хозяйство» В. А. Кошелев отмечает: «Замысел <...> публицистических записок Фета 1860-х—1870-х гг. уникален — это, в сущности, замысел мемуаров, созданных по горячим следам совершающихся событий. Мемуарная установка прямо выражена автором уже на первой странице своего труда: “В заметках моих я выскажу не только факты, идущие, по моему, к делу, но и те соображения и ощущения, которые вызвали меня на тот или другой шаг. Словом, я буду рассказывать о том, что я думал, что сделал и что из этого вышло. Хорошо так хорошо; худо так худо — лишь бы правда была”». От установки «классических» мемуаров, — продолжает исследователь, — это отличается только тем, что «временной отрезок между событием, реально происшедшим, и событием, литературно преобразованным, оказывался минимальным»¹⁴.

Очерки Фета, о которых здесь идет речь, представляют собой своеобразный портрет пореформенной России. Осмысление собственной деревенской жизни и хозяйственной практики выражено в публицистике Фета в форме многочисленных зарисовок с натуры, составляющих своего рода живой калейдоскоп людей, событий, ситуаций. Картинки в нем не рассыпаются — они скреплены авторской идеей, энергичной верой в то, что совокупными усилиями российских дворян можно возродить и разоряющиеся помещичьи усадьбы, и русское сельское хозяйство, и державу в целом. «По богатству представленного материала, — пишет Г. А. Черемисинов, — разноцветию красок бытовых зарисовок, временным рамкам жизнеописания, глубине осмысления и степени обобщения исторических событий А. А. Фета следует признать летописцем пореформенной земледельческой России»¹⁵.

Таким образом, автобиографическое начало, в котором выражается потребность человека в саморефлексии, в установлении связи своей жизни с жизнью окружающих людей, страны, с ходом истории, — характерная черта всей прозы Фета: мемуарной, публицистической, художественной. «...Жизнь моя, — писал Фет К. Ф. Ревелиоти (своему сослуживцу по Кирасирскому полку) в конце 70-х годов, — самый сложный роман, который, Бог даст, сообщу хоть в главных чертах...»¹⁶. Этот роман о себе оказался многотомным и не-

¹⁴ Кошелев В. А. «Лирическое хозяйство» в эпоху реформ // Фет А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. С. 8—9.

¹⁵ Черемисинов Г. А. Фет-публицист о хозяйственном строе России // Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета: Сб. науч. тр. Курск, 1992. С. 299. О деревенских очерках и хозяйственной практике А. А. Фета см. также: Черемиснинова Л. И. А. А. Фет: земледельческая утопия и реальность // Рус. лит. 1989. № 4. С. 142—149; Смирнов С. В. «Из деревни» А. Фета и литературно-журнальная полемика начала 1860-х годов // А. А. Фет и русская литература: XV Фетовские чтения / Под ред. В. А. Кошелева, Г. Д. Аслановой. Курск, 2000. С. 98—112.

¹⁶ Цит. по: Григорович А. История 13 Драгунского Военного Ордена генерал-фельдмаршала графа Миниха полка. Т. 2. 1809—1860 гг. СПб., 1912. С. 149.

однородным в жанровом отношении. Причем, как правило, Фет не повторялся: события, о которых говорится в публицистике, не упоминаются больше нигде; частично перекликаются художественная проза и мемуары — и то потому, что действуют в них одни и те же невымышленные персонажи. Художественные произведения писались значительно раньше, чем мемуары, и события, о которых в них повествуется, лишь пунктирно отмечаются в воспоминаниях. Эти два вида прозы, несмотря на отличия их эстетической природы, взаимно дополняют друг друга.

Подводя на склоне дней итоги жизни, Фет весьма скромно оценил собственные возможности как прозаика. Рассказывая о своем знакомстве с И. С. Тургеневым и о первой встрече с ним в Спасском¹⁷, Фет вспомнил, как они вместе читали недавно написанную им комедию и реакцию Тургенева на нее: «Когда я кончил, Тургенев дружелюбно посмотрел мне в глаза и сказал: — Не пишите ничего драматического. В вас этой жилки совершенно нет». «Сколько раз после того, — продолжал далее Фет, — приходилось мне вспоминать это верное замечание Тургенева, и ныне, положа руку на сердце, я готов прибавить: ни драматической, ни эпической» (*МВ*. Ч. 1. С. 7). Как соотносится такая оценка собственных способностей с писательской практикой, чем объясняется столь критичное отношение к себе, наконец, что именно имел в виду Фет, говоря об отсутствии у себя «эпической» жилки? Осмысление всех этих вопросов требует проникновения в художественный мир поэта, постижения его прозаической манеры, погружения в историко-литературный контекст эпохи.

В своих рассказах и повестях Фет погружался в разные периоды жизни: в «Первом зайце» и «Дядюшке и двоюродном братце» отразились детство и студенческая юность, в рассказе «Кактус» запечатлен эпизод из истории взаимоотношений с Ап. Григорьевым, в трех прозаических сочинениях воспроизводится период армейской службы в Кирасирском Военного Ордена полку, дислоцировавшемся в Новороссийском крае («Каленик», «Семейство Гольц», «Не те»), последний рассказ — «Вне моды» — автобиографический портрет Фета последних лет жизни.

Потребность посмотреть на свое прошлое, осмыслить его и запечатлеть в словесном искусстве возникла у Фета после тридцати лет. Первый известный нам рассказ поэта «Каленик» (1854)¹⁸ написан, когда ему было 33—34 года. Второй — «Дядюшка и двоюродный братец» (1855) — создавался, по всей вероятности, почти одновременно с первым. Почему вдруг поэт, находившийся «на подъеме» творческих сил, обратился к прозе? «Лета к суровой прозе клонят», как го-

¹⁷ Эта встреча состоялась 29 мая (10 июня) 1853 г. См.: *Генералова Н. П.* И. С. Тургенев: Россия и Европа. Из истории рус.-европ. лит. и обществ. отношений. СПб., 2003. С. 376.

¹⁸ Этот и все последующие рассказы Фета датируются по первым публикациям.

ворил Пушкин? Или это было желание проверить свои способности в разных родах литературы? Ведь попробовал же он в начале 50-х годов написать неизвестную нам комедию, испытал себя на поприще драматургии, почему было не попробовать свои силы в качестве прозаика?

В это время закончился очередной этап в жизни Фета, наступила пора подведения каких-то итогов. Переломным моментом стал перевод Фета из Кирасирского Военного Ордена полка, где он служил в течение восьми лет (последние пять лет — в должности полкового адъютанта), в лейб-гвардии Уланский Его Высочества Наследника Цесаревича полк¹⁹, располагавшийся в Новгородской губернии. Смена места службы влекла за собой утрату привычного образа жизни, старых знакомств и связей. Бывший начальник кирасирской дивизии генерал-лейтенант А. А. Эссен, помогавший Фету при устройстве в уланы, при встрече с ним в Петербурге сказал: «Но тебя лично с новым местом службы поздравить не могу. — Мне, ваше превосходительство, — не привыкать к службе в поселении: я прямо из одного в другое», — ответил Фет. И услышал такую характеристику места своего нового назначения: «Ну, брат, этого не говори; там все-таки кругом помещики, люди, общество, а тут никого, кругом леса, медведи и волки. Кроме штабных, человеческого голоса не услышишь» (МВ. Ч. 1. С. 30 — 31).

Непосредственным поводом к переходу в уланский полк явилось известие о новом назначении командира Кирасирского Орденского полка К. Ф. Бюлера, у которого Фет служил адъютантом и с которым его связывали тесные дружеские отношения. «Это неожиданное обстоятельство, — пишет Фет в воспоминаниях, — как толчок разбудило меня. Хорошо было служить у начальника, у которого я был не только на положении домашнего человека, но, можно сказать, сына. Оставаться при других обстоятельствах в глухом поселении значило добровольно похоронить себя» (МВ. Ч. 1. С. 9). Насколько К. Ф. Бюлер был важен в жизни Фета, можно судить по тому, что без него не обошелся ни один армейский рассказ писателя. А неоконченное произведение «<Полковник Бергер>» Фет собирался целиком посвятить образу полкового командира. Сохранившееся начало автографа позволяет сделать такое предположение.

Рассказ «Каленик», по свидетельству Фета, был написан «от скуки одиночества» (МВ. Ч. 1. С. 37). По всей вероятности, работа над ним шла в 1853 г., после перевода в уланский полк. Ностальгия

¹⁹ Судя по *Летописи*, Фет, «прикомандированный к лейб-гвардии уланского его высочества полку, сдает должность адъютанта Орденского полка» поручику А. С. Мусину-Пушкину 2 мая 1853 г.; 3 июля 1853 г. «Фет приезжает в Петербург и является в уланский полк, отбывающий лагерный сбор в Красном селе» (С. 155). А. Григорович, историограф и офицер 13 Драгунского полка, указывает, что «перевод А. Фета в Л.-Гв. Уланский полк поручиком состоялся 28-го января 1854 года» (см.: *Григорович А. Указ. соч.* С. 182).

по жизни, прошедшей в Орденском полку, по товарищу детства И. П. Борису, с которым было связано поступление на военную службу в этот полк (знаменательно, что рассказ был напечатан с посвящением Борису), по славному денщику Каленику Вороненке, по армейскому быту, по доброму начальнику К. Ф. Бюлеру, с которым так приятно было предаваться любимому занятию — охоте, по друзьям-однополчанам и соседям-помещикам — вот чем наполнен рассказ «Каленик».

Повествование дробится на ряд фрагментов, в центре которых образ Каленика. Внешняя несвязность этих микро-сюжетов друг с другом, обусловленная «капризами» памяти, компенсируется ассоциативным сцеплением мыслей и впечатлений автора. Не линейная композиция с последовательным развертыванием действия, не «наизывание» эпизодов характеризуют нарративный тип «Каленика». Его неоднородное, сложное повествование по форме напоминает мозаику, которая встроена в своеобразное обрамление. Рассказ о денщике с необычным именем Каленик (история его появления в эскадроне, портретное описание, необычность поведения) помещен внутри истории о встрече в степи зимского щеня и о случившейся затем грозе. (Это тот самый эпизод, который неожиданно возник в воображении повествователя при рассматривании французского иллюстрированного издания.) Перед нами, таким образом, своеобразное «воспоминание в воспоминании»: объединенные в мозаику отдельные картины прошлого обрамляются воспоминанием о зимском щене и застигнутой путников грозе. Такая форма углубляет пространственно-временную перспективу текста, актуализирует творческую позицию читателя, вынужденного выстраивать реальную последовательность событий прошлого.

«Мозаичность», прерывистость повествовательной линии усиливает структурообразующую роль рассказчика. Его речь связывает между собой различные сцены, подчиняя их выражению авторской мысли о таинственности и загадочности жизни, о непостижимости тайн природы, о красоте мира, об истинной мудрости и преимуществах иррационального познания. Весь рассказ представляет собой монолог повествователя, причем рассчитанный на произнесение вслух²⁰.

Фрагменты, из которых складывается целостный облик Каленика, рисуют человека наивного, безыскусного, несколько чудакова-

²⁰ Повествователь и автор в рассказе Фета — одно и то же лицо. Это обусловлено своеобразием поэтики автобиографического произведения: «Типологическая особенность автобиографической прозы, — отмечает Н. А. Николина, — максимальная близость повествователя к автору. Образ повествователя в ней не просто одна из речевых масок автора, но и непосредственное самовыражение его как определенной языковой личности, обладающей конкретной биографией» (Николина Н. А. Поэтика русской автобиографической прозы. М., 2002. С. 112).

того, привлекающего естественностью и независимостью своего поведения, вместе с тем от природы одаренного, обладающего «неисчерпаемой мудростью». Этот самородок поражал окружающих обширностью своих познаний и точностью прогнозов. «Жаль, что на все расспросы относительно источника его сведений он, как истый мудрец, отвечал “не могу знать”, — комментирует повествователь, — а то, быть может, он открыл бы нам такие истины, до которых люди не дойдут и через 500 лет, а может быть, и никогда».

«Мудрость» и «образованность» в данном высказывании Фета разведены, подобно тому, как противоположны интуиция и разум. Эта оппозиция проходит через все повествование. Люди, обладающие «природным чутьем», противопоставлены в нем «благоразумным людям» (т. е. «обыкновенным»). Истина дается первым как откровение, синтетически, в то время как «благоразумные люди» постигают ее через анализ, посредством рациональной деятельности. Характерна в этом отношении эволюция образа Каленика. «Вероятно вследствие образования, — пишет Фет, — он уже считал для себя неприличным отвечать на вопросы о погоде, а я подозреваю, что он совершенно утратил свое второе зрение и вошел в чреду обыкновенных людей, о которых говорить более нечего». Как видим, «образование» разрушило природный талант Каленика, притупило интуицию и нивелировало его личность. Мысль о неоднозначной роли образования в жизни общества получила развитие в публицистических статьях поэта 70-х — 80-х годов. Но в них она приобрела иное звучание, рассматривалась вне зависимости от иррационального познания.

«Литературным предшественником» фетовского Каленика, по всей вероятности, был Калиныч, герой рассказа И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч» (1846). Оба героя — «дети природы», хорошо разбираются в природных явлениях, обладают так называемым «вторым зрением», которое помогает им ориентироваться в мире и делает их незаменимыми помощниками своих хозяев. «Калиныч <...> каждый день ходил с барином на охоту, — пишет Тургенев, — носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог»²¹. Каленик, по словам рассказчика, «на охоте <...> был незаменим: не держа отроду ружья в руках, он с козел так зорко все видел, что был мне чрезвычайно полезен» (с. 11). Любопытно, что характер участия в охоте Каленика и Калиныча примерно одинаков.

Не будет преувеличением сказать, что рассказ «Хорь и Калиныч», как и «Записки охотника» в целом, был любимым тургеньевским произведением Фета. Эти два героя как будто олицетворяют две ипостаси самого Фета, в котором органически сочетались способности рачительного хозяина и поэта, «рационалиста» и «идеалиста».

²¹ Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. Т. 3. М., 1979. С. 10.

Помимо других достоинств, близкой Фету оказалась очерковая природа произведения Тургенева. Впоследствии поэт много работал в жанре очерка («Из-за границы», «Заметки о вольнонаемном труде», цикл «Из деревни»). Рассказ «Каленик» своею формой тоже напоминает очерк: доминирующее положение в нем занимает документальное, автобиографическое начало; повествование организуется не событиями рядом, а «описаниями, нередко сопровождающимися рассуждениями»²².

«Записки охотника» могли быть известны Фету и по журнальным публикациям, и по изданию 1852 г. К сожалению, мы не знаем фетовской оценки этого произведения И.С. Тургенева, относящейся к началу 50-х годов. Зато есть более поздние и неизменно высокие отклики. Эта книга неоднократно упоминается Фетом на страницах публицистики. По крайней мере, дважды он обращается к очерку «Хорь и Калиныч», а именно — к впечатлившему его образу Хоря: в «Заметках о вольнонаемном труде» (1862)²³ и в брошюре «На распутье. Нашим гласным от негласного деревенского жителя» (1884)²⁴.

Первый рассказ Фета явился попыткой автора отстоять собственную творческую оригинальность, объяснить правомерность, объективную обусловленность непосредственного восприятия окружающего мира, возможность постижения тайн природы, истинного и прекрасного в ней при помощи чувств, интуитивного знания. Писатель старался показать, что жизнь человека не сводится к рациональному поведению, а гораздо чаще выходит за его пределы, поэтому и человеческий опыт в великом множестве насыщен иррациональностью. И в словесном отражении нашего мироощущения эмоциональное нередко доминирует над рациональным, гармония, музыкальность слов преобладает над их смысловым содержанием. Эти идеи получают развитие позднее в критических и публицистических статьях Фета. Они станут причиной разногласий поэта со многими современниками, непримиримых споров с Тургеневым.

Ретроспекция определяет и поэтику следующей повести Фета — «Дядюшка и двоюродный братец» (1855). Однако временная организация здесь несколько сложнее, что обусловлено формой «рассказа в рассказе». Одна из «мирных» повестей довольно неожиданно открывается «армейским» сюжетом. Предисловие к повести вводит в атмосферу офицерских развлечений, представляет бал в Дворянском Собрании, на котором танцевавший в первой паре адъютант объявляет «последнюю фигуру». Необычное название — «Начало и ко-

²² Хализев В. Е. Родовая принадлежность произведения // Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учеб. пособие / Под ред. Л. В. Чернец. М., 1999. С. 333.

²³ Фет А. А. Заметки о вольнонаемном труде // Фет А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. С. 100.

²⁴ <Фет А. А.> На распутье. Нашим гласным от негласного деревенского жителя. М., 1884. С. 7—8.

нец» — подчеркивает, с одной стороны, сюжетную автономность предисловия, с другой, стремительно пролетевшую жизнь главного героя повествования Ковалева. Основной текст повести представляет собой дневник штабс-ротмистра Ковалева, погибшего во время Венгерского похода²⁵ от первой же неприятельской пули. Этот дневник — «писаная тетрадь без начала и без конца» — в числе других вещей был оставлен на хранение повествователю уходящим в поход Ковалевым. Таким образом, в авторском предисловии перед нами опять воспоминания об армейских буднях, а уж далее, в дневнике героя, открывается его далекое прошлое — детство и юношество.

Жанровую специфику данного произведения Фет определил в предисловии к нему следующим образом: «...если не повесть, то, по крайней мере, несколько очерков». Повествование дробится на девять глав, соответствующих различным эпизодам из жизни героев. Композиция «Дядюшки и двоюродного братца», по наблюдениям Б. Садовского, напоминает роман М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»: «Любопытно, — отмечает исследователь, — что начало рассказа написано в чисто лермонтовской манере, подтверждающей яркое увлечение “Героем нашего времени”, о котором Фет рассказывает в “Ранних годах моей жизни”. Самое повествование ведется от вымышленного имени штабс-ротмистра Ковалева: записки его после смерти автора достались Фету, как Лермонтову дневник Печорина» (Садовской. С. 70—71).

Однако композиционное строение фетовского произведения, а также варьирование в предисловии словесной формулы «начало и конец» — «без начала и без конца» позволяют обнаружить и другую генетическую линию повести «Дядюшка и двоюродный братец». Она ведет к автобиографической прозе Аполлона Григорьева, точнее, к его трилогии об Арсении Виталине. Первая часть этой трилогии называется «Человек будущего» (1845) и имеет подзаголовок: «Рассказ без начала и без конца, а в особенности без “морали”». Любопытно, что посвящен этот рассказ А. А. Фету. Он состоит из семи глав, композиционным центром произведения является четвертая глава — «Записки софиста». Так назывался дневник Виталина, отрывки из которого повествователь представляет своему читателю.

Вторая повесть Аполлона Григорьева из цикла о Виталине называется «Мое знакомство с Виталиным» (1845) и имеет подзаголовок: «Продолжение рассказа без начала, без конца и без морали». Она со-

²⁵ «Венгерский поход», который упоминается в предисловии, — реальный эпизод из истории Кирасирского Орденского полка, принимавшего участие в усмирении восстания венгерских революционеров в 1849 г. Находясь в резерве, полк не участвовал напрямую в боевых действиях. Однако 10 июля 1849 г. он снялся по распоряжению с постоянного места и двинулся к западной границе, к Ново-Миргороду, «где разместился на широких квартирах до 7-го сентября, когда проследовал в Ново-Георгиевск» (См.: Григорович А. Указ. соч. С. 148).

стоит из трех частей, причем центральная часть — «Записки Виталина» — дневник этого героя, «случайно» попавший к повествователю и предназначенный для передачи Виталину. Завершает трилогию о Виталине повесть «Офелия» (1846), напечатанная с двойным подзаголовком: «Одно из воспоминаний Виталина. Продолжение рассказа без начала, без конца и в особенности без морали». Способ подачи художественного материала здесь напоминает предыдущие повести Ап. Григорьева и аналогичен фетовскому.

Двойная отсылка автора в предисловии к «Дядюшке и двоюродному братцу» к подзаголовкам повестей Ап. Григорьева, а также сходство композиционного строения названных произведений представляются не случайными. Основу повести Фета составляют воспоминания о детстве, юности и периоде студенческой молодости. А студенческая жизнь поэта была теснейшим образом связана с Аполлоном Григорьевым, его однокурсником по Московскому университету. Возможно поэтому в его повести появляется герой с именем «Аполлон». Оно ассоциировалось у Фета с конкретным человеком и наполнялось вполне конкретным содержанием. Хотя в личности и в судьбе Аполлона Шмакова едва ли есть что-либо общее с Аполлоном Григорьевым, тем не менее в повести постоянно ощущается незримое присутствие его университетского друга. Оно проявляется в реминисценциях из прозы Григорьева, а также в обилии русских народных песен на страницах произведения²⁶.

Особую ценность этой повести Садовской видел в ее автобиографизме: «Кое-что из описанного здесь всплыло впоследствии в “Ранных годах моей жизни”, например, фигуры домашних учителей и горничной Аннушки, отца и тетки Любви Неофитовны Шеншиной (в рассказе она названа Верой Петровной Шмаковой, а имение ее село Пальчиково — селом Мизинцевым). В рассказе разные семейные подробности и воспоминания гораздо свежее, жизненнее и, несомненно, вернее, чем в “Ранных годах моей жизни”, где для утомленного жизнью семидесятилетнего старика все впечатления детства успели слиться в серую однообразную ленту давно минувших событий, уже ставших чуждыми сердцу. Здесь рассказ молодого тридцатипятилетнего человека об эпохе, ему еще очень близкой. Будущий биограф Фета много почерпнет из “Дядюшки и двоюродного братца”. Фет рассказывает о своем детстве, этой наименее известной нам поре своей жизни» (Садовской. С. 70).

Перед нами своеобразная «семейная хроника», в которой повествуется о двух родственных семьях, о судьбах двоюродных братьев — молодых дворянских отпрысков: Ковалева (автобиографический образ, он не имеет имени) и Аполлона Шмакова (прототип — сын Л. Н. Шеншиной Капитон).

²⁶ См. об этом: Черемисинова Л. И. Афанасий Фет и Аполлон Григорьев: диалог в прозе // Афанасий Фет и русская литература: XVIII Фетовские чтения / Под ред. М. В. Строганова, Н. З. Коковинной. Курск, 2004. С. 122—137.

Повесть «Дядюшка и двоюродный братец» типологически сопоставима с автобиографическими повестями Л. Н. Толстого: «Детство» (1852) и «Отрочество» (1854)²⁷, однако о прямой зависимости его прозы от толстовской говорить не приходится. Фет, в отличие от Толстого, совмещает в своем повествовании разные эпохи развития личности; нет в его произведении изображения процесса протекания душевной жизни, так называемой «диалектики души». Однако нельзя не отметить немало совпадений при воссоздании атмосферы детства, погружение в его заботы и интересы, что объясняется не только общими для определенного социального слоя реалиями, но и общими источниками, на которые ориентировались авторы, обращавшиеся к воспоминанию этого периода жизни своих героев²⁸. Особенно показательна первая глава повести, «Журнал», посвященная собственному детству. В центре этой главы — образ учителя Василия Васильевича. Примечательно, что первая глава повести Толстого «Детство» — «Карл Иванович» — тоже рассказывает о гувернере, воспитателе Николеньки Иртеньева. Вспоминая события этого времени, своих учителей, родителей, осмысляя минувшее, Фет пишет: «Говорят, детство самое блаженное время. Для меня оно было исполнено грозных, томительных призраков, окружавших такую же тяжелую действительность. Единственная моя отрада в грустных воспоминаниях детства — сознание <...> что меня воспитывали не просто так, а по системе!»

Любопытен некоторый параллелизм событийной основы. Так, толстовское «Детство» начинается с описания последнего дня в деревне, продолжается изображением отъезда мальчиков в Москву, именин бабушки, завершается смертью матушки и Натальи Савишны. Начальные события фетовской повести выглядят так: история с

²⁷ Знаменательно, что в одном из поздних писем к Я. П. Полонскому (от 1 января 1888 г.) Фет вспоминал: «В семье Толстых до сих пор хранится мое письмо, в котором я при появлении «Детства» и «Отрочества» предсказывал Толстому его славу» (Соч. Т. 2. С. 336). Хотя письмо, о котором говорит Фет, неизвестно и вряд ли могло быть написано сразу по появлении «Детства» и «Отрочества» (Фет, согласно его же воспоминаниям, познакомился с Толстым, еще не читая «ни одной его строки» и «даже не слышал о нем как о литературном имени, хотя Тургенев толковал о его рассказах из детства...» — МВ. Ч. 1. С. 106), несомненно одно: произведения Толстого сразу вызвали у Фета восторженноеприятие.

²⁸ Среди источников взглядов Толстого на воспитание и формирование ребенка исследователи отмечают влияние Р. Тепфера, Диккенса, Стерна, Руссо, Карамзина (см.: Краснощекова Е. А. *Dildungsroman*: из 18-го века в 19-ый (Трилогия Льва Толстого и «Библиотека моего дяди» Родольфа Тепфера) // Рус. лит. 2006. № 2, а также: Спектор Н. Б. О «стерновской» и «карамзинской» чувствительности в интерпретации молодого Л.Н.Толстого // Карамзинский сборник: Биография. Творчество. Традиции. XVIII век. Ульяновск. 1997, и др. За указание на эти работы благодарю А. Г. Гродецкую.

учительским журналом, именины матушки, отъезд вместе с дядюшкой и двоюродным братом на учение в Москву²⁹.

Середину 50-х годов XIX в., вслед за Б. Ф. Егоровым, по праву можно назвать «мемуарной эпохой», так как она была отмечена всеобщим интересом к созданию и чтению воспоминаний, документов, собраний писем; «литература дала тогда читателям основные части “Былого и дум” Герцена и “Семейную хронику” С. Т. Аксакова, а также обилие автобиографических повестей о детстве и юности»³⁰. Первые прозаические опыты А. А. Фета — «Каленик» и «Дядюшка и двоюродный братец» — органично влились в автобиографическую струю русской литературы.

60-е годы были особенными в жизни «переворотившейся» России и в жизни А. Фета. «...Ему суждено было пережить эпоху, — писал Д. Дарский, — особенно опасную для чистоты эстетических идей, когда первостепенные нужды самой жизни заставляли себе служить даже наиболее от нее удалившихся. Кругом шла страдная, чернорабочая общественная пора; ломались вековые устои, по новому плану перестраивалось государственное здание, ставились дотоле неслыханные национальные и личные проблемы. Весь ум и совесть страны были призваны к дружному напряжению. Публицисты и мыслители, художники и поэты — все одинаково подчинили свои дарования запросам общенародного дела»³¹.

Известно, что в пореформенные годы Фет в прямом смысле «подчинил свое дарование запросам общенародного дела», и вряд ли в литературной среде найдется пример аналогичной самоотдачи. Стихи писать он не прекратил, но не они были главным делом его жизни в это десятилетие. Фет оказался одним из первых преобразователей русской деревни, создателем фермерского хозяйства на своем хуторе Степановка. Его деятельность во всех подробностях отразилась в двух очерковых циклах: «Заметки о вольнонаемном труде»³² и «Из деревни»³³.

Непосредственное участие в реформировании русской жизни и работа над публицистическими статьями целиком поглотили Фета. Новых прозаических произведений в это время не выходило. Однако

²⁹ Подробнее об этом см.: *Черемисинова Л. И. А. А. Фет и Л. Н. Толстой: творческий диалог* (Из комментариев к прозе Фета) // *Афанасий Фет и русская литература: XIX Фетовские чтения* / Под ред. Н. З. Коковиной, М. В. Строганова. Курск, 2005. С. 95—106.

³⁰ *Егоров Б. Ф. Художественная проза Ап. Григорьева* // *Григорьев А. Воспоминания*. Л., 1980. С. 355.

³¹ *Дарский Д.* «Радость земли»: Исследование лирики Фета. М., 1916. С. 12.

³² *Фет А. А.* Заметки о вольнонаемном труде // *РВ*. 1862. Т. 38. № 3 (март). С. 358—379; № 5 (май). С. 219—273.

³³ *Фет А. А.* Из деревни // *РВ*. 1863. Т. 43. № 1. С. 438—470; Т. 44. № 3. С. 299—350; 1864. Т. 50. № 4. С. 575—626; Лит. библиотека. 1868. № 2. С. 90—124; Заря. 1871. № 6. С. 3—86.

в середине 60-х годов, как об этом свидетельствует письмо И. П. Борисова от 22 января 1865 г.³⁴, Фет продолжал работать над сюжетами из армейского прошлого, над так называемыми «крыловскими» рассказами. О каких именно рассказах идет речь в письме, вряд ли можно сказать достоверно, поскольку произведения эти не называются. У Фета есть несколько повествований на «крыловскую» тему, с местом действия в городе Крылове³⁵ (Новогеоргиевске) Херсонской губернии. Два из них остались незаконченными — «<Корнет Ольхов>» и «<Барон Бергер>», два завершены и опубликованы в начале 70-х годов — «Семейство Гольц» и «Не те».

Именно время службы в Новороссийском крае отразилось в художественной прозе Фета. Данному периоду посвящена также большая часть воспоминаний «Ранние годы моей жизни». Видимо, эти восемь армейских лет были серьезной школой жизни для Фета, оставили после себя желание возвращаться к ним, преобразовывая в эстетическую реальность, запечатлевая в памяти потомков колоритное новороссийское прошлое. «Время военной службы было второю яркою эпохой в жизни Афанасия Афанасьевича, — писал Н. Н. Страхов в биографическом очерке о Фете. — Много трудов и волнений, много радостей, строгая дисциплина службы, множество разнообразных лиц, успехи в любви, в дружбе, в литературе — всем была богата эта жизнь. И можно прямо сказать, что на Афанасии Афанасьевиче до конца были ясно видны два отпечатка: старого помещичьего быта, с его тонкою общительностью и изяществом жизни, и военной службы николаевских времен, с ее строгим пониманием власти и обязанности» (*ПССМ* 1912. С. 5—6).

Два неоконченных Фетом прозаических фрагмента интересны своим исповедальным характером. В центре первого — двадцатидвухлетний корнет П. П. Ольхов (Ольхин). Этот образ явно автобиографический, в нем запечатлен Фет вскоре после получения первого офицерского чина. Служба героя в уланском полку в г. Крылове, производство в корнеты, университетское прошлое, сложные отношения с отцом, который обладал «бычливым нравом», страсть к охоте, наличие собаки по кличке Трезор — эти и многие другие факты напоми-

³⁴ См. об этом письме и о «крыловских» рассказах Фета в примечаниях к делу «Неоконченное» наст. тома.

³⁵ «Небольшой город Крылов, — писал Фет, — получил официально имя Новогеоргиевска со времени поступления в него полкового штаба Военного Ордена полка. Широкая, особенно в весенний разлив, река Тясьмин, впадающая в Днепр и позволяющая грузить большие барки, давала возможность местным купцам, промышлявшим большею частью убоим скота для саловарен, производить значительный торг салом, костями и шкурами. Зажиточные купцы, большей частью раскольники, держали свои калитки на запоре и ни в какое общение с военными не входили. Грунт улиц был песчаный, но довольно твердый; зато во всем городе не было признака мостовой, как во всех малороссийских городах того времени» (*РГ*. С. 270).

нают реалии из биографии Фета. Любопытен «внутренний» портрет корнета Ольхова (Ольхина), изображенный здесь, особенно — его рассуждения о раздвоенности своей личности, о «ежеминутном расщеплении» ее, которого требовала от него жизнь: «То это был ленивый, созерцательный, мечтательный байбак, то кипящий жаждою деятельности, рьяный, торопливый П. П. ...». Сочетание «созерцательного байбака» и «деятельного» человека в натуре героя напоминают склонность к созерцательности и в то же время к практической деятельности в натуре самого Фета.

Второй прозаический фрагмент рисует образы барона Николая Карловича Бергера (его прототипом явился полковник К. Ф. Бюлер) и поручика Сергея Сергеевича Мусинского (автобиографический образ). События и люди, о которых повествуется здесь, не вымышлены, они соответствуют фактам из позднее написанных воспоминаний (РГ. С. 435—438, 454, 462)³⁶. Фет рассказывает об обстановке в полку после своего назначения на должность адъютанта, представляет личность командира Бюлера. В данном фрагменте описывается диалог между С. С. Мусинским и Н. К. Бергером, происходивший на квартире командира, за чашкой чая. Предметом разговора полковника и его адъютанта явились как служебные дела, так и далекие от службы интересы (например, обсуждение новинок французской литературы).

Историограф Кирасирского Орденского полка А. Григорович, опираясь на воспоминания офицеров этого полка А. С. Мусина-Пушкина и И. П. Бернарди, писал, что К. Ф. Бюлер был человеком хлебосольным, любил приглашать офицеров к себе домой, и находившиеся при штабе почти ежедневно у него обедали; в их числе был исполнявший должность полкового адъютанта Фет. «Во время обедов было всегда очень весело — Бюлер был разговорчив, знал множество остроумных анекдотов и, рассказывая их, оставался совершенно серьезным. <...> Бюлер, рассказывая офицерам какое-либо невероятное происшествие, обыкновенно ссылаясь на Фета, как на свидетеля, и Афанасий Афанасьевич, в свою очередь, продолжал рассказ не менее интересно и забавно»³⁷. В то же время Бюлер, по мнению его подчиненных, «был серьезный и дельный командир, в строю он требовал точнейшего исполнения обязанностей службы, вне же службы являл себя товарищем, но обладал таким тактом, что никто из офицеров не забывался и не допускал лишнего слова в его присутствии»³⁸. С приходом Бюлера многое в полку изменилось, «времена Энгельгардта, жившего месяцами в Одессе, и слабохарактерного Кнорринга канули в вечность. Бюлер частенько наведывался в эскадроны, присутствовал на занятиях и обращал большое внимание на работу младших офицеров; самовольные их отлучки из эскадронов и малейшие

³⁶ См. об этом в примечаниях к разделу «Неоконченное» наст. тома.

³⁷ Григорович А. Указ. соч. С. 144.

³⁸ Там же. С. 144.

упущения по службе вызывали приглашение провинившихся на квартиру к командиру для объяснений, а затем начали отмечаться выговорами в приказе. Строгий тон полковых приказов, по мнению молодежи, возник якобы не без влияния нового полкового адъютанта. Происходили недоразумения из-за очереди нарядов на дежурство, но по выяснении очередь велась совершенно правильно и причину возникновения пререканий нетрудно было видеть в инициативе лиц, считавших себя старшими Фета кандидатами на адъютантскую должность»³⁹.

Все эти сведения помогают понять и содержание незавершенного рассказа «<Полковник Бергер>», и личность главного героя. С одной стороны, они подтверждают достоверность событий, представленных в автобиографической прозе А. А. Фета, с другой — позволяют увидеть одну важную особенность Фета-прозаика. Следуя правде жизни, он останавливался перед ее «непочатостью» (если воспользоваться термином Ап. Григорьева), незавершенностью. Писатель оказывался в положении летописца, который терялся в обилии подробностей. Возможно, по этой причине названные рассказы остались незаконченными. Поэт как будто «завяз» в одном случае — в саморефлексии героя, в другом — в диалоге. Двинуть фабулу вперед не получилось.

Оба прозаических фрагмента, хотя и остались в отрывках, представляют несомненную ценность и как факт творческой деятельности А. А. Фета, и как важный биографический документ, позволяющий приоткрыть малоизвестные страницы жизни писателя. Характерная неспешность повествования, преобладание в нем статических элементов над динамическими, почти полное отсутствие событийной линии — таковы свойства прозаической манеры Фета, проявившиеся и в этих неоконченных сочинениях.

«Крыловская» тема получила развитие в двух произведениях начала 70-х годов: «Семейство Гольц» (1870) и «Не те» (1874). «Семейство Гольц» знакомит с судьбой ветеринара Гольца (герой не имеет имени), спившегося, опустившегося человека, который истерзал свою семью, довел до самоубийства жену, оставил троих детей сиротами. Сюжет рассказа (с таким жанровым определением, данным в подзаголовке, он был опубликован), прямо скажем, не «фетовский», если вспомнить его эстетические взгляды, его оценки произведений писателей-современников. Предметом изображения в искусстве, согласно воззрениям Фета, является красота. Будничная жизнь воспринималась поэтом как антагонист искусства. «Все верно, правдиво, — писал он Л. Н. Толстому о «Поликушке» 11 апреля 1863 г., — но тем хуже... Я даже не против сюжета. А против отсутствия *идеальной чистоты*» (Соч. Т. 2. С. 221). Тем не менее именно «проза» жизни стала предметом эстетического осмысления Фета в повести «Семейство Гольц».

³⁹ Там же. С. 162.

Это единственное произведение, события которого не отразились в воспоминаниях Фета, что не мешает, однако, найти в нем автобиографические реалии. «Действие происходит в Новороссии, в кирасирском Орденском полку, — писал Б. Садовской, — где сам Фет был в то время адъютантом, следовательно, во второй половине 40-х годов»⁴⁰. Несомненно, что Гольц и его семейство существовали в действительности, как и Каленик, и Фет мало что изменил в них; доктору же Иринарху Ивановичу Богдавленскому приданы черты известного переводчика Диккенса, литератора и педагога 40-х — 50-х годов Иринарха Ивановича Введенского» (Садовской. С. 71).

В самом деле, город К..., где разворачивается драматическая история семейства Гольц, — это город Крылов, о котором Фет пишет в повести, что он «с самого учреждения военных кавалерийских поселений в Новороссийском крае был центром военного округа, а следовательно и штабом полка, и в нем одновременно были два ведомства: поселенное, к которому между прочим принадлежал сам Гольц, и действующее, то есть полковой командир и 1-й эскадрон поселенного полка». Имеют прототипическую основу образы полкового командира Карла Федоровича В... — Бюлера, его адъютанта, а также начальника округа Федора Федоровича Гертнера (Федор Федорович Вернер).

Между тем «Семейство Гольц» не является простой зарисовкой с натуры: реальность главных персонажей документально не подтверждается. Фет в этом рассказе создает художественно преобразованную действительность, возможно, развивая какой-то вымышленный сюжет. Не случайно И. П. Борисов отмечал «литературность» этого произведения⁴¹ (см. ниже в преамбуле к рассказу).

Будучи образованным и тонким читателем, И. П. Борисов заметил следы творческого взаимодействия с прозой Л. Н. Толстого в «Семействе Гольц». «Льва Никол<аевича> Толстого, — писал он, — я прочел у тебя на стр <анице> 287 снизу, начиная с “Я люблю отца” и т. д. Это как будто его почерк, а не твой»⁴². В этом нет ничего удивительного, поскольку Фет и Толстой долгое время (почти четверть века) были ближайшими друзьями, «литературными советниками» и критиками⁴³. Толстой был для Фета подлинным мастером и литератур-

⁴⁰ Фет исполнял должность полкового адъютанта с 5 февраля 1849 по 2 мая 1853 г. (См. *Летопись*. С. 151, 155); К.Ф. Бюлер командовал Кирасирским Орденским полком с 21 апреля 1848 г. по 7 февраля 1853 г. (См.: *Григорович А.* Указ. соч. С. 214).

⁴¹ *РО ИРЛИ*. Ф. 337. Ед. хр. 20272. Л. 205.

⁴² Там же. Л. 206об.

⁴³ О взаимоотношениях А. А. Фета и Л. Н. Толстого см.: *Розанова С. А.* Лев Толстой и Фет (История одной дружбы // *Рус. лит.* 1963. № 2. С. 86—107; *Маймин Е. А.* А. А. Фет и Л. Н. Толстой // Там же. 1989. № 4. С. 131—142; *Черемисинова Л. И.* А. Фет и Л. Толстой. К истории отношений // *Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета*: Сб. науч. тр. Курск, 1992. С. 146—166; *Корчагина Л. П.* Диалог «умов сердца» (переписка Фета с Толстым) // Там же. С. 166—

ным «кумиром». Перед мощью его таланта Фет склонялся до последних дней жизни, вопреки непримиримым идеологическим разногласиям, прервавшим их многолетнюю дружбу в 80-е годы. О нем поэт написал в предисловии к *РГ*: «...в деле критики литературного интереса едва ли можно отыскать более надежного судью, чем гр. Л. Н. Толстой» (*РГ*. С. 1). Поэтому ориентация на толстовскую прозу, явленная в художественных произведениях А. А. Фета, была объективно обусловленной.

Обратимся к указанному И. П. Борисовым фрагменту. Героиня рассказа, дочь кременчугского аптекаря Александра Александровича Зальмана, Луиза размышляет накануне решения выйти замуж за поселенного ветеринара Гольца: «Я люблю отца, — думала она, — и мешаю ему жить. Чувствую, что я всех люблю и желаю всем добра, а выходит, что все меня любят, а я только всем мешаю. Все это какая-то ложь. Отец, может быть, и прав, и мое беспричинное нерасположение к Гольцу, может быть, тоже ложь. Одно ясно и несомненно, если я недовольно люблю отца, если я, как он говорит, люблю только себя, то мне нельзя оставаться в этом доме. Кто знает, может быть, судьба действительно посылает Гольца спасти меня? Недаром он сказал: «Es muss biegen oder brechen!»⁴⁴. Вот оно, я чувствую, сердце мое разрывается». После жгучей бессонницы, в продолжение которой все, что могло болеть, переболело в душе девушки, кризис совершился, и к утру она уснула. Проспав долее обыкновенного, она встала как бы другим существом. Она решила и за кофеем объявила отцу о своем согласии выйти за Гольца ...» (*Соч.* Т. 2. С. 90).

Фет обращается к толстовской проблематике, использует его категории («добро», «ложь», «любовь»), само описание процесса взвешивания важного жизненного решения здесь действительно напоминают Л. Н. Толстого. Нельзя не заметить и особой стилистической манеры, в которой написан данный фрагмент. Вероятно, прежде всего ее имел в виду И. П. Борисов, когда указывал на «толстовский почерк» в рассказе Фета. Действительно, обилие повторов, прерывистость и нагромождение фраз, хотя и оправданы внутренним мироощущением героини, создают впечатление некоторой косноязычности, тяжеловесности. В этой связи уместно вспомнить замечания о толстовском слоге А. П. Чудакова: «Слово Толстого — самое неподатливое слово русской прозы. Отбор лексического материала крайне далек от выбора по принципу поэтической семантики. Если говорить о магии толстовского слова, то это магия логики, это логически ориентированное слово»⁴⁵. Аналогично мнение исследователя о толстовском синтаксисе: «Синтаксическое строение (как и слово) подчине-

183; Волохова Н. В. Фет и Толстой: творчество как опыт самопознания // А. А. Фет и русская литература: XV Фетовские чтения. С. 235—242 и др.

⁴⁴ Не добром, так силой (*нем.*).

⁴⁵ Чудаков А. П. Слово — вещь — мир. От Пушкина до Толстого. М., 1992. С. 135.

но движению мысли. Ближайшая синтаксическая параллель к прозе Толстого — научная речь. В построении фразы оставлено без внимания все, кроме потребностей уяснения мысли. И это обнажается. Период “лепится” на глазах читателя посредством добавления все новых и новых логических звеньев. Эффект рождения и утверждения правды о предмете доминирует над всем»⁴⁶.

Несмотря на некоторую заостренность проблемы, поставленной Чудаковым, следует признать, что фетовское слово (речь идет только о его прозе) безусловно является логически ориентированным словом.

Л. Н. Толстой высоко оценил рассказ «Семейство Гольц». Сделав некоторые замечания, он подчеркнул достоинства произведения и тем самым ободрил поэта, подвигнул на дальнейший труд на прозаической ниве. (Письмо с отзывом Л. Н. Толстого см. в примечаниях к «Семейству Гольц».) Возможно, не без дружеской поддержки Толстого Фет вскоре создал очередное прозаическое сочинение — рассказ «Первый заяц», опубликованный в журнале для детей и юношества «Семейные вечера» в 1871 г., без малого через год после «Семейства Гольц». Причем рассказ был напечатан с посвящением «маленькому приятелю графу С. Л. Толстому». Он стал знаком семейной дружбы Фета с Толстыми.

«Первый заяц» — это охотничий рассказ, имеющий автобиографическую основу. Фет вспоминает о своем отрочестве, о начале охотничьей жизни, о первом охотничьем трофее. Он обстоятельно излагает подробности того памятного дня, обращая внимание на детали интерьера, одежду и прически всех домочадцев, подробно воссоздает атмосферу ожидания приезда любимого дядюшки, Петра Неофитовича Шеншина, с которым отец часто ездил охотиться. Растянутость повествования соответствует сюжету. Даже изображение внезапных сборов на охоту и добычи зайца не меняют плавного течения рассказа, преобладания в нем описательного элемента. Фет тщательно фиксирует все нюансы события, сыгравшего значительную роль в его жизни.

Интересна дальнейшая судьба фетовского «Первого зайца»: через несколько лет после появления в печати у него появился «двойник». Это рассказ Л. Н. Толстого «Как я в первый раз убил зайца», включенный с подзаголовком «Рассказ барина» в состав «Первой русской книги для чтения» (1875)⁴⁷. Подвергнув существенной редакции фетовский рассказ, Толстой адаптировал его к детскому восприятию: значительно сократил, убрал все описания, схематизировал сюжетную основу. Получилось другое произведение, однако таким образом «Первый заяц» обрел «вторую жизнь» — в детской литературе.

⁴⁶ Там же. С. 136.

⁴⁷ См. примечания к письму Л. Н. Толстого от 17 ноября 1870 г. // *Толстой. Переписка*. Т. 1. С. 406.

Завершает триаду повествований 70-х годов рассказ «Не те» (1874). В центре внимания автора — изображение царских смотров, проходивших 20—23 сентября 1852 г. в Елисаветграде (ныне г. Кировоград)⁴⁸. Обращение Фета к этой теме через 20 лет после увольнения из кирасирского полка, возможно, сопряжено со следующим обстоятельством. Весной 1873 г. в Петербурге проходили учения 13 Драгунского Военного Ордена полка — того самого, в котором когда-то служил Фет⁴⁹. Полк был вызван в столицу для прохождения общего Высочайшего смотра в присутствии императора германского Вильгельма I. Во время учений полк неоднократно удостоивался похвал императора Александра II и своего августейшего шефа, великого князя Михаила Николаевича. «24 апреля 1873 г., — отмечал А. Григорович, — состоялся отдельный смотр полка, причем при прохождении церемониальным маршем впереди полка были все три Шефа⁵⁰. Государь Император изъявил полку свое удовольствие за отличное состояние, а Император Германский благодарил полк в самых лестных выражениях»⁵¹.

Это событие не могло не подействовать на Фета и не вызвать в памяти те высочайшие смотры, участником которых был он сам. О значении и смысле царских смотров он рассуждает в рассказе «Не те». Это своего рода «последняя песнь» об Орденском полку⁵², выучка, дисциплина и красота которого в течение многих лет приводили в восторг Николая I. По окончании смотра 1851 г. царь обратился к командиру полка со следующими словами: «Бюлер, возьми полк, как он есть, в шкаф и запечатай. Я лучше не хочу» (РГ. С. 510). А после завершения смотра 1852 г., последнего в жизни российского императора и в жизни кирасира-Фета, «государь вызвал к себе всех офицеров 2-ой кирасирской дивизии и сказал: “Благодарю вас, господа, вы показали себя истинными молодцами. Вы

⁴⁸ См об этом смотре: Григорович А. Указ. соч. С. 172—178. Смотр проходил в присутствии Николая I и двух его сыновьев — великих князей Николая и Михаила (последний, в то время 19-летний юноша, в 1864 г. стал шефом полка).

⁴⁹ 25 марта 1864 г. Кирасирский Военного Ордена полк стал именоваться 13 Драгунским Военного Ордена полком. См. об этом «Хронику полка» в кн.: Григорович А. Памятка ордена. 1709—1909. СПб., 1909. С. 68.

⁵⁰ 20 февраля 1871 г. Высочайшим указом были утверждены три шефа Орденского полка: первым шефом стал император германский, король прусский Вильгельм I, вторым — великий князь Михаил Николаевич, а третьим — фельдмаршал граф Берг (См.: Григорович А. Памятка ордена. С. 56).

⁵¹ Там же. С. 57.

⁵² «Орденский полк, — писал бывший офицер полка И. П. Бернарди, — действительно выделялся из числа других. Нижние чины, в особенности унтер-офицеры, отличались высоким ростом, красивой наружностью и умением ездить. Лошади были необычайного роста <...>. Эти лошади, несмотря на свой рост, с большою легкостью исполняли крутые повороты, нежели теперешние лошади» (Цит. по: Григорович А. История 13 Драгунского Военного Ордена полка. С. 178).

славно мне служили и уверен, что вы так же славно будете служить моему сыну, моему внуку”». «Когда мы повернули лошадей, — рассказывал впоследствии И. П. Бернарди, — император добавил: “И прощайте”». Слова государя оправдались — это было его последнее посещение». В записках П. В. Кащенко и И. П. Бернарди упоминается, что по возвращении в Петербург государь изволил выразиться: «В эту поездку я видел два чуда: Киевский мост и Орденский полк»⁵³.

Рассказ «Не те» — это история о личной встрече адъютанта Фета с великим самодержцем Николаем I и об обстоятельствах, в которых она проходила⁵⁴. Насколько это событие было важно для Фета, свидетельствует тот факт, что в *РГ* он почти полностью повторил данный рассказ, снабдив предисловие замечанием: «Если помимо моего желания я пристрастен, то это по отношению к одному Государю Николаю Павловичу. Но и в этом случае я останавливаюсь на близко мне известном» (*РГ*. С. 2).

Документальная фактографическая основа составляла базу всех прозаических сочинений Фета. Он почти не придумывал сюжетных ситуаций, а брал их из реальной жизни, обычно — из собственного житейского опыта. В этом смысле его поэзия противоположна прозе: насколько в поэзии были важны вдохновение, иррациональное начало, «лирическая дерзость», настолько в прозе следование правде жизни оказывалось необходимым условием правды искусства. Вероятно, это понимал Л. Н. Толстой, остерегая поэта от «замысла положений и характеров»⁵⁵. А может быть, Толстой считал, что художественный вымысел не давался Фету.

На реальных событиях основаны и последние два эпических произведения А. А. Фета — рассказы «Кактус» (1881) и «Вне моды» (1889).

«Кактус», подобно «Дядюшке и двоюродному братцу», представляет собой «рассказ в рассказе»⁵⁶. В нем два взаимосвязанных сюжета. Главное событие первого, обрамляющего сюжета, — расцвет кактуса, в центре второго — личность Аполлона Григорьева и пение цыганки Стеши. Такая композиция — предваряющее описание цветка как метафора последующего изображения жизни человека — будет использована позднее Л. Н. Толстым в повести «Хаджи-Мурат». Автобиографический характер имеет, как справедли-

⁵³ Григорович А. История 13 Драгунского Военного Ордена полка. С. 178.

⁵⁴ Сохранилось графическое изображение этого события — репродукция с рисунка И. Шарлеманя «Высочайший смотр 1852 года. “Не те”», воспроизведенная в книге А. Григоровича «История 13 Драгунского Военного Ордена полка» (С. 177). См. с. 394 наст. тома.

⁵⁵ См. примечания к рассказу «Семейство Гольц».

⁵⁶ О жанровой специфике рассказа «Кактус» см.: *Калырина Т. А.* К вопросу о жанровой природе «Кактуса» // Афанасий Фет и русская литература: XVIII Фетовские чтения. С. 111—115.

во отметил М. В. Строганов, и тот сюжетный слой, который связан с историей кактуса, и тот, который находится внутри него⁵⁷.

В центре повествования — личность А. А. Григорьева середины 50-х годов, его музыкальные вкусы, образ жизни. Известно, что ко времени выхода рассказа в свет Аполлона Григорьева давно уже не было в живых (он умер 28 сентября 1864 г.). Его отношения с Фетом после окончания университета были неровными. От былой дружбы осталась только память, но, видимо, ее образы были так сильны, а прошлое так значимо для Фета, что он решил запечатлеть их для потомков, написав рассказ о своем студенческом друге. «Да — есть связи на жизнь и смерть», — признавался Ап. Григорьев, вспоминая Фета в «Листках из рукописи скитающегося софиста»⁵⁸. Это подтвердил и Фет своим рассказом «Кактус».

Интересно, что писатель не стал выдумывать какого-нибудь вымышленного имени для главного героя и не скрывал его под криптонимами, хотя и то, и другое часто встречалось в его прозе. Личность Аполлона Григорьева была хорошо известна в России, значима для истории русской культуры. Никакой необходимости в шифровке не было, во-первых, потому, что его образ был легко узнаваем, во-вторых, потому, что Фет до конца дней дорожил этой дружбой.

«Это была природа в высшей степени талантливая, — так вспоминает рассказчик своего студенческого друга, — искренно преданная тому, что в данную минуту считал он истиной, и художественно чуткая. <...> В означенный период он был славянофилом и носил не существующий в народе кучерской костюм⁵⁹. <...> Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимую его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечки,
С голубыми ты глазами, моя душечка!

Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви красоте и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья».

⁵⁷ *Строганов М. В.* Из комментария к рассказу А. А. Фета «Кактус» // Там же. С. 97. Об автобиографических реалиях в рассказе «Кактус» см. примечания к нему.

⁵⁸ *Григорьев А.* Листки из рукописи скитающегося софиста // Григорьев А. Воспоминания. С. 93.

⁵⁹ Фет иронически относился к такому «опрощению». «Как будто бы нельзя быть русским, не нарядившись пляшущей козой», — выражал он позднее свое мнение о славянофилах (см.: *Соч.* Т. 2. С. 325).

Цыганское пение привлекало Фета с давних пор, еще до поступления в университет. В *РГ* он вспоминал о том, как был завсегдаем Zubовского трактира, увлекшись красивой цыганкой, кутил там, упивался пением цыган, а они умело опустошали его карманы (*РГ*. С. 127). Это увлечение продолжилось в студенческие годы, а затем и после окончания университета. Оно усиливалось пристрастием к цыганам Ап. Григорьева.

Песенная стихия буквально пронизывает рассказ «Кактус». Помимо цыганской «Венгерки», в «Кактусе» упоминаются две русские народные песни — «Вспомни, вспомни, мой любезный...» и «Слышишь ли, разумеешь ли...», звучащие в исполнении цыганки Стеши — певицы из знаменитого хора Ивана Васильева. Вкрапления русских народных песен в прозаические сочинения несколько непривычны для фетовской поэтики. Они, как и в повести «Дядюшка и двоюродный братец», обусловлены присутствием в тексте Аполлона Григорьева с его музыкальными интересами.

Подобно Ап. Григорьеву, посвятившему немало страниц своей художественной прозы другу студенческих лет, А. Фет запечатлел образ Ап. Григорьева в повести «Дядюшка и двоюродный братец», в рассказе «Кактус» и поэме «Студент»⁶⁰. Так продолжилось общение между двумя писателями, разошедшимися на время в разные стороны, разделенными временем и пространством, но не забывшими прошлого и запечатлевшими память о нем в произведениях искусства.

Рассказ «Кактус» — единственное из поздних прозаических сочинений Фета, нашедшее развернутый отклик в критике. Н. К. Михайловский, обзревая журналы за 1881—1882 гг., остановился на опубликованном в ноябрьской книжке «Русского вестника» произведении Фета и посвятил ему пространный и весьма тенденциозный разбор (см. подробнее в преамбуле к рассказу). Критика вообще довольно сдержанно встречала фетовские произведения. Правда, первый рассказ Фета был отрецензирован в нескольких ведущих журналах. В *Совр.* А. В. Дружинин, писавший под псевдонимом «Иногородный подписчик», призвал читателей быть снисходительными к первому прозаическому опыту поэта, «доставившего нам столько чистых и поэтических наслаждений»⁶¹. В целом доброжелательно отзывался о «Каленике» и *Москва*.⁶²

Более строго был оценен следующий рассказ Фета — «Дядюшка и двоюродный братец». У рецензента *Совр.* новое произведение Фета вызвало «тяжелое, скорбное чувство» (подробнее об этом и др. отзы-

⁶⁰ См. об этом: *Кошелев В. А.* «Я болен, Офелия...» (К истории лирического цикла) // А. А. Фет и русская литература: XVII Фетовские чтения. С. 35—60.

⁶¹ Письма "иногороднего подписчика" о русской журналистике. Март 1854 года // *Совр.* 1854. № 4. С. 106.

⁶² *Е<вгений> Э<дельсон>*. Журналистика // *Москва*. 1854. № 7. Апрель. С. 136.

вах см. в преамбулах к рассказам)⁶³. Еще более нелицеприятным был отклик критика *БдЧ*, назвавшего рассказ образцом «пустынной прозы»⁶⁴.

Последний рассказ Фета «Вне моды» (1889), по верному замечанию А. Е. Тархова, — наиболее «чистый» случай автобиографизма фетовской прозы⁶⁵. Это автопортрет старика Фета, попытка взглянуть на себя отстраненно, раскрыть основы своего мирозерцания, подвести некоторые жизненные итоги. Характерно, что печатался рассказ в промежутке между двумя публикациями в *РВ* воспоминаний поэта⁶⁶. Работа над ними, видимо, шла параллельно. «По болезни глаз ищу спасения в перелистывании собственной жизни, — писал Фет Я. П. Полонскому 1 января 1888 г., — немало не заботясь о времени появления автобиографии, которая, быть может, появится после моей смерти, если не погибнет» (*Соч.* Т. 2. С. 335). «Перелистывать собственную жизнь» Фет начал рано, с того момента, как задумал написать первое прозаическое сочинение. Но все его рассказы представляли собой отдельные, не связанные друг с другом страницы жизни, Фет же замыслил написать книгу жизни, чтобы понять, «что же значит эта долголетняя жизнь?» (*МВ.* Ч. 1. С. V). Рассказ «Вне моды» представляет собой своеобразную квинтэссенцию фетовских воспоминаний: в нем описывается «внутренняя» биография автора, обосновываются его жизненная позиция и философское кредо.

«Трудно даже назвать этот кусок прозы рассказом», — писал Б. Садовской (*Садовской.* С. 74). Трудность эта, вероятно, обусловлена отсутствием событийной линии. Сюжет прост: герои едут «за сто верст в другую губернию», на середине пути останавливаются в гостинице, ночуют, а наутро опять собираются в дорогу. При этом сама поездка оказывается лишь поводом, формальной основой для иного сюжета, «внутреннего».

В рассказе «Вне моды» довольно неожиданно появляются имена гоголевских персонажей — Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Так называются главные герои повествования, прототипами которых стали сам Фет и его жена. Реминисценцией из Гоголя является их именование «старосветскими помещиками». Характерен для творчества Гоголя и «дорожный» сюжет, лежащий в основе этого фетовского рассказа. Как аллюзия из «Мертвых душ» воспринимается его начало: «Легкая коляска, запряженная породистой серою четверкой, бежала по безлюдному раздолью черно-

⁶³ <Некрасов Н. А.>. Заметки о журналах за октябрь 1855 // *Совр.* 1855. Т. 54. Ноябрь. С. 74.

⁶⁴ Журналистика // *БдЧ.* 1855. Т. 134. С. 6.

⁶⁵ См. примеч. 1 к рассказу «Вне моды» // *Соч.* Т. 2. С. 384.

⁶⁶ Первые главы мемуаров Фета, вошедшие впоследствии в книгу «Мои воспоминания» (1890), были напечатаны в августовском номере *РВ* за 1888 г. и в июльском — за 1889 г.

земных степей, разбирая путаницу частых расстаней и перекрестков»⁶⁷.

Зачем понадобилось в автобиографическом (можно даже сказать — исповедальном) рассказе обращаться к именам гоголевских героев? Стоит отметить, что Фет как бы дважды отстранился от себя самого: рассказ ведется не от первого лица, а от лица всеведущего повествователя, и имена героев — не Афанасий Афанасьевич и Марья Петровна, а Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна. Ответ на поставленный вопрос дает сам Фет. Знакомя читателя со своими героями, он пишет: «Назовем старика Афанасием Ивановичем, так как ярлык этот общеизвестен. Рядом с ним, по правую его руку <...>, сидела и Пульхерия Ивановна». Союз «и» здесь очень важен. Он знаменует, что порознь эти герои не воспринимаются, не существуют. Перед нами супружеская пара. Имена гоголевских персонажей для Фета — не пустая формальность, а отсылка к традиции, к конкретному типу людей и человеческих отношений. «Старосветские помещики» — символ вполне определенного семейного уклада, для которого характерны, с одной стороны, замкнутость, отгороженность от всего мира⁶⁸ с его проблемами, нескончаемой суетой, «азобой дня», враждебностью, а с другой — полное погружение в заботы семейной жизни. Таким образом, это вполне осознанное заимствование из известной повести Н. В. Гоголя.

Принадлежность героев к «старому свету» настойчиво подчеркивается автором рассказа. На это указывает их возраст («старик лет шестидесяти»), внешний вид («седая окладистая борода его совершенно сливалась с остальным нарядом»), форма путешествия («не по железной дороге, а стародавним приемом, сохранившим гражданство в наибольшей части нашей необъятной страны»), образ мыслей и жизненный уклад. «Старосветскость» становится одним из ведущих мотивов повествования, напрямую связанным с его основной идеей, которая явлена в названии — «Вне моды». В этом заглавии выражается комплекс мыслей: жизнь «против течения» и вопреки времени, противостояние общепринятому, сиюминутному, отстаивание вечных ценностей и идеалов.

«Мода» и «старосветскость» становятся центральной оппозицией в рассказе. Она проявляется на разных уровнях: предметно-изоб-

⁶⁷ См. об этом: Черемисинова Л. И. Гоголевские реминисценции в рассказе А. А. Фета «Вне моды» // Изв. Саратов. ун-та. Новая сер. 2001. Т. 1. Вып. 1. С. 145—148, а также: Асламова Г. Д. Гоголь и Фет // Н. В. Гоголь: Загадка третьего тысячелетия. Сб. докладов. Первые гоголевские чтения. М., 2002. С. 182—184.

⁶⁸ См. об этом: Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя / Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 267—268; Виролойнен М. Н. Гоголевская мифология городов // Пушкин и другие: Сб. ст., посвящ. 60-летию со дня рожд. С. А. Фомичева / Науч. ред. и сост. В. А. Кошелев. Новгород, 1997. С. 232.

разительном, композиционном, концептуальном. Так, например, в экспозиции Фет противопоставляет двух персонажей, сидящих в коляске напротив друг друга. Один из них — Василий — «плотный малый в щегольской серой шляпе и с едва пробивающимися усами», другой — Афанасий Иванович — «в далеко не щегольской серой шляпе с широкими полями и в светло-серой накидке». Модная идея об эмансипации женщины отвергается в ходе рассуждений Афанасия Ивановича как противоречащая вечным законам природы. Пристрастие героя к «кабинетной бухгалтерии» находится в противоречии с принятым в большинстве хозяйств «пренебрежением» к этой стороне деятельности и т. д.

Фет проводит параллель между четой старосветских помещиков и парой голубей, за которой наблюдает Афанасий Иванович, проснувшись поутру. Поведение птиц и людей зеркально отражают друг друга: самец просыпается раньше, будит свою голубку, оба совершают утренний туалет и затем в одно мгновение улетают. Если учесть, что в народной традиции голуби — символ любви, нежности, ласки, то эпизод с голубями приобретает символический смысл, бросает отсвет на сущность взаимоотношений в семье «старосветских помещиков».

Образы Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны восходят к персонажам древнегреческой мифологии Филимоу и Бавкиде. Эта благочестивая чета была вознаграждена богами за верность в супружестве, за доброту и гостеприимство: их хижина превратилась в храм, а им были дарованы долголетие и одновременная смерть. На пороге смерти они превратились в деревья, растущие из одного корня.

Хотя событийное время рассказа «Вне моды» довольно ограничено (примерно полуторами суток), его художественное время замедленное, протяженное. Такая временная организация тоже напоминает «Старосветских помещиков» Гоголя. Повествователь нетороплив; он останавливается на описании окружающей обстановки, портретов, деталей быта, воспоминаний и размышлений героя. Протяженное время рассказа соответствует долгому, утомительному пути героев. Оно отражает и трудную, утомительную жизнь Афанасия Ивановича.

Ориентация на повесть «Старосветские помещики», к которой Фет относился с нескрываемой симпатией, называя ее «чистым, тихим эпосом», ставя в один ряд с «Одиссеей» Гомера и «Германом и Доротеей» Гете⁶⁹, тем не менее не была всеобъемлющей и всепоглощающей. Фет использовал свой излюбленный прием перенесения литературных героев в иную жизненную реальность (в данном случае — в иную эстетическую реальность), демонстрируя тем самым «переосмысление факта литературы на уровне житейских и обще-

⁶⁹ Фет А. А. Стихотворения. Проза. Письма / Вступ. ст. А. Е. Тархова; Сост. и примеч. Г. Д. Аслановой, Н. Г. Охотина и А. Е. Тархова. М., 1988. С. 380.

ственных отношений»⁷⁰. Так он поступал с грибобедовскими героями (Фамусов и Молчалин)⁷¹, с тургеневским Хорем⁷², с толстовским Левиным⁷³ и др. Перенесением Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны⁷⁴ в другую эпоху и новую социальную обстановку отчасти объясняются различия между героями Фета и Гоголя. Так, гоголевские герои живут оседло, фетовские показаны в пути; жизнь «настоящих» Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны замкнута в своем мире, фетовский Афанасий Иванович «много видел на веку, со многим познакомился из книг и о многом передумал»; гоголевские персонажи не тяготеют своим существованием, героя фетовского повествования «тяготит окружающая жизнь», «перелистывание избитой книги жизни» кажется ему «нестерпимым рабством»; гоголевский Афанасий Иванович не ищет новизны, фетовский только тогда оживает, когда попадает в эту дорогую для него сферу. В то же время гоголевского и фетовского героев роднят идеал семейной жизни и близкое сходство их спутниц, проникновенный лиризм, с которым описана их повседневная жизнь. Тот самый Афанасий Иванович,

⁷⁰ Кошелев В. А. Злоупотребление словом «идея»: «грибобедовская» статья Афанасия Фета // Грибобедов и Пушкин. С. 161.

⁷¹ [Фет А. А.]. Фамусов и Молчалин. Кое-что о нашем дворянстве // РВ. 1885. Июль. С. 315—327.

⁷² Фет А. А. Заметки о вольнонаемном труде // Фет А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. С. 100; [Фет А. А.] На распустье. Нашим гласным от негласного деревенского жителя. С. 7—8.

⁷³ См. статью «Что случилось по см^{ер}ти» Анны Кар^{ениной}» в Русск^{ом} В^{естнике}» в наст. томе.

⁷⁴ В статье «Наши корни» Фет перемещает Пульхерию Ивановну в последнюю четверть XIX в. и проецирует ее поведение на иную социально-экономическую реальность. Так, рассуждая о проблемах земства, автор пишет: «Пусть отрезвляющая Пульхерия Ивановна — этот Санхо Пансо в юбке — и не показывается со своим здравым смыслом: ее затрут. Попробуй она выслать своего доверенного хоть в земское собрание. Кто его станет слушать? Там непременно есть начитавшийся жестоких слов уездный Демосфен, пред которыми заранее все пасует. “Обложить!” — говорит Демосфен. — “Средств нет”, — возражает доверенный Пульхерии Ивановны, — и лица крестьянских представителей озаряются улыбкой. Демосфен злобно на него оглядывается; все пугаются выстрелов прогресса, гуманности, цивилизации — и сдаются. Крестьяне грустно потеют. Почти без исключения Демосфен уже два года не платит старого налога, а с Пульхерии Ивановны в первое полугодие взыщут и новый. “Недаром ошачтивлены мы самоуправлением”, — продолжает Демосфен. С этим спорить нельзя. Не даром, а за большие деньги. Но что это самохвальное самоуправление сделало хорошего? — другой вопрос. <...> Насчет земской медицины Пульхерия Ивановна придерживается суворовской *травки-муравки* и говорит: “Люди, слышно, 1000 лет на Руси плодятся и умирают. Почти во всякой деревне есть бабка-повитуха и мастерица справлять переломы. Я вот сама живу на свете и, слава Богу, докторов и не знала...” (см.: А. А. Фет. Поэт и мыслитель: Сб. науч. тр. М., 1999. С. 197—198).

которого Белинский называл «пародией на человечество» (*Белинский*. Т. 1. С. 291), под пером Фета превращается в философа, размышляющего о тяготах жизни.

Фет-прозаик воспринимался читателями в первую очередь как автор публицистических статей. Характерно в этом отношении высказывание К. Говорова из его фельетона «Вечерние огни г. Фета». Едко комментируя предисловие к третьему выпуску «Вечерних огней», критик пишет: «Вы поставили на конюшню своего хромого Пегаса и принялись писать прозой, описывая те бедствия, которые постигли вас с освобождением крестьян. Из поэта, любимца нежных муз, вы обратились в грозного “обличителя”, запаслись оглоблей средней величины и пошли шлепать ею по реформам»⁷⁵. Как видим, художественная проза Фета в сознании современников затмевалась его публицистикой, высокие идеи которой, отстаиваемые в полемической манере, оказались непонятыми и превратно истолкованными. Рассказы и повести остались почти незамеченными. По сравнению с публицистикой они выглядели как нечто безобидное, далекое от актуальных проблем общественной жизни, от «злости дня» и не заслуживающее внимания.

Фет жил в «золотой век» русской прозы. Его ближайшими друзьями были И. С. Тургенев и Л. Н. Толстой. Возможно, на их фоне он ощущал отсутствие у себя «эпической жилки», в чем на склоне лет признавался. Его проза камерная, отражающая биографию конкретной личности, на первый взгляд, далекая от запросов современности. Но в ней запечатлелись уникальная жизнь ее создателя, его неповторимый образ мыслей, только ему присущая манера письма. «...К рассказам его вернутся, — прогнозировал в начале XX в. Б. Садовской, автор первой обзорной статьи о художественной прозе Фета, — будут искать в них верных путей к пониманию не только творчества, но и личности гениального человека, неразрывно связанного со своей эпохой» (*Садовской*. С. 74—75).

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Каленик. Впервые: *ОЗ*. 1854. Т. 93. № 3. С. 3—16. Опубликовано с указанием в подзаголовке жанра — рассказ — и с посвящением И. П. Борисову. Автограф не обнаружен. Печатается по первой публикации.

Об истории написания и публикации рассказа Фет вспоминал: «Однажды Тургенев объявил мне, что Краевский желает со мною познакомиться, и мы отправились в условленный день к нему. После первых слов приветствия Андрей Александрович стал просить у меня сти-

⁷⁵ Говорова К. Вечерние огни г. Фета // *День*. 1888. № 29.

хов для “Отечеств<енных> записок”, в которых я еще во времена Белинского печатал свои стихотворения <...>. К счастью, новых стихотворений у меня не оказалось, но от скуки одиночества я написал прозой небольшой рассказ “Каленик” и отдал его в “Отечеств<енные> записки”» (МВ. Ч. 1. С. 37).

По мнению Г. П. Блока, знакомство Фета с Краевским могло произойти в период с 3 по 28 января 1854 г. (*Летопись*. С. 156). К этому времени рассказ «Каленик», вероятно, уже был написан. Скорее всего, работа над ним шла во второй половине 1853 г., чему есть косвенные подтверждения в тексте. «Видите ли вы эту кожаную сигарочницу? — обращается повествователь к своему читателю. — Лет шесть тому назад добрый товарищ моего детства, а впоследствии однополчанин, подарил мне ее, прощаясь со мной в Вирюлеве». «Добрый товарищем» детства Фета был И. П. Борисов (1824—1871), которому посвящен рассказ. Он служил в кирасирском Военного Ордена полку, уволившись из него в феврале 1847 г. «по домашним обстоятельствам» (*Летопись*. С. 149).

Поступив на службу в уланский полк, Фет проходил лагерные сборы под Петербургом и почти ежедневно бывал у Тургенева, к которому «питал», по его собственному признанию, «фанатическое поклонение» (МВ. Ч. 1. С. 33). Знакомство с автором «Записок охотника» (1852) произошло накануне, в 1853 г., когда Тургенев отбывал ссылку в Спасском. Возможно, сближение с Тургеневым и высокая оценка «Записок охотника» (эта оценка со временем не изменилась) побудили Фета попробовать силы в жанре рассказа, отсюда и близость образа главного героя рассказа «Каленик» к образам тургеневских крестьян, отсюда же внутренняя полемичность рассуждений повествователя о соотношении рационального и интуитивного в постижении природы¹. Тургенев ввел Фета в литературную среду, познакомил со многими писателями.

Рассказ строится как воспоминание о службе в кирасирском Орденском полку, квартировавшем в Херсонской губернии. Значительность временной дистанции, отделяющей время повествования от времени, изображенного в тексте, специально подчеркнута автором. Такова типичная установка автобиографических произведений, которые строятся как воспоминания о прошлом. Т. о., «Каленик» создавался после увольнения Фета из кирасирского полка, т. е. после 30 мая 1853 г., когда он покинул Новогеоргиевск. Если следовать хронологии, представленной в рассказе, Каленик служил в качестве денщика в течение пяти лет. На это есть указание в тексте: «С лошадьми, за которыми он смотрел у меня пять лет, он тоже обходился по-своему». Фет уволился из кирасирского полка в мае 1853 г. (*Летопись*).

¹ Говоря о более позднем периоде творчества Фета, В. А. Кошелев справедливо считает, что «образцом» для деревенских очерков Фета 1860-х гг. стали «Записки охотника» И. С. Тургенева (*Кошелев В. А. «Лирическое хозяйство» в эпоху реформ // Фет А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. С. 38*).

С. 155), следовательно, денщик у него был с 1848 (1849) по 1853 гг. События, происходившие в этот период времени, и составили сюжетную основу рассказа «Каленик», что подтверждается многими деталями повествования (см. также: *РГ*. С. 456, 472, 491).

В центре рассказа — образ Каленика, человека неординарного, живущего вопреки общепринятым нормам, а потому часто смешного, хотя исполненного «неисчерпаемой мудрости», которой рассказчик склонен доверять более, чем сведениям из научных изданий. При этом мудрость давалась ему «синтетически», а не путем анализа. Реальный прототип Каленика носил то же имя. В воспоминаниях Фет подчеркивает два качества своего денщика — искусство как кучера и его «детский смех». Последнее становится своеобразным лейтмотивом образа Каленика в рассказе.

Переключки не только в именах (оба являются производными от одного и того же имени — Каллиник) с героем рассказа И. С. Тургенева «Хорь и Калиныч» (1847), но и в характерах не представляется случайной, хотя автобиографическая основа произведения А. Фета и наличие прототипа главного героя могут побудить считать приведенные факты простым совпадением, как и то, что собака Полутыкина и фетовский Каленик имели одну и ту же кличку — Астроном. Тем не менее у Каленика и Калиныча много общего.

В то время, когда «Каленик» появился в *ОЗ*, И. П. Борисов служил в Куринском пехотном полку на Кавказе. 3 июня 1854 г., отъезжая на только что прочитанный рассказ, Борисов писал Фету: «Вчера вернулся из Кутаиса, куда на минуточку съездили проведать наших раненых <...>. Вот у них-то прочел Каленика, и нужно ли тебе говорить, друг мой, сколько навалилось воспоминаний прошлого. Я не знал ведь твоего гениального денщика, а все, что тебя окружает и живет с тобою, мне необходимо знать, как дополнение самого тебя, самого необходимейшего из остатков счастливых моих времен. Я люблю безгранично предаваться прошлому, когда в нем видится твоя физика. Жалею поминутно, что ты далеко, но все-таки благословляю судьбу, что ты вышел на настоящую дорогу» (*ОР РГБ*. Ф. 315/II. Картон 5. Ед. хр. 76. Л. 1)².

² В связи с этим представляется спорной хронологическая интерпретация событий рассказа, предложенная М. В. Строгановым: «Как хорошо известно, Фет произведен в корнеты с прикомандированием к корпусному штабу в Елисаветграде 14 марта 1846 г. Каленик же появился у него раньше». Исследователь не учел, что денщик (казенный слуга) по штату полагался только военнослужащим, имевшим офицерское звание. Т. о., денщик мог появиться у Фета только после 14 марта 1846 г., т. е. после производства его в корнеты. Гораздо больше оснований предполагать, что Фет изображает в рассказе «Каленик» не начало своей военной карьеры, а период с 1848 по 1853 гг., который можно назвать «бюлеровским», по имени тогдашнего командира полка К. Ф. Бюлера (1805—1868). Об этом свидетельствуют многие прототипические реалии рассказа (см. примеч.). С приходом нового полкового командира жизнь Фета резко

Среди немногочисленных откликов на рассказ следует отметить доброжелательную рецензию А. В. Дружинина, выступавшего под псевдонимом «Иногородний подписчик» в *Совр.* «О рассказе господина Фета же “Каленик”, — писал Дружинин, — нельзя сказать многого, тем более, что мы должны быть снисходительны к первому прозаическому опыту поэта, доставившего нам столько чистых и поэтических наслаждений. Г. Фет может писать прозой и проза его может нравиться — в том нет сомнения; но ему придется много поработать над собою, если он захочет серьезно испробовать свои силы на новой, часто скользкой для поэта дороге. Начало “Каленика” показывает, как нельзя яснее, что даровитый автор видимо не знал, каким образом подступиться к непривычной задаче: он открывает свой рассказ префилософским афоризмом (смысл которого тот, что природу понять очень трудно), а потом вдается в личные воспоминания, вовсе не причастные к ходу рассказа. Каленик, герой эскиза, является на минуту, потом исчезает и опять приходит перед читательское око весьма неловким образом. Скажу откровенно, что такое запутанное начало поразило меня как нельзя неприятнее; но, раз кончив со вступлением и сделал тот первый шаг, что французы называют “половиною дела”, автор мирит с собой своих почитателей. В его вещице есть мысль и новизна. Каленик Вороненко — это денщик-кавалерист, замечательный по своему оригинальному нраву, причудам и некоторым необыкновенным способностям. В особе Каленика ловко перемешиваются многие типические особенности истого хохла: и леность, и преданность, и веселость, и упорство, и зоркий глаз, и беспечная удаля; но более всех качеств и недостатков замечательно в нем знание “природы со многими ее таинствами и богатствами”. Каленик видит на баснословном расстоянии утку, которой никто не видит, отыскивает потерянную сигарочницу посреди степи, знает самых малоизвестных зверьков до тонкости (прожив много лет на свете, я только через Каленика получил сведение о звере: “зимское щеня”), предсказывает грозу и ясную погоду, с помощью одного кнута отыскивает путь для переезда по весеннему льду. Кто знает русского солдата (особенно легкого кавалериста) и кто следит, например, за метеорологическими заметками наших мужиков, тот без труда поверит существованию Каленика и признает его существом достойным описания. Вообще весь рассказ имеет свою физиономию, свое значение, и если господину Фету захочется время от времени дарить нас эскизами из быта его подчиненных и товарищей воинов, мы всегда останемся ему благодарными» (Пись-

изменилась, начался настоящий карьерный рост, отмеченный в послужном списке. Следует отвергнуть и другой тезис М. В. Строганова — о вымышленности главного героя и вообще об имитации автобиографического повествования у Фета — как неубедительный, не основанный на фактическом материале (см.: *Строганов М. В.* Из комментария к рассказу Фета «Каленик» // А. А. Фет и русская литература: XVII Фетовские чтения. С. 85).

ма «иногороднего подписчика» о русской журналистике. Март 1854 года // *Совр.* 1854. № 4. С. 106).

Благожелательным был отзыв Е. Эдельсона в «Москвитяине»: «Переходя от стихотворений, наполняющих мартовскую книжку Отчужденных > Зап<исок>, к другим произведениям отдела Русской Словесности, мы с удовольствием встречаем опять то же имя, подписанное уже под рассказом в прозе: *Каленик*. Кажется, это еще первая попытка *А. Фета* в прозаическом роде, и мы душевно обрадованы были расширением круга деятельности нашего поэта, от которой ожидаем плодотворных результатов. Уже с одними теми данными, какие мы привыкли встречать в стихотворной деятельности г. Фета, можно смело надеяться, что прозаические сочинения его будут полны поэзии и живого чувства, но кроме того известно, что новая форма художественной деятельности способна открывать еще и новые стороны таланта» (Е. Э. Журналистика // *Москв.* 1854. № 7. Апр. С. 136).

Б. Садовской справедливо отмечал, что рассказ «Каленик» представляет собой «микрокосм мирозерцания Фета в его основных началах»³. Развивая эту мысль, А. Е. Тархов писал: «Свой первый рассказ поэт сделал выражением своих любимых идей об отношениях человека и природы: перед вечными тайнами жизни бессилен разум человека, и природа открывается лишь “непостижимому чутью” таких людей, как Каленик, который есть “дитя природы” и от нее наделен “стихийной мудростью”»⁴.

Стр. 7. Каленик — просторечная форма от святцевого имени «Каллиник», которое относится к числу малоупотребительных имен греческого происхождения: kalos — красота, nike — победа. См.: *Петровский Н. А.* Словарь русских личных имен. 3-е изд. М., 1984. С. 127. В украинском языке есть имя Каленик (См.: *Керст Р. И.* Типы именований мужчин в памятниках украинского языка XVI в. // *Антропологика.* М., 1970. С. 259).

Посвящается И. П. Борисову — Иван Петрович Борисов — друг А. А. Фета, воспитывался в имении Шеншиных Новоселки Мценского уезда Орловской губ.; его опекуном после смерти отца был Афанасий Неофитович Шеншин. В 1858 г. Борисов женился на младшей сестре Фета Надежде Афанасьевне Шеншиной (1832—1870) и, таким образом, стал родственником поэта. С ним было связано поступление Фета на службу в Кирасирский Военного ордена полк. В *МВ* поэт рассказал о своем разговоре с отцом после окончания университета: «...вам, как опекуну Борисова, известно, что он вместо вступления в академию из артиллерии перешел в кирасиры, и вот он зовет меня к себе в Орденский полк и пишет: “Приезжай, службы никакой, а курапаток столько, что мальчишки палками их бьют”» (РГ. С. 261). Эти обстоятельства (близость друга и возможность предаваться любимому

³ Садовской. С. 69.

⁴ Тархов А. Е. Проза Фета-Шеншина // *Соч.* Т. 2. С. 364.

му занятию — охоте) стали решающими при определении дальнейшего жизненного пути Фета. 21 апреля 1845 г. он был принят на службу унтер-офицером в кирасирский Орденский полк, где прослужил восемь лет, уволившись в чине штаб-ротмистра 2 мая 1853 г., о чем свидетельствует его формулярный список (см.: Указ об увольнении в отставку А.А. Фета по домашним обстоятельствам в чине штаб-ротмистра с выпиской из его формулярного списка с 1846 по 1853 г. // *ОР РГБ. Ф. 315/II. Картоп. 14. Ед. хр. 22. Л. 9—10*). О жизни И. П. Борисова см.: *Асланова Г. Д. Иван Петрович Борисов — друг и родственник Фета // А. А. Фет и русская литература: XVI Фетовские чтения. Курск, 2002. С. 120—126.*

Есть люди, которые разговаривают вслух сами с собою. — Возможно, отсылка к повести Гоголя «Майская ночь, или Утопленница» (1831). Ср.: «Так разговаривал сам с собою подгулявший мужик средних лет, танцуя по улице...» (*Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 8 т. Т. 1. М., 1984. С. 114*). К этой повести отсылает и имя героя фетовского рассказа, хотя это совпадение носит скорее окказиональный характер.

Не знаю, чего это признак и как бы растолковал доктор Крупнов подобную манию? — Доктор Крупнов — герой одноименной повести А. И. Герцена (1847). Нестройность композиции рассказа «Каленик», написанного в форме «внутреннего монолога» повествователя, прерывистость, «пунктирность» ведения повествовательной линии напоминают манеру Герцена (ср.: «...снова обращаюсь к прерванной нити моего жизнеописания...» у Герцена; «Если б я не боялся слишком часто прерывать нить повествования...» у Фета). Разговор «вслух с самим собою» рассматривается здесь как признак некоторого расстройств ума («мании» — Фет, «поврежденности» — Герцен). Однако если это придает фетовскому повествователю оттенок неординарности и вместе с тем оправдывает автора перед читателями за возможные недостатки повествования, то у Герцена связано с трактовкой безумия как свойства избранных натур (в повести Герцена «официальные, патентованные сумасшедшие» — «в сущности и не глупее и не поврежденнее всех остальных, но только самобытнее, сосредоточеннее, независимее, оригинальнее, даже, можно сказать, гениальнее тех» (*Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 4. М., 1955. С. 251*)).

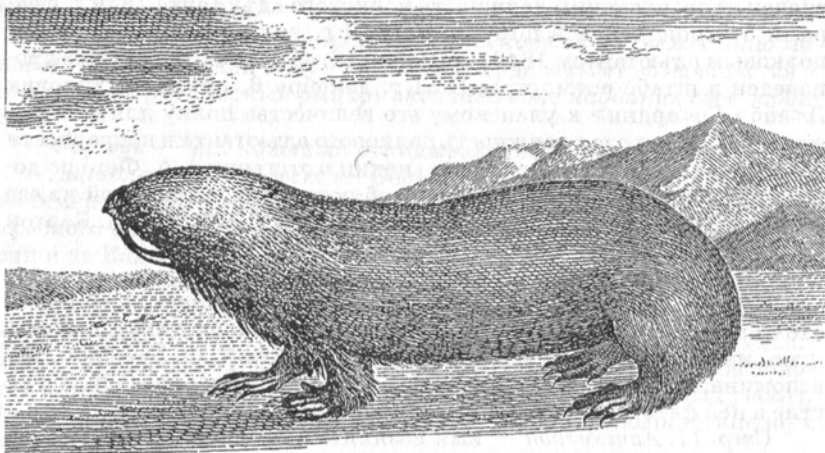
...они говорят только слова и слова... — Усеченная цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (Акт II. Сцена 2).

...природа все-таки — древняя Изида. — Зд.: непостижимая тайна. *Изида* (точнее: Исида) в древнеегипетской мифологии — богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, материнства, семейной верности, покровительница царской власти и рожениц, богиня мореплавания, волшебства, охранительница умерших. Исида легко меняла обличье, в греко-римском мире ее называли «та, у которой тысяча имен». В позднейшей интерпретации ее имя стало олицетворением многоликкой и вечно изменяющейся природы с ее непостижимыми тайнами. Ср., например, начало рассказа Тургенева

«Поездка в Полесье» (1857), тесно связанного с замыслом «Записок охотника» и даже включенного в 1860 г. (в издании Н. А. Основского, которым занимался от имени Тургенева Фет) в знаменитый цикл: «Трудно человеку, существу единого дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, — трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взгляд вечной Изиды...» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч. Т. 5. С. 130, а также комментарий А. П. Могилянского на с. 436). Любопытно, что именно в этом произведении рассказчик заявляет о том, что раскрыл тайный смысл природы (Там же. С. 147).

Ziemy (zemsky), зимское щеня — подземное животное, грызун, *Spalax typhlus*; различные названия его: слепое-щenea, слепыш, слепец, зинске-щenea (Даль. Т. 4. С. 229). Латрей (см. ниже) приводит искаж. название по-русски — «земляной щенок» (*sczeniuk zemny*) и по-польски — *piesek ziemny*.

...я <...> начал рассматривать иллюстрированную натуральную историю... — Скорее всего, имеется в виду одно из изданий известного натуралиста Жоржа-Луи Леклерка де Бюффона (1707—1788) «*Histoire naturelle*», которая печаталась многочисленными тиражами, как правило, снабженная красочными политипажами. Книга, которую, возможно, держал в руках повествователь, сохранилась в мемориальной библиотеке И. С. Тургенева в Орле. В ней, помимо описания зверька, которое приводится ниже, было его изображение и дополнительная статья Латрейя: «В Польше и России имеется другое животное, называемое *Ziemni* или *Zemni* <...>»; оно немногим больше домашней кошки; у него довольно большая голова, небольшое туловище, уши закругленные и короткие, четыре больших резца торчат из пасти, из которых два нижние в три раза длиннее верхних;



1.Е ZEMNI

небольшие пятипалые лапы покрыты шерстью и имеют загнутые когти; шерстка мягкая, короткая и мышиноного цвета, хвост не слишком большой; глазки такие же маленькие и такие же скрытые, как у крота. Рзажинский назвал это животное *маленькой земляной собачкой* (*canicula subterranea*). Этот автор, кажется, единственный, кто писал о “zemni”, которое, тем не менее, весьма распространено в северных краях. Его природа и свойства почти те же, что у хомяка <...>; укусы его опасны; ест он с жадностью и опустошает нивы и сады; он живет в норах; питается зернами, фруктами и овощами, запасы которых прячет в своих убежищах, где проводит все зимнее время» (*Buffon. Histoire naturelle, générale et particulière des quadrupèdes*. Т. 25. Paris, <1798>. Р. 297—298). Следует отметить, что написание по-французски названия зверька отличается от того, которым пользуется Фет. За помощь в отыскании указ. издания в фондах *ОГЛМТ* редколлегия приносит благодарность сотрудникам Орловского гос. музея И. С. Тургенева.

Стр. 8. Французская «Иллюстрация» — очевидно, не одноименное французское периодическое издание, а упомянутая выше «Иллюстрированная натуральная история» Бюффона.

Нетычанка — «парная плетеная бричка, самый легкий, вместительный и сравнительно покойный экипаж» (*РГ*. С. 393).

Стр. 9. В 18... году, прибыв из командировки в штаб полка, я подал рапорт о назначении мне казенного денщика — забыл о моем рапорте. — Возможно, события, о которых здесь говорит Фет, происходили в 1848 г. Штаб полка располагался в Елисаветграде, а эскадроны — в ближайших к штабу селениях (*Летопись*. С. 150).

Служебные обязанности заставили меня переехать на постоянное жительство в штаб. — Изменение места жительства было связано с назначением Фета на должность полкового адъютанта («... Назначен исправляющим должность полкового адъютанта 1849 г. февраля 5, произведен в поручики 1849 г. августа 14, утвержден полковым адъютантом 1849 г. октября 16, за отличие по службе произведен в штабс-ротмистры 1851 г. декабря 6, прикомандирован Л<ейб> Гв<ардии> к уланскому его величества полку для испытания по службе и сдал должность полкового адъютанта в исправности 1853 г. мая 2». (См.: Указ об увольнении в отставку А.А. Фета по домашним обстоятельствам в чине штаб-ротмистра с выпиской из его формулярного списка с 1846 по 1858 г. // *ОР РГБ*. Ф. 315/II. Картон 14. Ед. хр. 22. Л. 9—9об.)

...он не в такцию попал... — Зд.: попал не в такт, впросак.

Стр. 10. ...я соблазнил командира своего, когда-то страстного охотника и отличного стрелка, поехать со мной на охоту. — Вероятно, именно этот эпизод охоты с полковником К. Ф. Бюлером Фет вспоминал и в *РГ* (С. 474). Удачу на охоте во многом определило участие в ней фетовской собаки по кличке Трезор.

Стр. 11. Автомедон — имя возницы Ахилла из «Илиады» Гомера, взятое в нарицательном употреблении:

После немедля против Автомедона с пикой понесся;
Мужа могучего он, Ахиллесовых коней возницу,
Свергнуть пылал; но возницу умчали быстрые кони,
Кони бессмертные, дар знаменитый бессмертных Пелею.

(Гомер. *Илиада*. XVI, 864—867.
Пер. Н. И. Гнедича).

Ср. в «Евгении Онегине» Пушкина: «Автомедоны наши бойки...» (7, XXXV).

Стр. 12. Видите ли вы эту кожаную сигарочницу? Лет шесть тому назад... — См. об этом выше.

Где-то теперь эта буйная головушка?.. — Речь идет об И. П. Борисове, который с июня 1850 г. по октябрь 1856 г. служил в Куринском пехотном полку, дислоцировавшемся на Кавказе, участвовал в боевых действиях против Шамиля, Хаджи Мурата (МВ. Ч. 1. С. 14—15; *Летопись*. С. 154, 157, 159).

Стр. 13. Он иногда <...> решался <...> сделаться сказочным героем и затмить славу Геллы, Европы... — Гелла — в греч. миф. дочь богини облаков Нефелы, которую мать, спасая от козней мачехи, отправила на златорунном баране в Колхиду. В пути Гелла погибла, упав в воды пролива, получившего впоследствии ее имя — Геллеспонт (ныне Дарданеллы); Европа — в греч. миф. дочь финикийского царя Агенора, похищенная обратившимся в быка Зевсом, который увез ее по морю на Крит; считалось, что ее именем названа часть света.

Это было на масленой. — Масленая (масленица) — последняя неделя перед Великим постом, сырная, в течение которой запрещено есть мясо, но разрешено сыр, масло, рыбу. Масленица сопровождается весельем, печением блинов, катанием с гор и на лошадях и прочими развлечениями.

Стр. 15. ...как черный наличник опускается на свежее лицо молодого воина. — Наличник — зд.: забрало; далее Фет возвращается к этой метафоре: «Черный рыцарь окончательно надвинул свое забрало...».

Фартук — зд.: кожаный откидывающийся верх экипажа.
...щеголеватый берест. — Берест — то же, что карагач, дерево из семейства ильмовых, имеющее богатую пробкой кору характерно красного цвета, растет только в южных, юго-западных районах России и на Кавказе.

Стр. 17. Ристание — состязание в беге, скачке и т. п. (*устар.*).
...они в стойлах по ночам заводят канитель... — Заводить канитель (канителить, тянуть канитель) означает «медлить», «мешкать» (что связано с длительностью работ по приготовлению золотой или серебряной нити — канители — для золотошвейных работ). Каленик, набравшись новых слов, употребляет это выражение не к месту.

Дядюшка и двоюродный братец. Впервые: *ОЗ*. 1855. Т. 102. № 10. С. 171—238. В оглавлении журнала произведение названо «повестью» (замечено А. Е. Тарховым: *Соч.* Т. 2. С. 382). Автограф не обнаружен. Печатается по первой публикации.

Творческая история этого произведения связана, по предположению Л. М. Маричевой, с реальными событиями, которые имели место в 1851—1859 гг. В Гос. архиве Орловской обл. исследовательницей было обнаружено «Дело о предании суду Болховского помещика Шеншина Капитона Петровича за жестокое обращение с женой и взятии в опеку его имения. 1854—1859 гг.» (ГАОО. Ф. 4. Т. 3. № 6890). Именно К. П. Шеншин (1816—?), сын родной тети Фета Любви Неофитовны и Петра Ильича Шеншиных, двоюродный брат, выведенный им в воспоминаниях, стал прототипом Аполлона Шмакова в повести⁵. Образ Ковалева (он не имеет имени) является автобиографическим. За вымышленным именем жены Капитона Софии скрывалась жена отставного поручика К. П. Шеншина Елизавета Петровна (урожд. Яковлева; ?—1885), которая в 1851 г. была вынуждена подать жалобу Ее Величеству на жестокое обращение с нею и с ее дочерью Софьей мужа, присвоившего к тому же все ее приданое и заложившего имение своей матери. Дело поступило из Москвы в Орел в 1854 г., тогда оно стало, по-видимому, известно Фету. Реальная Е. П. Шеншина вынуждена была покинуть мужа, оставив у него дочь, которую он пытался объявить незаконнорожденной. Московская палата уголовного суда, которая вела дело, тщательно проверила жалобу и собрала подробные материалы о неблагоприятном поведении Капитона Шеншина. Материалы дела проясняют многие обстоятельства жизни прототипа фетовской повести. В 1856 г. Московская палата уголовного суда приняла решение: «О наложении на его Шеншина имение, где и как оказаться может, повсеместного запрещения. А равно Шеншина предписано взять под стражу». «Все имения К. П. Шеншина (в том числе и Пальчиково, в рассказе — Мизинцево) попали в опеку. Сам же он успел до взятия под стражу 19 августа 1856 г. отбыть за границу. Через 10 лет, в 1865 г., опека с имений была снята» (ГАОО. Ф. 4. Т. 2. № 3354). В 1867 г. княгиня Софья Оболенская, урожд. Шеншина, дочь Елизаветы Петровны, стала владелицей его Воронежского имения. К ней же во владение поступило имение Пальчиково, полное название которого Пальчиково — Чернь тож (ГАОО. Ф. 4. Оп. 1. № 7791). Пальчиково — Чернь тож находится в 10 верстах от уездн. города Болхова Орл. губ. (Маричева Л. М. Еще одна

⁵ Данные факты опровергают точку зрения, что прототипами тетушки Веры Петровны и дядюшки Павла Ильича являются тетушка Варвара Ивановна и дядюшка Иван Неофитович (См.: *Земледельцева Т., Евгеньев С. Т.* Сюжетная проза и мемуары Фета: проблемы комментария (На материале повести «Дядюшка и двоюродный братец») // А. А. Фет и русская литература: XVII Фетовские чтения. С. 115).

загадка Фета. Кто такая Офелия? Доклад был прочитан в 1995 г. в ИРЛИ и в Орловском гос. университете; текст его любезно предоставлен редколлегии ССИП).

Написание повести, возможно, было вызвано желанием восстановить в общественном мнении доброе имя своей родственницы и поддержать ее и ее дочь в трудную минуту, когда ребенку грозила опасность оказаться «незаконнорожденной» (это особенно должно было задевать Фета, который сам оказался на долгие годы в подобном положении).

Если следовать хронологии повести, то «тетрадь» (дневник штабс-ротмистра Ковалева) начата была в 1845—1846 гг.: «Давно не видал я этой тетради. Вот уже лет пять лежит она в числе прочих бумаг на столе, под кобурными пистолетами — нашем походном пресс-папье. Она начата, когда еще живо было во мне впечатление последней сцены в Мизинцеве...». Сцена, упоминаемая здесь, — прощание Ковалева со своими родственниками (тетушкой и братцем) перед отъездом на службу в полк. Она могла происходить в реальной жизни Фета весной 1845 г., накануне отъезда в кирасирский полк (*Летопись*. С. 147). Это прощание совпало с семейной драмой в Мизинцево (Пальчиково), о которой рассказывается в главе «Чернецов».

Однако есть основания предполагать, что начало работы над повестью «Дядюшка и двоюродный братец» не совпадает с началом армейской службы Фета. Это доказывают документы, найденные Л. М. Маричевой. Непосредственным поводом для художественного оформления семейных преданий, вероятно, стало, с одной стороны, возбуждение уголовного дела против К. П. Шеншина в Орловском уголовном суде и, с другой, смерть отца Фета, последовавшая 7 мая 1854 г. (*Летопись*. С. 157). В последней главе повести — «Чернецов» — ностальгически звучит «тема отца», и об отце говорится в прошедшем времени. Она открывается беседой героя с отцом по поводу решения определиться на военную службу и сопровождается рассуждением: «Добрый батюшка! Поэзия жизни для него не существовала. Мечтать, предчувствовать было не его делом. Казалось, он всю жизнь развивал одну тему: “по-моему, это справедливо; я этого непременно хочу — и это непременно будет”. Постоянным девизом его была половица: “Что посеешь, то пожнешь”. Много, неотступно трудолюбиво сеял он на веку, но много ли пожал и каких плодов?» В следующей за этой главой дневниковой записи Ковалева прямо упоминается о «близких утратах».

В повести переплетены два ретроспективных сюжета: один — «армейский», другой, помещенный внутри первого, — изображение детства и студенческой юности. Оба сюжета имеют автобиографический характер⁶. Армейский сюжет, которым открывается повесть,

⁶ Многочисленные переключки между этим автобиографическим рассказом и мемуарами Фета были отмечены (*Садовской*. С. 70; *Соч.* Т. 2. С. 382). Вряд ли можно признать убедительной попытку некоторых исследователей переосмыслить

возвращает читателя к истории кирасирского Орденского полка, а именно — к венгерским событиям 1849 г., в которых полк участвовал (см. об этом: *РГ*. С. 406, 440—449). Основной сюжет относится к 1830—1854 гг.

Очевидно, повесть была передана в ОЗ И. С. Тургеневым, который, как следует из письма Фета к А. А. Краевскому от 8 мая 1855 г., должен был ее «пересмотреть», однако, не успел это сделать (*РНБ*. Ф. 391. А. Краевский). В предыдущем письме (от 15 февраля) Фет назвал «Дядюшку и двоюродного братца» «повестью» (Там же).

На жанровую особенность произведения указано в своеобразном введении («Начало и конец»): «если не повесть, то, по крайней мере, несколько очерков». Возможно, это замечание связано с сомнениями самого автора относительно жанра написанного произведения, что отразилось в указанном разночтении в журнальной публикации. Повесть (или рассказ) состоит из девяти глав (в журнальной публикации, вероятно, допущена техническая ошибка: две главы («Жених» и «И то и се»), представляющие собой личный дневник штабс-ротмистра Ковалева, пронумерованы одной цифрой «шесть». То же — в *Соч.* Т. 2). Этот дневник — «писаная тетрадь без начала и без конца» — был оставлен на хранение повествователю его автором и опубликован после смерти последнего. Перед нами «рассказ в рассказе», своеобразная «семейная хроника», в которой повествуется о двух родственных семьях, о судьбах двоюродных братьев — молодых дворянских отпрысков.

Уже отмечалось, что автобиографизм составляет одно из достоинств этой повести (см. об этом выше, во вступ. ст. к прозе в наст. томе). Многие детали из жизни Фета, описанные в позднейших воспоминаниях и в повести «Дядюшка и двоюродный братец», дополняют и уточняют друг друга, помогая восстановить подлинную биографию их автора, что подтверждается письмом старинного друга Фета Ивана Петровича Новосильцова от 19—20 февраля 1890 г. (указано Л. М. Маричевой): «...Начну с выражения благодарности за “Дядюшку и двоюродного братца”, сейчас же по получении, т. е. вчера начал чтение и “смакую потихоньку”, и, кажется, не так давно, а перемен-то, перемен, другому, пожалуй, покажется все это волшебной сказкой, а мне ясно видна действительность, чую более, чем чувствую, что все так было — и что тут нет красного словца для прикрасы. И вижу твоего отца, слышу его типические выражения с поднятой кверху ладонью и с щелчком! Спасибо тебе, когда прочту, возвращу тебе <...>. А жаль, что такая вещь сделалась редкостью, и написано и задумано хорошо <...>» (*РО ИРЛИ*. № 20228. Л. 225). Особенный ин-

лить этот факт, приписывая Фету намерение придать «отдельным лицам своих мемуаров черты, которые сформировались в поисках определенного художественного задания в этой ранней прозе» (*Земледельцева Т., Егеньев С. Т.* Сюжетная проза и мемуары Фета: проблемы комментария. На материале повести «Дядюшка и двоюродный братец». С. 113).

терес представляет сообщение о дальнейшей судьбе Капитона Шеншина: «...узнал в описаниях и княгиню Васильеву и г-жу Лыкошину — которой голова походила на голову кузнечика в микроскопе! И типы же были! И кончил Апишь в монастыре на Афонской горе самоубийством, бросившись в море с отвесной скалы в самый день своего причащения! Не знаю, читала ли эту повесть или этот рассказ княгиня Оболенская, дочь Апиша: должно быть, жутко дочери помышлять о таком отце!» (Там же. Л. 227).

Повесть не была принята столь доброжелательно, как «Каленик». В *Совр.* появилась без подписи заметка, принадлежащая Н. А. Некрасову, в которой очень дипломатично, после самых высоких похвал поэзии Фета (автор заметки даже целиком выписал стихотворение «Диана»), объявлялось, что проза Фета далеко уступает его поэтическому творчеству. «Всякая похвала немеет перед высокой поэзией этого стихотворения, так освежительно действующего на душу; мы искренно пожалели, что г. Фет, которому природа дала лучший из даров своих — дар поэзии, — который так мастерски, так художественно-пластично умеет описывать “Диану”, вздумал описывать Марью Ивановну и тому подобные личности <...>. Попытка совершенно не удалась, чему мы, признаемся, душевно рады: авось вторая неудача охладит г. Фета к прозе и возвратит его к настоящему его делу — к стихам» (Заметки о журналах за октябрь 1855 // *Совр.* 1855. Т. 54. № 11. С. 74; То же: *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 11. Л., 1990. С. 188—189). Характерно, что Некрасов к «неудачам» относит и первый рассказ Фета «Каленик».

Гораздо более резким был анонимный отклик на повесть в *БдЧ*: «Во главе октябрьской книжки “От<ечественных> Зап<исок>” поставлен *Дядюшка с двоюродным братцем*, повесть сочинения г-на Фета. От колючей поэзии господин Фет перешел к пустынной прозе. Переход совершен быстро и безопасно. Еще так недавно г-н Фет был поэтом и на наших глазах сделался настоящим прозаическим писателем, что неоспоримо доказывает его повесть. Давно уже не читали мы в “Отечественных Записках” такой прозы... Мы передали бы содержание этой повести, но “Отечественные Записки” пожалуй станут доказывать, что это сущая контрафакция, посягательство на чужую собственность и т. д.» (*Журналистика // БдЧ.* 1855. Т. 134. С. 6).

Начало и конец

Стр. 18. «Начало и конец». — Варьирование в предисловии этой формулы отсылает, по-видимому, к трилогии Ап. Григорьева об Арсении Виталине (См. подробнее во вступ. ст. к прозе в наст. томе).

Камелия — вечнозеленое растение из семейства чайных с декоративными цветами, которые нередко использовались в качестве дополнения к туалету.

Галопад (галоп) — старинный бальный танец в стремительно-быстром темпе.

Стр. 19. Корда — длинная веревка, на которой гоняют лошадей по кругу при выезде.

Когда полк наш, в свою очередь, выступил в поход — до особого приказа. — «Поход» — участие России в подавлении венгерской революции 1849 г. Полк, в котором служил Фет, во время венгерских событий находился в составе резервных подразделений, в отличие от уланского полка, в котором служил герой рассказа Ковалев. *Летопись* об этом сообщает: «1849. Конец мая. Главные силы русской армии, двинутой Николаем I для подавления Венгерской революции, сосредоточиваются под командой Паскевича у г. Дукла. В Орденском полку слухи о предстоящем выступлении в поход»; «10 июля. Полк выступает в поход в направлении на Ново-Миргород...»; «1 августа. Вождь венгерских революционных войск Гергей сдается авангарду русской армии»; «7 сентября. Полк возвращается из Ново-Миргорода на постоянные квартиры в Новогеоргиевск» (*Летопись*. С. 151—152; см. также: *РГ*. С. 440—449).

Штабс-ротмистр (штаб-ротмистр) — Офицерский чин в русской кавалерии в 1801—1917 гг.; соответствовал должности командира эскадрона. 27 февраля 1858 г. Фет вышел в отставку в чине штаб-ротмистра (см.: Указ об увольнении в отставку А. А. Фета по домашним обстоятельствам в чине штаб-ротмистра с выпиской из его формулярного списка с 1846 по 1858 г. // *ОР РГБ*. Ф. 315/II. Картон 14. Ед. хр. 22).

I. Журнал

Ну-с! далее! — говорил Василий Васильевич. — Так звали одного из учителей, нанятого в дом Афанасия Неофитовича Шенщина. Фет позднее вспоминал: «Во время моего детства Россия, не забывшая векового прошлого, знала один источник наук и грамотности — духовенство; и желающие зажечь свой светильник вынуждены были обращаться туда же. <...> Так как мне пошел уже десятый год, то отец, вероятно, убедился, что получаемых мною уроков было недостаточно и снова нанял ко мне семинариста Василия Васильевича...» (*РГ*. С. 31).

Дублин, Портсмут, Плимут, Ярмут — портовые города — Чичестер. — Дублин — город в Ирландии, входившей в XIX в. в состав Соединенного королевства; Плимут, Портсмут — портовые города на южном берегу Англии, Грейт-Ярмут — портовый город на востоке Англии, Чичестер и упоминаемый ниже *Дорчестер* — города на южном побережье Англии.

Стр. 20. Подчинка — ловушка.

Я знал, где у Сережи (бедного мальчика, взятого в дом для возбуждения во мне рвения к наукам) стояли пустые клетки. — В *РГ* Фет пишет: «Для возбуждения во мне соревнования в науках положено было учить вместе со мною сына приказчика Никифора Федорова Митьку. <...> Если *laudaturus*, *laudatura* была какая-то мутная

микстура, и Архелай, Агизелай и Менелай и даже Лай являлись каким-то клубком, в котором поймать конечную нить голова моя отказывалась, то при помощи Митьки у нас скоро развелось в доме множество пойманных птиц, которым по мере достоинства и занимаемых комнат давались подходящие названия. <...> Как раз перед окнами классной зимой в палисаднике на липовой ветке раскачивалась западня в два затвора, и, когда на последнюю садились синички, заглядывавшие в затвор, глаза наши без сожаления следили за всеми движениями наиболее отважной» (РГ. С. 32).

Стр. 21. ...я утешался примером спартанских юношей... — Спарта — др.-греч. полис-государство, победившее в Пелопонесской войне Афины и известное строгой системой воспитания юношей, подвергавшихся жестоким физическим наказаниям.

Швальня — портняжная мастерская.

Аполлон Шмаков. — Прототипом героя был двоюродный брат поэта Капитон, сын Л. Н. Шеншиной и болховского помещика П. И. Шеншина. Выбор литературного имени, вероятно, объяснялся частичным совпадением звучания производных, ласкательных форм обоих имен: *Sapiche* — обращение Л. Н. Шеншиной к сыну (см.: РГ. С. 68), *Апишь* — обращение к своему сыну тетушки Веры Петровны Шмаковой. Имя «двоюродного братца», может быть, не случайно совпадает с именем Ап. Григорьева.

...какие прописи прислал... — Прописи — написание букв по образцу печатных пособий для обучения письму. В РГ Фет вспоминал о том, что главным источником его с матерью мучений были «каллиграфические тетрадки» «двоюродных братцев», «такой красоты, которой подражать нечего было и думать» (РГ. С. 33).

Стр. 22. ...потянуть перед топящейся печкой жукова... — Жуков — сорт табака, названный по имени владельца табачной фабрики В. Г. Жукова (1796—1882). В РГ Фет вспоминал надпись на «табачном картузе»: «лучший американский табак Василия Жукова; можно получать на Фонтанке, в собственном доме...» (С. 187—188).

Говорят, детство самое блаженное время. — Возможно, аллюзия на размышления Л. Н. Толстого в повести «Детство» (1852): «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 1. М., 1935. С. 43).

...находил на второй <полке>, между старыми нумерами «Вестника Европы», все сочинения Ж. Ж. Руссо и, кроме того, «Эмиля» на французском, немецком и русском языках. — «Вестник Европы» — двухнедельный журнал, который в 1802—1804 гг. издавал в Москве Н. М. Карамзин, а позднее (до 1815) писатели-сентименталисты, продолжавшие литературную политику Карамзина. Жан Жак Руссо (1712—1778) — фр. писатель-сентименталист, поклонником педагогических идей которого был отец А. А. Фета. «Эмиль, или о воспитании» — педагогический роман-трактат Руссо (1762), в кото-

ром подчеркивалось значение трудового и физического начал в воспитании.

Стр. 23. *Иверолисовый сюртук светло-табачного цвета.* — Сюртук (от фр. *surtout* — поверх всего) — деталь мужского костюма, появившаяся в России в первые десятилетия XIX в. Поначалу сюртук был одеждой, предназначенной для улицы. В отличие от фрака, сюртук имел полы и довольно высокую застежку (*Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века. М., 1989. С. 222*).

Фрачная пара. — «Фрак — мужской костюм, появившийся еще в первой половине XVIII в. в Англии, а позднее распространившийся по всей Европе. Изначально фрак предназначался для верховой езды. С этой целью полы верхней приталенной одежды отгибали назад, и наконец сложилась форма фрака — одежды, не имеющей пол, а только фалды сзади» (*Кирсанова Р. М. Указ. соч. С. 250*). Фрак в сочетании с панталонами (длинные мужские штаны), сшитыми из той же самой ткани, представлял собой фрачную пару. Они появились в России в 30-е годы XIX в.

Галстух — деталь мужского костюма, производное от немецкого *Halstuch* (шейный платок).

«Коса змеей на гребне роговом...» — Неточная цитата из XXV строфы «Домика в Коломне» (1830) Пушкина. Фет повторил эту цитату при описании Аннушки в *РГ* (С. 18—19).

Стр. 24. *...рассказывала о воспитании и подвигах Кира, о уважении Александра к своему учителю, о мученической смерти добродетельного Сократа.* — Кир II Великий (ум. 530 до н. э.) — древнеперсидский царь, завоевавший много государств Малой и Средней Азии. История воспитания и подвигов Кира рассказана в «Киропедии» Ксенофонта Афинского (430—425 — после 355 до н. э.). Александр Македонский (356—323 до н. э.) — царь Македонии с 336 г., воспитанник Аристотеля (384—322 до н. э.). Сократ (470/469—399 до н. э.) — др.-греч. философ, личность и учение которого стали известны, в основном, благодаря диалогам Платона (427—347 до н. э.) Подвергая суровой критике недостатки афинской демократии, навлек на себя гонения, был обвинен в «поклонении новым божествам» и «развращении молодежи», приговорен судом к смерти посредством яда цикуты.

Стр. 24—25. *...говоря урок из латинской грамматики - окончания родительных надежей.* — Фет вспомнил этот эпизод в *РГ* (С. 22).

II. Приезд

Стр. 26. *Шестериком* — шестеркой лошадей в упряжке цугом. Так было дозволено ездить только очень узкому кругу людей — крупным сановникам.

Стр. 27. *...осененное широкими блондовыми оборками...* — Блонды (от фр. *blonde*) — кружева, изготавливавшиеся из хлопца-сырца,

который имел золотистый цвет; были особенно популярны в первой половине XIX в.

...серизовое шелковое платье... — Платье вишневого цвета (от фр. *serise*).

Кашмировая (или кашемировая) *шаль*. — Первоначально шали изготовлялись из тонкой шерсти кашмирских (от названия области в долине верхнего Инда) коз в Тибете, впоследствии стали производиться в Европе, с добавлением шелка.

Ридикюль — дамский мешок для хранения рукоделья и др. принадлежностей; вышел из моды в 1860-х гг.

Стр. 28. Пикейная жилетка. — Пике — плотная, шелковая и хлопчатобумажная ткань, лицевая поверхность которой выработана в виде выпуклых рубчиков (делалось и гладкое пике). Пикейный жилет был в конце 1810-х — начале 1820-х гг. признаком особого щегольства.

«Слепые», «Калиф багдадский» — «Калиф Багдадский» (1800) — опера фр. композитора Ф. Буальдьё (1775—1834). Популярность этого композитора в России отчасти объясняется его семилетней службой (1804—1810) в качестве капельмейстера придворной французской оперной труппы в Эрмитажном театре Санкт-Петербурга. Об этом периоде жизни композитора см.: *Финдейзен Н.* Буальдьё и придворная французская опера в С.-Петербурге в начале XIX в. // Ежегодник императорских театров. 1910. Вып. 5. С. 14—42.; «Слепые» — вероятно, речь идет о популярной в России опере «Два слепца из Толедо» (1806) фр. композитора Э. Мегюля (1763—1817).

Стр. 29. ...мнения Платона об ученых. — Во многих своих диалогах Платон обсуждал проблемы ученых и их место в идеальном государстве, роль науки (в особенности математики и диалектики) в системе нравственных и интеллектуальных ценностей.

Зубовский бульвар — расположен на юго-западе центра Москвы, между Крымской и Зубовской площадями, часть Садового кольца; с конца XVIII в. застраивался богатыми особняками и провиантскими складами. В этом районе размещались многочисленные торговые бани и цирюльни.

...вершковые каблуки... — Вершок — старая русская мера длины, равная 4,4 см.

Светло-вишневый штоф мебели... — Штоф — декоративная гладкокрашенная ткань со сложным крупным тканым рисунком, применявшаяся для обивки мебели, стен.

Брыжжи (брыжи) — воротник или выпуск на груди в виде оборок.

Стр. 30. Доезжачий — старший псарь, обучающий собак и распоряжающийся ими на охоте.

Выжловка (выжлец) — гончая сука (кобель). Обычно выжловка водит всю стаю, на ее голос сбегаются остальные собаки.

«Сама, бачка, камышница, из булоти зверя гонит». — Сама, батюшка, камышница, из болота зверя гонит (*диалектн.*).

...закон Мухаммеда. — Коран запрещает мусульманам употребление спиртных напитков.

Стр. 31. *Пикули* — салат из ягод и овощей, залитых уксусным отваром, с пряностями.

Стр. 32. ...был <...> во фигурах-с... — Зд.: во флигелях (*искаж.*).

Венгерку-то вы так играете, а вот как начнете «Возле речки»... — Венгерка — бальный танец, основанный на венгерском народном танце чардаш. «Возле речки» — русская народная песня о несчастной любви (см.: Русская народная поэзия. Лирическая поэзия: Сб. / Сост., подг. текста, предисл. к разделам, коммент. Ал. Горелова. Л., 1984. № 271).

Стр. 33. *Казакин* — мужской кафтан или полукафтан, приталенный, на сборках, со стоячим воротником и застегивающийся на крючки.

III. Мизинцево

Стр. 35. ...а там себе хоть утушку пой. — Зд. в значении: а там можешь грустить, печалиться. Утушка — традиционный образ русской народной песни, символическое обозначение девушки-невесты или женщины. Судя по контексту, речь идет о песне «На море утушка купалась, полоскалась...», входящей в состав свадебного обряда (См.: Русские народные песни, собранные П. В. Шейном. Ч. 1. М., 1870. № 23, а также № 458). Она исполнялась обычно на девичнике; один из основных ее мотивов — противопоставление родного дома невесты и ее нового дома, прощание с родным домом.

...укладывала в вояжи мое и Серезино белье... — Вояж (от фр. voyage) — путь, дорога, странствие. Зд., очевидно, речь идет о дорожных чемоданах — саквояжах.

Подстава — смена лошадей в дороге.

Стр. 37. *Вене иси - Дансе, дансе!* — Этот эпизод отразился в мемуарах Фета (см.: РГ. С. 201).

Снаружи двухэтажный дом... — Ср. с описанием дома в Мизинцево в РГ (С. 201).

Стр. 38. *Шандал* — тяжелый подсвечник (*устар.*).

Выводчик — человек, отвечающий за выводку лошадей на прогулку.

Стр. 39. *Резонабельно* — здраво, разумно (от фр. raisonablement).

Экосез — старинный бальный танец типа кадрили.

«*Ты поди, моя коровушка, домой...*» — русская народная песня, относящаяся к песням семейного содержания. В ней говорится о трудной женской доле, о семейных заботах и тяжести семейного быта, о замужестве без любви, из которого выход только один — смерть:

Я куплю ли мужу пуговку,
Что семь пуд, да с четвертью;
Навяжу ль я мужу на груди

И пущу ль я мужа на воду;
Пущу ль я мужа на воду,
А сама взойду на гору;
Я сама взойду на гору,
Погляжу, как муж мой плавает:
Он, как черт, барыхтается,
Как пузырь, надувается <...>
Надо мной уж не ломается.

(См.: Русская народная поэзия. Лирическая поэзия: Сб. / Сост., подгот. текста, предисл. к разделам, коммент. А. А. Горелова. Л., 1984. № 294).

«Как в свадебной лирике преобладают горестные причитания невесты, так в песнях семейных преобладают лирические сетования на горькую жизнь. Именно эти песни создали русским песням славу песен грустных и заунывных. Об этих песнях Пушкин писал: “...Свадебные песни наши унылы, как вой похоронный”» (Пропп В. Я. О русской народной лирической песне // Пропп В. Я. Сказка. Эпос. Песня / Сост., науч. ред., коммент. и указ. В. Ф. Шевченко. М., 2001. С.247). Фет в «Записках о вольнонаемном труде» цитирует «Домик в Коломне» Пушкина: «Грустный вой песня русская» (см.: Фет А. Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. С. 96).

Откупщик — человек, который купил (взял на откуп) право на получение монопольных государственных налогов или доходов. Зд.: человек, имевший винный откуп или право торговли винной продукцией (см. далее в тексте: «*Мог бы, кажется, и человеком быть, да откупщик погубил... Теперь с хмельным не расстанется...*»).

Гарус — шерстяная пряжа; шерсть для шитья, вышиванья.

Стр. 40. Мараль нагнал — речь, вероятно, идет о порче. Мара в славянской мифологии — злой дух, нечисть (первоначально — воплощение смерти, мора).

Го-преньяк — сорт фр. белого вина.

Коленкор — дешевая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, отбеленная и накрахмаленная в процессе отделки.

Холстинка — льняная или легкая полотняная ткань кустарной выделки.

Стр. 41. ...киятры ~ лиминации... — Театры - иллюминации (*искаж.*).

IV. Москва

Стр. 41. Фунт — 410 гр.

Станция — остановка на большой дороге, почтовом тракте (*устар.*).

Стр. 43. ...в контору ~ Собrania... — Имеется в виду Московское Благородное собрание.

Стр. 44. ... во фризовом сюртуке... — Фриз — дешевая грубая шерстяная ткань со слежка вьющимся ворсом.

Разыгрываем для Аполлона-то алегру. — Аллегро; зд.: музыкальное произведение или часть его в быстром темпе.

Сколько синеньких ~ должен был заплатить... — Синенькими называли пятирублевые банковые билеты по цвету купюры.

Лексикон Кронеберга. — И. Я. Кронеберг (1788—1838) — знаток классической филологии, профессор и ректор Киевского университета, автор ряда сочинений: «Об обрядах и обычаях древних римлян» (1818), «Antiquitates Romanae» (1823), «Латинская грамматика» (1820), составитель латино-русского словаря, издатель научных журналов «Минерва» и «Харьковский календарь». «Лексикон», о котором здесь идет речь, — это многократно переиздававшийся в течение XIX в. словарь: Латинско-российский лексикон, с полным объяснением всех свойств и значений каждого латинского слова и с показанием собственных имен, до древней географии и мифологии относящихся. Составленный Иваном Кронебергом, философии доктором и Иенских Обществ Латинского и Великогерцогского Минералогического членом. Ч. 1. От А до М. М., 1819; Ч. 2. От М до Z. М., 1820.

Стр. 45. Бек по пачпорту хожу... — Наличие паспорта свидетельствует о том, что Иван был из оброчных крестьян, которые отпускались за пределы имения только при наличии этого документа, выписанного помещиком.

Стр. 46. На Кузнецком. — Кузнецкий мост — улица в Москве. Во второй половине XVIII в. на Кузнецком мосту появились магазины, принадлежавшие иностранцам (главным образом французам) и ставшие впоследствии своеобразным центром моды.

...в статском платье... — Статское (штатское) платье — в отличие от военного и чиновничьего мундира, гражданская одежда.

V. Княгиня Наталья Николаевна

Стр. 47. ... в гороховых штиблетах... — Штиблеты — плотно облегающая ногу обувь из сукна или полотна на пуговицах. Гороховый цвет — «цвет вареного серого гороха, желто-серый, дикожелтоватый» (Даль. Т. 1. С. 382).

Стр. 49. ...стаккато, которым говорила вязальщица. — Зд.: отрывистая речь (от муз.: staccato — отрывисто).

Килсек — иллюстрированная книга (или альбом), изданная с особой роскошью (от англ. keepsake).

Стр. 50. Па — фигура в танце (от фр. pas — шаг).

VI. Жених

Стр. 53. Сатрап — правитель в Древней Персии, обладающий неограниченной властью, наместник провинций; зд.: деспот.

Сю Эжен (1804—1857) — фр. писатель. Его роман «Матильда» (1841), пользовавшийся большой популярностью в 1840-е гг., представлял картину времени, испорченность нравов в аристократических кругах. Первое издание в России: Матильда, записки молодой женщины. Сочинение Евгения Сю, автора «Парижских тайн» и «Вечного жида». Перевод с фр., пересмотренный и исправленный В. Строевым. СПб., 1846—1847. Тринадцать частей. *Урзула* — героиня романа.

Deus ex machina — зд.: неожиданно, как снег на голову.

Стр. 55. Арабески — сложный орнамент из геометрических фигур, стилизованных листьев, цветов и проч.

Стр. 56. Банковые (банковские) билеты — бумажные деньги, введенные в России с 1 января 1843 г. и заменившие ассигнации.

Стр. 57. Форейтор — кучер, сидящей на передней лошади при запряжке цугом.

Чумбур (чембур) — третий, одинокий повод уздечки, за который водят верхового коня, привязывают или дают валяться (*Даль*. Т. 4. С. 589).

Лука — изгиб переднего и заднего края седла.

Мамаево побоище — Куликовская битва (1380). Здесь используется в переносном смысле.

...на пестрядинных - подушках... — Пестрядь — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток.

Хряц — крупный речной песок.

Да он никак стоит. — Зд.: делает охотничью стойку, подняв переднюю лапу и горизонтально держа хвост.

Стр. 58. Тветы — цветы (*диалектн.*).

VII. И то и сё

Стр. 59. «Есть речи — значенье...» — начало первой строфы стихотворения М. Ю. Лермонтова (1839).

Стр. 60. Храмовый праздник — местное торжество в день, когда отмечается церковный праздник, в честь которого названа церковь.

...праздничные кички с пестрыми лопастьями, золотыми сороками и бисерными подзатыльниками... — Кичка, или кика — старинный русский головной убор замужней женщины, который, в отличие от девичьего «венца», полностью скрывал волосы. Кичкой называли также и налобную часть всей конструкции, которую дублировали для большей жесткости пенькой или берестой и обтягивали сверху нарядной тканью. Вместе с «сорокой» и «позатыльнем» кичка была составной частью сложного головного убора. Именно кичка определяла его основные черты — например, рогатая кичка и т. д. (см.: *Кирсанова Р. М.* Указ соч. С. 118).

Стр. 61. Пристяжная — боковая лошадь в упряжке тройкой, бегущая галопом.

Коренной (коренник) — средняя лошадь в упряжке тройкой, наиболее сильная, бегущая рысью.

Луб (лубок) — «подкорье, исподняя кора, покрывающая блонь; особ. липовое, идущее на кровли (под тес), на мочала, а с молодых лип на лыко» (*Даль*. Т. 2. С. 270).

Ободья — мн. ч. от «обод» — наружная часть колеса в виде круга; в словаре Даля есть другое значение: «обода — круговой широкий ремень конской шлеи, по бокам лошади».

Ходобцик — разносчик, коробейник.

Только к «достойной» ударили. — Речь идет о последней части Евхаристического канона — Литургии верных, в ходе которой в момент, предшествующий таинству святого Причащения, ударяется в колокол к т. н. «Достойно». Церковный благовест возвещает всем, кто не присутствует в храме, о наступлении самого важного момента в последовании Литургии. Он начинается пением «Достойно и праведно есть...» и продолжается до пения «Достойно есть яко воистину...» (см.: Краткое объяснение Всенощной, литургии или Обедни, последований таинств, погребения усопших, водоосвящения и молебнов / Сост. прот. И. Бухарев. М., 1991. С. 111). Фет описывает храмовый праздник «в соборе заштатного городка». По окончании службы на площади перед церковью устраивались торги.

Стр. 62. Змейка завилась — пыль, поднимая экипажем и завиваемая наподобие змеи.

Я взглянул на подорожную. От Москвы до Меджибожа... — Подорожная — свидетельство, дающее право на определенное количество лошадей, соответствующее чину и званию. Меджибож (Междубужье) — место Подольской губ. (совр. Хмельницкая обл. Украины), Летичевского уезда. Под Меджибожем устраивались лагерные сборы войск.

...я с радостью узнал Петрушу. — В корнете уланского полка Петруше Мореве отразились некоторые черты друга Фета И. П. Борисова. Так, Морев соблазняет окончившего университет Ковалева поступить на службу в уланский полк, в котором «офицеры охотники до лошадей и у всех славные кони <...> а про охоту и спрашивать нечего. Куропаток мальчишки палками бьют» (ср.: *РГ*. С. 261).

VIII. Рассказ Морева

Стр. 63. ...поверял старосту. — Поверять — то же, что проверять (*устар.*).

Квит — Зд.: всё.

Волтеровское (вольтеровское) *кресло* — кресло, отличавшееся глубоким сидением и очень высокой спинкой, названо по имени фр. писателя, философа и историка *Вольтера* (наст. имя Мари Франсуа Аруз; 1694—1778).

Стр. 64. Резонт — Зд.: основание, причина (от фр. *raison*).

Крестец — «копушка хлеба в снопах на жниве, до уборки; обычно <...> по четыре крестца на копну» (*Даль*. Т. 2. С. 191).

Осьмина — восьмая часть, доля в исчислении мер зерна.

Стр. 65. «Хозяин музыку любил...» — неточная цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты» (1808). У Крылова: «Хозяин музыку любил / И заманил к себе соседа певчих слушать. / Запели молодцы...».

«Забелелися во чистом поле каменны палаты» — строка из русской народной песни «Не белы снеги во чистом поле снеги забелели...» (см.: Собрание народных песен П. В. Киреевского / Предисл., послесл., сост. В. И. Калугина. Тула, 1986. № 124). Фетовская цитата несколько расходится с указанным вариантом данной песни (записанным в Московской губ.):

Не белы снеги во чистом поле снеги забелели, —
Забелели у мово любезного каменны палаты...

Эта песня относится к солдатскому и рекрутскому репертуару. В ней говорится о «двух молодчиках, парнях молодых», которые пишут письмо; перед ними причитает красна девица, а молодчики ее «унимают»:

— Ты не плачь, красна девица, не плачь, не печалься!
Что не быть-то нам, молодчикам, на своей сторонке, —
Быть нам, быть нам, добрым молодцам, во солдатах,
Служить нам царю белому, служить верой-правдой...

Эта песня была популярна в кавалерии. В «Очерках кавалерийской жизни» (1892) В. Крестовский описывает сцену прощания эскадрона, уходившего на зимние квартиры: «И в порядке — пики в руку, глаза налево — эскадрон стройными рядами, красиво подобранных коней, двинулся мимо полкового командира. <...> — Не белы снеги во поле забелели, — разлиvisto, высоко и свежо зазвенел вибрирующий тенор запевалы <...> — Ай, да забелели! — дружно подхватил хор, сопровождаемый звоном тарелок и парю гудящих бубнов — и эскадрон под эти родные, широко разлиvistые и душу захватывающие звуки тихо, но бодро уходил в широко раскинувшуюся даль принеманских полей...» (Крестовский В. В. Собр. соч.: В 8 т. СПб., б. г. Т. 4. С. 143).

Буланый — масть лошадей: светло-желтая, с черным хвостом и гривой.

...в *красной александрийской рубашке*... — Александрийка, александровка, александрейка, ксандрейка, касандровка — хлопчатобумажная ткань красного цвета (Кирсанова Р. М. Указ. соч. С. 20). Основным местом производства александрийки в XIX веке была Александровская мануфактура близ Петербурга, основанная в 1798 г.

Стр. 66. *Бурнус* — просторный плащ с капюшоном, отделанный тесьмой, близок по крою и орнаменту к арабскому плащу из белого сукна, вошел в обиход в конце 1830-х — начале 1840-х гг.

IX. Чернецов

Стр. 69. ... а эти куропаточники-то — дешевенький народ. — В РГ Фет рассказывает о том, что его отец звал И. П. Борисова куропаточником (С. 262).

...недостроенный деревянный коллизей. — Коллизей — самый большой амфитеатр Рима и всего античного мира, служивший для гладиаторских боев и др. зрелищ. Сохранившиеся его развалины стали синонимом запустения и разрушения.

Фиксатуар — помада для приглаживания волос; употреблялась для придания мужской прическе желаемой формы.

Рижские пурки — весы, указывающие вес зерновых в объеме (четверти) на основании одной горсти образчика этого зерна.

Стр. 70. ...ты про Донкишота этого спрашиваешь... — Донкишот (Дон-Кихот) — герой одноименного романа (1605—1615) Сервантеса.

Дормёз — дорожная карета, в которой можно лежать, вытянувшись, спать (от фр. *dormeuse*).

Стр. 73. «Как наши годы-то летят!» — цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (7, XLIV).

Пойдешь, бывало, на ординарцы к начальнику... — Ординарцы — обер- и унтер-офицеры при генералах для скорейшего доставления нужных сведений.

Опять на родине! — В первой публикации так начиналось стихотворение Пушкина «...Вновь я посетил...» (1836) в редакции В. А. Жуковского: «Опять на родине! Я посетил...» (*Совр.* 1837. Т. 5. С. 320. Заглавие — «Отрывок»). По этой же первой строке оно называлось в печати и в литературных кругах (ср.: Сочинения Пушкина с приложением Материалов для его биографии / Изд. П. В. Анненкова. Т. 1. СПб., 1855. С. 115—116). Далее Фет приводит еще две цитаты из этого стихотворения: «Я посетил тот мирный уголок» (неточная) и «Уже старушки нет...». Ниже Фет использует композиционные приемы пушкинского стихотворения: «Вот сиреневые кусты... Вот старые липы...».

Стр. 74. ...весело и больно тревожить язвы старых ран? — Усеченная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Журналист, читатель и писатель» (1840).

«...одних уж нет, а те далече...» — Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (8, LI).

Стр. 75. «*Les sept péchés capitaux*» — «Семь смертных грехов». Роман Э. Сю (1847). Первая публикация в России: *ОЗ.* 1848. № 1, № 2, № 3, № 12. Отдельное издание: Гордость, один из семи смертных грехов. Роман, сочинение Е. Сю. СПб., 1849.

Стр. 78. **Целковый** — монета достоинством в 1 рубль (*простореч.*).

Семейство Гольц. Впервые: *РВ.* 1870. Т. 89. № 9. С. 281—321. Напечатано с подзаголовком: Рассказ. Автограф не обнаружен. В *РО ИРЛИ* хранится фрагмент рукописи части 2-й, соответствующий

страницам 289—292 журнальной публикации. Печатается по первой публикации.

Работа над произведением, вероятно, была завершена к февралю 1870 г. Об этом свидетельствует письмо Фета к И. П. Борисову от 5 февраля [1870 г.]: «Я в настоящее время кончил рассказ листа в два печатных из новороссийск<ой> былой жизни. Это совершенно отдельный и в себе замкнутый рассказ. Я его отшлифую под зубок и прямо в типографию. Каткову на ответ дам неделю времени, и затем в “Зарю”. Кажется, выйдет недурно, а впрочем, самому быть судьей мудроно. Вот и хочется тебе прочесть эту новорожденную штуку» (*ОР РГБ*. Ф. 315/II. Картон 2. Ед. хр. 30. Л. 58—58об.). С аналогичным известием, по всей вероятности, Фет обращался и к Толстому, что следует из ответного письма Л. Н. Толстого от 16 (?) февраля 1870 г.: «Вы мне хотите прочесть повесть из кавалерийского быта. Я жду от этого добра, если только просто, без замысла положений и характеров» (*Толстой. Переписка*. Т. 1. С. 400). В следующем письме от 21 февраля, написанном сразу после визита к Фету в Степановку, Толстой отзывается на прочитанный им в Степановке рассказ: «Я, уезжая от вас, забыл вам сказать еще раз, что ваш рассказ по содержанию своему очень хорош и что жалко будет, если вы бросите его или отдадите печатать кое-как, и что он стоит того, чтобы им заняться, ибо содержание серьезное и поэтическое, и что если вы можете написать такие сцены, как старушка с поджатыми локтями и девушка, то и все вы можете обделать соответственно этому; и лишнее должны все выкинуть и сделать изо всего, как Анненков говорит, *перло*. Добывайте золото просеиванием. Просто сядьте и весь рассказ сначала перепишите, критикуя сами себя, и тогда дайте мне прочесть» (Там же. С. 401). Через семь месяцев после этой встречи рассказ (именно так определен жанр в подзаголовке) был опубликован в *РВ*.

В какой мере последовал Фет совету Толстого, определить трудно, поскольку автограф «Семейства Гольц» остается не известным. Однако хранящийся в *РО ИРЛИ* фрагмент этого автографа позволяет сделать вывод о том, что Фет пытался «добывать золото просеиванием». Так, из журнального варианта рассказа исчез эпизод ссоры между супругами Гольц. Видимо, он показался Фету лишней подробностью их семейной жизни, имеющей мало отношения к основной повествовательной линии. К тому же он несколько нарушал логику образа Луизы — кроткой, смиренной, погруженной в семейный быт. В рукописном фрагменте этот эпизод начинается так:

«По опыту Луиза Александр<овна> приновилась к симпатиям и антипатиям мужа, но когда разговор наталкивался на объяснение побудительных причин, он сердился и упорно замолкал. Она знала, например, что он ни сам не пойдет, ни ее не пустит на общественное <гулянье> слушать трубачей, но она попробовала пригласить его в сад.

— Я иногда не понимаю, — отвечал Гольц, — что с тобой делаешь? Очень просто. Ты знаешь, что я чего-нибудь не хочу, а начинаешь об этом толковать. Видно, делать нечего.

— Я не настаиваю на своем, ты не скажешь, почему ты против этого?

— Потому, что когда человек женится, то жена к нему приходит в дом, а не он к ней. Кажется ясно — *рунстун*, и сделай милость, никогда не приставай ко мне с подобными глупостями» (РО ИРЛИ. Архив Я. П. Полонского. № 13510. Л. 1).

Полковой лекарь Иринарх Иванович Богоявленский (его имя напоминает о студенческом приятеле Фета Иринархе Ивановиче Введенском) в рукописи имеет два варианта фамилии: Богоявленский и Благовзвонский. В основном тексте утвердился первый вариант. Если не считать других (немногочисленных) частных исправлений, вставок и замен, то можно сказать, что рукописный фрагмент рассказа «Семейство Гольц» в основном соответствует тексту журнальной публикации. В то же время он позволяет увидеть процесс работы Фета над произведением, дает основание предполагать, что доработка текста шла по пути, подсказанному Л. Н. Толстым.

И. П. Борисов, делясь впечатлениями от только что прочитанного им рассказа в письме к Фету от 22 октября 1870 г., отмечал: «...прочел с большим удоволь<ствием> <...> потому уже, что никакого нет тут Шопенгаурства. Вспомнилась милая Вохландия. Федор Ф<едорович> прелесть — ожеребился! Но признаюсь тебе: к Гольцу у меня ничего нет. Он несчастный пьяница, и ты именно так его набросал, что личность его ничто, а все оно спиртовка. А мне помнится, что в нем ты рисовал эгоиста. Еще тебе скажу, что все строки твои, проходившие по жизни действительно<й>, один табак вкусный; а где литературил — другой табак. Может быть, на меня это действовало так потому, что я сам вохландец, а может и потому, что я перед этим только что отчитал “Войну и мир” и остался раздражительно чутким на всякую папироску» (РО ИРЛИ. Ф. 337. № 20272. Л. 205).

В этом отзыве обращают на себя внимание два момента. Во-первых, Фет делился с Борисовым своими замыслами, касающимися рассказа вообще и образа Гольца — в частности. Возможно, изменение замысла в процессе работы над образом Гольца связано с тем, что в предыдущей повести «Дядюшка и двоюродный братец» Фет уже нарисовал законченного эгоиста Аполлона Шмакова (кстати, тоже замучившего, как и его прототип, свою жену). Во-вторых, Борисов разграничивает строки, «проходившие по жизни действительно<й>», и те, в которых Фет «литатурил» или «шопенгаурил» (намека на увлечение философией А. Шопенгауэра и склонность к философским умозаключениям). Соответственно, первые ему понравились значительно больше, вторые — меньше. В том же письме Борисов отмечает стремление Фета подражать творческой манере Толстого, а также недвусмысленно заявляет: «...ты сам по гроб жизни останешься Ли-

риком» (Там же. Л. 206). Откликаясь на это письмо, 25 октября <1870 г.> Фет напишет: «Ты находишь, что Гольц несчастный пьяница. Ну что же, очень рад. Лишь бы он был настоящий человек, а что он такое, это ты лучше меня знаешь» (ОР РГБ. 315/II. Картон 2. Ед. хр. 30. Л. 64 об.).

I.

Стр. 79. *Он был ревностным гомеопатом...* — Гомеопат — врач, лечащий средствами гомеопатии, метода, заключающегося в применении очень малых доз тех лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки данного заболевания. Прототипом Александра Андреевича Зальмана явился, по всей вероятности, знаменитый мценский аптекарь Александр Андреевич Симон, о котором Фет вспоминал, что он говорил «всем своим клиентам: “Охота вам покупать эту дрянь! Я вам дам несколько крупинок гомеопатии, и вы будете здоровы”» (МВ. Ч. 1. С. 216). В частности, Симон вылечил от малоазиатской лихорадки И. П. Борисова.

Стр. 81. *После Святой недели...* — Святая (или Пасхальная неделя) — первая неделя после Пасхи.

Начитавшись модных романов Занда... — Речь идет о Жорж Санд (1804—1876; настоящее имя: Аврора Дюпен, в замуж. Дюдеван), фр. писательнице, пользовавшейся чрезвычайной популярностью в России в середине XIX в. Далее Зальман советует дочери прочесть роман Жорж Санд «Мопра» («Mauprat», 1837).

...приобрела по всему околотку репутацию эксцентрической особы... — Подражая Жорж Санд, многие молодые женщины начали курить, носить мужскую одежду и т. п., что осуждалось добропорядочной публикой.

Стр. 84. *«Und was der Verstand der Verständ'gen nicht sieht...»* — Неточная цитата из стихотворения Ф. Шиллера «Die Worte des Glaubens» (1797) (цикл «Gedankengedichte»). В оригинале: «Und was kein Verstand der Verständ'gen nicht sieht, / Das ubet in Einfalt ein kindlich Gemüt».

«Я люблю отца, — думала она, — и мешаю ему жить. Чувствую, что я всех люблю и желаю всем добра...» — Мнение И. П. Борисова об этом пассаже см. во вступ. ст. к прозе в наст. томе.

II.

Стр. 86. *«Мессиада»* — религиозно-эпическая поэма (1751—1773) немецкого поэта Ф.-Г. Клопштока (1724—1803).

Втора — второй голос, вторая скрипка.

Стр. 87. *«Но небо здесь к земле так благосклонно».* — Из ст-ния Ф. И. Тютчева «Итальянская villa» (1837). Анализ этого ст-ния содержится в ст. Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева» (см. с. 189—191 наст. тома).

...заштатный город К... — город Крылов (Новогеоргиевск), в котором располагался штаб Кирасирского Военного ордена полка, где служил Фет (РГ. С. 270, а также: Григорович А. История 13-го драгунского Военного ордена... полка. Т. 2. СПб., 1912).

...единоверческого священника. — Единоверие — условное единение старообрядцев с православной церковью, существовало с начала XIX столетия. Единоверческие священники избирались прихожанами.

Иринарх Иванович Богоявленский — Б. Садовой, а вслед за ним А. Е. Тархов отмечают в этом герое некоторые черты Иринарха Ивановича Введенского, московского приятеля Фета студенческих времен (Садовой. С. 71; Соч. Т. 2. С. 383).

Вольтер — см. примеч. к стр. 63.

...парусинное пальто. — Парусинная (парусиновая) — сшитая из парусины, грубой плотной льняной или полульняной ткани полотняного переплетения, из которой первоначально шились паруса.

...которую он называл *anticholericum*. — Антихолерическая (лат.) — т. е. средство против грусти, против болезни желчи.

Стр. 88. ...нанковом сюртуке... — Нанка — грубая плотная хлопчатобумажная ткань, обычно желтого цвета.

...гороховую фризовую шинель... — Гороховый цвет — см. примеч. к стр. 47. Фриз — см. примеч. к стр. 44.

Капот — женская просторная одежда с рукавами и сквозной застежкой спереди. В 1820—1830-е гг. капотом называли верхнее женское платье для улицы. К 1840-м гг. капот становится домашней женской одеждой.

Целковязика (целковый), карбованчик — см. примеч. к стр. 78.

«*Infandum regina jubes renovare dolorem*» — Из «Энеиды» Вергилия (Кн. вторая). Позднее Фет перевел «Энеиду» совместно с В. С. Соловьевым. В окончательном переводе Фета — «Несказанную скорбь обновлять мне велишь ты, царица» (См.: Энеида Вергилия. Перевод А. Фета. Со введением, объяснениями и проверкою текста Д. И. Нагуевского. Часть первая. I—VI. СПб., [1887]. С. 63).

«*In ovilia demisit hostem vividus impetus*» — Из оды Горация «К городу Риму (Похвала Друза)» (IV, 4). Впервые: ОЗ. 1856. № 7. С. 6 (см. ССчП. Т. 2. С. 115—118). Ловитва — ловля, охота (*устар.*).

...*reluctantes dracones*... — Из той же оды.

Стр. 89. ...*quae medicamenta non sanant*... В полном виде изречение др.-греч. врача Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 до н. э.) звучит: *Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat* (Чего не излечивают лекарства, излечивает железо, чего не излечивает железо, излечивает огонь). Выражение использовано в качестве эпиграфа к драме Ф. Шиллера «Разбойники» (изд. 1781).

Стр. 90. «*Ex nihilo nihil, in nihilum nil posse reverti*...» — Из сатиры Персия (2, III, 84). В переводе Фета — «...родиться не может / Из

ничего — ничего, и ничто в ничто возвратиться» (См.: Фет А. Сатиры Персия // *ЖМНП*. 1889. Т. 3. Отд. V. С. 120).

...да еще бывший бурш. — Зд.: бывший студент (от нем.: Bursche), в противоположность филистеру.

Стр. 91. Мы не перестанем, как говорит Цицерон, *ardere studio veri rependi...* — Возможно, контаминация двух фраз — *ardere studio*: «...с горячим желанием ты попросил меня преподать это тебе» («Топика». I, 2); *veri rependi*: «Два есть пути к нахождению истины...» («Тускуланские беседы». Кн. 3. XXIII, 56).

Филистерство — обывательская косность и ханжество.

«*Odi profanum*» — ода Горация «*Odi profanum volgos et arceo...*» (III, 1). В переводе Фета под заглавием «К хору дев и мальчиков» («Темную чернь отвергаю с презреньем...»). Впервые: *ОЗ*. 1856. № 5. С. 1—3 (см. *ССУП*. Т. 2. С. 72—74).

Quis post vina gravem militiam aut pauperiem crepat? — Из оды Горация «К Квинтилию Вару» (I, 18). В переводе Фета впервые: *ОЗ*. 1856. № 1. С. 176—177 (см. *ССУП*. Т. 2. С. 30).

Кабалистика. — Каббала — мистическое учение, в котором большое значение придавалось символическим числам. Зд. употребляется в значении: нечто, заключающее в себе особый, таинственный смысл.

Tres prohibet supra / Rixarum metuens tangere Gracia. — Из оды Горация «К Телефу» (III, 19). Впервые в переводе Фета: *ОЗ*. 1856. № 6. С. 365 (см. *ССУП*. Т. 2. С. 98—99).

Стр. 92. «*Bos stetit*» — Из «Метаморфоз» Овидия (III, 20). В окончательном переводе Фета — «Стала телка...» (См.: Публия Овидия Назона XV книги Превращений. В переводе и с объяснениями А. Фета. М., 1887. С. 110, 111).

Меценат (ум. 8 до н. э.) — в Древнем Риме приближенный императора Августа; нарицательное значение его имя приобрело в связи с покровительством, которое он оказывал поэтам. Был другом Горация, посвятившего ему несколько од.

«*Nox erat*» — начало эпода Горация «Неэре» («*Nox erat caelo fulgebat Luna sereno...*»). (XV). В переводе Фета: «Ночь была и в небесах блистала луна озаренных...» (*К. Гораций Флакк*. В пер. и с объяснениями А. Фета. М., 1883. С. 181).

«*Sidera somnas*» — грезишь о звездах (*лат.*). Источник цитаты не установлен.

«*Бачь, який скаженюка!*» — Смотри, какой сумасшедший (бешеный) (*укр.*).

III.

Стр. 94. ...получил пряжка за пятнадцать лет беспорочная служба. — Так называемой пряжкой (нагрудным знаком) награждали за выслугу лет и безупречную службу.

...дошел до геркулесовых столбов — см. примеч. к стр. 210.

...число рюмок, дозволяемых грациями. — См. примеч. на стр. 91.

Стр. 95. ...третье жалованье... — жалование по третям (года), за каждые четыре месяца.

IV.

Стр. 98. ...всеми любимый и уважаемый барон Карл Федорович Б... — К. Ф. Бюлер (1805—1868) — командир Кирасирского Военного ордена полка в 1848—1853 гг.

...полковой адъютант (пишущий эти строки тогда занимал эту должность)... — Фет исполнял должность полкового адъютанта с 16 октября 1849 до мая 1853 г. (См.: *Летопись*. С. 152).

Стр. 99. Меркуриальные препараты — препараты, содержащие ртуть.

Поливенный горшок — покрытый поливой, т. е. особым стекловидным сплавом, которым покрывают керамические изделия.

Стр. 100. ...и неизменный Федор Федорович Гертнер, начальник округа. — Прототипом Гертнера явился начальник округа Ф. Ф. Вернер (*РГ*. С. 441).

...с нафабранными усами... — Нафабрить усы — красить, чернить, мазать специальной краской фаброй, придавая усам лоск и жесткость.

Стр. 101. Компамент — войсковые учения.

...ниже четырех вершков у офицерской лошади не допускалось. — Имеется в виду высота лошади в холке, равная 2 аршинам и 4 вершкам, т. е. примерно 160 см (1 аршин равен 71,12 см, 1 вершок равен 4,4 см).

Бережа — здесь употребляется в значении: жереба (См.: *Даль*. Т. 1. С. 82).

Стр. 102. И поехал бы верст за 60 или 100 к знакомым помещикам... — Очевидно, Фет вспоминал о поездках к своим друзьям А. Ф. и А. Л. Бржеским, о которых тепло вспоминал: «О наших взаимных отношениях никакое злоречие не могло бы отыскать ничего, кроме взаимной страсти к поэзии, страсти, которая кажется так смешна людям толпы и которая с таким восторгом высказывается там, где она встречает горячее сочувствие» (*РГ*. С. 302).

Камлот — плотная шерстяная или хлопчатобумажная ткань.

V.

Стр. 104. Корпия — «растербленная ветошь, ветошные нитки или нарочно выделанная пушистая ткань, для перевязки ран и язв» (*Даль*. Т. 2. С. 169).

Стр. 106. ...эти конвульсивно сцепившиеся на коленях руки, эти туго прижатые к телу локти ... — Данный эпизод понравился Л. Н. Толстому: «...если вы можете написать такие сцены, как старушка с поджатыми локтями и девушка, то и все вы можете сделать соответственно этому...» (*Толстой. Переписка*. Т. 1. С. 401).

...воплощения перуджиновского идеала. — Перуджино Пьетро (между 1445 и 1452—1523), итал. живописец, представитель Раннего Возрождения, автор серии картин, изображающих Мадонну с младенцем.

Стр. 107. «Ты остановишься неволью...» — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Красавица» (1832).

VI.

Стр. 108. Точно как странник, который, взглянув перед самым закатом... — Из поэмы Гете «Герман и Доротея», которую Фет начал переводить еще на университетской скамье. Завершен перевод был в 1854 г. Впервые: *Совр.* 1856. Т. 58. № 7. С. 5—56 (см.: *ССиП.* Т. 2. С. 160—207).

Стр. 109. На Святой — см. примеч. к стр. 81.

Надворный советник — чин VII класса по Табели о рангах.

...у них квартира по отводу. — Очевидно, казенная квартира.

VII.

Стр. 110. Подгородные бараки — расположенные в пригороде.

VIII.

Стр. 113. Полуштоф — то же, что мерная бутылка, 0,6 литра.

Первый заяц. Впервые: Семейные вечера. 1871. № 8. С. 1—9, с подзаг.: «Посвящено маленькому приятелю графу С. Л. Толстому». Автограф не обнаружен. Печатается по первой публикации.

Написание рассказа, возможно, было связано с педагогической деятельностью Л. Н. Толстого. Известно, что уже в 1862 г., в период работы в Яснополянской школе, Толстой пришел к мысли о необходимости создания литературы для детей школьного возраста. Эта идея была частично реализована писателем через десять лет в «Азбуке» (1872), а более полно — в последовавших за нею в 1875 г. «Новой азбуке» и «Русских книгах для чтения». Согласно предположению В. С. Спиридонова, исследователя и комментатора детских рассказов Толстого, «в 1870 г. А. А. Фет, по-видимому после какой-то беседы с Толстым, задумал написать рассказ о зайце в форме, доступной для понимания детей» (*Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 21. М., 1957. С. 632). И хотя документальных подтверждений этому нет, характер взаимоотношений Фета с Толстым в указанное время вполне мог способствовать появлению фетовского рассказа для детей.

Первое упоминание о рассказе встречается в переписке Фета с И. П. Борисовым. 25 октября <1870 г.> Фет сообщает: «В Ясной провел два прекраснейших дня в обществе Толстого, его жены, Урусова Сер. Сем. и одного Юрьева, котор<ому> обещал рассказ о зайце. М<арья> Петр<овна> его захватит, она выезжает 1-го ноября» (*ОР РГБ.* Ф. 315/II. Картон 2. Ед. хр. 30. Л. 65об.). По-видимому, Фет, познакомившись в доме Л. Н. Толстого с известным театральным критиком и журналистом С. А. Юрьевым (1821—

1888), собирался опубликовать свой рассказ в новом журнале «Беседа», который начал выходить в 1871 г., редактором и издателем его был Юрьев. По неизвестной причине публикация в «Беседе» не состоялась.

Рассказ, таким образом, был написан до 25 октября 1870 г. Вероятно, вскоре после этого его прочел Л. Н. Толстой, отозвавшись о нем в письме от 17 ноября: «Интересен мне очень *заяц*. Посмотрим, в состоянии ли будет *все* понять, хоть не мой Сережа, а 11-летний мальчик» (*Толстой. Переписка*. Т. 1. С. 405). Поскольку впоследствии Толстой существенно отредактировал рассказ (см. ниже), очевидно, что его оценка не была однозначной. Скорее всего, она была обусловлена несоответствием рассказа главному критерию, предъявляемому Толстым к произведениям для детей, — «понятность и занимательность». Обилие в повествовании статических элементов (описание одежды, интерьера, пейзажа, охоты), замедляющих действие, внимание к подробностям и деталям противоречило требованиям Толстого к детской литературе.

Рассказ был посвящен толстовскому первенцу — сыну Сергею (1863—1947) и явился своеобразным знаком семейной дружбы Фетов с Толстыми. Однако его адресат С. Л. Толстой, автор очерка о Фете, весьма тенденциозного и нелицеприятного, об этом рассказе умалчивает (*Толстой С. Л. Очерки былого*. Тула, 1965. С. 346—353). Ко времени выхода рассказа в свет Сереже исполнилось восемь лет (он родился 28 июня н. ст.).

В дальнейшем Толстой переработал рассказ (сохранив сюжетную основу) и под названием «Как я в первый раз убил зайца», с подзаголовком «Рассказ барина» включил в состав своей «Первой русской книги для чтения» (1875).

Как и все рассказы Фета, «Первый заяц» носит автобиографический характер и содержит немало сведений о ранних годах жизни писателя. В сокращенном варианте события, представленные в рассказе, излагаются в позднейших воспоминаниях (*РГ*. С. 74—75). Не исключено, что под впечатлением от этого рассказа Толстой одобрил желание Фета отразить детство в своих воспоминаниях (*РГ*. С. 1—2).

Стр. 115. ...5 сентября, в день имени маменьки. — На 5 сентября приходился день памяти праведной Елисаветы, матери св. Иоанна Предтечи. Фет писал в *РГ*: «Ежегодно у нас праздновался 5 сентября, день имени матери, и один из этих дней навсегда остался мне памятным...» (С. 74).

Буфетчик Павел Тимофеевич — лицо реальное. Фет пишет о том, что он «был страстный ружейный охотник» и «кроме охоты на порошу за зайцами с барским ружьем, был облечен наравне с Тихоном садовником и официальной должностью ястребятника. Так как охота эта представляла и материальную выгоду, то отец обращал на нее особое внимание» (*РГ*. С. 69).

...наемный дядька мой Сергей Мартынович. — Историю появления Сергея Мартыновича в доме Шеншиных Фет рассказал в *РГ*. Это был отпущенный на волю крепостной Александра Михайловича Мансурова, одного из ближайших соседей отца Фета из села Подбелевца. После смерти барина Сергей Мартынович получил по завещанию весь его гардероб. «Вероятно, хорошая слава трезвого и усердного Сергея Мартыновича побудила отца нанять его в качестве дядьки при мне», — пишет Фет (*РГ*. С. 29).

Стр. 116. Мантилья — кружевная накидка, заимствованная европейской модой из испанского национального костюма в начале XIX в. Словом *мантилья* обозначали не только накидки, но и любую короткую кружевную одежду. В середине XIX в. (события рассказа относятся к середине 1830-х гг.) были распространены мантильи, получившие название *изабелла*, которые делали только из черных кружев с сильно удлиненной спинкой и коротким, едва достигающим талии передом.

Немка Елисавета Николаевна — так звали няню Фета, которая, по его словам, «еще плохо владея русским языком, тем не менее до тонкости знала весь народный быт, начиная с крестинных, свадебных и похоронных обрядов...» (*РГ*. С. 12).

...сестру мою Верочку. — В то время, которое изображает Фет, у него была одна сестра — Любовь. Анна умерла в младенчестве, а Надежда родилась, если верить *РГ*, как раз в тот день, о котором он пишет в рассказе «Первый заяц». Афанасий Неофитович, узнав о рождении дочери, сказал: «Любовь и Анна есть, <...> пускай же эта будет Надежда. Право, стоило бы Анну переименовать в Веру» (*РГ*. С. 74).

Папильотки — свернутые бумажки, на которые накручивались волосы для завивки.

Стр. 117. ...между слетевшимися голубями я различал пару глинистых... — Возможно, речь идет об особой разновидности голубей, название которых зафиксировано в толковом словаре В. И. Даля: «Глинка — дикий полевой голубь» (*Даль*. Т. 1. С. 355).

Пара фореиторских лошадей. — Фореитор — кучер, сидящий на передней лошади при запряжке цугом (в две или три пары, запряженные гуськом).

Унос — пара лошадей, обычно первая, в запряжке четверней и более.

...в ливрее горохового цвета, с аксельбантами и в круглой шляпе с серебряным галуном, стоял его камердинер и стремянной Василий Тарасов. — Ливрея — одежда лакея, служителя; обычно с выпушками, басонами, шерстяными аксельбантами; иногда с гербом господина на галунах. Аксельбант — наплечная нашивка на одежде лакея. Галун — тесьма. Камердинер — комнатный или приближенный служитель. Стремянной — слуга-конюх, ухаживающий за верховой лошастью.

Дяденька был меньшей брат папеньки. — Прототипом этого героя явился родной дядя и крестный отец Фета Петр Неофитович Шен-

шин (по сведениям Л. М. Маричевой — Иван Неофитович), с которым его связывали самые теплые отношения. Он был владельцем родового с. Клейменова, жил в имении Ядрино, в 4 верстах от Новоселок.

...по милости дяденьки, 13-ти лет я уже ездил верхом на лошади, которую он мне подарил. В конце августа того же года дяденька привез мне небольшое двухствольное ружье... — В РГ Фет сообщает о том, что Петр Неофитович подарил ему двухствольное ружье и персидскую кобылку Ведьму в 1839 г., когда он, закончив первый курс университета, приехал на летние каникулы в Новоселки (С. 167). Первое, кремниевое ружье Петр Неофитович подарил племяннику, когда ему было 12 лет (Там же. С. 73).

Стр. 118. Полукафтан — кафтан короче и уже обыкновенного, надеваемый под другое верхнее платье.

Камлот — см. примеч. к с. 102.

...дорогой я его подозрел. — Подзирать, подозревать — высматривать, примечать, подстергать.

...мимо Забинских мельниц. — Возможно, речь идет о помещиках Зыбиных, ближайших соседях Шеншинных из села Ядрино. Ядринская церковь была приходской церковью и для жителей Новоселок (РГ. С. 23—24). С особенной теплотой вспоминал Фет «молодую красавицу» Александру Николаевну Зыбину (Там же. С. 12—13).

Пар — поле севооборота, не занимаемое посевами в течение определенного времени (лета, половины лета или всего вегетационного периода).

Зеленя — молодые всходы хлебов (обычно озимых).

Десятина — русская мера земельной площади, равная 1,09 га.

Сажень — 3 аршина, т. е. 2,13 метра.

Стр. 119. Ружье хорчевитое — «Харчистый, харчевитый стол, — по Далю, — начетистый, где много выходит. Харчистое ружье, требующее большого заряда, широкоствольное» (Даль. Т. 4. С. 543).

Лежка — то же, что лежбище, место, где скрывается зверь, а также след лежащего на земле зверя.

«Не те». Впервые: РВ. 1874. № 4. С. 816—823. С подзаголовком: Рассказ. Автограф не обнаружен. Печатается по первой публикации.

21 марта 1874 г. Фет из Москвы посылает уланскому полку, в котором служил, приветственные стихи (*Летопись*. С. 171; см. об этом также: История лейб-гвардии уланского Е. И. Вел. полка, / сост. того же полка поручиком В. Крестовским. СПб., 1877. С. 347):

Наш шеф — владыка полусвета,
И наша гордость всем ясна.
Блестящей прядью этишкета
Семья улан закреплена...

И к ней исполнена привета,
Как кубок, искристый до дна,
Везде душа улана Фета
И отставного Шеншина.

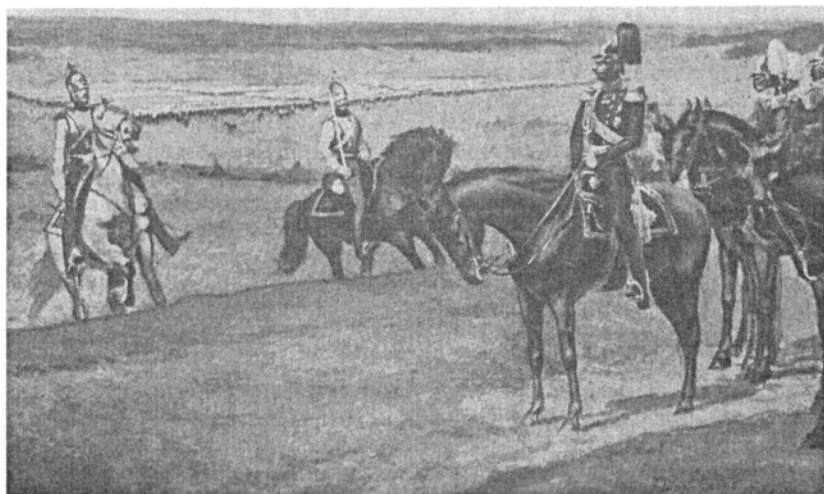
Комментируя это стихотворение, Б. Я. Бухштаб указывает, что оно «написано на юбилей шефства Александра II над полком» (*ПССМ* 1959. С. 814)⁷. Отчасти с этим юбилеем связана и публикация в апрельском номере *PВ* рассказа «Не те». В центре сюжета — повествование о царском смотре в Елисаветграде (ныне Кировоград), проводившемся 20—23 сентября 1852 г.⁸ императором Николаем I. В то же время в рассказе упоминаются и другие смотры, датировать которые пока не представляется возможным. «При царствовании Николая I и Александра II, — пишет А. Н. Пашутин, — г. Елисаветград был местом постоянных корпусных сборов расположенной в окрестности кавалерии, к которой присоединялись иногда для Высочайших смотров и соседние корпуса кавалерии и пехоты. Сборы войск бывали обыкновенно в августе и сентябре месяцах, когда хлеб был собран. В 1842 году <...>, в 1845, 1847, 1850, 1852 и 1859 годах в присутствии Высочайших Особ маневрировало на елисаветградских полях каждый раз до ста тысяч солдат. <...> Последний раз покойный государь император Александр Николаевич был в Елисаветграде в 1874 году» (*Пашутин А. Н. Исторический очерк г. Елисаветграда. Елисаветград, 1897. С. 83*).

Возможно, поводом для написания рассказа о царском смотре 1852 г. были учения и Высочайший смотр 13 Драгунского Военного Ордена полка (бывшего Кирасирского), проходившие в Петербурге весной 1873 г. А. Григорович писал, что во время смотра «при прохождении церемониальным маршем впереди полка были все три Шефа⁹. Госу-

⁷ Как пишет В. Крестовский, уланы задумали ознаменовать 25-летний юбилей шефства Александра II над полком (19 сентября 1874) поднесением императору «большого, роскошного альбома, в котором были бы соединены портреты, по возможности, всех офицеров, как ныне служащих, так и служивших в полку в этот двадцатипятилетний период». Фет «на приглашение прислать свой портрет для альбома, ответил письмом на имя графа Пашенки-Развадовского, где мы встречаемся с одним из его прелестных поэтических экспромтов, который для нашего полка имеет свое, так сказать, семейное, товарищеское значение...» (см.: *История лейб-гвардии уланского Е. И. Вел. полка... С. 347*). Фет участвовал в поднесении альбома Александру II, о чем свидетельствует приложение № XII («Список участвовавших в поднесении Альбома Державному Шефу полка») в указ. соч., где фамилия Фета указана на с. 174.

⁸ См об этом смотре: *Григорович А. Указ. соч. С. 172—178*. Смотр проходил в присутствии Николая I и двух его сыновей — великих князей Николая и Михаила (последний, в то время 19-летний юноша, в 1864 г. стал шефом полка).

⁹ 20 февраля 1871 г. Высочайшим указом были утверждены три шефа Орденского полка: первым шефом стал император германский, король прусский Вильгельм I, вторым — великий князь Михаил Николаевич, а третьим — фельдмаршал граф Берг (см.: *Григорович А. Памятка орденца. С. 56*).



Высочайший смотр 1852 г.

дарь Император изъявил полку свое удовольствие за отличное состояние, а Император Германский благодарил полк в самых лестных выражениях»¹⁰. Это событие не могло не подействовать на Фета и не вызвать в памяти те высочайшие смотры, участником которых был он сам. О значении и смысле царских смотров он рассуждает в рассказе «Нете».

Большая часть рассказа, начиная с абзаца «Полк наш, сформированный при Екатерине из Георгиевских кавалеров...» и до конца, с небольшими изменениями стилистического характера, включена в книгу мемуаров РГ (С. 531—535).

Стр. 121. Мазурист — хороший исполнитель мазурки.

Кирасы — грудные латы из двух половинок: нагрудника и тыльника.

...покойный император... — Речь идет об императоре Николае Павловиче, к которому Фет относился особенно благоговейно.

...на последнем своем смотре в Елисаветграде... — Судя по Летописи (С. 154), этот смотр проводился 20—23 сент. 1852.

...пропасть Курция... — Курций Марк, римский юноша, герой известного предания: в 362 г. до н. э. в середине форума вдруг появилась трещина неизмеримой глубины, которую невозможно было заполнить. Прорицатель предсказал, что город в величайшей опасности, если пропасть не будет заполнена, а может она быть заполнена лишь лучшим благом Рима. Тогда Курций, со словами: «Нет лучше-

¹⁰ Там же. С. 57.

го блага в Риме, как оружие и храбрость!», в полном вооружении сел на коня и бросился в пропасть, которая после этого сомкнулась.

Палаш — холодное оружие, подобное сабле, но с прямым и широким обоюдоострым к концу клинком; оставалось на вооружении русских кирасирских полков до конца XIX в.

...я вошел в кабинет нашего корпусного командира, барона, ныне графа С... — Под этим криптонимом подразумевается Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1790—1881), занимавший должность начальника Новороссийского военного поселения и корпусного командира второго резервного кавалерийского корпуса с 1835 по 1850 гг. (*Пашутин А. Н.* Указ. соч. С. 90—95; о Д. Е. Остен-Сакене см. также: *РГ.* С. 262, 314 и др.).

Стр. 122. Нашим корпусом командовал уже не С., а барон О. — И. Ф. Офенберг (см.: *РГ.* С. 529). «Корпусными <...> командирами 2-го резервного кавалерийского корпуса после графа Остен-Сакена были генералы: Гельфрейх и Овен-Берх» (*Пашутин А. Н.* Указ. соч. С. 90).

...наш начальник дивизии барон Ф. — Барон Иван (Адам Христофор Иоганн) Андреевич Фитингоф (1797—1871) в 1848 г. был назначен начальником 2-й кирасирской дивизии и произведен в генерал-лейтенанты (см.: *Кавалергарды: История, биографии, мемуары / Автор-сост. А. Ю. Бондаренко. М., 1997. С. 292; см. о нем также: РГ. С. 429.*)

...полкового командира барона Б., при котором я пять лет выездил в качестве полкового адъютанта... — О Карле Федоровиче Бюлере, командире Кирасирского Военного ордена полка, и Фете, исполнявшем должность его адъютанта, см. примеч. к рассказу «Семейство Гольц».

Стр. 123. Георгиевский кавалер — солдат или офицер дореволюционной русской армии, награжденный георгиевским крестом. *Георгиевский крест* — орден святого Георгия, учрежденный в России в 1769 г. для награждения офицеров и генералов за военные отличия; в 1807 г. — для награждения солдат и унтер-офицеров. Имел 4 степени.

Лядунка — сумка на перевязи через плечо для патронов у кавалеристов.

Штандарт — кавалерийское знамя.

Рапсоды — др.-греч. странствующие певцы, исполнявшие эпические поэмы под аккомпанемент лиры.

...событий польского похода 30 и 31 годов... — Имеется в виду Польское восстание 1830—1831 гг., деятели которого требовали, в частности, установления границы России и Польши там, где она проходила до Андрусовского мира 1667 г., т. е. присоединения к Польше Украины до Днепра, включая Киев.

...фабрить или не фабрить усы? — См. примеч. к стр. 100 наст. изд.

...линейные унтер-офицеры... — Звание младшего командного состава из солдат; первый военный чин после звания рядового или ефрейтора, *линейные* войска составляли основу армии, относясь к группе регулярных войск.

Стр. 124. Шанкель (шенкель) — внутренняя, обращенная к лошади часть ноги всадника от колена до щиколотки, помогающая управлять лошастью. См. далее: *взял... в шенкеля*.

Вершок — русская мера длины, равная приблизительно 4,45 см. «стародубовцы! новороссийцы и малороссийцы!» — 12-й Драгунский Стародубовский полк; 3-й Драгунский Новороссийский Е. И. Высочества Вел. Кн. Елены Вл-ны полк; 14-й Драгунский Малороссийский Наследного Принца Германского и Прусского полк.

Меньшая мера одномастных лошадей была 4 вершка - конь Ринальд 11 вершков. — О росте лошадей в кирасирских полках см. примеч. к рассказу «Семейство Гольц».

Стр. 125. Флигель-адъютант — офицер в свите царя или офицер для поручений при командующем армией.

Интервал — расстояние между равномерно отстающими друг от друга подразделениями на войсковых парадах.

Подвысь — прием салюта саблей, которую поднимают острием вверх, держа эфес (рукоятку) на уровне подбородка.

Кактус. Впервые: *РВ.* 1881. Т. 156. Ноябрь. С. 230—238. С подзаголовком: *Рассказ.* Автограф не обнаружен. Печатается по первой публикации.

Автобиографический характер произведения не вызывает сомнения. Б. Садовской, считавший «Кактус» «лучшим рассказом шестидесятилетнего уже поэта», указывал на воробьевские реалии его пространственной организации, на подлинность его действующих лиц: «До чего робко в своих описаниях Фет следует действительности, не умея и словно боясь рассказать что-нибудь придуманное, не бывшее на самом деле! В цветнике его имения Воробьевки (Фет купил это имение Щигровского уезда Курской губернии, располагавшееся в десяти километрах от знаменитой Коренной Пустыни, в 1877 г. — *Л. Ч.*), точно, посажены елки; семья его состояла из трех человек: его самого, жены и племянника Борисова (воспитанник Фета, сын Надежды Афанасьевны и Ивана Петровича Борисовых, опекуном которого Фет стал после смерти родителей — *Л. Ч.*); даже Иванов и молодая гостья не сочинены: это управляющий имениями Фета А. И. Иост и племянница жены поэта, г-жа Боткина» (*Садовской.* С. 73—74). Согласно точке зрения М. В. Строганова, прототипом Иванова стал В. С. Соловьев (*Строганов М. В.* Из комментария к рассказу А. А. Фета «Кактус» // Афанасий Фет и русская литература: XVIII Фетовские чтения. С. 106). Отдельные фрагменты рассказа «Кактус» вошли в позднейший текст мемуаров (см.: *МВ.* Ч. 1. С. 189—190, 193—194).

Содержание рассказа выходит далеко за пределы автобиографического повествования, обнаруживая, подобно «Каленику», мировоззренческие основы творчества Фета. «В “Каленике”, — писал Б. Садовской, — Фет инстинктивное чутье противопоставляет убежде-

нию, в “Кактусе” он музыку сближает с любовью» (Садовской. С. 72). И здесь, несомненно, присоединяется к пушкинской традиции (ср. в «Каменном госте»: «Но и любовь мелодия»). Не случайно в тексте встречается прямая отсылка к стихотворению Пушкина «Красавица».

«Рассказ посвящен эпизоду, относящемуся к 1856 г., — пишет Б. Ф. Егоров, — когда он <Фет>, служа в гвардии, отпросился в годовой отпуск; в это время Г<ригорьев> тяжело переживал безответную любовь к Л. Я. Визард и создавал свой цикл стихотворений “Борьба”, куда входит его знаменитая “Цыганская венгерка”» (Егоров Б. Ф. Примечания // Григорьев А. Воспоминания. С. 422; об этом периоде см. также: Егоров Б. Ф. Аполлон Григорьев. М., 2000. С. 120—137). Однако поездка Фета в Москву в 1855 (Б. Садовской) или в 1856 г. (Б. Ф. Егоров) и встреча его с Григорьевым в это время документально не подтверждаются. Г. П. Блок отмечает, что 23 июня 1856 г. «Фет увольняется в заграничный отпуск на 11 месяцев и в тот же день уезжает за границу» (Летопись. С. 158). По окончании этого отпуска Фет увольняется в бессрочный отпуск (3 июня 1857)¹¹ и действительно оказывается в Москве. По причине болезни сестры Нади он поселяется на Басманной улице, где у него и И. П. Борисова часто бывают С. С. Громека и Ап. Григорьев. «Григорьев поет “по целым вечерам” (Цыганская венгерка)» (Летопись. С. 160). Таким образом, прототипическую основу рассказа могли составить события именно 1857 г.

Развернутый отклик на рассказ Фета написал Н. К. Михайловский. «В рассказе действительно расцветает и увядает прелестнейший кактус, — пишет критик, — но если бы рассказ назывался “Черт знает что, или сапоги всмятку”, то это было бы, может быть, более подходящее заглавие» (Михайловский Н. К. Записки современника (1881—1882 г.) // Михайловский Н. К. Соч.: В 6 т. Т. 5. СПб., 1897. С. 560). Михайловский говорит о несостоятельности Фета-прозаика, рассматривая ее как следствие бесталанности Фета-поэта. Рассказ называется «дребеденью», к тому же скучной, «несмотря на свой увеселительный характер», и «наивной» (Там же. С. 564). Главный акцент при анализе Михайловский делает на внешней бессвязности картин, впечатлений, предметов изображения, якобы характерной для рассказа «Кактус», на отсутствии в нем логики, ясности, а также четкой повествовательной линии. «Но при чем кактус во всей этой истории, уразуметь не так-то легко. Кактус был прекрасен, но на гитаре он не играл, равным образом не пел “чибиряк, чибиряк, чибиряшеч-

¹¹ «Указ об увольнении в отставку А. А. Фета...» подтверждает датировку, указанную в Летописи Г. П. Блоком: «...был в отпусках с 27 сентября 1847 г. на 4 месяца, с 26 декабря 1851 г. на 28 дней, с 25 января 1856 г. на 14 дней и в срок являлся, с 23 июня того же года на 11 месяцев, из коего не пребывая к полку 3 июня 1857 г. уволен в бессрочный отпуск, в коем находился до увольнения от службы» (ОР РГБ. Фонд 315/II. Картон 14. Ед. хр. 22. Л. 9—10).

ки». Аполлон Григорьев пел “чибирак”, но не был кактусом. Стеша любила гусара, но в печальном эпизоде ее любви кактус не играл никакой роли. Вообще история темна, баснословна и, если говорить прямо, так смыслу в ней никакого» (Там же. С. 563). Развивая далее мысль о ничтожности содержания фетовского произведения, критик доводит ее до абсурдного вывода: «...цветок кактуса есть вовсе не храм любви, а просто половой орган» (Там же. С. 565). В этом характерном отзыве произведение Фета подверглось грубому редукционизму, сводившему сложное к элементарному, даже к вульгарному. Обвинения были не новы для Фета: в них слышались отголоски критики 60-х гг. Они лишь демонстрировали глубину непонимания его поэтики современниками, а также идеологическую пропасть, которая отделяла Фета от демократической критики, в данном случае — в лице Михайловского.

Стр. 127. Cactus grandiflora. — Правильно: *cactus grandiflorus*, кактус крупноцветный (*лат.*). Стебель зеленый или голубовато-зеленый, ползучий, побеги диаметром до 2,5 см; цветки 18 см. длиной, 30 см. в диаметре, душистые. Среди любителей этот вид именуется «царицей ночи». Как и другие виды, этот кактус цветет лишь один раз в год.

Стр. 128. Благоговяя богомольно / Перед святыней красоты. — Не вполне точно цитируемый финал стихотворения Пушкина «Красавица» (1832). Фет цитировал его и в рассказе «Семейство Гольц».

Не кончи молитвы, / На звук тот ответчу... — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1839).

Папское кропило. — Кропило — кисть, употребляемая для окропления освященной водой при совершении некоторых христианских обрядов. Эпитет «папское» указывает на принадлежность к католическому вероисповеданию.

Стр. 129. Фиал — широкая плоская чаша с тонкими стенками и слегка загнутыми внутрь краями; употреблялась в Древней Греции на пирах и во время возлияний богам.

...волшебный водяной грот острова Капри. — М. В. Строганов связывает этот образ с Кумской сивиллой, находившейся «вблизи города Кумы, а город этот, как и названный в рассказе остров Капри, находился на территории древнеримской Кампаньи». Исследователь также отмечает, что, путешествуя в 1856 г. по Италии, Фет с сестрой видели два грота: грот Сирены и грот Позилипа. «Таким образом, Фет при написании “Кактуса” мог опираться не только на литературные, но и на собственные зрительские впечатления. Вместе с тем следует помнить, что он так и не побывал ни в Кумах, ни на Капри <...>. Поэтому упоминание “водяного грота острова Капри”, вполне возможно, восходит не к личным впечатлениям Фета, а к рассказам Соловьева» (*Строганов М. В.* Из комментария к рассказу А. А. Фета «Кактус» // Афанасий Фет и русская литература: XVIII Фетовские чтения. С. 107, 108).

Если искусство вообще недалеко от любви (эроса), то музыка, как самое между искусствами непосредственное, к ней всех ближе. — Возможно, аллюзия на пушкинские строки: «Из наслаждений жизни / Одной любви музыка уступает; / Но и любовь мелодия...» («Каменный гость»; 1830).

Стр. 130. Ровно 25 лет тому назад я служил в гвардии и проживал в отпуску в Москве, на Басманной. — См. об этом в преамбуле к примеч. к рассказу.

Он не был, по выражению Дюма-сына, из числа людей знающих... — Источник цитаты не установлен.

...забывая слово Соломона, что это уже было прежде нас. — Имеется в виду текст из библейской книги Екклесиаста: «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: “смотри, вот это новое”; но это было уже в веках, бывших прежде нас» (Еккл. 1:9—10).

Просперировать — процветать (от фр. prospérer).

Возначенный период он был славянофилом и носил не существующий в народе кучерской костюм. — Далее описывается этот костюм: поддевка, плисовые шаровары в сапоги. Фет иронически относился к такого рода «опрощению». «Как будто бы нельзя быть русским, не нарядившись пляшущей козой», — так позднее он выражал свое мнение о славянофилах (Соч. Т. 2. С. 325).

...из своего отцовского дома на Полянке. — «Дом Григорьевых, — вспоминает Фет, — с постоянно запертыми воротами и калиткою на задвижке находился за Москвой-рекой на Малой Полянке, в нескольких десятках саженей от церкви Спаса на Наливках» (РГ. С. 140).

Фильд Джон (1782—1837) — английский пианист, живший в Петербурге в 1804—1831 гг.

...любимую его песней была венгерка.... — Согласно исследованию, проведенному Б. Ф. Егоровым, речь здесь идет не о той «Цыганской венгерке», автором которой является Ап. Григорьев, а о некоем прототипическом тексте: «...существовала какая-то исполнявшаяся хором Ивана Васильева цыганская венгерка, куда входил и припев о чибиряке, и куплет об ольхе, и, возможно, что-нибудь вроде “Басан, басан...”, а Григорьев написал совершенно оригинальное стихотворение, в котором лишь цитатно, весьма ограниченно использовал текст прежней венгерки и изобразил самое исполнение той венгерки цыганской труппой» (Егоров Б. Ф. Ап. Григорьев // Русская литература и фольклор (Вторая половина XIX в.). Л., 1982. С. 280).

Стр. 131. Они прирожденные, кровные, а не вымуштрованные музыканты. — Для «органического» миропонимания Ап. Григорьева характерно противопоставление рожденного (безыскусственного, органичного) и деланного (сотворенного, искусственного).

Грузины — район Грузинских улиц в Москве, где жили цыгане.

Иван Васильевич Васильев (1810—1875) — знаменитый цыганский гитарист и руководитель цыганского хора; автор музыки «Цы-

ганской венгерки» на слова Ап. Григорьева (*Егоров Б. Ф.* Примечания // Григорьев А. Воспоминания. С. 411).

...у них есть цыганочка Стеша... — Стеша — распространенное цыганское имя, однако любопытно, что Григорьев упоминает в рассказе «Великий трагик» «какую-либо Стешу или Машу-козлика» из безвестных хоров Марьиной рощи (*Григорьев А.* Воспоминания. С. 282). Поскольку Маша-козлик была известной солисткой хора Ивана Васильева, очевидно, и Стеша была реальным лицом.

Стр. 132. Торбанист — играющий на торбани; торбан — струнный щипковый музыкальный инструмент, вышедший из употребления во второй половине XIX в.

Стр. 133. ...он сам входил в пассию... — Зд.: в возбуждение (от фр. passion).

Вспомни, вспомни, мой любезный... — несколько измененный вариант (приспособленный для женского исполнения, с нарушенным порядком слов во второй строке) русской народной песни «Вспомни, вспомни, моя любезная...» (см.: *Мудрость народная. Жизнь человека в русском фольклоре.* Вып. 3. Юность и любовь: Девичество / Сост., подгот. текстов, вступ. ст. и коммент. Л. Астафьевой и В. Бахтиной. М., 1994. С. 343).

Вспомни, вспомни, моя любезная,
Нашу прежнюю любовь,
Как мы с тобой, моя любезная,
Погуливали,
Погуливали...
Осенние долгие ночи
Просиживали.
Просиживали...
Забавные тайные речи
Говаривали,
Говаривали...

Эта песня любовного содержания, в ней говорится о разлуке двух любящих, о боли расставания. Вот почему, когда Стеша исполняла ее, «чуть заметная слезинка сверкнула на ее темной реснице». «Сколько неги, — замечает рассказчик, — сколько грусти и красоты было в ее пении!» Любопытно, что И. П. Борисов в письме к Фету от 25 июля 1857 г. (по всей вероятности, лето именно этого года изображает Фет в своем рассказе «Кактус») цитирует ту же песню «Вспомни, вспомни, моя любезная...»: «Не забывай никогда прежнюю мою любовь и как мы с тобой, мой любезный, погуливали» (см.: *РО ИРЛИ.* Ед. хр. № 20272. Л. 4об.). Женский род в цитате, как и в рассказе Фета, заменен мужским.

Слышишь ли, разумеешь ли... — русская народная песня «Слышишь ли, мой сердечный друг...», которая была переделана для цыганского исполнения И. О. Соколовым (1777—1848), организатором

и первым руководителем ведущего в Москве цыганского хора, впоследствии перешедшего к Ивану Васильеву (*Пыляев И. И. Старый Петербург*. 3-е изд. СПб., 1903. С. 413).

Вне моды. Впервые: *Нива*. 1889. № 1. С. 2—8. Автограф не обнаружен. Печатается по первой публикации.

Историю создания рассказа проясняет письмо Фета от 23 мая 1888 г. к писательнице С. В. Энгельгардт, с которой его связывали долгие дружеские отношения¹². «В настоящее время, — писал он, — мне по вечерам перечитывают Гоголя, и я перехожу от раздражения к раздражению. Я не отрицаю великой зоркости и даровитости Гоголя, но его ничтожное умственное развитие, убогое знакомство с жизнью равняется только его ребяческой отваге. “Забирайте (говорит он по поводу Плюшкина) с собою в путь, выходя из мягких юношеских лет в суровое ожесточающее мужество, забирайте с собою все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, — не подымете потом”, как будто возможно в этом смысле забрать то, чего не получил от природы. Все истинные мыслители и поэты утверждают противное, вместе с народом: “каков в колыбельку, таков и в могилку”. Кто видал, чтобы человек, приехавший из увешанного хмелем сада Плюшкина в бричке, вышел на улицу под окнами, из которых смотрит чиновник, одетый в шинель на больших медведях и в теплом картузе. И что значит шинель на *больших* медведях. Значит, бывают шинели и на малых медведях...». Столь «раздраженная», хотя и неоднозначная оценка произведений Гоголя не была характерна для Фета в более ранние годы. Будучи знатоком творчества этого писателя, Фет неоднократно использовал его образы на страницах своих произведений (в публицистике, критике, рассказах и мемуарах)¹³. Почему «Мертвые души» (а возможно, не только они) стали источником «раздражения» для поэта на склоне его лет, предстоит выяснить¹⁴. Важно

¹² Письма Фета к С. В. Энгельгардт впервые были опубликованы Н. Охотным в сб.: *Фет А. А. Стихотворения. Проза. Письма* / Вступ. ст. А. Е. Тархова; сост. и примеч. Г. Д. Аслановой, Н. Г. Охотина и А. Е. Тархова. М., 1988. С. 374—401. Однако письмо от 23 мая 1888 г. в публикацию не вошло и было любезно предоставлено, вместе с другими неопубликованными письмами, публикатором и Г. Д. Аслановой Н. П. Генераловой, готовившей публикацию писем С. Энгельгардт к Фету (см.: *Письма С. В. Энгельгардт к А. А. Фету* // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1994 год. СПб., 1998; *То же ...на 1995 год*. СПб., 1999; *То же ...на 1997 год*. СПб., 2002).

¹³ См. об этом: *Черемисинова Л. И.* Гоголевские образы в прозе А. А. Фета // *А. А. Фет и русская литература* / Под ред. В. А. Кошелева, Г. Д. Аслановой. Курск, 2000. С. 195—204.

¹⁴ Одна из возможных причин названа в статье «Фамусов и Молчалин. Кое-что о нашем дворянстве» (1885): «Можно ли удивляться, что наши крупнейшие художники-писатели, в самый расцвет их служения художественной идее, внезапно с чужих софистических слов предалися служению нравочения не-

отметить, что Фет испытывал потребность в обращении к творчеству Гоголя в это время, в перечитывании и новом осмыслении его. Очевидно, что помимо «Мертвых душ», Фету (страдавшему тяжелым заболеванием глаз) перечитывали и «Старосветских помещиков», которых сам Гоголь, по свидетельству Белинского, считал своей лучшей повестью в «Миргороде» (см. письмо Белинского к Гоголю от 20 апреля 1842 г.). Довольно высоко оценивал это произведение и Фет, относя его к разряду «чистого, тихого эпоса», ставя в один ряд с «Одиссеей», «Германом и Доротеей» Гете¹⁵. Возможно, с перечитыванием Гоголя связано появление сюжета рассказа «Вне моды», герои которого получили имена гоголевских «Старосветских помещиков».

Автобиографическая подоплека рассказа отмечалась исследователями (Б. Садовской, А. Е. Тархов), при этом Тархов назвал последнее прозаическое произведение Фета «наиболее “чистым” случаем автобиографизма фетовской прозы» (Соч. Т. 2. С. 384). В центре повествования — сам Фет конца 80-х гг.: его внешний облик и внутреннее самочувствие. На небольшом пространстве рассказа писатель попытался представить основы своего мирозерцания. Такой исповедальности фетовская проза не знала. Автобиографическое начало в нем настолько откровенно, что легко распознавалось современниками. В этом отношении интересен отзыв Я. П. Полонского, который писал Фету 31 декабря 1888 г.¹⁶: «Сейчас я прочел в “Ниве” рассказ твой “Вне моды”. Это ты себя изобразил в виде Афанасия [Афанасьевича] Ивановича? Очень милый рассказ — в особенности удивительно наблюдательный глаз Афанасия Ивановича (по отношению к природе). Описание просыпающихся на заборе голубков восхитительно! Тонко и симпатично обрисована и личность Пульхерии Ивановны. Этот рассказ мне понравился гораздо более, чем твои воспоминания, хотя и там есть немало хорошего...» (РО ИРЛИ. Архив Я. П. Полонского. № 11843а. Л. 45об.). Высокая оценка этого произведения Полонским объясняется, помимо художественных достоинств, его ис-

пременно в желанном софистами направлении, так как это нравouchение называлось на софистическом языке фальшивым, но дорогом для художника именем *идеи*. Гоголь, Тургенев и многие другие пошли загонять клинья мнимой идеи в свои произведения, раскалывая таким образом ту художественную идею, которая составляла их сердцевину» (см. наст. том, с. 323). Фет всегда считал губительным для искусства подчинение его какой-либо идее или тенденции: оно перестает быть «живорожденным», нарушается его органическая целостность.

¹⁵ Фет А. А. Стихотворения. Проза. Письма. С. 380. Ср. также рассуждения о Пульхерии Ивановне в статье «Наши корни» (А. А. Фет. Поэт и мыслитель: Сб. науч. тр. С. 197—198).

¹⁶ Видимо, первый номер «Нивы» за 1889 г. с опубликованным рассказом Фета вышел накануне Нового года. Указанное письмо Я. П. Полонского снабжено, помимо даты, довольно точным обозначением времени его написания: «десятый час вечера».

поведальным характером. Считая Фета лириком по преимуществу, Полонский относился к прозе поэта весьма сдержанно. «Выходя за пределы лиризма, в драму или в эпос, ты уже вне дома: стих твой тяжелеет, не поет и в особенности не умеет разговаривать. <...> Отчего же в твоих лучших лирических произведениях — и музыка, и сила, и удивительная меткость выражений. Да просто потому, что в лирике ты царь, а в эпосе — невольник», — писал он Фету 29 марта 1888 г. (Там же. Л. 11—11об.). Рассказ «Вне моды» оказался исключением из правила в силу своего проникновенного лиризма. Это качество отличало его и от других художественных повествований Фета, и от воспоминаний, вызвавших недоумение Полонского и К. Р., которые надеялись прочесть в них откровения о тайнах рождения лирических созданий поэта, а вместо этого получили документальное описание событий, свидетелем которых был Фет¹⁷. Во «Вне моды» нарисован «внутренний портрет» поэта, и это обстоятельство обусловило высокую оценку рассказа Полонским. Прозвучавшее сопоставление рассказа к мемуарам было вполне закономерным: рассказ печатался в промежуток между двумя публикациями в *РВ* воспоминаний Фета¹⁸, соответственно и воспринимался — в контексте воспоминаний. Работа над ними, видимо, шла параллельно.

¹⁷ 15 августа 1888 г. Полонский, прочитавший начальные главы фетовских воспоминаний в *РВ*, писал Фету: «Приступая к чтению твоих записок или воспоминаний, я был уверен, что я пойму или лучше сказать подгляжу, откуда выбился наружу и какими извилинами потек источник твоей лирики! Как пришло тебе в голову стихи писать и каким стихом в первый раз ты обмолвился? Кроме того мне воображалось, что в твоих воспоминаниях прежде всего я увижу домик у Спаса в Наливках, то гнездо, где жили старик со старухой, где было милое детище Аполлоша <...>. Но... ты начал с знакомства с Тургеневым... и знакомишь себя с публикой как улан или военный. Все это конечно интересно; но перебери “Русский архив” или “Русскую старину”, — сколько военных описывало свою службу, свои походы, своих товарищей и проч<ее>, и проч<ее>. Ты тут просто хороший человек и честный служака, и о своих стихах говоришь ты вскользь, как о чем-то постороннем» (*РО ИРЛИ*. Архив Я. П. Полонского. № 11843а. Л. 26об.). Аналогичен отзыв К. Р.: «С наслаждением и все возрастающим любопытством читал я в “Русск<ом> вест<нике>” ваши воспоминания, — писал он Фету 18 августа 1888 г. — Но, к сожалению, я не нашел в них того, что считал бы для себя самым ценным и занимательным: вы только об Одах Горация и приморских стихотворениях упоминаете в связи с ходом вашей жизни, а причины, вызвавшие большинство дорогих мне ваших произведений, остались мне неизвестными и вы не познакомили нас с обстановкой и влияниями, породившими большую часть творений ваших. Но и без этой, по-моему, главной подробности, имеющей для меня особую прелесть, я не мог оторваться от ваших записок» (*К. Р. Избранная переписка* / Сост. Л. И. Кузьмина. СПб., 1999. С. 296).

¹⁸ Первые главы мемуаров Фета, вошедшие впоследствии в книгу «Мои воспоминания» (1890), были напечатаны в августовском номере *РВ* за 1888 и в июльском — за 1889 г.

В основе сюжета — одна из ежегодных поездок поэта из Воробьевки Курской губ. в родовое имение Клейменово Орловской губ. Фет в 1880—1890-е гг. совершал ежегодные инспекторские поездки из Воробьевки в Клейменово, находившееся в 25 км от Орла и принадлежавшее его племяннице О. В. Галаховой¹⁹. Внешняя незатейливость сюжета, «склонность Фета описывать все, кажущееся лишним и не идущим к делу» побудила Б. Садовского усомниться в возможности дать твердое определение жанровой принадлежности рассказа («Трудно даже назвать этот кусок прозы рассказом: это простое описание того...» // *Садовской*. С. 74). Правда, он отметил ценность «интересных рассуждений и мыслей Фета», высказанных в рассказе, а также единственный случай автопортрета, который дается автором в самом начале произведения (ср. с юношеским автопортретом в неоконченном рассказе «<Корнет Ольхов>», с. 148 наст. тома). Можно добавить, что на протяжении всего рассказа образ главного героя углубляется и уточняется подробностями, много добавляющими к реальному облику Фета: это и его склонность к философствованию, и усталость от нескончаемых неурядиц по управлению имениями (отсюда и раздражительность, упомянутая в рассказе).

Двум пожилым героям своего рассказа автор дал имена гоголевских «старосветских помещиков» — Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, причем мотивировал свое решение «общеизвестностью этого ярлыка». Общий литературный источник (история Филемона и Бавкиды, рассказанная Овидием в «Метаморфозах», на который Гоголь прямо указал в тексте, в рассказе Фета не упоминается, однако незримо присутствует, как и интерпретация этого трогательного сюжета в «Фаусте» Гете, переведенном Фетом почти десятилетие назад. Использование уже известной литературной модели свидетельствовало, с одной стороны, об определенном «консерватизме», с другой, — о новаторском переосмыслении популярных образов, получивших в современной критике определенную оценку. Таким образом, интерпретация их Фетом оказалась полемически заостренной (в особенности, против мнений В. Г. Белинского).

Стр. 135. *Росстань* — перекресток двух или нескольких дорог, распутье.

Накидка — верхняя одежда без рукавов.

Загон — зд.: полоса, участок пашни, поля или луга.

Сак — сумка для вещей.

Стр. 136. *...уездный город, лежащий на пути в 35-ти верстах от дому.* — Речь идет о городе Малоархангельске Орловской губ.

Стр. 137. *...нравственную шаткость — нашей современной интеллигенции...* — Ср. рассуждения на эту тему в статье Фета «Наша

¹⁹ О судьбе Клейменовского имения см.: *Маричева Л. М.* Село Клейменово — родовое гнездо Шеншиных в документах и воспоминаниях // А. А. Фет. Проблемы изучения жизни и творчества: Сб. науч. тр. Курск, 1994. С. 239—246.

интеллигенция» (Вопр. философии. 2000. № 11. С. 127—174. Публ. Г. Д. Аслановой).

Стр. 138. Партер — открытая часть парка или сада, украшенная газонами, цветниками, фонтанами и т. п., обычно расположенная на плоской местности. Учитывая, что речь идет о Воробьевке, следует сказать, что партером здесь названа часть парка с задней стороны дома между обрывом, по которому спускается лестница, и речкой Тускарью. В этой части парка был расположен и упоминаемый ниже фонтан, который к настоящему времени не сохранился.

Фотографический снаряд — фотографический аппарат (*устар.*).
...на округлых извоях проплывающего облака. — Извой — изгиб, извилина, излучина, колено (*Даль. Т. 2. С. 14*); от глагола «извивать».

Стр. 140. Дышло — оглобля между двумя лошадьми, прикрепляемая к передней оси какой-либо повозки при парной запряжке.

Стр. 141. ...наглядное разрешение спора об искусственном и естественном подборе. — Имеется в виду полемика о «естественном подборе», развернувшаяся после появления книги Ч. Дарвина (1809—1882) «Происхождение видов путем естественного подбора» (1859; рус. пер. 1865), неоднократно переиздававшейся. В России в связи с обнародованием теории Дарвина о естественном отборе развернулась дискуссия, в которой приняли участие Н. Я. Данилевский (его книга «Дарвинизм» вышла в свет через несколько дней после его смерти в 1885 г.), его друг и последователь Н. Н. Страхов, неоднократно выступавший против Дарвина и уже после смерти Данилевского защищавший его взгляды, против которого выступили профессор К. А. Тимирязев и А. С. Фаминцын. В дискуссию вступил в 1888 г. и Вл. Соловьев, которому Страхов отвечал в печати. Поскольку и Страхов, и Соловьев поддерживали добрые отношения с Фетом, он был в курсе развернувшейся полемики. В письме к Н. Я. Гроту от 26 июня 1888 г. Фет, высказывая свое отношение к этой полемике, писал: «...вся теория Дарвина — за волосы притянутая чепуха» (*РО ИРЛИ. № 2072. Л. 13об.*).

Изволок — возвышенность, пригорок с некрутым длинным подъемом (спуском).

Как же не видать, что всеми действиями руководит не разум, а невольная воля. — Метафизическое учение о воле как сущности бытия принадлежит немецкому философу А. Шопенгауэру (1788—1860). Оно разрабатывается в его главной книге «Мир как воля и представление» (1818). Фет увлекался философией Шопенгауэра, перевел некоторые его труды, в том числе «Мир как воля и представление», «О воле в природе», «О четверном корне закона достаточного основания».

Сиамские близнецы — близнецы Чанг и Энг, родившиеся сращенными в области грудины в Таиланде в 1811 г.

...всякое вы мгновенно превращается в ты... — Возможно, аллюзия на ст-ние Пушкина «Ты и Вы» (1828): «Пустое вы сердечным ты

/ Она обмолвись заменила, / И все счастливые мечты / В душе влюбленной возбудила...».

То, что мнимая наука проповедует о свободе женщины... — Женский вопрос (женское движение или вопрос об эмансипации женщин) был поставлен во время Французской революции 1789 г., когда была составлена «Декларация прав женщины», с тех пор периодически (во время революций 1830, 1848 гг. и т. д.) этот вопрос вставал на повестку дня в разных странах, где женщины добивались равных с мужчинами прав на получение образования, на работу, на участие в выборах (движение суфражисток) и т. д. Фет неоднократно выступал с критикой женского движения (см., например, статью о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в наст. томе).

Стр. 142. Земства — выборные всеобщие органы местного самоуправления, созданные в 1864 г. после отмены крепостного права.

Стр. 144. Пасьянс — раскладывание игральных карт, чтобы от группировки их и счета очков выходили заранее намеченные комбинации.

Заря давно погорела... — Зд. в устар. значении: догорела.

Персидский порошок — средство от мелких насекомых, получаемое из персидской ромашки.

НЕОКОНЧЕННОЕ

В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранятся фрагменты двух неопубликованных прозаических сочинений Фета. В Описи II они именованы по начальным строкам²⁰, указана и их возможная жанровая принадлежность — «начальный отрывок повести».

Неторопливость повествования, преобладание в нем статических элементов над динамическими, почти полное отсутствие событийной линии (в первом фрагменте корнет Ольхов (Ольхин) едет на охоту и по пути предаётся воспоминаниям, размышлениям; во втором — поручик Мусинский беседует с полковником Бергером) — все это черты, соответствующие жанровой специфике повести. Но это и характерные свойства прозаической манеры Фета.

Время написания обоих произведений не установлено; второе в описи РГБ датируется предположительно — не ранее 1874 г. Письмо

²⁰ *Фет-Шеншин А. А.* «Августа 1840 года накануне Спаса П. П. Ольхов сменившись с дежурства по госпиталю в 9 часов утра [в...] и [] успел отрапортовать полковнику, выпросить у него 2 дня на охоту...» — начальный отрывок повести // *ОР РГБ. Ф. 315/II. Картон 2. Ед. хр. 5; Фет Шеншин А. А.* «В [половине] начала июня 1847 года на закате солнца стройный белокурый уланский офицер, лет 25 на вид, быстро пробирался...» — начальный отрывок повести [?] // *ОР РГБ. Ф. 315/II. Картон 2. Ед. хр. 6.*

И. П. Борисова от 22 января 1865 г. позволяет несколько уточнить эту датировку. Вот что пишет Борисов своему ближайшему другу и родственнику Фету: «Ну что же, Афоня, идут ли вперед Крыловские рассказы, не думаю, впрочем, чтобы Москва и П<етер>бург дали тебе время заняться нашим братом армейцем, и ты закувыркался в других животрепящих (sic!) омутах, а теперь самая пора записать то, что было, пока еще *свежо предание*, а верится с трудом» (ОР РГБ. Ф. 315/ II. Картон 5. Ед. хр. 76. Л. 96об. Подчеркнуто автором письма).

Как видим, речь здесь идет о так называемых «Крыловских рассказах», которые должны быть написаны по армейским воспоминаниям Фета. Именно их появления ждет «брат армеец» Борисов. Известно, что Фет служил (поначалу вместе с Борисовым) в Кирасирском Военного ордена полку в Новороссийском крае (см.: *Летопись*. С. 147, 149). Штаб кирасирского полка находился в городе Крылове (Новогеоргиевске), о котором Фет неоднократно упоминал в *РГ* и который изображен в рассказе «Семейство Гольц». Тот же «заштатный город К...» становится местом действия во фрагменте «<Корнет Ольхов>». Второе повествование, условно названное нами «<Барон Бергер>», подобно первому, начинается с указания времени (июнь 1847) и места (штаб военного поселения Х-ской губернии). Криптонимы населенного пункта и губернии в обоих неоконченных сочинениях Фета расшифровываются довольно легко — город Крылов и Херсонская губ., на территории которой он расположен.

Таким образом, оба публикуемых прозаических фрагмента Фета по праву можно отнести к упомянутому И. П. Борисовым «крыловским» рассказам, во-первых, потому, что место действия в них — город Крылов, во-вторых, потому, что в основе сюжета — воспоминания об армейской жизни поэта. Возможно, что время работы над ними соответствует времени, которым датируется приведенное выше письмо Борисова, т. е. серединой 1860-х гг. По какой причине Фет не закончил своих прозаических сочинений, неизвестно.

Среди прозаических произведений Фета есть несколько рассказов, посвященных времени армейской службы в Новороссии. Они, в отличие от настоящих фрагментов, являются целостными, законченными. Так, третий «крыловский» сюжет — «Семейство Гольц» (1870), четвертый и последний — рассказ «Не те» (1874). В Новороссийском крае происходит действие и самого раннего по времени написания прозаического сочинения Фета — рассказа «Каленик» (1854). Возможно, Фет задумывал целый цикл прозаических произведений о периоде армейской службы. Позднее он обратился к этим и другим эпизодам военной службы, работая над книгой мемуаров *РГ*. Фактически все «крыловские» сюжеты Фета нашли отражение в этой книге. Публикуемые фрагменты не являются исключением.

В первом прозаическом отрывке речь идет о двадцатидвухлетнем П. П. Ольхове (Ольхине). Видимо, недавно произведенный в корнеты, герой испытывает счастье от «обновления мундира», и, находясь в долгой дороге (ехать надо было около 35 верст), наслаждается

своей красотой и молодостью, вспоминает родных и близких, учителей и знакомых. Счастье, которое ощущал Ольхов, ассоциировалось у него с аналогичным состоянием, испытанным в период студенческой юности.

Образ корнета Ольхова откровенно автобиографический. Служба его в уланском полку в Крылове, производство в корнеты, университетское прошлое, отношения с отцом, который обладал «явно бычливым нравом», страсть к охоте, наличие собаки по кличке Трезор — эти и многие другие факты напоминают реалии из биографии Фета. Описание поездки на охоту накануне праздника Спаса (начальный эпизод произведения) можно найти в *РГ*: «Еще в августе, в самом начале появления в моем флигеле милых кавказцев, я, уступая природной страсти к охоте, объявил им, что собираюсь воспользоваться предстоящим праздником Спаса, чтобы отправиться за дупелями в местность, отстоящую верст за 25 от города. <...> Накануне праздника, выйдя из штаба, тотчас я выехал по большой дороге по направлению к рекомендованному месту, рассчитывая разузнать подробный маршрут от встречных...» (С. 371).

Значительно больший интерес, чем биографические детали жизни Фета, отраженные в этом произведении, представляет «внешний» и «внутренний» портрет корнета Ольхова (Ольхина), изображенный здесь. Это, фактически, автопортрет Фета времен армейской службы. Таким образом, склонность к самооценке и к самоанализу, о которой уже говорилось, относилась не только к позднему творчеству («Вне моды»), но проявилась гораздо раньше.

В центре второго прозаического фрагмента — образы барона Николая Карловича Бергера и поручика Сергея Сергеевича Мусинского. Видимо, Фет собирался запечатлеть в памяти потомков образ полковника Карла Федоровича Бюлера, при котором он исполнял должность адъютанта (*Летопись*. С. 151, 155)²¹. События и люди, о которых повествует Фет, не вымышлены. Слуга барона Бергера (К. Ф. Бюлера) — «шаровидный литвин Петр», корнет Филипченко (в реальности — Пилипченко), который не по уставу раскланивался с командиром, поручик Кумашев (князь Кудушев), просивший «отпустить ему хор трубачей» за деньги, холеный майор Вандберг (майор Вайнберг), переведенный из гвардии в уланы за неблагоприятное по-

²¹ В *ОР РГБ* сохранилось одно письмо К. Ф. Бюлера к Фету от 9 ноября 1859 г., которое проливает свет на характер их взаимоотношений: «Ваше любезное письмо, Афанасий Афанасьевич, доставило мне душевное удовольствие, и приятно мне благодарить Вас за память о старом начальнике, который, поверьте мне, весьма часто об Вас вспоминает, на днях, будучи в Одессе, мы много о Вас говорили с Петковичем и Романовым. <...> Магденко поправил довольно удачно мой портрет, а потому я думаю, что Вам, любезный Афанасий Афанасьевич, не противно будет взглянуть иногда на него, вспомнить того из прежних своих начальников, с коим Вы почти пять лет провели и служили ладно и хорошо. К. Бюлер» (*ОР РГБ*. Ф. 315/II. Картон 7. Ед. хр. 12).

ведение, — все это персонажи из реальной жизни Фета, ставшие впоследствии героями его позднейших воспоминаний (см.: *РГ*. С. 435—438, 454, 462).

И. <Корнет Ольхов>. Впервые: «Крыловские» рассказы А. Фета (Два неопубликованных фрагмента) / Публ. Л. И. Черемисиновой // А. А. Фет и русская литература: XVII Фетовские чтения. Курск, 2003. С. 14—27. Печатается по автографу: *ОР РГБ*. Ф. 315/II. Карт. 2. Ед. хр. 5.

Стр. 146. Августа 1840 года накануне Спаса П. П. Ольхов - за заставу заштатно<го> города К. — штабной квартиры уланского полка, в котором Ольхов служил корнетом. — Служба Ольхова в должности корнета уланского полка в городе Крылове, страсть к охоте, наличие собаки по кличке Трезор — эти и многие другие факты (университетское прошлое, отношения с отцом, который обладал «явно бычливым нравом»), относятся к реальной биографии Фета.

Спас — народное название праздника Преображения Господня (6 августа).

Сермяга — домотканое грубое некрашеное сукно; зд.: рубаха из этой ткани.

...шляпу с павлиньим пером, напоминая<ш>ую формую гречневик. — Гречневик — высокая шляпа округлой формы, прозванная так за сходство с лепешкой, испеченной из гречневой муки.

Да и как ему было не радоваться. Вот оно то настоящее, о котором он так давно мечтал. — Позднее в РГ Фет, вспоминая ощущения, вызванные получением первого офицерского чина, писал: «Только вновь произведенные нижние чины способны понять восторг, который в жизни уже не повторяется. Все дальнейшие чины и почести ничто в сравнении с первыми эполетами» (С. 348).

*Не в первый раз в жизни Ольхин испытывал счастье обновить мундир. Когда 6 лет тому назад шел он - в новом студенческом картузе... — Художественное время рассказа (1840) не соответствует реальному времени начала фетовской службы в армии (1845). Однако оно соответствует реальной хронологии событий: его служба в армии началась через шесть лет и восемь месяцев после поступления в Московский университет (см.: *Летопись*. С. 141, 147).*

Стр. 147. Аксельбант — наплечный шнур с металлическими наконечниками, принадлежность формы некоторых военных чинов русской армии.

Буточник (будочник) — городской страж, низший чин городской полиции в Российской империи. Имел пост (будка с черно-белыми полосами) на перекрестках улиц. Во второй половине XIX в. заменен городовым.

Алебарда — старинное оружие, секира на длинном древке, заканчивающемся копьём.

...Платон Степанович еще за год перед этим преследовал Ольхину за серые штаны и чуть не посадил его на выпускном экзамене за усики в карцер. — Вероятно, речь идет о событиях переходного экзамена на четвертый курс университета, которые отразились в мемуарах Фета: «Когда я в ожидании вызова просматривал греческую книгу, круглолицый и рябоватый суб-инспектор Пантов, проходя мимо скамеек, нагнулся ко мне и сказал шепотом: “выбрейте вашу бороду”. В последнее время среди волнений я не подумал о туалете и ничего не ответил суб-инспектору. Минуты через две Пантов снова повторил свое приглашение, но на этот раз я, быть может, с раздражением, вполголоса ответил: “ради Бога оставьте меня”. Смотрю, Пантов прошел к экзаменационному столу и, склонившись к уху инспектора, что-то ему прошептал. Добрейший Платон Степанович поднял руку и, глядя мне в лицо, издали призывно закивал указательным перстом.

— Вы являетесь в университет небритым, — сказал инспектор, — да еще грубите суб-инспекторам, ступайте сейчас наверх к казенным студентам и прикажите цирюльнику вас обрить, а по окончании экзамена я вас посажу в карцер.

<...> В своих выговорах Платон Степанович впадал в лирический беспорядок, и, будучи гонителем стихов, иногда говорил стихами, вроде: “Штаны (не форменные, серые), усы, волоса! за эти чудеса, приходите ко мне в два часа”» (РГ. С. 227—228).

Чумацкая дорога — торговая дорога на Украине, по которой чумаки (возчики и торговцы) до проведения железных дорог перевозили на волах соль, рыбу и другие товары.

Посторонки (постронка, постромка) — ременная или веревочная пристяжь (в конской упряжи), соединяющая валец с хомутом.

...огромный и сильный Трезор... — Возможно, речь идет о легавой собаке Фета по кличке Трезор, которую подарила ему Марья Петровна Борисова, когда он был студентом (РГ. С. 167).

Стр. 148. Свора (сворка) — ремень, шнур, на котором водят охотничьих собак.

...курением Жукова. — См. примеч. к стр. 22.

Байбак — неповоротливый, ленивый человек; бездельник. В первом значении — степной сурок, с ранней осени и до весны впадающий в спячку.

II. <Полковник Бергер>. Впервые: «Крыловские» рассказы А. Фета (Два неопубликованных фрагмента) / Публ. Л. И. Черемисиновой // А. А. Фет и русская литература: XVII Фетовские чтения. С. 14—27. Печатается по автографу: ОР РГБ. Ф. 315/II. Карт. 2. Ед. хр. 6.

Стр. 149. Полковник Николай Карлович Бергер... — Прототипом этого образа явился Карл Федорович Бюлер, полковник, командовавший Кирасирским Военного Ордена полком с 21 апреля 1848 по 6 фев-

раля 1853 г. (*Летопись*. С. 150, 155; см. о нем также *РГ*. С. 434—438, 443 и др.). Фет был его адъютантом с 5 февраля 1849 по 2 мая 1853 г. (*Летопись*. С. 151, 155).

Три звездочки на его эполетах обозначали его поручичий чин, а портфель под мышкой указывал на звание должностного. — Поручик — офицерский чин в русской армии, которому соответствовали должности командира взвода, младшего офицера в роте, полкового и батальонного адъютанта, полкового казначея.

...шарообразный литвин Петр, бессменный камердинер и дворецкий полкового командира... — Позднее Фет писал о нем в *РГ*: «Служа когда-то в Варшаве <...>, барон сохранил при себе своего неизменно голубого денщика литвина Петра <...>. Петр постоянно заботился о столе полкового командира, который, кушая однажды в день, не знал никогда, что будет у него за столом. <...> Не буду перечислять всех блюд неистощимого Петра. Подавалось всего с избытком, и Карл Федорович был доволен» (*РГ*. С. 443).

Ракалия — негодяй, мерзавец, каналья (от фр. racaille).

Летучка — летучая почта; временно организованная почта для быстрой передачи распоряжений и донесений.

Стр. 151. Мы здесь не во фронте. — Фронт — строй войск.

...вы оказались непригодным в адъютанты к начальнику штаба, который вздумал извлечь из вас послуги шпиона. — Послуги — услуги. Речь идет об одном служебном поручении Фета — инспектировании отчетности в нескольких уланских волостях, — по результатам которого он лишился должности старшего штабного адъютанта. В конце жизни Фет вспомнил и воспроизвел данный эпизод в *РГ*: «...Я не подозревал обязанности раскрывать что-либо, кроме специального моего поручения, и, наконец, я не мог понять, какими путями я мог, не будучи уполномочен, принимать какие-либо жалобы, открывать какие-либо злоупотребления по волостям. На заискивающий взгляд и вопрос генерала я лаконически ответил: “Ничего не видал, ваше пр-ство”. К концу лета в штабе открылась вакансия старшего адъютанта, и конечно, я был уверен, что надену адъютантский мундир. Каково же было мое изумление, когда я узнал, что на это место вытребован и утвержден бывший наш юнкерский командир поручик Крит. <...> И я подал формальный рапорт об отчислении меня в полк» (С. 392—393).

«Три мушкетера» — роман А. Дюма-отца (1844).

«Андре» — роман Ж. Санд (1835).

Стр. 152. ...мои милые предшественники распустили полк до гадости... — В *РГ* Фет вспоминал об обстановке в полку после своего назначения на должность полкового адъютанта: «Мы оба с бароном Бюлером молча создавали, что нам предстоит многогранная задача добиться в полку нравственного равновесия. Блестящий период Энгельгардта невозвратно прошел: богатая молодежь, шедшая в полк для того, чтобы красиво отпраздновать молодость или перейти из армии в гвардию, миновала. <...> Прошло то время, когда Энгельгард-

ту стоило сказать: “Господа, я уверен, что вы меня поддержите”, — для того, чтобы офицеры не пожалели никаких денег для блестящего представительства полка; но этот блеск выкупался полным отсутствием дисциплины...» (С. 435—436).

...встречается со мной на тротуаре поручик Филипченко — и раскланивается со мной, как со знакомым на бульваре... — Этот эпизод с незначительными стилистическими изменениями повторяется в *РГ* (С. 436—437). Прототип поручика Филипченко — корнет Пилипенко.

...является ко мне лакей от поручика Кумашева с просьбой отпустить ему хор трубачей — и что он им заплатит. — Прототип Кумашева — князь Кудушев. См. описание подобного эпизода в *РГ* (С. 438).

...сегодня ко мне явился наш новый штаб-офицер — майор Вандберг. — Прототип Вандберга — майор Вейнберг. О его появлении в полку Фет впоследствии вспоминал: «Между тем в полку появился щегольски одетый высокий и плотный блондин, переведенный из конно-гвардии с чином майора, Вейнберг» (*РГ*. С. 454). Далее Фет описывает офицерское собрание в саду и речь Бюлера к офицерам, в которой полковник обратился непосредственно к Вейнбергу: «Майор Вейнберг! Я знаю влияние, производимое вами на молодежь, и я в этом случае никак не могу быть вам благодарен» (Там же. С. 462).

При дворе был траур по Велик. Княжне... — Речь идет о Великой Княгине Александре Николаевне, младшей дочери Николая I и императрицы Александры Федоровны, которая умерла родами в 19-летнем возрасте (12 июня 1825 — 29 июля 1844). В память ее в Петербурге устроена была Александринская женская больница. В Царском Селе был установлен памятник работы Ивана Петровича Витали (1794—1855), в виде часовни со статуей Великой Княгини, держащей на руках младенца.

...таких бестактных офицеров в гвар<дии> не надо. И вот он у нас из штаб-рот<мистра> превратился в молодого майора. — Чины в гвардии до 1884 г. считались на два класса выше, чем в армии. Соответственно, чин штаб-ротмистра в гвардии был равен чину майора в армии.

Субалтерн... — Субалтерн-офицер — общее наименование всех младших офицеров роты, эскадрона, батареи в русской армии.

А. А. ФЕТ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРИТИК

Критика Фета — яркое воплощение его эстетических воззрений, дающее представление и о творческой личности поэта, и о специфике его писательского метода, и об отношении его к различным художественным явлениям современности. Разносторонность Фета-критика — в выборе тем и в отношении к материалу — удивительна, особенно если учесть сравнительно небольшой объем его критического наследия. Между тем, критика Фета до настоящего времени не стала предметом пристального научного изучения. Обычно о Фете говорили как о представителе теории и практики «чистого искусства», противостоящем передовым тенденциям эпохи и уводящем литературу от истинных проблем социальной жизни к запредельным вымыслам и отвлеченным от жизни фантазиям. Тенденция эта не преодолена до сих пор. Мы должны попытаться определить основные направления в изучении эстетики и критики Фета и вписать его работы в литературно-эстетический контекст эпохи.

Воззрения Фета на взаимоотношения искусства и действительности с равной определенностью выражены в его стихах и критических статьях. При этом следует напомнить, что в стихах эти воззрения выражены по-своему даже точнее, так как поэтическая их форма в определенной мере освобождала Фета от налагаемых на него современностью стереотипов изложения. Например, широко известно следующее суждение Фета: «Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он вспарит по воздуху, тот не лирик»¹. Высказанное в критической прозе, это суждение вызвало издевательские нарекания². В стихах же такие «смелые» суждения оценивались как поэтическая вольность и прощались «безумному» поэту, чьи стихи, как принято было говорить, не отличались наличием «мысли». Фет пользовался этой свободой поэтического высказывания, и в своих стихотворных декларациях был даже смелее, чем в критической прозе.

В своих критических и поэтических высказываниях Фет исходит из того, что предметом поэтического изображения является прежде всего красота, которая видится повсюду: и во внешнем мире, и в

¹ Рус. слово. 1859. № 2. Отд. II. С. 63.

² См., напр.: *Лавренский М.* Шекспир в переводе г. Фета // *Совр.* 1859. № 6. Отд. III. С. 255—260. М. Лавренский — псевдоним переводчика Д. Л. Михаловского. См. об этой статье: *Ачкасов А. В.* Шекспир в переводе Фета в контексте русской переводческой школы середины XIX века // *Шекспир У. Антоний и Клеопатра / Текст и коммент.* А. В. Ачкасова. Курск, 2003. С. 160—194.

человеке³. Отсюда исходят две противостоящие друг другу оценки творчества Фета. С одной стороны, суждения о своеобразной «ограниченности» тематического диапазона фетовской лирики, за которую его любили упрекать современники и потомки. С другой стороны — мнение о принципиально широком мировидении поэта, его своеобразном «космизме», философской насыщенности его поэзии.

Когда в стихотворении «Старые письма» (<1859>) Фет утверждает: «Как будто вне любви есть в мире что-нибудь!»⁴, — то речь идет не об ограничении человеческого мира «узким» кругом частных забот и проблем, но о максимальном расширении этого мира благодаря огромному чувству любви. В природе Фет видит точно такую же вечную ценность, что и в любви, — и это единственное, что достойно поэтического воплощения. В стихотворении «Пришла — и тает все вокруг...» (1866) Фет писал:

Нельзя заботы мелочной
Хотя на миг не устыдиться,
Нельзя пред вечной красотой
Не петь, не славить, не молиться.⁵

В более позднем стихотворении «Только встречу улыбку твою...» (1873) Фет описывает традиционную литературную ситуацию: влюбленный в розу соловей воспеваает ее:

Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюбленную трелью
Восхвалять неумолчно он рад,
Над душистой ее колыбелью.

Но далее Фет моделирует совершенно нетривиальную ситуацию, которую никогда до него не описывала мировая литература (ибо точка зрения розы никого до него не интересовала):

Но безмолвствует, пышно чиста,
Молодая владычица сада:
Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо.⁶

³ Очерк эстетики Фета, который ныне считается классическим, дан в работе: *Благой Д. Д.* Мир как красота (О «Вечерних огнях» А. Фета) // Фет А. А. Вечерние огни / Изд. подг. Д. Д. Благой, М. А. Соколова. 2-е изд. М., 1979 (Лит. памятники). Но эта работа недостаточно учитывала деятельность Фета-критика.

⁴ *Фет А. А.* Сочинения и письма: [В 20 т. Т. 1.] Стихотворения и поэмы. 1839—1863 / Тексты и коммент. подг. Н. П. Генералова, В. А. Кошелев, Г. В. Петрова. СПб., 2002. С. 246.

⁵ *Фет А. А.* Вечерние огни. С. 38.

⁶ Там же. С. 75.

В применении к отношениям искусства и действительности (а именно об этих отношениях, а не просто о розе и соловье здесь идет речь) данный эпизод можно трактовать двояко. С одной стороны, искусство — это соловей по отношению к розе-жизни-красоте, в таком случае оно, как и соловей, должно воспевать жизнь-красоту, которые самодостаточны и не нуждаются в этом воспевании. Можно, с другой стороны, истолковывать этот сюжет и иначе: само искусство — это красота и роза, в таком случае оно так же абсолютно, так же безусловно самоценно. Однако в любом случае очевидно, что искусство не является зеркалом жизни, и если к нему приложимы какие-то свойства зеркала, то только какого-то совершенно особого, о чем говорится в стихотворении «Алмаз» (1888):

Нет! За прозрачность отраженья,
За непреклонность до конца,
Ты призван — разрушать сомненья
И с высоты сиять венца.⁷

Как видим, простая «прозрачность отраженья» — это, разумеется, важное качество, но это попутное качество. Главная же цель алмаза — не прозрачно отражать, а «разрушать сомненья / И с высоты сиять венца».

Всякое служение внешним целям («прозрачность отраженья») приводит к потере свободы, к утрате искусством истинного смысла и значения. Об этом Фет высказывался неоднократно: «Муза (Ты хочешь проклинать, рыдая и стена...)» (1887), «Quasi una fantasia» (1889) и другие стихотворения. Этой же теме посвящено стихотворение «Псевдопоэту» (1866) с его гневной инвективой:

Влача по прихоти народа
В грязи низкопоклонный стих,
Ты слова гордого: *свобода*
Ни разу сердцем не постиг.⁸

Направленность этого стихотворения против Некрасова вполне очевидна. Тот же пафос обнаруживается и в основных критических статьях Фета, особенно в подробном критическом разборе романа Н. Г. Чернышевского «Что делать?», написанном в соавторстве с В. П. Боткиным: «Нет ничего труднее и бесплоднее разговоров с глухими о звуках, с слепыми о красках и т. п. Как вы уясните нигилисту превосходство тончайших стихов Пушкина над бездарнейшими виршами?» Фет исходит из того, что есть люди, просто не воспринимающие красоты и поэтому подменяющие «умение — умелостью», есть авторы без тени таланта и есть сочувствующая им публика, видящая в литературе не искусство, но «идеи».

⁷ Там же. С. 425.

⁸ Там же. С. 77.

Может показаться, что поскольку красота принадлежит самой жизни, то искусство, даже если оно сознательно отказывается от идеологической нагрузки, может только воспроизводить, «отражать» красоту жизни, исполняя тем самым сложнейшую задачу воплощения в слове богатства и изменчивости временного и вещного мира. В этом отношении Фет внешним образом оказывается единомышленником всех сторонников позитивистской эстетики (в первую очередь, здесь просится быть названным, разумеется, Н. Г. Чернышевский). Однако это сходство именно внешнее. Фет, как известно, в своих воспоминаниях описывал виденное им зимою в степи северное сияние и замечал при этом: «Каждый раз, когда я вспоминаю это могучее явление, я не могу отделаться от мысли, что оно своею изумительною правильностью лучше всякого служит иллюстрацией мысли о мире как о нашем субъективном представлении. Ибо, предполагая на научном горизонте причину, вызывающую в глазах световые ощущения, нельзя не признать, что вся эта волшебная картина с разделением на отдельные цвета, с огненными снопами и фонтанами, строго соответственными в обратном порядке, есть произведение пары горизонтально расположенных глаз» (*МВ*. Ч. 1. С. 67). Итак, в отличие от «материалиста» Чернышевского Фет оказывается, грубо говоря, «идеалистом». Он понимает, что видение поэтом мира сугубо субъективно, и именно это субъективное представление поэта о мире и изображает в своих произведениях. Поэтому разговор должен идти не о том, что искусство «отражает» жизнь, но о том, как действительность преломляется в субъективном мире творца.

Как разные формы преобразования реального мира Фет уравнивает поэзию («Одним толчком согнать ладью живую...», 1887), живопись («Как трудно повторять живую красоту...», 1888) и скульптуру⁹. При этом только истинный художник может изобразить жизнь, не обеднив ее и не утратив свободы, о чем Фет пишет в стихотворении «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...» (1887):

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души, и трав неясный запах...¹⁰

Таким поэтом, в понимании Фета, был Л. Н. Толстой, который «в “Анне Карениной” остался верен тем художественным приемам, какими он под разными широтами и в разные эпохи изображал метель метелью, а людей людьми, а не тенденциозными куклами <...> При общем движении современной мысли и он был увлечен задачей: что делать? Куда идти человеку, стоящему

⁹ В письмах — особенно ярко — в статье «По поводу статуи г. Иванова на выставке Общества любителей художеств» (1866).

¹⁰ *Фет* А. А. Вечерние огни. С. 251.

на высоте современного образования?» Но как истинный художник, Толстой выбирает не прагматически простой, но «самый трудный» ответ на подобные вопросы, ответ положительный, поскольку таково требование «художественной совести». И потому вопросы жизни в творчестве Толстого решаются прямо, но не тенденциозно.

Истинная цель искусства, как следует из литературной и критической практики Фета — это не отражение, а служение породившей мир красоте.

Целый мир от красоты,
От велика и до мала,
И напрасно ищешь ты
Отыскать ее начало.

Что такое день иль век
Перед тем, что бесконечно?
Хоть не вечен человек,
То, что вечно, — человечно.¹¹

Но именно поэтому служение красоте приобщает человека к вечным ценностям. Художник, стремящийся именно к этой цели, велик, и поэту изображать жизнь во всех ее проявлениях ему необязательно:

День проснется — и речи людские
Закипят раздраженной волной,
И помчит, разливаясь, стихия
Все, что вызвано алчной нуждой.

И мои зажурчат песнопенья,
Но в зыбучих струях ты найдешь
Разве ласковой думы волненья,
Разве сердца напрасную дрожь.¹²

В статье «О стихотворениях Ф. Тютчева» (1859) Фет так определил положение истинного поэта: «Не потому г. Тютчев могучий поэт, что играет отвлеченностями, как другой играет образами, а потому, что он в своем предмете так же уловляет сторону красоты, как другой уловляет ее в предметах более наглядных. А что мир отвлеченный не всем равно доступен, а для иных и вовсе не существует, по крайней мере, сознательно, — это другое дело». В конце жизни Фет высказался по этому поводу с еще большей определенностью, одновременно подчеркнув ответственность писателя и силу духа читате-

¹¹ Датируется 1874—1886 гг. (*ПССМ1959*. С. 497).

¹² *Фет А. А. Вечерние огни*. С. 190.

ля: «Красоту нельзя воспринимать по заказу с чужих слов; нужно, чтобы красота сама устранила в душе человека всякие другие соображения и побуждения и окончательно его победила» (МВ. Ч. 1. С. 59)¹³.

Посвящение статьи «О стихотворениях Ф. Тютчева» Ап. Григорьеву — это обращение «посвященного» к «посвященному»: «В предлагающих заметках с удовольствием обращаюсь к тебе: это избавляет меня от необходимости начинать *ab ovo* и толковать о вещах, в существовании которых ты настолько же убежден, как и пишущий эти строки». Далее Фет говорит о тайновидении поэта и его собеседников: «Красота разлита по всему мирозданию и, как все дары природы, влияет даже на тех, которые ее не сознают, как воздух питает и того, кто, быть может, и не подозревает его существования. Но для художника недостаточно бессознательно находиться под влиянием красоты или даже млет в ее лучах. Пока глаз его не видит ее ясных, хотя и тонко звучащих форм там, где мы ее не видим, или только смутно ощущаем, — он еще не поэт».

По-видимому, статья Фета самим Тютчевым была воспринята как своего рода приглашение к диалогу. Во всяком случае, символику сопоставления двух поэтических дарований Тютчев в стихотворном послании Фету 1862 г., возможно, заимствует из процитированного текста Фета. Напомним это стихотворение Тютчева:

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой, —
Они им чуют-слышат воды
И в темной глубине земной...

Великой Матерью любимый,
Стократ завидней твой удел —
Не раз под оболочкой зримой
Ты самое ее узрел...¹⁴

¹³ Все изложенные здесь позиции Фет суммировал в статье-предисловии к своему переводу второй части «Фауста» Гете, которое следует датировать, видимо, 1882 г.: *Фет А. А. Предисловие и комментарии ко II части «Фауста» Гете* / [Предисл.] и публ. Н. П. Генераловой // 175 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета: Сб. науч. тр. Курск, 1996. С. 61—94. Своеобразное истолкование эстетики Фета предпринял В. Я. Брюсов в статье 1903 г. «А. А. Фет. Искусство или жизнь»: «Мысль Фета, воспитанная критической философией, различала мир явлений и мир сущностей» (*Брюсов В. Собр. соч.*: В 8 т. Т. 6. М., 1975. С. 211). См. об этом: *Жемчужный И. С. Поэтика и творчество А. А. Фета в оценке В. Я. Брюсова* // Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета: Сб. науч. тр. Курск, 1992. С. 216—218.

¹⁴ *Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и писем*: В 6 т. Т. 2 / Сост. и общ. ред. В. Н. Касаткиной. М., 2003. С. 117.

По Тютчеву, именно Фет смог достичь высшей степени познания иррациональных тайн природы¹⁵.

Стихотворение Тютчева принято связывать со стихотворным посланием Фета к Тютчеву «Мой обожаемый поэт...». Фет отдал пальму первенства Тютчеву, тот в стихах 1862 г. с почтением ее вернул. Фет еще раз затронул эту проблематику в последнем обращенном к Тютчеву стихотворении 1883 г. «На книжке стихотворений Тютчева», которое воспринималось то как проповедь «чистого искусства»¹⁶, то как цитата из самого Тютчева¹⁷, то как некая двусмысленность: «У чукчей нет Анакреона, / К зырянам Тютчев не придет»¹⁸.

В работе о Тютчеве Фет выступает защитником тайны, в которую непосвященному проникнуть невозможно: «Каким образом происходит раздвоение чувства и зоркого созерцания? — тайна жизни, как и самая жизнь. Довольно того, что там, где обыкновенный глаз и не подозревает красоты, художник ее видит, отвлекает от всех остальных качеств предмета, кладет на нее чисто человеческое клеймо и выставляет на всеобщее уразумение».

Судьба критической прозы Фета сложилась не просто. Во второй половине XIX в. любой писатель, если он имел желание высказаться по поводу того или иного художественного произведения своего современника, получал такую возможность. Журналы с жадностью набрасывались на критические статьи известных литераторов. С Фетом же дело обстояло иначе. Его печатали редко: за автором чудесных стихотворений трудно было признать крепкий, здравый, скептический и аналитический ум.

Из семи статей Фета, которые можно отнести к литературной критике¹⁹, при его жизни было напечатано пять: «Ответ на статью

¹⁵ См. об этом: *Строганов М. В.* Человек и природа в русской литературе XIX века: к истории формирования экологической проблематики // Дары природы и плоды цивилизации: Эколог. альм. Тверь, 2003. С. 42—56.

¹⁶ См. об этом: *Вопр. лит.* 1975. № 9. С. 122—155.

¹⁷ См. об этом: *Генералова Н. П.* Комментарий к одному «стихотворению на случай» А. Фета // *Рус. лит.* 1996. № 3. С. 168—180; *Генералова Н. П.* И. С. Тургенев: Россия и Европа. Из истории рус.-европ. лит. и обществ. отношений. СПб., 2003. С. 463—466.

¹⁸ *Фет А. А.* Вечерние огни. С. 200.

¹⁹ Статьи «Ответ на статью “Русского вестника” об “Одах Горация”» и «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании» могут быть отнесены к жанру литературной критики с большой долей условности. Первая является собственно «антикритикой». Вторую статью можно рассматривать и в ряду публицистики, так как она касается современного общественного вопроса, хотя в ней, вместе с тем, сформулированы эстетические проблемы. Возможно, к числу собственно критических выступлений Фета можно было бы отнести и два предисловия Фета к третьему и четвертому выпускам «Вечерних огней» (1889, 1891), которые будут опубликованы в томе *ССиП*, включающем в себя «Вечерние огни» как целое, и «<Ответ “Новому времени”>» (1891), а также и многочисленные предисловия Фета к собственным переводам.

“Русского вестника” об “Одах Горация”» (1856), «О стихотворениях Ф. Тютчева» (1859), «По поводу статьи г. Иванова на выставке Общества Любителей Художеств» (1866), «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании» (1867), «Фамусов и Молчалин» (1885). При этом стоит заметить, что из напечатанных статей только одна — о Тютчеве — посвящена ключевому явлению современной русской литературы. Две других статьи: «<<”Что делать?”>>» (1863) — о романе Н. Г. Чернышевского и «Что случилось по см<ерти> Анны Кар<ениной> в “Русск<ом> В<естнике>”» (1877)²⁰ — о романе Л. Н. Толстого в печати не появились. Между тем именно эти статьи, посвященные произведениям, вызвавшим огромный читательский интерес, могли бы прозвучать особенно остро, своевременно и привлечь внимание читателей к Фету как критику.

Самостоятельную проблему открывают утраченные критические статьи Фета. Так, о статье по поводу «Войны и мира» Толстого С. В. Энгельгардт писала Фету 18 мая 1868 г.: «Я уверена, что Катков напечатал бы Вашу статью с большим удовольствием; дело в том, что не он хозяин в “Р<усском> вестнике”. Мне рассказывали свидетели, что раза три-четыре в год он заглянет в журнал и раскритичится на Любимова, но это, разумеется, ни к чему не приводит. — Как бы мне хотелось прочесть Вашу статью!»²¹ Из этого следует, что статья к 18 мая 1868 г. была уже написана и передана в редакцию *PВ* — и отвергнута ею, о чем Фет успел сообщить своей корреспондентке. 14 июля 1868 г. Фет писал П. И. Бартеневу: «Ив. Петров. Борисов передал мне о вашей любезной готовности спешествовать помещению статьи моей о “Войне и мире” в “Вестнике Европы” или где найдете удобным. На этом основании я вместе с сим прошу редакцию “Русского вестника” передать мою рукопись вам в случае, если по каким-либо соображениям статья не может быть помещена у них»²². Однако и эти хлопоты о публикации не увенчались успехом. Поэтому Фет решился распространять свою статью среди знакомых. О результатах одного из таких опытов он сообщал Л. Н. Толстому 1 января 1870 г.: «Вот почему Ваша интеллектуальная свобода так мне дорога и так бесит и волнует всех почти без исключения. Зашла речь у Черкасских об второй части эпилога, и все стали меня бить, зачем я это написал. Я попробовал защищаться, но увидал, что это глупо»²³.

Особое место в наследии Фета-критика занимают разделы, посвященные литературной жизни его времени, которые встречаются

²⁰ О творческой истории последней из этих статей см.: *Щербаков В. И.* История неопубликованной рецензии // А. А. Фет и русская литература: XV Фетовские чтения. С. 225—228.

²¹ 34 письма С. В. Энгельгардт к А. А. Фету / Подг. текстов и публ. Н. П. Генераловой // А. А. Фет. Проблемы изучения жизни и творчества: Сб. науч. тр. Курск, 1994. С. 207.

²² *Летописи Государственного литературного музея.* Кн. 2. М., 1938. С. 261.

²³ *Толстой. Переписка.* Т. 1. С. 396.

в его публицистических произведениях. Так, в частности, второй раздел в первом цикле писем «Из деревни» (1863) называется «Литератор» и посвящен традиционным для Фета эстетическим проблемам ангажированности искусства²⁴. Подобные литературно-критические фрагменты характерны для публицистических статей Фета.

Первое выступление Фета с критической статьей относится к 1856 г., когда в февральском номере *РВ* появился критический разбор филолога-латиниста С. П. Шестакова «Оды Горация в переводе г. Фета». Статья Шестакова была вызвана публикацией полного перевода четырех книг од Горация в *ОЗ* за 1856 г. (в том же году они вышли в свет и отдельным изданием). Шестаков высоко оценил работу Фета-переводчика: «Мы можем поздравить наших читателей с прекрасным приобретением, а г. Фета с прекрасным трудом»²⁵. Но Шестаков нашел и недочеты. Этот отзыв вызвал ответную статью Фета, на которую Шестаков, в свою очередь, отвечал в том же году²⁶.

Фет достаточно подробно возражал своему критику, не соглашаясь почти ни с одним его предложением по исправлению переводов, хотя потом, в 1883 г., он учел многие из этих предложений в новом издании Горация.

Когда сборник стихотворений Фета 1856 г. вышел в свет, на него отозвались люди, которые по справедливости считались его ближайшим окружением и единомышленниками: А. В. Дружинин и В. П. Боткин, — те, кого принято было называть адептами «чистого искусства», кого (вместе с П. В. Анненковым) Л. Н. Толстой называл «бесценным триумвиратом».

Статья Дружинина была опубликована в журнале «Библиотека для чтения» (1856. № 5. Отд. V. С. 1—19). Дружинин давал очень высокую оценку дарования Фета, при этом отмечая, что область его поэтических интересов невелика: «Мировым, европейским, народным поэтом Фет никогда не будет; как двигатель и просветитель он не совершит пути, пройденного великим Пушкиным. В нем не имеется драматизма и ширины воззрения, его мирозерцание есть мирозерцание самого простого смертного, его вдохновение не выдержит продолжительного напряжения». В будущем Дружинин обещал «поговорить и о слабых сторонах фетовой поэзии, о некоторой туманности и неправомерностях в языке нашего автора, об ухищренном германском элементе поэзии, от которых г. Фет не отрешился еще окончательно, и так далее»²⁷. Высокая оценка, данная Дружининым, таким образом, делалась не без оговорок.

²⁴ См.: *Фет А.* Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство. С. 126—131.

²⁵ *Шестаков С.* Оды Горация в переводе г. Фета // *РВ*. 1856. Февр. Кн. 1. С. 562.

²⁶ *Шестаков С.* Еще несколько слов о русском переводе Горациевых од // *РВ*. 1856. Т. 6. Дек. Кн. 2.

²⁷ *Дружинин А. В.* Прекрасное и вечное / Вступ. ст. и сост. Н. Н. Скатова; Коммент. В. А. Котельникова. М., 1988. С. 146, 148, 156.

Статья Боткина была написана по настойчивой просьбе одного из соредакторов «Современника» И. И. Панаева и опубликована в этом журнале (1857. № 1. Отд. III. С. 1—42). Боткин оценивал поэзию Фета даже выше, чем Дружинин. И тем не менее, в его статье мы встречаем похожие оговорки: «В г. Фете вообще мало критического такта, он слишком снисходителен к своим произведениям; как импровизатор, он большею частью представляет их собственной судьбе»; «...мы ясно видим все недостатки его таланта, — скажем более, — даже всю ограниченность сферы его...»; «Внутренний мир г. Фета — сколько мы можем судить по стихотворениям его — не отличается ни многосторонностью, ни глубокомыслием содержания <...>. Вообще личная, внутренняя жизнь очень мало дает ему поэтических мотивов. От этого на поэзии его не лежит та яркая, характерная черта личности...»²⁸.

Статья Дружинина ближайшими литературными соратниками была оценена доброжелательно. Что касается статьи Боткина, то она вызвала восторг среди литераторов, что, конечно, не было тайной для Фета. Причина заключалась в том, что Боткин точно сформулировал эстетические критерии поэзии²⁹. Тем не менее получалось, что Фет как поэт этим наиболее точным и современным критериям поэзии не вполне удовлетворяет.

Само собой разумеется, совершенно не устраивала поэзия Фета радикальных критиков, которые начали писать пародию за пародией на стихи «Непогода. Осень. Куришь...», «Шепот, робкое дыханье...» и др. В сложившейся ситуации Фету оставалось только благодарить Дружинина и Боткина за поддержку и попытаться самому высказать свое эстетическое *specto*.

Когда в 1859 г. возник журнал «Русское слово» и старые друзья студенческих лет А. А. Григорьев и Я. П. Полонский взялись за редактирование его, Фету могло показаться, что он нашел себе литературных единомышленников и место для литературно-критической деятельности. Так в февральском номере «Русского слова» за 1859 г. появилась статья Фета «О стихотворениях Ф. Тютчева».

Статья о Тютчеве была очевидным образом направлена не только против «дальних» противников, и прежде всего Н. Г. Чернышевского, но отчасти и против «ближних» союзников. Фет писал, почти цитируя Дружинина и Боткина: «Как часто слышится фраза: “такой-то поэт богат или беден содержанием, мыслями”. Фраза переходит из уст в уста, но многие ли дали себе труд понять, что такое поэтическое содержание, мысль? Что поэт может быть в то же время и мыслитель, увидим дальше; тем не менее, справедливо и то, что можно быть величайшим художником-поэтом, не будучи мыслителем в смысле

²⁸ Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма / Сост., подг. текста, вступ. ст. и примеч. Б. Ф. Егорова. М., 1984. С. 218, 219.

²⁹ Л. Н. Толстой, например, назвал статью Боткина «поэтическим катехизисом поэзии» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 60. М., 1949. С. 153).

житейском или философском». Фет утверждает, таким образом, мысль, что подлинное поэтическое творчество не может быть бедно содержанием и мыслью, что величайший художник-поэт непременно является мыслителем, только не в смысле житейском или философском.

Статья Фета о Тютчеве имела на самом деле некоторые точки соприкосновения с тем, что писал Григорьев в эти и предшествующие годы³⁰. В отличие от так называемых представителей «чистого искусства» Фет и Григорьев должны были бы вести свою философско-эстетическую родословную не от Гегеля, как было свойственно людям, начавшим свои жизненные и умственные поиски в философско-литературных кружках 1830-х гг., а от философии другого знаменитого немецкого мыслителя — Ф. В. Шеллинга³¹.

Установившееся представление о Фете как о поэте «чистого искусства»³², не поколебленное новейшими публикациями³³, относит-

³⁰ Ср. статью А. А. Григорьева «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» (1858): *Григорьев Ап. Соч.*: В 2 т. Т. 2 / Сост., подг. текста и коммент. Б. Ф. Егорова. М., 1990. С. 10—18.

³¹ См.: *Журавлева А. И.* «Органическая критика» Аполлона Григорьева // Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., 1980; *Черемисинова Л. И.* Афанасий Фет и «органическая» теория искусства // Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета. Курск, 1990. С. 32—40. Истолкование общественно-философской позиции Фета как органической было предпринято и по отношению к другим сферам деятельности Фета: *Черемисинов Г. А.* А. А. Фет-публицист о хозяйственном строе России // Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета. С. 280—281. При этом исследователь опирался на следующие высказывания Фета: «Свободный человек, понимая несвоевременность известного явления в данный момент, не станет ратовать против него в прошедшем и поймет его заслуги в прошлом <...>, но не забудет в то же время, что идеал всякого живого организма в будущем, а не в прошедшем» (*Фет А.* Заметки о вольнонаемной труде // *РВ.* 1862. № 5. С. 220); «Несмотря на бесконечное разнообразие своих проявлений, жизнь всюду верна себе, и не зная ничего второстепенного, повсюду переполнена вопросами первой важности... Правда, во всяком организме есть явления более наглядные и крупные, пульсы более очевидные, но это нисколько не умаляет значения самых отдаленных и малозаметных точек организма»; «В организмах целых государств труд наблюдения значительно уменьшается тем, что один и тот же орган является и корнем и плодом, и причиной и следствием. Если законодательство, с одной стороны, причина и корень данных жизненных явлений в государстве, и в то же время плод и следствие тех же явлений, то и промышленная деятельность, с другой стороны, представляет такое же слияние корня с плодом» (*Фет А.* Из деревни // *РВ.* 1864. № 4. С. 572, 576); «Указав на органическое, или, лучше, стихийное значение современных явлений, мы ни на минуту не признавали их нравственной красоты и ограничились вопросом другого порядка *быть или не быть*» (*Фет А.* Из деревни // *Заря.* 1871. № 6. С. 29) и др.

³² *Боткин В. П.* Литературная критика. Публицистика. Письма. С. 202—204.

³³ См., например: *Гаврилова Л. И., Рыжков П. А.* А. А. Фет и «поэзия мысли» // А. А. Фет и русская литература: XV Фетовские чтения. С. 52—60.

ся, разумеется, не только к его деятельности как лирика. И это представление естественно влечет за собой мнение о том, что все, написанное Фетом, отличается антиисторизмом: думал он только о вечном, а не о современном, о том же и писал, о любви и о природе³⁴.

Мнение это и несправедливо и неверно. Напомним только тот фрагмент из статьи о стихотворениях Тютчева, где Фет обращается к Григорьеву с такими словами: «Что касается до меня, то, отсылая неверующих к авторитетам таких поэтов-мыслителей, каковы Шиллер, Гете и Пушкин, ясно и тонко понимавших значение и сущность своего дела, прибавлю от себя, что вопросы: о правах гражданства поэзии между прочими человеческими деятельностями, о ее нравственном значении, о современности *в данную эпоху* и т. п. считая кошмарами, от которых давно и навсегда отделился. Знаю, что если бы, обращаясь к тебе и пародируя возражение Лепида (в «Антонии и Клеопатре» Шекспира), я сказал:

Не время
Теперь писать стихотворенья, —

ты бы с некоторой терпкостью Энобарба ответил:

Время
Всегда на то, что происходит в нем».

Посвященная творчеству Тютчева статья 1859 г. получила значение литературного манифеста Фета. Ему было крайне необходимо выразить то понимание поэзии, которое он не находил в современной общественно-литературной жизни: ни у представителей рационалистической, позитивистской эстетики, ни у сторонников «чистого искусства». И высказал он это понимание поэзии со всей страстностью манифеста. Это выразилось, например, в знаменитом пассаже о том, что «тот не лирик», «кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой, с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху».

В статье о Тютчеве, сказав о том, кто такой лирик, Фет тут же, ограничил это высказывание: «Но рядом с подобной дерзостью в душе поэта должно неугасимо гореть чувство меры». В дальнейшей литературной судьбе Фета этот манифест сыграл решающую роль: современники забыли, что и у самого Фета седьмой этаж — это метафора или гипербола. Никто не понял или не хотел понять, что Фет вкладывал в понятие «лирической дерзости».

Следующий этап критической деятельности Фета объединяет статьи, созданные в 1860—1870-е гг. Во-первых, это статья о романе

³⁴ См., например: *Недоброво Н. В.* Времеборец (Фет) // Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета. С. 9—19; *Чередниченко В. И.* История изучения пространства и времени в поэзии А. А. Фета // Там же. С. 47—55.

Чернышевского «Что делать?», написанная в достаточно традиционной манере для «реальной критики», которая создавала интерпретации новых на шумевших сочинений.

Фет позволил себе пародировать критическую манеру «нигилистов» и изменить собственной манере потому, что в «Что делать?» он видел отсутствие искусства³⁵. По поводу цели произведения Чернышевского в статье говорилось следующее: «Сущность не в романе, не в творчестве, а в истине, в пропаганде». То, что Фет не мог бы сделать с подлинно художественным произведением — пересказывать его, он считает вполне допустимым по отношению к «Что делать?».

Следует сказать, что такое понимание соотношения содержания и формы для литературной критики середины XIX в. было новаторским. Только в 1870-е гг. Л. Н. Толстой скажет нечто аналогичное по поводу «Анны Карениной»: «Если бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман тот самый, который я написал, сначала»³⁶. И это совпадение Фета с Толстым совершенно не случайно: оно показывает истинное, глубинное сходство этих писателей.

Правда, в суждениях Фета о соотношении искусства и действительности в этой статье появляются некоторые непривычные оттенки.

«Основанием искусства, — пишет Фет, — служат те вечные колебания духа, которые в данный исключительный момент способны достигать неизмеримой высоты. На этих-то высотах и для этих-то высот творит вечное искусство. Что же тут общего с действительною будничною жизнью? Ничего. Это понятно самому бесхитроственному уму». И далее: «Мы толкуем о пользе искусства — эта польза огромна и исключительна <...> вызывать дух <человека> на подобные высокие колебания значит очищать его и укреплять духовной гимнастикой. Это возвышение, очищение и укрепление духа есть исключительное призвание искусства. Другого у него нет. Поэзия (и вообще искусство) никогда не выдавала своих созданий за плотскую — реальную жизнь <...> Искусство, действительно, не заботится о реальной жизни прямо и непосредственно, оно влияет на человеческую жизнь иным путем — возвышая дух, от которого зависит эта жизнь. Но они этого не видят, а если видят, то не только говорят, что этого мало (какие скромные требования!), но утверждают, что это вредно, как чрезмерное волнение духа, выбрасывающее из действительности. Оно, по их словам, портит жизнь, ставя перед нею слишком высокие идеалы».

Фет никогда не высказывался так открыто по вопросу о «пользе» искусства. В то же время в статьях А. В. Дружинина и В. П. Боткина

³⁵ Черемисинова Л. И. А. А. Фет — критик Н. Г. Чернышевского // Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы. [Вып.] 12. Саратов, 1997. С. 21—28.

³⁶ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 62. С. 269.

по поводу стихотворений Фета (как, впрочем, и в иных их критических произведениях) речь шла о воспитательном значении искусства. И это воспитательное значение понималось в том же смысле, что и в приведенном выше высказывании: искусство развивает эмоциональный мир человека, формирует его нравственное чувство — это его единственное значение и роль, и это «оправдание» его существования. Сходство этих толкований можно легко объяснить, если вспомнить, что статья о «Что делать?» была написана Фетом совместно с В. П. Боткиным (см. об этом подробнее в коммент. к статье). Хотя автограф написан рукой Фета, нельзя забывать, что рождался ее текст в диалоге, в общении согласных (в принципе) друг с другом людей, выражающих единое мнение и только приводящих разные аргументы в его поддержку. Фет, так сказать, отвечал за «художественную часть», Боткин — за «социально-экономическую». Именно ему как очевидцу событий можно приписать фрагмент, посвященный французской революции. Возможно, что он, как человек, много занимавшийся в 1840-е гг. экономическими теориями и читавший Фурье, явился и автором рассказа о спасении английского бюджета куриными яйцами. Для авторов факт диалога важен и конкретные реплики принадлежат конкретным людям — недаром, правя статью, Фет особое внимание уделял тому, чтобы новый вариант просмотрел и Боткин³⁷.

Фетовская концепция статьи, опровергающая на всех уровнях теорию «разумного эгоизма» Чернышевского, настолько прямолинейна, насколько прямолинейен сам роман. Достается и эмансипации, и коммуна. Фет не только прибегает к сатире, насмешке, но и декларирует свою общественную позицию: «Да, мы открыто не желаем смут и натравливаний одного сословия на другое, где бы оно ни проявлялось: в печати ли, на театре ли, посредством изустных преподаваний и нашептываний. Мы не менее других желаем народного образования и науки, только не по выписанной нами обскурантной программе социалистов, способной только сбить человека с врожденного здравомыслия. Нам больно видеть недоверие сознательных элементов общества к публичному воспитанию. Наравне с другими мы чувствуем необходимость незыблемых гарантий свободного и честному труду. Для нас очевидна возрастающая потребность в серьезном содействии женского труда на поприще нашего преуспеяния. Чем скорее и яснее поймут они всю гнусность валяться целый день в постели и пить сливки, заставляя мужа, кроме тяжелых забот о насущных нуждах семейства, заваривать им чай, — тем лучше. Пусть они серьезно и полезно трудятся, но только не в фаланстере».

Публицистический характер статьи о «Что делать?» сближал ее с «реальной критикой». И поэтому выпады в адрес противников в данном тексте оказывались вполне естественными.

³⁷ См. об этом: Лит. наследство. Т. 25—26. С. 531—532.

Следующая критическая статья Фета — «По поводу статуи г. Иванова на выставке Общества Любителей Художеств» (1866) была нацелена, как и статья о Тютчеве, на формулирование общеэстетических принципов. Критик искусства может судить только о «хорошо нарисованных *носах и ушах*», судить же «об *идее* картины» — это не дело критика или, во всяком случае, нечто второстепенное по отношению к его делу. Фет не отказывается от публицистически острых суждений. Он призывает своих современников, «истинно образованных и действительно либеральных покровителей уже существующих и вновь открываемых учреждений для поощрения наук и искусств»: «Если мы действительно доросли до той зрелости убеждений, которой уже не в силах повредить никакие цинически-дикие возгласы, а потому либерально и смело, как никто, растворяем двери всем мнениям, всем оттенкам мысли, то неужели это нас обязывает быть равнодушными к собственным мыслям и убеждениям, в которые мы будто бы так крепко верим — т. е. другими словами — не иметь никаких убеждений и руководящих мыслей?» Фет не собирается отступать перед натиском либеральных вейний из боязни упреков в ретроградстве. Он, напротив, открыв забрало, отстаивает свою позицию, открыто провозглашает свои принципы.

Статью «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании» (1867) следовало бы отнести не к разряду критики как публицистики, но к разряду публицистики как критики. Дело в том, что Фет в этой статье на общественно-политическую тему прибегает к приемам искусствоведческого анализа и кладет в основу разграничения классического и реального образований эстетические категории.

Реальное образование в России начало формироваться уже в 1820-е гг., а указ 1837 г. предписывал, чтобы в реальных училищах словесные науки изучались по программе училищ приходских и уездных. Устав 19 ноября 1864 г. о реальных гимназиях возбудил в печати полемику о реализме и классицизме. По этому уставу реальные гимназии, наравне с классическими, давали общее образование и подготавливали к поступлению в высшие специальные учебные заведения. Они были доступны для детей всех состояний и вероисповеданий и имели сходную с классическими гимназиями программу. В одинаковом объеме преподавались: Закон Божий, русский язык с церковнославянским и русская словесность, история, география и чистописание, в большем — математика, естественная история с прибавлением химии, физика и космография, языки немецкий и французский, рисование и черчение, но в отличие от классических гимназий из их программ было исключено преподавание латинского и древнегреческого языков.

Фет выступает за классические гимназии и против реальных. Он исходит из того, что искусство и наука, «эти две стремительные силы человеческого духа — не имеют различных целей. У них одна общая цель: *истина* <...> наука и искусство — одноцентренны. Этот центр истина, одна истина». Разница состоит в том, что «наука, не изменяя

своему призванию и значению, не может отвернуться от возникающего перед ней последнего слова истины <...>. Для искусства никакая истина не существует до того благодатного момента, в который оно успело нащупать ее красоту, вслушаться в ее гармонию. Художник был ясновидящим, произнося слова: “Тьмы низких истин мне дороже Нас возвышающий обман”. Жрец науки должен отвернуться от них, как от богохульной лжи».

Фет видит различие науки и искусства и в способах постижения мира. Науки постигают мир «в форме отвлеченной неподвижности», и к этому знанию человек «приближается бесконечным анализом или рядом анализов». Искусства же постигают мир «в форме своего живо трепещущего колебания, гармонического пения, присущей красоты», которое он уподобляет пению сфер в философских построениях пифагорейцев, и это знание дается человеку «мгновенным синтезисом всецельно, *de facto*». Ср. аналогичное суждение в статье о Тютчеве 1859 г.: «Но в том-то и дело, что художнику дорога только одна сторона предметов: *их красота*, точно так же, как математику дороги их очертания или численность».

Учитывая это сходство-различие науки и искусства, Фет и позволяет себе перенести некоторые приемы изучения и оценки искусства на науки и ее преподавание в школе. Наука и преподавание ее, как и искусство, бесцельны, знания, даваемые ребенку на начальных этапах его развития, важны именно как знания, пока еще без конкретных применений к той или иной практике. Фет полагает, что ранняя специализация только губит дело преподавания, поскольку заранее лишает ребенка возможности дальнейшего широкого и свободного самостоятельного выбора. Кроме того, эта специализация препятствует его духовному развитию, ограничивая потребности ребенка как человека.

Фет пишет: «Мы все — поэты, истинные поэты в той мере, в какой мы истинные люди. Вслушайся в эту сонату Бетховена, только сумей надлежащим образом ее выслушать — и ты, так сказать, воочию увидишь всю сказавшуюся ему тайну. Слова *поэзия язык богов* — не простая гипербола, они выражают ясное понимание сущности дела. Поэзия и музыка не только родственны, но нераздельны. Все вековые поэтические произведения от пророков до Гете и Пушкина включительно, в сущности, музыкальные произведения — песни. Все эти гении глубокого ясновидения подступали к истине не со стороны науки, не со стороны анализа, а со стороны красоты, со стороны гармонии. Гармония также истина. Там, где разрушается гармония — разрушается и бытие, а с ним и его истина».

Эта позиция оказывается на поверку весьма демократична: она исходит из того, что возможности каждого человека безграничны, из того, что каждый человек может достичь максимальных высот образования и знания. Эта позиция, таким образом, предлагала давать классическое образование каждому человеку вне его социальной принадлежности. Следовало бы добавить: если он того захочет и если у

него есть к тому надлежащие возможности, — но Фет этого не делает, поскольку и его позиция, при всей ее реальности, не лишена некоторой степени утопичности. Фет строит некую новую поэтическую реальность: если каждый человек — это поэт, то его отношение к действительности должно стать отношением поэтическим, как и у всякого поэта. Таким же должно быть и образование.

Далее автор статьи возвращается к спору со своими оппонентами, чье мнение он передает следующими словами: «Все это прекрасно, — скажут многие, — но если непосредственное знакомство с древними так благотворно в деле всестороннего образования, — как объяснить те уродливые, на глазах у всех проходящие явления, которые могут быть названы общим именем *семинаризма*, когда в семинарское образование в значительной степени входило изучение латинского и греческого языков?» Под именем *семинаризма* Фет имел в виду нигилизм, с которым он вел спор в статье о романе Чернышевского. На вопрос же своих оппонентов он отвечает, что «уродливые явления семинаризма не только не свидетельствуют против нас, а напротив, служат наилучшим подтверждением всего нами сказанного». Именно отсутствие «бесцельного», «чистого» преподавания в семинариях и породило, по Фету, то явление «семинаризма», против которого выступает и он сам, и его оппоненты.

Следующая критическая статья Фета была написана только через десять лет. Предполагать, что он был безучастен к текущей литературе, у нас нет оснований. Его публицистика свидетельствовала о его готовности откликаться на любое событие современной жизни, его переписка пестрит точными оценками произведений текущей словесности.

Внерациональное постижение мира оказывается, по Фету, самым важным и едва ли не единственным методом познания. Этот же подход перекочевывает и в следующую статью «Что случилось по см<ерти> Анны Кар<ениной> в “Русск<ом> В<естнике>”». Принцип построения этой критической статьи тот же — доводы оппонентов доводятся до абсурда и раскрывается точка зрения, близкая «поэтической истине», приоткрывается покров тайны художественного замысла, невысказанного, но неизмеримо глубокого. Здесь уместно вновь вспомнить слова Толстого о том, что если бы он «хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом», то он «должен был бы написать роман <...> сначала». Фет, как мы уже отмечали, солидарен с автором романа в понимании того, что смысл художественного произведения не может быть понят вне той конкретной формы, в которой он был воплощен автором. Об этом же Фет писал в письме к Л. Н. Толстому от 3 августа 1877 г. по поводу того, что М. Н. Катков отказался печатать окончание романа Толстого, разойдясь с ним в оценке русско-турецкой войны³⁸: «Но понимают ли эти мудрецы, “Каренина” без эпилога не корова без хвоста, а змея без хвоста, то есть без необходи-

³⁸ Рус. вестник. 1877. Т. 130. С. 448—462.

мой части организма, без чего она неполна и непонятна»³⁹. Эпилог как составная часть художественного целого организует его, и без Эпилога читатель не может воспринять содержание целого, как бы подробно ни пересказывали его в критических статьях.

Говоря об этой солидарности, мы должны учесть, что, направляя свою статью Толстому под псевдонимом Бологов, Фет в письме к нему от 23 августа 1877 г., пояснил: «Бологов писал ее более для вас»⁴⁰. Между тем Толстой угадал автора и высоко оценил намерение Фета в письме к Н. Н. Страхову от 2 сентября 1877 г.: «...с первых страниц я узнал Фета. Статья, по-моему, очень хороша, за исключением переизбытка и неожиданности сравнений. Он желает ее напечатать, и мне бы хотелось, потому что сказано все, что я бы хотел сказать»⁴¹. Странно было бы, если бы Толстой не узнал Фета, когда тот высказывает мысли, которые напрямую соотносятся с эпилогом его «Войны и мира»: «Природа вообще, а человеческая в частности, действует по известным законам, большей частью непостижимым умом, а что всего страннее, что действия, которые, очевидно, должны бы опираться на умств<енные> соображения, оказываются на деле тем совершеннее, чем далее отстоят от рефлектирующего ума».

Это внутреннее сходство с Толстым заходит в такие сферы, что некоторые пассажи статьи так и просятся в разряд предсказаний. Именно как предсказание читается рассуждение о том, что «из всех разглагольствований мудрецов мы вполне согласны только с советом Платона: венчать растлевающих поэтов и мудрецов и выгнать вон из государства. В таком инстинктивном чувстве самосохранения есть логика, но если человек сознательно стоит в лагере высших человеческих отправления, в лагере философии, науки и искусств, и вдруг, к всеобщему изумлению, обзовет все это глупостью — то, спрашивается, во имя чего же он это говорит? Может ли литература, исключительно стоящая на почве высочайших нравственных отправления, отрицать эти отправления? <...> Из такого трагического положения только один выход — самоубийство».

Эти слова кажутся написанными прямо в предостережение Толстому, который вскоре после завершения «Анны Карениной» переживает духовный кризис, который приведет его к отрицанию всех «нравственных отправления», которыми он жил доселе и без которых он неизбежно шел к тому выходу, о котором писал Фет.

В статье об «Анне Карениной» Фет, как обычно, защищает художественную свободу автора, сопротивляясь утилитарной критике. Катков в своем разборе последней части романа считал, что указания на современные события в финале «Анны Карениной» не имеют ничего общего с художественным целым романа. Фет же выступает защитником связанных с современной историей элементов художе-

³⁹ Толстой. Переписка. Т. 1. С. 478.

⁴⁰ Там же. С. 480.

⁴¹ Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 62. С. 339.

ственного текста. Он апеллирует к работам Дж. Г. Льюиса, образцовые латинские существительные взяты из «Полного латинского словаря» П. Леонтьева, который рекламировался Катковым. Однако характеризуя исторический момент и увлечения эпохи, Фет ни на миг не забывает, что подлинный художник — выше всего этого. И художник Толстой знает «положительный» ответ лучше ученых историков; его роман открывает дверь в будущее — не только для Левина, но и для внимательного читателя.

Стоит обратить внимание на сложный эпиграф статьи. Сначала — цитата из Библии: «Аз воздам» (эти слова являются и частью эпиграфа к «Анне Карениной»). Потом — фрагмент из стихотворения Шиллера. После этого следует фрагмент из статьи А. Н. Стадлина «Философское учение Дж. Г. Льюиса...», опубликованной в том же номере *РВ*, где и статья Каткова, на которую отвечает Фет. Наконец, идет цитата из статьи самого Каткова. Получается некий коллаж, смысл которого Фет расшифровывает в первом же абзаце. Природа имеет свои законы, которыми она скрепляет в единую цепь разные события; человеческий ум также пытается совершить нечто подобное; однако художественное сознание Каткова не смогло понять той цепочки закономерностей, на которой основано целое «Анны Карениной».

Интересно, что аналогичный коллажный эпиграф был использован и в статье о романе «Что делать?»: там набор цитат из «Очерков бирсы» Н. Г. Помяловского, которые печатались в том же «Современнике», помогает Фету разоблачить ту идеологию нигилизма, которую сам «Современник» и проповедует. Кажется, это тоже оригинальный прием для русской критики XIX в.

Так случилось, что дошедшая до нас писарская копия статьи об «Анне Карениной» как будто бы не завершена: заканчивается текст многоточием. Но могла ли кончаться иначе статья, адресованная «принимающему» собеседнику, статья, написанная для Толстого по поводу романа без конца — змеи без хвоста? Толстой в письме к Н. Н. Страхову об этой статье отмечает сравнения и неожиданные повороты анализа, и все, что сам хотел бы сказать⁴², — так что все это в имеющемся тексте уже есть. Можно предположить, что незавершенность статьи является сознательным художественным приемом.

Статья Фета об «Анне Карениной» должна была появиться на пике полемики о новом романе Толстого. Полярность восприятия романа в это время приводит критиков разных направлений к идентичным выводам: либо это дурной «салонный» роман, либо дурной роман «реалистический». О понимании Толстого «навыворот» в связи с романами В. Г. Авсеенко, например, писал Н. Н. Страхов⁴³. Роман, по общему мнению, «противостоит» умственному и нравственному мечанству⁴⁴, но проблема в том, какой смысл вкладывают в это по-

⁴² Там же. С. 339.

⁴³ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914. С. 68.

⁴⁴ А. О. <В. Г. Авсеенко>. Очерки текущей литературы // Рус. мир. 1875. № 69.

нятие критики. Либо речь идет о классе «новой интеллигенции», либо о «среднем дворянстве». В первом случае Толстой якобы выступает защитником обаятельной старины⁴⁵: он возражает против «извращения женской природы», то есть всяческой эмансипации, Анна предстает идеальной женщиной, живущей жизнью сердца. В этом же ключе видится сюжет романа критикам, писавшим о романе как описании «жизни для жизни, лишенной высшего идеала»⁴⁶.

Та же самая безыдейность «песни любви» стала страшнейшим упреком Толстому со стороны демократов⁴⁷. П. Н. Ткачев наиболее жестко прочертил эту линию, указав Толстому на «страшнейшую пустоту содержания»⁴⁸. Если эти выступления были Фету прекрасно известны, то о письменных упоминаниях романа он вряд ли мог догадываться. Тем не менее во «Влюбленном быке» М. Е. Салтыкова-Щедрина воплощена большая часть штампов, с помощью которых демократы препарировали «Анну Каренину». Эти тривиальные положения Фет удостоил даже отповеди.

Говоря о завершенности пути героев, Фет рассматривает финал «Анны Карениной» как открытый. «Будучи, очевидно, носителем положительного идеала, Левин представляет вполне народный тип в лучшем и высшем значении слова. Верный преемственным узам, связующим его с простонародьем, он в то же время не перестает искать ответов на свой жизненный вопрос о высших представителях разума всех веков и народов».

В последней большой статье «Фамусов и Молчалин» (1885) Фет обращается к литературному произведению, давно ставшему классическим образцом. Ближайшим предшественником Фета был, как известно, И. А. Гончаров с его «критическим этюдом» «Миллион терзаний» (1872). Ясно, что этот «критический этюд» Гончарова служил отчасти автокомментарием к роману «Обрыв» и истолкованием и апологией образа Веры в этом романе. В этой связи вполне уместен вопрос, какую цель преследовал Фет, обращаясь к «Горю от ума».

В этой статье Фет поверяет социальную историю грибоедовскими образами. Здесь история класса — российского дворянства — подается сквозь призму художественно выраженных «идей»⁴⁹. И Фамусовы милы Фету не своим сочувствием к старинному укладу, а потому, что ему мерзок Молчалин. Мерилом исторических суждений опять становится искусство.

⁴⁵ А. <В. Г. Авсеенко>. По поводу нового романа Л. Н. Толстого // Там же. № 5.

⁴⁶ Марков Е. Критические беседы // Голос. 1877. № 3.

⁴⁷ Анонимная статья в «Одесском вестнике» (1875. № 88), статья А. М. Скабичевского в «Биржевых ведомостях» (1875. № 77) и проч.

⁴⁸ Дело. 1875. № 5.

⁴⁹ См. об этом: Кошелев В. А. «Злоупотребление словом “идея”»: «Грибоедовская» статья Афанасия Фета // Грибоедов и Пушкин: Хмелитский сб. Вып. 2. С. 154—167.

Казалось бы, исторические аналогии не обязательны для критики «чистого искусства», к которому относил себя и Фет, хотя ряд положений его не только не сближал, но отдалял от этого направления. И именно постоянство, с которым Фет обращается к истории, анализируя литературные явления, подтверждает это. Гомер и Пушкин дали образцы, вечные ценности, но статьи пишутся о Чернышевском и молчаливых. Система исторических представлений в критике Фета выстраивается исключительно четко: противостояние древнего, классического и нового, реального проходит красной нитью через все литературно-критические статьи поэта. «Верность идее» означает и верность истории.

Это была и верность истории литературы. Может быть, забвение Фета-критика следует объяснять не столько консерватизмом его позиции, сколько несовременностью и несвоевременностью высказываний. К примеру, во всех антологиях русской критики, посвященных Грибоедову, Толстому, Чернышевскому, имя Фета присутствует⁵⁰. Хотя статьи Фета публиковались под псевдонимом или вовсе не публиковались при жизни, добросовестные историки учитывают мемуарные свидетельства, письма, высказывания, развивающие темы данных статей.

Обращение к грибоедовским героям могло отчасти объясняться тем, что юбилейная постановка «Горя от ума» 26 января 1881 г. была очень удачной и вызвала новый всплеск внимания к пьесе. До постановки в драматическом театре Корша в 1886 г. это был самый интересный сценический вариант комедии⁵¹.

В статьях, использовавших и раньше, и позднее грибоедовские образы, встречалась терминология, близкая к той, которую использует Фет, но в ином ключе. В частности, следует упомянуть критику «Голоса», в которой нападали на тексты А. И. Герцена⁵². Статья именовалась «Новый Фамусов» и была посвящена «читателям» — фамусовым и молчаливым, закрывавшим обществу путь к книгам, написанным новыми чацкими.

В демократической критике нарицательные грибоедовские имена использовались иначе. Чего стоит эволюция Молчалина и Чацкого, показанная Салтыковым-Щедриным. У Салтыкова-Щедрина Чацкий, воротившись, открывает департамент умопомрачений, привлекающая к работе и Молчалина⁵³. По существу, эти герои оказываются союзниками, представителями одной эпохи и выразителями разных сторон одного мирозерцания.

⁵⁰ В частности, суждения Фета рассматриваются во вступительных статьях к антологиям: А. С. Грибоедов в русской критике. М., 1958; Л. Н. Толстой в русской критике. М., 1952.

⁵¹ См.: *Гришунин А. Л.* «Горе от ума» в литературно-общественном сознании XIX—XX вв. // *Русская литература в историко-функциональном освещении.* М., 1979.

⁵² См.: *Новый Фамусов* // *Кн. вестник.* 1866. № 5. С. 131.

⁵³ *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: В 20 т. Т. 12. М., 1972. С. 34.

В чем-то сходной была и позиция Н. Г. Чернышевского, антипатичная Фету, как и все творчество автора «Что делать?», ибо Чернышевский во всем согласен с хрестоматийной статьей В. Г. Белинского «Горе от ума. Сочинение Грибоедова» и даже добавляет к ней немало резкостей в «Очерках гоголевского периода...»⁵⁴.

Тип Чацкого привлекал многих критиков 1860—1880-х гг. своей кажущейся прозрачностью. Чацкий как «желчевик», близкий к типу декабриста своей «беспокойной неугомонностью», вполне охарактеризован А. И. Герценом (в статье «Еще раз Базаров» и др. работах) и Н. П. Огаревым.

Но все эти споры «эстетической» и «реальной» критики опять остаются в стороне; Фет отмечает их буквально парой фраз о современном литературном процессе: «Можно ли удивляться, что наши крупнейшие художники-писатели в самый расцвет их служения художественной идее, внезапно с чужих софистических слов предали служению нравочения непременно в желанном софистами направлении, так как это нравочение обзывалось на софистическом языке фальшивым, но дорожим для художника именем *идеи*».

В 1862 г. к комедии Грибоедова обратился Ап. Григорьев, статья которого «По поводу нового издания старой вещи» появилась в связи с иллюстрированным изданием «Горя от ума». Григорьев и Фет кардинально расходятся в отношении к главному герою. У Григорьева «Чацкий Грибоедова есть единственное истинно героическое лицо нашей литературы»⁵⁵. У Фета, напротив, воплощением «дарований русского дворянства» предстает Фамусов, а о Чацком не говорится вовсе. У Григорьева мир Фамусова — это не мир высшего света, в отличие от мира Лиговской и Печорина, это сфера «бюрократических верхушек и родовых преимуществ». Далее Григорьев выстраивает, по сути, подновленную теорию призрачной действительности. Ироничен тон Пушкина и Лермонтова, когда они пишут о так называемом «большом свете». А «ирония неприложима к жизни, хотя бы жизнь и была груба до зверства <примеры тому, по мнению Григорьева, — Гринев, Троекуров>. Ирония есть нечто неполное, состояние духа несвободное, следствие душевного раздвоения, когда знаешь ложь обстановки и давит вместе с тем обстановка»⁵⁶. Грибоедов один был «свободен от болезни морального лакейства, от преувеличения призрачных явлений, обобщения частных фактов». Его Чацкий выступает как человек вообще и потому он идеальнее Печорина. Он — опровержение занятого у французов представления о большом свете, он — это та правдивая натура, в которой воплотились черты Гринева и Багрова. Чацкого перемогает громадная, окружающая его тина. Главный же носитель грибоедовского духа в современной литерату-

⁵⁴ См.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 3. М., 1947. С. 17—19, 239.

⁵⁵ *Григорьев А. А.* Литературная критика. С. 495.

⁵⁶ Там же. С. 500.

ре — это, по Григорьеву, Л. Толстой. Отличать жизнь настоящую от миражей жизни и Грибоедов, и Толстой умели: «Граф Толстой более всех других был бы способен изображать великосветскую сферу жизни, но высшие задачи таланта влекли его не к этому делу, а к искреннейшему анализу души человеческой»⁵⁷. Свобода от лакейства перед французским духом приписана обоим в равной степени.

Стоит напомнить, что в статье о Грибоедове Фет приводит толстовскую мысль о том, что французский язык стал чем-то вроде чина. На Фамусова переносятся те родовые характеристики русского дворянства, которые были адресованы ранее героям Пушкина, Аксакова и Толстого. Фамусов оказывается тем самым благодушным стражем государственного порядка, который по доброте душевной и недалекости вручил столь значительную власть «очковой змее» Молчалину. Фет, несомненно, подразумевал Чацкого, когда писал: «Люди, на грамотность которых мог бы, судя по общим интересам, опереться Фамусов в защиту своего дела, очутились разом на стороне Молчалиных, придавая двойную силу противному лагерю». Фамусовы забыли, что «всякое благодеяние должно начинаться с благоустройства», но это не столько вина их, сколько беда. Жертвами Фет считает не чацких, но фамусовых. И все же вера его в новое мироустройство и в новые формы землевладения связана с этим крепко стоящим на земле героем.

С учетом сказанного возможно несколько прояснить логику обращения Фета-критика к определенным именам и текстам. Идейное, шеллингианское обоснование взгляда на поэзию обнаруживается в статье о Тютчеве. Затем антитезой становится трактат на тему «антилитературы» — романа «Что делать?». Апофеозом бестенденциозности объявляется Толстой. И затем, не без влияния мысли Григорьева о внутреннем сходстве Толстого и Грибоедова, мысль Фета-критика возвращается во времени вспять, к истокам. А истоки левинского типа, истоки всего идеального толстовского направления — в «старом» дворянстве, воплощением которого оказывается Фамусов. Дух «органической критики» во всех работах Фета неизменно присутствует (от философских установок в первой статье до конкретных характеристик «призрачной действительности» в последней). Отталкиваясь от полемики современников, Фет развивает свой неповторимый взгляд на литературный процесс.

Следует упомянуть еще три небольших критических выступления Фета. Это предисловия к третьему и четвертому выпускам «Вечерних огней» и «<Ответ "Новому времени">»⁵⁸, а также многочисленные предисловия к переводам римских классиков. Нельзя не заметить, что Фет возвращался здесь вновь и вновь к декларациям тех своих эстетических воззрений, которые не были приняты современниками ни в 1850-е, ни в 1860-е гг.

⁵⁷ Там же. С. 501.

⁵⁸ Моск. ведомости. 1891. № 302. 1 нояб. С. 6.

Таким образом, критика Фета вместе с его публицистическими выступлениями — одна из наиболее ярких и зрелых страниц русской критической мысли, несправедливо забытая, но достойная пристального внимания.

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Ответ на статью «Русского вестника» об «Одах Горация». Впервые: *ОЗ*. 1856. Кн. 6. С. 27—44. Автограф не обнаружен. Печатается по первой публикации.

Самым известным откликом на перевод Фетом од Горация стала статья С. П. Шестакова, опубликованная в 1856 г. в журнале «Русский вестник». «Мы можем поздравить наших читателей, — писал Шестаков, — с прекрасным приобретением, а г. Фета с прекрасным трудом» (*Шестаков С.* Оды Горация в переводе г. Фета // *РВ*. 1856. Т. 1. Февр. Кн. 1. С. 562). В целом труд оценивался как «подвиг», притом совершенный «прекрасно» (Там же. С. 571), однако при этом большая часть статьи была посвящена критике перевода и предисловия.

Хотя Фет и благодарил своего критика за отзыв и дельные замечания, но тон «Ответа» в целом выглядит «задетым», запальчивым. Фет решился отвечать отчасти потому, что ряд замечаний Шестакова, не лишенных резона, он все-таки счел придирками. Таковыми они и являлись на фоне огромного труда, предпринятого поэтом. Но главная причина раздраженного тона была более серьезна: общие рассуждения Шестакова, посвященные Горацию, звучали вовсе небезобидно. Статья, как, видимо, показалось Фету, носила программный характер.

В ответе на отклик Фета Шестаков, сам переводивший с греческого и латинского языков, посчитал необходимым смягчить критику (*Шестаков С.* Еще несколько слов о русском переводе Горациевых од // *РВ*. 1856. Т. 6. Дек. Кн. 2. С. 620—646).

Он еще раз подтвердил высокую оценку переводов, убеждая Фета в том, что его статья носила доброжелательный характер. «Можно сказать наверное, — писал Шестаков, — что ни в одной литературе не было еще ни одного перевода древнего поэта, который бы совершенно был свободен от недостатков. Вот в каком смысле говорил я в начале первой моей статьи о трудности и неблагодарности переводов с древних языков. Я говорил это в защиту г. Фета, с целью возвысить его труд в глазах публики...» (Там же. С. 621). Но основные положения статьи, касающиеся личности и таланта Горация, Шестаков повторил.

Несмотря на внешне солидное филологическое оснащение, обе статьи Шестакова весьма спорны. Одним из главных недостатков пе-

ревода Шестаков считает предисловие к нему, в котором Фет кратко обрисовывает жизнь Горация и дает оценку его творчества — как справедливо заметил критик, «общими фразами, повторяемыми во всех изданиях» (*Шестаков С. Оды Горация в переводе г. Фета. С. 563*). Действительно, не будучи филологом-классиком, Фет не отважился произвести какие-то новые разыскания, неизбежно обернувшиеся бы дилетантством. Позже, в переводах других римских поэтов, он либо уступал в предисловии место профессионалам или прямо ссылался на авторитетных ученых (перевод «Энеиды» снабжен предисловием Д. И. Нагуевского, перевод Марциала — графа А. В. Олсуфьева).

Шестаков стремится исправить эту «оплошность» и дает свое видение Горация, причем достаточно тенденциозное. Видимо, стремясь объяснить и оправдать его преклонение перед Августом, критик представляет римского поэта совершенно аполитичным: «великие исторические события того времени <...> не сильно возбуждали его вдохновение»; безразличным к умственным и нравственным спорам своего времени: «философия не привлекла к себе Горация» (Там же. С. 564, 567). И далее: «Гораций не эпикурец, не стоик, но и не эклектик. Он вовсе не философ. Он чисто поэтическая натура» (Там же. С. 567, 569—570).

Критик представляет Горация таким беззаботным певцом вина, веселья, любви и красоты. Наконец, главный тезис, на котором настаивает Шестаков, — Гораций «чужд римского духа», т. к. не стремится к почестям, должностям, подвигам. Более того, поэт смеется над римскими доблестями: в битве он испытывает страх, но не стыдится этого, иронизируя над «позорной» потерей щита (ода II, 7). «Предметы его песен не величие и вечность Рима, не *virtus*, не слава, не победа, не отечество, не <...> боги. У него своя *virtus* — довольство тем, что было у него, умеренность, желание только необходимого» (Там же. С. 567, 569—570). В следующей статье Шестаков уточняет этот тезис: «Его муза была игривая и легкая; она не любила останавливаться долго на одном предмете; как бабочка, или как пчела <...> она перелетала от одного цветка к другому» (*Шестаков С. Еще несколько слов о русском переводе Горациевых од. С. 625*).

Вольно или неволью, Шестаков выступает адептом «чистого искусства», но идеи эти предстают у него в сниженном, травестированном виде: «...свобода лирической поэзии решительно не допускает», по его мнению, гражданских политических мотивов. «Лирическое вдохновение не поддается и не может служить никаким посторонним влияниям и целям. Вот почему так редко, так мало и так неохотно упоминает Гораций о современных политических событиях» (Там же. С. 625). Критик увидел в Горации поэта-романтика, тематически ограниченного, принципиально не включающего в круг творческих интересов ни актуальную проблематику, ни философские обобщения. В попытке осовременить Горация он даже сближает его с поэзией Гейне, также понятой достаточно узко.

Фет категорически выступил против взгляда на любимого поэта, крупнейшего римского классика как на «поэта-бабочку», к тому же эти идеи дискредитировали и принципы самой поэзии. В «Ответе» Фет настаивал, что Гораций черпал свое вдохновение непосредственно из жизни, вовсе не пребывая в искусственном мире, созданном творческой фантазией. Противопоставляя творчество Горация «Энеиде» Вергилия, веймарскому творчеству Гете, лирике Гейне, Фет замечал, что Гораций «писал свои стихи почти исключительно на ежедневные события (Gelegenheits-gedichte)», но «можно сказать, один в целом мире умел возводить эти случайности на высоту художественных произведений» (с. 163 наст. тома). Трудно не заметить сходства с фетовской концепцией оригинальной поэзии, для которой темы представляет сама обыденная жизнь во всем ее многообразии. В статье «О стихотворениях Ф. Тютчева» Фет писал: «...самая высокая мысль о человеке, душе или природе, предлагаемая вами поэту как величайшая находка, может возбудить в нем только смех, тогда как подравшиеся воробы могут внушить ему мастерское произведение» (Там же. С. 178). В то же время — «в произведении прекрасном есть и мысль».

Примечательно, что, развивая далее тезис, размышляя о взаимосвязи образа и мысли, художественности формы и полноты содержания в поэзии, Фет ссылается именно на пример Горация (Там же. С. 181). Фет, в собственных стихах которого принципиально отсутствовало «романтическое двоемирие», поэт, стремившийся отыскать и красоту и высокий философский смысл непосредственно в обыденной повседневной жизни, — возможно, находил в этом поддержку у римского поэта. При этом сиюминутность, отталкивание от житейских впечатлений вовсе не означали отсутствие философской глубины. Постигание оригинального фетовского творчества, особенно в последние десятилетия, все чаще приводит исследователей к выводу именно о философской насыщенности его поэзии, наполненной лишь на первый взгляд случайными, фрагментарными впечатлениями бытия.

Но особенно неприемлемо для Фета было обвинение Горация в иронии, цинизме по отношению к римской *virtus*. Фет был убежден, что Гораций в оде II, 7 не иронизирует над доблестью и не гордится трусостью на поле боя: «Это горе, беда, стыд, но может случиться и с храбрым <...>. Человек самолюбивый, как Гораций, еще с горем пополам мог сказать, что сделал вещь бесславную, непригожую, но никакой порядочный человек не станет хвастать бесчестным поступком» (Там же. С. 167—168).

Таким образом, Фет в этом первом публичном объяснении с читателем не остановился лишь на тонкостях переводческой практики, но выступил против примитивных оценок поэзии, против антиисторизма, оценивающего римского поэта сквозь призму сиюминутной проблематики, наконец, против карикатурных крайностей и искажений, хоть и с благими намерениями, идей «чистого искусства».

Раздраженный сомнительными эстетическими концепциями Шестакова, Фет вспылил и отверг почти все конкретные поправки, но анализ издания переводов 1883 г. показывает, что все дельные замечания Фет реализовал. Важно и то, что он не подчинился мнению Шестакова в ряде мест принципиально важных — там, где проявились не ошибки переводчика, а стремление к буквальности или собственная интерпретация. Так, осталось «он предназначен вновь для почести тройной» (I, 1), «бесславно щит свой покидая в страхе» (II, 7); «дев... на юношей в бою острящих ногти своей» (I, 6).

Шестаков во второй статье не услышал или не понял размышлений Фета, и тот не стал продолжать полемику. К концу 50-х гг. у переводов Фета появился более серьезный противник — утилитарный подход к литературе и в частности к переводной поэзии, провозглашенный радикально-демократической критикой.

Стр. 157. ...в первой февральской книжке...— Статья С. П. Шестакова «Оды Горация в переводе г. Фета» была опубликована: *PВ*. 1856. Т. 1. Февр. Кн. 1. С. 562—578, явившись откликом на полный перевод первой книги од Горация, напечатанный Фетом в *ОЗ* (1856. Т. 104. С. 157—194). Следующие книги од — 2, 3, 4 — Фет напечатал там же: *ОЗ*. Т. 105. С. 1—26; Т. 106. С. 1—24, 361—379; Т. 107. С. 1—24. Отдельное изд.: Оды Квинта Горация Флакка. В четырех книгах. Перевод с латинского А. Фета. СПб.: Тип. Королева, 1856 (см.: *ССиП*. Т. 2. С. 7—137). Шестаков ответил на статью Фета: «Еще несколько слов о русском переводе горацевых од»: *PВ*. Т. 6. 1856. Дек. Кн. 2. С. 620—646.

Сергей Дмитриевич Шестаков (1820—1858) — магистр римской словесности, адъюнкт латинского языка в Московском университете, перевел с греческого трагедии Софокла «Эдип-царь» и «Антигона». Переводы эти были не слишком удачны: имели место неточности, к тому же автор не обладал версификаторскими способностями, и стихи изобиловали корявыми оборотами, устаревшей лексикой (Эдип Царь: Трагедия Софокла / Пер. с греч. <и предисл.> С. Шестакова // ПроPILEи: Сб. ст. по классич. древности / изд. П. Леонтьевым. Кн. 2. М.: В Унив. тип. 1852. С. 5—70; То же. 2-е изд. М.: В тип. Каткова и К°, 1857; Антигона: Трагедия Софокла / Пер. с греч. С. Шестакова // *ОЗ*. 1854. Т. 95. № 7. С. 1—40).

...сказанному мною в предисловии к переводу...— см.: *ССиП*. Т. 2. С. 7—11.

Увлеченный одами Горация в изящных, изустных переводах Дмитрия Львовича Крюкова...— Речь идет, видимо, о первом полугодии 1839/1840 учебного года, когда Д. Л. Крюков (1809—1845) — доктор философии, профессор римской словесности и древностей Московского университета — читал со студентами второго курса оды Горация (*РГ*. С. 209—210).

...знатока обоих языков...— латыни и древнегреческого.

Стр. 158. ...труд, пятнадцать лет на мне лежавший? — Фет переводил оды Горация с 1839 по 1853 гг. См.: ССUII. Т. 2. С. 551—564.

А что за польза учиться древним языкам? — Фет с одобрением вспоминал, что Крюммер, директор пансиона, в котором он учился, говорил: «Главное значение школы в моих глазах не те или другие сведения, которые сами по себе большею частью являются совершенно бесполезными в жизни, а в привычке к умственному труду и способности в разнообразии жизненных явлений останавливаться на самых в данном отношении существенных. <...> Упражнять разум для будущего правильного мышления можно только математикой и древними языками» (РГ. С. 114—115). Фет был согласен с этой точкой зрения, о чем свидетельствует и его статья «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании» (см. наст. том, с. 274—307).

...от Горация до Гоголя предания гомерового искусства - перешли через все века... — Имеются в виду традиции древнегреческой литературы в целом, и в частности «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, духовным наследником которых выступил римский поэт Гораций, главной заслугой своей считавший, что «песнь Эолии» (греческую поэзию), переложил на «италийский лад», т. е. воспроизвел силами латинского языка (ода III, 30 — «К Мельпомене»). Связи Гоголя с античностью многообразны: в повести «Тарас Бульба» он пытался воскресить традиции «Илиады», а в «Мертвых душах» — «Одиссеи» Гомера. Одним из первых эпического, гомеровское начало у Гоголя отметил К. С. Аксаков в статье «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова или Мертвые души» (1842): «...древний эпос <...> перенесенный из Греции на Запад, мелел постепенно <...>. И вдруг среди этого времени возникает древний эпос с своею глубиною и простым величием — является поэма Гоголя. Тот же глубокопроникающий и всевидящий эпический взор, то же всеобъемлющее эпическое созерцание» (Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981. С. 141—150).

Стр. 159. ...популярное уважение — зд.: народное (от лат. populus — народ).

...переводил я Горация рифмованными стихами... — В древнегреческих и латинских стихах рифма не использовалась, но русские переводчики, опираясь на европейскую традицию нового времени, с XVIII в. передавали античную поэзию рифмованными стихами.

...издал бы их даже без примечаний... — Фет снабдил перевод Горация в 1856 г. подробными подстрочными примечаниями, в дальнейшем еще расширив их: к четырем книгам од в издании 1883 г. сделано 782 примечания.

...заставив русский язык хромать по несвойственным ему асклепиадам, архилохам, пифиямбикам... — Фет имеет в виду сложные и разнообразные размеры греческой поэзии, блестяще использованные в одах Горация, но трудновоспроизводимые на русском языке (соответственно — асклепиадовы и архилоховы строфы). Термин пифиямбика — ироническое соединение двух понятий: холиямбы (хро-

мающие ямбы) греческого поэта Гиппонакта (род. ок. 540 до н. э.) и пифийские оды Пиндара (522 или 518 — 446 до н. э. или позднее), написанные сложными размерами, но не ямбами.

Лермонтов перевел известную пьесу Гёте - но уклонился от основной формы оригинала. — Песня Гёте «Wanderers Nachtlied» состояла из двух частей: «Der du von dem Himmel bist...» и «Über allen Gipfeln...». Поэт и переводчик А. Н. Струговщиков вспоминал о своем разговоре с Лермонтовым в 1840 г. (до отъезда в ссылку) по поводу этого стиха: «На вопрос его: не перевел ли я “Молитву путника” Гёте? — я отвечал, что с первой половиной сладил, а во второй — недостает мне ее певучести и неуловимого ритма. “А я, напротив, мог только вторую половину перевести”, — сказал Лермонтов и тут же, по просьбе моей, набросал мне на клочке бумаги свои “Горные вершины”» (*Струговщиков А. Н.* Михаил Иванович Глинка: Воспоминания // Рус. старина. 1874. № 4. С. 712). Сам Фет перевел первую часть стиха Гёте в 1878 г.: «Ты, что с неба и вполне...».

Первой задачей моей было сделать если не буквальный, то подстрочный перевод. — Фет в данном случае имеет в виду подстрочный, т. е. эквилинеарный перевод.

...четвертым саффикским стихом... — Имеется в виду саффиксическая строфа, с усеченной четвертой строкой, состоящей из дактиля и ямба.

Стр. 160. ...я нередко бросал перевод верный, подстрочный... — Здесь Фет имеет в виду буквальный перевод.

...infandum regina jubes renovare dolorem. — Эту фразу Фет включил также в свою повесть «Семейство Гольц» (см. с. 88 и 386 наст. тома).

Стр. 161. ...и, следовательно, Гиг, как перевел я. — Оды II, 5. К Лалаге; II, 17. К больному Меценату; III, 4. К Каллиопе; III, 7. К Астерии.

...что ж делать? — Фет отметил это выражение как любимое в «Альбоме признаний» — анкете, которую заполнил по просьбе дочери Л. Н. Толстого Татьяны (см.: Соч. Т. 2. С. 435—437).

Стр. 162. Филиппинская битва — битва при городе Филиппы (42 г. до н. э.) в западной Фракии (совр. Македония), когда войска мятежников-республиканцев Брута и Кассия в сражении с Октавианом и Антонием потерпели полное поражение. Гораций также участвовал в битве в качестве командира легиона и, по его собственному признанию (ода II, 7), едва не погиб и бежал, бросив щит. Возможно, эпизод с брошенным щитом навеян стихами знаменитого греческого поэта Архилоха (род. в 650 до н. э.).

Акциум — битва при мысе Акциум (31 г. до н. э.) в северо-западной Греции (совр. Артрийский залив), когда Октавиан, будущий император Август, разбил войска Антония и египетской царицы Клеопатры, стремившихся захватить Рим (см. оду Горация I, 37).

Походы Друза и Тиверия (совр. — Тиберия) — Нерон Клавдий Друз, Клавдий Тиберий Нерон — пасынки Августа. В одах IV, 4 и IV,

14 прославляется поход Друза и Тиберия против винделиков и ре-тов, племен, живших к югу от Дуная, закончившийся присоединением к Риму новой области — Реции (15—14 гг. до н. э.).

Йенская битва — победа Наполеона под Йеной (14 октября 1806) над австро-пруссскими войсками, потерявшими 27 тыс. человек убитыми.

Стр. 163. Madame de Курдюков — героиня шуточной поэмы Ивана Петровича Мятлева (1796—1844) «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л'этранже», выходявшей в начале 1840-х гг. отдельными томами. Главные особенности героини, имя которой стало нарицательным, — ханжество и смесь русского и французского языков, на которой она изъяснялась.

Стр. 163—164. Сличите в XXXV оде первой книги стихи от 13 до 17... — В ОЗ и отдельном издании 1856 г. строки 13—16, рисующие народное восстание, опущены, вероятно, по цензурным соображениям; Фет называет это изъятие «*привешиванием смокового листа*» (см. выше).

Стр. 164. ...Гораций в Афинах не сделался главой философской школы... — Увлеченный республиканскими идеями, поэт, приехавший в Грецию для завершения образования, принял участие в гражданской войне — см. выше: *Филлиппинская битва*.

Фабриций — Гай Фабриций Лусций, римский консул 282 и 278 г. до н. э., победитель эпирского царя Пирра (319—272 до н. э.); см. оду I, 12.

Курий Дентат — Марк Курий Дентат, римский консул 290 г. до н. э., победитель италийских племен самнитов, кельтского племени сенонов и царя Пирра, считался образцом древней римской доблести; см. оду I, 12.

Цинциннат — Цинциннат Люций Квинкий, римский полководец, консул 460 г. до н. э.; в 458 г. принял обязанности диктатора и спас от гибели римское войско, окруженное эквами. Считался образцом храбрости и добродетели, скромно жил в деревне, собственноручно обрабатывая землю.

Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — римский правитель (31 до н. э. — 14 н. э.), с 19 г. до н. э. — император.

Стр. 165. Парка судила в душе неподкупной... — Гораций, ода II, 16, 37—38.

Тьмы низких истин мне дороже... — Из ст-ния А. С. Пушкина «Герой» (1830).

Стр. 166. Да, некогда про меч, покрытый кровью брата... — В цитируемой Фетом оде I, 2 речь идет о гражданских войнах в Риме, предшествовавших установлению режима Августа, а также о падении нравов в современном Горацию поколении (*отчий разврат*), постоянно осуждавшемся Августом.

Ода «К республике» — I, 14; в ней также содержится осуждение гражданских смут и является образ корабля-государства, охваченного политической бурей.

Стр. 167. К Архите Тарентинцу. — Ода посвящена памяти знаменитого математика, философа и политического деятеля Архита из города Тарента (ок. 400 — 365 до н. э.).

...Гораций мало того что бежал при Филиппах, еще сам над этим смеется. — Ср. мнение Шестакова с пушкинской трактовкой поведения Горация: в отрывке «Цезарь путешествовал...» (Повесть из римской жизни; 1833—1835) римский писатель Петроний говорит, что не верит трусости Горация. «Хитрый стихотворец хотел рассмешить Августа и Мецената своею трусостью, чтоб не напоминать им о сподвижнике Кассия и Брута. Воля ваша, нахожу более искренности в его восклицании: Красно и сладостно паденье за отчизну» (ССиП. Т. 2. С. 579).

Стр. 168. Преис — немецкий комментатор и переводчик Горация, Фет имеет в виду издание: *Horatius Q. Flaccus. Werke / Metr. übersetz und ausführlich erkl. von Ch. F. Preiss. Bd. 1—4. Leipzig, 1805—1809.*

Он предназначен вновь для почести тройной. — В издании переводов Горация 1883 г. Фет исправил это место, убрав «вновь»: «Он предлагается для почести тройной», отвергнув вариант Шестакова «тремя высшими почестями».

Стр. 170. ...сказать ли: век Ромула или древнейшего трона... — Ода I, 12. Ромул считался первым, т. е. древнейшим римским царем. Фет ради ритма и рифмы допустил отступление от подлинника, не меняющее смысл.

...век Нумы — свободный или спокойный — тоже все равно. — Ода I, 12. В подлиннике век второго римского правителя Нумы Помпилия назван «спокойным». Впоследствии Фет стал склоняться к идее большей точности и в издании Горация 1883 г. принял эту поправку.

Две начальные строфы XXIV-й оды... — Этот перевод Фет оставил без изменений.

Митчерлих — комментатор Горация. Фет пользовался изданием: *Horatius Q. F. Opera / Illustravit Christ. Guil. Mitscherlich. T. 1—2. Reutlingae, 1815—1816.*

...до превращения мною чести из soror justitiae в мать правосудия... — Ода I, 24. У Горация упомянута «Фидес» — верность клятвам, этой богине, по преданию, посвятил храм Нума Помпилий; она названа «сестрой правосудия». Фет не принял поправку, оставил он и отсутствующий в подлиннике эпитет печали — «несравненной».

Стр. 171. Ореллий (Орелли) — один из лучших комментаторов Горация. Фет вспомнил, что в Лопухинке, перевода 2, 3, 4 книги од, пользовался текстами в его издании (МВ. Ч. 1. С. 27). Книга выдержала при жизни Фета четыре издания (три последних Орелли выпускал с Байтером): 1837—1838, 1843—1844, 1850, 1868 гг. Ссылка на Орелли относится к 1853 г., и, вероятно, Фет пользовался третьим изданием, содержащим обширный критический аппа-

рат, что давало возможность знакомиться с некоторыми конъектурами и большинством разночтений: *Horatius Q. Flaccus. Opera omnia / Gaspar Orellius et Georgius Baiterus. Ed. tertia, emendata et aucta. Vol. I. Turici, 1850.*

Трепетный брег (плодовитого сада) — Ода I, 7, 14. Фет в сборнике ст-ний 1863 г. исправил: «...тени / Влажных садов над живыми ручьями», т. к. эпитет «*mobilibus*», «подвижные», относился к ручьям, а не к берегу.

Галлия - будет - названа лесистой... — Ода I, 8. В сборнике переводов Горация 1856 г. — исправление в списке опечаток, в издании 1863 г. — исправление внесено.

Что касается до Кавказа, дикого и нелюбовного до чуждых... — Ода I, 22. В подлиннике: «*inhospitalis*», «негостеприимный». Исправление не внесено.

...отнеси duplicis к cursus? — Фет ошибочно перевел в оде I, 6 «двойкий бег», хотя эпитет относился к Улиссу (Одиссею) и означал бег «двойственного», т. е. «хитрого» Одиссея. В издании переводов 1856 г. внесено в список опечаток, в сборнике 1863 г. — исправлено.

Aurita — Ода I, 12, 11. Шестакову не понравился перевод «чуткому дубу», хотя Фет здесь перевел и буквально и поэтически.

Vitrea — Ода I, 17, 19. В подлиннике букв. — «стеклянная», в переносном смысле — прозрачная, блестящая. Цирцея в данном случае у Горация — морская нимфа, воплощение воды. Фет удачно (и буквально) перевел «Цирцея кристальной», сопроводив необычный эпитет комментарием (ССУП. Т. 2. С. 29).

Когда без цели я зайду в сабинский лес. — Ода I, 22. Фет неудачно перевел «зайду» и «пою» вместо прошедшего времени совершенного вида и, хотя в ответе Шестакову пытался обосновать это, в сборнике 1863 г. исправил: «Когда без цели я зашел в сабинский лес / И славил Лалагу, беспечен и досужен, / Со мною, встречу, волк бежал во мглу древес...».

Стр. 172. Ногтями обрезанными... — Ода I, 6. В подлиннике «*sectis*» — можно понимать и как «острыми», «отточенными». Фет оставил прежний перевод.

Бакстер — комментатор Горация; видимо, Фет имеет в виду издание: *Horatius Q. Flaccus. Eclogae / Cum scholiis vett. castig. et not. illustr. G. Vaxterus. Glasgae, 1794.*

Бентлей — Ричард Бентли (1662—1742), один из крупнейших английских филологов-классиков, представитель критической филологии. Его трактовки текстов часто были весьма смелыми и даже экстравагантными. Главный труд — издание произведений Горация. Предложил исправить «*sectis*» на «*strictis*» — «узкие, ранящие» ногти. Фет указывает, что римский поэт Стаций в «Фиваиде» (III, 536) употребляет этот эпитет применительно к орлам.

В младенчестве моем... — Ода I, 10. Фет в следующих изданиях не стал вносить изменений, хотя ради эквилинеарности пожерт-

вовал смыслом: юный Меркурий не только не испугался грозных слов Аполлона, но и украл во время перебранки колчан.

Свитка (свита) — длинная распашная верхняя одежда в южной России.

Стр. 173. «И богу высоты и бездны угождаешь». — Ода I, 10. Оставлено без изменений, т. к., по мнению Фета, смысл не пострадал; однако Гораций имел в виду олимпийских (верхних) богов и правящих в Аиде, прежде всего Аида и Персефону. Шестаков в данном случае прав: греческая мифология не знала безымянного бога «высоты» и «бездны».

Элизиум — в греч. и рим. миф. легендарная страна, где обитают после смерти души героев, праведников и просто благочестивых людей, помещаемая на западном краю земли или в подземном мире. В позднейшей географии Элизиум локализовали в Атлантическом океане, в частности — так называли Канарские острова.

«*Вопрос, которого не разрешите вы...*» — Цитата из ст-ния А. С. Пушкина «Клеветникам России» (1831).

Орк — римский бог подземного царства и само царство мертвых, то же, что греческий Аид.

Стр. 174. Это представление сохранил даже полуклассический Дант. — В поэме Данте Алигьери (1265—1321) «Божественная комедия» (1307—1321) ад представлен в виде подземной воронки, разделенной на девять кругов. Поэма населена античными персонажами и реалиями. Проводником героя становится римский поэт Вергилий.

...к Секстию, а не Сексту... — Ода I, 4. Отмечено в списке опечаток в издании переводов 1856 г., исправлено в сборнике 1863 г.

Но насчет пяты я не согласен. — Фет имеет в виду перекликающиеся строки из оды Горация I, 4, 6—7 и 13—14: «И скромно грации и нимфы в землю бьют / Пятой искусною...» и «Смерть бледная равно стучит своей пятою / В лачуги бедняков и терема царей...». Если в первом случае грации и нимфы могли топтать «пятой искусною», то смерть, стучающаяся пяткой в дверь обреченного дома (и для того повернувшись к нему спиной), действительно производила в переводе комическое впечатление, отсутствующее в подлиннике. Фет, в статье отвергнув эту поправку, затем в издании 1863 г. исправил ст. 13 («стучит своей ногою»), а в издании переводов Горация 1883 г. также и в ст. 7 заменил «пяту» на «ногу».

Стр. 175. ...там, где я переводил Горация, не было филологов. — Начав переводы Горация в студенческие годы, Фет продолжал их во время службы в армии, в глухих местах Херсонской губ., куда неделями не доходила почта; закончил перевод он в водолечебнице в Лопухинке. Однако в дальнейшем, при переводе остального корпуса стихов Горация, а также других римских поэтов, Фет воспользовался советами и помощью знатоков древних языков А. В. Олсуфьева, Д. И. Нагуевского, Ф. Е. Корша, Вл. С. Соловьева и др.

О стихотворениях Ф. Тютчева. Впервые: *РСл.* 1859. № 2. Отд. II. С. 63—84. Автограф не обнаружен. Печатается по первой публикации.

Обстоятельства написания статьи Фета о Тютчеве, по-видимому, были связаны с разрывом поэта с журналом «Современник», чьи эстетические позиции пришли в резкое противоречие со взглядами предшественников так называемого «чистого искусства», к которым причислял себя Фет. По мере того как ведущую роль в редакции стали играть Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, некоторые его постоянные авторы, в том числе И. С. Тургенев, способствовавший публикации в *Совр.* статей и переводов Фета и Тютчева, почувствовали необходимость дистанцироваться от основного направления журнала. В то же время старый друг Фета Ап. Григорьев, попытавшийся сотрудничать с *Совр.* и др. журналами, наконец, обрел трибуну в «Русском слове», которое фактически возглавил с октября 1858 г. (соредактором его стал Я. П. Полонский). По предположению Л. И. Черемисиновой, статья о Тютчеве могла быть заказана Фету Григорьевым, который к тому времени возобновил с поэтом дружеские отношения (*Черемисинова Л. И. А. А. Фет — критик Ф. И. Тютчева // А. А. Фет: Проблемы изучения жизни и творчества: XIII Фетовские чтения.* С. 67—68; *Ее же:* Афанасий Фет и «органическая» теория искусства // *Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета.* Курск, 1990. С. 32—40). Существует предположение, что статья о Тютчеве полемически направлена против Тургенева, который был редактором первого сборника статей Тютчева и автором статьи о нем (см.: *Генералова Н. П. И. С. Тургенев: Россия и Европа...* С. 484—491).

Как известно, сборник Ф. И. Тютчева «Стихотворения» (СПб., 1854), включивший 110 произведений, перед этим напечатанных в № 3 и 5 *Совр.* за тот же год, составлялся Тургеневым без участия автора (об истории издания и восприятия этого собрания, о редакторской правке Тургеневым стихотворений Тютчева см.: *Благой Д. Д. Тургенев — редактор Тютчева // Тургенев и его время: Первый сб. / Под ред. Н. Л. Бродского.* М.; Пг., 1923. С. 142—163; *Чулков Г. И. Об издании стихов Тютчева // Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений.* Т. 1. М.; Л., 1933. С. 68—71, 75—76, 78—79; *Пигарев К. В. Ф. И. Тютчев: [Вступ. ст.]; Примечания // Тютчев Ф. И. Стихотворения. Письма.* М., 1957. С. 11—12, 494—496; *Пигарев К. Жизнь и творчество Тютчева.* М., 1962. С. 137—144). «Детальное исследование генезиса, состава и собственных вариантов издания 1854 г. дало возможность установить, что поправки Тургенева, выполнявшего роль посредника между автором и редакцией «Современника», единичны (не более 7—8-ми), и потому говорить о редакторском произволе Тургенева в отношении тютчевских стихов, как это делалось до сих пор, нет оснований» (*Николаев А. А. Примечания // Тютчев Ф. И. Полн. собр. стихотворений.* Л., 1987. С. 363). Свод вариантов текста и откликов на сборник см.: *Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. и письма: В 6 т. Т. 1.* М., 2002. С. 224—260, 271—512; *Т. 2.* М., 2003. С. 274—318, 335—624 (сост. и общ. ред. В. Н. Касаткиной).

Посвящение статьи Фета А. А. Григорьеву объясняется не только давней дружбой. В статье Фет развивает мысли, близкие к тем, которые высказал и Григорьев в ряде статей 1858 г. и в чуть более поздней статье «О законах и терминах органической критики», опубликованной в том же РСЛ за 1859 г., № 5 (см.: *Крайнева И. Н.* Статья А. Фета об «Анне Карениной» и «органическая критика» // Проблемы эстетики и поэтики: Межвуз. сб. науч. трудов. Вып. 160. Ярославль, 1976. С. 59). В статье Григорьева одна из характеристик творчества Тютчева дана в сопоставлении с Фетом. Говоря о роли «национальности» и «местности» в литературном тексте, Григорьев писал: «...некоторого рода пантеистическое созерцание, созерцание *подчиненное*, тяготеет над отношениями к природе великорусской, но это подчиненное созерцание и сообщает им при переходе в творчество их особенную красоту и прелесть, дает 1) подметку тонких, почти неуловимых черт природы; 2) полнейшее, почти непосредственное слияние с нею и, наконец, 3) в Тютчеве, например, возводит их, эти отношения, до глубины философского созерцания, до одухотворения природы <...>. Два первых качества особенно ярки в том совершенно непосредственном, часто вовсе неоразумленном чувстве, которым дышат лучшие стихотворения Фета, в тонкой живописи Тургенева, в туманном, мечтательном, вечерней или утренней зарею облитом колорите вдохновений Полонского» (*Григорьев А. А.* Эстетика и критика. М., 1980. С. 128). Ср. аналогичное суждение в статье Фета: «По свойству своего таланта г. Тютчев не может смотреть на природу без того, чтобы в душе его одновременно не возникла соответственная яркая мысль. До какой степени природа является перед ним одухотворенной, лучше всего выражает он сам...» (с. 186 наст. тома).

В конце своей статьи Григорьев, обосновывая термин *веяние*, вновь возвращается к характеристике творчества Тютчева: «...слово “веяние” точнее выражает мое убеждение в реальном бытии сил, которое разделяю я с поэтом Тютчевым и с общим для нас с ним, что для меня очень лестно, учителем Шеллингом» (*Григорьев А. А.* Эстетика и критика. С. 132).

Григорьев и Фет, без сомнения, неоднократно обсуждали творчество Тютчева и вставали в связи с этим вопросы, результатом чего и стали их статьи 1859 г. Сам Фет в начале статьи свидетельствует об этом: «В предлежащих заметках с удовольствием обращаюсь к тебе: это избавляет меня от необходимости начинать *ab ovo* и толковать о вещах, в существовании которых ты настолько же убежден, как и пишущий эти строки». Следствием этих обсуждений творчества Тютчева и общих принципов поэзии между Григорьевым и Фетом стало, видимо, и решение Фетом вопроса о «мысли» в искусстве (ср. у Григорьева понятие «неоразумленное чувство»). Поэтому можно говорить о том, что в данной статье Фет выступил как пропагандист тех идей «органической критики», которые одновременно с ним развивал и Григорьев. Некоторые другие параллели между критическими взглядами Григорьева и статьей Фета приведены ниже.

Стр. 176. Эпиграф — из стихотворения Альфреда де Мюссе «О лениности» (1841).

...отсылая неверующих к авторитетам таких поэтов-мыслителей, каковы Шиллер, Гете и Пушкин, ясно и тонко понимавших значение и сущность своего дела... — Очевидно, Фет имеет в виду общеизвестные эстетические декларации упомянутых поэтов: например, Шиллера в Прологе к трагедии «Валленштейн» (опубл. 1800), Гёте в балладе «Певец» (1783; рус. пер. Тютчева впервые опубл. в 1830; в конце 30-х гг. балладу перевел Фет), Пушкина в ст-нии «Поэт и толпа» [«Чернь»] (1828) и др.

...пародируя возражение Лепида (в «Антонии и Клеопатре» Шекспира)... — Акт II. Сцена 2. Фет перевел «Антония и Клеопатру» в 1857—1858 гг. В его переводе данное место звучит так: «Не время / Теперь на частные раздоры» (см.: ССцП. Т. 2. С. 291).

Стр. 177. ...не в силах воссоздать всего предмета. Какими, например, средствами повторяют они его вкус, запах и стихийную жизнь? — Ср. у Григорьева: «Столько эпох литературных пронеслось и надо мною и передо мною, пронеслось даже во мне самом, оставляя известные пласты или, лучше, следы на моей душе, что каждая из них глядит на меня из-за дали прошедшего отдельным органическим целым, имеет для меня свой особенный цвет и свой особенный запах»; «Не знаю, станет ли у меня достаточно таланта, чтобы очертить эти различные эпохи, дать почувствовать их, с их запахом и цветом» (Григорьев Ап. Мои литературные и нравственные скитальчества // Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988. С. 5, 7).

Ван-Дик (Ван Дейк) Антонис (1599—1641) — фламандский живописец.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец, рисовальщик, офортист.

Стр. 178. Фидий (нач. V в. до н. э. — ок. 432—431 до н. э.) — древнегреческий скульптор периода высокой классики. Работал над статуями в афинском Акрополе.

...ревнуя Сатира к козам... — Сатиры — полулюди-полукозлы, составлявшие свиту богов Пана и Диониса. Фет пересказывает содержание ст-ния Шенье, о котором речь идет далее.

...в пьесе Андре Шенье: L'impur et fier époux que la chèvre désire... — Шенье Андре Мари (1762—1794) — фр. поэт, ориентировавшийся на античные образцы, герой одноименной элегии Пушкина (1825). Цитируемое стихотворение Фет перевел в 1857 или 1858 г. (см.: ССцП. Т. 2. С. 236).

«Луна, мечта, дева! тряпки, тряпки!» — То же выражение приводит Ап. Григорьев в «Моих литературных и нравственных скитальчествах», со ссылкой на авторство О. И. Сенковского (Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988. С. 59; указано А. Г. Гродецкой).

...камни, подобно Мемнону, наполнят пустынный воздух сладостными звуками. — В греч. миф. сын богини зари Эос, царь Эфиопии, убит Ахиллом во время Троянской войны. Одна из двух колос-

сальных статуй Мемнона, воздвигнутая недалеко от Фив (Египет), была повреждена во время землетрясения и с тех пор на рассвете издавала звуки; считалось, что так Мемнон отвечал на появление своей матери. Ср. у Фета в стихотворении «Напрасно ты восходишь надо мной...» (1865):

Как ярко ты и нежно ни гори
Над каменным угаснувшим Мемноном, —
На яркие приветствия зари
Он отвечать способен только стоном.

Стр. 179. Антропоморфизм — уподобление человеку, наделение человеческими свойствами (например, сознанием) предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифических существ.

...во всяком монотеизме ~ звучала заповедь: «не сотвори себе кумира». — «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (Исх. 20, 4). Одна из заповедей Моисея; с ней было связано движение иконоборчества. В мусульманстве эта заповедь обусловила полный запрет на любые изображения человека.

Два года тому назад в тихую осеннюю ночь стоял я в темном переходе Колизея... — Руины Колизея в новое время стали местом паломничества. Фет посетил Италию в 1856—1857 гг. Эти впечатления отразились в ряде стихотворений: «Италия», «На развалинах Цезарских палат», «Даки»:

Пускай в развалинах умолкнет Колизей,
Чрез длинный ряд веков, в глазах иных судей,
Куда бы в бой его ни бросила судьбина,
Безмолвно умирать — вот доля славянина (ССиП. Т. 1. С. 273).

Согласно позднейшим воспоминаниям, собственно итальянские «путевые впечатления не были напечатаны в “Современнике”, куда были отправлены и где, вероятно, в редакции пропали» (МВ. Ч. 1. С. 169).

Стр. 180. ...снял бы дагерротипически... — Дагерротип — первый способ фотографии, разработанный в 1839 г. французским художником и изобретателем Луи Жаком Манде Дагерром (1787—1851). Известен дагерротип Тютчева 1848—1849 гг., выполненный в Петербурге.

Стр. 181. ...тайное сродство природы и духа или даже их тождество... — Отсылка к «философии тождества» немецкого философа Фридриха Вильгельма Шеллинга (1775—1854), на которого ссылался и Ап. Григорьев (см. выше).

Дума за думой, волна за волной... — Ст-ние «Волна и дума» (1851). Интересно отметить, что в ст-нии Фета «Каждое чувство бывает по-

нятной мне ночью, и каждый...», написанном и впервые опубликованном в 1843 г., а затем вошедшем в сборник «Стихотворения А. Фета» (СПб., 1850), есть строки, близко напоминающие это ст-ние Тютчева:

Странное, что ухо в ту пору, как будто не слушая, слышит:
В мыслях иное совсем, думы — волна за волной...

Увы! в каком поту и мужи и кони... — Ода I, 15. Пророчество Нерая. Перевод Фета (см.: *ССиП*. Т. 2. С. 26—27).

Как черен, весь в пыли троянский Мерион — Ода I, 6. К Випсанию Агриппе. Перевод Фета (см.: *ССиП*. Т. 2. С. 17—18).

Стр. 182. ...в гетевском «Рыбаке» («Der Fischer»). — В 1818 г. балладу Гете перевел В. А. Жуковский, в 1838 г. — К. С. Аксаков, в <1852> г. — Я. П. Полонский, ее также перевели: Н. Колачевский, Я. Старостин, Н. П. Огарев. Фет перевел ее в 1885 г.: «Неслась волна, росла волна...».

Вспомните «Тучу» (Пушкина): Последняя туча рассеянной бури!.. — Это ст-ние (1835) было, видимо, предметом неоднократных обсуждений в кружке Тургенева. Сам Тургенев процитировал ст-ние целиком в рецензии на «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» С. Т. Аксакова (1852) и заметил по этому поводу: «Удивительно!.. Словом, описывая явления природы, дело не в том, чтобы сказать все, что может прийти вам в голову: говорите то, что должно прийти каждому в голову, — но так, чтобы ваше изображение было равносильно тому, что вы изображаете...» (*Тургенев И. С. Полн. собр. соч.*: В 28 т. Соч.: В 15 т. Т. 5. М.; Л., 1963. С. 420). Ср. у Т. Л. Сухотиной-Толстой: «Тургенев, чтобы проверить чье-нибудь художественное чутье, всегда задавал вопрос:

— Какой стих в пушкинской “Туче” не хорош?

Помню, что отец <Л. Н. Толстой> тотчас же указал на стих: “и молния грозно тебя обвивала”.

— Конечно! — сказал Тургенев. — И как это Пушкин мог написать такой стих? Молния не “обвивает”. Это не дает картины...

Помню, как после этого отец задал тот же вопрос Фету. Фет вошел в комнату. Отец, не здороваясь с ним, сказал:

— Ну-ка, Афанасий Афанасьевич, какой стих в пушкинской “Туче” не хорош?

Фет, не задумываясь, тотчас же спокойно ответил:

— Конечно, “и молния грозно тебя обвивала”» (*Сухотина-Толстая Т. Л. Воспоминания*. М., 1981. С. 239). Заметим, что при цитировании «Тучи», Тургенев подчеркнул особенно удачные с его точки зрения стихи. Стих «И молния грозно тебя обвивала» не был выделен им.

Стр. 183. Сожженное письмо (Пушкина): Прощай, письмо любви! прощай! она велела... — Ст-ние написано в 1825 г.

Стр. 184. ...сожженное письмо г. Тютчева - Как над горячею золой... — Ст-ние написано не позднее 1830 г.

Стр. 185. Осенний вечер. — Ст-ние Ф. И. Тютчева написано в 1830 г. В автографе и первой публикации (*Совр.* 1840. Т. 19. С. 187) последняя строка: «Божественной стыдливостью страданья!..» — изменена при перепечатке 1854 г. в *Совр.* и разбираемом Фетом отдельном издании. Ср. с оценкой Некрасова, который полностью воспроизвел ст-ние Тютчева в статье «Русские второстепенные поэты» (1849), отметив: «Превосходная картина! Каждый стих хватает за сердце, как хватают за сердце в иную минуту беспорядочные, внезапно набегающие порывы осеннего ветра; их и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатление, которое испытываешь при чтении этих стихов, можно только сравнить с чувством, какое овладевает человеком у постели молодой умирающей женщины, в которую он был влюблен. Только талантам сильным и самобытным дано затрагивать такие струны в человеческом сердце; вот почему мы нисколько не задумались бы поставить г. Ф. Т. рядом с Лермонтовым; жаль, что он написал слишком мало. Нечего и говорить о художественном достоинстве приведенного стихотворения: каждый стих его — перл, достойный любого из наших великих поэтов» (*Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 11. Кн. 2. Л., 1990. С. 48).

Есть в светлости осенних вечеров... — Ср. в названной выше статье Григорьева: «...подчиненное созерцание <...> Тютчева возводит их, эти отношения <к великорусской природе> до глубины философского созерцания, до одухотворения природы» (*Григорьев А. А.* Эстетика и критика. С. 128).

Журчит во мраморе вода... — Строки из поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан» (1821—1823).

Живу печальный, одинокий... — Из ст-ния Пушкина «Я пережил свои желанья...» (1821).

Стр. 186. Что ты клонишь над водою... — Ст-ние написано в 30-е гг. (до 1836) и начинается так: «Что ты клонишь над водами...» «Ничего не прибавляем в похвалу этому стихотворению, — писал Некрасов, полностью его перепечатавший. — Заметим только одно, что, несмотря на всю разность содержания, оно напомнило нам стихотворение Лермонтова “Белеет парус одинокий”, которому оно, по нашему мнению, нисколько не уступает по своему достоинству» (*Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 11. Кн. 2. Л., 1990. С. 49).

Не то, что мните вы, природа... — Ст-ние написано в 30-е гг. (до 1836). В первой публикации (*Совр.* 1836. Т. 3. С. 21—22) цензурой были исключены 2-я и 4-я строфы, однако Пушкин настоял на их замене точками, так как отсутствие этих строф нарушало композиционную целостность. Некрасов в своей статье перепечатал ст-ние, отметив одной фразой: «Да, мы верим, что автору этого стихотворения понятен и смысл и язык природы...» (*Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Т. 11. Кн. 2. Л., 1990. С. 54).

Какую эдемскую свежесть веет его весна и юг! — Имеются в виду ст-ния «Весна» («Как ни гнетет рука судьбины...»), написан-

ное в 30-е гг. (до 1838) и «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...» (1837).

Каким всесильным чародеем проникает г. Тютчев в заветную область сна и как это субъективнейшее явление отделено у него от человека ... — В издании 1854 г. эта тема присутствует в ст-ниях «Проблеск» (не позднее 1825), «Как океан объемлет шар земной...» (между 1828—1830), «Сон на море (1829), «Еще шумел веселый день...» (конец 1840-х гг.), (Из Шиллера) («С озера веет прохлада и нега...») (около 1851).

Прислушайтесь к тому, что ночной ветер напевает нашему поэту... — Имеется в виду стихотворение «О чем ты воешь, ветер ночной?...», датированное 30-ми гг. (до 1836).

Willst du schon zierlich erscheinen, und bist nicht sicher? Vergebens!.. — 101-е двустишие из цикла Gête «Четыре времени года» — «Зима» (1796—1800).

Стр. 187. Кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой... — Эта фраза стала своеобразной визитной карточкой Фета и предметом многих насмешек над поэтом. Так, в частности, Д. Л. Михаловский, поставив эти слова в качестве эпиграфа к своей разгромной статье о фетовском переводе «Юлия Цезаря» В. Шекспира, на протяжении всей статьи настойчиво обыгрывал их (см.: *ССУП*. Т. 2. С. 655. Комментар. А. В. Ачкасова). Эту фразу вспоминал позднее и И. П. Борисов в письме к Тургеневу от 21 декабря 1861 г. по поводу книги Фета «Жизнь Степановки, или Лирическое хозяйство»: «Ничего не выдуманно, все истинная правда. Но все это передано неподражаемо, фетовски. Боюсь, однако, что злодеи пожалуй скажут, что автор не бросается уже с 14 этажа, но летит еще выше, выше» (*Тургеневский сборник*. Вып. 3. Л., 1967. С. 354).

А. Е. Тархов отмечал, что фраза эта явно связана с образом «безумного парения» — «той особой силы, которая <...> помогает поэту прорвать плен “будничной действительности”», справедливо ссылаясь на предисловие к переводу Фета «Превращений» Овидия, где говорится о смешении у древних понятий поэта и пророка в одном слове *vates* и на диалог Платона «Ион», где философ писал о состоянии одержимости и вдохновения у поэтов (*Соч.* Т. 2. С. 367).

Сияет солнце, воды блещут... — Ст-ние написано в 1852 г. В третьей строфе — обращение Тютчева к его «последней любви» Елене Александровне Денисьевой (1826—1864).

Стр. 188. Еще томлюсь тоской желаний... — Ст-ние написано в 1848 г., в десятилетнюю годовщину смерти первой жены Тютчева Элеоноры Федоровны, урожд. графини Ботмер (1800—1838).

Тихой ночью, поздним летом... — Ст-ние написано в 1849 г. Полностью оно перепечатано и откомментировано в рецензии С. С. Дудышкина: «...у поэта готовы уже новые краски, и несколько штрихов дают почувствовать прелесть новой картины <...>. Нам нравится выразительная краткость поэта: она свидетельствует о неподдельности чувства. Как оно сказалось в нем, так выразилось. Если чувство

мимолетно, и самый образ его недолго задержит внимание читателя» ([Б. л.] Журналистика // ОЗ. 1854. Т. 95. Кн. 8. Отд. IV. С. 63).

Не остывшая от зною... — Ст-ние написано в 1851 г. Печаталось с вариантами начиная с первой публикации (*Раут на 1852 год*: Ист. и лит. сб. М., 1852. С. 201).

«Фауст» написан - дубинные стихи (Knüttelverse). — Стих «Фауста» — усовершенствованный вариант «Knüttelverse» (грузных, тяжелых стихов) Ганса Сакса, поэта-самоучки XVI в. Однако это касается только первой части творения Гёте (см.: *Вильмонт Н. Гёте и его «Фауст»* // Гете И. В. Фауст. М., 1960).

...Сальери приводил этот факт в отчаяние... — Фет напоминает слова Сальери из маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» (1830):

Где ж правота, когда священный дар,
Когда бессмертный гений — не в награду
Любви горящей, самоотверженья.
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..

Гроза прошла — еще, курясь, лежал... — Первая строка ст-ния Тютчева «Успокоение» (1830).

Стр. 189. Чьи-то грозные зеницы... — Заключительные, 9—10 строки ст-ния «Не остывшая от зною...». 10-я строка — первая редакция автографа, измененная Тютчевым на «Загорались порою...», однако в современные Фету публикации эта поправка не попала.

А эта тень, бегущая от дыма... — Заключительная строка ст-ния «Как дымный столп светлеет в вышине!..» (1849).

...в стихотворении «Последняя любовь», два различных размера... — Далее приводятся начальные строки ст-ния, написанного между 1852 и 1854 гг. Обращено к Е. А. Денисьевой. Анализ ст-ния см.: *Пигарев К. В. Жизнь и творчество Тютчева*. М., 1962. С. 284—288. В современном литературоведении размер ст-ния принято квалифицировать как дольник (*Гаспаров М. Л.* Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. М., 1984. С. 124). В переписке с великим князем Константиновичем Фет 22 августа 1888 г. вновь вспомнил это ст-ние: «Что русский стих способен на изумительное разнообразие, доказывает бессмертный Тютчев хотя бы своим стихотворением:

О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней...»
(К. Р. Избр. переписка. СПб., 1999. С. 299).

Ах, и не в эту землю я сложил... — Заключительные, 17—18 строки ст-ния Тютчева «Итак, опять увиделся я с вами...» (1849). 18-я

строка в автографах и первой публикации (*Москва*. 1850. № 8. Кн. 2. С. 288): «Все, чем я жил и чем я дорожил...», приобрела цитируемый Фетом вид при перепечатке 1854 г. в *Совр.* и разбираемом Фетом издании.

Итальянская вилла. — Ст-ние написано в 1837 г. и обращено к Эрнестине Дёрнберг, урожд. баронессе Пфеффель (1810—1894), с 1839 г. — второй жене Тютчева. Печаталось с вариантами начиная с первой публикации (*Совр.* 1838. Т. 10. С. 184—185).

Стр. 190. *Есть речи, — значенье...* — Первая строфа ст-ния М. Ю. Лермонтова (1839). Фет цитировал его также в повести «Дядюшка и двоюродный братец» и рассказе «Кактус» (см. с. 59 и 128 наст. изд.).

Стр. 191. *...под вдохновенным пером его попадают устарелые формы вроде соединять...* — Из ст-ния «Предопределение»: «Их соединенье, сочтанье».

...вспоминанья... — Из ст-ния «Арфа скальда»: «Иль старину тебе он вспомянул».

...облак вместо облако... — Из ст-ния «Русской женщине»: «Как исчезает облак дыма».

...листья вместо листва... — Из ст-ния «С их ветхим листьем изнуренным».

...завесу вместо завёсу... — Из ст-ния «Колумб»: «Ты завесу рас-торг всеильною рукою» (в автографе: ...божественной рукою).

...змеи вместо змеи... — Из ст-ния «Наполеон»: «В его груди — змеи вились» (в автографе: ...змии вились).

Стр. 192. *Как ни различен предмет (объект)...* — Ср. определение, данное Гегелем: «В более неопределенном смысле объект означает вообще некоторый предмет для какого-нибудь интереса и деятельности субъекта» (*Гегель Г. В. Ф.* Наука логики. СПб., 1997. С. 143).

...прелестного стихотворения г. Тютчева: Эти бедные селенья... — Ст-ние написано в 1855 г.

Равнодушные к чистому искусству... — Фет использует термин, постоянно употреблявшийся А. В. Дружининым и давший название тому направлению в литературе, которое было противоположно радикализму Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова. В частности, в статье «Стихотворения А. А. Фета. СПб., 1856» Дружинин писал: «Имя Фета давно знакомо всем людям с изящным вкусом, всем дилетантам по части чистого искусства, всем читателям, способным понимать живую поэзию...» (*Дружинин А. В.* Литературная критика. С. 84). Понятие *чистое искусство* родилось в эстетике В. Г. Белинского в 1841 г.: «Если в искусстве преобладает идея над формой, тогда искусство теряет свое чистое, первоначальное значение и, по степени преобладания, соприкасается с другими абсолютными сферами сознания, делаясь для них как бы средством и чрез то приобретаая не менее важное, но уже новое значение» (*Белинский*. Т. 5. С. 317). В 1845 г. критик высказывает иную точку зрения: «Художественность и теперь великое качество литературных произведений; но если

при ней нет качества, заключающегося в духе современности, она уже не может сильно увлекать нас. Поэтому теперь посредственное художественное произведение, но которое дает толчок общественному сознанию, будит вопросы или решает их, гораздо важнее самого художественного произведения, ничего не дающего сознанию вне сферы искусства. Вообще, наш век — век рефлексии, мысли, тревожных вопросов, а не искусства. Скажем более: наш век враждебен чистому искусству, и чистое искусство невозможно в нем» (Там же. Т. 9. С. 77).

Стр. 193. Недвижим он лежал, и странен... — Цитируется описание смерти Ленского из «Евгения Онегина» (6, XXXII), в котором Пушкин отчасти пародировал поэтические штампы романтизма.

Пошли, господь, свою отраду... — Первая строка стихотворения, написанного в 1850 г. В статье «Несколько слов о стихотворениях Ф. И. Тютчева» (1854) Тургенев отмечал, что «стихотворения, каковы “Пошли, господь, свою отраду...” и другие, пройдут из конца в конец Россию и переживут многое в современной литературе, что теперь кажется долговечным и пользуется шумным успехом» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч.: В 28 т. Соч.: В 15 т. Т. 5. М.; Л., 1963. С. 427).

...сошлемся только на критическую статью редактора «Библиотеки для чтения» в октябрьской книжке 1858 года «Очерк истории русской поэзии». — Статья «“Очерк истории русской поэзии” А. Милюкова. [2-е доп. изд.] СПб., 1858» принадлежала А. В. Дружинину (БДЧ. 1858. Т. 151. № 10. Отд. V. С. 1—46. Подп.: Ред.). В конце нее сказано: «Не мертвецом, но обожаемым отцом, просветителем и руководителем считали бы Пушкина мы все, русские грамотные люди. <...> Не он ли возвышал души наши, не он ли раскрыл нам глаза на поэтические стороны нашей жизни, не он ли вскормил в нас тысячи светлых помыслов, не он ли возвысил звание и значение нашего писателя в молодом нашем обществе?..» (Дружинин А. В. Литературная критика. С. 247).

Сон на море — Ст-ние в автографе звучит иначе, нежели в сборнике 1854 г. Полностью было перепечатано С. С. Дудышкиным с комментарием: «Узнаете ли поэта? видите ли, что он живет двойною жизнью — одною, которая у него общая со всеми нами, и другою, таинственной, которая принадлежит ему одному? Послушайте его, поговорите с ним, и вы опять поверите волшебной силе поэтических снов и видений. И видится ему часто в Божием мире совсем не то, что видим мы в нем нашими простыми глазами, и часто чуется ему в нем нечто такое, о чем мы и не подозревали» ([Б. н.] Журналистика // ОЗ. 1854. Т. 95. Кн. 8. Отд. IV. С. 56).

Стр. 194. Гейбель (Гейбель) Эммануил (1815—1884) — немецкий поэт, пропагандировавший идею «чистого искусства». 20 июля 1884 г. Фет написал В. П. Гаевскому: «Когда-то я говорил Тургеневу, что жалею, что не начал писать немецких стихов — и был прав. Взгляните на 50-е издание Гейбеля и прочтите его стихи. Это вода, а не вино. А мое Солдатенковское издание в 2400 экземпляров <1863 г.> в 10 лет

не разошлось. То же с великим Тютчевым» (ЛН. Т. 97. Ф. И. Тютчев. Кн. 2. М., 1989. С. 431).

«Что делать?». Из рассказов о новых людях. Роман Н. Г. Чернышевского («Современник» 1863 года за март, апрель и май). Впервые: ЛН. Т. 25—26. М., 1936. С. 479—544 (вступ. ст. Ю. Стеклова, публ. и коммент. Г. Волкова). Печатается по автографу (РО ГМТ).

Рукопись статьи Фета о романе «Что делать?» находится в Рукописном отделе Государственного музея Л. Н. Толстого, который приобрел ее в числе других рукописных материалов архива Боткина у родственника известного в свое время драматурга Виктора Александровича Крылова (1838—1906), бывшего секретарем Василия Петровича Боткина (1810—1869) в последние годы его жизни. Рукопись статьи носит характер белого экземпляра, более ранние редакции неизвестны.

Роман Чернышевского писался в Петропавловской крепости с 14 декабря 1862 по 4 апреля 1863 г. Напечатан в № 3—5 *Совр.* за 1863 г. Историю его создания см.: *Чернышевский Н. Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 11. М., 1939. С. 702—706. Статья была написана Фетом в июне-июле 1863 г., т. е. сразу после окончания печатания романа в майской книжке *Совр.* Предназначалась она для РВ. Именно его редактор М. Н. Катков и дал Фету заказ — написать рецензию на «Что делать?». Вот что пишет Фет в своих воспоминаниях по этому поводу: «Зашли мы с Боткиным как-то к Каткову, и, конечно, разговор закипел по поводу Польского восстания и вообще того разлагающего элемента, который наши враги так обильно вливали в нашу жизнь, чему блистательным образчиком мог служить произведший такое впечатление роман Чернышевского “Что делать”. Мы с Катковым не могли придти в себя от недоумения и не знали только, чему удивляться более: цинической ли нелепости всего романа, или явному сообщничеству существующей цензуры с проповедью двоеженства, фальшивых паспортов, преднамеренной проповеди атеизма и анархии со стороны духовного законоучителя, которому такая пропаганда в казенных заведениях тем сподручнее, что он профессор и щит. Катков просил меня написать рецензию на “Что делать”; а Боткин, собиравшийся в Степановку, обещал свое сотрудничество в этом деле» (МВ. Ч. 1. С. 429—430). Разговор этот происходил в Москве весной (поскольку фальшивые паспорта появляются к концу романа, скорее всего в мае) 1863 г. Приехав в свое имение Степановку, Фет начал писать статью. Боткин, приехавший туда же в июне, всемерно помогал ему в этом. «Во исполнение просьбы Каткова, — говорит Фет дальше в своих воспоминаниях, — я тотчас принялся за разбор романа “Что делать”. А Боткин между прочим иллюстрировал мой разбор коммунистическими эпизодами парижской жизни, коих был в 1848 году свидетелем» (Там же. С. 431). Статья, видимо, обсуждалась в кругу Фета. Во всяком случае И. П. Борисов писал И. С. Тургеневу

28 окт. 1863 г: «Цинизм действительной жизни тяжел уже всем, а фантазии Чернышевского в “Что делать” действительно могли довести Фета до ярости палача Бурнаила» (см.: *Тургеневский сборник*. Вып. 3. Л., 1967. С. 364).

Хотя вся рукопись статьи (38 листов бумаги конторского формата) написана рукой Фета, участие Боткина в писании статьи следует признать бесспорным. В. А. Крылов в отрывке своих воспоминаний о Боткине (рукопись) пишет: «Как катковец Боткин не сочувствовал направлению журнала “Современник” с Чернышевским во главе, впоследствии даже, когда появился роман Чернышевского “Что делать?” — Боткин вместе с Фетом написали на него критику, которая однако не была напечатана» (цит. по: *ЛН*. Т. 25 — 26. С. 520). Таким образом, Боткин был не только идейным соавтором Фета, но и принимал участие в писании статьи. Центральная часть третьей главы статьи с критикой социалистических идей Чернышевского и его западного предшественника Фурье, по-видимому, целиком написана Фетом со слов Боткина. Она выделена графически и в рукописи, кроме того, несомненны ее стилистические отличия (см.: *Черемисинова Л. И.* А. А. Фет — критик Н. Г. Чернышевского // Н. Г. Чернышевский: Статьи, исследования и материалы. Вып. 12. Саратов, 1997. С. 21—28).

Как только статья была готова, она немедленно была отослана Каткову для напечатания в *РВ*. А по возвращении из Степановки в Москву Боткин принимается лично хлопотать о помещении статьи в печать. В письме от 8 августа 1863 г. он пишет Фету: «В Москву приехал благополучно и на другой же день был у Каткова. Он получил критику “Что делать?”, но еще не читал ее и отдает печатать, а ко мне хотел прислать корректуру. Она будет без всякой подписи, как ты желал» (*МВ*. Ч. 1. С. 435). Нежелание Фета поставить подпись под статьей чрезвычайно характерно и служит дополнительным указанием на соавторство.

Через две недели, 21 августа 1863 г., Боткин сообщал Фету: «Сначала Катков горячо благодарил за статью о Чернышевском, но потом как-то охладел, а Леонтьев хныкает о том, что она очень велика. Я уж более недели не видался с ними. Вчера заезжал, но Каткова не было дома, а Леонтьев спал. На днях постараюсь увидеть их и объяснить» (Там же. С. 436). Дело печатания статьи затянулось. Приехавший вскоре в Москву Фет не подвинул его. Боткин же уехал в Петербург, а затем за границу. Катков и П. М. Леонтьев, продолжая печатать в своем журнале «Письма из деревни» Фета и его стихотворения, статьи о Чернышевском в *РВ* не напечатали. По-видимому, автор, так же как и издатели, на время охладел к своей статье и забыл о ней. Она более двух лет пролежала в редакции *РВ*. В 1866 г., вероятно, во время одного из своих приездов в Москву Фет напомнил Каткову о статье и, получив от него окончательный отказ, решил предложить статью в другой журнал — в *ОЗ*. Как и в первом случае, Фет пытается осуществить это при помощи своего шурина и

друга В. П. Боткина. По просьбе Фета Катков должен был переслать статью Боткину в Петербург через известного петербургского книгопродавца Ф. В. Базунова, о чем Фет заранее известил Боткина. «К удивлению моему, — писал Боткин Фету в письме от 1 февраля 1866 г. — я не получал еще от Базунова статьи твоей о “Что делать?” Не знаю, что думать об этом замедлении <...>. Мне досадно, почему ты не отправил свою рукопись сам, а предоставил сделать это Каткову. Вот теперь и дожидайся, да еще неизвестно, придется ли она?» (МВ. Ч. 2. С. 82).

Задержка в пересылке статьи Боткину произошла, по всей вероятности, по вине самого Фета. То, что годилось в 1863 г., в 1866 г. требовало пересмотра. Теперь к прежнему мотиву отказа редакции *PВ* напечатать прибавился новый — устарелость статьи, хотя и Фет решил пересмотреть ее. Получив рукопись из редакции *PВ*, Фет с присущей ему энергией и деловитостью спешно принялся за ее переделку. Неизвестно, где это произошло, в Москве или в Степановке, но рукопись статьи оказалась исправленной Фетом. Полной переработке подверглась вступительная часть: были заново переписаны первые 13 страниц рукописи (3 1/4 фетовских листа по 4 стр.), т. е. начало статьи с первых слов до изложения содержания «Что делать?» (до середины абзаца, начинающегося «Марья Алексеевна — дама решительная», кончая словами «Если не привезет, то изгоняется из драгоценного»). Вся эта вступительная часть написана более густыми черными чернилами, на более плотной бумаге, отличающейся водяным знаком от бумаги, на которой написана вся статья.

Первая редакция вступительной части неизвестна. Но, судя по всему, она подверглась небольшой переделке, в результате которой вступительная часть статьи была расширена примерно на пять страниц. Об этом можно судить по изменившейся нумерации листов: лист 3-й переправлен на лист 4-й, 4-й — на 5-й и так далее до конца статьи. После 14-го (фетовского) листа новой нумерации на бумаге такого же качества, как и бумага, на которой написана вступительная часть, сделана вставка, начинающаяся словами «Женится человек от живой жены под фальшивым именем» и заканчивающаяся так: «предлагаем вкратце историю этого учения и печальную судьбу его во Франции». Эта вставка в одну страницу занумерована как лист 16-й. Лист 15-й новой нумерации, составляющий 3 страницы текста, как и вступительная часть, подвергся переработке. В конце листа 18-го, после слов «Только социализму и ничему другому приписываем мы тот роковой перелом в постепенном движении Франции, который продолжается по сие время», помета рукою Фета: «Здесь снова продолжается текст, начинающийся на 2-й странице 15-го листа словами “Изложив таким образом”». Эта помета зачеркнута и заменена другою: «За этим следует окончание на листе № 19». Помета Фета о помещении 15-го листа в конец статьи сделана им еще для редакции *PВ*. Пересматривая статью для другого журнала, Фет упростил дело. Он переделал 15-й лист, расчленив его на две части. Одну страницу,

закрывающую окончание изложения романа, он оставил на месте. Три другие страницы он переписал заново на такой же бумаге, как вступительная часть и вставка, и, занумеровав их, как лист 19-й, сделал заключением статьи. Так как первая редакция 15-го листа неизвестна, то трудно сказать, в какой мере изменил Фет конец своей статьи. Судя по помете, первые слова остались те же, но дальше текст, по-видимому, все же подвергся изменению. В противном случае трудно объяснить, зачем Фет заново переписывал эти страницы, когда он мог просто изменить нумерацию листа.

Кроме начала и конца статьи пересмотру подвергся и остальной текст. Безусловно позднейшие исправления, сделанные Фетом более густыми чернилами, были внесены во время переделки вступления и конца статьи. Большая правка на листах 4—14, несколько меньшая — на листах 16—18. Вообще же поправок немного, и они несущественны. Почти все исправления носят чисто редакционный характер: Фет заменяет одно выражение другим, вставляет или опускает отдельные слова, кое-где делает незначительные сокращения, самые большие из которых 4—5 строк, подчеркивает отдельные выражения и т. д.

Фет пересмотрел текст статьи в сравнительно короткий срок, так как 10 февраля 1866 г. Боткин писал Фету: «Наконец получил твою статью от Каткова и вчера отдал ее Дудышкину; какой будет ответ от него — сообщу» (*МВ*. Ч. 2. С. 83). Пока Фет исправлял статью, Базунов, видимо, уехал из Москвы, и рукопись Боткину послал сам Катков. Но и в петербургском журнале *БДЧ* статья Фета так же не повезло, как и в *РВ* в Москве: С. С. Дудышкин отказался напечатать статью. Боткин в письме к Фету от 10 марта 1866 г. излагал мотивы этого отказа: «Дудышкин возвратил мне статью твою о романе “Что делать”. Он не может напечатать ее. Во-первых, потому, что очень много там выписок из романа, которые потому излишни, что смысл романа и без того для всех обнаружился. А потом для всех ясно, к чему повело учреждение так называемых “общих комнат”, женских мастерских и “новых” людей, действовавших заодно с поляками. Словом, тенденция романа есть тенденция “Панургова стада”, а сам Чернышевский был одним из пастухов его. Статья, в той форме, как она написана, могла бы быть помещена тотчас по выходе романа, но не теперь. Теперь все это поносилося, опошлилось не для одних здравомыслящих» (Там же. С. 87). По всей вероятности, ни Боткин, ни Фет не пытались больше устраивать печатание статьи. Рукопись осталась у Боткина, а после его смерти перешла к В. А. Крылову.

Чем же, однако, объяснить, что в самый разгар борьбы «благонамеренных» с «мальчишками» эта статья не увидела света? Формальными причинами этого был размер статьи (4 печатных листа), превысивший размеры обычной книжной рецензии, и несвоевременность, запоздалость разбора и критики «Что делать?». Причиной же по существу было имя Чернышевского, содержание романа и то огромное впечатление, которое он произвел на массу читателей. При-

ведем ряд свидетельств и суждений современников о «Что делать?». Штакеншнейдер, считавшая в 1861 г. Чернышевского «антипатичным», его юмор нахальным и тяжелым, а все серьезное — дышащим «самомнением и самоуверенностью» (*Штакеншнейдер Е. А. Дневник и записки. 1854—1886. М.; Л., 1934. С. 282*), 25 марта 1863 г. записывает в дневнике: «Вышел “Современник” № 3. В нем роман Чернышевского. Я этим романом наэлектризована. Он мне доставил наслаждение, какое доставляли книги в юные годы, он мне согрел душу своим высоко нравственным направлением, наконец он объяснил то восторженное поклонение <...>, иначе назвать не умею, которое питает к его автору молодое поколение, то влияние, которое он на него имеет. Мне теперь понятны те, слышанные мною, дерзкие отрывки речи, такие антипатичные на первый взгляд» (Там же. С. 322). П. И. Капнист в книге, изданной по распоряжению министерства внутренних дел с грифом «секретно», писал: «...г. Чернышевский в романе “Что делать?” попытался выразить коммунистические и социалистические идеалы свои положительно <...>. Этот роман имел большой успех между поверхностно образованною нашей молодежью обоего пола, которой у нас огромное большинство, а это значит у большинства читающей публики» (*Собрание материалов о направлении различных отраслей русской словесности за последнее десятилетие и отечественной журналистики за 1863 и 1864 гг. СПб., 1865*). Катков писал: «Как мусульмане чтут Коран, так читится поклонниками “нового слова” роман Чернышевского “Что делать?”, автор <...> романа “Что делать?” <...> изображал то, что видел в действительности в нигилистическом кружке, который чтит в нем своего патриарха, а теперь чтит в нем своего пророка» (*Моск. ведомости. 1879. № 153. С. 2*). Одесский профессор П. Цитович писал: «В классической литературе “нового слова” роман “Что делать?” занимает первое место <...> читатели <...> романа исключительно молодежь. За 16 лет пребывания в университете мне не удавалось встретить студента, который бы не прочел знаменитого романа еще в гимназии, а гимназистка 5—6 классов считалась бы дурой, если б не ознакомилась с похождениями Веры Павловны (иногда по совету своего учителя гимназии). В этом отношении сочинения, например, Тургенева или Гончарова, не говоря уже о Гоголе, Лермонтове и Пушкине, — далеко уступают роману “Что делать?”» (*Цитович П. Что делали в романе “Что делать?”. Одесса, 1879. С. IV—V*). В высказываниях людей народнического склада вскрыты источники влияния «Что делать?» «В 1862 г., — писал П. А. Кропоткин, — Чернышевский был арестован и находясь в крепости, написал замечательную повесть: “Что делать?” С художественной точки зрения повесть не выдерживает критики, но для русской молодежи того времени она была своего рода откровением и превратилась в программу. Ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого, или какого-либо другого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского. Она сделалась своего рода

знаменем для русской молодежи, и идеи, проповедуемые в ней, не потеряли значения и влияния вплоть до настоящего времени» (*Кропоткин П.* Идеалы и действительность в русской литературе. СПб., 1907. С. 306—307). Приведем, наконец, еще два свидетельства людей, испытавших на себе влияние романа. Водовозова писала: «В настоящее время трудно представить себе, какое огромное влияние имел этот роман на своих современников. Его обсуждали не только в собраниях, специально для этого устраиваемых, но редкая вечеринка обходилась без споров и толков о тех или других вопросах, в нем затронутых <...>. Громадное влияние романа Чернышевского объясняется тем, что автор его, самый популярный и уважаемый писатель того времени, явился в нем истолкователем стремлений и надежд, овладевших умами и сердцами “новых людей”, и отнесся к ним с глубочайшей симпатией и сочувствием. В этом романе сосредоточены не только основные идеи современников, но затронуты наиболее важные вопросы, стоявшие тогда на очереди. Не менее ценно было и то, что автор романа укреплял в юных сердцах пламенную надежду на счастье: каждая строка красноречиво говорила о том, что оно возможно на земле, что оно достижимо даже для обыкновенных смертных, если только они отнесутся к нему не пассивно, а всеми силами ума и сердца будут работать для его завоевания, памятуя о том, что оно должно идти рука об руку со счастьем ближнего. <...> Популярности романа помогало и то, что автор писал его в каземате Петропавловской крепости. Вдумываясь с благоговением в каждое слово высокочтимого автора, наши сердца обливались кровью при мысли, что лучший и умнейший из людей нашего времени, считавшийся истинным вождем молодого поколения, томится в тюрьме» (*Водовозова Е. Н.* На заре жизни: В 2 т. Т. 2. М., 1987. С. 168—172). Почти о том же вспоминал и Скабичевский. Образ автора романа имел ореол мученика, что сводило на нет любые разговоры об антихудожественности «Что делать?». Критики романа не понимали, писал Скабичевский, что «обаяние вождя, каждое слово которого считалось в то время законом, удесятерилось ореолом мученичества героя, голос которого раздавался из мрака казематов Петропавловской крепости». И далее: «Я нисколько не преувеличу, когда скажу, что мы читали роман <“Что делать?”> чуть не коленопреклоненно, с таким благочестием, какое не допускает ни малейшей улыбки на устах, с каким читают богослужебные книги. Влияние романа было колоссально на все наше общество. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый. Социализм делался таким образом обязательным в повседневной будничной жизни, не исключая пищи, одежды, жилищ и пр.» (*Скабичевский А. М.* Литературные воспоминания. М., 2001. С. 290—291).

Кроме записи Штакеншнейдер, все высказывания о «Что делать?» сделаны в позднейшую эпоху. Тогда же, в 1863 г., и в после-

дующие за ним годы, несмотря на благоговейность, с которой произносилось имя Чернышевского революционно настроенной молодежью, несмотря на то, что роман был для нее в течение десятилетий почти единственным источником социалистической пропаганды, в печати имя Чернышевского произносилось с опаской. В консервативной же и либеральной печати его имя, как несколько лет назад имя Белинского, просто замалчивалось. О «Что делать?», которое произвело такое потрясающее впечатление на читателей и оказало такое влияние на литературу и жизнь, после его выхода в свет писалось очень мало.

Стр. 195. Нигде святость брака так не попирается. — Кого же винить? — Все эпиграфы взяты из «Очерков бурсы» Николая Герасимовича Помяловского (1835—1863), из главы «Женихи бурсы», опубликованной в № 4 *Совр.* за 1863 г. (С. 559—587). В этом же номере, кроме продолжения романа «Что делать?», появился и выпад против очерков Фета «Из деревни», написанный М. Е. Салтыковым-Щедриным.

Стр. 196. Номад, зависящий от подножного корму... — Номад (от греч. *nomas* — кочующий) — кочевник. В данном случае это реминисценция из «Что делать?» (Четвертый сон Веры Павловны): «Звучат слова поэта, и возникает картина. Шатры номадов. Вокруг шатров пасутся овцы, лошади, верблюды. Вдали лес оливо и смоковниц. Еще дальше, дальше, на краю горизонта к северо-западу, двойной хребет высоких гор...» (*Чернышевский*. Т. 11. С. 277).

...крыловский «Философ без огурцов». — Заключительный стих из басни И. А. Крылова «Огородник и Философ» (1811).

Стр. 197. ...сила впечатления, произведенного им на известную часть публики, уже значительно ослаблена временем. — Об откликах на роман см.: *Чернышевский*. Т. 11. С. 706—711. Однако к роману обращались и позднее; см. ниже о статье Каткова в «Московских ведомостях».

...укоряя нас в борьбе с призраками и ветряными мельницами. — Реминисценция из романа Сервантеса «Дон Кихот» (ч. I, гл. 8).

...им же имя легион. — Сознательное уподобление «призраков» бесам, упоминаемым в Евангелии от Луки: «Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, — потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло» (Лк.: 8, 30—33).

Блудящие (блуждающие) огни — бледные языки пламени, которые появляются ночью на болотах и кладбищах вследствие самовозгорания газа метана, выделяющегося при гниении.

Гать — настил из бревен или хвороста для проезда через болото.

Стр. 198. Он выставил нам идеал распространяемого им учения. — Ср.: «"Что делать?" — не только энциклопедия, справочная книга, но и кодекс для практического применения "нового слова". В ней "новые начала" воплощены в лицах, осуществлены в поступках, с точным указанием средств проведения "начал" в действительность» (Цитович П. Что делали в романе «Что делать?»? С. IV).

«Ты публика добра, очень добра - ты так немоцна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 10.

Вот на какой беззащитно тупоумный круг заранее рассчитывает пропаганда автора. — О проблеме адресата в романе «Что делать?» см.: Руденко Ю. К. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: Эстетическое своеобразие и художественный метод. Л., 1979. С. 5—21.

Надо сознаться, что такой выбор адептов обличает человека «умеющего». — Это определение, постоянно употребляемое Фетом, имеет любопытную предысторию. «Неумелые» — название одного из «Губернских очерков» Щедрина (1856), в котором прекраснодушный молодой чиновник не может осуществить на деле идеалы и оказывает ся на своем месте бесполезным. Ему противопоставлен «умелый» депутат Голенков, способный «не гнушаться грязью». Эти образы привлекли внимание А. В. Дружинина, опубликовавшего в БДЧ рецензию «Военные рассказы графа Л. Н. Толстого. — Губернские очерки Н. Щедрина». В «неумелых» и «умелых» критик увидел «результат прочного знакомства с описываемой автором средою» (Дружинин А. В. Литературная критика. С. 189). Однако Дружинин высказал опасение, что автор, создавший эти образы, «может вдаться в односторонность взгляда», в «дидактику». Критик пожелал ему не терять «лучезарного фокуса жизни», «поэзии и правды». Восхваления «умелых» у Щедрина еще нет, но возможность появления таких произведений Дружинин заметил в финале рецензии: «Рутину, дидактику и повторение задов г. Щедрин может смело предоставить другим, неумелым писателям: употребляем его собственное выражение» (Там же. С. 191). Ответом таким писателям и стала статья Фета.

...о благе, правде или красоте... — Оригинальная формулировка традиционного триединства «добро, красота, правда».

Стр. 198—199. «С тобою, с огромным большинством - потому мне еще нужно и уже можно писать». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 11.

Стр. 199. Не можем забыть, как один из светильников quasi-нового учения - ответил голосом, полным убеждения: «Детей не предполагается». — Речь идет о М. Е. Салтыкове-Щедрине. Эту сцену Фет включил в МВ. Ч. 1. С. 367—368.

Для умеющих всякая нелепость хороша, лишь бы она служила известным целям. — Возможна параллель с основой морали ордена иезуитов «Цель оправдывает средства». Мысль этого выражения заимствована ими у английского философа Томаса Гоббса (1588—1679) из его книги «О гражданине» (1642).

Стр. 200. «У меня нет ни тени таланта. Я даже и языком-то владею плохо». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 11 («Предисловие»). Фет пропускает в цитате слово *художественного*. Ср. в письме Чернышевского к сыновьям (1877): «Из сотни плохих писателей разве один так плох, как я. Достоинство моей литературной жизни — совсем иное: оно в том, что я сильный мыслитель» (Там же. Т. 15. С. 20).

Скудность изобретения... — Термин классической риторики и поэтики. Ср., например: «Собрание разных мыслей, приличных предлагаемой материи. Оно содержит в себе правила, каким образом и откуда упомянутые мысли почерпать можно» (*Остолопов Н.* Словарь древней и новой поэзии. Ч. 2. СПб., 1821. С. 34). В. Г. Белинский писал: «Романтическая реакция освободила нас от этой узкости литературных воззрений; благодаря ей, однообразная искусственность языка и изобретения поэтического уступила место естественности, простоте и разнообразию; мир творчества расширился» (*Белинский*. Т. 8. С. 250). Белинский выделял также «художественное изобретение» (Там же. Т. 10. С. 315).

«Но это все-таки ничего - она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 11.

Как вы уясните нигилисту превосходство тончайших стихов Пушкина над бездарнейшими виршами? — Намек на роман И. С. Тургенева «Отцы и дети» (1861), откуда и пошло слово *нигилист* и где герои спорят о «пользе» стихов Пушкина.

...любимцы поэтов Гектор, а не Ахиллес, Пелей, а не Менелай (в «Андромахе»), Цезарь, а не Брут, Фауст, а не Мефистофель... — Гектор, а не Ахиллес — противопоставленные друг другу герои гомеровской «Илиады». *Пелей, а не Менелай (в Андромахе)*. — Имеется в виду судьба супруга Елены, Менелая. Этот сюжет, помимо Гомера, привлекал внимание Еврипида («Андромаха», 431—421 до н. э.); «Елена», 412 до н. э.) и Расина («Андромаха», 1667). *Цезарь, а не Брут*. — Речь идет о трагедии У. Шекспира «Юлий Цезарь», которую Фет перевел в 1859 г. *Фауст, а не Мефистофель*. — Герои трагедии И. В. Гете «Фауст» (1778—1831), которую Фет перевел в начале 1880-х гг. (1-я часть вышла в 1882, 2-я — в 1883 гг.).

«Современник» и К° давно приучили нас к своему взгляду на литературу. — Речь идет о литературной критике *Совр.* (с 1856 г. критическим отделом заведовал Чернышевский).

Мы знаем их презрение к искусству для искусства. — Этот взгляд выражен в диссертации Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» (1855), в его статье «Не начало ли перемены?» (1861), а также в других критических статьях, публиковавшихся в журнале. О полемике вокруг так называемого «чистого искусства», к которому лагерь *Совр.* относил творчество Фета, см.: *Егоров Б. Ф.* Очерки по истории русской литературной критики середины XIX в. Л., 1973.

Стр. 201. «Она думала, что думает - а все-таки казалось» и т. д. — Подобных оборотов в «Что делать?» действительно немало, в

описаниях снов героини и чувств Лопухова; ср.: «Лопухову кажется, что ты удивительная девочка; это так; но это не удивительно, что ему кажется, — ведь он полюбил тебя!» (Чернышевский. Т. 11. С. 57). Следует отметить, что эта форма психологического анализа внутреннего мира положительных героев оказалась у Чернышевского очень близкой к тем приемам, которые использовал Л. Н. Толстой в «Войне и мире».

Для этого на желаемом месте действия героини Веры Павловны прерываются словами: «и снится Верочке сон». — У Чернышевского это действительно повторяющаяся формула (Чернышевский. Т. 11. С. 77, 119 и далее).

Стр. 202. ...под эгидой стиха «Когда же складны сны бывают». — Из стихотворения И. И. Дмитриева «Эпиграмма» (1782).

Подобный казус мог бы затруднить проникательного читателя (он же изгоняется г. Чернышевским за тупоумие, «в шею») ... — Разговор с «проникательным читателем» и изгнание его помещены в гл. XXI; ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 223—228.

...сон не сон, а только грезы, заменяющие прямую пропаганду. — Разница между «сном» и «грезами» очевидно показана в 8-й главе четвертого сна (Чернышевский. Т. 11. С. 277—279); она привлекала внимание и других критиков.

«Впрочем, моя добрейшая публика — в нем все-таки больше художественности, чем в них; можешь быть спокойна на этот счет». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 11.

Стр. 203. ...повторяя басню Крылова «Орел и паук». — Эта басня, вошедшая в третью книгу басен Крылова, была написана в 1812 г. Она завершается следующей моралью:

Как вам, а мне так кажутся похожи
На этаких нередко Пауков
Те, кои без ума и даже и без трудов,
Тащатся вверх, держась за хвост вельможи,
А надувает грудь,
Как будто б силою их бог снабдил орлиной.

(Крылов И. А. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1984. С. 72).

«Ты так немощна и так зла от чрезмерного количества чепухи в твоей голове». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 11.

...сын аксессуар — предлог для введения в дом учителя... — От фр. *accessoire* — деталь.

Стр. 204. «Отмывай рожу-то, что она у тебя, как у цыганки!» — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 14.

«О чем говорили в театре? — за виски вокруг налоя обведу, да еще рад будет». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 17.

Стр. 205. ...добродетельная дочь делает ему реприманд... — От франц. *réprimande* — выговор, внушение. Следует учитывать и использование этого слова М. Е. Салтыковым во вступлении к «Нашей об-

щественной жизни»: «Дети не в отцов вышли, и вследствие этого происходят между ними беспрестанные реприманды» (*Совр.* 1863. № 1—2. С. 366).

...на французско-нижегородском наречии... — Реминисценция из «Горя от ума» А. С. Грибоедова: «смешенье языков Французского с нижегородским» (действие I, явление 7) — также прием, используемый Фетом для снижения положительных героев романа.

«Та ли это Жюли - это княгиня, до ушей которой не доносилось ни одно грубоватое слово». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 26—27.

«Вы теперь в большом затруднении - будьте у меня в 7 часов. М. Ле-Телье». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 28. В рукописи статьи после записки Жюли первоначально была фраза, в поздней Фетом зачеркнутая: «Это пишет Жюли и ставит перед своей фамилией М., т. е. Мадам, воображая вероятно, что бывают и такие француженки, что сами себя величают Мадамами».

Стр. 206. «Жизнь — проза и расчет», — говорит она своей воспитаннице. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 18—19.

«Лучшее положение в свете - со стороны общества есть формальное признание законности такого положения». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 32.

...отдать руку гадкому, и Жюли, соглашаясь с нею, кричит ей: «Беги, беги!» — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 33.

...по свидетельствам Юма, Гиббона, Ранке и Тьерри... — Юм Дэвид (1711—1776) — английский философ, историк, экономист, предшественник Канта. Ранке Леопольд фон (1795—1886) — немецкий историк-идеалист, специалист по истории Западной Европы XVI—XVII вв. Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк, автор «Истории упадка и разрушения Римской империи» (1766—1788). Тьерри Огюстен (1795—1856) — французский историк, один из основателей романтического направления и создателей теории классовой борьбы.

...«стал думать на тему “жена”, как прежде думал на тему “любовница»». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 33.

Стр. 207. «Я запрещаю тебе всякую мысль об этом выборе! слышишь, запрещаю!» — «Матап, это не принято нынче»... — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 36.

...из Палкина трактира. — Трактир Палкина, одно из наиболее известных питейных заведений Петербурга, находился на Невском проспекте (угол Невского и Владимирского).

«Как вы смели? - подарки для Верочки». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 38—9.

«— Ну что? — спросила Марья Алексеевна - Вот же тебе». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 40.

«Так шло время. Жених делал подарки Верочке, и ее оставляли в покое, глядели ей в глаза». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 42.

«Число порядочных людей растет - со временем «все люди — будут порядочные люди». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 43.

Лопухов. — Прототипом героя был доктор Петр Иванович Боков, врач семьи Чернышевских (См.: *Чернышевский*. Т. 11. С. 717).

Стр. 207—208. «*Лопухов, точно, был студент - получит кафедру в Академии*». — Ср.: *Чернышевский*. Т. 11. С. 45—46. Медико-хирургическая академия (основана в 1733 г. как госпитальная школа, в 1881 г. переименована в Военно-Медицинскую академию) — единственное в середине XIX в. гг. высшее медицинское учреждение в Петербурге, в 1850-е — 1860-е гг. один из главных научных центров. Многие ее воспитанники были посланы за границу и, вернувшись, создали ей большую славу. Среди них были С. П. Боткин (брат В. П. Боткина), И. М. Сеченов, И. П. Павлов и др. В это время Медико-хирургическая академия стала одним из центров революционно-го движения.

Стр. 208. «*Было время, когда Лопухов - пить дешевле, чем есть и одеваться*». — Ср.: *Чернышевский*. Т. 11. С. 47.

В откупное время... — В России в 1860—1870-х гг. постепенно устраняется откуп государственных доходов частными лицами, вносящими государству эквивалент стоимости их и получающими, взамен этого, право непосредственного сбора с плательщиков.

Напрасно уничтожал он такое громадное количество лягушек с товарищем и сожителем своим Кирсановым — это ни к чему его не повело. — Эта деталь — и совпадение фамилий героев — позволяет провести параллель между романом Чернышевского и «Отцами и детьми» Тургенева — как всегда у Фета, ведущую к сниженной трактовке героев «Что делать?».

Кирсанов. — Прототипом Кирсанова был известный ученый Иван Михайлович Сеченов (1829—1905) — лишний довод против Медицинской академии. В основу сюжета романа легли подлинные события, связанные с отношениями П. И. Бокова, И. М. Сеченова и М. А. Обручевой.

...его товарищ и наперсник (герой № 2) Кирсанов. — После слова *Кирсанов* в рукописи была фраза, позднее зачеркнутая Фетом: «Выбор фамилии напоминает нам одного из продолжателей “Горе от ума”, имевшего привычку спрашивать своих слушателей: не помнят ли они, кто говорит этот стих, мой или грибоедовский Чатский. Право, у меня они так перемешались в голове, что я их не отличаю». Фет, таким образом, хотел намекнуть на неоригинальность романа «Что делать?» и на зависимость его от «Отцов и детей» Тургенева, где трое героев носят фамилию Кирсановых (а Базаров режет лягушек). На самом деле факт знакомства Чернышевского до написания «Что делать?» с романом Тургенева окончательно не установлен.

Жених, сообразно своему мундиру - еще раз пристально посмотревши в глаза воображаемому ординарцу. — Ср.: *Чернышевский*. Т. 11. С. 48—49.

Стр. 209. «*А вы по какой играет? - Академия на Выборгской стороне - сильно изрывал в свое — т. е. в безденежное, время и Лопухов*». — Ср.: *Чернышевский*. Т. 11. С. 51.

Его невеста та дама, которая сильнее всех на свете и обещает уничтожить бедность. — «Сумеем же мы - бедных не будет». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 3.

...не полагай непременно условием - да ездить в итальянскую оперу. — Намеки на неоднократно упоминаемые Фетом привычки и образ жизни Веры Павловны Лопуховой-Кирсановой.

...в кисельных берегах у сливочных струй... — Реминисценция устойчивого фольклорного образа «молочные реки с кисельными берегами».

«Вот Марья Алексеевна взяла книги - Да, все об этом, Марья Алексеевна». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 63.

Стр. 210. ...не читал книги Виктора Консидерана и не имел понятия о будущих рабочих сериях и гармонических отношениях между собою. — Консидеран Виктор (1803—1894) — ученик Фурье, сторонник теории фаланстеров. Далее речь идет о книге Консидерана «Destinée sociale, exposition élémentaire complète de la théorie sociétaire» (в переводе Фета: «Социальное предопределение (а не судьба), полное основное изложение социалистической теории»).

«Ну, а немецкая-то? - сочинение Людвига XIV; это был, Марья Алексеевна, французский король, отец тому королю, на место которого нынешний Наполеон сел». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 63. Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 г., «автор» изречения: «Государство — это я». Нынешний Наполеон — Луи Наполеон Бонапарт (1808—1873, фр. император в 1852—1870). Ниже Фет говорит, что Чернышевский хочет убедить читателя, «что гвардейский офицер Сторешников никогда не слыхивал о революции, Наполеоне первом и взятии Москвы французами», — но это уже преувеличение, так как речь у Чернышевского герои ведут про «нынешнего Наполеона», т. е. про Наполеона III.

...Сторешников не знал атеистического сочинения Фейербаха... — Имеются в виду книги немецкого философа Людвига Фейербаха (1804—1872) «Сущность христианства» (1841) и «Лекции о сущности религии» (1851).

...геркулесовы столпы презрения... — В греч. миф. Геркулес воздвиг столпы (т. е. столбы) в Гибралтарском проливе в ознаменование своего путешествия через Европу и Ливию. Зд. перефразируется выражение «дойти до геркулесовых столбов», т. е. до предела.

«Совет всегда один: рассчитывайте, что для вас полезно; как скоро вы следуете этому совету — одобрение». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 67. Об источниках теории «разумного эгоизма» см.: Пинаев М. Т. Роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?»: Комментар. М., 1988.

Стр. 211. «Да - Марья Алексеевна была права, находя много родственного в себе с Лопуховым». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 69.

«И что значит ученый человек - не умею по-ученому говорить». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 68.

«Подобно ей, он говорил ~ глупо с его стороны». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 69.

«Итак, эта теория - дрова холодны, но от них огонь». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 65.

Стр. 211—212. «А как по вашему собственному признанию ~ людям, которые находят себе в том удовольствие». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 69.

Стр. 212. ... «что прежде и не было народу ~ пожалуй, ведь они и воспользуются ею». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 69.

«А оправдывать Лопухова - пролетариат, без которого революция не возможна. — Источник этого «мнения» установить не удалось; возможно, это полемический ход со стороны автора. Ср. у Писарева в статье «Схоластика XIX века»: «Как же бы в самом деле погибла классическая цивилизация, если бы никто не разорял городов, не жег книг и не бил людей? Положим, пролетариат бы с каждым годом увеличивался, — что ж из этого?» (Писарев Д. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 73).

«Уж лучше, говорит, идти за вашего жениха ~ почтенный вид». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 73.

Стр. 213. «По мере явления нанимающих — нужно порассмотреть, каковы-то они сами, не показывая им гувернантку». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 73.

«Терпение, терпение, Вера Павловна, найдем! - Друг мой, послушайте же». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 74.

« — Некогда думать. Маменька - На мне будет густой вуаль, в руке сверток нот». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 77.

Стр. 213—214. «Вам может казаться странным - комплимент не вам, а себе». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 79.

Стр. 214—215. «г-жа Б. плакала - Разумеется, г-жа Б. не была права - месяца нельзя достать рукою» - При ее положении в обществе - Лопухов «не был неправ, отчаявшись за избавление Верочки». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 81.

Стр. 215. И снится Верочке сон: «Что она затерта - Верочка эмансипирует всех женщин. «Ах как весело!». — Пересказ с цитатами первого сна Веры Павловны. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 77—78.

...о приятности асфиксированья. — От фр. asphyxie — удушье. «Выбили окно и видят - рассказывать, как она меня любила». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 77—78.

Стр. 215—216. «Вы знаете, что я говорил - Глупость, Верочка, и очень большая пошлость». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 82—83.

Балобан — птица из подсемейства соколиных, очень часто употребляемая в соколиной охоте (подкрасный сокол).

Стр. 217. Недаром простой народ считает худым предзнаменованием, когда курица запоем петухом. — Это считается предвестием смерти не только в России, но и в Европе (см.: Энциклопедия суеверий. М., 2001. С. 223).

Фурье Шарль (1772—1837) — фр. социалист, создатель теории фаланстеров. Далее обсуждается и цитируется его «Трактат о домаш-

ней и земледельческой ассоциации» (Traité d'association domestique-agricole) (1822).

«Знание системы природы было бы бесполезно - мы видим его произведения». Ср.: Фурье. *Traité d'association domestique-agricole* (1822). Т. 1. С. 519. — «Трактат о домашней и земледельческой ассоциации» действительно содержит все эти положения. См. их анализ: Василькова Ю. В. Фурье. М., 1978. С. 151 и далее. *Квагга* — непарнокопытное животное рода зебр; обитало в нескольких регионах Южной Африки; к концу XIX в. было полностью истреблено.

«В высшей степени важно (продолжает тот же мудрец), будет ли для нас искусство ввести планеты в новое творчество - Анти-морские собаки — или морские бараны» (*Traité d'association*, ч. 1. стр. 519). — Единственное отступление Фета от текста Фурье — в описании сроков. В «Трактате...» Фурье везде говорит о «дюжине лет»; лишь в письмах 1824—1825 гг. появляется «пять» (См.: Василькова Ю. В. Фурье. С. 144—151).

Стр. 218. «Так они поговорили - А на это у ней не будет денег». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 94.

...анти-львов, какими на деле и являются жалкие хлыщи-онагры. — Намек на цикл очерков И. И. Панаева «Опыт о хлыщах» (1854—1857) и его повесть «Онагр» (1841). Анти-львы здесь — каламбурное обыгрывание понятия *светский лев*.

Стр. 218—219. «Гм, гм! Да! Гм! — Глаза нехороши - Мы с Дмитрием Петровичем (Лопуховым) третьего дня повенчались». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 98.

Стр. 219. «Ах! (В романе людей положительных все ахают) сударыня! обмануть меня изволили! - Если хорошо поедешь». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 98—99.

«В Медицинской академии есть много людей - Вот к нему-то и отправился Лопухов». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 99.

Стр. 220. «Мерцалов, сидевший дома один - Так разговор кончен. Когда хотите венчаться? - В понедельник поутру Лопухов - Алексей Петрович, не умеющий танцевать, играл им на скрипке». — Пересказ и цитирование романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 101—102.

...то ли Людовика XIV, то ли кого другого из той же династии. — Речь идет о Фейербахе или ком-то из его последователей.

...вы не читали польского революционного катехизиса. — Прокламация, выпущенная во время польского восстания 1863 г. Опубликована в кн.: Польская эмиграция до и во время последнего мятежа (1861—1863 г.). Вильна, 1866. С. 399—404 (Прил. II). Возможно, это фальшивка, изготовленная по заказу российской администрации.

Стр. 221. Девимовская пуля — пуля, изготовленная в парижских оружейных мастерских Девима.

Шрапнелевая граната — артиллерийский снаряд, корпус которого заполнялся картечными пулями. Разрыв происходил в заданной точке траектории. На вооружении до начала XX в.

«Никто не знал лучше Марьи Алексеевны — кончатся совершенно ничем». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 106.

«Прошло три месяца после того — Дела Лопухова шли хорошо». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 111.

У них две разных спальни, нейтральная столовая и один к другому не смеет входить не одетый. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 112. Этот семейный быт отражает устройство жизни в семье самого Чернышевского (Там же. С. 711—712).

«Мне давно хотелось что-нибудь делать — чтобы они умели выбывать других — так?» — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 113.

Монтионовская премия. — Премия имени барона Антуана-Оже Монтиона (1733—1820), филантропа, учрежденная при Французской Академии. Наиболее известная премия Монтиона давалась за добродетель.

«И надобно, чтобы девушки — основано на торговом расчете». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 113.

...«наш-то, т. е. Лопухов, курит при генерале и развалился; да чего? папироска погасла, так он взял у генерала-то, да и закурил свою-то». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 116.

Стр. 222. ...посади за какой хочешь стол, они сейчас же ноги на стол. — Перифраза русской народной поговорки «Посади дурака за стол — а он и ноги на стол».

Покровительница Верочки Жюли — (т. е. не обдирает Сторешникова). — Пересказ и цитаты из романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 114.

И на мудреца бывает простота. — См. примеч. к статье «Что случилось по см<ерти> Анны К<арениной>...» в наст. изд.

«Теперь т-ле Розальская уже дама, и Жюли не нужно сдерживаться. Вошел Лопухов. Жюли обратилась в солидную светскую даму, исполненную строжайшего такта». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 114—115.

«Дня через четыре Жюли привезла к Лопуховым Сержа, сказав, что без этого нельзя: “Лопухов был у меня, ты должен сделать ему визит”». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 115.

Либих Юстус (1803—1870) — немецкий химик, положивший начало основанию агрономической и физиологической химии. Труды его были популярны в демократических кругах, так как содержали пропаганду земельной реформы.

...о матерьях важных... — Из «Горя от ума» А. С. Грибоедова: «...как схватятся о камерах, присяжных, О Бейроне, ну о матерьях важных» (действие IV, явление 4).

Дамы по временам и вслушивались — когда они уже очень восхитились минеральным удобрением. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 119.

Стр. 222—223. И вот Вера Павловна засыпает и снится ей сон — когда не нужно будет людям быть злыми. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 119—120.

Стр. 223. ...donc vivons... — припев фр. песни «Ça ira» («Дело пойдёт»), которая до «Марсельезы» была музыкальным символом революции.

Добрые и умные люди — мастерские завести по новому порядку. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 126—128. Речь идет о книге фр. социалиста Луи Блана «Организация труда» (1840).

Стр. 224. «Бывали вечера, бывали загородные прогулки — в боковых местах итальянской оперы». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 133.

...несбыточные, праздничные сны до обеда. — Реминисценция заглавия «бальзаминольской» комедии А. Н. Островского «Праздничный сон до обеда» (1857).

Стр. 224—225. «Вера Павловна, проснувшись — славно нежиться поутру». «За утренним чаем Верочка — сливки — и чуть ли даже не слабость дурного тона». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 135.

Швальня — швейная мастерская.

Стр. 225—226. «Алексей Петрович, — сказала Вера Павловна — Две должности: профессор и щит». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 132.

Стр. 226. «Внешняя обстановка Кирсанова была довольно хороша. Он уже имел кафедру». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 146.

И снится Верочке сон: «Что, наговорясь с “миленьким”» и далее — цитирование и пересказ текста романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 166—172.

«Травиата» — опера итальянского композитора Джузеппе Верди (1853) по мотивам романа Александра Дюма-сына (1824—1895) «Дама с камелиями» (1850; одноименная драма поставлена в 1852), в котором затронут женский вопрос.

Бозио Анджелино (1824—1859) — итальянская певица (сопрано), в сезоны 1856—1859 гг. выступавшая в Петербурге и умершая от простуды. А. Бозио упоминает Н. А. Некрасов в цикле «О погоде» (1858—1865).

Час наслажденья Лови, лови; Младые лета Отдай любви. — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Адели» (1822). У Пушкина «для наслажденья Ты рождена; Час упоенья...». Другое упоминание Пушкина в романе «Что делать?» см. в главе 1 (II).

Стр. 227. ...тут уже устами Верочкина сна говорит «Современник». — Возможно, отголосок полемики «пушкинского» и «гоголевского» направлений. Второе из них представлено в критике *Совр.*

С виду этот нигилизм только одна из вечных ступеней человеческого мышления — не подвергнув критике. — Данная «видимость» непосредственно заимствована из «Отцов и детей». Ср.: «Мы действуем в силу того, что мы признаем полезным <...>. В теперешнее время полезнее всего отрицание — мы отрицаем» (глава V).

...ну хоть к вертящимся деревишам. — Мистическая секта, ответвление суфизма.

...ему приятно в лице Пушкина хватить во всякий авторитет. — Ср. высказывания о «нигилистах» — «мальчишках» в «Нашей общественной жизни» М. Е. Салтыкова-Щедрина: «Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы...» (Совр. 1863. № 1—2. С. 375).

...сам «Современник» — не более как старый фрак, попавший на спину новейших его издателей с барского пушкинского плеча. — Журнал был основан Пушкиным в 1836 г., а после смерти его с 1837 до 1847 г., когда он перешел под неофициальную редакцию Н. А. Некрасова и И. И. Панаева, его издавал друг и «душеприказчик» Пушкина П. А. Плетнев.

...для камердинеров нет великих людей. — Переделка известной поговорки «Для слуг нет гениев».

Стр. 227—228. ...если бы Верочка — поэты дали себе вечное право — употреблять *pars pro toto* — часть вместо целого: корма — вместо корабля, зима, лето — вместо года и т. д. — Описывается поэтический троп — метонимия.

Стр. 228. ...она не любит своего миленького — Лопухова, а любит кого-то другого. — Дальше в рукописи была фраза, позднее Фетом зачеркнутая: «Короче сказать, Верочка переживает пафос лакейской песни:

Плачет девчоночка, всю ночь она не спит,
И не знает, как своему горю пособить,
С ней такого горя сроду не бывало:
Двух мужей ей нету, а одного мало.

А Кирсанов совершенно счастлив — Сон сблизил их. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 174.

Гони природу в дверь, она влетит в окно. — Авторство фразы приписывается Козьме Пруткову («Мысли и афоризмы»). Однако фр. водевиль с таким названием неоднократно переделывался для русской сцены самыми разными авторами; автор оригинальной версии неизвестен.

В своем деле мудрено различить — что ты подступишь благородно. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 174.

Стр. 229. ...рассказы Ивана Александровича Хлестакова о сочинении им Юрия Милославского. — См.: «Ревизор» Н. В. Гоголя, действие 3, явление VI.

«Какой человек был Лопухов? — это глупый предрассудок, вредный предрассудок». — Пересказ и цитирование текста романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 181.

Сезжая — полицейский участок, помещение для арестованных при полиции.

Не трудитесь больше, я раздумала, а вот вам — почитать фуражку, взамен оставшейся в доме. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 182—184.

Стр. 230. ...и, добравшись до конца романа, крикнем: берег, берег! — Очевидно, отголосок проектировавшегося Пушкиным завершения романа «Евгений Онегин», о котором он упоминает в «Отрывках из Путешествия Онегина»:

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал.

В окончательном тексте «Евгения Онегина» также остались побдные строки:

Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!

...Вера Павловна любила доказывать - иначе все развалится. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 183.

«Но то, что делается по расчету - а делать живое — нельзя». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 184.

...вперед, вперед моя история!... — Из романа Пушкина «Евгений Онегин (6, IV).

Ведь ты знаешь, как я смотрю на это. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 188.

Стр. 230—231. ...рассказ Крюковой, заключающийся в том - насильно ворвалась к студенту Кирсанову, который возвысил ее своею любовью до высшего просветления чистоты (sic!). — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 150—158. Наиболее часто обсуждавшийся сюжет из отношений между «студентом» и «падшей женщиной»; ср. «Когда из мрака заблужденья...» Н. А. Некрасова, «Записки из подполья» Ф. М. Достоевского и др., а также реальную историю отношений Н. А. Добролюбова и Э. Теллье. См. об этом: *Matich O. A. A Typology of Fallen Women in Nineteen-Century Russian Literature // American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Kiev, Sept. 1983. Vol. 2. Columbus, Ohio, 1983; Sigiel G. The Fallen Women in Nineteen-Century Russian Literature // Harvard Slavic Studies. 1970. № 5.*

Стр. 231. «Лучшее развлечение (от) мыслей — работа - Как я тебя люблю». — Пересказ и цитирование текста романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 189.

«Я мог бы вовсе бросить эти проклятые уроки - Лопухов успевет кое-что там делать». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 190.

...в одном из романов Ж. Занда герой Жак сходит в подобном случае со сцены. — Речь идет о романе «Жак» (1835). О влиянии Ж. Санд на Чернышевского см. в его статье «Жизнь Жорж Санда» и комментариях к ней (Чернышевский. Т. 3. С. 340—345), а также: *Скафты*

мов А. П. Чернышевский и Жорж Санд // Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М., 1972. С. 226—238. Важно, что предшествующей адаптацией «Жака» на русской почве была на шумевшая повесть Дружинина «Полинька Сакс» (1848). Дружинин предложил свою вариацию на ту же тему, и его взгляды были Фету значительно ближе. Таким образом, роман Чернышевского противопоставляется не только произведению Жорж Санд, но и повести Дружинина, также дающей более нравственный исход конфликта, чуждый «умелым» героям Чернышевского. См.: Кафанова О. Б. Жорж Санд и русская литература XIX века. (Мифы и реальность). 1830—1860 гг. Томск, 1998.

Стр. 232. Рахметов — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 196.

«Ну, — думает проникательный читатель, — теперь Рахметов заткнет за пояс всех — Ничего этого не будет». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 210.

«Если, говорит он, вас удивляют личности вроде Лопуховых, Кирсановых, то что бы вы сказали о Рахметове — встретил только восемь таких (в том числе двух женщин). — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 197.

Стр. 232—233. «Рахметов был из фамилии — То, что вы, г. Чернышевский, или лжец или дрянь!» (стр. 495). — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 198 и след. Страницы Фет указывает по тексту первой публикации романа: Совр. 1863. № 4. С. 495.

Расшива — большое деревянное парусное судно.

Стр. 234. «Да, это правда — они и так у меня связаны. Но развяжу...» — Фет цитирует и пересказывает текст романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 208.

...монирует да пленирует, по выражению г. Островского... — Ср. в комедии А. Н. Островского «Праздничный сон — до обеда»: «Он-то ходит под окнами манирует, а она ему из второго этажа пленирует» (Островский А. Н. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. С. 125).

«Батюшка, лекарь! не знаю что с моим жильцом. — Вижу, могу». — Фет цитирует и пересказывает текст романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 207.

Стр. 235. ...это вечная метода всех иерофантов показывать на пустой мешок и говорить: вот тут вся мудрость-то и сила. — Иерофант — главное действующее лицо в афинских мистериях, тайны которых, как известно, не подлежат расшифровке.

...подумаешь, что науки с своими результатами все еще в таинственных руках мемфисских жрецов. — Мемфис был религиозным центром и столицей Египта в XXVIII—XXIII вв. до н. э.

Как систематик, Рахметов — письмо Лопухова, в котором тот поручает ее урокам Рахметова и извещает о своем здоровье. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 212.

Стр. 236. «Вот мотив, — говорит он, — по которому Лопухов оставил вас неподготовленной — Выпейте еще рюмку хереса и ложитесь спать». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 211.

Стр. 237. «Но человек до последней крайности — от которого мы отступаем только по необходимости». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. 229.

«Когда я увидел, что в жене не одно искание любви — агентство Швейглера передаст письмо мне». — Ср.: Чернышевский. С. 11. 232.

Ложь, обманы, подлоги... — Поступки героев романа с точки зрения уголовного кодекса подробно рассмотрены в кн.: Цитович П. Что делали в романе «Что делать?». С. 12 и след.

Стр. 238. «Если муж живет вместе с женою — напишу тебе груду здешних новостей. Твой Александр Кирсанов». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 243.

«О эти люди очень хитры! — Я всегда смеялся над каждым порядочным человеком, с которым знаком». — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 244.

Стр. 239. *Вы сами не хуже Шекспира знаете о вечно ощущительном присутствии ревности в природе.* — Имеется в виду трагедия «Отелло» (1604).

...чтение «Коробейников» г. Некрасова... — Некрасов был любимым поэтом Чернышевского.

...физиологические доказательства превосходства женщин над мужчинами... — См., например: Кант И. О различии возвышенного и прекрасного у мужчин и женщин // Кант И. Соч. Т. 2. М., 1964.

Для изучения латинского языка она взяла Корнелия Непота... — Публий Корнелий Непот (I в. до н. э.) — римский историк, друг Катутла.

«Просыпаясь, она нежится в своей теплой постельке — она сохранила все свои, не поэтические и не изящные, и не хорошего тона свойства». — Пересказ и цитирование текста романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 262, 266.

Стр. 239—240. *«На тебе я замечаю вещь гораздо более любопытную: еще года через три ты забудешь свою медицину и изо всех способностей у тебя останется одна — зрение, да и то разучишься видеть что-нибудь, кроме меня».* — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 267.

Стр. 240. *«Как наш покрой платья портит нам стан! — Как ты хороша, Верочка! Как я счастлива, Саша!»*

*И сладкие речи,
Как говор струй:
Его улыбка,
И поцалуй.*

*Милый друг, погаси
Поцалуи твои и т. д.»*

— Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 269. Первая цитата — из песни Маргариты из «Фауста» в переводе Э. И. Губера (Губер Э. Соч. Т. 2. 1859. С. 194). Вторая — из ст-ния Алексея Васильевича Кольцова

(1809—1842) «Песня» (1841). Обе эти цитаты в романе Чернышевского (в числе других образов) являются метафорой эротической сцены.

Этим-то неуместным исканием обесмертил себя известный рыцарь Дон-Кихот, видевший в мельнице гиганта, в баранах — врагов и, главное, Дульцинею везде. — Упоминаются сцены из романа Сервантеса «Дон Кихот» (главы VIII, X).

Мы толкуем о пользе искусства — эта польза огромна и исключительна. Ночная сцена Ромео и Юлии не затем существует, чтобы учить юношей лазить по окнам; этому всякий мошенник научит гораздо лучше Шекспира. — Речь идет о «сцене у балкона» из «Ромео и Джульетты» (акт 2, сцена II), вдохновившей многих художников и поэтов.

Стр. 241—242. *«И снится Верочке сон - Здесь я — цель жизни, здесь я — вся жизнь».* — Пересказ и цитирование текста романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 269 и след.

Стр. 242. *Wie herrlich leuchtet Mir die Natur! Wie glänzt die Sonne! Wie lacht die Flur!* — Из «Майской песни» И. В. Гете, одного из любимых произведений Чернышевского. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 719.

Das Schwerdt im Herten Schaust du mit Schmerzen Herab auf deines Sones Todt. — Из баллады Фридриха Шиллера (1759—1805) «Рыцарь Тогенбург».

Стр. 243. *Будем жить с тобой по-пански.* — Из стихотворения Кольцова «Бегство» (1838).

Стр. 244. *...один почтенный купец г. Островского выражается - даже скверно.* — Речь идет о Карпе Карпыче Толстого-Гораздове, герое пьесы «Не сошлись характерами» (Островский А. Н. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. М., 1959. С. 162).

Стр. 240—245. *...выгода иметь на Невском магазин была очевидна — и затем появилась новая вывеска «Au bon travail. Magasin de Nouveautés - добросовестный магазин, и имя хозяйки было бы на вывеске».* — Пересказ и цитирование текста романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 284—285.

...письмо нового действующего лица Катерины Васильевны Полозовой к своей приятельнице Полине. — Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 285—290.

Стр. 246. *«Отец любил Катю - при жалком финансовом и административном состоянии своего акционерного общества».* — Пересказ и цитирование текста романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 292—294.

Стр. 248. *Отец Бьюмонта был выписан - Может быть, — отвечает Бьюмонт.* — Пересказ и цитирование текста романа. Ср.: Чернышевский. Т. 11. С. 309—313, 314—315, 319—324.

Стр. 249. *После разгрома, последовавшего за 1789 годом и так быстро и совершенно изменившего общественное устройство Франции...* — Имеется в виду якобинский террор, последовавшая за ним в

1793 г. диктатура и положивший ей конец термидорианский переворот в июле 1794 г.

...в 1796 году выступает Бабеф с своим знаменитым коммунизмом... — Бабеф Гракх (наст. имя Франсуа Ноэль, 1760—1797) — французский коммунист-утопист. В 1796 г. возглавил Тайную повстанческую директорию, готовившую народное восстание. Казнен. Бабеф пропагандировал социальную революцию, оставаясь противником Робеспьера. Его коммунистические взгляды были рассчитаны на массовую агитацию: конфискация имений оппонентов, организация национальной общности имуществ на основе обобществления захваченных магазинов, складов провианта и т. д. Восстание было предотвращено случайно, благодаря предательству одного из заговорщиков.

Стр. 250. Брак должен быть уничтожен, «как несправедливое учреждение, обращающее в неволю то, что природа создала свободным - не признает никакого рода собственности». — О «шестнадцати отрицательных сторонах» брака Фурье писал в «Теории четырех движений...» (См.: Васильчикова Ю. В. Фурье. С. 106—114).

Города должны быть уничтожены, все искусства брошены, ибо — лежат вне людских потребностей. — Первая часть цитаты — одна из основ системы Фурье; вторая — вымысел Фета. Ср. в «Новом... мире»: «На земле будет 37 миллионов поэтов, равных Ньюто-ну, 37 миллионов математиков, равных Гомеру...» (цит. по: Васильчикова Ю. В. Фурье. С. 173).

Так как для нации нет ничего бесполезнее блеска и слов — должно отнять у лживой науки всякий предлог для уклонения от общественных обязанностей - Само собою разумеется, что владение должно быть общинным. — О взглядах Фурье на приоритет сельского хозяйства см.: Васильчикова Ю. В. Фурье. С. 137—140.

Стр. 251. Как и Руссо, коммунизм объявляет, что усовершенствование наук и искусств есть зло. — Подобную идею Жан-Жак Руссо (1712—1778) излагал в раннем трактате «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов» (1751). Традиции Руссо очевидны любому читателю Фурье: «Новый промышленный и общественный мир» открывается эпиграфом из Руссо.

Основная мысль доктрины Фурье та же, что и в коммунизме... — Излагаются основные мысли сочинений Фурье, в т. ч. «Теория четырех движений...» (1808), «Трактат о хозяйственной земледельческой ассоциации» (1822) и «Новый хозяйственный социетарный мир» (1829).

Стр. 252. «Свобода любовных отношений - Такие отношения между мужчиной и женщиной Фурье называет прогрессивным сожитием (ménage progressif). — «Брак цивилизованных» действительно противопоставляется «любви политике» эпохи фаланстеров. См.: Фурье Ш. Теория четырех движений и всеобщих судеб. М., 1938. С. 140 и далее.

Стр. 254. «Не миллионами, а миллиардами — сумму в 50 миллиардов, половина которой и составляет государственный долг Англии». — См. о специфическом использовании цифр в сочинениях Фурье (в частности, в данном примере): Иоаннисян А. Р. Фурье. М., 1959. С. 64—68.

...Фурье приводит возможность заплатить весь государственный долг Англии в течение 6 месяцев одними куриными яйцами. — Приводимый ниже анекдотический «расчет» Фурье тем более интересен для Фета, что он напоминает приведенный им самим в «деревенских» очерках эпизод «Гуси с гусенятами» — и соответствующие выпады против него Салтыкова-Щедрина.

...нашлось несколько слабоумных, решившихся на денежные пожертвования, но устроенный ими фаланстер вскорости распался сам собою. — В 1830—1840-х гг. было несколько попыток создания фаланстеров во Франции (Ж. Б. Годен) и в Америке (Брук-Фарм). А. И. Герцен в четвертой части «Былого и дум» (глава «Наши») так изложил историю американской общины Э. Кабе: «...развилась в Америке кабетовская община, коммунистический скит <...>. Неугомонные французские работники, воспитанные двумя революциями и двумя реакциями, выбились, наконец, из сил, сомнения начали одолевать ими; испугавшись их, они обрадовались новому делу, отреклись от бесцельной свободы и покорились в Икарии такому строгому порядку и подчинению, которое, конечно не меньше монастырского чина каких-нибудь бенедиктинцев» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 9. М., 1975. С. 116).

...вопросы о какой-то романтической, сентиментально-идеальной демократии в связи с пролетариатом и социализмом сделались во Франции сороковых годов модными. — Вероятно, имеются в виду сочинения П. Ж. Прудона (1809—1865), в которых пропагандировалось устройство банков безвозмездного кредита. Такое решение вопроса обмена обсуждалось и осуждалось в конце 1840-х гг. тем же Луи Бланом. В статьях революционных лет Прудон развивал еще более «сентиментальную» идею сотрудничества классов.

...это происходило во время кроткого, гуманного правительства Людовика Филиппа и Франция пользовалась полной свободой печати. — Людовик (Луи) Филипп (1773—1850) — король Франции в 1830—1848 гг. Понятие о свободе слова (и о свободе личности вообще) трактуется крайне широко; однако законодательно закреплено лишь в конституции 1848 г.

...идеальные рабочие Жоржа Занд. — Речь идет о героях романов «Странствующий подмастерье» (1840; рабочий Пьер Гюргенен), «Орас» (1842; Жан Ларавриньер).

Стр. 255. ...журнал фурьеристов... — Фурьеристы издавали журналы «Фаланстер» и «Фаланга» (1834—1843), газету «Мирная демократия» (1843).

Один из наших знакомых рассказывал нам, что, будучи в Париже в 1846 году... — В. П. Боткин, которого имеет в виду Фет, жил в

Степановке, когда поэт работал над статьей. В своих воспоминаниях Фет говорил: «А Боткин между прочим иллюстрировал мой разбор коммунистическими эпизодами парижской жизни, коих был в 1848 году свидетелем» (МВ. Ч. 1. С. 431).

Стр. 256. ...заседания рабочих в Люксембургском дворце под председательством Люи Блана... — Луи Блан (1811—1882), фр. утопический социалист, идеям которого более всего сочувствовал Чернышевский, сторонник «безреволюционного» утверждения справедливых отношений; в период революции 1848 г., будучи членом Временного правительства, возглавлял Люксембургскую комиссию по соглашению интересов враждующих социальных групп.

Антагонизм - кровавой битвой июньских дней. — В ответ на распоряжение Учредит. собрания закрыть национальные мастерские парижские рабочие 23 июня 1848 г. подняли вооруженное восстание, которое к 26 июня было жестоко подавлено.

Стр. 257. Только социализму и ничему другому приписываем мы тот роковой перелом в постепенном движении Франции, который продолжается по сие время. — Прежде всего Фет имеет в виду экономические кризисы, постоянно сотрясавшие вторую империю и в конце концов разрешившиеся франко-прусской войной 1870—1871 гг.

Кроме собственников в России нет народонаселения — нет пролетариата, за ничтожным исключением ремесленников обоого пола, проживающих в столицах. — Приравнивание «населения» к «пролетариату» наиболее очевидно в работах Луи Блана: ассоциации производителей — единственная могущественная сила. Членами ассоциаций становятся все полезные члены общества.

...авгуров-перебежчиков... — Авгур — жрец, предсказывающий волю богов, толкуя полеты птиц. Со времен Суллы авгуры избирались народом, что и положило начало недоверию к авгуриям.

...задача социалистов, чтобы, наполнив головы женщин нелепостями - части государственного организма. — Это в целом совпадает с мнением цензора О. Пржецлавского (Рудаков В. Е. Последние дни цензуры. С. 982).

Стр. 259. ...мы открыто не желаем смут и натравливаний одного сословия на другое - посредством изустных преподаваний и нашептываний. — Ср. с мнением М. Н. Каткова, который отказался печатать статью Фета, но спустя много лет написал статью о романе Чернышевского, где ретроспективно признал огромное влияние романа на молодежь: «Многое, что представлялось ему как греза, свершилось воочию; новые люди разошлись или сами собою или, разсланы на казенный счет по градам и весям, тцатся на практике осуществить уроки учителя, далеко превзойдя его надежды...» (Моск. ведомости. 1879. № 153. С. 2).

По поводу статуи г. Иванова на выставке Общества Любителей Художеств. Впервые: Художественный сборник / Изд. Моск. о-ва лю-

бителей художеств. Т. 1. М., 1866. С. 75—92. Автограф не обнаружен. Печатается по первой публикации.

Речь идет о статуе Сергея Ивановича Иванова (1828—1903), профессора Академии художеств, известного преподавательской деятельностью и крайне редко выставлявшего свои работы. С 1854 г. — академик. Статуя «Материнская любовь» была представлена на Второй выставке Московского общества любителей художеств. В начале XX в. статуя хранилась в Историческом музее; ее нынешнее местонахождение неизвестно.

Стр. 260. ...рухлядью логомахию... — Логомахия — зд.: многословие.

...о едущем на курьерских, ну хоть из Эгера в Карлсбад... — Эгер — курорт в Богемии (ныне в Венгрии); Карлсбад (ныне Карловы Вары) — в Германии (ныне в Чехии).

Гусем — то же, что гуськом (устар.).

Стр. 261. В отношении к эстетическому образованию публики более всех работал и сделал Белинский. — Ср. у Герцена: «Белинский <...> образовал эстетический вкус публики» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 7. М., 1956. С. 237). Фет имеет в виду творчество Белинского до перехода на революционно-демократические позиции (1841).

*Стр. 262. Поневоле вспомнишь бесов Пушкина: Хоть убей, следа не видно - Ведьму ль замуж выдают? — Из ст-ния Пушкина «Бесы» (1830). Однако Фет пишет слово *бесы* без кавычек и со строчной буквы, что дает основания видеть в этом словоупотреблении обращение к антинигилистической традиции, как, например, толковал революционное движение 1860-х гг. Ф. М. Достоевский в романе «Бесы» (1871). Для Фета же бесы — это представители демократической критики, в первую очередь Н. Г. Чернышевский, истолковавший наследие Белинского сугубо прагматическим образом и сделавший из него орудие борьбы с так называемым «чистым искусством».*

Стр. 263. ...стих: Жрецы ль у вас метлу берут... — Из ст-ния Пушкина «Поэт и чернь» (1829).

...с прибойми волн и напором веков. — Неточная цитата из ст-ния В. Г. Бенедиктова «Утес» (до 1835): «Незыблем стоит он, в могуществе спора / С прибойми волн и с напором веков».

...теорию изящного, чего не позволяет предел небольшой статейки, а потому, отсылая вопрошающих хотя бы к статьям Белинского... — Для Белинского изящное в искусстве — это важная эстетическая категория, которая имеет свои законы (Белинский. Т. 2. С. 33), основания (Там же. Т. 2. С. 140) и теорию (Там же. 48, 139, 140). Чувство изящного (Там же. Т. 2. С. 437; Т. 7. С. 143, 372, 579) «развивается в человеке самим изящным <...> развивается и образуется анализом и теорией изящного» (Там же. 47—48). Теория изящного — это «особенная наука», созданная искусством. «Искусство только тог-

да истинно и изящно, когда верно себе, а не науке, а если науке, то им же самим созданной» (Там же. С. 139). Впрочем, одной «способности глубоко чувствовать и понимать изящное» недостаточно для того, чтобы «быть поэтом» (Там же. Т. 9. С. 592). Тем не менее в художественном произведении ценятся «изящество изложения» (Там же. С. 580) и «внешняя изящность издания» (Там же. С. 581), а также «изящность» художественного творчества вообще (Там же. С. 577). В статье третьей из цикла о Пушкине Белинский приводит определение изящного, данное А. Ф. Мерзляковым: «При надлежащей *стройности, правильности и точности подражания, занимательность* предмета, основанная на отношении его к нам самим», и замечает, что теоретические и критические статьи Мерзлякова «приятно читать, хоть и несколько не соглашаешься с ними» (Там же. Т. 7. С. 262).

Стр. 264. *...Академии наук и художеств, общества пособия литераторам и поощрения художеств?* — Фет имеет в виду следующие российские учреждения: Академия художеств (осн. в 1757), Петербургская академия наук (осн. в 1724), Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым (осн. в 1859), Общество поощрения художников (осн. в 1821).

...отношения, в которых критик ~ может судить об идее картины. — Подобные отношения Фет усматривает во всей «семинарской» культуре; см. в статье о романе Чернышевского «Что делать?» его рассуждения о писателе, признающемся в отсутствии таланта.

...всегда были подгулявшие Ноздревы, в простоте душевной и не подозревавшие, до какой степени неприлично сидеть на паркетe губернаторского бала и хватать за ноги танцующих дам. — Фет указывает на эпизод из восьмой главы первого тома «Мертвых душ» Н. В. Гоголя: «...Ноздрева давно уже вывели; ибо сами даже дамы наконец заметили, что поведение его чересчур стало скандально. Посреди котильона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что было уже ни на что не похоже, по выражению дам».

Стр. 265. *Консорт (принц-консорт)* — в Великобритании муж королевы. Зд.: незаконный претендент.

По-прежнему читаешь — «литературный» или «литературно-ученый журнал» ~ или же тех и других безразлично и солидарно. — Явный выпад в адрес *Совр.* и *РСл.*, закрытых в 1866 г.

...тюль-де-блонд и брюссельские кружева. — Ажурные ткани, наиболее часто использовавшиеся при отделке балльных платьев.

Стр. 267. *Гайдн Йозеф (1732—1809), Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791), Бетховен Людвиг ван (1770—1827)* — австрийские композиторы, создатели классической симфонической школы, реформаторы музыкального искусства.

Служенье муз не терпит суеты ~ И шумные нас радуют мечты... — Из ст-ния Пушкина «19 октября» (1825).

Стр. 269. *Антик* — сохранившийся памятник античного искусства.

...коснеет в той неге онеменя. — Парафраз из ст-ния Ф. И. Тютчева «Осенней позднею порою...» (1858): «И белокрылые виденья, / На тусклом озера стекле, / В какой-то неге онеменя / Коснеют в этой полумгле».

Стр. 270. *Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...* — Из ст-ния Пушкина «Художнику» (1836), посвященного описанию мастерской скульптора Бориса Ивановича Орловского (1796—1837), автора памятников Барклаю-де-Толли и Кутузову у Казанского собора в Петербурге. В ст-нии Пушкина скульптуры на античные и современные темы выступают в последовательности: «Сколько богов, и богинь, и героев!...».

Стр. 271. *Каульбах* Вильгельм фон (1805—1874) — немецкий художник, представитель позднего романтизма и академизма. Автор знаменитых иллюстраций к «Фаусту».

...первый погубил философией свою вторую часть «Фауста», а второй все свои прекрасные произведения. — Впоследствии, когда Фет приступил к переводу «Фауста», мнение его о художественных достоинствах второй части изменилось. Отношение к творчеству Каульбаха было обусловлено обилием театральных эффектов и ложным пафосом монументальных фресок и картин этого художника.

...какой собачьей старостью страдает современная итальянская скульптура. — Мнение об упадке итальянской скульптуры после смерти Антонио Кановы (1757—1822) связано с появлением и развитием в середине XIX в. упрощенно-реалистических тенденций (Д. Монтеверде, К. д'Орси и др.).

Два письма о значении древних языков в нашем воспитании. Впервые: I. Лит. библиотека. 1867. Т. 5. Кн. 7/8. Апр. (кн. 1 и 2). С. 48—69, в тексте и на обертке журнала разночтение: «Два письма о классическом образовании. I. А. Фета». II. Там же. Т. 6. Кн. 9. Май. С. 298—316. На обертке: «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании. II. А. Фета». Автограф не обнаружен. Печатается по тексту первой публикации.

Обращение Фета к вопросу о преимуществах классического или реального образования было вызвано, очевидно, назначением министром народного просвещения графа Д. А. Толстого, который в апреле 1866 г., вскоре после покушения Д. В. Каракозова на жизнь Александра II, сменил на этом посту А. В. Головнина. Практически сразу после назначения Толстой занялся реформой школьного образования, направленной на борьбу против социалистических идей, одним из способов которой стала замена «реального» образования (с преимущественным вниманием к преподаванию естественных наук) «классическим». Новая линия правительства оказалась близкой на-

строениям Фета, который был убежденным поборником классического образования и не раз заявлял о себе как о непримиримом противнике нигилизма. В начале статьи Фет обращается к некоему собеседнику, с которым не успел довести разговор об классическом образовании до какого-либо «положительного вывода». Второе из «Двух писем...» содержит тираду в пользу национального характера воспитания, которая позволяет назвать в качестве возможного адресата статьи И. С. Тургенева, чей роман «Дым» появился в мартовском выпуске *PВ* (вышел в середине апреля 1867 г.). Роман вызвал резко негативную реакцию Фета, писавшего Л. Н. Толстому 15 июня 1867 г.: «Форма? Сам с ноготь, борода с локоть. Борода состоит из брани всего русского, в ту минуту, когда в России все стараются быть русскими. <...> В России-де все гадко и глупо и *все надо гнуть* насильно и на иностранный манер. На этом основании и дурак Литвинов *изучал* иностранную агрономию, чтобы ему, дураку, *применять* ее в своем имении. Ясно, осел. Не все ли это равно, что под русскую брыкуху запрячь паровоз?» (*Толстой. Переписка*. Т. 1. С. 384). Свое отрицательное мнение о «Дыме» Фет изложил и Тургеневу, о чем мы узнаем из письма последнего к Фету от 26 июля (7 августа) 1867 г. Тургенев отвечал тоже резко и вдобавок нелицеприятно высказался о последних стихотворениях Фета. 18 (30) ноября 1867 г. Тургенев писал И. П. Борисову, что Фет собирался прислать ему «какую-то свою педагогическую статью», но, вероятно, рассердившись за отзывы о его стихах, «раздумал» (*Тургенев. Письма*. Т. 8. С. 67). Речь шла, несомненно, о статье «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании».

Предположение о том, что Тургенев является адресатом статьи, подтверждается возобновлением спора на заявленную тему в переписке Фета и Тургенева спустя несколько лет. Письма Фета за этот период не сохранились, однако два тургеневских письма дают возможность реконструировать их содержание. В письме от 6 (18) сентября 1871 г. неожиданно встречается следующий пассаж: «Литератор отвечает только за напечатанное слово: где и когда я *печатно* высказался против классицизма? Чем я виноват, что разные дурачки прикрываются моим именем? Я вырос на классиках и жил и умру в их лагере: но я не верю ни в какую *Alleinseligmacherei* <единственную дорогу к спасению. — *нем.*> — даже классицизма — и потому нахожу, что новые законы у нас положительно несправедливы, подавляя одно направление в пользу другого. <...> Классическое, как и реальное, образование должно быть одинаково доступно, свободно — и пользоваться *одинаковыми* правами» (Там же. Т. 11. С. 133). В неизвестном письме Фета, очевидно, содержалось одобрение утвержденной Александром II 19 июня 1871 г. реформы средних учебных заведений, согласно которой предписывалось не допускать в университет выпускников реальных училищ и не превращать классические гимназии в реальные училища. На эту тему недвусмысленно высказался редактор *PВ* М. Н. Катков, на которого ссылался Фет. В следующем письме от 26 сентября (8 октября) 1871 г. Тургенев вынужден

был по пунктам отвечать на не дошедшее до нас письмо Фета, в котором были фактически повторены аргументы статьи 1867 г. В письме Фета были названы даже те же имена Дарвина и Шлейдена и сделан рисунок, изображающий иерархическое соотношение различных наук и институтов в русском обществе. В ответном письме Тургенев дает рисунок своей схемы, явно в противовес фетовской. В статье «Два письма о значении древних языков...» Фет писал об «архитектонике восходящих кругов воспитания» и давал словесное очертание этой иерархической схемы. Дополнительным аргументом в пользу высказанной гипотезы является и тот факт, что в письме Тургенева упоминается богословие, о котором «ни Вы, ни я не говорили». Но именно с вопроса о месте религии как одного из самых всеобъемлющих путей познания высшей истины и начиналась статья Фета, которую Тургенев, судя по всему, так и не прочитал (см. об этом: *Генералова-Н. П.* Об адресате «Двух писем о значении древних языков в нашем воспитании» А. Фета // Рус. лит. 2006. № 1. С. 274—276).

<I>

Стр. 274. На последнем мимолетном свидании нашем... — Возможно, Фет имеет в виду свидание с Тургеневым (см. выше преамбулу к коммент.).

Стр. 275. Участие всех граждан, привлеченное новейшим законодательством к общественным вопросам, возбуждено в высшей степени. — Имеются в виду законодательные реформы 1861—1864 гг., затронувшие все сферы общественной жизни.

...вопрос о классическом образовании. Легко говорить теперь, когда дело уже сделано, что оно устроилось бы и без журнальной полемики... — Последовательная реформа учебных заведений осуществлялась в 1857—1866 гг. Она затронула и духовные, и светские учебные заведения — прежде всего расширилось количество преподаваемых дисциплин. Само образование стало более открытым (об этом см. ниже).

Пасьмы (пасьмо, пасмо) — отдел (оборот) мотка льняных или пеньковых ниток.

Стр. 276. Было время, когда, вследствие исторических условий, лучшие умы, а за ними и массы — массам ничего не остается другого, как следовать за лучшими умами. — Речь идет о материализме и «пользе» естественных наук, в поддержку которых высказывался и Тургенев, хотя бы в романе «Отцы и дети».

Стр. 277. «Gefühl ist alles, — говорит Гете, — und wenn du ganz in dem Gefühl selig bist»... — Перефразировка слов Фауста, обращенных к Маргарите (Ч. 1. Сад). В переводе Фета: «И если сердце вдруг замлеет счастьем <...> Чувство все...» (Фауст. Трагедия Гете. Часть первая. Перевод А. Фета. М., 1882. С. 236).

...каков человек, таков его и бог. — Изречение приписывалось (не вполне основательно) Мартину Лютеру (1483—1546).

Вспомните пение сфер. — Пение (музыка, гармония) сфер — образ, основанный на представлении пифагорейцев о гармонических звуках, будто бы происходящих от движения небесных тел.

Стр. 279. Мы уже слышим скалозубство... — Неологизм Фета, многозначный, но имеющий в основе фамилию грибоедовского героя.

...простонародной поговоркой: «Ein Narr kann mehr fragen als zehn Weise antworten». — Русский аналог: «Один дурак задаст столько вопросов, что и ста мудрецам не ответить». В современных словарях зафиксирован следующий вариант пословицы: Ein Narr kann in einer Stunde mehr fragen, als zehn Weise in einem Jahr beantworten können (Один дурак за час спросит больше, чем десять мудрецов сумеют ответить за год) (Немецко-русский фразеологический словарь / Сост. Л. Э. Бинович и Н. Н. Гришин. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1975).

...das offene Geheimniss... — Возможно, неточное цитирование заглавия ст-ния Гете «Offenbar Geheimnis» (1814) из второй книги «Западно-восточного дивана» — «Хафиз-Наме».

...доводя его до геркулесовых столбов нелестности... — См. примеч. к стр. 210.

Стр. 280. «Ведь ревность глупость, мой друг...» — Цитата из романа Н. Г. Ченышевского «Что делать?» (См. об этом стр. 236 наст. тома).

«Und wenn der Mensch in seinem Gram verstummt, giebt ihm ein Gott zu sagen was er duldet», — говорим Гете. — Очевидно, в памяти Фета объединились два фрагмента: один — из поэмы «Торквато Тассо» (отрывок 5), где Qual — мука (терзания) является синонимом Gram — горечь, скорбь, и основное отличие состоит в субъектно-объектных отношениях — у Фета *дает ему*, у Гете — *дал мне*:

Und wenn der Mensch in seiner Qual verstummt,
Gab mir ein Gott zu sagen, wie ich leide.

Goethe. Torquato Tasso. S. 150
(vgl. Goethe-NA Bd. 5. S.66)

В переводе Левика это место звучит следующим образом:

Там, где немеет в муках человек,
Мне дал Господь поведать, как я стражду.

Эти же две строчки Гете поставил эпиграфом к своей «Элегии» (известной еще как «Мариенбадская элегия»); она входит в «Трилогию страсти», включающую: An Werther, Elegie, Aussonnung. «Элегии» предшествует «An Werther», который заканчивается следующими строками:

Verstrickt in solche Qualen, halbverschuldet,
Geb ihm ein Gott zu sagen, was er duldet.

*Goethe. Gedichte (Ausgabe letzter Hand.
1827). S. 675 (vgl. Goethe-BA Bd. 1. S. 497).*

То есть: «И когда человек в своей муке умолк, / Господь дал ему сказать, как он страдает».

«Ты им доволен ли, взыскательный художник?» — Из ст-ния Пушкина «Поэту» (1828).

Стр. 281. «Иль разорвется грудь от муки...» — Из ст-ния М. Ю. Лермонтова «Еврейская мелодия» («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 1836), являющегося вольным переводом ст-ния Байрона «My soul is dark...» («Моя душа темна...») из цикла «Еврейские мелодии».

Гете говорит: «Das Schöne ist höher, als das Gute; das Schöne schliesst das Gute in sich». — Ср.: *Гете И.-В.* Избирательное средство // *Гете И.-В.* Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1978. С. 258.

Стр. 282. «Илиада» — терцинами и «Divina Comoedia» — гекзаметром равно невозможны. — Гомеровский эпос написан гекзаметром, дантовская поэма — терцинами.

Стр. 283. Мочалов каждый вечер являлся с новым Гамлетом, и это продолжалось всю жизнь... — Павел Степанович Мочалов (1800—1848) — великий трагический актер, с 1824 г. выступал в Малом театре. Ему посвящена статья В. Г. Белинского «Мочалов в роли Гамлета» (1838). Фет вспоминает о Мочалове в своих мемуарах (РГ. С. 157—161).

...от Мадонны, перед которой набожно склонялся мир... — Возможно, речь идет о так называемой «Сикстинской Мадонне» (1515—1519), картине Рафаэля Санти (1483—1520), находящейся в Дрезденской галерее.

Стр. 284. Пересадивши в край родной... — Фет приводит не вполне точно первые четыре строки ст-ния С. Е. Раича, предпосланного им в качестве предисловия к собственному переводу «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо:

Пересадивши в край родной
С Феррарского Парнаса
Цветок Италии златой,
Цветок прелестный Тасса,
Лелеял я, как мог, как знал,
Рукою не наемной,
И ни награды, ни похвал
Не ждал за труд мой скромный;
А выжду, может быть — упрек
От недруга и друга:
«В холодном Севере поблек
Цветок прелестный Юга!

(Освобожденный Иерусалим Т. Тассо. Перевод С. А. <мфитеатрова> Раича. Ч. 1. М., 1828. С. 1. Цит. по: Поэты 1820—1830-х гг.: В 2 т. / Биогр. справки, сост., подг. текста и примеч. В. С. Киселева-Сергенина. Л., 1972. С. 18—19). Раич оказался прав: на его перевод появились помимо положительных (например, П. А. Вяземского) и совершенно отрицательные отзывы. Ст-ние датируется условно 1827 г. (Справка Н. А. Хохловой. — *Ред.*).

С. Е. Раич (1792—1855) — поэт, переводчик, журналист, издатель, в его кружок входил С. П. Шевырев, с которым общался Фет, будучи студентом Московского университета. Не исключено, что Фет был знаком с Раичем.

Феррарский цветок... — Феррара — провинция и город в северной Италии, один из очагов итальянского Возрождения. Здесь жил Тассо (а также Ариосто и др. авторы рыцарских поэм), служивший у феррарского герцога придворным поэтом.

Стр. 285. «Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман». — Из ст-ния Пушкина «Герой» (1830).

Стр. 286. ...география, которую Простакова с полным правом поразила в самое сердце замечанием: «Извозчики сами знают дорогу». — Неточная цитата из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (действие 4, явление VIII): «Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин скажи только: повези меня туда, свезут, — куда изволишь».

Стр. 288. Конкрет, параллакс — термины соответственно физического и астрономического. Конкрет — степень плотности тела, параллакс — изменение положения небесного тела из-за перемещения наблюдателя.

Стр. 289. ... о Пифагоре... — Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) — др.-греч. мыслитель и математик.

Крупчатка — сорт пшеничной муки, отличающийся значительной зернистостью, готовится из твердых сортов пшеницы; мельница, на которой мелется крупа.

...вынуждены устами Фауста изречь свое убийственное: «Und binn nicht kluger wie zuvor»... — Неточная цитата из первого монолога Фауста. У Гете: Da steh ich nun, ich armer Tor! / Und bin so klug als wie zuvor. В переводе Фета: И вот стою я, бедный глупец! / Каким и был, не умней под конец... (Фауст. Трагедия Гете. Часть первая. Перевод А. Фета. М., 1882. С. 35).

Стр. 291. Шлейден говорит: «Подобно тому, как философия опирается на естествоведение, она в свою очередь руководит, развивает естествоведение и спасает от заблуждений». — Шлейден Маттиас Якоб (1804—1881) — немецкий ботаник, член-корреспондент Петербургской Академии Наук с 1850 г. В 1863—1864 гг. жил в России. Источник цитаты не установлен.

Говоря о различных соотношениях руководящих жизненных сил, Карлейль спрашивает, какое из этих самое худшее? — и тут же отвечает: «То, которое у нас в настоящее время, т. е. когда хаос засту-

пает место высшего критериума». — Источник цитаты не установлен. Похожие идеи формулируются в различных его сочинениях. Например, в книге «Французская революция. История»: «В этой обстановке всеобщего хаоса и крушения <...> зло растет и ширится»; «В это время, когда повсюду вновь распространяется невероятный хаос, бушующий внутри...» (перевод 1907 г. цит. по изд.: Карлейль Т. Французская революция. История. М., 1991. С. 16, 50).

Стр. 292. Шопенгауэр — этот заклятый враг педантизма — назвать оперу по рассказам о ней. — «Только от самих творцов можно получать философские мысли <...>. Основные главы каждого из таких настоящих философов во сто раз лучше объяснят их учение, чем вялые и косные их изложения, смастеренные дюжинными головами...», — писал Шопенгауэр в предисловии ко второму изданию своего главного труда (*Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. А. Фета. Изд. 4-е. СПб., <Б.г.>. С. XXV*). См. также примеч. к стр. 141 наст. изд.

II

Стр. 293. ...не подразумеваем кучерской поддевки или несуществующих в народе степенных сапогов первой французской империи. — Кучерская поддевка — вероятный намек на славянофилов и экстравагантный псевдорусский стиль, ими проповедуемый. Возможно, намек на Ап. Григорьева, носившего своеобразный костюм в русском стиле. *Степенные сапоги* — оксюморон. Источник приведенного Фетом выражения не установлен.

Воспитание должно с молоком матери — как море выбрасывает свою мертвечину. — Возможно, скрытый отклик на только что появившийся роман Тургенева «Дым» и рассуждения главного его героя Потугина (см. выше).

Стр. 294. «И книжному искусству вразумил»... — Из «Бориса Годунова» Пушкина (реплика Пимена).

Только его идеал — убил Пифона, этого змия неподвижности и мрака. — Пифон — в др.-греч. мифологии чудовищный змей, порождение Геи; его убил бог света Аполлон, представленный здесь идеалом человеческой личности.

Ното сум ет нил хитани а те алиеним рито. — Автором фразы считается римский комедиограф Публий Теренций (185—159 до н. э.).

Только благодаря бесценному завещанию классического мира, благодаря протеевскому огню всестороннего образования — Европа является тем, что она есть — главою и повелительницей всего света, какую в свое время была Римская империя. — Римская империя прекратила существование в 476 г. Около 1000 лет ее «наследницей» была Восточная Римская империя (Византия).

Стр. 295. «Требовать от человека, — говорит Шопенгауэр, — чтобы он хранил в памяти все прочитанное — сделался именно тем, что я есть». — Источник цитаты не установлен.

Стр. 296. Греческий красавец Геркулес навсегда расчистил Авгиевы стойла тупого, одностороннего сектаторства... — Расчист-

ка Авгиевых конюшен — пятый подвиг Геракла, исполненный не силой, но хитростью. *Сектаторство* — то же, что сектантство, сепаратизм в переносном смысле, т. е. склонность к догматизму и защите групповых интересов, групповщина. Слово «сектаторы» Фет часто употребляет в значении группы людей, защищающих узкие, корпоративные интересы, например, социалисты.

Es gab kein Buch in ganz Athen / O schreckliche Wermessenheit! / Man wurde von Spazieren gehn / Und von der Luft gescheidt. — Источник цитаты не установлен.

Стр. 297. *Июльская революция 1830 года показала Нибуру конечным торжеством мрачного Пифона — и ревностный жрец древней цивилизации не перенес этой ужасающей мысли.* — Нибур Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк, основатель научно-критического метода в истории. Его основной труд «Римская история» остался незавершенным из-за смерти автора, которую Фет воспринимает как символ цикличности истории — французская империя повторяет судьбу римской.

Подымая свое иконоборство... — Религиозное и социально-политическое движение в Византии и др. странах, связанное с борьбой против поклонения иконам.

«Мне были б желуди, ведь я от них жирею». — Из басни И. А. Крылова «Свинья под Дубом» (1825).

Стр. 298. *Аггломерат* (агломерат) — рыхлое скопление обломков горных пород; зд.: механическое соединение.

Стр. 299. *...Лафонтен и Бюффон принимают хитрость лисицы за несомненный факт.* — Фет парадоксально сближает имена знаменитого баснописца Жана де Лафонтена (1621—1695) и известного естествоиспытателя Жоржа Луи Леклерка Бюффона (1707—1788), автора «Естественной истории животных», который отстаивал идею изменчивости видов под влиянием среды. О «сметливости» животных писал Шопенгауэр, отмечая лисицу, «которой ум так художественно изображен Бюффоном» (*Шопенгауэр А. Мир как воля и представление* / Пер. А. Фета. Изд. 4-е. С. 22).

Стр. 300. *Европа пришла в столкновение с Востоком из-за священной идеи.* — Имеются в виду Крестовые походы (1096—1270), которые предприняли европейские страны на Восток (в Сирию, Палестину, Сев. Африку) под знаменем идеи освобождения гроба Господня и «святой земли» (Палестины) от мусульман. В результате этих походов крестоносцы потеряли все свои владения на Востоке и вынуждены были вернуться на родину.

Стр. 301. *...выдать ему Патрокла за Фирсита - Фирситу прослать Ахиллесом.* — Персонажи «Илиады» Гомера. Патрокл — герой, друг Ахиллеса, Фирсит — лжец и трус.

«...уродливые - явления, которые могут быть названы общим именем семинаризма, когда в семинарское образование - входило изучение латинского и греческого языков?». — Изучение классических языков в семинариях усилилось во второй половине 1850-х гг.; ре-

форма, проведенная обер-прокурором Синода Д. А. Толстым в 1860-е — 1870-е гг., предусматривала также обязательность изучения новых языков и философии. Древние языки были практически исключены из семинарской программы в 1884 г.

Стр. 302. Воспитанники-отщепенцы являлись в этом отношении силачами сравнительно со сверстниками - из той же самой среды вышла целая литература, обличающая уродливость этих условий. — Во второй половине 1850-х гг. реформа сделала сословные духовно-учебные заведения открытыми для представителей всех классов. К «литературе, обличающей уродливость этих условий», Фет относил, очевидно, «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского, откуда были позаимствованы эпиграфы к ст. о «Что делать?» Чернышевского (см. стр. 195 наст. тома).

Стр. 304. ...поставить Александровскую колонну. — Александровская колонна — памятник в честь победы в Отечественной войне 1812 г. в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади; установлена в 1830—1834 г. Автор — Август (Огюст) Монферран (1786—1858).

...произвела злокачественную болезнь, получившую прозвание нигилизма (ничтожества). — Свое отношение к нигилизму Фет раскрыл в ряде статей, в т. ч. о романе «Что делать?» (см. наст. том) и в публицистике (см., например: *Фет А. Где первоначальный источник нашего нигилизма? / Публ. Г. Д. Аслановой и В. И. Щербакова) / А. А. Фет и русская литература: XV Фетовские чтения. Курск; Орел, 2000. С. 5—12 и др.*)

...сектаторства — этого нравственного ивана-чая, настолько же безвкусного, как и вредного! — О сектаторстве см. примеч. к стр. 296. *Иван-чай* (кипрей узколистный, копорский чай, копорка) — многолетнее растение. Фет имеет, очевидно, в виду то, что иван-чай часто растет на месте заброшенных домов, на пустырях, там, где культурные растения глохнут и вымирают, — это позволяет рассматривать его как сорняк.

Что случилось по см<ерти> Анны Кар<ениной> в «Русск<ом> В<естнике>». Впервые: ЛН. Т. 37—38. М., 1939. С. 231—238. Печатается по тексту незавершенной писарской копии.

Фет проявлял постоянный интерес к «Анне Карениной» — как во время работы Толстого над романом, так и в период публикации его, однако взялся за написание статьи по вполне конкретному поводу — отказу редактора *РВ*, где печаталась «Анна Каренина», опубликовать эпилог к роману. В связи с этим решением пришлось выступить в собственном журнале самому редактору — М. Н. Каткову в июльском номере *РВ* (1877. Т. 130. С. 448—462) (см. его статью-объяснение ниже). Фет был крайне возмущен столь откровенным произволом по отношению к выдающемуся писателю, с которым он был особенно близок в это время, и взялся опровергнуть выдвинутые против толстовского произведения обвинения. Прежде всего, он доказывал тезис о цельности, «живорожденности» романа (см.: *Крайнева И. Н.* Статья А. Фе-

та об «Анне Карениной» и «органическая критика» // Проблемы эстетики и поэтики: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 160. Ярославль, 1976. С. 57—61; *Бабаев Э. Г.* Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. М., 1978. С. 204—210). Следует отметить, что во время написания «Анны Карениной» отношения Фета и Толстого переживали своеобразный расцвет. Многие в образе любимого Толстым Константином Левина напоминает Фета (о Фете как прототипе Левина см.: *Черемисинова Л. И. А.* Фет и Л. Толстой (к истории отношений) // Проблемы изучения жизни и творчества А. А. Фета. Сб. науч. тр. / Отв. ред. Г. Е. Голле. Курск, 1992. С. 146—166; *Ее же:* А. Фет как один из прототипов образа Левина в романе Л. Толстого «Анна Каренина» // Скафтымовские чтения: Материалы науч. конф., посвящ. столетию со дня рожд. А. П. Скафтымова. 23—28 окт. 1990 г. Саратов, 1993. С. 52—57). Это не противоречит тому, что писал Фет Толстому 15—20 февраля 1876 г.: «...какой великолепный замысел сюжета! Герой — Левин — это Лев Ник<олаевич> человек (не поэт), тут и В. Перфиль<ев>, и раскудит<ельный> Сухотин, и все и вся, но возведенное в перл создания».

Более подробный разбор романа находится в письме от 26 марта. А 12 апреля 1877 г. Фет обратился к Толстому по поводу критических откликов на роман: «...все эти дураки ничего не поняли из ваших глубоких и тяжеловесных слов, то это только доказывает их повальную и безнадежную тупость. Там где в основу мирозерцания не положена *гранитная скала* необходимости, там один бедлам» (*Толстой. Переписка*. Т. 1. С. 470). Несогласие с критиками и стремление выразить свое мнение привели Фета к написанию статьи. Фет направил свою статью Толстому под псевдонимом Бологов (для псевдонима Фет использовал фамилию своего письмоводителя) 23 августа 1877 г., пояснив: «...Бологов писал ее более для Вас» (Там же. С. 480). Это позволяет датировать статью временем между июлем и 23 августа 1877 г.

Автор «Анны Карениной» разгадал мистификацию и высоко оценил намерение критика в письме к Фету от 2—3 сентября 1877 г.: «Статью Бологова проглотил и только сокрушался, что он не отдельное новое лицо — был бы новый друг. Послал статью Страхову» (*Толстой. Переписка*. Т. 1. С. 481). Развитие эти мысли получили в письме от 1—2 сентября: «Можно не узнать произведение ума, к которому равнодушен; но произведение ума любимого, выдающего себя за чудное, так же смешно и странно видеть, как если бы я приехал к вам судиться и, глядя на вас во все глаза, уверял бы, что я адвокат Петров. <...> Мне очень радостно было читать анализ своих мыслей, при котором все мои мысли, взгляды, сочувствия, затаенные стремления поняты верно и поставлены все на настоящее место» (Там же. С. 480). Ср. в письме к Н. Н. Страхову от 2 сентября 1877 г.: «...с первых страниц я узнал Фета. Статья, по-моему, очень хороша, за исключением переизбытка и неожиданности сравнений. Он желает ее напечатать, и мне бы хотелось, потому что сказано все, что я бы хотел сказать». Однако опубликовать статью Фету (как и утраченную статью о «Войне и мире») не удалось. Рукопись ее утрачена, видимо, вместе с редакционным архивом *РВ*.

Ниже мы приводим заметку М. Н. Каткова полностью, исключив лишь обширные выдержки из текста Толстого, которыми безымянный автор (конечно, сам редактор) иллюстрирует свое изложение:

Что случилось по смерти Анны Карениной

Анна Каренина Роман гр. Л. Н. Толстого. Часть восьмая и последняя Москва 1877.

Объявляя, что эпилог «Анны Карениной» не появится на страницах «Русского вестника», мы заметили, что роман с трагической смертью героини собственно окончился. Насколько мы были правы, теперь может судить всякий, имея перед глазами конец произведения, отдельно изданный автором и названный им восьмой и последней частью романа. Автор поясняет, что «последняя часть *Анны Карениной* выходит отдельным изданием, а не в *Русском вестнике*, потому что редакция этого журнала не пожелала печатать эту часть без некоторых исключений, на которые автор не согласился». Читателям, без сомнения, мало интереса знать подробности и повод возникшего несогласия между автором и редакцией, и мы не намерены вести беседу ни о тех исключениях, которые нам казались желательными, ни об исключениях и прибавлениях, тем не менее сделанных автором. Но читателям, следившим за движением романа, небезынтересно узнать, что последовало за смертью героини и во что разрешилось это так давно занимавшее их произведение.

Свеча вспыхнула и потухла. Страшный поезд прогремел, обещающее на первой странице отмишние свершилось. Анна погибла, сложив голову под колесницу Джагернаута нашего века. Какие последствия имело потрясающее самоубийство в его новомодной форме? Как отнеслись к нему в том мире живых лиц, среди которого с такой поразительной наглядностью представления умел держать нас автор в продолжение своего рассказа? Что почтенный Алексей Александрович, как принял он весть о страшном конце жены? Что пережил в душе своей предмет роковой страсти героини, Вронской? Какое впечатление произведено в Аркадии Левиных и в семействе доброй Долли? Что случилось вообще с лицами романа и какую можно предполагать пред ними перспективу? К сожалению, обо всех этих интересных вещах читатель не много узнает из последней части романа, можно сказать, не узнает почти ничего. Конечно, не сказать вовсе ничего о Вронском и о впечатлении Анниной смерти было невозможно. Тень Вронского проходит пред читателем, читатель слышит также мельком, что Алексей Александрович был на похоронах жены. Но вот и все. Не многим менее узнал бы читатель, если бы просто было сказано, что нравственно разбитый Вронской уезжает в Сербию, а об Алексее Александровиче и вовсе не было бы ничего сказано. До последней части романа можно было заметить, что автор с любовью ху-

дожника относился к каждому из изображаемых им лиц, с удивительным тщанием останавливался на каждой черте, способной придать рельефность образу. Теперь, в последней части, он совсем разлюбил свою Анну и слышать о ней не хочет. Она даже не названа ни разу по имени. Весь интерес автора не только к героине, но и к сюжету и к плану всего рассказа, в его главном замысле, как бы исчез. Даже Вронскому автор придал сильную зубную боль, чтобы тот не только говорить, но и думать не мог много об Анне. В семействе Левиных собралось немало народу, тут и Сергей Иванович, и Катавасов, и старый князь, и Долли с детьми, говорят о многом, но для всей этой компании как бы не бывало страшного эпизода, так поразившего даже читателей, знакомых с Анной только из рассказов, а не из личного знакомства, как эти господа. Точно апрельская книжка «Русского вестника» не дошла еще в деревню Левиных.

Сергей Иванович Кознышев едет в деревню к брату Левину. Книга ученого славянофила не имела успеха, но он теперь забыл о ней думать, поглощенный славянским вопросом, которого он был и прежде одним из деятельных возбудителей. Он работал весну и часть лета, едва успевая отвечать на все обращаемые к нему письма и требования. В июле собрался поехать отдохнуть у брата в деревню. С ним вместе едет спорщик-естествоиспытатель Катавасов, давно сбивавшийся к Левиным <...>

Поезд тронулся. На первых станциях овации продолжались, Катавасов с любопытством естествоиспытателя расспрашивал Сергея Ивановича о добровольцах и по совету его сам отправился к ним во второй класс. Впечатление было далеко не в их пользу. В городе, куда прибыл поезд, добровольцы были встречены опять криками и пением, дамы подносили букеты, явились сборщики и сборщицы с кружками, но «все это было гораздо слабее и меньше, чем в Москве» <...>

Здесь мы и автор окончательно прощаемся с Вронским. Рассказ, правда, еще длится, но самая память о бедной Анне исчезает.

Автор заинтересовался славянским вопросом, и созданные им лица правят тризну по героине романа рассуждениями на эту тему.

Старый оригинал князь, отец Китти и Долли, спрашивает, обращаясь к Сергею Ивановичу: «Куда едут все эти добровольцы, с кем они воюют?» — «С турками», — не без основания отвечает Сергей Иванович: «Да кто же объявил войну туркам, Иван Иванович Рогозов и графиня Лидия Ивановна с мадам Шталь?» — допрашивает князь: «Никто не объявлял войны», — с той же основательностью замечает Сергей Иванович Левин, хотя после обращения и давший себе зарок не спорить, не выдержав, вступает в прения <...>

Теория Левина произвела, по-видимому, сильное впечатление на автора, так как он посвящает развитию ее еще страницу, хотя сам Левин досадовал, что втянулся в спор, и думал: «Нет, мне нельзя спорить с ними, на них непроницаемая броня, а я голый» <...>

Сербский вопрос и добровольцы только раздражали Левина, но философские сомнения терзали его в такой мере, что он, счастливый

семьянин, здоровый человек, был несколько раз близок к самоубийству, прятал шнурок, чтобы не повеситься, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться. Счастливое обращение произошло вдруг под озарением разговора с подавальщиком Федором <...>.

Обращение подало Левину повод ко многим страницам размышлений о конечных причинах и целях, размышлений, не всегда, впрочем, ясных, а по части астрономии и не совсем точных <...>

Мечтатель забыл, что удивительные заключения о расстояниях, весе, движениях и возмущениях небесных тел астрономы вывели, именно принимая в расчет, по его выражению, «все сложные разнообразные движения Земли»

Милая Китти, вся поглощенная ребенком и домашними заботами, не давала большой цены философским страданиям мужа и, конечно, лучше самого автора знала, что добрейший Костя просто дурит. Даже в то время, когда тот прятал шнурок и не брал ружья, Китти всегда «с улыбкой думала о неверии мужа и говорила сама себе, что он смешной». Автор вводит нас в круг ее наивных, но в настоящем случае весьма здравых мыслей <...>

Добрая Китти не знает, что «неверующий Костя» уверовал. Так она и не узнала этого до конца. Он не решится сказать ей свою тайну даже на последней странице вскоре после общей семейной радости по случаю, что Митя начал признавать своих <...>

Так рассуждает уверовавший Костя, и этим кончается эпилог, или «восьмая и последняя» часть романа. В чем состоит внезапное озарение, случившееся с Левиним, это остается неизвестным для читателей, как осталось неизвестным для жены Левина, как осталось неизвестным для самого Левина. Хуже всего то, что он и впредь грозит остаться таким же неспособным спорщиком, каким был в своем неверии. А дар молигвы, которого он обрел в себе? Но это не новость. Костя и прежде, до разговора с подавальщиком Федором, когда приходилось тугу, молился очень усердно. А между тем для читателей нет никаких обеспечений, что вера его будет серьезнее, чем было его безверие. Во всяком случае, просветление Кости явилось случайно, не обусловлено ходом целого и не имеет ни внутренней, ни внешней связи с судьбою главной героини.

Вот и все содержание заключительных глав, не попавших в «Русский вестник».

Не лучше ли оборвать музыку диссонансом, чем оканчивать приделанными мотивами, не имеющими связи с темой?

Роман остался без конца и при «восьмой и последней» части. Идея целого не выработалась. Для чего, всякий может спросить, так широко, так ярко, с такими подробностями выведена перед читателями судьба алополучной героини, именем которой роман назван? Судьба эта остается мастерски рассказанным случаем очень обыкновенного свойства и послужила только нитью, на которую нанизаны прекрасные характеристики и эпизоды. Но если произведение не доработалось, если естественного разрешения не явилось, то лучше, кажется, было прервать

роман на смерти героини, чем закончить его толками о добровольцах, которые ничем не повинны в событиях романа. Текла плавно широкая река, но в море не впала, а потерялась в песках. Лучше было заранее сойти на берег, чем выплыть на отмель.

Стр. 308. Аз воздам. — «Мне отмщение, и Аз воздам!» (Рим., 12:19). Эпиграф к «Анне Карениной». О толстовском толковании эпиграфа к роману см.: *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1974. С. 160—173.

Denn weil, was ein Professor spricht... — Первая и последняя строки из заключительной строфы «Die Weltweisen» Ф. Шиллера.

Точно так<им> же обр<азом> чел<овеческий> ум... — Фраза из статьи (главы из книги) А. Н. Стадлина «Философское учение Дж. Г. Луиса (Льюиса)» («Вопросы о жизни и духе, Problems of Life and Mind»), опубликованной в том же номере *РВ*: «Точно таким же образом человеческий ум естественно действует по определенным нормам и законам, имманентно присущим ему, хотя одно только философское исследование в состоянии выделить эти нормы и законы из смутного синтеза сознания и выразить их в дискурсивной форме» (1877. Т. 130. С. 77). В ней полностью приведена строфа из стихотворения Ф. Шиллера «Die Weltweisen», цитату из которой Фет взял вторым эпиграфом. Льюис Джордж Генри (1817—1878) — популярный в XIX в. философ-позитивист и ученый-физиолог, писатель. Состоял в гражданском браке с английской писательницей Джорж Элиот (наст. имя и фам. Мэри Анн Эванс, 1819—1880). Ему, кроме упоминаемой, принадлежат работы «История философии», «Физиология обыденной жизни». Непосредственным продолжением «Вопросов о жизни и духе» является «Исследование психологии».

«Роман остался без конца... Идея целого не выработ<алась>; лучше было заранее сойти на берег, чем выплывать на отмель». — Заключительные фразы статьи М. Н. Каткова «Что случилось по смерти Анны Карениной» (*РВ*. 1877. Т. 130. С. 462). Катков в этом фрагменте заимствует образы из романа Пушкина «Евгений Онегин» и из трактовки его в знаменитом критическом цикле В. Г. Белинского. Ср. у Пушкина:

Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора! (8, XLVIII)

Пора: перо покоя просит;
Я девять песен написал;
На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал.

(Отрывки из *Путешествия Онегина*)

Эти формулы Пушкина использовал в своих статьях Белинский, придав им концептуальное значение в истолковании как художественных особенностей романа, так и проблемы его заглавного героя: «Мы думаем, что есть романы, которых мысль в том и заключается, что в них нет конца, потому что в самой действительности бывают события без развязки, существования без цели...» (Белинский. Т. 7. С. 469).

У Каткова «роман остался без конца», потому что «идея целого не выработалась». Фет, используя тот же образ, говорит о художественной завершенности романа как целого при внешней бесцельности жизни его героев.

М-r Jourdain говорит прозой, не подозревая этого. — Герой комедии Ж.-Б. Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670), которому принадлежит реплика: «Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой» (действие I, явление 6; пер. Н. Любимова).

Г<осподи>н Востоков мож<ет> делать ошибки в русск<ом> языке... — Александр Христофорович Востоков (Остенек) (1781—1864) — филолог, академик Петербургской АН. Исследователь древнеславянской письменности, грамматики славянских языков. Его неславянское происхождение стало причиной нападков на Востокова некоторых его коллег.

Стр. 309. ...к Диогену или к ощипанному им петуху. — Имеется в виду Диоген из Синопа (414—323 до н. э.) — философ-кирик, ученик Антисфена. Среди многочисленных анекдотов о выходках Диогена есть и остроумная реплика в споре с Сократом. В ответ на предложенное определение человека как «двуногого без перьев» Диоген якобы продемонстрировал ощипанного петуха.

...на всякого мудреца бывает простота. — Перифраз поговорки «на всякого мудреца довольно простоты», актуализированной тем, что она была избрана в качестве заглавия пьесы А. Н. Островского (1868).

...советом Платона: венчать растлевающих поэтов и мудрецов и выгнать вон из государства. — Известное положение, высказанное Платоном в диалоге «Государство». В номере БДЧ, где напечатана статья А. В. Дружинина, упомянутая Фетом в связи с поэзией Тютчева, помещена заметка «Община Платона (в обработке Бартеlemi)», в которой пересказывается данная мысль: «Если бы в нашем городе появился один из этих поэтов, которые владеют искусством разнообразить речь и представлять без разбора разнообразных лиц, мы умастили бы его главу ароматами и удалили бы из города» (БДЧ. 1858. Т. 151. Отд. VII. С. 3).

...последовать совету Скалозуба — «Чтоб зло пресечь, собрать все книги да и сжечь». — Неточно воспроизведенная реплика Фамусова из «Горя от ума» (действие III, явление 21).

...искусство действует образами, а не сентенциями. — Общее положение русской эстетики 1840—1860 х гг., восходящее к Геге-

лю. Ср., например, у Белинского: «Искусство есть *непосредственное* созерцание истины, или мышление в образе» (Белинский. Т. 4. С. 585); «Поэзия есть истина в форме созерцания <...> поэзия есть та же философия, то же мышление <...> в форме непосредственного явления идеи в образе. Поэт мыслит образами; он не *доказывает* истины, а *показывает* ее <...> поэтический образ не есть что-нибудь внешнее для поэта, или второстепенное, не есть средство, но есть цель: в противном случае он не был бы образом, а был бы символом. Поэту представляются образ, а не идея, которой он из-за образа не видит <...> без ведома и без воли его возникают в фантазии его образы, и, очарованный их прелестью, он стремится из области идеалов и возможности перенести их в действительность, т. е. видимое одному ему сделать видимым для всех» (Там же. Т. 3. С. 431—432).

Стр. 310. ...сто Гольбейнов, Рембрандтов, Мурильо и Ван-Дейков... Гольбейн-мл. Ганс (1497 или 1498—1543) — немецкий живописец и график, представитель Возрождения. Рембрандт Харменс ван Рейн (1606—1669) — голландский живописец. Ван-Дейк Антонис — фламандский живописец, см. о нем примеч. к статье «О стихотворениях Ф. Тютчева». Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский живописец.

«И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал». — Из романа «Евгений Онегин» (8, Л).

...под разными широтами и в разные эпохи изображал метель метелью, а людей людьми. — Первое из упомянутых здесь произведений — повесть «Метель» (1856), второе, очевидно, повесть «Казачки» (1863) («под разными широтами»), третье, скорее всего, роман «Война и мир» (1865—1869) («в разные эпохи»). Любопытно сравнение «Метели» с поэзией Фета, предпринятое А. В. Дружининым в статье «Метель. — Два гусара. Повести графа Л. Н. Толстого» (1856): «Г. Фет, как талант высокопоэтический, с большой удачей разработал не одну тему в роде “Метели” <...> С прозой, вроде “Метели”, ее автор должен обращаться как со стихотворением, и причина тому весьма понятна» (Дружинин А. В. Литературная критика. С. 109).

...а не тенденциозными куклами. — Возможно, отголосок мнения Тургенева о «Войне и мире», высказанного им в письме к И. П. Борису от 15 (27) числа 1870 г. и ставшего известным Фету: «...историческая прибавка, от которой собственно читатели в восторге, — кукольная комедия и шарлатанство. Толстой поражает читателя носком сапога Александра, смехом Сперанского, заставляя думать, что он все об этом знает, коли даже до этих мелочей дошел, — а он и знает только, что эти мелочи. Фокус, и больше ничего, — но публика на него попалась» (Тургенев. Письма. Т. 8. М.; Л., 1963. С. 200).

...при общем движении современной мысли и он был увлечен задачей: что делать? куда идти? — Очевидный намек на роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» (1863), о котором Фет написал статью (см. наст. том); сходный вопрос повторен и Федором Михайловичем Решетниковым (1841—1871) в романе «Где лучше?» (1869).

Стр. 311. ...рассказать, как такая то героиня сбросила с себя все исторические и нравственные семейные узы и затем показать под конец, как за это ее боженька камнем убьет. — Это изложение «общих мест» эмансипационной литературы очень напоминает сюжет драмы А. Н. Островского «Гроза» (1859), которую Фет, в отличие от большинства своих современников, резко не принимал. Ср., например, письмо Тургенева к Фету от 28 ноября 1860 г.: «Мне переслали ваше письмо из деревни. — Фет! помилосердуйте! Где было ваше чутье, ваше понимание поэзии, когда вы не признали в Грозе (Островский читал ее вчера у меня) удивительнейшее, великолепнейшее произведение русского, могучего, вполне овладевшего собою таланта? Где вы нашли тут мелодраму, французские замашки, неестественность? Я решительно ничего не понимаю, и в первый раз гляжу на вас (в этого рода вопросе) с недоумением. Аллах! какое затмение нашло на вас?». В. П. Боткин писал 20 марта 1860 г. Фету: «Что касается до “Грозы” Островского, то я “au bout de mon latin”. Это лучшее произведение его, и никогда он еще не достигал до такой силы поэтического впечатления. Катерина останется типом. И какая обстановка! — эта фантастическая барыня, эта полуразвалившаяся и заброшенная церковь, эта идиллия, озаренная зловещим предчувствием неминуемого и страшного горя; — все это превосходно, широко, сильно и мягко» (МВ. Ч. 1. С. 323). Мнение Фета разделял, однако, Толстой, который в письме к Фету от 23 февраля 1860 г. писал: «“Гроза” Островского есть по-моему плачевное сочинение, а будет иметь успех» (Там же. С. 318). Все эти письма Фет приводит в своих мемуарах, намеренно при этом не формулируя собственного мнения.

...нравственной несостоятельности окружавшей ее среды. — Poleмика о теории пагубного воздействия окружающей среды на человека и его собственной ответственности за поступки неоднократно рассматривалась. См.: Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе. М., 1965.

Перуджино (Ваннуччи) Пьетро — см. примеч. к стр. 106 наст. тома.

...нравственная неразвитость не представляла опоры в борьбе, бедность заела и т. д. — Ср. высказывания Разумихина в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (1863): «Я тебе книжки ихние покажу: все у них потому, что “среда заела”, — и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать, и все в один миг станут праведными. Natura не берется в расчет, натура изгоняется, природы не полагаются! У них не человечество, развившись историческим, живым путем до конца, само собою обратится наконец в нормальное общество, а, напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тотчас же и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути!» Порфирий

Петрович возражает ему: «Нет, брат, ты врешь: “среда” многое в преступлении значит; это я тебе подтверждаю». И далее происходит такой обмен репликами:

«— И сам знаю, что много, да ты вот что скажи: сорокалетний бесчестит десятилетнюю девочку, — среда, что ль, его на это понудила?»

— А что ж, оно в строгом смысле, пожалуй, что и среда, — с удивительною важностью заметил Порфирий, — преступление над девочкой очень и очень даже можно “средой” объяснить» (*Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 6. Л., 1973. С. 196—197).

...переломить чепец через мельницу. — Буквальный перевод фр. выражения «Jeter son bonnet par-dessus les moulins» (пренебречь общественным мнением).

Стр. 312. Исчислять все то, что делают люди в романе, значило бы приводить целиком роман. — Ср. с весьма близким позднейшим высказыванием самого Толстого в письме к Н. Н. Страхову: «Если бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен был бы написать роман тот самый, который я написал, сначала...» (*Толстой Л. Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 62. С. 269).

...начиная с москвича в гарольдовом плаще. — «Москвич в Гарольдовом плаще» — так характеризует в романе Пушкина «Евгений Онегин» Татьяна Ларина главного героя (7, XXIV).

...проходя через Печорина, Рудина и Обломова. — Фет частично воспроизводит ту «родословную» «лишних людей» в русской литературе, которую построил Н. А. Добролюбов в своей статье «Что такое обломовщина?» (1859): «...все герои замечательнейших русских романов и повестей страдают оттого, что не видят цели в жизни и не находят себе приличной деятельности. Вследствие того они чувствуют скуку и отвращение от всякого дела <...>. Раскройте, например, “Онегина”, “Героя нашего времени”, “Кто виноват”, “Рудина”, или “Лишнего человека”, или “Гамлета Шигровского уезда»» (*Добролюбов Н. А.* Собр. соч.: В 9 т. Т. 4. М.; Л., 1962. С. 321).

...отрицателем и революционером, как Базаров. — Герой романа Тургенева «Отцы и дети» (1861), нигилист, в качестве революционера истолкованный в статьях Д. И. Писарева «Базаров» (1862) и «Реалисты» (1864).

...вследствие разрушения прежних экономических отношений... — Речь идет об отмене крепостного права в 1861 г.

Стр. 313. Panis, picis, crinis, finis... — Перечень латинских слов для запоминания родительных надежд существительных.

Шопенгауэр беззастенчиво обзывает черню, *der röbel*, всех не знающих с древними. — Согласно теории Шопенгауэра, «освобождение» от мира может быть достигнуто через бескорыстное эстетическое созерцание и сострадание. Здесь Фет упоминает фрагмент 263 из «Новых афоризмов» (1810- 1860): «Подобно аристократии общественной, и в аристократии природной приходится десять тысяч плебеев на од-

ного дворянина и миллионы на одного князя. И здесь большинство есть сброд, plebs, mob, rabble, la canaille» (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Минск, 1999. С. 1393. Пер. Р. Кресина).

Стр. 314. Будучи, очевидно, носителем положительного идеала, Левин... — О соотношении образа Левина и самого Толстого см.: Эйхенбаум Б. М. Лев Толстой. Семидесятые годы. С. 177—180.

...на сенокосе, за тюрем или на постоялом дворе... — Перечисляются сцены из романа (ч. 3, гл. V, ч. 6, гл. XVI, ч. 8, гл. XI).

...он в то же время не перестает изучать философов не сквозь цветные очки профессорских лекций, а собственным трудом, по источникам. — В этом описании Левина учтено его противопоставление, сделанное в романе самим Толстым, со сводным братом Левина Кознышевым: «Слушая разговор брата с профессором, он (Левин. — А. С.) замечал, что они связывали научные вопросы с душевными, несколько раз почти подходили к этим вопросам, но каждый раз, как только они подходили близко к самому главному, как ему казалось, они тотчас же поспешно отдалялись и опять углублялись в область тонких подразделений, оговорок, намеков, ссылок на авторитеты, и он с трудом понимал, о чем речь» («Анна Каренина», ч. 1, гл. VII). Зд. Толстой явно имеет в виду высказывание Шопенгауэра, на которое ссылался и Фет (см. примеч. к стр. 292).

...на которые указывает г. Стадлин. — См. выше.

На случайности просветления добрейшего, просто дурящего (зри стр. 461) Кости. — Здесь и далее Фет имеет в виду разбор философских метаний Левина, произведенный в статье РВ (см. выше).

Стр. 315. Гоголь, как известно, в плане к «Мертвым душам», не ограничиваясь отрицательной стороной, обещал воплотить и положительную. — Это обещание содержится в последней главе первого тома «Мертвых душ»: «...в сей же самой повести почувуются иные, еще доселе не бранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божескими доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения» (Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. Т. 5. М., 1994. С. 202—203).

Фамусов и Молчалин. Кое-что о нашем дворянстве. Впервые: РВ. 1885. Т. 178. № 7. С. 315—327. Подп.: А. А. Автограф не известен. Печатается по тексту первой публикации.

Авторство Фета впервые установлено М. Д. Эльзоном (Неизвестная статья А. А. Фета // Рус. лит. 1986. № 3. С. 183) на основании указания в письме С. В. Энгельгардт к Фету от 11 сентября 1885 г. Письмо это является откликом на статью Фета и самостоятельно развивает ряд его положений: «Дорогой Афанасий Афанасьевич, очень вам благодарна, что вы мне указали на вашу статью “Фамусов и Молчалин”. Она не подписана вашим именем и, разумеется, я бы ее не

прочла; у меня лежал на столе, вместе с другими журналами, неразрезанный “Р<усский> Вестник”. Ваша статья отвлекала меня от мучительных мыслей, и я этому рада. Мы всегда сходимся с вами в некоторых взглядах и на некоторые явления смотрим с одинаковой гадливостью» (Письма С. В. Энгельгардт к А. А. Фету. Часть III / Публ. Н. П. Генераловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 119). Возможно, что и другие положения письма С. В. Энгельгардт являются своеобразным откликом на статью Фета. В частности, слова Энгельгардт о Тургеневе как писателе-гражданине отзываются на суждение Фета об Тургеневе как о дворянине-помещике: «Ивану Сергеевичу жутко было, когда он читал “Бесы” и волей-неволей узнавал себя. И как эти люди не понимают, что популярность не дается заискиванием, и может ли человек добиться популярности унижением и отречением от своей собственной личности?» Далее Энгельгардт сравнивает двух генералов: М. Д. Скобелева, прямого и честного «вояку», не лишённого излишней прямолинейности, и А. А. Суворова, близкого к чиновным верхам и императорскому двору, — первый был очень популярен в народе, но «никто в народе и не знает его (Суворова. — *Ред.*) имени». После этого следует фраза, как бы подводящая итог всем этим рассуждениям: «А Молчалины из ягнят (на вид, по к<райней> мере) обратились в рыкающих зверей» (Там же. С. 119—120).

Концепция статьи начала формироваться в творческом сознании Фета еще в середине 1870-х гг., о чем свидетельствует письмо его к С. В. Энгельгардт от 29 января 1876 г.: «Купил себе “Горе от ума” и схожу с ума от этой прелести. Новей и современной вещи я не знаю. Я сам — Фамусов и горжусь этим» (цит. по: *Благод. Д. Д.* Мир как красота // Фет А. А. Вечерние огни / Изд. подг. Д. Д. Благой, М. А. Соколова. 2-е изд. М., 1979. С. 546). Отождествление себя с героем комедии Грибоедова становилось в этом контексте первым шагом к социологической реинтерпретации обоих героев комедии.

Статья «Фамусов и Молчалин» оказалась последним журнальным выступлением Фета и последней его публикацией в *РВ* до тех пор, пока им руководил М. Н. Катков. После смерти редактора *РВ* в 1887 г., Фет возобновил сотрудничество, опубликовав в журнале начальные главы *МВ*. Сравнительно малый объем статьи дает основание предположить, что текст Фета был сокращен М. Н. Катковым и что это привело Фета к разрыву с журналом, о чем он вскользь писал в предисловии к третьему выпуску «Вечерних огней» (1888): «...стихотворения наши не могли быть помещаемы на страницах журналов, в которых они возбуждали одно негодование. Единственное исключение представлял “Русский вестник”, не ставивший тенденциозности непременным условием. Но когда в 1885 г. мы сочли дальнейшее наше сотрудничество в “Русском вестнике” невозможным...» (*Фет А. А.* Вечерние огни. С. 241; см. об этом: *Кошелев В. А.* «Злоупотребление

словом “идея”»: «Грибоедовская» статья Афанасия Фета // Грибоедов и Пушкин. С. 154—155). Как указал Кошелев, после 1885 г. Фет публиковал свои публицистические статьи в иных изданиях, прежде всего в «Московских ведомостях».

Статья «Фамусов и Молчалин» лежит на грани литературной критики и публицистики, и приемы ее во многом близки к «реальной критике» Н. А. Добролюбова: Фамусов и Молчалин интерпретированы как представители разных этапов развития русского общества: дворянства, живущего во многом по «ветхозаветным» законам, и лиц, пришедших ему на смену с падением крепостного права (здесь и разночинцы, и чиновники, и дельцы). На первый взгляд, от былых принципов в духе «органической критики» или «чистого искусства» Фет отказывается и выстраивает «футурологию» российского дворянства в публицистическом духе, с автобиографическими отступлениями и экономическими рассуждениями. Однако широкое использование литературных образов, новое прочтение комедии Грибоедова и оригинальное развитие тех проблем, которые затронуты в статьях о Н. Г. Чернышевском и Л. Н. Толстом, позволяют отнести «Фамусова и Молчалина» к корпусу литературно-критических выступлений Фета. Создавая статью, Фет ориентировался на ту традицию переосмысления образов комедии Грибоедова, которая уже сложилась в русской литературе в произведениях Е. П. Ростопчиной, М. Е. Салтыкова-Щедрина и других писателей. См. об этом: *Фомичев С. А. Грибоедовские персонажи в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина // От Грибоедова до Горького. Л., 1973; Борисов Ю. Н. Чацкий у Салтыкова-Щедрина // Рус. лит. 1976. №1; Рыжов В. В. Образы русской классической литературы в творчестве Салтыкова-Щедрина: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.*

Стр. 316. Дружинное начало дворянства. — О генетической связи послепетровского служилого дворянства и средневековой княжеской дружины во времена Фета писали: *Маркевич А. И. История местничества в Московском государстве в XV — XVII вв. Одесса, 1888; Ключевский В. О. Боярская дума древней Руси. М., 1888.*

Наилучший офицер в своей специальности - Такое проникновение делом достигается только любовью к нему. — В подобном описании и понимании военной специальности Фет опирается на собственный военный опыт.

Справедливо называют дворян наследственными белоручками - но необъятная карта России получила свои очертания исключительно при помощи этих рук. — Концепцию дворянства как единственного сословия России, способствовавшего утверждению ее государственности и военной мощи, Фет развивал и в трактате «Наши корни» (1882) и в др. публицистических статьях.

Стр. 317. Севастопольское кладбище. — Это кладбище участников Севастопольской обороны 1854—1855 гг. Фет посетил в 1879 г. и посвятил ему стихотворение «Севастопольское братское кладбище»

(4 июня 1887), включенное в третий выпуск «Вечерних огней» (1888).
Здесь, в частности, Фет писал:

Счастливы! Вышею пылали вы любовью:
Тут, что ни мавзолей, ни надпись — все боец.
И рядом улеглись, своей залиты кровью,
И дед со внуком, и отец.

Из каменных гробов их голос вечно слышен,
Им внуков поучать навеки суждено,
Их слава так чиста, их жребий так возвышен,
Что им завидовать грешно...

...всю массу белой кости... — Возможно, сознательно использованный каламбур: белой костью называлось и само дворянское слово.

...от Финских хладных скал до пламенной Колхиды, от потрясенного Кремля... — Из ст-ния Пушкина «Клеветникам России» (1831). Упоминание этого ст-ния, которое демократической критикой и публицистикой воспринималось как шовинистическое и реакционное, в данном контексте принципиально: Фет таким образом строит свою «родословную» — от Фамусова и Пушкина.

...до исхода Крымской войны, после которой мне ~ пришлось оставить ряды войск. — Этот эпизод приведен и в воспоминаниях Фета (МВ. Ч. 1. С. 138—141).

Стр. 318. ...в Бозе почивший император Александр II... — Император был убит 1 марта 1881 г. См. о реакции Фета на его смерть: МВ. Ч. 2. С. 381—382. Под впечатлением от этого события было написано стихотворение «1 марта 1881 года» («День искупительного чуда...»), датированное мартом 1881 г. (см. об этом письмо Фета к С. В. Энгельгардт от 27 мая 1881 г. // Автограф. № 4. СПб., 1998. Публ. Н. П. Генераловой).

Ходили и ходят с ней и в народ, и в войска. — Обыгрывание буквального значения известного фразеологического сочетания, обозначающего ту революционно-пропагандистскую деятельность народных волецов, которая достигла наибольшего размаха в 1873—1874 гг. и получила название «хождение в народ».

Петру понадобилось просвещение, и тут дворяне первые явились его послушными учениками. Упрекать историю в совершившемся значит признавать беспричинные явления, то есть впадать в логическую ошибку. — Полемика со славянофилами по поводу их негативной оценки петровских реформ. Кроме того, здесь Фет воспроизводит ту апологетику русского дворянства, сторонником которой в 1850-е гг. выступал Л. Н. Толстой; ср., например: «Рескрипт об освобождении только отвечал на давнишнее, так красноречиво выражавшееся в нашей новой истории желание одного образованного со-

словия России — дворянства. Только одно дворянство со времен Екатерины готовило этот вопрос и в литературе, и в тайных и не тайных обществах, и словом и делом. Одно оно посылало в 25 и 48 годах, и во все царствование Николая, за осуществление этой мысли своих мучеников в ссылки и на виселицы, и несмотря на все противодействие правительства, поддержало эту мысль в обществе и дало ей созреть так, что нынешнее слабое правительство не нашло возможным более подавлять ее» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. Т. 5. М., 1928. С. 267—268).

...блеск французского двора так долго подчинял себе Англию, Германию и другие народности... — Имеется в виду «французомания», считавшаяся очевидной опасностью в начале XIX в. и в 1860-х гг. (см. ниже).

...французский язык у нас до сих пор, по выражению графа Л. Толстого, нечто вроде чина. — Цитата из незавершенного романа «Декабристы»: «французский язык, как известно, есть нечто вроде чина в России» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 14. С.242).

Стр. 319. ...не те отрывочные сведения, которые у нас с легкой французской руки до сих пор слыли науками, а те науки, которые, начинаясь классическим образованием, приучают к умственному делу. — См. об этом в статье Фета «Два письма о значении древних языков в нашем воспитании», публикуемой в наст. томе.

Жизнь есть борьба за существование. — Возможно, отклик на знаменитый тезис Ч. Дарвина, сформулированный им в книге «О происхождении видов» (1859), которая была переведена в России С. А. Рачинским в 1865 г. См. также примеч. к стр. 141 наст. тома.

Стр. 320. Новый недоросль явился б каким-то неслыханным чудом, если б - предался бы тяжелому умственному труду, о сущности которого он не мог иметь никакого понятия. — Фет обыгрывает здесь ситуацию комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1782). Весь фрагмент построен на реминисценциях из романа Пушкина «Евгений Онегин». К характеристике главного героя восходит представление о тяжелом умственном труде, с которым не знаком дворянский недоросль:

Онегин дома заперся,
Зевая, за перо взялся,
Хотел писать — но труд упорный
Ему был тошен; ничего
Не вышло из пера его,
И не попал он в цех задорный
Людей, о коих не сужу,
Затем, что к ним принадлежу.

Способность вызывать улыбки светских дам и получать за то их снисхождение есть одно из важных достоинств молодого дворянина:

Имел он счастливый талант
Без принужденья в разговоре
Коснуться до всего слегка,
С ученым видом знатока
Хранить молчанье в важном споре,
И возбуждать улыбку дам
Огнем нежданных эпиграмм.

Ссылки на труд не являются нормой в семейных преданиях рядового русского дворянства:

Тогда роман на старый лад
Займет веселый мой закат.
Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства,
Любви пленительные сны
Да нравы нашей старины.

Обычай мой такой... — Неточная цитата из комедии А. С. Грибоедова: «Обычай мой такой: / Подписано, так с плеч долой» («Горе от ума», действие I, явление 4).

...Молчалина с его чуланчиком. — Ср. в «Горе от ума» реплика Хлестовой: «Молчалин, вот чуланчик твой» (действие IV, явление 8).

...только он один не свой и то затем что деловой. — Реплика Фамусова: «Один Молчалин мне не свой, И то затем, что деловой» (действие II, явление 5).

...ласкать собачку дворника. — Реплика Молчалина: «Во-первых, угождать всем людям без изъятья — <...> Собаке дворника, чтоб ласкова была» (действие IV, явление 12).

Стр. 321. Кончивший трехлетний, а потом четырехлетний курс ~ мог получить в гражданской службе. — Реорганизация университетского образования и институт сдачи экзаменов чиновниками на получение чина были созданы в России в 1864 г. Об этом Фет писал в трактате «Наши корни» (1882).

...в течение трех излишних лет, предстоящих студенту ~ куда студент поступил бы младшим корнетом. — Три года — срок выслуги для лиц окончивших высшие учебные заведения (из 12-го в 10-й класс). Военный чин, соответствующий 12-му классу — командир взвода, младший офицер, 10-му — командир роты. Таким образом, военная карьера действительно оказывалась более успешной, нежели «ученая».

...наше остзейское дворянство, ~ во главе умственного и экономического развития края. — Тема преуспевания и образования остзейских немцев активно разрабатывалась в публицистике 1870—1880-х гг. См.: С...о-М...з [Д. Л. Мордовцев]. Что немцу здорово, то русскому смерть // ОЗ. 1873. № 9. С. 311—374.

Стр. 322. Мы могли бы привести факт - не мешало Молчалину в то же время откровенно выставлять себя на всю Россию очковой змеей. — Явный намек на Тургенева, Добролюбова и Чернышевского. В воспоминаниях об отношениях Тургенева к Добролюбову и Некрасову Чернышевский воспроизвел остроу писателя, обращенную к нему: «Вы простая змея, а Добролюбов — очковая» (см.: И. С. Тургенев в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. М., 1983. С. 333). Ср. у Фета в статье о романе «Что делать?»: «Пришел Рахметов склонять автора на какое-то хорошее дело (истинно змей-соблазнитель — очковая змея!)».

Но ведь это литература, это только русские книги, от которых Фамусову больно спится. — Ср.: «Ей сна нет от французских книг, А мне от русских больно спится» (действие I, явление 2).

Стр. 323. Укажем только на злоупотребление словом идея. — См.: Кошелев В. А. «Злоупотребление словом “идея”»: «Грибоедовская» статья Афанасия Фета // Грибоедов и Пушкин. С. 154—167.

...Гоголь, Тургенев и многие другие пошли загонять клинья мнимой идеи в свои произведения, раскалывая таким образом ту художественную идею, которая составляла их сердцевины. — Апеллируя к концепции «чистого искусства», Фет вновь отдает ему предпочтение перед искусством «тенденциозным», к каковому относил поздние сочинения Гоголя и Тургенева.

Добродушный Фамусов и не заметил <...> такое самоуправление - и сделало вполне беззащитным от всяких враждебных вторжений в его экономическое дело. — Фет имеет в виду земства — органы бессословного общественного самоуправления, созданные в 1864 г. «Третий элемент», который составил из земских служащих, оказался новой, во многом независимой социальной группой. Появление земств сводило к минимуму деятельность по дворянским и городским выборам, лишая эту службу реального значения.

Стр. 323—324. Если бы <...> Фамусов успел наконец оглянуться на свое положение - рассчитывать на успех по своей полной беззащитности. — Речь идет о характере управления дворянскими поместьями после крестьянской реформы 1861 г.: бывшие помещицы крестьяне считались временнообязанными, не имели права частной собственности на землю. «Вольнонаемное хозяйство», за которое ратовал Фет, считалось одной из наиболее многообещающих форм организации отношений помещиков и крестьян в новых условиях.

Стр. 324. Тут медоточивый Молчалин проповедует ему об основном стремлении русского человека к общинному владению, а за спиной у Фамусова его же дети рвут на клочки неразделимое имение. — Проповедь общинного землевладения как «основного стремления русского человека» входила в самые разные идеологические системы: и в славянофильство, и в народничество, и в концепцию А. И. Герцена. Сам Фет неоднократно выступал в печати против общинного владения.

Стр. 325. «Дядя! Я не верю ни в один вершок русской земли, ни в одно русское зерно. Выкуп и выкуп!» — Неточная цитата из письма И. С. Тургенева к дяде Николаю Николаевичу Тургеневу, который долгое время управлял его имениями во Мценском уезде и постоянно жил в Спасском. В интересах племянника Н. Н. Тургенев противился его стремлению получить единовременный выкуп за имения — более низкий, чем тот, на который он рассчитывал. Однако И. С. Тургенев строил в это время дом в Баден-Бадене и хотел получить деньги на любых условиях, поэтому отстранил дядю в 1867 г. от хозяйственных дел. Эти события вызвали сначала охлаждение отношений между Фетом и И. С. Тургеневым, а в последующем и полный разрыв. См. об этом: *Заборова Р. Б. Тургенев и его дядя Н. Н. Тургенев // Тургеневский сборник. Вып. 3. Л., 1967. С. 221—233.* Письмо И. С. Тургенева от 25 октября 1864 г. не сохранилось, но эти слова включены в ответное письмо Н. Н. Тургенева от 31 мая; см.: *Тургенев. Письма. Т. 5. С. 294, 652—653.*

...вслед за первыми посредниками... — Манифестом 1861 г. был учрежден институт уездных мировых посредников и образованы из них уездные мировые съезды для рассмотрения недоразумений и споров в связи с новыми законодательными актами. В 1864 г. институт был ликвидирован, однако Фет, наблюдавший, с каким успехом этот институт справился с проведением реформы, неоднократно выступал за восстановление его в системе управления.

...Но тут произошла для Фамусова неожиданность, о которой пишущий эти строки в свое время подробно говорил в печати. Разорились вконец именно эти льготные арендаторы-общинники... — Об аренде общинами государственных крестьян помещичьих земель Фет писал неоднократно («Из деревни», «Наши корни» и т. д.).

...уподобясь зайцу, опереженному черепахой. — Фет имеет в виду апорию древнегреческого философа Зенона из Элеи (ок. 490 — 430 до н. э.): «Догонит ли черепаха Геракла?» Этот парадокс вспоминал Л. Н. Толстой в третьем томе (часть 3) «Войны и мира», где писал: «Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллес идет в десять раз скорее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т. д. до бесконечности. Задача эта представлялась древним неразрешимой. Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только, что произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса и черепахи совершалось непрерывно» (*Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 6. М., 1980. С. 275.*)

...на счет всякого рода открывшихся должностей, оплачиваемых мнимым самоуправлением... — Земские должности — учителя, врачи, статистики, страховые агенты и др. — не были приравнены к

государственным. Многие лица, занимавшие эти должности, вследствие политической неблагонадежности, не могли поступить на государственную службу. Свое мнение о сельском самоуправлении Фет выразил в статье «О нашем сельском самоуправлении», подписанной псевдонимом «Деревенский житель» и напечатанной в газете «Русь», № 3 от 1 февраля 1884 г. (републикация Е. М. Аксененко и Е. В. Виноградовой в сб.: А. А. Фет и русская литература: XVI Фетовские чтения. С. 12—26).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Афоризмы. Впервые: *Фет А. А. Афоризмы* / Публ. Н. П. Генераловой // А. А. Фет и русская литература: XVII Фетовские чтения / Под ред. В. А. Кошелева, М. В. Строганова, Н. З. Коковиной. Курск. 2003. С. 8—14. Печатаются по автографам.

Афоризмы № 1—13 содержатся в записной книжке (РГБ. Ф. 315/П. Картон 1. Ед. хр. 27; нумерация в автографе); датируются первой половиной 1879 г.; № 14—16 — на обороте недатированного письма к Фету М. П. Фет (Боткиной) (РГБ. Ф. 315/П. Картон 2. Ед. хр. 20; нумерация в автографе: 1—3), датируются сентябрем 1885 г. на основании переписки в записях с письмом Фета к С. В. Энгельгардт от 11 сентября 1885 (см. ниже примеч. к афоризму <15>). В пользу такой датировки говорит совпадение в месяце (сентябрь) и числах: письмо Энгельгардт от 11 сентября могло быть написано сразу по получении письма от Фета (до 8—9 сентября), а запись о Достоевском сделана между 1 и 6 сентября. Если это предположение верно, то афоризмы № 14—16 (нумерация наша) следует датировать сентябрем 1885 г.

Объединение двух автографов Фета под условным названием «Афоризмы» вызвано следующими обстоятельствами. В письме от 23 марта 1879 г. Фет сообщал Н. Н. Страхову о том, что вновь завел «книжечку афоризмов» и приводил оттуда высказывание о Полонском, фигурирующее в публикуемых ниже записях под номером «6». Это сообщение было, в свою очередь, вызвано предложением Страхова обратиться к жанру, который, с точки зрения критика, мог бы более адекватно отразить своеобразие фетовской мысли.

«Мне представляется, — писал Страхов Фету 31 декабря 1878 г., — что если бы Вы писали афоризмы, мысли, заметки, что-нибудь подобное, то это, может быть, было бы вполне хорошо и Вас достойно. А еще проще, — если бы за Вами ходил какой-нибудь Босвелл и умеючи собирал бы Ваши изречения, то из этого вышла бы наверно чудесная вещь». Страхов имел в виду Джеймса Босуэлла (1740—1790) — биографа английского писателя Сэмюэла Джонсона (1709—1784), автора книги «The Life of Samuel Johnson», подробно

описывающей последние двадцать лет жизни писателя. Имя Босуэлла стало нарицательным для обозначения биографа, тщательно фиксирующего каждый шаг своего героя.

Сказано это было в связи с обсуждением статьи Фета «Наша интеллигенция», которую поэт читал Страхову и Л. Н. Толстому в Ясной Поляне около 20 августа 1878 г. При первом чтении статья понравилась обоим слушателям, но затем, познакомившись с нею в письменном виде, оба изменили свое мнение и отсоветовали Фету печатать ее. Напечатана она была спустя более чем 120 лет (Вопр. философии. 2000. № 11. С. 126—174. Публ. Г. Д. Аслановой. Примеч. Г. Д. Аслановой и Н. Н. Трубниковой). В том же письме Страхов пояснял причины двойственного впечатления, которое произвела на него и Толстого статья Фета, и заключал: «Очевидно, Вы теперь находитесь в поисках за манерой изложения, и еще не нашли своей настоящей формы».

Из приведенного письма можно понять, что же произошло после чтения статьи. И Толстой, и Страхов были увлечены как самой темой статьи, так и выразительностью изложения, когда Фет читал им один из ранних вариантов этой работы, сопровождаая чтение энергичными комментариями. «Мне странно было вспоминать весь блеск, всю выразительность и энергию Ваших речей и в Ясной Поляне, и в Воробьевке, и видеть, как все это потухло, исказилось и ослабело у Вас на бумаге», — писал Страхов. Вот почему он и предложил поэту поискать иных форм для выражения своих мыслей, в частности, обратиться к давно известному и блестяще зарекомендовавшему себя жанру афоризма.

Проницательный Страхов не ошибался. Действительно, каждому, кто впервые знакомится с прозой Фета, в особенности с его эпистолярием, бросается в глаза афористичность, лаконичная выразительность отдельных фраз и целых пассажей. Эта особенность была замечена уже современниками. А. В. Дружинин в своем отзыве о первом рассказе Фета «Каленик» писал, что рассказ открывается «префилософским афоризмом» (См. стр. 363 наст. тома). Таким образом выказывала себя особая склонность Фета к обобщениям, нередко философского характера, подобно тому, как это было у Шопенгауэра, создателя «Афоризмов житейской мудрости» (часть труда «Парерга и паралипомена», 1851). Следы чтения Шопенгауэра встречаются в более ранних статьях Фета. Еще в начале 1865 г. В. П. Боткин писал Фету из Петербурга: «Давно ждет тебя Шопенгауэр, которого я купил без малейшего затруднения за пять рублей» (МВ. Ч. 2. С. 57). Любопытно, что именно в первой половине 1879 г. Фет, после некоторых колебаний в выборе предмета, решил осуществить перевод главного труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление», в связи с чем перечитывал сочинения немецкого философа. Вот почему содержание некоторых афоризмов перекликается с рассуждениями Шопенгауэра.

Упоминание в письме Фета к Страхову от 23 марта 1879 г. высказывания о Полонском, фигурирующее под № 6, позволяет довольно

точно датировать начало заполнения «Записной книжки». Эта датировка подтверждается тем, что еще один афоризм, точнее, притчу (или, как определил сам Фет, «аполог») о соколе поэт переписал дважды — в письме к Страхову от 12 июля 1879 г. (*РГБ*) и в письме к Л. Н. Толстому от 17—18 июля 1879 г. (см.: *Толстой. Переписка*. Т. 2. С. 72). Причем в письме к Страхову Фет указал, что прибавил эту притчу «в книжке своих афоризмов». Таким образом, можно заключить, что все записи были сделаны примерно в течение первого полугодия 1879 г.

Наиболее интересным представляется афоризм, или рассуждение, зафиксированное под № 10. Оно позволяет не только датировать с достаточной степенью уверенности известное стихотворное переложение Фетом молитвы «Отче наш» («Чем доле я живу, чем больше пережил...»), время написания которого определялось ранее Б. Я. Бухштабом между 1874 и 1886 гг., но и прояснить обстоятельства его появления.

Сохранившаяся переписка Фета с Л. Н. Толстым, с Н. Н. Страховым, а также сохранившаяся и опубликованная переписка Страхова и Толстого позволяют воссоздать драматический период отношений между Фетом и Толстым, возникший вследствие духовного кризиса, пережитого писателем в конце 1870-х гг. Фет, категорически не принимавший направления, в которое выливались поиски Толстого, постоянно пытался воздействовать на него, считая, что уход такого писателя из литературы, отречение его от «дел земных» принесут непоправимый урон нравственному самочувствованию не только самого Толстого и его семьи, но и всего русского общества. Горячие споры с Толстым и Страховым побудили его самого к постановке и решению сложных нравственно-философских задач, в частности, отношения к религии, к вере, к Богу. Записанное высказывание — плод размышлений в этом направлении. Любопытно, что Фет пытается осмыслить содержание молитвы путем умозаключений. В то же время, очевидно не удовлетворенный этим рациональным способом постижения высшего смысла молитвы, он дает ее поэтическое прочтение. Отголоски споров с Толстым можно обнаружить и в других публикуемых записях.

Запись от 6 сентября осталась неоконченной. Сведения о других записных книжках с афоризмами, которые, по всей видимости, время от времени заводились Фетом, пока не обнаружены.

Стр. 326. 4. Рассуждение об уме животных навеяно, возможно, Шопенгауэром (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / Пер. А. Фета. Изд. 4-е. С. 22—23).

*5. ...иначе Сакен был бы прав... — Имеется в виду барон Д. Е. Остен-Сакен, под началом которого служил Фет. См. примеч. к стр. 121 наст. тома (также см.: *РГ*. С. 262, 314 и др.).*

С другой стороны, Жорж Санд права... — Источник цитаты не обнаружен.

В какую же [уродливую] философскую ошибку впадают поэты слова ~ будете нрав<ственные>. — Ср. у Шопенгауэра: «...вся манера

изображения направлены на возбуждение в зрителе похоти, чем тотчас эстетическое созерцание прекращается, и, следовательно, противудействуется цели искусства. <...> Поэтому прелестного должно всюду избегать в искусстве» (*Шопенгауэр А.* Мир как воля и представление / Пер. А. Фета. С. 214).

Стр. 327. 6. Художники, в угоду рутинной толпе – скудо. — Очевидно, намек на «итальянские» стихи Я. П. Полонского: «На берегах Италии» («Я по красному щебню схожу один...», 1858), «Ночь в Сорренто» («Волшебный край! Сорренто дремлет...», 1858) и др. Ср. написанные несколько ранее стихотворения Фета «Италия» («Италия, ты сердцу солгала...»), «На развалинах Цезарских палат» («Над грудой мусора, где плющ тоскливо вьется...»), в которых отразилось расставание поэта с романтическими представлениями о «стране поэтов». В письме к Страхову от 23 марта 1879 г. после выписанного «афоризма» о Полонском прибавлено: «Впрочем, такое суждение о его разумности не вредит в моих глазах поэту, художнику, а по теории Шопенгауэра и моей, еще может быть в его пользу. Зато окончательное фиаско Тургенева и всех тенденциозников неизбежно». *Скудо* — золотая монета в Испании и Италии.

7. О понятиях рассуждал Шопенгауэр в § 9 1-й книги «Мир как воля и представление» (*Шопенгауэр А.* Указ. соч. С. 39—51).

8. *Когда настоящие исторические носители – убеждая в противном.* — Возможно, отклик на статью М. Н. Каткова об «Анне Карениной» Л. Н. Толстого (см. с. 309 наст. тома).

10. *Вечный смысл молитвы Господней...* — Афоризм является переложением известной молитвы «Отче наш» и позволяет уточнить датировку поэтического переложения этой молитвы Фетом (См.: *Генералова Н. П.* О датировке стихотворения Фета «Чем доле я живу, чем больше пережил...» // *Театр и литература: Сб. ст. к 95-летию А. А. Гозенпуда.* СПб., 2003. С. 156—168).

Чем доле я живу, чем больше пережил,
Чем повелительней стесняю сердца пыл,
Тем для меня ясней, что не было от века
Слов, озаряющих светлее человека:
Всеобщий наш Отец, который в небесах,
Да свято Имя мы Твое блюдем в сердцах,
Да придет царствие Твое: да будет воля
Твоя как в небесах, так и в земной юдоли.
Пошли и ныне хлеб обычный от трудов,
Прости нам долг, — и мы прощаем должников,
И не введи ты нас бессильных в искушенья
И от лукавого избави самоменья.

На прямой вопрос Толстого о том, как он относится к его вере в Бога, Фет 19 февраля 1879 г. отвечает, что молитва человека «среди океана — это его субъективное чувство и дело. Туда другому вход вос-

прещен». «Я понимаю, дорогой граф, — пишет Фет, — что Вам подобный человек не разом отыскал в себе то религиозное чувство, которое Вы питаете. <...> Всякое открытие интуитивно. Это могло быть — и я понимаю, насколько Вам отрадно такое открытие». «Но, — прибавляет далее Фет, — я сильно убежден, что далее этого Вы пойти по природе не можете, то есть объяснить, разложить, анализировать это для других. К богословским несостоятельным доказательствам Вы прибегать не станете и утверждать, что немцы из ненависти к христианству выдумали санскрит; а перекинуть мостик из области разума в область интуитивную на этом бездонном поприще едва ли удастся и подобному Вашему уму» (*Толстой. Переписка. Т. 2. С. 52*).

Отвечая Толстому, Фет задавал тот же вопрос и самому себе. В свойственной ему манере диалога он делился со своим собеседником самым сокровенным. Что касается слова «глупость», которое употребил Толстой, оно не показалось Фету ни случайным, ни глупым. Именно «глупость» Фет признает как противоположность разуму, но не вере. В этом смысле он даже «готов сказать другое: это гораздо благонадежнее, чем разум». Это, по Фету, «интуитивная сила», обладающая своей правдой. В применении слова «глупость» к вере Фет мог бы согласиться с Паскалем, писавшем: «Как же можно осуждать христиан за то, что они не способны обосновать свои верования, — они, верующие в то, что не поддается обоснованию? Излагая их, они во всеуслышанье заявляют, что это невнятица, stultitiam; и после этого вы жалуетесь, что христиане ничего не доказывают» (*Размышления и афоризмы французских моралистов XVI — XVII веков / Сост., вступ. ст. и примеч. Н. Жирмунской. Л., 1987. С. 249. Пер. Э. Линецкой*). По мнению комментаторов Паскаля, данная мысль согласуется с высказыванием апостола Павла: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы стать мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом» (1 Кор. 3:18, 19).

И все же, сопоставляя себя с Толстым в решении поставленного вопроса, Фет считает, что они стоят «в двух различных областях»: «Вы нашли и говорите с Августином *credo quia absurdum* <верю, потому что невероятно — *лат. усеч.*>. Если бы он сказал вместо *credo* — *suo* <знаю — *лат.*>, было бы чепуха. Но *credo* так же логично, как всякая другая правда. Я же не нашел потому, что мне это не дано. Вы смотрите на меня с сожалением, а я на Вас с завистью и изумлением» (*Толстой. Переписка. Т. 2. С. 52—53*). Толстой также попытался передать посредством рационально-логического пересказа молитву «Отче наш» (См. об этом: *Генералова Н. П. О датировке стихотворения Фета «Чем доле я живу, чем больше пережил...»*. С. 168).

Стр. 328. 11. Один соколиный охотник... — Притча о соколе, как верно понял Л. Н. Толстой, была обращена прямо к нему. Возможно, понял это и Страхов, но промолчал, не желая в очередной раз отвечать нападкам Фета на последние увлечения Толстого. К тому же он был на его стороне и, при всем уважении и любви к Фету, всячески

избегал споров о религиозно-нравственных исканиях Толстого. Толстой же обиженно писал Фету 27—28 июля 1879 г.: «Если я этот сокол и если, как выходит из последующего, залетание мое состоит в том, что я отрицаю реальную жизнь, то я должен оправдаться. Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимого для поддержания этой жизни, но мне кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетворениями не естественных, а искусственно привитых нам воспитанием и самими нами придуманных и перешедших в привычку потребностей и что 9/10 труда, полагаемого на удовлетворение этих потребностей, — праздный труд. Мне бы очень хотелось быть твердо уверенным в том, что я даю людям больше того, что получаю от них. Но так как я чувствую себя очень склонным к тому, чтобы высоко ценить свой труд и низко ценить чужой, то я не надеюсь увериться в безобидности для других расчета со мной одним усилением своего труда и избранием тяжелейшего (я непременно уверю себя, что любимый мной труд есть и самый нужный и трудный); я желал бы как можно поменьше брать от других и как можно меньше трудиться для удовлетворения своих потребностей; и думаю, так легче не ошибиться» (*Толстой. Переписка*. Т. 2. С. 72).

12. *Толстому*. — Этот афоризм подтверждает, что при написании притчи о соколе Фет сознательно метил в Толстого. Вызвав его на спор, Фет в письме от 31 июля 1879 г. вновь вернулся к обсуждению взглядов Толстого, развивая свою философию труда и соотношения материальных и духовных благ (*Толстой. Переписка*. Т. 2. С. 76—77).

13. *Атеизм дозволителен тому...* — Понимание атеизма как сомнения, а не состояния, переключается с тем местом из письма Фета к Страхову от 5 февраля 1880 г., где он уверенно отводит от себя обвинения в атеизме, содержащиеся в письме его корреспондента: «Ни я, ни Шопенгауер не безбожники, не атеисты. Не заблуждайтесь, будто я это говорю, чтобы к Вам подольститься. Я настолько уважаю себя, что не побоялся бы крикнуть Вам: “Таков, Фелица, я развратен”, хотя чувства Бога и не-Бога ничего не имеют общего с этикой, характером, что мир есть собственно себя носящая воля (вседержитель). Это тот все озаряющий, разрешенный “х” — и тут граница человеческого разума. Что есть Бог, это я знаю непосредственно, т. е. чувственно, так как иного непосредственного знания нет. Но как прицеплен Бог к этому миру (Вишну), Шопенгауер, как умница, не знает. А если я без молотка пойду ковать лошадь — дайте мне, пожалуйста, дураку — тумака» (*РГБ*).

<15>. *Достоевский явно указывает...* — Возможно, запись о Ф. М. Достоевском связана с чтением Фетом романа «Бесы». Сведения об этом сохранились в письме С. В. Энгельгардт к Фету от 11 сентября 1885 г.: «Мне очень понравилось ваше оригинальное и меткое выражение: «я пролез через терновый куст романа Достоевского “Бесы”» (Письма С. В. Энгельгардт к А. А. Фету. Часть III (1884—1891) / Публ. Н. П. Генераловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2002. С. 119).

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Каленик	7
Дядюшка и двоюродный братец	18
Семейство Гольц	79
Первый заяц	115
«Не те»	121
Кактус	127
Вне моды	135

НЕОКОНЧЕННОЕ

I. <Корнет Ольхов>	146
II. <Полковник Бергер>	149

КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

Ответ на статью «Русского вестника» об «Одах Горация»	157
О стихотворениях Ф. Тютчева	176
«Что делать?». Из рассказов о новых людях. Роман Н. Г. Чернышевского	195
По поводу статуи г. Иванова на выставке Общества Любителей Художеств	260
Два письма о значении древних языков в нашем воспитании	274
Что случилось по см<ерти> Анны Кар<ениной> в «Русск<ом> в<естнике>»	308
Фамусов и Молчалин	316

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Афоризмы	326
----------------	-----

КОММЕНТАРИИ

Условные сокращения	331
<i>Л. И. Черемисинова</i> . Художественная проза А. А. Фета	333
Комментарии к разделу «Повести и рассказы»	361
<i>А. Ю. Сорочан, М. В. Строганов</i> . А. А. Фет как литературный критик	415
Комментарии к разделу «Критические статьи»	438

А. А. ФЕТ

Сочинения и письма в двадцати томах

Том третий

Повести и рассказы. Критические статьи

Технический редактор *Л. Е. Голод*

Корректор *М. Д. Андрианова*

ЛР № 063904 от 16.02.95

Подписано в печать 00.00.2006. Формат 60×90^{1/32}

Гарнитура «SchoolBookС». Печать офсетная.

Заказ № **3203** . Тираж 600 экз.

ООО «Фолио-Пресс»

198207, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 136.

Отпечатано с готовых диапозитивов

в типографии газеты «На страже Родины».

191186, Санкт-Петербург, Дворцовая пл., 10.

Цена свободная

